
*Простые
смертные*

Роман

АЛЕКСЕЙ ДЕБОЛЬСКИЙ

ПРОСТЫЕ
СМЕРТНЫЕ

Роман

КНИГА ПЕРВАЯ

В РУКАХ У НАС ВИНТОВКА

1.

Под ударами волн “Индигирка” вздрагивала, как от испуга. К счастью, пятибалльный нор-ост налетел не под прямым углом, а вкось и отчасти по курсу: судно шло из бухты Ногаево к Амурскому устью. Серые водяные барханы бились о борт корабля, он скрипел, кряхтел и постанывал, словно просил снисхождения к своей старческой немощи, однако двигался ровно, в ладу со стихией.

Что волна была серой, это живой груз “Индигирки” знал по памяти, нагладелись за два дня на безбрежный, опоясанный нечетким туманным горизонтом простор. А сейчас вечерело, холод загнал в твиндеки и трюмы, но все равно в представлении бедолаг, жмущихся друг к другу, чтобы согреться, волны были серыми, серым было Охотское море. Хотя и не видное сейчас.

Все чувствительнее становились шлюпки по левому борту, гулко отдавались в железной пустоте. Качало изрядно. Были бы трюмы, как им полагалось, сверху донизу набиты товаром, тогда бы другое дело, а шестьсот гавриков – что они весят? Шестью шесть – тридцать шесть, шестью восемь – сорок восемь. От силы

каких-то полсотни тонн, считая даже все сидоры и короба, – это вместо положенных пяти тысяч.

Душно и тесно в кормовом трюме, пахнет ржавым железом. Тускло желтеет вздрагивающий свет потолочных плафонов, все лица смотрятся одинаково, мутно-бледными пятнами. Кто половчее, урвал местечко поближе к нагретой жаром котлов переборке, за которой машинное отделение. Чем дальше от нее, тем прохладнее, а в дальних углах совсем уже зябко, однако все же не так, как снаружи. Впрочем, и там, под защитой палубных настроек, притулились растяпы, которым не досталось места внизу, или аристократы духа, презирающие скученность и вонь.

Два первых дня жить было можно. Сияло солнце. Околачивались на верхней палубе, травили баланду, сбивались в кучу у ротных катерок в ожидании раздачи сухого пайка, заводили простоватых бытовиков леденящими кровь рассказнями про участь штрафных рот, для которых, если верить “торбозному радио”, предназначался “контингент”. Распевали всякое, вроде: “Вот окончу свой срок наказанья, распрощусь я с горами, с тайгой, и на поезде, в мягком вагоне, возвращусь к тебе, крошка, домой. Воровать завяжу я на время, чтоб с тобою мне мирно пожить”... — и так далее. Насчет мягкого вагона – это не ради красного словца, за годы вкалывания на колымских приисках многие сколотили изрядный капиталец, а кто был удачлив в картежной игре, тот, бывало, набивал кредитками полные наволочки.

Под центральным плафоном, вокруг большого фанерного чемодана сидели по-турецки человек восемь-девять и дулись в три листика. Слышались обычные присловья:

— Деньги на кон, отец дьякон!

— Двадцатый век, шалавых нет.

— Чего пересчитываешь, фраериться задумал? Не в церкви, не обманывают.

Игра не клеилась, ставки были пустяшные, и вскоре владелец заведения собрал карты, матюкнулся и поволок чемодан в свой угол, устраиваться на ночлег. Картежники разбрелись кто куда.

Лишь Колька Удальцов, младший из компании, все стоял под мигающим светильником и пересчитывал оставшиеся на руках купюры. Он опять продулся и был недоволен собой. Никак не насчитывалось больше семисот пятидесяти, не жирно. И хотя он понимал, что в армии, как и в заключении, живут на всем готовом, жизнь эта представлялась незавидной, и что же могло сделать ее хоть чуточку фартовой, как не лишних пара тысяч хрустов?

Правда, о фартовой жизни думать сейчас не приходилось. Шла война, и путь лежал туда, на запад, где проливалась кровь. Но ведь война — это не навсегда? Пожалуй, врут, что всех нас в штрафные роты, то есть попросту на убой. Совсем по другому говорил тот мужик, комиссар эшелона, на митинге в порту: вольемся, говорит, в ряды героических защитников родины, чтобы изгнать с нашей земли ненавистного врага. Про штрафные роты ни слова. Да и с чего бы это, сразу в штрафные? Мы ведь отбыли свой срок, вину свою, следовательно, искупили, а кто досрочно освобожден, тоже ведь не за красивые глаза.

Так размышлялось Кольке Удальцову, а может быть и всем шестистам его сотоварищам, отправившимся осенью одна тысяча девятьсот сорок второго года навстречу боевым делам.

Колька Удальцов был человеком без роду без племени. Его подобрала — то ли из жалости, то ли из корысти — осенью двадцать первого года на станции Лозовая какая-то тетка, ни имени, ни наружности которой он не запомнил, поскольку был еще полным несмышленьким. Дело было ночью в переполненном зале ожидания, душном и едва освещенном, устланном вплотную телами спящих или просто обессиливших,

истощенных людей. Он стоял над недвижной скорченной женской фигурой, дергал за рукав истрепанной телогрейки, хныча надсадно и безутешно. Голосок его, напоминавший зов покинутого птенца, был слабым, но в тишине ночной заполнял всю ширь сонного зала. Он плакал не от жалости по умершей матери, тело которой уже остыло, он и не понимал вовсе, что она умерла, он плакал даже не от голода, ставшего привычным, а от непонятной ему тревоги. Многие слышали его негромкий, нетребовательный, бессильно жалобный плач, но лишь у одной единственной бабы достало резвости и любопытства, чтобы подойти. Баба эта, не из проезжих, а из здешних, на вокзале оказалась не случайно, сюда привел ее тот промысел, которым она перебивалась в это страшное голодное безвременье. Она подошла без всякого намерения, ей просто не давал покоя этот голосок, он мешал ей шарить среди спящих в поисках стоящий добычи, потому что мог кого-то разбудить. Она взяла детенка на руки и обнаружила привязанный на веревочке к верхней пуговице его ватного пальтишки кисет из мешковины, в котором нашелся черствый кусочек ржаного хлеба и подавленное крутое яйцо. Сначала она хотела ограничиться этой жалкой добычей, но потом ее осенила совсем другая мысль.

Уже наутро она появилась на базарной площади с истощенным невымытым младенцем на руках. Немногие выносили сюда на продажу съестные припасы, больше предлагалось товаров из комодов и сундуков, и мало кому было до благотворительности, но все же нет-нет да и проникалась богобоязнью какая-нибудь грешница-спекулянтка, и так вот доставалось бедствующей матери с малым дитем то немного денег на пропитание, то малая толика чего съестного. Она наведывалась и на вокзал к проходящим поездам, в них везли с юга всякую поживу, кто семечки, кто мешки с пшеном или кукурузой, кто подсолнечные жмыхи, а то даже и свинячье сало. Она подкармливала своего благоприобретенного

младенца ровно настолько, насколько это требовалось, чтобы душа его невзначай не рассталась с телом.

Шли месяцы, малыш подрастал, таскать его становилось все труднее, а тем временем и голод в округе уже сходил на нет. А у мальчонки просыпалось сознание, он уже пытался что то лопотать, хотя учить его искусству речи никто не собирался. Когда они возвращались домой, ее сожитель спрашивал обычно «сколько?», подразумевая суммарную стоимость подачек. Это слово, такое внятное, малец улавливал на слух чаще всего, пытался его повторять, и получалось «колька».

Когда таскать его стало совсем уже не для чего, она отнесла его темной ночью туда, где взяла, посадила на вокзальную скамью и велела ждать. Тут его и нашли борцы с детской беспризорностью. Отвезли в приемник.

Говорить он толком еще не умел, лишь на вопрос «как тебя зовут?» отвечал без запинки: «Колька». Возраст ему определили на глазок два года, датой рождения записали число и месяц, когда его нашли, то есть двадцать шестое августа, а отчество дали, как было принято в таких случаях, по его же собственному имени. Долго судили-рядили, какую присвоить фамилию. Сначала предлагалось «Найденов», но Найденовых уже чуть ли не дюжина прошла через этот приемник. Предлагалось еще «Бесфамильный», но и такие уже бывали, да и не хотелось клеймить мальчонку, который всем понравился, вот так на всю жизнь. Решили придумать что-нибудь такое, с чем бы ему в жизни повезло. Кто-то сказал «Счастливец», но сотрудница из образованных возразила — не годится, есть у Островского, слишком литературно. Тогда предложили — Удачин. Опять кто-то возразил: не бывает таких фамилий, сразу видать, что придумано. «Тогда — Удальцов!». На том и порешили.

В приюте небольшого городка на севере Украины учился он всему, что могло предложить бедное, захолустное учреждение: русской речи с присущими ей в

среде малолетних оборванцев особенностями, грамоте по старым умилительно-нравоучительным букварям, повадкам харьковских ракло — вокзальных воришек, ростовских и одесских базарных жуликов. Побывал Колька и в бегах, вкусил вольной жизни, рискованной и голодной, был изловлен и водворен на место. Годами позже детдом расформировали, а не достигших сознательного возраста питомцев рассовали кого куда. Николай Николаевич Удальцов угодил в подмосковную Барвиху. Какая роскошь, какое приволье в этом бывшем барском именье! Какие были умные и добрые дяденьки, которые преподавали там школьную премудрость и даже физкультуру, да что физкультуру, даже музыке учили! Кто имел интерес, научился играть на инструментах, и таким манером составил знаменитый на всю округу духовой оркестр. Кольке достался кларнет, был этот инструмент в особом почете, но и наука с ним давалась куда труднее, чем с какими-нибудь альтами да валторнами. В оркестр Колька попасть не успел, пришло время шагнуть в самостоятельную жизнь. Пятнадцати лет, если не ошиблись те добрые люди со станции Лозовая, окончил он семилетку и вместе с несколькими десятками таких же как он безродных попал на большой подмосковный завод учеником школы ФЗУ.

Ему приходилось и раньше видеть заводы, большие и малые, издалика и вблизи, с крыши вагона и сквозь щель в заборе, Каждый по-своему дымил, по-своему гудел и громыхал, парил и коптил, доказывал свои завалы изделий и хлама, — ни к одному из них у Кольки не пробуждалось ни чуточки симпатии, ни на одном ему не захотелось оказаться в каком бы то ни было качестве. А тут — совсем другое дело. Построенный недавно, во время мировой войны, для производства высококачественных сталей, завод еще блистал всеми достоинствами молодости. Розовели кирпичной кладкой корпуса, гордо вздымались в небо чистенькие, стройные, как елочные свечи, дымогарные трубы, а гул

электродов в пышущих жаром объемистых чашах электропечей попеременно с уханьем тяжелых молотов в кузнечном цехе вызывал представление о каком-то мощном, невиданном и неслыханном оркестре, исполняющем музыку, сочиненную сказочным богатырем для приведения в трепет простых смертных.

Кольке было и радостно, и боязно, и порой ему казалось, что это не его планида, что не по плечу ему этот конец бревна. Но он старался, что было сил, душа его была исполнена благодарности рабоче-крестьянской власти, давшей ему путевку в жизнь, в путевую жизнь, как у всех.

Он даже в комсомол заявление подал, и его уже приняли было, утвердили на бюро, но попросили подождать в коридоре, мол понадобится при рассмотрении следующего вопроса. А вопрос заключался в том, что на уроке нелюбимого преподавателя математики группа взбунтовалась из-за какой-то мелкой несправедливости, орал всякое и даже чернильницами запускали в стену. От новоиспеченного комсомольца Николая Удальцова требовалось назвать зачинщиков. Плохо же они знали детдомовца Кольку! Вот уж чего от него ни в жизнь было не добиться, так это выдачи товарищей. Сам он чернильниц не бросал и не орал, он даже не одобрял в душе тот шухер против старика-училы, но чтоб фискалить? Да за кого его здесь принимают?

Вопрос о принятии Николая Удальцова в комсомол сменился вопросом о его исключении. Члены бюро долго препирались в его присутствии: можно ли исключать, не разобрав персонального дела на общем собрании? Наконец порешили отменить ранее принятое постановление о принятии. С тех пор Колька Удальцов на вопрос, состоял ли он в комсомоле, отвечал: ага, пятнадцать минут.

А о судьбе злополучного преподавателя потом часто вспоминали с недоумением и жалостью. Французский еврей Браудэ плохо знал по-русски и говорил

нелепыми фразами, похожими на перевод с другого языка. Он говорил: «Я вас пощвирую!» Или «Ви лжете, как зеленая лошадь!» Никто не вынуждал его приехать на родину своих предков, какой-то романтический порыв побудил к этому стареющего холостяка. Преподавателем ФЗУ подмосковного завода он оказался потому, что в Москве его никуда не брали, хотя был он незаурядным ученым-математиком. Убедившись, что совершил роковую ошибку и узнав, что подобных ему иммигрантов стали сажать без разбора, он тихо повесился в своей одинокой комнатухе, не оставив никакой записки.

По прошествии неполных двух лет каждый из бывших беспризорников получил хорошую профессию. Колька стал токарем четвертого разряда. Еще фезеушником он поступил в заводской духовой оркестр. Играли по субботам и воскресеньям в поселковом парке, на высокой эстраде в виде раковины. С шамовкой было туговато, и клубное начальство подкармливало музыкантов бутербродами, за что они получили прозвище бутербродников. До перерыва играли стройно, заслушаешься, выбирали пьесы посерьезней, из благородного репертуара. В перерыве наедались бутербродов с соленой кетой, иного угощения не доставалось, а от соленого губы расслабляются, и тут уж трубачи начинали дудеть кто в лес, кто по дрова. Но публика была нетребовательной к чистоте звучания, было бы громко и отбивался бы такт фокстрота или вальса, чтобы крутиться на дощатом помосте под раковиной — девочки с девочками, ребята с ребятами, а кто повзрослее, то и парень с девушкой на пару.

А еще с этим оркестром хоронили жмуриков. Медленно двигалась процессия по пыльным улицам целых два километра до опушки леса, где день ото дня ширилось кладбище. Протяжно звучало «Вы жертвою пали...» и «Траурный марш» Шопена, а после всего полагалось угощение. И тут уж дело не ограничивалось бутербро-

дами, а главное, не обходилось всухую.

В поведении Кольки бывали странности, которые выглядели как намек на его благородное происхождение. Товарищи дразнили его графом — почему, никто не мог объяснить. Но понятие чести для него действительно много значило. Он и сам иногда задумывался: а не сын ли я какого-нибудь графа?

И еще возникали в его голове порой невеселые отсюда взявшиеся мысли. Когда играли «Вы жертвою пали...», он вспоминал дальнейшие слова «настанет пора, и проснется народ...», и тут же приходила мысль, что слова этого похоронного марша с некоторых пор перестали петь и печатать. Почему? И еще перестали вспоминать слова Ленина о водке, которая вместе с религией служит эксплуататорским классам для одурманивания народа, про это им множество раз объясняли в детстве.

Басист дядя Федя, рослый мужик лет за сорок, а то и за все пятьдесят, не умел тогда Колька различать возрасты старших, лицом сер и одутловат, но еще в силе, был для «пацанов» высшим авторитетом. Просто заглядывание было смотреть, с каким достоинством носил он надетый через плечо громадный, сверкающий медью, улиткой завитый инструмент. Дядя Федя с Лениным был не в ладах, его излюбленным изречением было: «Кто водку не пьет, тот не музыкант». И пацаны старались не подкачать.

За первый прогул Кольку только поругали. После второго объявили выговор в приказе, вывешенном на цеховой доске. В третий раз Колька решил больше не прогуливать, велел себя разбудить и несмотря на то, что башка трещала, вышел в утреннюю смену. Но лучше бы не выходил: работа не клеилась, он запорол резьбу на совсем почти готовом и даже отшлифованном валу, в который было вложено много часов его собственных и чужих стараний. Ему перестали давать хорошую работу и вскоре переставили на обдирочный станок, огромный

и примитивный, где медленно и нудно вращались толстые болванки, и победитовый резец со скрежетом счищал с них крупную крошащую стружку. От такой работы тошно становилось на душе, заработок упал, а выпить хотелось аж нет терпенья.

Колька жил все в том же общежитии, что и в ученическое время, вместе с теми же друзьями-товарищами из Барвихи. Понемногу отсеивались женатики, получившие отдельную комнату, кто-то уходил в Армию или уезжал куда-то, но оставался нетронутым старый костяк. К нему принадлежал и Марек — так сокращалось его странное имя Марианн Горохватский, невысокий полненький шатен с вертлявой походкой. Он выучился на пирометриста и работал в кузнечном цехе при нагревательных печах, зашибал не бог знает сколько, но всегда был при монетах, делал в парикмахерской завивку, душился дорогим одеколоном и похвалялся успехами у женского сословия. Он ругался попольски сквозь зубы «пща крев», а матерных слов не произносил, и вообще осанку имел благородную. К Колькиной беде Марек отнесся с пониманием.

«Хочешь подфартиться?» — сказал он однажды. — «А как?» — «Очень даже просто. Ты на дуде играл? Играл. Знаешь, где у них что лежит? Знаешь. Свистни кларнет, я его двину барыге по сходной цене, навар пополам».

На это Колька не купился, не мог он предать братву, среди которой еще недавно был своим. Но Марек не осерчал, даже подбросил пару синеньких, как бы вроде до полочки, но отдачи не требовал. Неделю-другую спустя он сказал: «У инженера Горчакова, старый спец, нажился еще при царской власти, дома не счесть сокровищ, как в той каменной пустыне, понял? На выходной они всей семьей уезжают в Москву, хавира пустая. Вот ключ. Дело верняк. Будешь кум королю».

Глотнувший для храбрости Колька шарил впопыхах по отделениям шифоньера, чиркал спичками, плу-

тал в незнакомых комнатах, пока не опрокинул с высокого столика фарфоровую вазу. Соседи его схватили и вызвали милицию. Па суде ему приписали все квартирные кражи, случившиеся в поселке за последний год. Он отпирался, но ему не поверили. Марека он не продал.

Колька не считал себя ни счастливым, ни несчастным, даже мысли не имел о том, чтобы как-то оценивать свое существование, разве что вспоминал порой, применяя к себе, поговорку, якобы имеющую хождение в кругу ночных ассенизаторов: «нет, не быть тебе черпарем, век ты будешь на подхвате». В общем, жил себе, как живется, и дело с концом. Даже тюрьму он не воспринял, как некое несчастье, в его кругу о тюрьме рассуждали без предрассудков и без эмоций, как о неотъемлемой принадлежности этой жизни. В тюрьме мечтали о воле, а на воле не забывали о тюрьме. Колька схлопотал восемь лет и подался по этапам все дальше на восток, где нужны были молодые сильные руки...

Эх, черт с ним со всем. Война теперь. Кто может знать, где найдешь, где потеряешь? Ведь если бы не срок, идти бы ему в армию еще в сороковом, значит был бы он на фронте с самого начала, а сколько их уцелело сейчас, которые с первого дня? Никто не знает, что кому на роду написано.

Колька засунул деньги в карман и направился туда, где остался его тощий вещмешок. Осторожно ступая между распластанных тел, он пробирался к правому боргу. Мешок лежал на своем месте, но пространство близ него было сплошь заполнено спящими, и втиснуться между ними оказалось делом трудно осуществимым.

— Эй, ты, клык моржовый, — сказал Колька тому, кто лежал как раз там, где виднелся край его мешка, — давай подарвай отседа. Или хоть потеснись.

Чубатая башка отделилась от свернутой телогрейки:

— Чего? Пошел ты к едрене Фене.

— Чеши отсюда, это мой мешок! Или хоть двинься, курва!

— Держи свой сидор и кончай базар, спать охота, — Чубатый кинул мешок Кольке под ноги, попав в рядом лежащего.

— Ты что, падла! Или начальника позвать? — возмутился Колька и пнул узурпатора ногой.

Тот вскочил. Он оказался ниже Кольки на полголовы, но был страшен кипевшей в нем злостью. Размахивая кулаками перед Колькиным носом, он заорал пронзительным фальцетом.

— Ты что, наблатыкался, аль сексот? Братцы, на нас сексоты прут! — И, подняв на Кольку искаженное яростью лицо, продолжал его позорить: — Тут, будь здоров, тут вохры нету, тут наша власть, щас тебе такую темную сотворим, где стоишь, там и ляжешь!

Кругом загалдели, потревоженные во сне сядились и протирали глаза. У жаркой стены тоже началось шевеление, тощий п длинный рецидивист Сухарчук, известный законник в воровских делах, поднялся и не спеша, ступая без разбора по телам лежащих вповалку людей, направился к очагу конфликта.

— Из чего-такого шухер на бану? — осведомился он спокойно.

— Вот этот фраер вздумал тут права качать! Говорит, его место. Сам шмотки разбросал, а потом привязывается. Он первый начал, он меня ногами бил!

— Обзовись.

— Легавый буду!

Никто уже больше не кемарил, многие повставали с мест, сгрудились вокруг назревавшей заварухи. И так накипело, а тут еще и это. Жаловались, что спать не дают, ругались на свинские порядки, никто уже не знал, из-за чего сыр-бор загорелся, кричали каждый свое. Все тут выплеснулось наружу, а прежде всего обида за голодный паек — ну что для таежного работяги четверста граммов черных сухарей да полторы селедки на

день, от которых одолевала жажда. А кипятку давали котелок на четверых, и все бачки для питьевой воды давно стояли пустыми. Команде не было до «контингента» никакого дела, капитана никто в глаза не видел. Собрались было идти к начальнику эшелона, но заколебались: пустой номер. Всем уже было известно, что заперся он с фельдшерницей в медпункте, хлещет спиртыгу и все такое прочее... Про начальника больше не вспоминали. Но был еще комиссар. Ходил тут, присматривался, и разговоры наши слышал, а толку что? Валяемся хуже свиней на голом железе, животы подвело, гальюн загажен не войти, везде наблевано теми, которых укачивает, разве так надо обращаться с защитниками родины, которые рвутся в бой, громить врага?

Голоса взвивались до наивысших нот, кто-то уже рвал на себе рубашку, кто-то бился в падучей — не поймешь, симулянт или взаправду, и некому было утихомирить этот разгул возмущения. И тут раздался клич:

— За борт их, гадов! За борт паразитов-начальников!

Вот этого только и не хватало, чтобы всех зажечь единым порывом. Дружно подхватили:

— Пошли за комиссаром!

— Пусть ответит, гад, за все!

— Комиссара за борт!

2.

Комиссар эшелона Борис Комаров спустился по узкому трапу в каюту — какую там, собственно, каюту, это был матросский кубрик, уступленный командой «Индиگیری» для размещения командного состава эшелона, — сел на край нижней конки, там уже кто-то спал. Огляделся: заняты уже все койки, кроме одной, верхней, видно, оставленной для него. Все выглядело очень прибрано, несмотря на разбросанные тела спящих в одежде командиров — выглядело так, вероятно, потому, что не было ничего лишнего. Собственно, здесь не было вооб-

ще ничего, кроме этих двухъярусных жестких нар, окрашенных желтой масляной краской. Борис Комаров любил, чтобы было прибрано, поэтому готовился ко сну со сладостным чувством умиротворения. Одно лишь мешало ему немедленно забраться к себе наверх и отдаться во власть Морфея: разуваться или не разуваться, вот в чем был вопрос. Хотелось как следует дать отдых ногам, ведь за последние сутки ему и присесть удавалось нечасто, неурядицы возникали то здесь, то там, всюду требовалось его вмешательство, а от непривычной неустойчивости поверхности, по которой он передвигался, все мышцы постоянно находились в напряжении. Он ходил, широко расставив ноги, поневоле осваивая морскую походку, старался не держаться ни за какие предметы, потому что все было холодным и мокрым от соленых брызг.

Никакой комиссарской статью он не отличался, знаков различия не имел, одет был в черную гимнастерку тонкого сукна, перетянутую широким ремнем, такие же бриджи и сапоги яловой кожи, обычный наряд мелкой сошки из вольнанаемного начальства. Однако его признавали, без иронии называли комиссаром в глаза и за глаза, видели в нем единственную власть, от которой можно было ожидать хоть каких-нибудь решений и распоряжений.

Ноги гудели. Но, с другой стороны, вот ты разувешься, а вдруг опять какой-нибудь экстренный случай... Так он сидел, упершись локтями в колени, опустив голову, один неспящий в этой заполненной дружным храпом малой полости корабельного чрева.

Впечатления прошедшего бурного дня грудились з его сознании. То и дело брали его в оборот раздраженные урки, в одиночку и группами, жаловались на скверную кормежку, а что мог он поделать? Маршевый паек утвержден наркомом обороны, никуда не денешься, отвечал ему начпрод, назначенный военкоматом. Вот уже придут на место, там отъедятся...

Усилился ветер — новая забота: жить на палубе стало невозможно, волна того и гляди начнет перекапываться через борт, а внизу и так все забито до отказа. Пришлось спускаться в твиндеки и трюмы, просить потесниться, выискивать проплешины в людском нагромождении, и что-то все же удавалось, безвыходных положений не бывает. Но порой совсем уж было невмочь, и тогда он барабанил в дверь медпункта, требовал, чтобы открыли, — все бесполезно. Военкоматовский служака отсыпался, наверно, после ночной оргии, а его подружка трусливо жалась в глубине своей конуры, не подавала голос. Даже когда Борис Комаров кричал, что есть больные с высокой температурой, ответом было гробовое молчание.

К вечеру все устали, остыли, утихомирились, На палубе остались только самые стойкие приверженцы свежего воздуха. Съежившись в углах, защищенных от ветра, они кутались в свои одежки и угрюмо огрызались на его призывы спуститься вниз. Сухощавый мужичонка лет тридцати, обряженный в новый, но безжалостно измятый костюм черного сукна и серую фетровую шляпу с обвислыми полями подмигивал ему и весело бубнил на все его уговоры: «Валяй, валяй, комиссар, проявляй заботу, такая твоя должность». Похоже, что он все время был под хмельком. Надвинув шляпу на глаза, мужичонка натягивал на себя потертое демисезонное пальто из серого бобрика и укладывался поудобней в закутке возле дымовой трубы. Ну что ж, вольному воля, спасенному рай. Обойдя в последний раз всю верхнюю палубу и убедившись, что помочь больше некому и нечем, комиссар Комаров спустился в каюту.

Комиссар? Да что он, собственно, за комиссар? Перед самой отправкой возложили на него эту роль устным приказом, не узаконив никаким документом. По сути дела, он такой же призывник, как все остальные, с той лишь разницей, что не бывший заключенный, а

вольнонаемный договорник. Дальстроя, член партии с двухлетним стажем. Он во главе прослойки. Для сплочения этого малонадежного контингента влили в него группу проверенных молодых людей, пять коммунистов и семнадцать комсомольцев. Одни были назначены командирами маршевых рот, тоже без письменного приказа, другие замешались в массу, чтобы осуществлять авангардную роль, поднимать настроение, не давать разгуляться блатному бесчинству. Двадцать два человека среди шестисот. Сила!

Комиссар все сидел на краю нижней койки и, решив наконец сапоги не снимать, поднялся с усилием, занес ногу, чтобы полезть наверх, как вдруг по ступенькам трапа застучала дробь поспешных шагов. Парнишка из комсомольского актива, споткнувшись на пороге, выпалил в запарке и смятении:

— Комиссар — сейчас придут — все урки — и будут — вас — бросать — за борт!

Комаров опустил ногу, замер у железной стойки, взявшись за нее рукой. Первое, что возникло в сознании, — пиратский бриг, полные трюмы сокровищ, старый вожак с черной повязкой на глазу и красной козынькой на голове, «yo-ho-ho, and a bottle of rum» — тьфу, дьявол, это даже не Стивенсон, это из нашумевшей мосфильмовской стряпни... За борт? Ни больше, ни меньше? Как можно принимать такое всерьез? Что-то паникует парнишка.

Паникует? А вдруг в самом деле? Брожение было заметно давно, причин для недовольства хоть отбавляй. И ведь не гимназический класс, это братва «еще та», они все могут...

За борт? Представилась тьма и холодное, бурное море. Не снять сапоги... Сколько можно держаться на воде? Куда плыть? Плыть некуда... Не хочется верить в реальность угрозы, но и совсем не считаться с ней тоже нельзя. А что предпринять? Запереться в каюте, попытаться выдержать осаду? Это только подольет масла в

огонь. Прибавит им наглости. Они презирают трусов. И правильно делают. Значит, выйти навстречу? Безоружным, беззащитным?

— Вот что, малый, — сказал комиссар Комаров, — Беги со всех ног, собери крепких ребят наших, понял? Пусть станут по обе стороны, у самого трапа. Пусть вида не подадут, зачем они здесь, пусть даже покрикивают вместе со всеми, но чтоб стояли стеной, если что. Ты все понял? Я выйду через пять минут.

— Ясно! — сказал парнишка и исчез.

Комаров присел и стал смотреть на часы. Секундная стрелка описывала свои круги с той механической неторопливостью, которая свойственна всему бездушному. Одна минута. Две. На третьей минуте, в паузах между ударами волн, послышался шумок, пока еще смутно, где-то там снаружи. На четвертой минуте шум приблизился и стал вполне явственным. Гул голосов нарастал, заглушал раскаты волны. Уже различалось: «Даешь комиссара!». «На правилку начальничков-гадов!» «Комиссара за борт!».

Пора, сказал себе Борис Комаров и стал подниматься по трапу.

А вдруг в самом деле бросят?

Он вновь попытался представить себе, как это произойдет. Вот он летит с шестиметровой высоты, плюхается в шумливые волны. Сапоги наполняются водой, намокает суконное обмундирование. Тяжесть и холод. До ближайшего берега сотня миль (морские расстояния измеряются в милях). Судно быстро удаляется, и ты обречен... Нет, кто-то должен же крикнуть «человек за бортом!» Есть же вахтенный помощник капитана, он даст команду «стоп, машина», бросят спасательный круг... А вдруг не бросят? И как найти его в кромешной тьме?

А тонут — как? Судорога сводит мышцы ног. Дергаешься, пытаешься избавиться от сапог, от набухшей одежды. Бесполезно, глотаешь воду. Соленая! Погружа-

ешься, раз и другой...

Говорят, что когда приходит конец, вспоминается вся твоя жизнь...

Вот так и кончилась гражданская война, говорил отец по случаю разрешения какого-нибудь конфликта.

Почему запали мальчику в сознание эти слова, одному Богу известно. Ведь отца он знал совсем недолго, едва успел немного привязаться к нему, как чахотка сгубила леккома военного времени, попеременно мобилизуемого то белыми, то красными.

И все-таки гражданскую войну он непременно помнил, то ли в мыслях, то ли вслух, когда накалялись страсти. Почему так? Ведь та воина не могла быть частью его биографии. Она-то нет, но отзвуки ее!

Вспоминалось, как ворвались в убогую квартирку чужие дядьки, орали что-то, искали кого-то, заглядывали под кровати, ругались грубо, а один, розовощекий и безусый, пальнул из винтовки в верхний угол, попал в лепной карниз у самого потолка. Бориске было не страшно, только очень любопытно, и потом он часто поглядывал на маленькое черное отверстие в простреленном углу, удостоверился, что все это было в действительности, а не приснилось.

Еще вспоминалось: едут они с матерью куда-то в битком набитом вагоне, сидят на чужих мешках, своих не имели. Вдруг снаружи раздается сухая дробь стрельбы, звенят стекла, шуршит что-то по железной крыше, все бросаются на пол, поезд резко ускоряет ход...

Переезды из города в город, от одних родственников к другим, прощания и встречи, то радушные, то унижительно холодные... Наконец, осели в рабочем поселке при большом подмосковном заводе.

Поселок был невелик, в нем жила едва ли половина работников, другая половина съезжалась на рабочих поездах к началу смены из соседних селений. Все жители знали друг друга и почти все друг о друге.

На краю поселка, чуть поодаль от двухэтажных бревенчатых домов стоял приземистый одноэтажный особнячок, тоже деревянный, мрачноватый с виду, хотя и с верандой. Вокруг дома, за невысокой оградой из штакетника пребывал в нетронутости уголок девственного, лишь слегка прореженного леса. Не было ни цветников, ни оранжерей, ни гравийных дорожек. Летом в глубине участка меж деревьев подвешивались гамак и качели, и тогда в этом то ли саду, то ли лесу можно было увидеть мальчика лет двенадцати и девочку чуть постарше. Они никогда не выходили на улицу, играли тихо, качались на качелях, ни с кем знакомства не вели, словно принадлежали к нездешнему миру, вроде привидений. Отношение к этому дому было отчужденным и в некотором роде опасливым, ему присвоили название Пустынникова дача, потому что жил здесь директор завода, носивший экзотическую фамилию: Пустынник.

Сам директор — невысокого роста, смуглокожий, молчаливый, — был фигурой еще более загадочной, чем его обиталище и его семья. Его никогда не видели разговаривающим с кем-либо на улице, дома у него никто не бывал и пригласить к себе никто не решался. По воскресеньям он уезжал в Москву на старом черном автомобиле диковинной иностранной марки.

В один прекрасный день директора Пустынника не стало. Никому даже в голову не могло прийти, что его «сняли», ведь дела на заводе шли как нельзя лучше. Он «исчез» выловил мальчик Боря из взрослых разговоров непонятное слово. То есть, оно было бы понятно, если бы в сказке. Скажем, привидение: появилось — и исчезло, ничего особенного. Но ведь это на самом деле — разве так бывает?

Пустынникова дача стояла пустая и тихая, от нее веяло какой-то потусторонней жутью. Никто из ребят, как ни велико было любопытство, не приближался к ней, даже не входил во двор, что-то незримое и неопре-

деленное отпугивало их пуще любой охраны.

Все это входило в сознание Бори Комарова как естественное течение жизни, не вызывая ни осуждения, ни тревоги, просто он вращался в окружающую действительность, не подозревая, что в ней что-нибудь не так, что она могла быть иной. Его друзьями были дети рабочих, в большинстве своем вчерашних крестьян. Он старался не отличаться от них ни в чем, ревностно усваивал их повадки, их лексикон, их образ мыслей. Бедность отнюдь не считалась пороком, пороком считалось богатство, а к богатым причисляли тех, у кого в погребе хранилась хоть какая заготовленная снедь, ею не грех было при случае поживиться. Узнавая время, шутили: «часы дома на рояли оставил, а рояль в форточку улетела» — роялю присвоен был женский род, такие уж были все знатоки.

Знакомились так: «Тебя как звать?» — «Борька». — «А ты хорошо учишься?». Это оскорбительное предположение следовало с негодованием отвергать: «Что ты!». Хотя в действительности учился он охотно и был одним из первых в классе.

Пай-мальчиков вовлекали в пионеры, Борис увиливал, как умел, от разговоров с вожатой, обещался прийти на сбор, но обещания не сдерживал, мешало сознание, что не раз слушал без осуждения и даже, случалось, подпевал популярный в те годы частушке: «Пионеры-лодыри, царя-бога продали, денег накопили — Ленина купили».

Не то чтобы он полностью сочувствовал заложенной в этой частушке идее, а просто не мог с таким багажом примкнуть к пионерам, ибо инстинктивно презирал двуличие.

Школу он любил, читать учебники было ему интересно: Цингер по физике, Лебедев по химии, Баранский по географии. Учителя были добры и снисходительны, особенно математик. Когда в седьмом добрались до логарифмов, он благодушно изрек: «Ну, это вам

не надо, это — кто в техникум пойдет...» Ходило подозрение, что он и сам-то в логарифмах не силен, ну и слава Богу, Подразумевалось, что ребятам из рабочего поселка одна дорога — на завод. Такое, чтобы после семилетки идти учиться дальше, никому и в голову не приходило, превращение в канцелярскую крысу или пусть даже в инженера при галстучке выглядело бы изменой.

Для Бориса же отрыв от компании заводских пацанов, с которыми жил душа в душу, было бы и вовсе невообразимой бедой, он только, среди них научился преодолевать свою природную робость, особенно развившуюся в ходе бесконечных скитаний, среди чужих людей, свысока глядевших на бесприютных. Эта робость усилилась еще больше от сознания своей незначительности и ненужности. Он знал, не по собственной памяти, а из разговоров матери с подругами, что был у него когда-то старший братик, но умер от скарлатины. Этот братик был любимый, и то, что погиб именно он, хотя болели оба, быть может, сказалось на отношении матери к младшему, Бориске приходилось слышать, как она рассказывала о покойном братике, таком смышленном, добром, ангельски хорошеньком, и сам проникался какой-то смутной виноватостью, что уцелел вместо него, И еще как-то мать обронила в разговоре с подругами, что сынок у нее некрасивый. С тех пор он стал при случае поглядывать на себя в зеркало. Ничего такого страхолюдного не замечал: кончик носа приподнят, но ведь не до безобразия, губы толстоваты, рот широкий, ну и подумаешь, веснушки по щекам, тоже не Бог знает какое уродство, зато лоб высокий, можно его нахмурить, тогда образуется эдакая суровая складка над переносицей, а можно вскинуть выгоревшие брови, и тогда получаются складочки продольные, равномерные, как у материи вельвет. В общем, жить можно, а глаза голубые, это, говорят, ценится превыше всего. Но все же материнская оценка глубоко запала в душу, ощущение второсортности не оставляло его потом чуть ли не всю

жизнь, не совсем исчезло даже тогда, когда выяснилось, что его наружность и в особенности стройная мускулистая фигура производили на окружающих (обоего пола) вполне благоприятное впечатление, и какая-то обреченность, опаска, стремление не высовываться, не гнаться за синей птицей, довольствоваться малым, искать партнеров под стать себе остались с ним навсегда.

Мать настояла на своем, она записала Бориса в восьмой класс. Средняя школа находилась в ближнем городе, ездить приходилось за семь верст рабочим поездом. По вагонам ходили слепцы, настоящие и поддельные, пели «Кирпичики» под гармонь или частушки собственного сочинения под прихлопывание ладоней, натренированных до такой степени, что стучали как деревянные:

«В Богородском городке
Два домишки рядом,
От чего здесь девки рябы —
Их побилло градом».

Борис ездил туда и обратно, но в школу не ходил. Слонялся по улицам, по берегу реки, играл в футбол с местными огольцами, если принимали, забредал на рынок-барахолку, где чем только не торговали, от поношенных сапог до деревянных ложек всяческого размера и назначения, да еще игрушками — лошадками, бычками, петушками. Резчики-умельцы завлекали покупателей разудалыми прибаутками: «Вот она, вот она, ночью сработана, днем продаем!». Здесь шныряло всякое жулье, надували деревенщину заезжие спекулянты. Борис просаживал обеденный двугривенный на самодельной, ярко расписанной рулетке и голодный возвращался с подходящим поездом домой. День за днем приставал он к матери, чтобы устроила в ФЗУ, куда пошли все его друзья-товарищи. Наконец, она уступила.

Опоздав к набору, он с яростью наверстывал упущенное, водил длинным деревянным подобием напильника по «прибору» в виде ящика без дна и крышки, но с переставной перекладной, вырабатывая горизонтальность движения инструмента, как предписывала система ЦИТ, Центрального института труда. Потом ему дали опиливать железную плитку под ледильную линейку и угольник, чтобы получился идеальный квадрат без перекосов и зазоров, потом он рубил молотком и зубилом зажатую в тисках пластину, бывало, что попадал по руке и гордился своими ссадинами не меньше, чем ветеран боевыми ранениями. Через полгода его поставили к фрезерному станку. Вот только тогда, в избытке чувств, признался он, матери про те полтора месяца, что проездил он якобы в школу, а в действительности приобщался к стилю провинциальной жизни эпохи заката нэпа. Мать всплакнула и смирилась со свершившимся фактом. А Борька влился в дорогой его сердцу рабочий класс.

Под выходной, с ночлегом, ездили специальным поездом, на открытой платформе, за двадцать километров на торфоразработки, помогать «торфушкам» в погрузке топлива для ближней электростанции, знаменитой, чуть ли не первой из серии ГОЭЛРО. Парни постарше участвовали в этих вылазках с большой охотой: считалось, что торфушки добры и доступны. Борису же было просто любопытно и не хотелось отставать от масс. По дороге, на ветру, горланили песни: «Ты, моряк, красивый сам собою...» или «Сами набьем мы патроны, к ружьям прикрепим штыки». Борька не участвовал в хоре, так как считал абсурдом, набивать патроны в порядке самодеятельности, на то были специалисты, а штыки, это он тоже знал доподлинно, прикрепляют не к ружьям, а к винтовкам. И еще он знал — от кого уж, не помнил — слова старой солдатской песни «Взвейтесь, соколы, орлами...», и ему было смешно, когда на тот же мотив распевали: «Комсомол, комсомол, пробил дорогу

к свету детям Октября...». Он вообще не мог заставить себя петь дурацкие песни. Еще в пионерлагере, куда он съездил единственный раз в своем детстве, он убежал подальше при первых же куплетах про «картошку, пионеров идеал», хотя печь ее в золе у костра научился и полюбил это народное лакомство. Другое дело, когда заводские парни затягивали песню про Чуркина: «Среди лесов дремучих разбойнички идут, в своих руках могучих носилочки несут... На них лежал сраженный сам Чуркин молодой...» Тут Борис был готов подтянуть. Чуркин со товарищи разбойничал в годы мировой войны — тогда еще не знали, что придется назвать ее «Первой» — то ли в подмосковных, то ли в муромских лесах, грабил исключительно богатеев — а кого же и грабить, как не их? Эх, любят в народе разбойничков!

И еще одна песня, из комсомольского репертуара, была ему не то чтобы особенно по душе, но вызывала странную сосредоточенность и тревогу: «Наш паровоз вперед лети, в коммуне остановка, иного нет у нас пути, в руках у нас винтовка». Роковая предрешенность чудилась ему в этих словах, он менял их местами, и получалось, что если уж винтовка у нас в руках, то иного пути нам не будет.

Фрезеровщик но штампам на вертикально-фрезерном станке — профессия не для слабаков. Можно было, даже предписывалось, применять цепной подъемник, чтобы поставить стальной куб штампа на «стол», по разве станешь дожидаться, пока освободится этот подъемник где-нибудь в другом конце цеха? Позорить время — это значит не выполнить норму, и дело тут даже не в зарплате, а в доброй славе. А посему бери своими руками четырехпудовый куб и водружай его на метровую высоту. Ничего, другие могут, значит и тебе сам Бог велел, даром что годков тебе всего шестнадцать.

А времена становились все безотраднее, появились карточки, а с рук буханка черного дошла до два-

дцати пяти рублей. Никаких путных продуктов не было вообще, лакомились черняшкой с солью, обмакнутой в постное масло.

Когда фрезеровщик выгрызает размеченную керном полость замысловатой конфигурации при помощи собственноручно заточенной двухлопастной фрезы, так называемой «перки», полагается надевать очки для защиты глаз от горячей стружки. Но если ты разогрелся работой, особенно летом, в жару, то очки запотевают, да и вообще через них видимость не та. А работа тонкая, посадишь шаблон с лишним просветом, врежешься чуть глубже, чем надо, в тело стального куба, вот тебе и брак, вычет из зарплаты, а пуще того — позор! Значит, к чертям собачьим эти очки, крути живой рукоятки, води закрепленный болтами штамп вверх-вниз, вправо-влево, всматривайся в очертания возникающей фигуры.

Однажды гнал Борис очередной штамп самой ходовой детали, рычага клапана для авиамотора, низко нагибался к вращающейся «перке», а из-под нее летели раскаленные до желтизны и даже до фиолетового оттенка колючие стружки. И вдруг ошеломила его резкая боль в левом глазу. Не успев даже толком сообразить, что произошло, он тронул пальцем пораженное место, нащупал жесткий кусочек металла и дернул его. В руке остался короткий стальной стерженек, похожий на чертежное перо, а резь в глазу сделалась такая, что хоть криком кричи. Борьку проводили в заводской медпункт. Две недели ходил он с повязкой. Собственно, не ходил, а прятался в занавешенной комнате, и далее здоровый правый глаз держал закрытым, потому что стоило взглянуть на свет хоть бы лишь этим глазом, как голову пронзала нестерпимая боль.

Когда все зажило, Борька стал видеть левым глазом лишь в половину прежнего. На точных операциях, на своем родном станке, было ему больше не работать. Куда теперь? Подался в столицу, разыскал Биржу труда, невзрачное здание на захолустной улочке вблизи Вин-

давского вокзала. Войти не решался, больно уж много толкалось тут искателей счастья постарше его. Подслушал из разговоров, что набирают станочников для «шарика», готового к пуску 1-го шарикоподшипникового завода, Кинулся было туда, но получил от ворот поворот: берут только москвичей, иногородних девать некуда, да и доверия к ним как специалистам маловато. Делать нечего, устроился в «Мосжилстрой», по специальности, которую тогда еще без стеснения именовали «чернорабочий», а между собой называли так: семеро наваливай, один тащи.

По выходным Борька Комаров ездил «домой», хотя домом считать свое недавнее жилище уже перестал: мать тем временем вышла замуж за пожилого, несимпатичного Борьке интеллигента, неуклюжего, высокомерного и капризного. Но мать есть мать, как ее не навестить, да и со старыми товарищами повидаться хотелось. Борька надевал парадные брюки, соскабливал с рук следы цементной пыли... Когда приятели спрашивали его, где работаешь, он небрежно бросал: да все там же, на «шарике». Но однажды, идя со стройки в заляпанной известью спецовке, увидел он вдруг у трамвайной остановки напротив памятника Пушкину знакомое лицо. Это был парень с их завода, не то чтобы друг-приятель, но все же... Борька вильнул в сторону, однако тот успел заметить его и окликнул. Борька сделал вид, что сие к нему не относится, и замешался в толпе.

Следующий приезд в родной поселок обернулся позорищем. Все уже знали, что работает он ни на каком не на «шарике», а принадлежит к сословию «сезарей», то есть сезонных строителей, съезжающих летом из деревень, чтобы подзашибить деньгу. Подразумевалось, что «сезарь» — не чета настоящим рабочим, истинный рабочий класс на «сезарей» поглядывал свысока, и Борькино падение превратило его в изгоя. Теперь, приезжая к матери, он прокрадывался домой окольными путями и встреч со знакомыми избегал.

Как-то прочел он объявление про набор на курсы по подготовке в вуз. Подал бумаги, внес требуемую сумму, был зачислен и начал, после смены, преодолевая дремоту, угрызая гранит науки.

На экзаменах в высокоавторитетный станкостроительный институт «Станкин» сначала все шло как по маслу. Но вот настал решающий день: математика. Тут Борька чувствовал свою слабинку. Особенно опасен был для него бином Ньютона, никак не мог он удержать в голове вывод заковыристой формулы. Послушав совета бывалых людей, написал себе химическим карандашом весь ход решения на предплечье, опустил рукав и осмелел. И надо же было так случиться, что среди четырех доставшихся ему вопросов последний касался как раз рокового биннома. Но неисповедимы пути удачи: Борька так разгорячился за решением предшествующих задач, что дойдя, уже в цейтноте, до последнего вопроса, так и не вспомнил про запись на левой руке. Он ломал себе голову, пытаясь проникнуть в логику ньютоновской мысли, пока не прозвенел звонок. В результате — досадная тройка.

Он нашел себя в списке зачисленных с оговоркой: без общежития. Прощай, «Станкин», прощай пригрезившаяся синяя куртка инженера. Когда он, угрюмый и бессловесный, забирал свои документы в приемной комиссии, дежурная барышня шепнула ему сочувственно: «Во втором МГУ недобор. Хотя он теперь уже не МГУ, а пединститут имени Бубнова. Дают общежитие. Всем». Ну что-ж, на безрыбье... Подадимся в педики, поглядим, что из этого выйдет. Не возвращаться же в «сезари»! И еще вспомнились похвалы экзаменатора его сочинению о Льве Толстом как зеркале русской революции.

Жили в общежитии на Трифоновской, возле Виндавского вокзала. Двухэтажные «стандартные» дома из деревянных щитов, снаружи оштукатуренные и окрашенные охрой, стояли у самых маневровых путей. Со-

седство было на руку юным неимущим провинциалам. Вечерами приходил деловитый дядя в железнодорожной форме, набирал охотников для ночной разгрузки вагонов. Возвращались к утру измученными и грязными как черти, но на другой день получали в товарной конторе хребтом заработанные червонцы, и уже не надо было в студенческой столовой топтаться перед немудрящим меню, выбирая чего подешевле. А вечером можно было и шикануть — шире, грязь, навоз ползет! Ходили с Пашкой Быковским, соседом по койке, вчерашним шахтером из Донбасса, в ресторанчик «с ревом», то есть выступали там какие ни на есть артисты. Рыхловатый лысеющий геркулес надтреснутым басом поведывал публике под баян, как несладко приходилось ему во время службы ямщиком на Волге, а пухленькая дамочка неопределенного возраста в темно-бордовом в обтяжку крепдешиновом платье, густовато напомаженная, глубоким контральто и слегка фальшивя, жаловалась во всеуслышание: «Обидно, досадно, до слез, до мученья, что в жизни так поздно мы встретились с тобой». Борька с Пашкой подпевали про себя «Обидно, досадно, да тпру, да ну, да ладно» и подливали в заказанное пиво «Русской горькой» из прихваченной четвертинки, варганили «ерша», не забывали, стало быть, что они рабочий класс, который, как было удостоверено поэтом, выпить не дурак.

Но за беспутные услады приходилось расплачиваться. Их с Пашкой, за то, что являлись в общежитие за полночь и «под мухой», чуть было не исключили, спасибо секретарю парткома, к которому они, явившись с повинной головой просить о заступничестве, поведали о своем рабочем прошлом. Отстоял их товарищ Русланов, серьезный был человек, хотя и молодой еще с виду, из аспирантов. Понравился Борьке его прямой и добрый, приветливый взгляд, запали в душу негромкие, простые, совсем не «политические» слова: «Что ж это вы, ребята? На вас ведь вся надежда!».

После разговора в парткоме Борька Комаров сказал себе: надо меняться! Самоусовершенствование стало его идеей фикс.

На четвертом курсе он влюбился. Впрочем, влюблен он был уже давно — во всех миловидных девушек на свете. Однако на этот раз он влюбился основательно. Тут не было места ни для какой легковесности, наоборот, все с самого начала выглядело чрезвычайно серьезно. Он заметил ее в круглой аудитории на общих лекциях по педагогике и психологии, на которые собирались поочередно слушатели разных факультетов. Она была историчка, садилась поодаль чуть наискосок от него, и когда он смотрел в ее сторону, взгляды их встречались. Ее глаза, большие, серые и широко раскрытые, поражали какой-то невероятной глубиной. В них, как ему казалось, сняли одновременно умудренность и любопытство, спокойствие и взволнованность, непорочность и греховный зов. После лекций Борис стал подлаживать свое продвижение к выходу так, чтобы в дверях оказаться рядом с нею. Это ему удавалось, и однажды он коснулся рукой ее руки. «Ах, пардон», — сказал он, — «я задел вас нечаянно». «Балда», — ответила она и зашагала вперед, не задерживаясь.

Как же быть? Вертелась в голове модная итальянская песенка «Скажите, девушки, подружке вашей...». Песенка была ерундовая, она ему не нравилась, но преследовала его неотступно, потому что попадала не в бровь, а в глаз. Но какие «девушки» могли бы оказать ему нужную услугу, ни с какими девушками он тесного знакомства не водил. Он стал наводить справки. Выяснилось, что она правоверная комсомолка, член комитета. Борька понял, что шансы его, отягощенного славой гуляки, отнюдь не высоки, но, с другой стороны, он утвердился в мысли, что именно здесь, в гавани всеобщей добродетели, ему и надлежит бросать якорь.

Преодолев наплыв застенчивости, которая завладевает нами тем сильнее, чем серьезнее наши намере-

ния, он решился, как ни банально это выглядело, пригласить ее в кино... Потом они гуляли, взявшись за руки, в Останкинском парке, и когда его рука, явно не без помощи, Ульяны, касалась ее бедра, он стал понимать, что нет на свете бестелесных созданий, одушевленных одними лишь помыслами о построении коммунизма...

3.

Ему предложили остаться в аспирантуре, она же рвалась на Дальний Восток. Почему? Он считал ненужным спрашивать. Далеким край, неосвоенный, его сокровища необходимо было поставить на службу ускоренного развития страны, где же, как не там, искать свое место в жизни высокоидеальной комсомолке?

Заключили договор с «Дальстроем». Борис Комаров искренне воодушевился перспективой преподавать русский язык и литературу в Магаданском педтехникуме для коренного населения, приобщая к европейской культуре эвенков, орочей и юкагиров, Ульяне предстояло там же преподавать историю. Все складывалось как нельзя удачнее, а размер полученных подъемных просто ошеломил Бориса, его бумажник вздулся пузырем от пачки сотенных билетов.

Целую неделю тряслись в плацкартном вагоне по Транссибирской магистрали, отмечали на карте звучащие как легенда названия: Красноярск, Иркутск, славное море священный Байкал... Под Благовещенском застряли посреди таежного перегона: вспучившаяся от дождей Уссури (как похоже на Миссури — отчего бы это) вышла из берегов, повредила насыпь. Стояли у моста через своенравную реку, бродили вдоль ее лесистых берегов, смельчаки — в их числе, разумеется, и Борис — уходили подальше вверх по течению и оттуда плыли в желтоватом бурном потоке, который нес подхваченные в леспромхозах бревна, вырванные с корнем деревья и даже целые островки с кустарником: на одном таком

островке топтался одинокий олененок...

Когда прибыли во Владивосток, выяснилось, что «Феликс Дзержинский», верный своему расписанию, уже ушел.

Месяц с лишним ждали следующего рейса, жили высоко над бухтой на перевалочном пункте «Дальстроя» большой дружной компанией «договорников», спали вповалку на измызганных циновках, варили в ведре над костром огромных розовых крабов, по дешевке купленных на базаре.

Чуть ли не прямо с корабля шагнул учитель Комаров в свой класс. Малорослые черноголовые парни и девочки пожирали его сияющими любопытством глазами. Он почувствовал себя долгожданным апостолом среди этих смиренных, послушных детей сурового северо-востока, жаждущих новизны.

В общежитии было шумно, беспокойно и очень похоже на пересыльный острог, потому что у входа дежурил охранник с берданкой. Постоянно кого-то встречали, кого-то провожали, допивались при этом до драк и поножовщины. В комнатухе на четверых, куда определили чету Комаровых, уже жила еще одна супружеская пара.

Борису бытовое неустройство было нипочем, но Ульяна возмущалась и чувствовала себя обманутой. Ее негодование он пытался смягчить неуверенными, робкими увещеваниями: ну, потерпим еще немного, обещали ведь дать отдельную, навигация еще не кончилась, уезжают люди... Она награждала его презрительным взглядом: не умеешь устраиваться! А он всеми помыслами и заботами растворился в полюбившемся ему техникуму. Но именно тут подстерегал его удар: техникум вдруг закрыли. Почему? Что дали этим ребятам взамен? Никто ничего не объяснял. Закрыли и все. На Колыме вообще ничего никому не объясняли.

Ульяне сразу же предложили место на курсах партийного просвещения. И тут же освободили под жилье

комнату в конце коридора в Доме партпроса, где прежде хранились старые плакаты и всякий хлам. Обставились казенной мебелью и зажили можно бы сказать припеваючи, если бы не неустроенность Бориса. Дни свои он проводил в блуждании по городу. Видел на окраинах серые заборы с колючей проволокой поверху и пышками на углах, ему попадались навстречу длинные колонны одетых в серые бушлаты, вяло бредущих куда-то безгласных, унылых людей, а по бокам шли конвоиры в форме с синими петлицами, вооруженная охрана, а сокращенно ВОХР. Сокращения даются для всех часто повторяющихся понятий, это экономично. Вот и для подконвойных, они же заключенные, вместо этого длинного слова была придумана — неистощимы ресурсы канцелярского аргю — своя аббревиатура: «з/к». С таким титулом значились они в служебных бумагах, а для множественного числа дробь удваивалась, писали «з/к з/к». В обиходе так и говорили «зэка», и только уж потом, годы спустя, когда знание об этой категории стало всенародным, вышло в употребление словечко «зэк», подчинившиеся грамматическим нормам великого и могучего русского языка: «зеки», «зэков», о «зэках»...

Бывало, колонны проходили совсем близко от него, они двигались по мостовой, а он по тротуару. Хотелось присмотреться к этим хмурым, бледным, понурым лицам, но он не решался остановиться и поглазеть, знал уже, что не велено, да и не хотел раздражать охрану, а с другой стороны, не желал оскорблять праздным любопытством и без того оскорбленных несвободой людей. Не было у него в душе и намек на отношение к ним как злоумышленникам. О давно уже знал истинную цену таким ярлыкам как «враг народа», «вредитель» и тому подобное. Шитые белыми нитками процессы, тридцатых годов прошли перед его глазами как чудовищный фарс, ибо он был тогда уже почти взрослым человеком и мыслящим существом. Насмотрелся он и киножурна-

лов, в которых до отказа заполненный зал вскакивал на ноги при появлении, а также при каждом упоминании имени вождя народов, и все хлопали в ладоши что было сил, хлопали до изнеможения, и каждый боялся первым перестать, все ждали знака, и тогда садились как по команде, сохраняя на всякий случай выражение восторга на лице...

Но ведь были, наверное, в этих колоннах и действительные преступники? Все так, да ведь на Руси спокон веков жило в народе сострадание к арестантам, какова бы ни была их провинность. «В воскресенье мать-старушка к воротам тюрьмы пришла...», «Бежал бродяга с Сахалина...», «Хлебом кормили крестьянки меня...», «Не стерпело мое сердце, я урядника убил». Да, он убил, он злодей, но что-то же предшествовало его злодейству?

На юго-восточной окраине города, за жалким, неухоженным подобием парка ширился примитивный стадион, всегда пустующий, а за ним возвышалась сойка, с которой виден был великолепный, совершенной формы залив: бухта Ногаево. Там у причалов всегда стояло какое-нибудь судно, другое маячило на рейде, это зрелище напоминало про страну «материк» — так говорили здесь обо всем, что не было Колымой — надо думать, с Соловецкого почина — хотя и сама колымская земля вовсе не была островом, а только сообщалась с остальной сушей по морю — и грустно становилось на душе у Бориса Комарова, добровольно загнавшего себя в этот забытый Богом край с его двумя несмешивающимися между собой, как масло с водой, человеческими массами — вольнонаемными (в/н) или договорниками и — з/к з/к!

Как-то Борис набрел на городскую библиотеку, обрадовался своему открытию, зачастил сюда и однажды попал на литературный вечер, посвященный Маяковскому. Вечер ему понравился, он написал про него заметку и отнес в редакцию «Советской Колымы» — ее

вывеску он давно приметил на угловом доме у центрального перекрестка. Заметку напечатали, безбожно ее переиначив. Он зашел объяснить по этому поводу, пожилой и серьезный заведующий отделом культуры подробно и нудно разъяснил ему какие-то обязательные требования к газетным жанрам, он вежливо возразил, разговор получился долгий, а закончился тем, что его пригласили в штат редакции. Деваться было некуда, и он согласился, хотя к газетам большого почтения не испытывал. Так Борис Комаров сделался литсотрудником или литработником, а сокращенно литрабом.

Его первый выезд на «трассу», как здесь называли всякую удаленную от Магадана местность, состоялся в компании с несколькими коллегами: нельзя было посылать новичка одного, он мог растеряться под наплывом неожиданных впечатлений.

Ехали вчетвером, не считая шофера. Впрочем, не считать его было нельзя, Эдик Кудряшко был не только кудесник баранки и знаток колымских дорог, но и наблюдательный натуралист, привозивший из поездок заметочки для рубрики «Родная природа». Компания подобралась, что надо. Славка Хмелевский, литсотрудник экономического отдела, худой и длинный, в роговых очках на тонком породистом лице, интеллигент до мозга костей, мыслями живущий не здесь, а в своем родном Ленинграде, о котором постоянно поминал в сравнении со всем увиденным («а у нас в Питере...»), сидел рядом с шофером, и извернувшись к заднему сиденью, выдавал один анекдот за другим. Сенька Боровиков, коренастый, жилистый ярославец с орлиным носом на побитом оспой добродушном лице, дергал рукой за воображаемую рукоятку спускового рычага и шипел в подражание унитарной воде в знак своего «фе» старому анекдоту. Илья Молочник, литсотрудник отдела информации, сыпал в свою очередь одесскими прибаутками и умолял Эдика не гнать так отчаянно и не завалиться в кювет.

Эти четверо достойно представляли многоцветье состава редакции, как впрочем и всего вольнонаемного «контингента» колымчан. Далеко не каждый ехал сюда только за длинным рублем. Если был какой-то общий признак, так это предприимчивость, готовность к риску и любопытство к жизни, а в остальном мотивы могли быть самыми разнообразными. Кто-то исправлял не сложившуюся карьеру, иные спасались от семейных неурядиц... «Что там за шум в соседней комнате?» — любил шутить Ашот Погосян, заведующий отделом информации. — «А это мои дети и твои дети бьют наших детей».

Как эти люди, такие разные, но не обделенные разумом и способностью судить о действительности, воспринимали особенности Колымы? Как относились они к длинным, серым, понурым колоннам, вяло бредущим в сопровождении бодрых, упитанных молодцов с винтовкой наперевес? К четырехугольным шатрам по углам «зоны», похожим на сторожевые вышки средневековых крепостей? К рядам колючей проволоки поверх «крепостных стен»? К короткой приставке «з/к» перед фамилиями расконвоированных «работяг» в коммунальных службах, конторских служащих и специалистов на второсортных должностях, подконтрольных неким в/н, которые далеко уступали им по уму и квалификации?

А вот так и воспринимали, как должное. «Замнем для ясности» — ходовое присловье тех лет. Делали вид, что нечему тут удивляться, что это в порядке вещей, как и тот факт, что сами они не з/к, а в/н, все нормально и Бобик сдох. Вероятно, вот также дети, народившиеся в семьях свободных граждан древнего Рима, и уж подавно в семьях патрициев, считали вполне нормальным, что их окружали рабы, а дети помещиков на Руси находили естественным, что им прислуживали дворовые мужики и дворовые девки.

Ехали не торопясь, в редакторской эмке, и Эдик Кудряшко, мастер вести разговор, рассказывал веселые истории. Прибыл прошлым летом на прииск «Ударник» новый з/к, колхозный бухгалтериска, схвативший десятку за вольное обращение с социалистической ответственностью. Был он пока еще неплохо упитанным, жирненьким даже, не успел отощать в забое. А тут как раз спаялось человек шесть-семь рецидивистов, задумавших драпануть на запад через якутскую тайгу. Ну, подговорили и этого. Убедили, что дело верняк, тут, мол, половина разбегается, и не было случая, чтоб изловили, а кто остается, тому хана, в зиму не замерзнешь, так околеешь от цинги. Поверил деревенский вахлачок, стал готовиться, куски от хлебной пайки все откладывал. Заметил как-то, что его компания собирается в одной палатке, а его не звали. Ну, думает себе, забыли пригласить, и — туда. К палатке подбирается осторожно, с оглядкой, и вдруг слышит: «Километров сотню пусть с нами пройдет, пока будет чего жрать, а как припасы кончатся, тогда лишь и приколем, чего зря столько мяса на себе таскать». Примчался бухгалтериска в ВОХРу, зуб на зуб не попадает, пот ручьями, языком не владеет, только мычит и трясется как осиновый лист. Ну, забарабали ту компанию, а бухгалтера перевели в другой легпункт, а то не миновать бы ему быть пришитому как легавому...

В Атке (стояла здесь поначалу авто тракторная колонна, из сокращения и получилось такое название), сделали большую остановку, зашли к знакомому из местных начальников. В момент соорганизовался стол. Сменялись одна за другой бутылки «чистого», зеленые и без наклейки. Закусывали толсто нарезанным салом, солеными огурцами и квашеной капустой. Борис, непривычный к таким возлияниям, разбавлял спиртягу из графина с брусничной водой, но и при этой умеренности за час с небольшим пришел и блаженнейшее расположение духа. А его новые друзья, каждый на свой лад,

демонстрировали ему питейные приемы бывалых колымчан. Славка Хмелевский, подняв наполненный до краев граненный стакан, и рассмотрев содержимое на свет против двухсотсвечевой лампочки, причмокивал с деланным удовольствием и опрокидывал обжигающую жидкость в широко раскрытый рот... Гут же откусывал половину, огурца, но все ж не удалось ему подавить припадок залиvistого кашля. Сенька Боровиков реагировал презрительной репликой: «Интеллигенция! Причем, гнилая». Сам он пропускал каждый свой стакан спирта под мануфактуру, то есть, вытирал губы рукавом и лишь затем неспешно приступал к еде. Однако он же первым и свалился на бок и был перенесен на кровать хозяина застолья. Совсем по иному проявлял себя Илья Молочник. Он энергично протестовал, когда ему наливали, обозначал ладонью разрешенную границу пониже середины стакана, а потом ухитрялся, сделав один лишь небольшой глоток, ускользнуть от уговоров и протестов с помощью какого-нибудь смешного еврейского анекдота. У него были причины уклоняться от излишества в питье: «я имею слабого сердца», так он это пояснял.

Веселье било ключом, и всем хотелось придумать что-то такое, чего еще не было. Блестящая идея не заставила себя ждать. Сеньке Боровикову, который, лежа на спине, отчаянно храпел, заголили живот, посплунявили и начертали на нем популярное слово из трех букв. Заправили рубашку в брюки, как ни в чем не бывало, подняли бесчувственного сотрапезника и повели под руки ночевать в заезжий дом.

Продрали глаза часам к одиннадцати следующего дня. «В баню!» — заорал Славка Хмелевский осипшим басом. «Чего они ржут?» — удивлялся Сеня, войдя в парную, а когда уразумел, почему его появление вызвало всеобщий взрыв веселья, гонялся с шайкой за своими друзьями-обидчиками и заставлял их поочередно тереть ему живот густо намыленной мочалкой...

С первых дней соприкосновения с колымскими нравами Комаров дал себе зарок ничему не удивляться...

На прииске, куда он был направлен, чтобы описать положительный опыт повышения добычи «металла» (слово «золото» находилось под строгим запретом), ему недолго пришлось заниматься изысканиями. Парторг — все корреспонденты по заведенному порядку в первую очередь представлялись парторгу, — смуглый разговорчивый южанин не прятал производственных секретов.

— Наш начальник прииска — большой голова! рассказывал он с благодушной, доверительной ухмылкой, откинувшись в широком деревянном кресле кустарного изготовления за также грубо сработанным письменным столом. Товарищ Сталин с трубкой в массивной, белилами окрашенной рамке, висел над ним, наблюдая с хитроватым прищуром за всем, что здесь происходит. — Что делает наш начальник? Он приказывает прорабам отмечать двум бригадам черту, до которой надо добраться при отработке забоя — ты понял? Две бригады, там двадцать гавриков и тут двадцать. А за этой чертой, она отмечает сто десять — сто двадцать процентов нормы, что стоит? Как думаешь? Конечно, бидон спирта! Ты понял? Кто первый дошел до черты, тому и достанется приз. Работяги — из кожи вон!

Блокнот оставался пуст.

В унынии от своей неудачи вернулся Борис Комаров в центр Горного управления. Перед кем излить душу? Зашел к председателю объединенного профкома Никите Мамалыгину, с кем выпивал еще при первом знакомстве, перед отправкой на «прииска» — так полагалось говорить здесь. Известно было, что Мамалыгин успел отбыть в здешних местах срок за какие-то преступления, однако были они не политического свойства и следовательно не препятствовали занятию ответственных постов.

Мамалыгин, полнеющий блондин под сорок, вальяжно восседал за письменным столом, а Комаров ходил по кабинету, взволнованно и сбивчиво толкуя о своих разочарованиях.

— Не будь младенцем, — перебил его Мамалыгин. — Сюда входящий, оставь свои иллюзии, сказано у одного не нашего классика. Или у него про надежды, по это один хрен. Классиков надо понимать расширительно. Тебе материал? Садись и пиши. Когда тебе требуются факты об успехах горняков, приходи ко мне и не мотайся по горам, по долам. Хозяйство Королева? Пожалуйста.

Профсоюзный лидер щедро делился драгоценными сведениями о самоотверженных деяниях вольнонаемного состава прииска: о добровольном продлении рабочего времени, о новинках в организации производства, рационализаторских предложениях и о добытых таким образом процентах. Борис записывал, пока не устала рука, но в конце концов засомневался:

— Слушай, получается, что-то твой материал, а не мой. Как же я стану подавать его за своей подписью?

— Как знаешь. Можешь и за моей. А еще лучше за двумя. Кстати, я скоро пришлю вам еще одну статью, о профсоюзных активистах. Напечатаете?

В особом кабинете столовой «комсостава» царил нездешний уют: низкие столики под торшерами были накрыты льняными скатертями, немолодой официант столичной выучки, разумеется з/к, склонив голову набок, записывал в блокнот желания гостей. Балык, салат из свежих огурцов с Дукчи, пригородного совхоза, солянка, бефстроганов и, конечно же, коньяк пять звездочек, а не какой-то общедоступный спирт... За обедом вспомнилось, что послезавтра праздник, годовщина Великого Октября, и Комарову не стоит теперь же возвращаться в редакцию, лучше остаться здесь и посмотреть, как отмечают всенародное торжество трудящиеся горного управления.

День выдался безветренно-туманным. У контор и общежитий с утра толпились граждане, вздымая транспаранты и портреты вождей. У двухэтажного рубленого здания школы размахивали флажками ученики. Где-то, не видный в тумане, опробовал свои инструменты духовой оркестр:

— Примкнем к кому-нибудь? — спросил Борис.

И не подумав, — возразил Никита Мамалыгин, с утра поправившийся после вчерашнего. — Пошли!

Они миновали немногочисленные колонны, в которые успели построиться трудящиеся, прошли главной улицей до окраины поселка и очутились на обширном поле, поросшем невысокой травой. Туман едва позволял видеть дальше собственного носа, но по известковой разметке Комаров распознал, что они находятся на стадионе. Пройдя половину беговой дорожки, они оказались перед небольшой трибуной высотой в человеческий рост, на которой уже кто-то стоял, за барьером виднелись желтые куртки из нерпы, ратиновые пальто и фетровые шляпы.

— Шагай сюда и не тушуйся! Мамалыгин повел Бориса по узкой лесенке наверх. — Вот здесь мы будем принимать парад.

Трибуна чуть пошатывалась. Комаров огляделся. Присутствовало все руководство во главе с начальником Горного управления. Кто дружелюбно, кто покровительственно, начальство отвечало на приветствие профсоюзного лидера, настороженно косясь в сторону чужака.

— Корреспондент. Из Магадана. Отразит в печати, — склоняясь к уху, пояснял Никита Мамалыгин, и все удовлетворенно кивали. У Комарова от смешения вино-коньячных паров, насытивших пространство над трибуной, слегка кружилась голова.

Меж тем внизу, по беговой дорожке, уже началось шествие. Первым проследовал духовой оркестр, вслед за ним колонны организаций и предприятий. Они про-

ходили и сразу же исчезали в тумане, а с трибуны раздавались в их адрес соответствующее профилю приветствия:

— Инженеры и техники! Боритесь за внедрение в производство передовых методов добычи металла!

— Советские геологи! Умножайте разведанные запасы полезных ископаемых!

— Водители и ремонтники! Своевременно доставляйте на прииска продовольственные и технические грузы!

Кричали поочередно, то сам начальник управления, то начальник политотдела или кто-нибудь еще.

Внизу в тумане замелькали медные каски.

— Советские пожарники! Самоотверженно боритесь с красным петухом! Ура!

— Ур-ра-а! — грянула колонна из трех шеренг по четыре в ряд.

Ребятишки проплывали щебетливой гурьбой, помахивая флажками.

— Пионеры и школьники! Учитесь только на хорошо!

— ... и отлично! — успел крикнуть вдогонку, перевесившись через барьер, Никита Мамалыгин, исправляя оплошность нетвердо стоящего на ногах заместителя начальника управления.

А шествие все продолжалось.

— Откуда их столько? — удивился Комаров, видя, как из тумана выплывают все новые и новые колонны.

— Они ходят по кругу, — пояснил Мамалыгин. — Если только раз пройти, то все закончилось бы очень скоро. Праздник есть праздник, и мы не хуже других.

Редактор сдержанно похвалил Бориса за совместную с Мамалыгиным статью:

— Не совсем то, что ожидалось, но для начала неплохо. Надо бы побольше конкретного опыта.

Пришла зима... Голубой автобус с передней дверцей, которую водитель открывает с помощью шарнир-

ного рычага, набит до отказа, преимущественно командировочным людям, «просто так», по семейным делам или в гости, тут никто не ездит. Двигались резво по гладко укатанной дороге, делали остановки на крупных промежуточных пунктах — Палатка, Атка, Мякит... Почему Палатка получила свое название, догадаться было нетрудно, про Атку Борис уже был информирован. А Спорный?

Когда-то место спора между геологами о перспективности дальнейших поисков в долине здешнего ручья, теперь это был крупнейший складской и перевалочный пункт перед единственным мостом через Колыму.

Спорненский мост, хотя и был построен всего лишь несколько лет назад, уже прославился своей драматической историей. Позапрошрое лето выдалось поздним, лед долго не таял, только вздувался под напором воды из южных притоков. А потом разом подскочил столбик термометра, да еще хлынули дожди, и ледовые массы двинулись с непредвиденной и неукротимой силой. Мост задрожал и грозил рухнуть каждую Минуту. В Спорном скопились сотни машин с грузами для приисков, на мост их не пускали.

В этот критический момент сюда прибыл начальник Дальстроя, комиссар госбезопасности первого ранга. Он недавно сменил на этом посту прежнего начальника, зачинателя дальстроевской истории, основателя большинства приисков, старого большевика. Новый начальник прибыл с поручением арестовать старого, подозреваемого в намерении продать японцам Колыму со всеми потрохами. Порядки при новом сразу стали намного круче, добыча золота повысилась, режим на приисках сделался строже, контрикам не стало никаких поблажек и весь штат вольнонаемных почувствовал над собой железную руку.

Комиссар госбезопасности прибыл в разгар наводнения, самолично выехал к мосту, проехал по

нему на своем ЗИСе туда и обратно и приказал: все груженные машины одну к другой впритык в два ряда загнать на мост. Специалисты рты разинули от удивления и от страха, но идею поняли: многократное утяжеление моста повысит его сопротивляемость. Риск огромный, но лучшего выхода не было, разрушение моста парализовало бы работу приисков. Трое суток стояли на мосту машины, трое суток не спали начальники, да и рядовые жители Спорного и близлежащих поселков. На четвертые сутки ледоход прошел и вода на реке спала до нормальной отметки. Мост устоял. Ореол славы нового начальника Дальстроя засветился еще ярче прежнего.

Мог ли Борис Комаров не разделять всеобщего восхищения монументальной фигурой комиссара госбезопасности? Ему было еще далеко до будущих прозрений, и уж никак не мог он Предположить, что полтора десятка лет спустя в московской квартире отставного комиссара в 3 часа ночи раздастся продолжительный, требовательный звонок. В предвидении этого ночного визита семью он накануне в полном составе отправил на дачу. Подойдя к двери, крикнул «сейчас», прошел в кабинет, вынул из ящика именной ТТ и выстрелил себе в висок. Многоопытен был комиссар госбезопасности первого ранга!

В Спорном заночевали. Шофер поставил машину на пароподогрев, длинная труба тянулась по периферии широкого двора, из неплотных стыков с шипением вырывался горячий пар. Шофер отыскал свободный шланг, прикрепил его конец к горловине радиатора — будет всю ночь поддерживать тепло в системе.

В центр Северного горно-промышленного управления поселок Берелех прибыли по времени чуть за полдень, но по ощущению — поздно вечером: до полярного круга рукой подать, день, едва начавшись, тут же сходил на нет... В густом, как молоко, морозном тумане на неопределенном расстоянии брезжил слабый источник света. Комаров побрел прямо на него по утоптан-

ной поверхности, которую он, здраво рассудив, опознал как центральную площадь. Дух захватывало от невероятно плотного, будто спрессованного воздуха. Ватные брюки, среди острословов известные как «инкубаторы», такая же телогрейка, полушубок из нерпы, подбитый овчиной, заячья шапка с опущенными ушами. На ногах «торбаза» — мягкие сапоги из оленьей шкуры, мех снаружи и внутри, меховые рукавицы — надежно защищали все части тела.

С ближайшей оказией он выехал на указанный ему прииск. Прораб, приданный в сопровождение, пояснял немногословно, что работы приостановлены по случаю необычайных холодов.

— Свыше пятидесяти пяти градусов... («ниже», мысленно поправил его Комаров, но смолчал) ... на работы гонять не имеем нрава. Так что не на хрен особенно смотреть, но уж раз приехал...

Шли по разрезу от участка к участку, и действительно, не на чем было остановить взгляд, кроме застывших в окаменелой неподвижности, промывочных приборов, дощатых участковых контор да обрывистых, трехметровой высоты, бортов разреза. Нигде ни души, только далеко впереди, у маячившего на высоком борту экскаватора, пылал большой костер и вокруг него сутились черные фигуры. Шли и шли, как вдруг Комаров заметил на небольшом отдалении, чуть в стороне, широкий и длинный штабель, укрытый брезентом.

— А что там?

— Хочешь взглянуть? — отозвался прораб со странной ухмылкой. — Пошли.

Приблизившись к штабелю, Комаров на глаз оценил его габариты: высота более человеческого роста, ширина метров пятнадцать, а длина уходящего вдаль геометрически правильного параллелепипеда не поддавалась определению, так как контуры сглаживались и искажались на расстоянии.

Что же хранят здесь с такой аккуратностью? По-

дойдя вплотную, Борис Комаров оглянулся на остановившегося поодаль прораба и, не получив от него никакого знака, приподнял угол брезентового покрытия.

Головы и ноги, головы и ноги, головы и ноги!.. Крест-накрест, тощие и длинные голые тела, серые, остекленевшие, сжавшиеся. Замерзшие головы, лысые, с обындевевшей путаницей полос, с обращенными кверху искаженными лицами, голые ступни с растопыренными пальцами...

Комаров отпрянул, уронив брезент. Боже, Боже, ведь все они были людьми! Какие судьбы заморожены в этих серых ледяных манекенах? Какие мысли гнездились в этих головах стиснутых, сплюснутых, съезженных, скомканных морозом? Нет. Нет и нет! Этого не может быть! Это наваждение какое-то. Сейчас видение исчезнет, и я увижу под брезентом — что? Дрова? Мешки? Говяжьих туши? Ему захотелось снова поднять угол брезента, но решимости не хватало. Он знал, что не ошибся.

Прораб стоял в сторонке и раскуривал папиросу. Комаров кинулся к нему, словно искал защиты от чего-то непонятного и очень опасного. Говорят: не поверил своим глазам. Но это говорят просто так, для выразительности. А ему действительно хотелось не поверить. Даже в самых страшных сказках не говорится про такое.

Невозмутимая повадка прораба привела его в чувство.

— Ну, что скажешь? — сощурился колымчанин.

Борис с усилием овладел собой. Вспомнил свой зарок: ничему не удивляться. Здесь все не так, как в обычной жизни. Здесь особый мир. Не выдай себя. Покажи, что ты тоже здешний. Сдержи нездешнюю дрожь.

— Похоронить их сейчас невозможно, — деловито пояснил прораб. — Земля промерзла, возьмешь только взрывом. Так что до весны...

— Понятно, — сказал Комаров, и они зашагали дальше.

А что делать? Побежать к начальникам, взывать к человечности, протестовать, обвинять, требовать чего-то? Или пойти написать письмо товарищу Сталину, который ни о чем таком не знает? Ни на что подобное ты не способен, как не способен и этот прораб, и никто из здешних «граждан-начальников», а ведь они такие же люди, как ты. Нет в тебе ни сил, чтобы что-то изменить, ни безумства, чтобы сделать отчаянную, но бесплодную попытку. Ты слишком хорошо все понимаешь, вот в чем твоя беда. «Безумству храбрых поем мы песню...». Да, песню петь, на это мы горазды. Отгородись возвышенными лозунгами от жуткой прозы бытия, и тогда все нипочем.

Голова идет кругом... Нельзя показать, что ты поражен, возмущен, подавлен. Надо делать вид... Кто он, этот прораб? Может, он вполне порядочный человек? Все равно, на всякий случай надо делать вид... Всегда и везде делать вид, изображать, что ты — как все, ты здешний, наш, ты целиком и полностью за. Штабель? Ничего особенного.

А где-то в глубине, на потаенном уровне сознания: струсил? Согласен играть в эту игру? Жуткую игру, где ставка равняется жизни. Ради сбережения собственной шкуры? Или просто из сознания своего бессилия, эх, да что там — ничтожества! Да, вот именно: кто мы такие, чтобы «выступить»? Что можем мы, простые смертные? Уж если «соратники» склонили голову в покорности и самопроклятии...

Кто только у нас не капитулировал перед жестокой и неумолимой силой! Большая загадка? Да нет же, чего проще: «пред властью смиренные рабы»! Это знал еще Михаил Юрьевич Лермонтов.

Да, никуда не денешься, надо делать вид. Надо скрыть, что ты несогласный. Притворись, уйди в себя. Чтобы можно было жить среди людей. Утаи, что ты не такой, как все... Стоп, не слишком ли велико твое самонимение? Может быть, и другие рассуждают не иначе,

чем ты? Такой вот огромный театр, всенародное при творство. И каждый уверен, что он не «один из них».

Шаг вправо, шаг влево... Не выходи из строя. Иначе тебе будет худо, и общество отторгнет тебя.

А если бы черт не занес меня на Колыму, я ничего этого не знал бы? Презирал бы Бухарина за его самооговор, иронизировал бы втихомолку над разговорами о врагах народа, и только?

Короче говоря, героем тебе не быть. Но не быть и соучастником злодейства. Ты обречен быть сиротой, как тот Дубровский, про которого так прочувствованно поет первый тенор державы. Самое большее, на что ты годен — в силу внешних обстоятельств и внутренних свойств твоего характера — это стать свидетелем, но свидетелем безгласным, у которого никто не спрашивает показаний.

Значит, смириться? Суждены нам благие порывы, но свершить ничего не дано, золотые слова! Привыкни: ты свидетель безгласный.

Так обуздывал Борис Комаров свое негодование и ужас.

Еще и годы спустя, когда его прижимали жизненные обстоятельства, он говорил себе: не жалуйся на судьбу, тебе еще повезло, ты не попал в тот штабель...

Не сосредотачиваться на этом, не думать, приказывал он себе. До сих пор самое большое варварство, о котором говорили открыто, было на счету германских фашистов: костры из книг на Унтер-ден-Линден, разгром еврейских лавок, преследование коммунистов и независимо мыслящих интеллигентов. Борьба за власть внутри нацистской верхушки, суд над Георгием Димитровым, на котором они осрамялись. То ли дело у нас! Все наши процессы прошли без сучка, без задоринки. Все сознались, всех покарала пролетарская десница... Так следовало думать. Только так и не иначе! А лучше всего — не думать совсем. Не думать, не думать!

Показались вышки на пригорке, проволочная

ограда, за ней приземистые длинные бараки, из железных труб струился жиденький дымок. А внизу, у дороги, ведущей к лагерю, стоит брезентовая палатка. Брезент — это только внешняя оболочка, защита от пронизывающих ветров, а под ней два слоя фанеры и засыпанное шлаком пространство между ними. В таких палатках, группирующихся на краю поселка, жил вольнонаемный персонал младшего и отчасти среднего звена. Но эта палатка стояла особняком и была помечена красным крестом над входной дверью.

— Можешь зайти, погреться, — сказал прораб. — Там должен кто-то дежурить.

Борис вошел, прораб остался снаружи.

У самого входа, в закутке, похожем на будку уличного сапожника, сидел на табуретке мужчина средних лет с крупными одеревенелыми чертами лица. На нем кроме обычной лагерной одежды был фартук из дермантина, а перед ним столп низенький столик, обтянутый таким же кожмитом. На столике, как бы в довершение сходства с сапожной мастерской, лежали большие то ли сапожные, то ли слесарные клещи с блестящими отточенными кромками. На полочке, прибитой к стене, выстроились в ряд банки с растворами. В углу каморки — ведро, прикрытое куском фанеры. В центре палатки топилась железная печь, а вдоль стен стояли лежаки, застеленные серыми вигоневыми одеялами поверх тощих матрасов.

— Здравствуйте, — сказал Комаров.

— Здравствуйте, — ответил заключенный, не вставал.

— Вы здесь... дневальным?

— Получается так, поскольку нет притока пациентов.

— Пациентов? Вы принимаете больных? А с чем они обращаются к вам?

— Я ампутрую отмороженные пальцы ног, — ответил з/к и с вызовом посмотрел Комарову в глаза.

— Уж не этими ли клещами?

— Да, этими самыми.

Боже, неужели такое бывает!

— Послушайте, — почти крикнул Борис, — да вы же варвар!

— Ошибаетесь. Я кандидат медицинских наук.

— Извините, — пробормотал Комаров и вышел.

— Ты все понял? — спросил прораб.

Комаров не ответил. Он как будто бы даже не слышал вопроса. На него навалились, подмяли его под себя противоречивые чувства: мучительный стыд за то, что он здесь разгуливает как вольный казак, но в то же время бурное, стихийное, животное торжество по тому же самому поводу. И тут же он ощутил какое-то смещение в своем сознании. Он перестал воспринимать себя как самодовлеющее, себе принадлежащее и живущее своей собственной жизнью существо. Он признал и принял как должное свалившееся на него жизненное предназначение: свидетель.

Но кто такой свидетель в этом странном судебном процессе, который называется жизнь? И каковы другие его участники? Прокурор — это ясно, он указывает, как делать нельзя. Адвокат — совсем другое дело, он уверяет: ничего, можно и так. Судья — он поучает: надо вот так-то и так-то. А свидетель? Он только воспроизводит то, что есть на самом деле, он и сам может не знать, как надо. Но бывает свидетель защиты и свидетель обвинения. Смотрят на дело с разных позиций? Или видят дело так, как нужно патрону?

И еще он почувствовал себя прохвостом и трусом. Вот завтра или послезавтра он уедет отсюда, вернется в свою редакцию, сядет в тепле и уюте за письменный стол и станет сочинять статью про успехи на вскрыше торфов бригад прораба Дементьева, но никому кроме близких друзей — ни слова не скажет ни про штабеля замороженных покойников, ни про то, как ученый медик сапожными клещами откусывает обмороженные

пальцы!.. Не скажет! Но и не забудет. И никогда не произнесет похвального слова в адрес того, чьим именем это вершится.

И еще он спрашивал себя, в стыде и горечи, почему не меня, почему только их, чем я лучше, или, вернее, чем хуже? Ну, ладно, я не ровня тем, кто на театральных судилищах был унижен, растоптан, доведен до самоуничтожения. Они были заметны, они мешали, они отбрасывали тень. Но эти люди, про которых поются лихие куплеты, «высокие горы сдвигает советский простой человек», от них то чем я отличаюсь? Разве не слышал и не пересказывал я анекдотов почище, чем знали они?

Вот, пощадила меня судьба. Обошла стороной. Значит, это кому-нибудь нужно?

Теперь не он сам, не его помыслы, желания и будничные поступки становились для него существенными, не его жизненные цели, намеченные когда-то, были ему дороги, а он сам становился кому-то необходим, как обладатель знания. Кому? Отечеству? Богу? Неизвестно пока, но он обязан был запечатлеть и удержать в памяти все увиденное и услышанное.

В общем, приходилось привыкать. Только самому бы не попасть под колеса! Осторожность и еще раз осторожность! Как все... Но это же рабство, духовное рабство! И вдруг однажды все-таки сорвешься и загремишь? А потом — под брезент?..

Вопросы преследовали его. Но он помнил: здесь вопросов не задают. Принималось как должное, что бесчисленные отряды заключенных, незаменимой «рабсилы» приисков, подразделялись на контриков, блатных и бытовиков, и хотя все они обозначались одним титулом з/к, отношение к каждой из трех категорий было особым. До сей поры и Борис Комаров воспринимал эти данные без лишних эмоций, как любые прочие необходимые сведения из учебника жизни, они не имели ни цвета, ни запаха, как инертный газ. Теперь

они обрушились на психику тяжким, давящим комом.

Его сознание странным образом раздвоилось. Одна его половина, близкая к сердцу и потаенная, хранила впечатления, вызывающие боль и протест, другая, которая определяла его поведение в повседневности, позволяла идти в ногу с жизнью.

С женой разговора на эти темы не получалось. Какое нам дело? Мы здесь люди временные. Ее ничто не смущало, она целиком полагалась на мудрость товарища Сталина и считала месяцы до возвращения в родную Москву, где накопленные тысячи обещали обмен квартиры, новую мебель и каракулевое манто.

Борис все больше уходил в работу. Как ни тяжело было смотреть в отрешенные лица каторжан, существовало еще и неподдельное воодушевление вольнонаемного коллектива борьбой за выполнение и перевыполнение плана добычи металла, до зарезу нужного стране. Он искал и находил примеры трудового подвижничества и хозяйственной сметки, писал очерки о передовиках, критические статьи об отстающих. На втором году своей работы в редакции он подал заявление о приеме в ВКП(б). Зачем? На всякий случай? Да нет, причина была чисто деловой. На собрании ему задали стандартный вопрос: из каких побуждений желает он вступить в партию. По простоте душевной Борис Комаров отвечал: приходится по долгу службы обращаться к партийным работникам, искать совета и поддержки — беспартийному в таких ситуациях бывает неловко. Эх, с какой же яростью набросился на него член партбюро, тощий и желчный ортодокс Шубейкин, которого все побаивались: это что же за мотивация решения связать свою судьбу с партией Ленина-Сталина, стать коммунистом? У Бориса шевельнулась мыслишка: статья? Да разве коммунистом становятся с момента поднятия рук или выдачи партбилета? Но он благоразумно смолчал. Возражать Шубейкину было бесполезно. Было известно, что он давно уже сидел на четвертой главе «Краткого

курса» и не уставал поражаться гениальности ее создателя: ведь это надо, так суметь изложить материал, чтоб даже он, Шубейкин, член партии с пятнадцатилетним стажем, ничего не мог понять!

Больше никто ни к чему не придирался, вопросы задавали пустые и как бы от скуки. Странно, думал он, почему же никто из вас не торжествует, ведь приходит пополнение в вашу когорту, в вашу семью, умножается хоть на самую малость ваша сила и ваше влияние? Никаких эмоций? Стиль, что ли, такой? Указав Борису Комарову на определенную незрелость и необходимость упорно работать над собой, парторганизация проголосовала за прием его в кандидаты.

Два года и четыре месяца, предусмотренные договором, промелькнули хвостатой кометой, прочертившей границу между «до и «после». Обратный путь был невеселым. Один неугомонный отпускник, допившись на корабле до белой горячки, во Владивостоке скончался. Говорили, смена климата влияет. В московском экспрессе старый интеллигент-геолог откупил за двадцать пять тысяч на целые сутки вагон-ресторан и приглашал, проходя по вагонам, принять участие в пиршестве всех, чье лицо ему казалось знакомым. Ничто не радовало и даже не развлекало Бориса, одна неотвязная мысль терзала его: как жить дальше? Семейное счастье не состоялось. Супруги часто ссорились, предметом конфликта чаще всего было отношение к жизненным благам, к практическим навыкам по приобретению тех или иных предметов, по ее мнению необходимых, а по его лишним, но вдруг в апогее озлобления друг против друга что-то случилось, нечаянное соприкосновение рук или прямой взгляд глаза в глаза, и их словно электрическим зарядом бросало друг к другу, и забывалось все, все, все... Но потом, позже, отчуждение возвращалось. Что с нами будет дальше, спрашивал себя Борис. Ну ладно, поглядим, что покажет Москва.

Москва показала, что он не умеет жить. Об этом

ему в лицо заявила свояченица, принимавшая деятельное участие в хлопотах по размену квартиры. Надо было где-то кому-то подмазать, чтобы удался лучший вариант. Борис оказался к этому неспособен. Супруга угрюмо молчала.

В переулочке у Рождественки открылась неприметная забегаловка, где торговали пирожками и водкой в разлив. Все чаще и чаще ноги несли Бориса к тому заветному углу. А полагавшийся колымским договорникам отпуск в полгода длиной уже подходил к концу, и надо было что-то решать. Собравшись с духом, Борис явился в представительство на Пушечной и продлил свой еще действительный договор.

День возвращения в Магадан запомнился Комарову на всю жизнь. Было воскресенье, ласково светило солнышко, когда он сошел на берег в бухте Ногаево с одним чемоданом в руках. Знакомый автобус, синий, с одной дверцей, довез его до центрального перекрестка. Не было еще известно, где он будет жить и Борис направился в сторону ресторана. Необычное безлюдье насторожило его. Вдруг будто вымерла улица. Что случилось? Из какого-то открытого окна доносился тревожно-внушительный голос, неясно слышались какие-то исполненные грозного значения слова. Не замечая веса чемодана, Борис рванулся по лестнице на третий этаж, застучал в дверь. Ему открыл пожилой интеллигент в пижаме, без вопросов впустил в прихожую, указал, рукой на общую кухню, где под блиновидным черным громкоговорителем толпились жильцы всех трех составляющих квартиру комнат.

«... Наши войска оказывают противнику решительное сопротивление...»

— Война, — шепнул-пришельцу седовласый интеллигент в пижаме. — Бомбили Киев и Минск.

4.

Комиссар эшелона Борис Комаров медленно поднимался по трапу.

Бросят за борт?

Закон стихийного бунта: вперед, не разбирая броду, сметать все, что встретится на пути, казнить любого, кто подвернется под руку.

Ну нет, голубчики, со мной этот номер не пройдет! Вот они стоят по обе стороны, неприметные надежные ребята. В обиду не дадут.

Он неторопливо переставлял ноги, ступенька за ступенькой, держась за поручень, сопротивляясь качке. Смотрел вверх. Видел руки. Руки тянулись ему навстречу, костлявые, длинные, а желтый свет палубного светильника отбрасывал от них на стенку наклонного коридора гигантские черные тени. Эти тени двигались хаотично, сдвигались и пересекались, скользили по лицу.

И вот он уже на палубе. Парни из охранения сдерживают плечами напор толпы. Куда теперь? Не произнося ни слова, все равно ничего не было бы слышно, лишь знаками подавая команды своим защитникам, прокладывая путь к канатному ящику. Почему именно к нему? Что значил для него канатный ящик, для человека сухопутного, всего лишь в четвертый раз вступившего на борт морского судна? Пожалуй, он не смог бы это сразу объяснить. Некогда было соображать, надо было повиноваться инстинкту, а инстинкт подсказывал, что необходимо возвыситься над толпой.

Напор не ослабевал, комсомольцы упирались изо всех сил, по вокруг комиссара не было свободного пространства, вместе со своими охранителями он был затерт и сдавлен среди разгоряченных движущихся тел. Однако протискивался вперед, отчаянно и безоглядно. И наконец, вот он, канатный ящик. С него огляд на все это стоголовое бесиво. Теснятся, прут друг на друга,

рвутся к нему, видят в нем живого врага, жаждут расправы.

Как перекричать завывание ветра и рев толпы? Спасибо, голосом, молодым и зычным, Бог не обидел. Чем же их пронять, каким волшебным словом?

— Товарищи бластные!

Притихли на секунду, и раздался хохот. Что и говорить, такого обращения никто не ожидал. По тут же спохватились: болтать-то ты горазд, на митинге в порту тебя слышали, там речь толкал никто другой как этот самый сопливый комиссар, все тот же фраер, долдонил сука, на сытое брюхо, мол, родина зовет и все такое прочее. За борт его!

Еще яростней, стали орать, подогревая ненависть свою и ожесточение, свистели в четыре пальца, поносили последними словами.

Хорошо, будем говорить на вашем языке. Вы меня в три этажа, а я вас в четыре! Кто-то отозвался невольным смешком, кто-то прислушался, оценивая искусство, стало чуть потише, самую малость, — не зевай, врывайся в эту брешь, говори, говори, говори!

Как удалось ему их всех перекричать? Сказалось возвышение над толпой? А дальше что? Запас ругательств истощен, трезвоном лозунговых фраз долго не продержишься. Чем же пронять это дикое буйство, как добраться до человеческого в душах?

— Ну так слушайте меня, вы, урки-бляди! Вы думаете, я не знаю, зачем бунтуете, зачем хотите швырнуть меня за борт? Не затем вы подняли шухер, чтобы добиться правды, а затем, чтоб не идти па фронт. Вот какой у вас прицел! Что, разве не угадал? Пришьют статно еще ту, и по новой на прииск. Припаяют срок на три войны, а вам того и надо! Башка сварили только так, на хрена нам этот фронт приснился, ведь там стреляют, могут и ухлопать. Вот у вас и засвербило в жопе, смекнули, лучше уж опять под крылышко к вохре. Скажете, что не так? А там, на фронте, худо. Фашисты рвут-

ся к Волге. Наши бьются из последних сил. За землю, за волю. Там редуют ряды. Там ждут пополнения. Там ждут лихих ребят, кому сам черт не брат. Нас с вами ждут!

Кто подсказал ему эти слова? Они возникли сами по себе, из жгучей потребности овладеть этим разгулом стихии, подчинить события какой-то логике. Стали утихать выкрики, перестали тянуться руки, а он все говорил, говорил, и не мог остановиться.

— И в тылу несладко. В тылу голодают, последнее отдают фронту. А вы не хотите потерпеть несколько дней после вашего колымского обжорства. Так ведь там вы вкалывали, а здесь бездельем маетесь!

«Измором хочет взять», — буркнул кто-то вблизи его трибуны, но он не слышал. Продолжал говорить и вглядывался в даль. Там от сгрудившейся массы отрывалась то одна, то другая фигура: становилось неинтересно. Зашевелилась, начала разреживаться и середина. Толпа рассасывалась. И только вокруг него, у самого канатного ящика, еще топталась кучка бунтарей, то ли из самых упорных, то ли из увлеченных его рассуждениями и желающих слушать дальше. К ним примыкали другие, из дальних, подтягивались, толкаясь, на место ушедших.

А между тем на востоке уже занималась заря. Ветер стихал.

Как быстро промелькнула ночь! Комаров умолк на минуту, глядя вслед разбредающим фигурам. Поведя головой, он пошатнулся, и тут же понял, что смертельно устал. А остающиеся тем временем сдвигались поближе, образовывалась плотная группа. Мужичонка в серой фетровой шляпе с обвислыми полями выпалил вдруг визгливым фальцетом:

— Ну и врать ты здоров, комиссар!

Смеются! Это уже хорошо.

— Ну, вот что, братва, — сказал Комаров. — Кто не против продолжать разговор, айда на ют, сядем рядком,

поговорим ладком. Там разберемся, кто врет, кто правду говорит.

Он понял, что понравился этим людям. Знал, чем понравился: тем, что не струсил.

Долго сидели на скамьях со снимками, ввинченных в палубу у кормовой рубки, вели спор о том и о сем, сначала наседали друг на друга, потом поутихли страсти. А солнышко вышло из туманной дымки у горизонта и медленно, по отлогой траектории поднималось над уснувшим морем. Гигантской опрокинутой чашей серого стекла лежала, едва колышась, бескрайняя водная масса, притихшая и покорная, словно уставшая от бесчинства. Лишь тянулся павлиньим хвостом след «от винта за кормой», бежали волны, исчезали вдаль, хорошая песня была про море, Утесов ее певал... Вздремнуть бы сейчас, унять бы дрожь в теле, то ли утренняя прохлада ползет в рукава, то ли нервы разгулялись...

— Ты объясни, комиссар, если ты такой ученый, почему фашист наших теснит по всей линии? Под Москвой уже побывал, так? Ленинград зажал в кольцо, так? Теперь прет на Кавказ и к Волге. А кто говорил, будем бить врага на его территории?

Кудлатый рыжий здоровяк кривит губы в ехидной ухмылке, глядит сощурившись насмешливыми глазами, сидя нога на ногу на краю скамьи и раскинув руки вширь по ее спинке.

— А чего тут не понять? — встречается худой и весь какой-то серый, со впалыми щеками, все время беспокойно ерзающий субъект. — Это же они, суки-контрики, продали Россию Гитлеру, мало ты их на Колыме повидал?

— Ну, спасибо, уркаган, выручил комиссара! Ему-то самому такой ответ никак уж не пришел бы в голову.

— Хреновину городишь, — отозвался коренастый конопатый мужик и новеньком зимнем пальто, валенках и зимней шапке. — Мы тоже с батей были вроде бы контра, статью подходящую дали. В тридцатом раску-

лачивали нас. Сперва на высылки согнали, никакого имущества брать не велели, и припасов тоже. Корову забрали, а телку мы загодя зарезали, мясо порубили, взяли с собой. Для прокорма. Судила тройка. Батя плачет селезьями, говорит, пропали бы мы без этого мяса, а они допытываются, кто резал и кто мысль подавал. Я говорю, я резал, а брат сворит, нет я, почто людей обманываешь, я резал, а ты только держал. Дали обоим по десятке и в лагеря.

— Вместе отправили? — спросил кто-то.

— Сперва вместе, на шахты в Караганду. А потом меня сюда, на прииска. Тут мой срок и кончился.

— Значит, ты на фронт, а он, что ли, там остался?

— Там остался. Совсем остался. Придавило в забое за прошлый год.

5.

Борис Комаров, литсотрудник «Советской Колымы», шел по прииску с возвышенным названием «Большевик». В дальнем углу вскрышного забоя хилый сгорбленный з/к в ветхом бушлате медленно и неумело долбил смерзшийся галечник большим железным ломом, совсем ему не по рукам.

— Гражданин начальник, угостите закурить!

Комаров достал пачку «Беломора», выбил папиросу из надорванного угла, протянул доходяге:

— Держи.

— Ох, спасибо, гражданин начальник! Хотите, я вам арию Ленского спою? Я артист Большого театра.

— Не надо. Пятьдесят восьмая?

— Она самая. Пункт десять. Восемь лет.

— Анекдот рассказали?

— Никак нет, только выслушал.

— Возьмите, — Комаров протянул пачку, на всякий случай оглянувшись. И зашагал быстрее.

Да что артист! Не выходила из головы совсем другая встреча. Как-то летом, еще в первый срок его корреспондентской службы в этих краях, шел он по разрезам того же «Большевика», этот прииск был из крупнейших и на виду у начальства. Стояла совсем не северная, впрочем, нередкая для здешних континентальных мест июльская жара, у промывочных приборов шуровала голая по пояс рабсила, надо было торопиться, пока не начали усыхать ручьи. Вольнонаемные десятники и бригадиры из заключенных подгоняли запарившихся работяг. Те и сами не ленились, знали, что большой намыв означал и лучший харч, и лишнюю чарку спирта, да и в ведомости на денежную выплату разбухали заветные цифры, годные малой частью для лагерного ларька, а большей — для манящей где-то вдалеке вольготной жизни на свободе.

Борис Комаров, как многие из нас, имел обыкновение напевать что-нибудь маршевое в такт быстрой ходьбе. В голове вертелось, неизвестно, в силу каких уж там законов подсознания:

«Над страной весенний ветер веет,
С каждым днем все радостнее жить...»

Вид приискового участка, именуемого разрезом, был ему уже не в новинку. Он шагал по плотной, слегка бугристой поверхности отработанных площадей, не озираясь и больше не удивляясь тому, как разумно устроила природа золотые россыпи, облегчив добывание металла, которому суждено было стать мерилom ценностей земных. Но отдать его решила не первому встречному, разбросала вдоль диких, суровых притоков самых северных рек, там где-то Юкона, здесь — Колымы.

Многие тысячи лет назад великое оледенение истирало горные кряжи, а затем на земле потеплело, хлынули с гор потоки, покатались обломки горных пород, измельчаясь и по мере угасания скорости течения откладываясь в долинах. Смена зимней стужи и летней

жары дробила скалы, дожди наполняли влагой трещины вдоль кварцевых жил, мороз крушил их стенки расширением льда, а вешние ручьи влекли раздробленные камни, обкатывали их, выносили из ущелий в пологие долины. И тогда в ложах ручьев, среди месива камней и глины, оседали желтые частицы, выплавленные когда-то в раскаленных недрах земли. Золото попадалось то мелкими и тонкими пластинками, то сгустками причудливой формы, то шариками величиной с горошину, а то увесистыми самородками величиной с кулак.

Истощались запасы сокровищ в расселинах скал, а ручьи все текли, все несли каменные обломки, обтачивая их в гладкую круглую гальку, перемалывая в песок и глину, и перекрывали ими золотоносные слои. Эти верхние, пустые наносы золотодобытчики назвали торфами, хотя ничего общего с болотным торфом они не имеют, а нижние, золотоносные — песками, хотя они на известный каждому сыпучий песок не похожи ничуть.

В таких долинах ручьев располагались прииски. Что требовалось? Удалить слой торфов, а обнажившийся золотоносный слой разрыхлить и загрузить в промывочный прибор, деревянные сооружения в виде наклонной эстакады, внутри которой вращается длинный стальной барабан с отверстиями убывающего калибра. Тот самый ручей, который намыл когда-то эту рассыпь, размывал теперь «пески» внутри барабана, отделяя металл от пустой породы. Льет вода, вращается барабан, сыплется вниз сквозь его отверстия истицы, различные по размеру и по тяжести, а внизу настелены решетки, называемые грохотами, тоже с различными отверстиями, тоже с наклоном, и по ним тоже скользит струя воды. Она смывает долой частицы, что полегче, а те, что тяжелей, задерживаются у отверстий, проваливаются на щетинистый настил, и в конце этого потока образуются горки золотых комочков и пластин, один раз больше, другой раз меньше, но в об-

щем за смену до килограмма, а при богатых песках бывает и по несколько килограммов за съем. Съемщики, облеченные особым доверием люди, под особой охраной, несут добычу в брезентовых мешочках во святая святых, потайное помещение, где хранится она до отправки под усиленным конвоем в места, окутанные еще большей тайной.

«Вскрышей торфов» занимались зимой, старались обнажить побольше площадей золотоносного слоя, летом же все силы бросали на промывку, чтобы не упустить ни одного благоприятного дня, когда резво текут ручьи и хорошо оттаивает смерзшаяся за зиму порода.

Литсотрудник Борис Комаров направлялся к знакому начальнику участка, известному передовику, надеясь узнать от него что-нибудь годное для очерка о высоких темпах промывки. В широкой и глубокой, плоской выемке было жарко до духоты, сюда не доходило ни малейшее дуновение ветерка, высокие отвалы торфов серой стеной обрамляли охряно-желтое корыто разреза, а за ними вставали унылым барьером, словно уставшая от надоедливой службы охрана, серо-желтые каменистые сопки с бледно-зелеными пятнами стелющегося кедровника, благословенного стланика, хвоя которого давала чудодейственный настой, спасительное средство от цинги в зимнее время. Все это было Борису досконально знакомо, ничто здесь не возбуждало больше его любопытства, прииски были похожи один на другой, и даже встречавшиеся на них люди, казалось, были все на одно лицо.

Один за другим резво взбирались по отлогому трапу катали с тачкой, наполненной глиняно-галечным месивом, к разверстой пасти загрузочного бункера, опрокидывали в нее содержимое и, повернувшись к тачке спиной, сбегали вниз по другую сторону эстакады, рысью поспешали к забоям. Там их товарищи широкой лопатой подбирали с железного листа обрушенный на него галечник, спешно нагружали тачку до полна, и

едва успевали разогнуться, как тут же подкатывала следующая.

А вдоль проложенных для качения тачек от забоев к промприбору досок, почему-то называемых тропами, ходил хмурый з/к, осматривал доски и заменял поврежденные, не дожидаясь, пока катали станут жаловаться, или не дай Бог какой забурится и вывалит груз. Этот з/к, в отличие от крепких, мускулистых каталей, был тощ и костляв, спецовка болталась на нем, как на огородном чучеле. Свежая доска на его плече пружинила, он спотыкался на каждой неровности, а десятник покрикивал, обкладывая его узорчатым матом: «Эй, ты, доходяга вшивый, туда тебя растуда, тебе что, скипидару налить в задницу, чтоб шевелился, контра растакая-то.»

Комаров на минуту задержался взглядом на «доходяге». Несмотря на признаки крайнего истощения, он из последних сил старался держаться достойно, сохраняя даже какую-то гордость осанки, и хотя ноги его слушались плохо, заплетались и подкашивались, он применялся к ритму покачивания доски с той вдумчивой сноровкой, которая отличает человека, живущего в труде. Лицо заключенного было полускрыто густой рыжеватой бородой, русые волосы спутаны, засорены мелкими камушками и глиной, на бровях нависли капли пота, то и дело падающие на ресницы, но глаза смотрели не мигая, и в их выражении можно было прочесть, что мыслями этот человек далеко отсюда.

Борис Комаров поневоле взгляделся в это лицо, и вдруг что-то знакомое возникло в его памяти, кого-то напомнили ему копна непокорных русских волос над высоким лбом, густые светлые брови, прямой взгляд голубых немигающих глаз...

Он остался на ночлег у начальника участка, горного техника Миши Селезнева, веселого и беззаботного увальня, доброго и легкомысленного, как молодой медведь. Золотистые бревенчатые стены его комнатки еще

пахли сосной, отесанные грубо, прослоенные мохом брусья источали прозрачные капли смолы, а козелки под топчанами поскрипывали жалобно и умилительно, как не мазанная тележная ось. За холостяцким ужином, жуя колбасу, нарезанную толстыми ломтями, и запивая пустым кипятком, Борис, у которого не выходила из головы нечаянная встреча, спросил:

— Слушай, Михайло, ты всех работяг знаешь на своем участке?

— А черт их разберет, — которых знаю, которых нет. Они же меняются то и дело. Основных, конечно, знаю, хороших забойщиков, ну и тех, кто давно. Ты что, уж не знакомого-ли встретил?

— Там у тебя один, трапы меняет. Такой с бородой, высокого роста. Не знаешь, случайно, как фамилия?

— Ну, этого-то как не знать! Заметная фигура. Можно сказать, наша знаменитость. Из ученой братии. Умница, философ! Да и срок внушает почтение — пятнадцать лет! Русланов Павел Константинович.

Боже праведный, ведь это Русланов! Как же я не узнал его сразу? Не узнал, не узнал... Он-то меня не узнал и подавно, я был для него — и тогда, и теперь — проходная фигура. Притом, он даже не смотрел в мою сторону. Он вообще не смотрел по сторонам, не мог рассеивать внимание, сил хватало только-только на главное: донести доску до нужного места и водворить ее взамен изношенной... Русланов! Пятнадцать лет! Вспомнилось: секретаря парткома Русланова вдруг не стало, его заменил другой, беспартийному студенту вовсе не интересный. Не было дела, и до того, куда делся Русланов. Наверно, кончил аспирантуру и направили куда-нибудь двигать науку.

И вот он здесь. Нет никакого сомнения в том, что безвинно. Спознался с контрой? Что за вздор! Борис Комаров давно уже вышел из детского возраста, он понимал, как понимал в глубине души любой и каждый, у кого хоть сколько-нибудь оставалось своего ума, что

где-то сводились старые счеты, кто-то расправлялся с неугодными, непослушными, кто-то рвался к высоким постам, к персональным окладам, просторным квартирам, служебным автомобилям, а тех, кто стоял на пути, помогали устранять ретивые служаки из НКВД, унаследовавшие гордое и грозное звание чекистов. Обо всем этом молчали, а если говорили, то не напрямую, а в аллегориях, намеках, лишь чуть откровеннее среди старых друзей да в семейном кругу: все понимали, что недолго самим угодить куда Макар телят не гонял. Врагов народа клепали уже, как на конвейере...

Вот, значит, какова твоя научная карьера, Павел Константинович Русланов!

— Слушай, Миша... Этот Русланов... Он вроде бы уже доходит. А чтоб тебе взять его в какие-нибудь писаря? Сам говоришь, грамотный человек.

— Чегой-то ты вдруг? Он что тебе, сват или брат?

— Не сват, не брат, а просто глупо, если пропадет ни за грош. Каким-нибудь учетчиком, а?

— Ну, ты, брат, гуманист! Ладно, я сам уже об этом думал, сообразим чего-нибудь. Тут все в руках лагерного начальства. Но у меня с ними контакт.

В свой следующий приезд Борис наведалься в контору участка. Начальник был на производстве, контора пустовала, один лишь нарядчик сидел за фанерным столом и заполнял какую-то сводку. В дощатой времянке с почерневшими от копоти стенами и испокон веков не мытым окном, стоял полумрак.

— Не скажете, где Михаил Леонтьевич? — Нарядчик встал, опустил руки по швам. — Да сидите вы, я же над вами не начальник!

— Не положено, — возразил заключенный.

— Сядьте, ради Бога, Павел Константинович!

Русланов сел, Комаров осторожно разглядывал его. Борода исчезла, волосы были зачесаны назад, и несмотря на полумрак было заметно, как они поредели, а на висках густо блестела седина.

— Вас не удивляет, что я называю вас по имени-отчеству? Вы-то меня, конечно, не помните.

— Я вас отлично помню, товарищ Комаров. Виноват, гражданин начальник.

Теперь всякий раз, когда ему удавалось получить командировку на «Большевик», Борне изыскивал возможность заглянуть в конторку участка, где должность нарядчика исправно нес кандидат философских наук Павел Константинович Русланов, осужденный по трем пунктам пятьдесят восьмой статьи на пятнадцать лет лишения свободы.

Побывав на производстве, Комаров запоминал все, что узнавал нужного, а записывал в блокнот только придя в Дом приезжих: он никогда не вынимал блокнот при беседе с человеком. Некоторые бывалые люди, не раз встречавшиеся с корреспондентами, удивлялись и спрашивали его, почему он ничего не записывает, а он хлопал себя ладонью по лбу и уверял: «все тут!». Он считал, что блокнот стесняет собеседника.

К Русланову он заходил якобы за тем, чтобы сверить цифры, и он их действительно сверял, но потом записывал также и содержание бесед, не имевших отношения к его корреспондентскому заданию. Записывал сначала в тот же корреспондентский блокнот, но потом сообразил, что этого делать не следует, и завел для мыслей Русланова отдельную записную книжечку зеленого цвета, и записи делал с сокращением слов, а иногда отчасти на английском языке.

6.

Павлику исполнилось четыре года, когда его отец, петербургский врач Константин Ксенофонович Русланов, был мобилизован и отправился на Карпатский фронт. Мать Павлика Анна Генриховна, урожденная Краузе, не привыкшая к одинокой жизни, уехала с ма-

лышом к своим родственникам под Оренбург. Павлик, не по годам смысленый и деятельный, умел уже читать и кое-что понимал по-немецки.

Тем временем отец вернулся в Петроград, но семейство с возвращением не торопил: город кипел революционными событиями. Лишь когда утвердилась советская власть, Константин Ксенофонович съездил за женой и детьми в оренбургскую даль, и едва успел привезти их домой, как разгорелась новая война, теперь уже гражданская. Доктор Русланов не сразу выбрал свою позицию в революции, но уж выбрав, остался ей верен до конца. Полевым хирургом он прошел с красными войсками по Приуралью и Поволжью, Украине и Крыму, а когда воцарился мир, без колебаний принял предложение переехать в Москву и поступить на службу в Наркомздрав.

Любимым школьным предметом Павлуши стало обществоведение. И не мудрено, ведь столько исторических превращений произошло на его глазах. Он зачитывался политической литературой, его любимым писателем стал Фридрих Энгельс, которого он с наслаждением поглощал в оригинале.

Окончив школу, Павел Русланов потрудился для получения рабочего стажа на шихтовом дворе завода «Серп и молот», который многие еще по старой памяти называли «Гужон», а затем поступил на исторический факультет МГУ.

Поначалу все шло лучше некуда. Он легко успевал по всем дисциплинам. Потом стали приходиться невеселые раздумья. Надо было изучать «Вопросы ленинизма» товарища Сталина, но когда он их читал, приходило на ум невольное сравнение с сочинениями Фридриха Энгельса. Он гнал от себя невыгодные для изучаемого автора оценки, пытался убедить себя, что теперь так и надо писать, проще, прямолинейней, доступно для каждого, ведь сколько малоподготовленных людей из широкой народной массы включается в политическую

жизнь. Эта жизнь была настоящей, теперешней, и жить-надо было ее законами. Двадцатилетним предстал он перед комиссией по приему в партию, а потом перед партийным собранием факультета и был принят в кандидаты ВКП(б), а в тридцать первом году стал членом.

Шесть условий товарища Сталина он принял без оговорок. Но уже «Головокружение от успехов» вызвало у него головокружение совсем иного рода. У Павла Русланова не укладывалось в сознании, как мог верховный руководитель, все чаще именуемый вождем, приняв на себя ответственность за все и вся, искать виноватых среди нижестоящих. Столичный преуспевающий студент, он был далек от перипетий коллективизации, но разговоры о большом неблагополучии на селе доходили до него, а скудный продовольственный паек давал пищу не столько для желудка, сколько для невеселых раздумий. Но все же он умел подавить в себе сомнения, уверить себя, что так нужно «на данном этапе». Его избрали в партбюро факультета, и едва он окончил курс наук, как сделался освобожденным секретарем парткома пединститута имени А. С. Бубнова.

В тридцать пятом начались тяжкие испытания. От него стали требовать разоблачения врагов народа. Он не мог отыскать таковых ни среди многочисленного преподавательского корпуса, ни тем более среди студентов при всем желании, однако, и желания такого не испытывал. Обошлись без него — вдруг исчез профессор, читавший курс новой истории, а вслед за ним два его ассистента. Пришлось исключать их задним числом из партии, так как было сообщено, что они арестованы за антисоветскую деятельность. Потом арестовали студента с литфака, одного из самых взрослых и самых способных, с учительским стажем за плечами, члена партии с 1928 года. Русланов стал чаще наведываться в райком, просил разъяснений. Ему советовали повышать бдительность.

Под предлогом окончания аспирантуры и пред-

стоящей защиты диссертации, ему удалось выпросить себе отставку с поста секретаря парткома. Стало легче дышать, но не надолго. Вышел «Краткий курс истории ВКП(б)», и его научный руководитель передал ему пожелание руководства института, чтобы его диссертация называлась не «Философские основы ленинской теории построения социализма», а «О роли товарища Сталина в развитии марксистско-ленинской философской науки». Ему удалось отвертеться, доказав, что он еще недостаточно созрел как ученый для такой ответственной темы, но будет работать над ней в дальнейшем. Он уже понимал, чем мог бы грозить прямой отказ.

Его назначили преподавателем марксизма-ленинизма в том же институте, где несколько лет он возглавлял партком. Ему пока не доверяли лекций перед большой аудиторией, он вел семинары по группам и был этим весьма доволен. Здесь он имел больше возможностей для решения задачи, которую поставил перед собой: возбудить у студентов потребность к самостоятельному мышлению. Он рекомендовал читать Маркса и Энгельса, а наиболее любознательных отсылал даже к Бебелю и Плеханову.

Пришли ночью. Отец и мать, охваченные нервной дрожью, сидели в креслах, закутавшись в пледы, и молча наблюдали, как летели на пол одна за другой их любимые книги, как выпотрашивались ящики письменного стола, как чужие руки шарили в белье и вытаскивали с землей растения из цветочных горшков. Никто ничему не удивлялся. Про аресты были уже достаточно наслышаны: «Держись, Павлуша», — сказал отец на прощанье. Мать хотела подойти и обнять, гость преградил ей дорогу вытянутой рукой, как шлагбаумом, она отвернулась и заплакала. «Хорошо еще, что я не женился», подумал Павел.

...С детства Павлика учили игре на фортепиано. У него обнаружили способности: абсолютный слух, музыкальная память, подвижные пальцы. Музыка не ста-

ла его главным увлечением, голова была забита мыслями о смысле жизни и социальной справедливости, но студентом он часто ходил в консерваторию на дешевые места, и как-то раз на галерке оказался рядом с миловидной сверстницей. Что-то общее почудилось ему в настроении обоих, и он без колебаний и робости завел разговор.

Они быстро подружились, стали бывать друг у друга в гостях, ее старомодно-интеллигентные родители приветствовали дружбу дочери с приличным молодым человеком, а его родители принимали Викторию почти уже как родную. Молодые люди музицировали в четыре руки — инструмент был и в той, и в другой семье. Павел играл любимые пьесы по памяти, а иногда импровизировал под настроение. Услышав незнакомое, она догадывалась:

— Это ты сам написал?

Он отвечал:

— Это никто не написал. Это пришло, прозвучало — и ушло. Как мечта...

Год за годом продолжалась эта необычная любовь, без ярких всплесков страсти, но и без аскетического отказа от земных радостей... Она не заводила разговоров о замужестве, а он был слишком поглощен научными проблемами, чтобы думать об устройстве личной жизни — успеется!.. И вот оказалось, что так оно и лучше, хоть ее-то они не тронут...

Внизу ожидала черная «эмка». С каким почетом, подумалось Русланову.

7.

Закурили. «Индигирка» чуть вздрагивала всем корпусом в такт работе машин. Море оставалось таким тихим, что был слышен шум винта.

— Ну, вот что, братва, — сказал комиссар. — Ночь

прошла, а покемарить все же надо. Давайте познакомимся и разойдемся по своим углам. Меня зовут Комаров Борис Семенович, можно просто Борис. Кто захочет еще о чем поговорить, приходи, всегда рад. А вас прошу, не давайте хода горлопанству.

Он всем поочередно подал руку. Они приняли игру, каждый как умел церемонно представился, кто встав и с поклоном, кто сидя вразвалку, и небрежно протянув вялую пятерню.

— Удальцов Николай Николаевич, можно просто Колька, — весело подмигнул сероглазый паренек в лагерной телогрейке.

Разговор с комиссаром крепко засел в голове у Кольки Удальцова. Все же здорово подфартило мне, — думал Колька, что попал под досрочное освобождение с отправкой на фронт. А то ишачить бы еще четыре с половиной года, и кто знает, чем бы все это кончилось. Конечно, не так уж сильно доставалось ему на приисках, в доходяги он ни разу не попадал, да и мало кто становился доходягой из блатных, эта участь доставалась контрикам, интеллигентам, непривычным к кайлу и лопате, неспособным даже тачку прокатить по узкому трапу, чтобы не забуриться, не умеющим даже выружаться как следует. Разрешите, Сидор Поликарпович, ах, пожалуйста, Венедикт Петрович, не оставите ли покурить, Сидор Поликарпович, ах, что вы, Венедикт Петрович, сам только что стрельнул чинарик... Нет, у нашего брата все было как у людей: норму дашь — покормят нормально, а перевыполнишь, так и пожрешь от пуза.

И все же лагерная жизнь была поганой, особенно зимой. Мороз такой, что плюешь, и на землю падает ледышка, а на работу все равно гоняют. В брезентовых рукавицах без пальцев останешься в два счета, а за меховые надо отдать котелок спиртяги, где его добудешь? Конечно, все можно выиграть в карты, хотя бы тот же спирт, или те же рукавицы, но ведь это как повезет! Карты самодельные, их хозяин всегда остается в выиг-

рыше, и не пикни, все равно не докажешь, что он пере-дернул, а станешь хвост подымать, схлопочешь по роже, а то еще и темную устроят, будут бить чем попало и по чему попало. Хорошо еще, если потом угодишь в сан-часть, это вроде дом-отдыха, но там всегда полно, охот-ников туда попасть хоть отбавляй, от филонов нет от-боя, а кто потише, особенно из контриков, тот не допро-сится, пусть хоть кишки наружу висят.

И вообще картеж — штука опасная. Надо иметь характер, чтобы сразу уйти, как только проигрался, а кто от азарта ум потерял, тому хана. Играли и под пайки на неделю и на месяц, играли и на долю спирта, и под такие вещи, что говорить о них один срам. Даже на при-колачивание к столбу незаменимой части тела играли... А на Дукче, ближней к Магадану командировке, было дело, что проиграли прокурора. Разговор об этом шел по всей Колыме, проигравший обязан был его поре-шить, а уж где и как он бы ухитрился, дело его. Ну, сту-качи доложили, к прокурору приставили охрану, а иг-рочишке припаяли новый срок и отправили в тайгу.

Все теперь позади, кайло и тачка, чирьи и стланик от цинги, дневальство у горячей печки ночь напролет, и ночные шмоны — не припрятал ли кто самородок. Не надо больше мечтать о побеге, а чем еще может быть забита башка у колымского лагерника? Расчеты на уда-чу были шаткие, и все же мысль о побеге оживала, едва наступало короткое лето. Историй про это дело расска-зывали множество. Один бандюга, сидел по пятьдесят девятой, собрал дюжину отчаянных голов, стырили насколько наганов да винтовок и драпанули не в обыч-ную сторону, к Якутии, а на побережье, думали завла-деть каким-никаким суденышком и айда в Америку или к японцам. Две роты вохры двинули против них, а они засели в пещере и отстреливались, пока было чем. Ни одного не осталось в живых, судить было некого...

Лежит Колька на своем бушлате чуть ли не один в опустевшем трюме, грызет ржаной сухарь, лень ему

сходить за кипятком, неохота подниматься на палубу, хотя там солнышко теперь, и вся братва кайфует на свежем воздухе, хочется побыть одному, привести мысли в порядок.

А ведь могли в натуре бросить за борт этого малого, Бориса Семеновича, самую малость не хватало до такого накала, когда уже нет никакого удержу, как в падучей бьется вся остервенелая толпа, все ошалели от безудержного буйства, никто не думает головой, никто не заглядывает вперед, и нет уже ни заводил, ни подпевал, один столикий, стоголосый зверь, жаждущий расправы.

Вполне могли бы бросить, и пропал бы вот такой человек, Борис Семенович. Хороший человек, хотя и не блатной. В политике силен, бродяга, а между тем не контра. Правильно толковал про войну, что в бой первыми идут самые лучшие люди, кто не за свою шкуру дрожит, а у кого душа болит за родную землю. И до чего тонко понимает, сукин сын, натуру человека! Не в том дело, говорит, что на войне забудутся все ваши прошлые дела, а в том, что сами вы очистите свою душу, вернете себе честное имя и перестанете считать себя людьми особой породы, займете свое место среди достойных граждан. И про колхоз хорошо разъяснял этому рыжему. Много, говорит, дров наломали, что правда, то правда. Но это не по злему умыслу, а по невежеству нашему. Погоди, говорит, все наладится, вернутся мужики из ссылки, заживем все в добром согласии, вот только надо победить в этой войне, и сразу все переменится к лучшему. А что победим — не сомневайтесь.

Шибко понравился Кольке этот комиссар. Были бы все начальники такие, думает он, была бы житуха будь здоров. Он засыпает с улыбкой на устах, и снится ему, что идет он в атаку на врага бок о бок с комиссаром, а враг тикает без оглядки, и они бегут следом, и никак догнать не могут, и вот уж враги скрылись за горизонтом, а они все бегут, бегут, и уже за ними кто-то

гонится с топотом железным, елки-палки это же они из лагеря драпанули, а вохра по пятам...

8.

Нет худа без добра, говорят люди, но бывает и совсем наоборот. Попутный ветер ускорил бег судна, и вместо утренней поры «Индибирка» пришвартовалась в порту назначения в глухую полночь. Никто из «контингента» не заметил, как вошла она в амурское устье, все спали мирным сном, и только когда перебранка па палубе достигла верхних регистров, самые чуткие стали просыпаться.

Комиссар эшелона Борис Комаров наскоро обулся и вышел на палубу: что за шум, а драки нету?

Лишь к полудню ожидалось речные суда, на которые следовало перегрузить «контингент» для отправки вверх по Амуру, но капитан «Индибирки» требовал немедленной выгрузки людей, чтобы поскорей отчалить курсом новой фрахтовки, пока благоприятствует погода. Поднявшийся на борт военный комендант резонно возражал: куда же он денет такой контингент среди ночи, нет у него ни казарм, ни других подготовленных помещений. Ругались до хрипоты, но в конце концов то ли комендант уступил, то ли пришло по радио распоряжение высшего начальства, так или иначе, решено было выгружаться.

Помощники коменданта забегали по городу в поисках мест для ночлега, а на борту тем временем шла неурочная побудка. Злые спросонья, новобранцы наскоро собирали пожитки, нехотя вылезали на палубу, спускались по зыбкому трапу на бетонную пристань, строились повзводно и поротно. Под высоким желтым фонарем командиры едва разбирали списки, подсвечи-

вали карманными фонариками. Переключка эта суматошная длилась нестерпимо долго, а к концу ее причались запыхавшиеся посланцы коменданта и повели колонны по темным ухабистым проулкам вглубь городка.

На широкой, немощеной, разъезженной площади стояло громоздкое приземистое здание. Пологие каменные ступени вели к двустворчатым дверям, над которыми тускло светила лампочка в сорок свечей. По бокам на фанерных щитах висели афиши: «Истребители». «Парень из нашего города. Перед началом. Киножурнал». Обе створки были широко распахнуты, взводные колонны одна за другой вваливались вовнутрь.

Устройство помещения не оставляло сомнений, что под клуб был приспособлен отторгнутый от веры божий храм. В обширном продолговатом нефе стояли сдвинутые на стороны ряды фанерных стульев с откидными сидениями, а освободившееся пространство было негусто устлано соломой. Две-три лампочки сиротливо мигали на стенах, плавно переходящих в туннельный свод.

— Повзводно, располагайся! — шумел распорядитель от комендатуры, но не нужно было никакой команды, устраивались своей компанией кто как сумел, заходили в боковые приделы, отгороженные фанерными стенками с жиденькими дверьми. Беспорядочно двигались темные фигуры, безликие в полумраке, расплывчатые тени скользили по тускло белеющим стенам, стелились по полу огромными бесформенными пятнами. Но вот уже вся поверхность пола без просвета заполнена людьми и багажом. «Двери закрывайте, хватит холод напускать!».

Кто не влез под церковные своды, оказались не в накладе. Их повели по частным домам, а дома эти сплошь деревянные, неказистые, разве чуть понаряднее деревенских изб. Загулял по городишке стук в двери и ставни, выходили на крылечки заспанные хозяева, ста-

рики и молодухи в накинутых на плечи одеждах, кто в страхе отпрянет и долго не поддается на уговоры, кто с любопытством и радостью распахнет двери навстречу нежданым гостям. Задымили печные трубы, запахло жареной рыбой, из дома в дом забегали соседки с бутылками и банками в руках, народ-то прибыл все денежный, за пол литра самогонки выкладывали не торгуясь по полсотни. Раздались разудалые песни, заголосила гармонь... Под утро веселье сменилось умиротворенной тишиной, лишь искры летели в небо из некоторых труб, где еще подтапливали печи. В этом городишке, как впрочем и во всех городах и весях необъятной страны, молодой мужик был сейчас в большую диковинку...

Борис Комаров, убедившись, что обстановка в божьем храме стабилизировалась, направился в обход частных домов, принявших под свою кровлю его подопечных. Встречали с распростертыми объятиями:

— А-а, комиссар, и ты с нами! Держи стакан, не отрывайся от масс!

Повеселевшие красотки тащили за рукав:

— Куда же ты, милоч? Нет, не отпустим, откушай с нами, да и заночевать можешь у нас, места хватит...

Он вырывался на волю с помощью понимающих людей:

— Это же комиссар, ему нельзя!.. Отпустите вы его душу на покаяние!

— К девяти часам чтобы все были на пристани, — строго наказывал он.

— Не волнуйся, комиссар, здесь порядок, как в танковых войсках!

В смятении чувств продолжал он свой рейд. Ночь была влажной, вокруг редких фонарей желто-фиолетовой радугой клубились испарения земли. «Будь, что будет», — сказал себе Комаров и зашагал к церкви. Отыскав в какой-то боковушке незанятый стул перед расшатанным кривоногим столом, он уселся в позе дежурного телеграфиста и так в полузабытьи

скротал время до рассвета.

На заре подошли к речному причалу два красавца-парохода, белые, изящные, двухпалубные. Тот, который побольше, огласил окрестность протяжным басовитым гудком.

У клуба нехотя выстраивались взвода и роты. Не выспавшиеся, неумытые, помятые защитники родины переминались с ноги па ногу, потягивались и зевали. Кто полюбопытнее, разглядывали снаружи свой мимолетный приют, дивились уродству изувеченного, обезглавленного храма.

Лаяли собаки. В одиночку и группами тянулись ночлежники из частных домов.

У белых ступенчатых сходней стояли командиры со списками, отмечали явившихся. Погрузка шла без запинки, всем нравились новые пароходы, все спешили занять лучшие места в каютах.

А комиссару было беспокойно, он то и дело справлялся у командиров о явке. Списки быстро обрастали галочками, взводные один за другим отдавали рапорт командирам рот, но из тех лишь один смог доложить невесть откуда взявшемуся начальнику эшелона о полном составе, а в двух ротах не хватало в общей сложности пяти человек. Это надо было предвидеть!

Комиссар Комаров разослал своих комсомольцев во все концы полусонного еще городка искать недостающих. Пора уже было отчаливать, капитаны торопили эшелонное начальство, томительно тянулись минуты. Но вот вдалеке послышались переливы гармони. Нестройный хор мужских и женских голосов натужно выводил: «Последний нонешний денечек... Еще заплачет дорогая, с которой три года гулял». И хотя не годами, а короткими часами измерялось непрочное, призрачное счастье, слова выговаривались с усердием и неподдельной дрожью в голосе. Еще не сложилось изречение «война все спишет», но ростки его уже пробивались в сознании измученных разлуками женщин и мужчин.

Двое призывников долго и нежно прощались с новоприобретенными подругами, отдавали им гармонь, но бабоньки гармонь не брали, дарили на память, в залог вечной любви, трогательная была сцена, и командиры долго не решались ее прервать. Наконец разжались нежные объятия, женихи стали медленно подниматься по трапу, оборачиваясь через каждые три ступеньки, чтобы помахать на прощанье рукой...

Тем временем явились еще двое, очень нетвердой походкой, в обнимку, поддерживая друг друга и покрикивая что-то неразборчивое ожидающим их пароходам.

Теперь не хватало только одного: Корнилов Василий Прохорович, род. 1909 года, дер. Губаново Рязанской губернии, разбой и конокрадство, отсидел два срока, 6 и 8 лет. Вот такие данные были известны, но неизвестно было, где он запропал. Никто ничего не знал. И знать не хотел. Законы блатной солидарности не утрачивали своей силы нигде и никогда. Что делать? Записать его в дезертиры? Ах, как не хотелось приобретать такое пятно! Прочесывать весь на километры раскинувшийся городишко?

И вдруг посреди всеобщей растерянности послышалось невероятное смешение звуков: веселый гомон детских голосов, надрывный женский плач, конское ржание и сиплый баритон, распевавший любимейшую в среднерусских местах песню: «На передней Стенька Разин»... Все, кто стоял на палубе и внизу у трапа обернулись на шум, нараставший со стороны главной улицы, параллельной причалу. И вот из-за угла показалось шествие!

Окруженный толпой ребятишек, на буланой лошади без седла, восседал Василий Прохорович Корнилов, тот самый мужичонка, которого комиссар Комаров постоянно видел на палубе, в каком-нибудь защищенном от ветра закоулке, кутающегося в серое бобриковое пальто. Оно и сейчас было на нем, полы его развевались, неизменная фетровая шляпа с обвислыми полями

лихо сдвинута на затылок. Похоже, весь свой гардероб Василий Прохорович постоянно носил на себе, был он также в своем неизменном черном двубортном костюме с жилеткой — но босиком. Ехал он шагом, гордо озираясь по сторонам, то прерывая, то возобновляя пение, поглаживал по головке кого-нибудь из теснящихся вокруг него, гогочущих от восторга ребят, похлопывал по шее лошадку, и лицо его выражало высшую степень удовлетворения. Простоволосая, растрепанная, едва одетая женщина за тридцать, прижавшись к боку лошади, обнимала правую ногу всадника, гладила голую ступню, молитвенно смотрела снизу вверх в его лицо, плача безутешными и благодарными слезами.

Подъехав к трапу, Василий Прохорович неторопливо спешился, достал из кармана пригоршню рафинада, пару кусочков сунул в пасть коню, а остальное раздал ребятам. Затем он обнял и тут же мягко отстранил свою милашку, поцеловал буланого в мокрый черный нос, обнял и его за шею, прижался щекой к его морде, замер так на мгновение, потом с силой оттолкнулся и стал медленно всходить по трапу.

— Вася, откуда мерин? — теребили его знакомцы.

— Купил, — отвечал Василий Прохорович.

— Сколько дал?

— Законная цена — семь тысяч.

— Так что ж ты его отпустил? Взял бы с собой!

— Жалко. Убьют на фронте. Пусть идет домой.

Он вынул из внутреннего кармана пальто начатую поллитровку настоящей казенной водки, приложился к горлышку и бросил бутылку за борт.

Все! — сказал он. — Теперь мы солдаты.

9.

Отставной козы барабанщик, как он мысленно сам себя называл, бывший комиссар Борис Комаров лежал

на нижних нарах в казарме учебного автомобильного полка. Многоголосый храп раздавался справа и слева и с верхнего этажа, по Комаров все не спешил вгонять себя в сон. Он перебирал в памяти события минувших недель, круто изменивших течение его жизни.

Разговор у Шарфмана. Это начальник того отдела в Политуправлении, который ведает всеми назначениями, перемещениями и увольнениями.

— Помню, помню, ничего не забываю, — говорит щуплый чернявый подполковник, переставляя предметы на обширном письменном столе: гранитную пепельницу налево, поближе к настольной лампе с абажуром из мореной под бронзу жести и собранной в складочки розовой кисеи; письменный прибор — две массивных, кубических стеклянных чернильницы со шлемовидными крышками на мраморной доске — подальше от себя, на край стола; к нему впритык — продолговатый бювар с шестью, но числу рабочих дней недели, блокнотиками под кожаной коричневой оболочкой; высокий, сужающийся кверху резной деревянный стакан для карандашей — чуть наискось от себя, под правую руку. Шарфман любил заведенный порядок и в мыслях ежедневно ссорился с уборщицей, переставлявшей эти вещицы по своему усмотрению.

Правильно, с прошлого года, — продолжает хозяин кабинета. — Вот он, твой рапорт, в хорошем хозяйстве ничто не пропадает. — Шарфман достает коричневую палку из левого верхнего ящика стола, перебирает бумаги и вынимает один листок. — Датировано октябрём сорок первого — это когда немцы рвались к Москве, правильно я понимаю? Ценю твой патриотический порыв. Но вот видишь, обошлись тогда без тебя — полагаю, обойдутся и на этот раз. Наши Сталинград не сдадут, будь на этот счет совершенно спокоен.

— Уверен, что не сдадут, а вот спокойным быть не могу.

— Мы считаем, что ты нужен здесь. У тебя

железная броня, ты ответственный работник печати. Говорят, на тебе держится вся редакция. Твое перо приравнено к штыку, ясно?

Ему было ясно, но не до конца. Работать пером после назначения ответственным секретарем редакции ему приходилось немного, а то, чем он занимался, было не в его натуре.

Его бросало в дрожь при воспоминании об одном типографском дежурстве. Принесли на подпись готовые листы газеты, все было читано-перечитано, и тем не менее... Семь раз отмерь, держи ухо востро, береженого Бог бережет и так далее, это были теперь самые ходовые поговорки. Уже не единицами, а десятками и сотнями, а может быть тысячами исчислялись попавшие в лагерь наборщики, корректоры, метранпажи, дежурные редактора за то, что в слове «Сталин» на место буквы «т» по недосмотру попадала другая из расположенной по соседству ячейки наборной кассы.

Печатник нетерпеливо топчется за спиной, ну чего там еще, давай, ставь свою подпись наискосок по первому листу, и завертятся барабаны ротационной машины... А он все медлит, пробегает взглядом знакомые тексты еще и еще раз. Что-то его тревожит, словно чудится какая-то угроза, притаившаяся за этой простышкой газетного разворота... Что там, за этой ширмой из столпотворения слов? И вдруг его осеняет: посмотри на свет!

На первой странице, слева вверху, большой, на три колонки, портрет верховного главнокомандующего в форменной фуражке. А на обороте, как раз по месту того портрета, корреспонденция о бесчинствах фашистов на оккупированной территории. Над материалом заголовок: «Звериный облик». И что же видит дежурный редактор Комаров, подняв листы напротив свисающей с потолка лампочки: если смотреть насквозь, то название это приходится как раз по околышу фуражки!

Холодный пот прошибает Комарова. Вот так могла

закончиться твоя блестящая карьера, десятью годами как минимум, с отбыванием тут же по соседству, только чуть подальше в тайгу. Он понимает: нормальные люди не смотрят газеты на свет. Они их читают. Или завертывают в них селедку. Но это — нормальные. А ты должен держать в уме тех, которые бдительные. Бдительность, бдительность и еще раз бдительность, учит партия. Таков лозунг дня. Да, рассматривать газету на свет может прийти в голову лишь вконец ошалевшему от бдительности и верноподданнического ража дураку, но дураков ведь у нас не сеют, не жнут, они сами рождаются, не без помощи нашей родной руководящей и направляющей, и бывают на них особенно урожайные годы.

Не говоря ни слова о мотивах своего распоряжения, Комаров велит переверстать вторую полосу, поставить материал про зверства в нижний угол, а для верности еще и заменить заглавие, Теперь материал называется «На многострадальной земле». Барабаны ротационной машины начинают вращаться с часовым опозданием. Зато теперь ничто никому не угрожает, ни заместителю секретаря, составившему макет, ни самому секретарю, ни метранпажу, ни редактору. Листы с роковым совпадением Борис Комаров собирает в кучу, комкает и самолично сует в голландскую печь, всегда исправную на случай отказа центрального отопления, собственноручно поджигает, следит, как истлевают, розовея, последние остатки бумаги и собственноручно же размешивает пепел кочергой.

Уф-ф, гора с плеч!.. Им овладевает ликование, подобное тому, которое должен испытывать альпинист, удержавший на краю пропасти целую связку своих товарищей.

Никто ничего не знает об этом, кроме самых близких друзей. Среди них— Илья Молочник, балагур и остряк из Одессы, теперь заведомом информации, умеющий узнавать о событиях раньше, чем они произойдут.

— Что у тебя там стряслось сегодня ночью?

Дверь закрыта плотно, за окном шумят грузовики, везущие из порта ящики со взрывчаткой и мешки с мукой. Илья склоняет голову, прислоняет к уху раскрытую ладонь, ловит скупые и чуть загадочные слова.

— Ого, — откликается он, — ты местный гений. Благодарные потомки еще скажут свое слово, а пока оставь мне на четвертой полосе двадцать строк под рубрику «происшествия». Будет называться «Откуда дым?».

Было еще намерение — ну, не намерение, а так, мимолетный порыв, поделиться ночными переживаниями с этой черненькой, которая в обеденный перерыв частенько забежала к нему в редакцию перекинуться парой слов о прочитанном романе или о просмотренной кинокартине. Ей не хватало интеллигентного общения в том кругу, к которому она принадлежала, поэтому она привязалась к молодому москвичу, имевшему свои суждения о том и о другом, говорившему так складно и интеллигентно, словно читал по писанному.

Они познакомились в столовой, общей для всего громадного управленческого здания, где с недавних пор отвели место и для редакции всеколымской газеты. Столовая помещалась в подвальном этаже, а редакция на первом, лестница вела мимо, и то, что «черненькая» заходила к нему после того, как они, стоя рядом в очереди или сидя за одним столом, не успевали договорить о чем-нибудь интересном, выглядело вполне естественно. Ему вдруг захотелось и ее посвятить в свой секрет, а почему ее тоже — просто так, интересно было увидеть, как она отреагирует и, следовательно, лучше понять, с кем имеешь дело. Но он вовремя спохватился и подавил в себе это намерение, ведь он ее совсем еще не знал, догадывался только, что она работает в каком-то из таинственных отделов, и даже имени ее пока еще твердо не усвоил: то ли Таня, то ли Аня...

Разговор у Шарфмапа кончился ничем, никакого обещания не последовало, тем удивительнее было по-

лучить всего неделю спустя повестку из военкомата. Торжествуя, Комаров явился к редактору. Семен Ната-нович Слепцов, полнеющий от сидячей жизни, в серой коверкотовой гимнастерке, перепоясанной широким ремнем, недоверчиво повертел в руках бумажку, поднял па Комарова недоуменный взгляд:

— Тут что-то не так. Я выясню, — и положил по-вестку в красную папку, к срочным бумагам на доклад руководству.

— Что ты, что ты! — забеспокоился Комаров, — Все так, я целый год этого добивался! Ради Бога не вздумай протестовать.

Недоумение редактора возрастало:

— Как, ты сам напросился? Но ведь это... Но ведь твое место здесь. Подводишь редакцию.

— Оставь. Незаменимых не бывает. Дай сюда по-вестку.

Молча, замедленными движениями, с окаменелым лицом, Слепцов протянул ему листок.

Комаров помчался к Шарфмау.

— Спасибо, товарищ подполковник! Вот когда я почувствовал себя человеком!

Шарфман смотрел на него, ничего не понимая...

На другой день их собрали, пятерых коммунистов, партийную прослойку первого колымского призыва. Начальник политуправления долго говорил о том, что и без того было каждому ясно.

— Вас, товарищ Комаров, мы назначаем комисса-ром эшелона. На вас ложится особая ответственность... — и так далее.

Комаров слушал и наполнялся гордостью. Комис-сар! Это слово несло в себе отзвук героических дней гражданской войны, вызывало в воображении образ бесстрашного любимца красноармейских масс — в ко-жаной тужурке и с наганом в руке.

В полку его комиссарству не придали никакого значения. В алфавитном порядке он прошел медицин-

скую комиссию, вымылся в бане, оделся в солдатское белье и обмундирование б/у, выбрал себе ботинки по ноге, получил пару обмоток, сдал в каптерку свой черный суконный костюм военного покроя и сапоги... Рядовой необученный Борис Комаров начал свою службу родине.

Сделавшись рядовым солдатом, Комаров ощутил себя неким совершенно другим индивидом, вся его прошлая жизнь представилась не просто безвозвратным прошлым, а стала как бы вовсе не его, словно это была жизнь литературного героя из читанной когда-то книги, он же сделался теперь как бы человеком без собственной биографии, без собственной индивидуальной судьбы, рядовым в полнейшем смысле слова, равным со всеми рядовыми и так же как они ограниченным в собственной воле, в решениях и выборе жизненного пути. Он как бы перешел в другое состояние, не просто «сменил кожу», а изменился внутренне. Он помнил, что где-то там, вдалеке, жила его стареющая мать, которой он продолжал писать бодрые, в меру теплые, а точнее проникнутые сыновним почтением письма. Была еще и — то ли бывшая, то ли действительная, а в общем пока еще законная — жена, которой он тоже адресовал изредка короткие, суховатые, а иногда, в приливе неопределенных, неизвестно где коренящихся бесконтрольных всплесков былой близости, даже почти нежные, с тенденцией к примирению, послания. И все же это была только дань прошлому, ушедшему в небытие, а в настоящем он видел себя растением без корней, щепочкой на поверхности океана.

Подъем!

Толчея несусветная! С верхних нар сигают сотоварищи, не продрав еще толком глаза, того гляди, сядут тебе прямо на голову. Стремглав кидаются кто в галюн, кто прямо в умывальник, где у длинной трубы с дырочками через каждые полметра, из которых под сильным напором брызжет в жестяной наклонный же-

лоб ледяная вода, выстраивается шеренга фыркающих, кряхтящих, повизгивающих добрых молодцев. Другие прежде всего принимаются наматывать обмотки, ибо искусство это кое-кому дается не сразу, если оставишь напоследок, то можно и опоздать к построению. У рядового Комарова забота другая. Наскоро справив неотложные дела, он принимается заправлять койку. Собственно, койки как таковой не существует, а есть спальное место в ряду десятка таких же спальных мест. Он встряхивает соломенный тюфяк, чтобы придать ему первозданную выпуклость, покрывает его той простыней, на которой он спит, затем обертывает вигониевым одеялом, чтобы не было на нем ни единой морщинки, а из второй простыни старается соорудить на конец матраса идеальную по форме обертку, на локоть длины от бортика нар, со строго параллельным этому бортику краем, подвернутое таким образом, чтобы соперничать изяществом с оберткой самой дорогой конфетки. Взбив подушку из слежавшихся колючих перышек, он кладет ее в изголовье торчком, наподобие египетской пирамиды. Окинув придирчивым взглядом это произведение ваятельного искусства, Борис спешит к единственному на всю казарму штепселю у столика дневального, берет на зависть и удивление всей роты американской электрической бритвой, подарок замполита ледокола «Красин» — этот легендарный корабль заходил как-то летом в бухту Ногаево для небольшого ремонта, и Комаров брал у замполита интервью. Затем Борис моется до пояса, надевает рубаху и гимнастерку, подпоясывается так, чтобы ни единой складочки, и он готов к построению.

Но не тут-то было! Слышен голос дневального:

Комаров! В спальную!

Значит, опять...

Еще давным-давно, кажется, еще мальчишкой, слышал он анекдот про фельдфебеля, который муштровал вольноопределяющихся из образованных, приго-

варивая: «Це тобі не унихвеситэт, тут думать треба!» Он не поверил своим ушам, когда сержант, их помкомвзвода, ошарашил его именно этими словами. Мобилизуя все свое чувство самокритики, Борис не мог усмотреть, чем его искусство заправки могло бы не удовлетворить требованиям самого утонченного эстетического вкуса. Но факт оставался фактом, его постель, единственная из всех сорока во взводе, была растерзана, и процесс заправки надо было начинать сначала, Сержант стоял поодаль со скрещенными на груди руками, как Наполеон на Московской стене...

А все началось с того, что как-то в первые дни его пребывания в казарме сержант Осипенко остановил его в коридоре.

— Где заправка? Почему ремень на пузе как у беременной бабы? А ну, затяни, как положено, чтоб два пальца не проходили, понятно? А подворотничок как пришит? На сколько миллиметров он должен выглядывать?

— А у вас вон тоже один конец выше, другой ниже, — возразил рядовой Комаров, позабыв о субординации.

Комаров больше не злится на помкомвзвода, воспринимает его как стихию, как ветер или град. Он не позволяет себе возмущаться, он говорит себе: хватит с тебя, ты побывал хоть каким, но начальником, даже гражданином начальником тебя называли, ты был еще и комиссаром, калифом на час, а теперь ты сравнялся со всеми, прими это как должное, потому что рожден ты на свет таким же человечешкой, как все остальные. Прими своего сержанта как исполнителя высшей воли...

Он бегом догоняет строй, направляющийся в учебный класс на политинформацию. Ротный политрук, позевывая, излагает последнюю сводку Совинформбюро. Бои под Сталинградом не затихают. На других фронтах без изменений. Ленинград в кольце... Зачитав такие, отнюдь не вдохновляющие сообщения, политрук вдруг воодушевляется и подводит итоги непременно на

оптимистической ноте:

— Наши славные победоносные войска закаляются в боях под предводительством великого полководца товарища Сталина, величайшего гения всех времен и народов...

При упоминании «гения» Комарову вспоминался почему-то не усатый человек в фуражке с самодовольной улыбкой, появляющийся в дни демонстрации за каменным барьером Мавзолея, а бледнолицый, тихоголосый нарядчик за деревянной загородкой в конторе прииска «Большевик», который умел удивительно просто толковать, казалось бы, самые сложные понятия.

— Гений? — поднимал брови з/к Русланов. — Это высшая степень таланта. А что такое талант? Это способность создавать что-то из ничего, то есть, производить новые ценности без каких-либо затрат, кроме расходования своей умственной энергии, способность произвести нечто такое, чего еще не было, и отдать это новое в пользование людям. Ну, а гений — это способность произвести нечто такое, что навеки входит в обиход человечества, всего человечества, и без чего оно с этих пор уже просто не может обойтись.

— ... А вы, разгильдяи, — заканчивает политрук утреннюю проповедь, — знаю я вас! Вам бы только смыться в самоволку да надыбать где-нигде молочка от бешеной коровки, да надрызгаться, как свиньи. Но поймите в виду, лоботрясы: в шестнадцатый магазин водку привезли — так чтобы ни один!..

Что он, дурак, или сочувствующий, недоумевал Комаров. Про себя он уже стал произносить его должность через два «л». Лазеек в заборе было найдено или проделано достаточно, и конечно же, к вечеру, когда начиналось «личное время», то там, то здесь разгоралось веселье, звучали знакомые еще по «Индижирке» мотивы: «Жил-был по Подоле Гоп-со-смыком, он славился своим басистым рыком...». Но это вечером, а пока что до вечера, до желанного личного времени далеко,

предстоит еще брать одну за другой высоты воинской выучки.

Строевая подготовка — это на плацу. До каменной твердости утопанная глина вперемешку с черным шлаком.

— Р-равняйся! Сми-ир-рна! Отставить. Чего пузо выпятил, Воронько? Две порции съел? А ну, подтяни ремень! Дай попробую. Два пальца проходят? Сам попробуй. Не проходят? А мои пройдут. Ну, что, убедился? Еще на одну дырку! Вот теперь порядок. А то распустили животы, как у тещи на блинах... Р-равняйся! Как равняешься, Комаров? Видишь что? Грудь четвертого человека, правильно. А твою грудь кто видит? А, ну-ка, грудь вперед, как она должна быть у бойца Красной Армии! Живот подтяни!

Опять придирается помкомвзвода. Уж чем-чем, а природными данными Комаров не обижен, дай Бог каждому такое телосложение, но сержанту Осипенко не нравится. Ладно, не будем спорить. С начальством спорить, что против ветра плевать.

В свое «личное время» Борис Комаров уединялся в Красном уголке. Уединялся в полном смысле слова, потому что кроме него сюда мало кто захаживал. Он просматривал журналы, читал газеты от пятидневной до двухнедельной давности, писал письма.

Бывало, находили его здесь кое-кто из его парходных знакомцев, называли комиссаром, приглашали разделить с ними добычу из шестнадцатого магазина, но он как мог уклонялся, не из высокомерия и даже не из моральных убеждений, а больше из того соображения, что, однажды воспользовавшись угощением, пришлось бы потом и самому ответить тем же.

Чаще других навещал его здесь Колька Удальцов. Хотя попали они в разные взвода, связи не теряли и все как бы продолжали тот разговор на корме «Индирик». Колька задавал вопросы, на которые Комаров и сам был бы рад от кого-нибудь получить ответ.

— А что, комиссар, правду говорят, что предательства было много? А то некто Гитлер продвинулся бы так, аж до самой Волги?

— Насчет предательства сомневаюсь, Коля. Гитлер, вот кто пошел на предательство. Был ведь с ним договор о ненападении, а он его нарушил.

— А наши что же, ушами хлопали? Не знали, что ли, с кем дело имеют? Кому поверили, лопухи! Нет, что ни говори, тут без предательства не обошлось. Вона их сколько по всей Колыме, этих контриков. Но видать, еще и половины не спымали.

Комаров ухмыляется невесело.

— Пожалуй, поймали не тех, кого надо.

Всякий раз, когда заходила речь про «контриков», ему опять вспоминался Русланов, на которого тоже был навешен этот ярлык. Но Русланов был особый случай, он не мог быть зачислен ни в какую категорию, он стоял совершенным особняком в этой огромной мешанине судеб. А остальные? Вся эта многотысячная масса с клеймом пятьдесят восьмой статьи? Неужели все до единого без всякой вины? Нет, наверное, что-то все же было, было, старался убедить себя красноармеец Комаров. Ведь если ничего не было, если все эти люди невинны, значит творится какое-то жуткое, необъяснимое злодейство! Но и в это верить не хотелось. Есть спасительное слово: перегибы. Анекдотчики, наборщики, забойщики собственной скотины — какие же это преступники? Заслуживают ли такой свирепой кары эти люди, тысячами гибнущие от истощения, цинги, непосильного труда при пятидесятиградусном морозе? А что думать о тех, кого еще недавно славил как руководителей партии и правительства, а потом клеймили как банду агентов империализма? Каялись ведь на судебных процессах, признавались в терроризме и шпионстве — это же чушь несусветная! Так что же, кругом обман? Как жить тогда, во что верить? Что пойдём защищать?

Страшные, опасные мысли! И нельзя поделиться ими ни со взывающим ясности Колькой и ни с кем другим, кто своим умом не дошел до этих тяжелых сомнений.

Очнись, красноармеец Комаров! Не позволяй себе разувериться во всем, за что боролись и умирали передовые люди многих поколений. От декабристов до... До кого? Бесполезно думать об этом, бесплодны эти мысли. Надо принимать действительность такой, какова она есть. С разбродом в мыслях нельзя идти на фронт. Вспомни что-нибудь, созвучное моменту.

Чего только не насмотришься на Колыме... Нет, наверно, все же были не только среди уголовников такие, кто попал туда не зря. Немного, но были, убеждает себя через силу Борис.

Эта мысль помогала отставному комиссару Комарову обрести душевное равновесие, но ненадолго. Вспоминался снова и снова Павел Константинович Русланов, своей худобой и рыжеватой бородкой, напоминавшей ему в ту памятную встречу Иисуса Христа, и слова его нередко звучали как проповедь:

— Голубчик вы мой, ведь это арифметически просто. Если из десяти человек каждый беспокоится только о себе, значит, о каждом беспокоится только один человек. Но если каждый беспокоится о других, то, значит, о каждом беспокоятся девять.

10.

Среди множества друзей и знакомых, оставшихся где-то в прошлой жизни, Павел Константинович Русланов часто вспоминал молодого человека по имени Борис Комаров. Куда-то он исчез, его юный благожелатель, оплативший ему великим, неоценимым добром за давнишнее, малое, ничтожное, ничего ему не стоившее доброе дело. Исчез внезапно, не простившись.

Куда? Дай, Бог, чтобы не за колючую проволоку.

Вспоминался еще один молодой человек. Не друг, нет. Но и на врага не совсем похожий. Хотя по положению своему должен бы считаться врагом, потому что предстал перед ним как следователь с Лубянки.

Это был явный новичок, из последнего пополнения, набранного специально для обработки интеллектуалов. Университетский лоск еще не потеряли ни выражение лица, ни словесные обороты, а лейтенантские кубики девственно розовели на голубых петлицах. Его густые и жесткие с виду черные волосы были зачесаны назад с помощью пахучей жидкости («политзачес», вспомнилось Русланову ходовое выражение двадцатых годов); цвет его глаз был неясен, потому что сидел молодой человек спиной к окну. Он сидел за небольшим письменным столом с передней стенкой, скрывавшей его ноги, а может быть и еще что-то, здесь все настраивало на подозрительность. Когда Русланов попал в этот кабинет, длинный и узкий, у него возникло ощущение угрозы, мерещились какие-то секретные предметы, то ли вделанные в стену фотографические аппараты, то ли баллоны, исторгающие с нажатием кнопки дурманящий газ, и чуть ли не средневековые орудия инквизиции. Он понимал, что это вздор, и на его губах появлялась невольная улыбка.

— Вам весело, Павел Константинович?

Тонкие губы следователя тоже задвигались, пошли как-то вкось.

— Не особенно, — отвечал Русланов и заставил себя сосредоточиться. Обращение по имени-отчеству его озадачило. На первом допросе, когда выяснялись подробности его биографии, другой молодой человек, не отличался учтивостью.

— Так вот, Павел Константинович, имеются сведения, что на семинарских занятиях вы пытались проводить идеи, которые не согласуются с политическими установками нашей партии. С какой целью вы это

делали?

Русланов усмехнулся:

— Уж сразу и о цели. Сначала надо выяснить, какие это были идеи. Я что-то не припомню...

— Напомнить вам? — следователь полистал в лежащей перед ним папке. — Вот, например, приводя цитату из Энгельса, о том, что при социализме, при обобществлении средств производства, наступает подлинное царство свободы — так, кажется, у Энгельса — то есть, избавление от диктата объективных экономических законов, вы приглашали студентов развить этот тезис, и поразмышлять об определяющих признаках социализма. Причем вы добавляли: не обязательно сюда, здесь и сейчас, можете этим заняться в часы досуга. Были такие разговоры?

— Возможно, что-то подобное было. Точно не припомню. Как можно зафиксировать все, что говорится в непринужденной беседе на семинаре?

— А вот ведь зафиксировали. Не вы, конечно, а то, кто не потерял большевистской бдительности и кто озабочен сохранением в чистоте марксистско-ленинской теории.

— Честь им и хвала.

— Павел Константинович, вы, как видно, еще не поняли всей серьезности вашего положения. Распространение среди советской молодежи неверия в правильность генеральной линии партии, пропаганда ложных представлений о советском строе, о социалистическом характере нашего общества — знаете, как это называется?

— Догадываюсь, но ничем подобным не занимался.

— Ой, ли? А вот давайте порассуждаем с вами — в том духе, как вы рекомендовали вашим студентам. Значит, только избавление от диктата объективных экономических законов — так по Энгельсу? — будет означать переход от необходимости к свободе, то есть, к

социализму?

Он не прочь вести со мной теоретический диспут, этот честолюбивый энкаведешник, он позволяет вовлечь себя в состязание умов. Разве надо здесь работать головой? За этим ли его сюда призвали?

— Ну, что ж, обратимся к Энгельсу. Попробую процитировать по памяти. Вот что предсказано Энгельсом как следствие перехода средств производства в общественную собственность: «Условия жизни, окружающие людей и до сих пор над ними господствующие теперь попадают под власть и контроль людей» — опускаю конец предложения. И далее, как раз то, о чем мы толкуем: «Законы их собственных общественных действий, противостоявшие людям до сих пор как чуждые, господствующие над ними законы природы, будут применяться людьми с полным знанием дела», — опускаю некоторые уточнения, а далее следует: «Объективные, чуждые силы, господствовавшие до сих пор над историей, становятся теперь»... виноват, «поступают под контроль самого человека. И только с этого момента люди начнут вполне сознательно сами творить свою историю» — и так далее.

— Bravo! Мне бы вашу память. Так вот, вы призвали студентов развивать эти мысли, то есть, думать дальше. Оставим в стороне вашу, скажем так, переоценку способностей студентов, которые должны думать дальше, чем классики марксизма-ленинизма. Остановимся на том направлении, которое вы намеривались придать размышлениям студентов.

— Не понимаю, о чем вы говорите.

— А вот о чем. Предположим, что я, как ваш студент, спрашиваю себя: перестают ли у нас, в стране победившего социализма, объективные законы играть свою решающую роль? Чтобы ответить себе на этот вопрос, заглянем в «Краткий курс», в частности, в его четвертую главу. Кстати, каково ваше отношение к этому произведению?

— Весьма положительное. Рекомендовал студентам, разумеется.

— Ну, смотрите, какая благонамеренность! И вот, следовательно, студенты читают там, в этом классическом изложении теории диалектического и исторического материализма, что наше социалистическое хозяйство строится в строгом соответствии с объективными экономическими законами. Тут-то и задумается студент, следуя вашему указанию! Чему же верить? То ли в «Кратком курсе» в его четвертой главе, написанной лично товарищем Сталиным, содержится неточность, то ли общественный строй, который создан у нас, не соответствует учению Маркса и Энгельса, и не означает перехода в царство свободы. Так получается? А если студент думает еще дальше, то не приходит ли он к выводу, что в царстве свободы уже не общественное бытие должно определить общественное сознание, а наоборот, поскольку объективные силы подпали под контроль человека? Выходит, что при социализме уже не материальное благо первично, а сознание? А ежели нет этого, то общество, в котором этого нет, не может называться социалистическим? Так получается по-вашему?

— Я этого не говорил.

— Да, да, вы этого не говорили. Вы только подталкивали наших студентов, наше юношество, еще недостаточно закаленное в идейном отношении, к этим кощунственным выводам.

— Но почему вы так уверены, что наше недостаточно закаленное юношество непременно придет к этим выводам? Пока что ни от кого, кроме вас, я таких выводов не слышал.

Ах, как жалел потом Павел Русланов о своей несдержанности. Зачем было припирать к стенке этого неглупого, добросовестного начинающего служаку, который не чурался умственной работы! Последующее, надо полагать, было результатом именно этих

неосторожных слов.

Несколько дней его не вызывали па допрос. В одиночки подвалов Лубянки, довольно чистых и не очень холодных, едва проникала осенняя сырость. Русланов долго не имел представления о том, какая погода снаружи. Он коротал дни в разработке защиты на предстоящих допросах, представлял своим оппонентом все того же неглупого лейтенанта, и старался попусту не ломать себе голову над странным фактом, что его вдруг оставили в покое. Но вот глубокой ночью загремели засовы, и ему дали пять минут на сборы...

Промозглая ноябрьская стужа ожгла его отвыкшее от соприкосновения с вольным воздухом лицо. Но путь до «воронка» был коротким, за ним захлопнулась дверца, и он оказался один внутри холодной, окованной оцинкованной жестью, коробки, скудно освещенной потолочным плафончиком в железной решетке. Обитые дермантином — какая роскошь! — скамьи по бокам были опущены, Русланов приподнял ту, которая справа, приладил снизу кронштейн, и сел. Его немного трясло, то ли от холода, то ли от нервного ожидания. Снаружи не доносилось ни звука. Куда они запропастились? Согласовывают что-нибудь? Или чаек попивают, им спешить некуда. Наконец, послышался топот сапог по асфальту, скрипнули дверцы кабины, зажурчал стартер, мотор завелся не сразу, кто-то выругался матом, мотор загудел и машина тронулась в путь.

По поворотам, которые он ощущал телом, и по расстояниям между этими поворотами Русланов старался определить маршрут. Сначала машина катилась легко и плавно, наверно, под уклон, значит вниз по Тетральному проезду. А вот поворот направо, водитель прибавил газу, переключил передачу, ясно, едем на подъем по Большой Дмитровке. Стоим у светофора. Еще один светофор. И еще один. Теперь прямо и прямо. Все ясно, в Бутырки.

Грязная, переполненная камера, духота и

зловоние, жидкая баланда, мрачный усач-выводила, бестолковый хам-следователь — Русланов вспоминал о длинных, опрятных, без соринки коридорах Лубянки и о своем интеллигентном лейтенанте как об утерянном рае. Где ты теперь, образованный энкаведешник, не попал ли ты сам за решетку? А может быть, повысили, науськали на более важную птицу?

Невыносимо было смотреть на согнутые болью фигуры, окровавленные лица, обеззубевшие рты... Почему его не били? Сокамерники сторонились его: наверное, подозревали, и он их понимал. А почему не били, понимал не совсем. Неужели просто не поднималась рука на человека, достоинство которого сковывало злую волю даже отпетых жандармов? Или, что вернее, потому лишь, что его добровольных признаний доставало, чтобы доказать эффективность допросов? Он подписывал протоколы с умом, понимая, с кем имеет дело, и прикидывая, на сколько что потянет. И все же просчитался! Пятнадцать лет! Бог мой, такой громадный отрезок жизни. Он уверял себя, что у него хватит сил выдержать и это испытание, надеялся, что поможет сознание еще не выполненной жизненной задачи. Но Колыма пошатнула эту уверенность. Не случись здесь Борис Комаров, мне бы, пожалуй, не пережить следующую зиму, такая вот трезвая мысль частенько теперь посещала его. А чего особенного, люди бессчетно гибли у него на глазах...

Корреспондент Комаров заходил как бы по делу в нарядную, полутемную каморку, где из щелей между неструганными тесинами сыпался шлак, а железная труба от печки-бочки подвывала ветру голосом болотной выпи. В беседах с Комаровым кандидат философии з/к Русланов не просто отводил душу. Он еще и, может быть, не совсем осознанно стремился передать на сохранение груз познания, накопленный годами изучения, наблюдений, сопоставлений, размышлений... На тот случай, если самому не суждено будет с этим грузом

вернуться к людям. Именно в передаче знаний, необходимых человеку для осмысленного существования в этом мире, полном противоречий, видел он свое жизненное предназначение.

Разложив перед собой — для отвода глаз — декадные и месячные, побригадные и участковые сводки, они рассуждали о сути общественных взаимосвязей, о двигательных силах истории, смысле жизни. Простота суждений Павла Русланова порой приводила Бориса Комарова в изумление, он то готов был воскликнуть, как это я сам не догадался, то приходил к убеждению, что и сам всегда так думал.

— Смысл нашего с вами существования? Голубчик вы мой, ведь это так просто! Уж если мы все пришли в этот мир, и раз мы все приговорены к жизни, то первейший наш долг сделать друг другу эту жизнь как можно... выносимее! Я хотел было сказать «счастливее», да только в моем положении такими словами бросаться негоже.

О чем бы ни затевался разговор, он так или иначе сводился к выяснению сущности общественных систем. Рассуждения Русланова покоряли и пугали своей прямолинейной и убийственной логикой.

— Общественный строй, установленный насильственным путем, исконно и неизбежно порочен. Почему из вооруженной борьбы не может произойти ничего путного? Да потому, что люди гуманного склада не пойдут по доброй воле убивать себе подобных. А те, кто ходил убивать, не подпустят к власти тех, кто не ходил, то есть, в их понимании, не рисковал своей шкурой. Ради своей власти они не постесняются прибегнуть к жесточайшим репрессиям, которые могут коснуться любого, самого не причастного к политике человека. Возникает всенародное очерствение, обострение инстинкта самосохранения, смирение перед всемогущей жесточайшей властью, уход в свою скорлупу и безразличие к страданиям ближнего.

Это все о нас, догадывался Комаров. И как только земля не разверзнется у него под ногами! По земля лишь слегка колебалась от взрывов на рыхление породы в ближних забоях.

— Так при каком же строе мы живем? — осмеливался спросить Комаров.

— Попробуем разобраться. Существо общественных формаций выражено в названиях, которыми они обозначены. Что такое феодализм? Это господство феодалов. Что такое капитализм? Это господство капитала. А что же в таком случае социализм? Да это же господство всеобщего интереса! «Социо» — значит что? Значит общество. Все происходит в интересах общества, и каждому его члену близки всеобщие интересы — вот это и есть социализм.

— Есть? У нас он есть?

— У нас его нет и в помине. Для такого общественного порядка необходим высочайший уровень сознания.

— Общий для всех?

— Такое нереально, но если не для всех, то по крайней мере для выраженного большинства. Без этого условия возможны лишь подделки под социализм.

— Но чтобы каждый был озабочен интересами общества, надо ведь, чтобы эти интересы совпадали с интересами каждого.

— Совершенно верно. Однако уточним: истинными интересами, и лично осознанными, а не выдуманными и спущенными по инстанциям. Все взаимозависимо. Когда удовлетворение запросов индивидуума прямо зависит от благосостояния всего общества, возникает понимание, что только через процветание общества можно достигнуть личного достатка и довольства. Но все это осуществимо лишь в том случае, если во главе общества и всех его ячеек будут стоять люди, обладающие наиболее высоким уровнем сознания, или, проще сказать, сознательности, то есть ответственно-

сти перед обществом. Социализм лишь тогда будет подлинным, когда он выдвинет к вершинам управления самых умных, самых знающих, самых честных граждан, то есть людей, движимых заботой о всеобщем благе, а не корыстью или жаждой власти. Если для рядового труженика достаточно понимания, что только через собственный вклад в общее дело он достигнет личного благосостояния, то для руководителя этого мало. Слышали разговор про отца народов? Подразумевается, что лицо, облеченное властью сознает себя ответственным за дела в обществе, как добрый отец за благополучие своей семьи. Но когда вышестоящий руководитель объясняет неудачи бестолковостью подчиненных, значит, это никуда не годный руководитель. Принять ответственность на себя — это высший принцип руководства. Сваливать ответственность на других — это прием неуча и авантюриста.

Боже, что он говорит, поражался Борис Комаров. Если он вот так же рассуждал перед своими студентами, удивительно ли, что оказался здесь! Становилось не по себе от сознания, что вот он сейчас, соприкоснувшись с крамолой, и внутренне проникнувшись ею, может, как ни в чем не бывало, встать и уйти, и поехать в свою редакцию, и сочинить что-нибудь про трудовой порыв добытчиков металла, держа про себя те самые мысли, за которые этот старший его товарищ — не мог он иначе называть его в уме при всем различии их положения — будет еще годы томиться в шкуре з/к, осужденного «врага народа», и, возможно, за какую-нибудь пустяшную провинность, или просто за то, что чем-то не угодит начальству, расстанется со своим тепленьким местечком и снова загремит в забой, будет вкалывать до потери сознания, может зачахнуть от истощения или от цинги, может окоченеть в зимнюю стужу и лечь крестнакрест с другими «мерзляками» в мрачный штабель до весны... А он, Борис Комаров, будет уверять на политзанятиях, что сидит на четвертой главе.

Он тяготился своей условной свободой! Он догадывался, что и Русланов тяготеет своим привилегированным положением, но пользуется им, и боится его потерять, потому что не считает еще свою жизнь оконченной, еще тешит себя надеждой, когда-нибудь вернуться в мир свободных — условно свободных! — людей и продолжать миссию просветителя, взятую на себя, чтобы оправдать свое существование, которое в противном случае считал бы бессмысленным.

З/к Русланов дневалил у железной бочки, перевернутой в печь, подбрасывал куски угля, добытого то ли на Чукотке, то ли под Тенькой, прислушивался к всхрапываниям, хрипам, стонам и бредовым выкрикам своих товарищей по несчастью, и вспоминал своего юного друга, внезапно исчезнувшего Бог весть куда.

Борис Комаров лежал, вытянувшись во весь рост, на соломенном матрасе, потому что если скрючиться, то можно коснуться коленями спящего соседа, толкнуть его невзначай. Лежал с закрытыми глазами, порой вроде бы даже дремал, но и в полусне перебирал в памяти крамольные высказывания своего старшего друга Павла Константиновича Русланова. Как он там, жив ли, здоров? Написать бы письмо, да нельзя — опасно. Жаль, не догадался спросить в свое время, какой у него адрес на воле. Отвоюем войну, станет спокойнее в мире, одумаются вожди, прекратится ловля врагов народа, — вот увидеться бы тогда, поговорить по душам, про жизнь и про социализм, и про личность в истории, поговорить без страха, без оглядки... Будет так? Непременно будет!

11.

Сидеть за рулем автомобиля — это было для Кольки Удальцова как сказка, как полный приятности сон на заре, когда уже начинаешь понимать, что это сон, но стараешься подольше не просыпаться, отдалить воз-

вращение в тусклую действительность. Самому не верилось: ведь это он, Колька Удальцов, вчерашний з/к, неудачливый домушник, человек без роду, без племени, гонит машину по улицам города, гудит сигналом заезжавшимся прохожим, притормаживает у перекрестков, выкидывает из кабины левую руку, чтобы показать, каковы его намерения, все делает правильно, и сидящий рядом инструктор практической езды, добряк дядя Вася, старшина сверхсрочной службы, уже почти не обращает внимания на его действия: поверил, что за рулем настоящий шофер.

Не сразу, ох, не сразу далось это умение! Полторка ГАЗ-АА — зверюга своенравная, укротить ее не так-то просто. Моторчик слабоват, разгону требует большого, по прежде чем разогнать, подумай, как остановишь, тормозная система называется механической, от педали к тормозным колодкам тянутся две стальные проволоки, сила в ногах есть — затормозишь, силы нет — поедешь дальше.

Ни в жизнь не забыть Кольке, как ознакомился на практике он с этим свойством бесподобной полторки. Ехали в сырой ноябрьский полдень по булыжной мостовой к выезду из города, улица шла на подъем, так что приходилось газовать изрядно. Справа тянулся деревянный забор, за ним виднелись крыши одноэтажных барачков, с виду таких же, как лагерные, но населенных вольняшками, строителями и прочим рабочим людом. Впереди сбоку показался мостик из накатника, но проезда за ним никакого не было, раньше здесь ответвлялась дорога и вела куда-то дальше, по потом застроили эти места и огородили забором.

Видишь мосток? — сказал дядя Вася. — Как использовать его, чтобы поехать в обратном направлении?

— Заеду на мостик, съеду назад с поворотом, и понеслась! — отчеканил Колька.

— Вот и давай, — одобрил дядя Вася.

Газуя по влажной, скользкой мостовой, Колька выставил, как полагается, левую руку, согнутую в локте, чтобы обозначить правый поворот: хоть движения здесь не было никакого, порядок есть порядок. Перед самым мостком переключился на низшую передачу и плавно въехал передними баллонами на поперечно уложенный накатник. Но не учел бедолага того, что как только на этот накатник попадут ведущие колеса, сцепление их с поверхностью сразу же резко улучшится. Так оно и случилось: въехав на мостик всеми четырьмя колесами, полуторка рванулась вперед — и прямо на забор! Бац, звено забора рухнуло, и только тут успел Колька намертво затормозить. И надо же было так совпасть, что за забором в этот самый момент толстуха в ситцевом халате, с голыми до плеч руками, вешала на веревку свежевывстиранное белье! Услышав треск и увидев за повалившимся едва не на нее забором рыло грузовика, толстуха не столько оробела — была, как видно, не из пугливых, — сколько вознегодовала. С истошным, на всю окрестность, криком кинулась она, взмахнув жгутом из мокрой простыни, на сидевшего за рулем непрошенного гостя:

— Ах ты, бандюга окаянный, ты что ж это задумал с нами, душегуб?

И еще некоторые нелестные слова пришлось услышать Кольке вместе с преждевременно поверившим в его водительскую сноровку дядей Васей. Но Колька тут же вырулил обратно на шоссе, и, как черт от ладана, понесся под уклон...

Ну, это было в самом начале, теперь бы с ним такого не случилось. И все же какая-то заноза застряла в сердце. Неужели всю жизнь быть ему косоруким неудачником? Вспомнилась и ваза в темной чужой квартире, вспомнились и непослушные рукам, груженные мокрой породой тачки, так и норовившие соскользнуть с узкого трапа...

Вечерами в красном уголке Колька подсаживался

к своему «комиссару».

— Все пишешь, комиссар?

— Да, вот, письмо...

— Небось, подруге жизни?

— Нет, друзьям в Магадан. Про наше жите-бытье.

— Это которое определяет сознание?

— Вот-вот, это самое, — подтвердил Борис Комаров, удивившись про себя цепкости ума своего малообразованного друга: ведь только однажды разговорились они вот здесь же, в красном уголке, на отвлеченные темы, и вот поди ж ты, засели у парня в голове какие-то абстрактные понятия.

А начинался тот разговор, конечно, с вещей отнюдь не абстрактных.

— У меня кто-то спер носки, шерстяные. Я их на базаре купил за десятку. Ну, не паразиты? У своих воруют!

— А у чужих, значит, можно?

— То совсем другое дело. Ты, комиссар, нашей жизни не знаешь.

— Может быть. Не зря один умный человек сказал, что бытие определяет сознание.

— Как, как он сказал?

Борису Комарову доставляло удовольствие излагать перед этим пробуждающимся к осмысленной жизни люмпеном азы общественных наук. Он сам не замечал, как к дозволенной, узаконенной учебными программами премудрости примешивались вольные мысли. Разговорившись, он вдруг спохватывался и менял направление беседы. Но Колька был не так прост, как могло показаться, он замечал нечаянный испуг собеседника и говорил, ехидно прищурившись: «А ты, комиссар, случайно не контра?» Смешно было, но и страшновато.

А Колька Удальцов после таких бесед долго еще размышлял на сон грядущий о жизни, правде и справедливости. Вот живу на свете, а мог бы и не жить, мог

бы вообще исчезнуть из этой жизни, мог бы в детдоме загнуться от тифа, когда была эпидемия, мог бы спьяну под поезд попасть, когда гуляли по железке, мог бы в лагере встрянуть в какую-нибудь поножовщину... И что бы тогда? Так все и осталось бы на земле, ничто бы не изменилось, остались бы дома, деревья, реки, остались бы люди, хорошие и плохие, умные и дураки, вольные и посаженные в тюрьгу, за дело и за понюх табаку... А если так, то зачем он живет? Комиссар говорил: чтобы сделать жизнь для себя счастливее, надо стараться сделать ее краше для окружающих тебя людей, и чтобы каждый вот так друг для друга старался. А что на самом деле? Каждый сам за себя? И так, и не так. У всех есть свои законы. Урки держатся вместе, могут постоять за своих, а кто продаст, того и пришить не жалко. И все же своя шкура каждому дороже.

А теперь вот война. Скоро и они уйдут на фронт, станут пушечки вывозить на прямую наводку, на тактике уже объясняли, как это делается. Вот тогда уж в натуре можешь распрощаться с жизнью. Политрук на занятиях толковал, глядя в свою тетрадку: если придется жизнь отдать за родину, то, говорит, каждый из вас без колебаний... А там и спрашивать не будут, ты с колебаниями или без них. Вон в третьей роте ефрейтор, отделенный, рассказывал, из госпиталя выписался весь израненный, сперва комиссовали, а потом направили для прохождения службы в тыловых частях. Спереди немец прет, говорит, а сзади свои с пулеметами. Товарищ Сталин, говорит, позаботился, приказ такой издал: ни шагу назад.

12.

Начальник участка Михаил Леонтьевич Селезнев, зайдя в конце обеденного перерыва в свою контору, задержался в прихожей, в так называемой нарядной,

где за барьером, у фанерного стола, сидел его надежный, старательный нарядчик з/к Павел Русланов. Из тамбура, из-за обитой войлоком и всякой ветошью двери, пахнуло холодом, Селезнев потянул дверь, закрыл плотнее и облокотился на барьер. З/к Русланов встал и вытянул руки по швам:

— Да ты, сиди, сиди, — сказал Селезнев и оглядел узкое пространство за барьером. На малиновой от внутреннего жара печурке из листового железа кипела вода в котелке. Затянутое в верхней половине морозным узором, а в нижней толстой мутной наледью окошко едва пропускало сиянье недолгого дня.

— Чайком согреваешься? А на обед ходил?

— Так точно, гражданин начальник, — ответил Русланов и снова встал.

— Ну, и как самочувствие?

Что за неожиданный интерес к моему самочувствию, подумал Русланов, но вида не подал и отработал:

— Самочувствие бодрое... — «Идем ко дну», хотелось ему добавить присказку в стиле юмора висельников, которая распространилась в ту пору, когда спасали челюскинцев. Но он, разумеется, воздержался.

— М-да, — произнес Селезнев. — Тут вот я вчера письмецо получил от нашего друга Бори Комарова. — Пишет, что подходит к концу обучение в автополку, скоро отправка на фронт. И велит привет передавать друзьям и знакомым. Я так понимаю, что это к тебе относится, потому что здесь у него вроде не было больше таких особых друзей. Ну, что скажешь?

У Русланова перехватило в горле.

— Очень благодарен вам за эту весть, — выдавил он с усилием.

— Да сиди ты, ради Бога! — прикрикнул Селезнев. — На, закури... — Он протянул Русланову папиросу, выбив ее большим пальцем из надорванного уголка пачки «Беломора». — А ты что, верно, профессором был?

— Нет, не профессором. Был преподавателем в вузе.

— Вот так-то... — отозвался начальник участка неопределенно и покачал головой. — А говорят, что профессором. Уж больно ты интеллигентный. Ну-ну, не обижайся. Если будет нужно что, обращайся, понял? Мы ведь тоже не без понятия...

Начальник участка оборвал себя на этой глупой, заемной фразе и прошел в свой кабинет. Ему трудно было разговаривать с этим з/к, ужасно смущало неравенство, двойное неравенство, как бы два неравенства, неравенство в двух разных измерениях...

Михаил Селезнев дотягивал свой второй договорный срок на приисках Дальстроя. Здесь по сути дела прошла вся его взрослая жизнь. Семь лет назад окончил он рабфак в Барнауле, за два года осилил курс горного техникума, и айда на Дальний Север за длинным рублем, потому что родители в поселке под Риддером, обремененные пятью младшими братьями и сестрами, нуждались в поддержке. В свой долгий отпуск между первым и вторым сроками он много поездил по округе, навещал школьных друзей, да высматривал невесту поприглядней. И, наконец, нашел себе веселую круглолицую Зину, которая обворожила его звонким голосочком и лукавым блеском в глазах.

Он обладал счастливым свойством принимать жизнь такой, какова она есть. А была она исполнена явлений удивительных и уму непостижимых. Вырастали гиганты индустрии, в Магнитогорске плавился чугуун, на Днепре прежде бесполезно текущая вода крутила могучие энергопроизводящие турбины, самолеты летали через Северный полюс напрямик в далекую Америку, в колхозах гудели трактора, и хотя на родных алтайских просторах пролетариат спивался, а народ крестьянский бедствовал и ворчал на новые порядки, где-то на Украине и на Ставрополье уже появились колхозы-миллионеры, газеты помещали фотографии крас-

ных обозов со знаменами, гармошками и пузатыми мешками пшеницы.

А здесь, на Колыме, происходили свои чудеса. Едва определившись на прииске «Большевик» прорабом по вскрышным работам, Миша Селезнев воочию убедился в том, что разговоры о врагах народа были не впустую. Здесь ими просто кишмя кишело, и уж конечно, такая масса, это не пустяк, а реальная угроза тем великим победам, которые одерживал народ под мудрым руководством нашей партии и лично товарища Сталина. Однако здесь, хотя и было их так много, они уже не могли нанести нашей родине никакого вреда. Наоборот, им приходилось волей-неволей укреплять ее могущество, добывая драгоценный металл. Конечно, спуску им тут не давали, вкалывать в борьбе за план приходилось им так, что выдерживал не всякий, но ведь борьбы без жертв не бывает. Эх, да что говорить, всему найдешь объяснение, если постараться...

Зато какие здесь вырастают руководители! Решительные, непреклонные. Чего стоит один нестигаемый начальник Дальстроя комиссар госбезопасности первого ранга. Когда он сюда прибыл, все тут выглядело вроде бы в наилучшем порядке: освоены были почти все разведанные россыпи, золото текло в хранилища госбанка, построены были приисковые поселки, проложена трасса далеко на север, с автобазами и складами горючего на всем протяжении, чего еще надо. Но настоящего чекиста, уполномоченного НКВД, на мякине не проведешь. Уж как он сумел выявить вредительство, это его секрет, но выяснилось, что прежний начальник Дальстроя ворочал делами не затем, чтобы обогатить советскую казну, а чтобы продать все это народное богатство японским самураям. Зловредный агент империализма был разоблачен и уничтожен. А ведь между прочим, ходили такие разговоры, что этот предатель происходил не из буржуев, а из крестьян, с юных лет участвовал в социал-демократических кружках, в 1902 еще

году записался в большевики, был знаком с самим Лениным, избирался в ЦК, а после Октября командовал латышскими стрелками, защищавшими молодую советскую власть. Вот ведь как умели маскироваться, или перерождаться, кто их разберет, эти преподлые враги народа!

Новый начальник Дальстроя сразу показал свою твердую руку. Никаких поблажек осужденным врагам не стало. Комиссара боялись все, от последнего работяги до начальника управления. Его сравнивали даже с Петром I, он и наружностью был схож с прославленным монархом: громадного роста, осанку имел прямую, горделивую, носил с собой большую, чуть ли не с собственный рост, суковатую палку, поблатному дрын, и под горячую руку мог огреть ею любого, будь то з/к или вольнонаемный, не исключая больших начальников.

Михаил Селезнев старался быть «как все», думать и действовать «как все», ревностно выполнял свои обязанности, и подчиненные его бригады всегда выполняли план. Он продвинулся до должности начальника участка, но дальше путь ему был закрыт, это он принимал со смирением, и дело было не в образовании, а просто не хватало начальственной прыти, да еще мешало беспартийное его состояние.

С парторгом прииска, начальником соседнего участка кавказским горцем Булатом Хусейновым, был он на дружеской ноге. Соревновались, поочередно завоевывали переходящее красное знамя, вместе отмечали революционные и семейные праздники, вместе выпивали не раз и не два, словом, куначили, семьями дружили, да и жили по соседству, занимали по комнате в одном и том же рубленом одноэтажном доме с длинным коридором, самом лучшем, если не считать двухквартирного терема, где обитали начальник прииска и начальник лагеря, каждый с отдельным входом. Ну, так вот, дружба дружбой, а ведь ни разу не предложил Михаилу его друг-парторг, мол, вступал бы ты, Миша, так

сказать, в ряды, хотя прием, после длительного перерыва в связи с обострением классовой борьбы и массовым разоблачением врагов народа, был возобновлен. Неужто знал ясновидец-парторг про то небольшое пятнышко в биографии Михаила, а именно, что дядя его был раскулачен и выслан куда-то на север, давно еще, с приснопамятным тридцатом году.

И хотя с тех пор не было о нем ни слуху ни духу, и Михаил во всех анкетах на вопросы «подвергался ли» писал короткое «нет», в какие-то критические минуты, ну, вот, например, когда он подумывал, а не подать ли заявление в партию, закрадывалось в душу беспокойство. Ведь станут расспрашивать, а расспрашивали до тошно, старались докопаться до малейших подробностей, и тогда пришлось бы признаться в таком непочетном родстве. Нет уж, лучше сидеть тихо и не рыпаться.

Дела на участке ладилась, россыпь попалась богатая, съем металла был всем на зависть, работяг начальник лагеря выделял отборных, как и полагалось для передового участка, денег на книжке скопилось дай Бог каждому, словом, жить бы да радоваться. Миша Селезнев и радовался бы, да вот завелась одна червоточина в непорочной селезневской душе. Жена его, юная Зина, не желая сидеть день-деньской в четырех стенах, устроилась в приисковую контору машинисткой. Машинистка она была никакая, но и бумаг там случалось не так уж много, кое-как успевала она двумя пальчиками отстучать одну да другую докладную или сводку, а со временем наловчилась даже до такой степени, что оставалось у нее время, чтобы сбегать в поселковый магазинчик, разузнать, что привезли, да и отхватить, что получше, то кофточку крепдешиновую, то чулки фельдеперсовы, для нее частенько находилась ходовой товар, потому что положение ее под боком у высокого начальства придавало ей весомости. Все это было Мише Селезневу нипочем и даже приятно, пока не выявились новые обстоятельства. Были это обстоятельства дей-

ствительные или только придуманные им от непонятной душевной тревоги, этого он и сам сказать бы не мог, но мучился ими изрядно.

А дело было в том, что идя с работы, он имел обыкновение заходить в контору, чтобы вместе с женой отправиться домой, в их уютную комнатушку, увешанную вышитыми ковриками, с окном, завершенным узорчатой белой гардиной, с широкой кроватью и горкой подушек на ней. Но вот случилось раз так, что Зиночку свою он за столиком ее с машинкой не застал. Спросил суровую, с черными усиками даму, заседавшую за большим двухтумбовым столом у входа в начальственный кабинет, и получил в ответ: понесла бумаги на подпись Иван Степаньчу домой, так как тот неважно себя почувствовал и с обеда отсутствует.

Ну, что ж, дело обычное. Миша Селезнев поплелся домой, ждал жену терпеливо, сам разогрел жареную картошку с салом на плите в общей кухне, согрел чайник. Пришла Зина, час спустя, живая и веселая как обычно, похвалила его за хозяйствование и объяснила, что пришлось ей задержаться, чтобы переписать важную бумагу, забракованную и исправленную требовательным начальником. Ничего особенного, убеждал себя Миша Селезнев, вполне обыкновенная ситуация. А в душу закрался какой-то червячок, и продолжал точить-сверлить. Начальник прииска отправил еще весной свою жену с двумя детьми на «материк», не подходил ей здешний климат...

Когда же повторилась история с ношением бумаг в другой и в третий раз, стал Миша Селезнев попивать сверх обычной меры. Оно и мера-то была здесь небольшой, на колымских приисках непьющих искали днем с огнем, да все напрасно. Зеленые поллитровки с чистым спиртом стояли на полках магазинов в несколько рядов, и цена была на них вполне доступная, а кроме того и казенный спирт всевозможными путями попадал в приватный оборот, носили его в молочных бидонах, в

чайниках и стеклянных банках, не считаясь, настаивали по осени на бруснике или клюкве, собранной в окрестных порослях да болотах, словом, был он такой же обычной принадлежностью застолий, как на Кавказе виноградное вино.

Мише Селезневу крепко помнилось его приобщение к ордену настоящих колымчан. Собрались у парторга, Булата Хусейнова, по случаю его круглой даты, тридцатого дня рождения. За составленными в ряд тремя квадратными фанерными столами уселось человек пятнадцать-двадцать, все нарядные, мужчины при галстуках, женщины завитые и надушенные, а столы ломились от фаршированных поросят, маринованных огурцов и помидоров, жареной кеты и всевозможных винегретов. Посередине стола возвышалась огромная стеклянная банка с густо-красной жидкостью, в которой плавали крупные отборные ягоды. Перед мужчинами стояли большие, граммов на триста-четыреста, эмалированные кружки, женщинам достались чайные стаканы, а некоторым даже раздобытые где-то высокие рюмки из толстого граненого стекла. Мише Селезневу налили полную кружку из большой банки, и он был рад тому, что пить придется не спирт, а густо-красную настойку. Пока произносили первый тост, он вилкой повынимал плававшие поверху ягоды, чтобы не застревали в горле. И вот отзвучали приветственные слова в адрес именинника, все одобрительно загалдели и поднесли к губам что у кого было налито. Миша Селезнев, зная, что по первой надо пить до дна, начал решительно вливать в себя содержащуюся в кружке красную жидкость. Он пил крупными глотками, но когда в кружке оставалось уже меньше половины содержимого, он вдруг по странной шероховатости, тупости и даже омертвелости в горле догадался: «Боже, да ведь это чистый спирт!» Но остановиться уже не мог. Осушив свою посудину, он огляделся помутневшими глазами, с удивлением отметил, что кругом все знакомые лица, только

выглядят они как-то необычно, слишком ярко и как бы нереально, словно на картинке в книжке сказок. Разговор слышался как бы издалека, и слова были вовсе непонятны. «Ты закусывай, закусывай», — сказала хозяйка дома участливо, и Миша, навалился на винегрет. Через несколько минут он вроде бы стал приходить в себя, попробовал даже вступить в разговор, но сморозил какую-то глупость, губы плохо слушались, язык еле ворочался. А потом в голове помутилось, и он стал клониться на бок, едва не свалив соседку. Его подхватили под руки и вывели на вольный воздух.

Дело было в начале августа, вечера становились уже сильно прохладными. Его уложили на толстое отесанное бревно, заменявшее скамейку, он увидел темно-голубое небо, и перед его глазами, близко-близко, поплыли лучистые звезды, все вокруг кружилось каруселью, а живот разогревался как паровозный котел, и было очень, очень забавно от всех этих необыкновенных ощущений. Спустя полчаса он поднялся, нетвердым шагом, держась за притолоку, вошел в дом, пробрался, шаря в темной прихожей по стене руками, в комнату, и его встретили как героя, все уже были навеселе. Резко ударил в глаза свет ничем не защищенной лампочки. Миша взбодрился и, стараясь нести прямо свое богатырское тело на непослушных ногах, дошел до своего места и опустился на табурет. Его крупная, украшенная густой соломенно-желтой шевелюрой голова все клонилась к низу, веки то и дело наползали на осоловелые глаза, могучий подбородок падал на грудь, и крупный с горбинкой нос продуцировал звуки свирели. Соседи тыкали ему пальцем в ребро, он вскидывал голову и виновато улыбался, но наполненную вновь кружку отставил в сторону, сидел молча, пожевывал какую-то пищу, и старался изо всех сил не выдать своего состояния, близкого к беспамятству. Как он потом оказался дома, Миша Селезнев не помнил.

После того боевого крещения он стал изредка

позволять себе прикладываться к чистому спирту, но всегда запивал чем-нибудь приятным на вкус, сиропом ли, квасом или ситро-лимонадом. Теперь, погрязнув в мучительных переживаниях, он все чаще прибегал к оглушающему воздействию «чистяка», пил один, когда, вернувшись с работы, не заставал дома жену — в контору за ней он больше не заходил. Когда же она приходила домой, усталая и невеселая, он ее ни о чем не спрашивал, а приглашал присоединиться к его неурочному пьянству. Поначалу она отказывалась, но потом как-то решилась, и вскоре они уже вместе коротали вечера за бутылкой, закусывали чем попало. Иногда она успевала до опьянения поджарить яичницу на сале, ни на что другое не хватало ни времени, ни фантазии. Напившись-наевшись, они укладывались в супружескую постель, Михаил действовал молча, грубо и ожесточенно, а она отворачивала лицо и роняла слезы на пуховую подушку.

Дела на участке Селезнева шли все хуже и хуже, то ли месторождение истощалось, то ли не стало хватать распорядительности у начальника, десятники и бригадиры своевольничали, а в довершение всего один из вольнонаемных Десятников был пойман с крупным самородком в кармане. На совещаниях начальник прииска бранил нерадивых командиров производства, иногда вскользь упоминал и Селезнева, но не смотрел в его сторону и никогда не вызывал его для крупного разговора с глазу на глаз, как поступал с другими подчиненными.

Отмечать свой день рождения — тридцатого января сорок третьего года ему исполнялось двадцать восемь лет — Михаилу Селезневу не хотелось. О снятии с должности поговаривали уже в открытую, и до него доходили эти разговоры. Известия с фронтов стали в последнее время утешительнее, но каждый тыловики, особенно если он не ходил в передовиках производства, чувствовал себя в чем-то виноватым. Однако Зинуля и

слышать не хотела об отмене празднования, она в последнее время как-то повеселела, была чем-то заметно воодушевлена, и ее отлучки по вечерам вовсе прекратились.

Приглашенных было немного, только близкие друзья, и среди них, разумеется, парторг Булат Хуциев. Каждый, входя, сразу вручал свой подарок — кто сорочку, кто галстук, кто кулек мандаринов — редкий и вожделенный продукт в этих дальних северных широтах. Но Булат Хусейнов всех превзошел в своей изобретательности — он вручил другу могучие изогнутые рога снежного барана, подстреленного им прошлой зимой, обработанные и прикрепленные к полированной дощечке одним искусным з/к, мастером театрального реквизита. Этим трофеем Булат очень дорожил, но как истинный кавказец ничего не жалел для друга.

Миша принял подарок с улыбкой, поблагодарил прочувствованно и даже примерил эти рога, приставив их ко лбу, но тут же заметил странные криворотые улыбочки на устах некоторых гостей. Он положил рога на шкаф, все расселись за столом и началась обычная процедура поздравлений и тостов. Но вдруг Мишу осенило: где-то когда-то он читал, что у каких-то аристократов, в старину, существовало понятие «рогоносец», говорили даже, в издевательском смысле, про «орден рогоносцев», и он вспомнил, какое в этом звании заключалось значение. Он внутренне сразу сник, но старался виду не подавать, натужно улыбался шуткам, и сам пытался острить, говорил что-то невпопад, а пил безостановочно и по-крупному.

Раньше Михаил Селезнев был страстным и удачливым охотником. Не проходил ни один охотничий сезон, — а сезон здесь никем не определялся, есть дичь, значит, есть и охота, — чтобы он не выходил ранним утром в тундру и не возвращался к вечеру, а то и к полудню, либо с парой куропаток, либо с зайцем, а случилось что и с рыжей длиннохвостой лисой. Теперь охота

была заброшена и забыта, а двустволка тульского завода стояла за шкафом в пыли и невостребованности.

Проводить гостей Миша был не в состоянии, Зина взяла эту миссию на себя. Когда же она, распрощавшись со всеми, затворила за собой наружную дверь итээровского барака и сделала первый шаг по коридору, прогремел выстрел, запахло порохом. Она бросилась к своей двери, почуяв недоброе. Сбежались соседи. Подергали дверь, но она была заперта изнутри. Побежали за топором. Дверь взломали.

На полу, у неубранного стола, распласталось громоздкое тело Михаила Селезнева. В левой руке у него еще была зажата двустволка. Левая нога была в сапоге, а правая разута. В подбородке и в темени навывлет зияла кровавая рана. Зина покачнулась и упала на руки соседок.

13.

Новый начальник участка не пожелал терпеть в нарядчиках пятьдесят восьмую. Сначала он придирался по пустякам, орал и ставил по стойке смирно, а в конце концов приискал на эту должность бывшего бухгалтера из бытовиков, а Павла Русланова отправил в забой.

Возвращение в забой Русланов пережил спокойно. Месяцы в «доме отдыха», каковым он про себя считал нарядную, вернули ему силы и примирили с необходимостью придерживаться некоторых правил поведения, которыми он раньше пренебрегал. Он понял, что ему достался шанс выжить, а это значит продолжить когда-нибудь осмысленное существование, делиться мыслями, набираться новых знаний и передавать их другим. Такое не может продолжаться вечно, сказал он себе, как не раз прежде говорил товарищам по несчастью, утратившим веру в будущее и волю к жизни. Филонить

напропалую он не мог, это противоречило его натуре. В нем вызывали не столько сочувствие, сколько жалость с примесью безразличности те несчастные, которые наедались добытой всеми правдами и неправдами соли, распалили жажду и пили, пили воду до тех пор, пока все их тело не разбухло как надутая резиновая кукла. Они попадали в санчасть, их хоть с бранью, но лечили, ставили на ноги и снова отправляли в забой, но случалось, что и погибали слабые телом и духом от своей искусственно добытой водянки, и товарищи поминали их грустным присловьем: от воды да соли не увидишь воли.

Нет, существовали другие, более верные пути самосохранения. Когда появлялось вблизи какое-нибудь начальство, он взмахивал кайлом на полную амплитуду и долбил породу что есть сил, а едва надсмотрщик удалялся, давал отдых рукам и спине. Он научился соразмерять движения с запасом энергии, орудовал инструментом расчетливо, без напряжения, используя сколько возможно маятниковый эффект, старался подрубать породу поглубже снизу, а обрушивать большими глыбами, по так, чтобы они при падении сами разрушались и не надо было тратить много сил на их измельчение. Он с удивлением обнаружил, что работа начинает ему даже нравиться, как нравится человеку всякое дело, которое ему удастся.

За работой он размышлял. Память о Михаиле Селезневе, его благо расположенном, незлобивом начальнике, не давала ему покоя. Причины самоубийства были известны всем, и вольным, и з/к. Одни говорили с оттенком осуждения: из-за бабы! Другие вспоминали парторга и гадали о том, то ли по простоте душевной преподнес он «Селезню» тот многозначительный подарок, то ли с коварным умыслом. Но Павла Русланова занимало не это. Человек добровольно ушел из жизни, пусть и под воздействием разыгравших эмоций, пусть и под влиянием хмельных паров, но все же, вероятно, не

спроста и не сию минуту возникла у него мысль о самоубийстве, наверняка, зрела она в нем задолго и исподтишка. Почему? Русланов мог понять человека, сводящего счеты с жизнью, когда рушатся идеалы, распадается вся жизненная концепция, когда человек увидел безысходность своей жизненной позиции, бесплодность дальнейшей борьбы за осуществление каких-то высоких целей. Русланов слышал о том, что Серго Орджоникидзе умер не от инфаркта, а пустил себе пулю в сердце. Это он мог понять: человек, посвятивший себя революции, убедился в том, что святое дело попало в грязные руки, что чаяния народа обмануты и что сам он стал инструментом проведения той «линии», которую в глубине души осуждал. Можно было понять самоубийство супругов Лафарг, которые посчитали, что свое жизненное предназначение выполнили, как могли, а за пределами семидесяти лет человек, но их мнению, становился бесполезным для общества... Еще он мог понять тех, кто искал скорой смерти, чтобы избежать столь же верной, но во много раз более мучительной. Но чтобы уйти в расцвете сил, не выдержав моральной пытки чисто личного происхождения? Для этого человек должен слишком обособиться в самом себе, стать слишком озабоченным одним лишь собой, слишком отдаленным от окружающих его людей, которым он мог бы быть полезен.

Так рассуждал Павел Русланов, в ком воля к жизни была неистребима, ибо смысл своего существования был ему ясен: приносить пользу людям. Но Селезнева он не осуждал, только удивлялся тому, как плохо знал его, как мало способен был понять глубину его душевной травмы, как обманчива была его внешность неунывающего здоровяка.

Стояли солнечные дни середины июля, жара была прямо-таки тропическая, глубоко оттаявшая порода легко поддавалась кайлу, харч улучшался соответственно богатеющему намыву, а с фронта приходили

все более обнадеживающие вести: наши войска перешли в наступление севернее и восточнее Орла. Вот в такой сияющий июльский день Павла Русланова окликнул бригадир, вернувшийся из участковой конторы:

— Эй, слышь, Русланов, тебя в КВЧ требуют. Ступай, да поживей обратно.

Меня в КВЧ? Зачем бы это? С культурно-воспитательной частью у Русланова никаких отношений до сих пор не бывало. Он не артист, который мог бы спеть на самодеятельном концерте «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью», не баянист и не плясун, он не художник, чтобы малевать плакаты, поясняющие, что проценты перевыполнения идут в зачет. А чем еще занимается КВЧ? Не философскими же проблемами...

После яркого наружного света помещение, в которое он вошел, показалось ему темным и мрачным, но прохлада освежала. Пахло какими-то духами в смеси с табачным дымом. Приглядевшись, Русланов рассмотрел справа, под окнами, длинный стол, на котором было разостлано красное полотнище с недописанными лозунгом, слева в углу сваленные в кучу, свернувшиеся трубкой, помятые и растерзанные листы бумажных плакатов. Перед обитой рогожей дверью с табличкой «Нач. КВЧ» стоял однотумбовый столик с пишущей машинкой, за ним сидела женщина со вздыбленными накрученными кудряшками и серым одутловатым лицом. Рядом с пишущей машинкой в стеклянной пепельнице бугрилась кучка папиросных окурков.

— Проходите, Павел Константинович, присядьте пока. Я сейчас доложу начальнику.

Голос хрипловатый, но до чего же знакомый... Боже, да ведь это Зина Селезнева!

Но как она непохожа на ту ясноглазую, веселую, живую, как ртуть, женушку начальника участка, которая, бывало, забегала к мужу в контору, чтобы увести его на обед или просто проведать или требовать денег

на какую-нибудь обнову! Русланов не видел ее, наверное, с полгода, с той самой поры, когда прогремел злополучный выстрел из двух стволов тульского дробовика. Как объяснить, что она его помнит? Ведь они едва обменивались нарочью фраз: «У себя?». «Так точно», или «Должен скоро вернуться». Она всегда была приветлива с ним, то есть, что значит приветлива, просто глядела на него как человек на человека, ни о каких отношениях между ними не могло быть и речи.

— Проходите, Павел Константинович.

Оказывается, она даже знала, как меня зовут по имени и отчеству. Наверное, говорили обо мне с мужем... Интересно, что они говорили?

Начальник КВЧ, молодой человек с интеллигентным лицом, с тремя «кубарями» в петлицах и звездой на рукаве, сидел за письменным столом, откинувшись на спинку кабинетного кресла общепринятой здесь модели, жесткого с деревянными подлокотниками, и некоторое время разглядывал его с любопытством.

— З/к Русланов явился по вашему вызову.

Начальник КВЧ улыбнулся, оперся локтями на стол и продолжал ощупывать его взглядом.

— Так это правда, что вы кандидат философских наук? — вымолвил он наконец. — Любопытно, любопытно!

Улыбка не сходила с его лица.

— Бывший, гражданин начальник. Теперь я никто.

Почему ему захотелось так охарактеризовать свою персону, Русланов не смог бы объяснить. Привлекательная внешность сидящего напротив него человека в форме офицера НКВД и интеллигентная манера выражаться, так непривычная в здешних условиях, привели его в замешательство.

— Мне рассказала о вас наша машинистка, — продолжал политрук. — Я не знал Михаила Селезнева, я прибыл уже после его нелепой кончины, но слышал о нем много хорошего. Садитесь, что же вы стоите!

От такого обращения, столь естественного, будь оно с другой обстановке, и столь неожиданного здесь, Русланову стало совсем не по себе. Он осторожно присел на краешек стула и весь внутренне напрягся, ожидая подвоха. Но начальник КВЧ, развеселившись еще больше, сказал:

— Н-да, изменила нас цивилизация... Расслабьтесь, Русланов я вам не враг. Тут дело вот в чем: нам нужен художник. Ваш предшественник сбился с круга и отдал Богу душу. Образовалась вакансия.

Историю этого предшественника, который повесился на куске провода с неделю назад, Русланов, как весь лагерь, знал со многими подробностями — действительными или выдуманными, это уж другое дело. Такого рода легенд о необычных судьбах ходило множество по лагерям, они передавались из уст в уста, и каждый осмысливал их по-своему, и дополнял в меру своего разума, и передавал дальше в своем толковании...

Словом, жил был художник с подозрительной фамилией Кугель. Окончив Строгановское училище, он определился в один из богатейших московских рабочих клубов при знаменитейшем заводе. Ему отвели под мастерскую большую комнату с широкими окнами на юг, отпустили кучу денег на кисти, краски и все такое прочее. Он как бы шутя писал афиши, плакаты, лозунги, да еще и портреты передовиков с натуры, а остающееся время употреблял на странное и непродуктивное занятие, смахивающее на своего рода манию. Когда-то давно, в один из наездов в родную деревню, он увидел слезу в уголке глаза лошади, через силу тянущей бочку с водой вверх по косогору. Это впечатление засело в его мозгу крепко, но, как видно, нечетко. Может быть он даже сомневался, действительно ли видел он эту лошадиную голову со слезой, или она пригрезилась ему после чтения Маяковского. Но и сама эта неясность толь-

ко подхлестывала его к тому, чтобы снова и снова пытаться изобразить ту печально поникшую голову обесилевшей клячи. Как только выпадала свободная минута, он становился к мольберту в дальнем углу мастерской и писал один эскиз за другим, стараясь выразить всю меру сочувствия и жалости к скотине, живущей в его воображении. За месяц-другой эскизов накопилось несколько десятков, но ни одним из них Кугель не был доволен, а посему писал все новые и новые.

Однажды в его мастерскую наведальсь начальство. Что это было за начальство, из кого оно состояло, об этом история умалчивает — начальство есть начальство. Оно осмотрело детально все его производство и хотело уж было удалиться в полном удовлетворении, как вдруг заметило в углу груды небольших полотен. Начальство заинтересовалось и стало разглядывать эти полотна одно за другим. Каково же было его удивление, как выражались старомодные сочинители, когда оно обнаружило, что все эти картины представляют собой одну и ту же лошадиную голову. Сорок восемь грустных лошадиных морд!

— Ты это что же, массовое производство организовал? Почему продаешь?

Объяснения художника были сбивчивы и для начальства вовсе не убедительны. Пригрозив увольнением, а в случае продолжения промысла и судом, начальство посоветовало по-отечески:

— Мы автомобили строим, а ты по лошади тоскуешь. Вот нарисуй-ка что-нибудь с автомобилем, а мы посмотрим. Тогда может быть и на массовую продукцию перейти разрешим.

И он «нарисовал».

По широкой асфальтовой дороге, на фоне подмосковного лесочка мчится открытый автомобиль высокой марки, то ли бьюик, то ли паккард. За рулем сидит одетый в синюю куртку средних лет шофер с лицом окаменевшим, однако выражающим готовность к любым

услугам. Рядом с ним — грузноватый мужчина в черном костюме и при галстукке, в фетровой шляпе с неотогнутыми полями, глядящий с недовольством прямо перед собой. Позади него сидит толстая мадам в дорогом и безвкусном туалете, с браслетами на запястьях, кольцами на пухленьких пальцах, брошью па груди и серьгами в ушах, рядом с ней толстый круглощекий мальчик с самодовольной улыбочкой, а совсем с левого краю серая громадная овчарка, стоя передними лапами на борту фаэтона, злобно дышит, высунув красный язык. Обок дороги, на белых столбах, высится какой-то лозунг, его буквы словно слились, выражая быстрое движение экипажа, но приглядевшись, можно разобрать, что сказано что-то про победу социализма. Но это еще не все. По обочине, боязливо оглядываясь на шум догоняющей машины, старушка в холщевой юбке, драной кофте и выцветшей косынке тащит за кривые оглобельки ручную тележку, нагруженную собранным в лесу валежником.

Увидев произведение с автомобилем, начальство вскинуло брови и выпятило губы, посмотрело на автора так, как смотрят на диковинного зверя в зоопарке, и, ни слова не говоря, покинуло помещение. Через пару дней Кугеля арестовали...

Спиваться он начал как бы поневоле, а именно потому, что работяги, узнав о его способностях, требовали, чтобы он рисовал их портреты. Раздобыли для этой цели тетрадные листки, куски оберточной бумаги и даже фанерки. Портреты, написанные чем попало, от красной туши до угля, прикрепляли над своими нарами, а кому удавалось, тот посылал родным с письмом о своей вольготной жизни — письма иного содержания не доходили до адресата: другие просто хранили до лучших времен, чтобы «потом» полюбоваться и показать друзьям-приятелям. По для какой бы цели они ни предназначались, плата за труд была одна: полкружки, а то и целая кружка спирта.

Кугелю лишь изредка приходилось брать в руки кайло или лопату. Пока он рисовал своих клиентов, со-бригадники выполняли за него положенную норму, и никто не оставался в накладе. Случалось, что и граждане начальники вызывали Кугеля к себе, чтобы позировать ему и получить портрет, исполненный па ватмане, а то и на холстине.

Прознав о таланте з/к Кугеля и о его пагубной склонности, новый начальник КВЧ взял его к себе, но было уже поздно...

Русланов был в растерянности. Никак не ожидал он такого ни на чем не основанного предложения.

— Но ведь я... никакой не художник! Я даже в школе был последним по рисованию.

— Неважно. Печатные буквы более или менее прямо выводить сумеете? Здесь у нас не Третьяковская галерея. Привыкните, потренируетесь... Не боги горшки лепили. Одним словом, я вас беру, и конец разговору.

Выйдя из кабинета начальника, Русланов на минуту задержался в приемной возле машинистки.

— Не знаю уж, как вас благодарить, Зинаида... простите, отчества не знаю.

— Да ладно уж. Николаевна я. А чего вам пропадать в забое то!.. Закурить хотите? — Она достала из стола начатую пачку «Беломорканала».

— Спасибо, я к махорке привык.

— Ну, как знаете. Значит, будем тут с вами вместе заправлять делами...

Как странно изменился ее голос, подумалось Русланове. Наверное, она пьет.

14.

Эшелон длиною в сорок теплушек плюс одни пассажирский вагон вторую неделю катил по черно-белым,

увязшим в снегу, таежно-скалистым неровностям Восточной Сибири.

За несколько дней до отправки в полку распространился слух, что под Сталинградом наши захватили множество техники, теперь на фронте хоть отбавляй трофейных машин, а шоферов не хватает. Вот почему их отправляют в спешном порядке, наскоро проведя экзамены и выдав буро-зеленые корочки, где над отпечатанной честью честью аттестацией «Шофер третьего класса», рядом с фотографией, фиолетовым штампом было оттиснуто: «Ускоренно». То есть, доверие к ним как шоферам было неполное.

Житуха в вагонах была что надо. Новенькие, из белой овчины полушубки, жесткие, еще не расторопные серые валенки, надежно согревали в самый лютый мороз, да к тому же в каждой теплушке стояла чугунная печурка, и угля выдавали по ведру в сутки. Кормежка была фронтальная, в густом пшенном супе с картошкой, среди солдат известном как кулеш, плавали куски консервированной говядины, да и в каше — перловой, по прозвищу шрапнель, а случалось что и гречневой — тоже попадались мясные волокна. Частенько, хотя и нерегулярно, раздавали газеты, и тогда выделенные агитаторы зачитывали важные новости. Старшие вагонов проводили переключку после каждой станции с выходом на opravку, а остальное время проводили кто во что горазд, спали, сколько влезет, пели песни («Ты прощай, Маруся, еду я в Китай, ты пришли мне сахару, а я тебе — чай» — ведь Китай был в самом деле рядом), дулись в шашки и в домино, — за карты могли посадить на губу, в холодный вагон под охраной. Да и нравы были уже другие, поубавилось лихости у колымчан за три месяца армейской муштры, а кроме того, и этот маршевый батальон был уже не то, что своя бражка на «Инди-гирке». Еще в полку «колымский контингент» разбавили призывниками из нормальной «гражданки», недомобилизованными в свое время парнями из дальнево-

сточных и сибирских отдаленных селений, в их числе взрослыми мужиками лет по тридцать и более.

Проезжали знаменитые места. В первую ночь после Хабаровска миновали Волочаевку, про которую даже песня сложена, на ура подхваченная всем пародом. Говорили, что где-то в Приамурье, справа от железной дороги стоит отвесная скала, а на ней выбит профиль вождя и учителя товарища Сталина, такой величины, что видно за десятки километров. Это будто бы какой-то з/к, по специальности скульптор, хотел таким образом добыть себе свободу, да не тут-то было, когда уж к концу дело шло, сорвался и разбился вдребезги. А кто говорил, что был это вовсе не один скульптор, где бы ему в одиночку одолеть такую громадину, а это лагерное начальство хотело отличиться и согнало сюда бригады камнетесов. Эшелон пялил глаза из всех дверей и окон, но ничего похожего не углядел, возможно, ночью проехали эту удивительную скалу.

Приамурье осталось позади, началась самая Сибирь, с ее лютыми холодами, двери-окна больше не открывали, печурки шпарили на всю железку, полы белых полушубков чернели от соприкосновения с углем, который таскали в железных круглых коробах с пристанционных складов. Спали во всем, что имели на себе, короче говоря, дичали.

Поезд подолгу стоял на узловых станциях. Кое-кто ухитрялся при этой оказии раздобыть бутылку-другую самогонки, но это редко удавалось: хотя командиры ехали в особом, пассажирском вагоне, старшие теплушек, в осознании своей ответственности — на фронт ведь едем, не к теще на пироги, — никому не давали поблажки.

На станции Зима — лучшего ей и не найти названия, думалось в эти морозные дни — всех поротно сводили в санпропускник, прожарили белье и обмундирование, хотя и не было в этом пока большой нужды: в новых с иголки вещи вошва заводиться не спешила.

Но банька по-русски, где вдоволь воды, горячей и холодной, где шайки из оцинкованной жести, мочалки из топкого лыка, с помощью которых можно взболтать мыльную пену так, что ползет через край — эх, хорошо, да мало! Напялили горячую, едва стерпишь, одежку, веселые, с розовыми лицами, взобрались в вагоны, покатались дальше...

Третья неделя пути приближалась к концу, когда встали где-то под Омском. Здесь даже эшелону с пополнением было не протолкнуться, составы из Кемерово, Барнаула, Новосибирска, везли на запад нужнейшие грузы, металл, уголь для Челябинска и Свердловска, снарядные болванки и боеприпасы.

Когда выяснилось, что застряли надолго, Кольки Удальцова новый приятель, уроженец здешних мест, разволновался. Подходил то к одному, то к другому хотел что-то оказать, да не решался, и наконец, выложил перед Колькой свою задумку.

— Слышь-ка, у меня ведь дом тут рядом. Махнем?

— Рядом? Это где? Возле станции?

— Не а, километров сорок... Ну, тридцать. Или тридцать пять.

Колька усомнился:

— Ты чего, офонарел? Поймают — шпокнут как дезертиров.

— А мы не втихаря. Мы отпросимся.

— Так тебя и пустили. А вдруг поезд тронется?

— Еще сутки простоим как пить дать. Мне железнодорожник объяснял, до самой Тюмени все забито.

Колька задумался.

— Ну чего я туда поеду? У тебя родня, понятно. А я? Иди сам, мне потом расскажешь.

— Одного не пустят. Надо, чтобы в компании.

— А что я там делать буду? Чужак чужаком.

— Чудило, ты знаешь, как в деревне сейчас всякому солдату рады? А девок знаешь сколько скучает по нашему брату?

При упоминании о девках в душе Кольки сразу все перевернулось. Человек он был по характеру несмелый, с девками, несмотря на подходящие года, дела до сих пор не имел, заигрывать с ними не решался, потому что красавцем себя не считал, да и ростом не очень выдался. В заводском общежитии слушал, бывало, с завистью рассказы ловеласов про их легкие победы, случалось, и сам выходил на «блядоход», как выражались в их кругу, но удачи не имел — то вследствие того, что мало выпил, не одолел робость, то, наоборот, оттого, что перебрал и был такой никому не нужен. А в лагерях понаслушался да понасмотрелся такого, что выворачивало нутро, и ни к какому скотству душа у него не лежала. О женщинах он старался не думать, чего попусту себя растравлять, лишь изредка ночами снились ему какие-то красавицы из прошлой жизни, которых будто бы встречал когда-то, и были они к нему так благосклонны во сне, что просыпался он поутру в смущении от осязаемых и стыдных последствий.

Компания подобралась из четырех человек. Получили увольнительные на сутки, подписанные командиром маршевого батальона, все честь по чести. На станции занарядили пару саней, ехавших в нужном направлении, лишь немного не доезжавших до Сашкиной деревни, и деды возницы не потребовали никакой оплаты, кроме как по пачке махорки.

Засветло добрались до места. Крепкие бревенчатые избы, окруженные снежными валами, насыпанными при расчистке проходов, стояли шибко вразброс. У избы с голубыми наличниками Сашка Селиванов остановился, оглядел своих товарищей, достаточно ли у них приличный вид, велел подождать и сперва один поднялся на крыльцо, скрылся за дверьми. Прошла минута-другая, в сенях послышались голоса, Сашка распахнул дверь и дал команду:

— Заходи, братва, хозяйева нам рады!

В горнице с чисто выскобленным полом, кисейными занавесочками на окнах и образом Богоматери в красном углу, стоял старый, обитый рыжей клеенкой диван со спинкой и полочкой во всю длину, на полочке по росту расставлены слоники, семь штук, а по краям стояли вазы с высушенными веточками рябины. Большой стол покрыт бело-голубой скатертью с бахромой, его окружали стулья с гнутыми спинками. Знакомились второпях, то и дело путались руками, имен никто не запоминал, да и по наружности едва различали друг друга. Сколько здесь было женщин и девчат, Колька даже не усвоил, они то выходили, то входили, кто-то гремел посудой в отгороженной досчатой переборкой кухне, «то-то расспрашивал Сашку про солдатское житье, кто-то отвечал на его расспросы про родню, трое гостей из посторонних никого пока особенно не интересовали. Среди хозяев крутился мальчик лет десяти, тихий, скромный, поглядывал с любопытством на пришельцев и, осмелев, спросил:

— А где ваши винтовки?

Старшая из хозяек, наверное, его мать, подошла и погладила мальчонку по длинным волосам.

— Вот, — сказала она, — оброс как поп али дьякон. А постричь некому, паликмахер был один, так в армию забрали. Средь вас случайно никто не паликмахер? Нету? А может кто сумел бы его подкарнать, уж больно надоела эта грива.

Никто не откликнулся на обращение, не за тем тащились в такую даль, а Кольке Удальцову вдруг стало неловко: приперлись в чужой дом, доставили хлопот хозяевам, так неужто нельзя оказать им такую пустяковую услугу! А что, в самом деле, если попробовать? Не такая уж это великая премудрость. Почему не помочь людям, они ведь нас по-доброму встречают, и угощение готовится, уже запахло вкусно чем-то жареным...

— Давайте, я подстригу, — сказал Колька, и хозяйка радостно засуетилась.

Стул придвинули к окну, посадили мальчика боком к свету, шею обернули холщовой простыней, нашли большую расческу с крупными и мелкими зубьями, выбрали ножницы, какие поострей, и Колька приступил к работе.

Подумаешь, делов-то!.. Не раз, дожидаясь своей очереди в парикмахерской, он наблюдал, как мастер, вхолостую, полязгивая ножницами, приподнимал расческой волоса клиента, подрезал чик-чик, а в результате получались изящно округленные затылки и геометрически правильные виски. Сначала же требовалось захватить в горсть самые длинные космы и отчекрыжить их единым махом. Но почему-то уже и эта простейшая как будто операция не больно ему давалась. Захваченный пучок то и дело оказывался слишком толстым, и резать его приходилось постепенно, в несколько приемов, а в результате оставшиеся волосы складывались в крупные крутые уступы. Не беда, успокаивал себя Колька, вот начну ровнять с гребенкой, и все примет нужный вид. Однако именно с гребенкой дело пошло хуже некуда, достигнуть ровной поверхности никак не получалось. Как ни старался Колька сравнять образующиеся ступеньки, ничего не выходило, за одной возникала другая, за ней третья, и так далее, без конца.

Черт меня дернул ввязаться, думал Колька с раздражением против самого себя. Не за этим я сюда стремился! С грустью он поглядывал на стройных миловидных девок, сновавших на кухню и обратно, одаривая его то ли сочувственными, то ли насмешливыми взглядами. Почему я всегда должен оставаться в дураках?

И ведь никто не посочувствует, гады! Куда подевались все друзья-товарищи? Ни одного не видать, только доносятся откуда-то басовитые голоса вперемешку с птичьим гомоном хозяек. Вот опять какая-нибудь промелькнет в горнице, стрельнет взглядом в его сторону, не скажет ничего и снова исчезнет, слава

богу, хоть не говорят под руку, не лезут с советами... Колька аж вспотел от усердия, а ровности все никак достичь не может.

Накрывают на стол, гремят тарелками, задерживаются на миг возле Колькиного рабочего места. Колька косит взглядом на девчат, одна из них особенно часто попадалась ему на глаза. Не сказать чтобы красавица, скорее, наоборот, все цвета ее внешности какие-то блеклые, пепельно-серая коса висит тяжелым жгутом и оттягивает голову назад, отчего острый подбородочек как бы гордо приподнят. Личико худенькое, по-птичьи заостренное, бледные губы складываются в виноватую улыбку. Девушка эта дольше других задерживалась возле колькпного стула, глядела добрыми серыми глазами сочувственно и вроде бы с симпатией. «Вот бы с кем время провести, а не с этим оболтусом», - думал Колька, раздражаясь все больше, пытаясь ускорить процесс. но от этих попыток только сильнее искажались очертания стрижки.

Между тем уже подали угощение, все расселись за столом, Стали звать Кольку, но как он мог бросить дело, не доведя его до конца? Малец сидел терпеливо и лишь посапывал носом, да слегка вздрагивал, когда незадачливый парикмахер драл ему волосы слишком уж нещадно. Смеркалось, зажгли висячую лампу, свет стал падать с другой стороны. Колька повернул стул другим боком и продолжал осваивать так трудно дававшееся ремесло.

— Да ладно уж вам, закругляйтесь, садитесь за стол, — уговаривала его старшая хозяйка, младшие прыскали в кулак и косились на него, как ему казалось, с насмешкой и обидной жалостью. И только худенькая с пепельной косой не насмешничала, а поглядывала в его сторону с сочувствием и грустинкой.

А Колька не сдавался. Я должен доказать, что смогу! Не желаю оказаться треплом. Да и как оставить мальчика в изуродованном виде...

— Сейчас-сейчас, — отвечал он, извиняясь улыбкой. — Вот еще немного тут подровняю, и будет все в порядке.

За столом уже затягивали песню, а он все стриг и стриг, ходил вокруг стула, разглядывал плод своего искусства и с той и с этой стороны, и все не мог удовлетвориться достигнутым, ступеньки хоть и становились помельче, по вовсе не исчезали.

— Да кончишь ты когда-нибудь, или нет! — разозлился Сашка. — Гляди, ничего тебе не достанется, — развел руками он над столом, где проворно опустошались блюда с соленьями, пельменями и жареной гусятиной.

Наконец, голова мальчика приобрела хотя и не очень фасонистый, но все же более или менее приличный вид. Колька причесал клиента, стряхнул простыню и протянул хозяйке инструменты.

— Ой, спасибо, спасибочки вам! — тараторила добрая женщина. — Уж сколько труда мы вам доставили, вы уж извините, что так получилось. Садитесь скорей за стол, выпейте с нами, закусите, чем Бог послал.

Закусить Бог послал еще изрядное количество всякой снеди, а вот выпить... Большая бутылка самогона была уже пустой. Хозяйка побежала в другую комнату и вынесла цилиндрический пузырек с зеленой наклейкой.

— Вот, не взыщите уж, другого нету. Мужики его пьют, говорят, подходяще.

Сашка взял бутылочку, скрутил пятерней сургучную головку, вынул вилкой небольшую пробочку и вылил содержимое в граненый стакан. Колька успел прочесть надпись на знакомой еще по парикмахерским мирного времени этикетке: «Одеколон тройной».

Эх, была не была! После такого длительного напряжения нервов первое дело — выпить. Он залпом осушил стакан и набросился на квашеную капусту. Очень скоро у него помутилось в голове, из глаз кучно

посыпались зеленые искры, словно кто-то пускал фейерверк. Колька стал клониться на бок, друзья подхватили его и отвели на диван...

Там его и застало утро следующего дня. Голова разламывалась, ноги и руки не слушались приказа, но друзья-товарищи уже были одеты и торопили его пить чай: пора было двигаться в обратный путь, чтобы не просрочить увольнение.

Прощались долго и бестолково, обнимались стеснительно и неуклюже. Колька ни с кем не обнимался, только руки пожимал, а когда дошла очередь до серенькой востроносенькой, то ощутил в руке сунутую бумажку. Он смутился, подумав, уж не трешка ли за работу. Лишь выйдя на улицу, он украдкой развернул бумажку и прочел: «Омская область, с. Березовка, Шурыгиной Людмиле». Бог ты мой, адресок! Первый в его жизни! Неужели появится у него, безродного и неприкаянного, родная душа? Захотелось вернуться в избу, разыскать ту серенькую, убедиться, что это всерьез, но уже шагали по большаку, нельзя отставать...

Всю дорогу топали пехом, тридцать верст по морозу. Колька тянулся из последних сил, старался виду не подавать, шел и шел, разогрелся, и задышалось полегче. В разговоре не участвовал. Старался даже не слушать, про что говорят, плевать ему было на события минувшей ночи со всеми их подробностями, он даже зависти никакой не испытывал. Наштупывал в рукавице маленькую записку на клочке тетрадной бумаги в коую линейку и вовсе не терзался уже своей неудачливостью. Невезучий? Это еще как сказать! Досадовал, конечно, что парикмахер был у них в деревне мужского пола, не могли уж бабу выучить, но с другой стороны... Как знать, что в жизни складывается к добру, а что к несчастью?

Эшелон еще стоял на своем пути. У Кольки от усталости ныло все тело, он сразу забрался на нары и погрузился в раздумья. От упадка сил опять вспомни-

лись все многочисленные проколы, и Тося-инструментальщица, и разбитая ваза в темной квартире, и картежные проигрыши, и побои барачных заправил... Колька плакал втихую, утирал слезы рукавом, все думал и думал о своей несуразной судьбе, напевал беззвучно, только в мыслях: «Позабыт-позаброшен, с молодых, юных лет, я остался сиротою, счастья-доли мне нег». Точь-в-точь про меня эта песня, и кто ее только сочинил в мою честь...

Поезд тронулся, и под стук колес Колька Удальцов уснул тяжелым, прерывистым сном.

15.

Стоянка в Н. затягивалась. Не видели в этом ничего особенного. Особенное началось, когда внезапно раздалась команда: «Выгружайсь»

В морозном тумане молчали, нахохлившись, одноэтажные домики, вдали смутно вырисовывалась высокая колокольня. Сначала двигались вдоль железной дороги, строй соблюдали небрежно, шагали не в ногу, потом отвернули направо и очутились перед покосившейся деревянной аркой, на которой болтались лоскуты изорванного ветром красного полотнища с изречением о науке побеждать. Длинные приземистые бараки, глубоко сидящие в земле, внутри испахивали прелой картошкой, не иначе как служили они прежде для хранения овощей, стропила из толстых бревен поддерживали деревянную двускатную кровлю, потолка как такового не существовало.

Лениво, неохотно разбирались по взводам, по отделениям, занимали койки. Уныние охватило всю команду, когда узнали, что зачислены они отныне в отдельный учебный пулеметный полк. Выходит, не нужны теперь фронту шофера, нужно пушечное мясо... Выходит, зря их готовили ускоренным манером? Вера в

непогрешимость высокого командования заколебалась в непросвещенных, непонятливых головах. Но времени на раздумья отпущено было немного, началось овладение новой специальностью: разобрать и собрать замок, вставить ленту, установить прицел, отрыть окоп — пока еще в снегу, до земли-то не докопаться, — сменить позицию.

Полушубки и валенки приказано было сдать, не положено, взамен получили шинели и сапоги — голенища кирзовые, головки из вывернутой кожи, к ним суконные портянки, В шесть утра подъем, выходи на зарядку, а зарядка это бегом вокруг всей ограды, километра три, не меньше, поспевай, не отставай, грудь распирает морозным воздухом, сердце того и гляди выскочит через горло наружу, привыкай, боец, — тяжело в ученьи — легко в бою!

Рядовой Комаров был уже на ты со своим «Максимом», знал каждый его винтик, и назначен был в своем расчете наводчиком, самая ответственная должность. Вскоре предстояли боевые стрельбы, а это означало, что уже недолго оставалось до отправки на фронт. Но намечался еще выход на тактические учения в тайгу, на пять дней без возвращения в казармы.

Шагали по лесным дорогам, брели по глубокому снегу, занимали боевые рубежи на гребнях высоток, бежали в атаку, зарывались в снег, держа оборону. А к ночи рота приходила на полянку в глубине тайги, защищенную со всех сторон высокими елями. Стаскивали на середину огромную кучу еловых лап, разжигали костер, а вокруг, на таком расстоянии, чтобы доставало тепло, расстилали такие же лапы, на них — шинели, одна на двоих, а другой укрывались по двое, ложились вплотную друг к другу, согнув ноги в коленях под одинаковым углом, образовывали тесный круг, согревали друг друга телами, и спали так, уверяя себя, что живут как на фронте. А поутру согревались чаем из походной кухни и продолжали наступать, обороняться, ходить в

разведку и выносить раненых с поля боя.

Пять дней прошли как в тумане, не верилось, что могли выдержать такое, и ведь, кажется, никто не заболел, даже не обморозился, откуда взялась фронтовая закалка! Продолжали выходить в поле, таскали на себе пулемет, кому ствол, кому тачка, кому коробки с лентой, как вдруг в один прекрасный день явились вербовщики. Порознь, в двух углах барака поставили столы, разложили бумаги, офицеры в опрятной форме подзывали к себе по какому-то списку то одного, то другого, и в числе первых оказался Комаров.

Образование? Партийность?

За первым столом предложили училище войск НКВД, Станешь офицером «Смерша». «Смерш» — это смерть шпионам. Будешь разоблачать шпионов. Борису сразу вспомнились колымские штабеля.

За другим столом — представитель военно-политического училища. Недолго думая, Борис Комаров согласился.

Бывает же на свете такая благодать! Побеленные снаружи трехэтажные казармы, светлые учебные классы с высокими окнами. По другую сторону обширного плаца длинный одноэтажный корпус начальственных учреждений, а на плацу, гимнастический городок с шестами, канатами, турниками, брусьями, кольцами, лестницами и шведской стенкой. Все происходит так чинно, размеренно и плавно, как будто вовсе нет войны, и только повстречав курсанта с золотистыми и красными нашивками ранений, вспомнишь о том, что где-то льется кровь...

Весна пришла неслышными шагами, а действовала шустро, за несколько дней растопила снега. А потом, не успели оглянуться, зазеленел березовый лесок, выросший внутри училищной ограды, и там как по волшебству выросли ряды брезентовых палаток, дорожки возле них кто-то посыпал желтым песком, и вся жизнь переместилась на лоно природы.

Борису Комарову становилось порой даже стыдно, что вместо фронта он попал в такое вот райское местечко. Без труда одолевал он премудрости армейской политработы. Скорее бы уж получить вместе с лейтенантскими погонами назначение в какую-нибудь из фронтовых газет, не зря же в его анкете значится: гражданская специальность — журналист.

Но пока что эта специальность принесла ему такую вот не больно то желанную нагрузку: редактор ротной стенгазеты. В свое «личное время», вместо того, чтобы крутиться на турнике или почитывать журнал «Красноармеец», он шныряет по палаткам, уговаривает товарищей-курсантов написать что-нибудь для его мало высоко авторитетного органа. Поскольку его увещевания нечасто увенчивались успехом, он сам присаживался у тумбочки в своей палатке и строчил что-нибудь на потребу дня. Писать скучные заметки про успехи и огрехи своих однокурсников в боевой и политической подготовке ему вскоре надоело, в голову лезли сатирические сюжеты на темы маленьких непорядков, к тому же проснулась дремавшая в нем страсть к построению рифмованных строчек.

Таким-то путем и появилось на свет объемистое сатирическое стихотворение, чуть ли не поэма, возбуждавшее необычайный интерес к его доселе едва замечаемой стенной газете «Красный комиссар». Курсанты даже из соседних рот толпились у фанерного стенда, посмеивались, повторяли вслух меткие выражения, комментировали и расходились в веселок настроения, уступая место другим. Слух о необыкновенном успехе стенгазеты дошел до командира роты. Красавчик старший лейтенант подошел, руки за спину, неспешным шагом, перед ним расступились, он почитал, огляделся, увидел двух курсантов из своей роты и бросил отрывисто: «Снять!».

Разговор с курсантом Комаровым происходил на высоких тонах.

— Вы что это себе позволяете? Кого это вы выставляете такими недоумками, своих командиров, так надо понимать? Много на себя берете, Комаров! Почему вывесили без моего разрешения?

— Я полагал, что стенгазета — дело общественное. Парторг просматривал...

— А командир для вас что, пустое место? — Разболтались! Как стоишь?!

— Не «стоишь», а «стоите», с вашего разрешения, — сказал Комаров с деланным хладнокровием. Уроки сержанта Осипенко успели выветриться из головы.

Комроты побагровел до кончиков ушей.

— Молчать! На фронт захотели? Под пули? Три наряда вне очереди!

Остаток дня Комаров ходил как потерянный, всю ночь проворочался без сна. Он был оскорблен до умопомрачения. Пригрозил мне отправкой на фронт! Тем, к чему я сам стремился с каких еще пор! За кого же он меня принимает? Мерит на свой аршин?

На следующий день последовал вызов к начальнику училища.

Тучноватый полковник сидел за своим столом с расстегнутым воротом, утирал пот с лица большим платком, на дворе стояла неслыханная жара.

— Значит так, Комаров. Тут рапорт на тебя. Как разгильдяя. Представлен к отчислению. Но я тебя не выгону просто так, ты вроде бы чего-то стоишь, судя по твоим бумагам. Я отдам тебя в хорошие руки. Тут представители из пехотного училища, у них недобор. Зайди в соседний кабинет, они тебя возьмут.

Опять теплушка, опять перестук колес на стыках рельсов, но путь недолгий, за сутки с небольшим доехали до станции с угрюмым названием на букву «Г». Так вот куда оно запропастилось, то знаменитое Ленинградское пехотное! Ну, что ж, будем грызть «Боевой устав». А потом поведем в бой непобедимую нашу пехоту, царицу полей...

Командиром взвода, в который попал курсант Комаров, был невысокий худощавый лейтенант Брусникин с пронзительно высоким голосом, по петушину подвижный, непоседливый, неугомонный. Комарова он отличил сразу, чаще других спрашивал на занятиях, ставил в пример, на топографии всем показывал расчерченную им десятивестку с обозначением позиций, направлением ударов и маршрутами движения. «Из тебя выйдет толк», говорил он Борису и дружески похлопывал по плечу. «Одна бестолочь останется?» позволял себе Борис пошутить с командиром. Они были ровесники и нравились друг другу.

Приемы штыкового боя получались у Бориса прямо как на картинке, а на стрельбище ни одна пуля не летела «за молоко». Недаром же это было энное повторение пройденного на его затянувшемся пути к фронту. Скорее бы уж! Ему становилось стыдно отсиживаться в тылу, хотя и не по своей воле, носить военную форму и быть за тридевять земель от войны. Он жадно вчитывался в сводки Информбюро, разыгрывал в уме описанные корреспондентами боевые эпизоды и думал о том, как он сам проявил бы себя, окажись он на месте тех героев-фронтовиков. о которых писали в газетах.

Верилось, что не подгадит. А пока следовало утешаться тем, что, слава Суворову, тяжело в ученьи.

Впрочем, так ли уж-тяжело? Борису удавалось все, и самоокапывание, и стрельба, разумеется и «политика», и караульную службу он нес без замечаний. Одним из первых удостоился он увольнительной в город, сразу за проходной отделился от компании, бродил один по пыльным улицам, забрел на нищенский базар, где унылые старухи торговали семечками и вареной картошкой, сходил в кино на «Парня из нашего города», и до времени вернулся в часть. А в казарме все не утихали дебаты, с раздражением и бранью, по поводу предстоящего марш-броска, который считался решающим для оценки успехов подразделения.

Недовольство возрастало: уже не раз и не два поднимали по тревоге среди ночи, курсанты в считанные минуты одевались- обувались, надевали скатку через плечо, на пояс вешали малую саперную лопату, хватали винтовку, противогаз и выбегали на плац, командиры проводили перекличку и осмотр, не забыл ли кто чего, а потом — отпускали с богом досыпать. Ложные тревоги осточертели, никто не мог объяснить, зачем это измывательство, и когда ему будет конец. Но не сомневались, что марш-бросок все же предстоит, скоро скоро, пытались выведать у сержантов, когда же, но те и сами не знали, секретность — душа войны, к этому надо было привыкать. В дебатах костерили начальство, как это заведено во всем мире, оно же, как водится, и в ус не дуло.

Все ожидаемое наступает внезапно. На рассвете снова прозвучал сигнал тревоги, все происходило по привычке, оделись-обулись и в полной боевой построились перед казармой. Перекличка. Отсутствующих нет. И вместо того, чтобы всех отправить досыпать, лейтенант приказывает помкомвзводу:

— Раздать патроны!

Получили боевые патроны, по пять штук, запрятали их в подсумок, что дальше?

— Напра-а-во! Левое плечо вперед, на выход шагом-марш!

На крыльце учебного корпуса стоит седоусый полковник, замнач училища, встречает и провожает взглядом. Взводный службу знает... «Р-равнение направо!» Руби ножку строевым, гулко отдается синхронный топот восьмидесяти тяжелых сапог в преддуртненной тишине. Вольно, машет рукой полковник и, зевнув, уходит в дом. Никаких претензий.

Час и другой шагает взвод форсированным маршем по проселку в чистом поле. Подбирается усталость, но нет и нет команды на привал. Лейтенанту что, он поспешает налегке, в хромовых сапожках, с одной лишь

планшеткой через плечо да пистолетом на поясе, а на нас по двадцать килограммов... Когда ж дождемся желанного «Взвод, стой!»

— Взво-од... бегом!

Во! Дождались! Но служба есть служба, бегом так бегом. Дышим тяжело и шумно, лейтенант бежит рядом, ему хоть бы что, а с нас уже градом пот, но деваться некуда, бежим в строю, тут ни отстать, ни отвильнуть в сторону, держись, казак, атаманом будешь. Самому удивительно, что не падаешь с ног от усталости, наоборот, вытягиваешься в быстрое движение, и уже как будто так и надо... Сколько уже бежим? Километр? Два? Пять минут или десять?... Наверно, уже полчаса бежим. Бежим и бежим, придерживаем рукой противогазную сумку, чтобы не болталась, ремень винтовочный натягиваем, локтем прижимаем винтовку к боку, пот льет ручьями, а мы все бежим и бежим, и бег уже из действия переходит в состояние, и кажется, что таково естественное предназначение человека, бежать по полевой дороге в полной боевой. А солнышко поднимается все выше и выше, капли пота сползают со лба на ресницы, пощипывают глаза, туманят взор, ладно, глаз не что-нибудь, проморгает, а ноги уже сами по себе, бегут и бегут, уже будто не свои, а грудь качает воздух как кузнечный мех, и удивительно самому, что все это возможно.

— Взво-од... шагом марш!

Необходимо усилие, чтобы перейти теперь на шаг, до того втянулись в эту гонку. Идем шагом, ступни горят, блажен, кто мастер по наворачиванию портянок, а кто искусством этим не владеет, у того сейчас неразбе-риха в сапогах и кровавые мозоли...

Солнце припекает уже всерьез, пилотки мокрые, хоть выжми, а гимнастерки липнут к спине. Впереди высотка, песчаный холм, поросший полынью.

— Взво-од, стой! Поотделенно, на огневой рубеж, короткими перебежками — вперед!.. По-пластунски!.. Отрыть индивидуальный окоп для стрельбы лежа!..

И снова в путь.

— ... шире шаг!.. Бегом-марш!.. Газы!

Надеваем противогазы. Бежать в противогазах — вот уж это действительно пытка! Хочется сдернуть проклятую маску, один пытается оттянуть ее край у левого уха, чтоб командиру не видно, другой тянет у подбородка... Наконец, отбой газовой тревоги. Ах, как прекрасен божий мир!

Впереди ручей. Он неглубок, дно песчаное, переходим вброд. Если у тебя сапоги не крепкие, в них захлопает вода. Не беда, прольется-протопчется, вперед, красные юнкера, тяжело в ученьи — легко в бою!

А вот и стрельбище, значит, заканчивается марш-рут, скоро будем дома. Только отстреляться бы лучше, а то ведь могут и повторить все сначала, такое уже бывало...

Борис Комаров поудобней устраивается в ячейке, вытирает пилоткой лицо, закладывает обойму в магазин, досылает патрон в патронник. Командир взвода достает секундомер...

— Огонь!

Гремят выстрелы справа и слева, своих не слышно, только толкает привычно прикладом в плечо.

— Прекратить огонь! К мишеням!

Борис протягивает мишень лейтенанту: все пять пуль в черном кругу.

Вот и родные ворота. На территорию училища каждый взвод вступает строевым шагом, с бодрой песней: «Школа младших лейтенантов комсостав стране своей кует — в смертный бой идти готовый — за трудящийся народ». Пели во всех тыловых учебных заведениях, изменяя текст по мере надобности: «Наша школа полковая» — это там, где ковали младших командиров, иными словами в учебной роте, а в иных случаях «Бронетанковая школа...» и так далее. Борису досталось петь уже третий вариант.

Но чаще пели другую песню, а именно «Марш

Буденного»: этот шедевр молодой поросли советских композиторов и поэтов-песенников был особенно приятен слуху начальника училища, для фронта уже негодного генерал-майора Пугачевского. Проходя мимо его двухэтажного особняка, стоящего чуть в стороне от главных ворот, курсанты напрягали голосовые связки, чтобы потешить старого рубаку:

Буденный, — наш братишка, с нами весь народ,
Приказ голов не вешать, а идти вперед,
Ведь с нами Ворошилов, первый красный офицер,
Сумеем кровь пролить за РСФСР!
Веди ж Буденный, нас смелее в бой,
Пусть гром гремит, пускай пожар кругом,
Мы беззаветные герои все,
И вся-то наша жизнь есть борьба, борьба!

Но лейтенант Брусникин умел и тут всех перещеголять. Что там «Марш Буденного», его знает каждый встречный, а вот спеть что-то такое, что помнят только истинные буденовцы! И на подходе к начальственному особняку:

— За-певай!
Запевала службу знает:

...Командир наш славный был Буденный,
Шел все время впереди,
Он командовал своим отрядом,
Веселил своих ребят...

И так далее, а под конец:

Все ребята едут-веселятся,
Все на родину спешат.
Лишь одни, один боец не весел,
Он был круглый, круглый сирота...

Как тут не дрогнуть генеральскому сердцу! В пижаме, надетой для послеобеденного сна, начальник училища выходит на балкон, машет рукой... Отличная оценка обеспечена!

Наконец-то освободились от тяжелого груза, почти что непосильного под конец: составили в пирамиду винтовки, сложили противогазные сумки, скатки, лопатки, потом все это надо будет чистить-драить, но пока торжество и довольство во всем теле, свободно и всласть расширяется грудная клетка, а ноги так легко несут тело, как будто знают, что в поле остались килограммов пять живого веса.

Ну, что теперь под душ? Не тут-то было!

— Взво-од, стройся!

Чернобровый лейтенантик отдает рапорт. Ротный смотрит на часы.

— Шесть часов тридцать пять минут. Новый рекорд училища, молодцы! От лица службы объявляю благодарность!

Откуда что берется: не дети, кажется, а вот накачивается этокое гордое, возвышающее чувство, смесь торжества и умиления, оно проникает во все поры и даже увлажняет глаза. Вот мы какие! Гаркнули:

— Служим—Советскому—Союзу!

— Р-разойдись!

Но вместо того, чтобы ринуться в казарму, все бросаются к своему лейтенанту, еще полчаса назад проклиная его извергу и мучителю, подхватывают его на руки, поражаясь как легко этот щуплый человек, подбрасывают высоко в воздух и раз, и два, и три, как вдруг из его карманов вываливаются на землю два сваренных вкрутую яйца! С хохотом, но осторожно поставили командира на землю, поняв вдруг, что перед ними человек семейный, о котором заботится жена, снаряжая в путь-дорогу, да только не вспомнил он о своих припасах, проделал весь путь со своими подопечными бодро в ногу, не пожелал слишком уж выделяться... А лейте-

нант, подбирая в смущении помявшиеся яйца, бормочет как бы виновато:

— Ну, вот, ребята, вы меня качнули, я и снесся...

Кормили в столовке не то чтобы впроголодь, но и не досыта. Кашу варили только перловую, но прозванию шрапнель, хотя на складе, повара рассказывали, было гречки и пшеница хоть завалились. Сахара по куску на брата едва хватало, а про масло и вовсе забыли, с чем его едят. Тем временем начальник ПФС, то есть продфуражного снабжения, раскатывал на личном мотоцикле с коляской, отрастил себе брюхо подстать замоскворецкому купчине, был постоянно под парами, одним словом, кум королю. Этот тип тыловых служаков, имеющих доступ к казенному имуществу, расторопных по части ублажения солдатских вдов и жен, приобрел во всех армейских частях кличку «Митрофан». Естественно, что и этого старшего лейтенанта, настоящим именем которого никто особенно не интересовался, между собой называли не иначе как Митрофаном.

Вот об этом-то Митрофане больше всего ходило разговоров в курилке.

— Видал? У него по золотому кольцу на каждом пальце.

— Да не на каждом... Обручальное кольцо, женатый человек.

— Ха-ха, откуда у нас взялись обручальные кольца? Это у буржуев было, в старинные года.

— А он и есть буржуй. Ты посмотри на его рожу.

— Рожка, что и говорить, кирпичка просит.

— А чего же ты не сообщишь, куда следует?

— А куда — следует? Кто тебя станет слушать? У него все начальство на крючке, каждому что-нибудь да подкинул. Кто его тронет?

— Да, братцы, с Митрофаном шутки плохи. Тут вот, говорят, в прошлый поток один пожаловался. Сразу на фронт загремел рядовым, да еще в штрафную роту.

Такие разговоры велись бесконечно, гнев против

«Митрофана» бурлил, не утихая, лютый гнев, да бес- сильный.

Но вот однажды, когда курсант Комаров был назначен в караул — посты выставлялись у складов оружия, боеприпасов и продовольствия — подходит к нему друг-приятель старший сержант Васька Клюев, уже повоевавший и покомандовавший взводом, а после очередного ранения посланный в училище за законной звездочкой.

— Пойдем, покурим.

Борис, сидя у окна, пришивал пуговицу па гимна- стерке.

— Только сейчас курил, — возразил он, однако поднял голову, прервав свое занятие, потому что тон этого приглашения его насторожил.

— Пошли, говорю тебе. Дело есть.

Зашли в курилку, но там было полно народу.

— Выйдем, — предложил Клюев.

Углубились в кустарник, Василий огляделся.

— Вот, слушай, Борька. Мы тут порешили... Между собой... Митрофана... понимаешь... — После каждого слова Клюев озирался по сторонам, понижал голос и все ближе придвигался к собеседнику.

— В общем, устранить. Понял?

У Бориса Комарова брови вскинулись сами собой.

— Не совсем. Как это — устранить?

— А очень просто. Вот, слушай. Ходим в караул, так? Бывает, что он идет к себе на склад. Без разводя- щего, на кой ему свидетели. Бывает, с пьяных глаз, за новыми бутылками. Окликнешь, и если он, то сразу по нему. Не видать — по голосу бей. Два раза стреляй. По- том скажешь, что не ответил на пароль и не среагиро- вал на предупредительный выстрел.

Борис не поверил ушам.

— Постой, как же так? Ведь это убийство!

— Чего?! Такого гада пожалел? А ты на фронте был? Ах, нет еще! Оно и видать. Там нашего брата никто

не жалеет, в бой идем, никто не знает, вернешься или нет, скорее всего, что нет. А этот кровосос пристроился здесь и митрофанит, грабит нас, полгорода баб обслужил. Месяц-полтора, и мы с тобой пойдем на передовую, а он тут будет чужих жен это самое, да народное добро пропивать. И ты его пожалел, да? Или сдрейфил? Дурило, с часового какой спрос? Все сделал по уставу, никакой трибунал не придерется.

Комаров едва не застучал зубами от внутренней дрожи. Мысли разбегались.

— Слушай, а почему я? Неужели больше некому?

— Не ты один, мы все уже повязаны.

— Кто все?

— Кто- кто... Что тебе, всех назвать поименно?

Все, кто ходит в караул из нашего взвода. Сегодня ты, а завтра я. Кому случай выпадет, тот и исполнит, что задумали. Ну, так как? Наш ты человек, или его?

Вот положеньице! Как быть? Борис ненавидел «Митрофана», так же как и все, но самосуд?

— Ну, что?

— Согласен.

— Дай пять!

— Держи.

Всю ночь Борис Комаров провел как в лихорадке. Стоя на посту, напряженно вслушивался в тишину, стараясь уловить малейший шорох, вглядывался в темноту до боли в глазах. Когда разводящий снимал его с поста, шел за ним, не чуя ног, валился па топчан в караульном помещении, как подстреленный, закрывал глаза, но не было сна, все перебирал он в памяти разговор с Васькой Клюевым, искал новые возражения против его доводов и не находил, и понимал, что намертво связан своим обещанием, и если на этот раз «Митрофан» не встретится на его пути, то в следующий наряд ему предстоит такая же задача. И, значит, все — кто все? — участвуют в этом заговоре? Удастся ли им — нам! — осуществить задуманное?

— Комаров! Подымайся, на пост шагом марш.

Как он пережил эту ночь — сам потом удивлялся. «Митрофан» вблизи его поста не появлялся. А если бы появился?

Едва проспав два-три часа, курсант Комаров сел писать рапорт.

«Начальнику училища генерал-майору Пугачевскому.

Если Вам так уж необходимо сотворить из меня командира стрелкового взвода, то прошу дать мне две недели, в течение которых я обязуюсь выучить все Ваши уставы и сдать экзамен за полный курс. Если же для Вас это не обязательно, то прошу отправить меня на фронт таким, каков я есть. — Подпись».

Не прошло и двух дней, как от станции Г. отправился вагон, в котором были собраны все отчисленные из училища «разгильдяи» (в разгильдиях не было недостатка ни в одном тыловом подразделении).

На ближайшей узловой станции вагон подцепили к воинскому эшелону, шедшему с востока на запад.

Судьбе было угодно... Поэт назвал историю капризной дамой, но, пожалуй, этим прозвищем надо было наделить госпожу судьбу.

Двигаясь к фронту для скорости второстепенными, менее загруженными магистралями, воинский состав все же застрял на подходе к одному из перекрестий, где неизбежны скопления и пробки. Эшелон остановился на сутки возле городка, где пребывала как бы в эвакуации, а вернее сказать, в бегах у дальних родственников вроде брошенная, но пока еще законная жена Бориса Комарова. Переписка с ней давно разладилась, то ли от смены мест, то ли от глубинных причин, но теперь, по пути туда, где стреляют, Борис расшифровал эту нежданную стоянку как перст судьбы. Негоже проехать так, не объявившись, и будет ли это последняя встреча, прощанье навек, или может быть они вновь обретут друг друга, чем черт не шутит, все так измени-

лось в мире, меняются и людские души, вдруг теперь они лучше поймут и оценят друг друга.

Рядовой Комаров отпросился у ротного, дал подписку, что вернется вовремя и отправился на поиски по запомнившемуся адресу.

Прохожие охотно и участливо объясняли дорогу солдатику, и в каждом взгляде было жалостливое сочувствие, видно, немало уже похоронок доставила почта в этот тихий городок. Бревенчатый домишко, выцветший и запыленный, посреди истоптанного, иссушенного бездождным летом садика, широкая веранда с немытыми стеклами настраивали невесело и отчужденно.

— Кого тебе? Ах, Улику... Пошла кудатось. На базар, что ли. А ты кто ей будешь? Божечки, да ведь это Боря ейный! Заходи, заходи, не признала я тебя, на карточке ты совсем непохожий, видный ты из себя на карточке, а нонче тощенький какой...

Старушенция суетливо тянула его за руку, показывала дом.

— Придет она, придет в скорости... Вот тут у нас кухня, плита разваливается, поправить некому. Углем топили, дров-то не напасешься, вот она и рушится... Здесь мы живем с сестрой, старик-то мой помер в позапрошлом году, царство ему небесное... Ульяна нам двоюродная племянница, но мы ее как родную приняли, нельзя ей одной маяться там, в Москве-то, бомбят вишь, окаянные.

— Теперь уже вроде не бомбят, — вставил Борис.

— Ну, это как сказать. Сообщений нету, это так, а налеты бывают, милоч, еще как бывают. Вот сюда иди, это ейная комнатуха, не взыщи, что мебелишки мало, небогато живем...

Он узнал пикейное одеяло и наволочку в голубых цветках. Значит, со своими вещами приехала.

На улице, немощеной и пыльной, стоял маленький, защитного цвета автомобильчик необыкновенной,

невиданной формы; кургузый, с брезентовым верхом и плоским капотом в виде стола. Мальчишки облепили его тесной гурьбой, заглядывали вовнутрь, стучали босыми пятками по туго накаченным шинам. «Виллис», звонко и гордо выпалил новое слово юный знаток.

Борис присел на лавочку у калитки, закурил тонкую папиросу «Норд». Зря я сюда приволокся, подумалось ему.

Ульяна явилась к обеду, принесла молодую картошку в плетеной из рогоза сумке, выглядела усталой и недовольной. Он вышел ей навстречу, она вскрикнула «ой!» и протянула ему руку для пожатия, словно товарищу по партии, но спохватилась и прильнула накоротке к его груди. Серые глаза ее, большие и как всегда широко раскрытые, смотрели мимо него.

Пока собирали на стол, Ульяна все жаловалась и жаловалась на трудную жизнь, на пустоту магазинов, на беспорядок в военкомате, где она определилась на должность регистратора.

— Хочешь, я тебе устрою госпитализацию? — сказала она вдруг. — Тут есть военный госпиталь, у военкома с ними тесные отношения.

— А у тебя с ним?

— Дурак!

— Он или я?

— Оба. Так как?

— Скажи, что ты пошутила, — отчеканил Борис. Если бы он поверил, что всерьез, пришлось бы немедленно удалиться.

Она хмыкнула неопределенно.

— Нет, ты выскажись яснее, это была шутка в духе времени, или...

— Ну, конечно же, я пошутила, чего ты взбеленился. Я же знаю, что ты у нас герой.

Добрая чарка самогонки за обедом помогла снять возобновившуюся было с новой остротой отчужденность, но тихое, подспудное раздражение осталось.

Ночью, на жесткой кровати, он тискал ее все еще тугие груди, и всякое глубокомыслие становилось ненужным и несущественным. Потом, отдышавшись, в минуты покоя и расслабленности, он размышлял: так неужели только за этим я и явился сюда? А зачем еще? Что кроме этого связывает нас? Так стоило ли? Но власть давно неиспытанного телесного блаженства опять пересиливала задумчивость, и в новом наплыве сладостного исступления все отступало перед ощущением полноты жизни. После бурного, дружного, совместного апогея он вслух произнес с улыбкой, не видной в темноте:

— Родишь.

— Типун тебе на язык, — отозвалась она.

А наутро Ульяна опять жаловалась на горестную свою судьбу, на нехватки и неудобства, и даже проводя его на поезд, не переставала зудеть про свою загубленную жизнь, и Борису вспоминалось, как раньше она не раз намекала, что некто весьма высокого ранга в свое время домогался ее руки. Он не сдержался и отбрил:

— Ты думаешь, на фронте слаще?

— Ну, конечно, ты только о себе и думаешь...

Это слышал он от нее уже бесчисленное число раз, но продолжение фразы ударило его как обухом по голове:

— ... Тебя убьют, а мы тут потом мучайся.

Потрясающе! Буквально это самое слышал уже не раз как ходовой в солдатской массе анекдот, но чтобы на самом деле!.. Да полноте, не ослышка ли это? Но нет, я в здравом уме и трезвой памяти! Так она и сказала?

Тут же пришло решение: хватит! Если и останусь в живых, все равно к ней ни за что не вернусь. Пусть война нас рассудит.

Онемев, он смотрел на нее как на странный, непонятный предмет, нечто из музея восковых фигур, а поезд между тем тронулся, он вскочил в вагон и с изумлением увидел, как она замахала ему платком. Он не отве-

тил, стоял в широком дверном проеме теплушки, и все глядел, глядел на ставшую теперь уже совершенно чужой удаляющуюся фигуру. А потом обожгла непрошенная мысль: сказала «мы» — кто это «мы»? Вдруг она в самом деле родит, и возникнет цепная кровная связь? До чего же все непросто в жизни!...

В эти дни середины июля даже здесь, в обычно прохладном лесном Заволжья, солнце палило не хуже, чем в Крыму. Любители пожарить тела вылезали через узкое окошко на крышу, расстилали гимнастерку и рубаху, подставляли лучам грудь, бока и спину, набирались здоровья — когда еще придется вот так пожариться под мирным небом, ни от чего не прячась, ничего не боясь? Шел сорок третий год и третий год войны. Фашистские самолеты сюда уже не долетали.

Рядовой Борис Комаров, приподнявшись на локтях, озирает проносящиеся мимо березнячки да ельнички, вдыхал с наслаждением пряный лесной воздух, слегка подпорченный летучей паровозной гарью. На всех крышах длинного состава, насколько хватало глаз, лежали, сидели, стояли такие же как он, раздетые до пояса крепкие парни. Все они казались одинаковыми, как бы изваянными одной рукой, в одинаковых бриджах защитного цвета, только цвет кожи был различным, у кого она была еще бледной, у кого слегка порозовевшей, едва тронутой обжигающими лучами, а у иных уже густо коричневой от загара.

Невдалеке, вагона через три, Комаров приметил фигуру, которая показалась ему знакомой. Он приподнялся на локтях, сел, опершись на прямые руки, и тут человек, на которого он глядел, вдруг вскрикнул «комиссар!» и кинулся, перепрыгивая через промежутки между вагонами, ему навстречу. Господи, есть же еще люди, которые помнят! Сам-то он вовсе уж позабыл о своем мимолетном комиссарстве, то есть не вспоминал о нем, много воды утекло с тех пор, много отложилось наслоений...

Комиссар! — кричал солдат, не переставая, а добежав, опустился перед ним на колени, обнял горячими сильными руками, едва не повалив навзничь.

— Коля! Неужели ты?

— Я самый!

Сидели друг напротив друга, верили и не верили. У Кольки Удальцова на правом плече, чуть пониже сустава, синел крупный рубец.

— Ты, что же, успел повоевать?

— Ага.

16.

Выгружались ночью среди чистого поля. Что за станция? Никакой станции ни спереди, ни сзади. Даже на разъезд непохоже, поезд стоит на единственной колее.

— В колонну по четыре — становись!

Командиры маршевых рот проводят переключку...

— Шагом марш!

Шли куда-то сквозь кусты по чернеющей в лунном свете неровной, разъезженной дороге, местами она пружинила под тяжестью солдатских сапог. Где мы? Ни стрельбы, ни осветительных ракет. Тишина.

На рассвете остановились перед палаточным лагерем, разобрались по палаткам, прилегли на соломенные тюфяки... Солнце уже поднялось высоко над горизонтом, когда снаружи раздался стук металла по металлу и зычный голос прокричал:

— Готовь котелки, выходи строиться!

Подъехала полевая кухня, в ее оглоблях дремала, низко опустив голову, серая крестьянская лошадка. Это фронт?

Чем отличается жизнь на фронте от обычной жизни? Поживем — увидим.

Вытерли котелки травой, повесили на гвозди, вбитые в жердины, поддерживающие брезент.

Разбились на отделения, каждое получило своего сержанта.

Все очень знакомо и в то же время совершенно ново. Сержанты не из тех, что вместе ехали в эшелоне. Наш угрюм и неразговорчив.

Построил по росту перед палаткой, составил себе список, ступая от одного к другому. Фамилия-имя-отчество, год рождения, откуда родом. Химический карандаш слюнявил то и дело, фиолетовое пятнышко сделалось на губах. Под конец сам представился: Никаноров Степан. Роста среднего, рыжеват, две красных нашивки — два легких ранения, медаль ЗБЗ. В общем, внушает доверие.

Жаль, что Колька Удальцов в другом взводе, но хоть в той же роте, и то ладно, есть неподалеку родная душа.

А вот и первые приметы фронта: глухо загремела где-то вдаль артиллерийская канонада. Канонада — это от немецкого каноне, то есть пушка. Как различить, наши бьют или немцы?

Общее построение. Дошагали до соснового лесочка. Приземистые строения из тонких стволов, плоские крыши подо мхом.

— Получай оружие!

Автомат ППШ с круглым диском, в тылу такого не выдавали, но обращаться с ним научили, были учебные образцы. Стрелять из него придется не по мишеням, в людей будем стрелять. Нет, не так надо говорить — по врагу. Где он, враг? Где-то там, подальше... За этим сосновым перелеском?

Возвратились в палатки. Пришел ротный политрук. Вышли на лужайку, прилегли кучно на траве.

— Товарищи бойцы! Вы находитесь на ответственном участке Северо-Западного фронта, к юго-востоку от города Старая Русса, временно захваченного

немецко-фашистскими оккупантами...

Так вот оно где мы находимся!

— ... Наша закаленная в боях Н-ская дивизия держит оборону южнее озера Ильмень. Вам предстоит смелить подразделения на переднем краю.

Окопов здесь не рыли: копьешь — вода! Вместо них деревоземляные валы, сосновые бревна в два ряда с промежутком около метра, а в промежутке земля, слежавшаяся плотной массой, непробиваемой для пуль. В этом сооружении — амбразуры, в них просунуты стволы ручных пулеметов, а позади бесконечно длинного вала позиции 72-миллиметровых минометов. К валу примыкают блиндажи, в которых личный состав укрывается от артналетов противника. Впереди, за этим валом, ничейная земля, плоская равнина, редко поросшая чахлыми березками, болотистый кочкарник, дохлое место, неудобное для боевых действий, непроходимое для танков и артиллерии.

В ближайшем тылу, где за неширокой прогалиной высится рослый сосновый бор, понастроено бессчетное множество — блиндажей не блиндажей, а так, избушек из вертикально поставленных сосновых стволов. Тут и спальни взводов с грубо сколоченными, двухэтажными сплошными нарами, и служебные помещения, и склады, и кухни, все это выстроено в ряды посреди нечастого древостоя, получились настоящие улицы, есть даже таблички, только не с городскими названиями, а с условными обозначениями подразделений и с указующими стрелками: «Хозяйство такого-то». Верхушки сосен почти сплошь посечены огнем противника, но все ж остатки кроны прикрывают этот городок от обзора сверху, а впрочем, и нет надобности немцу посылать сюда разведывательные самолеты, позиции эти стоят неподвижно уже не первый месяц, все давным-давно известно, а участок отнюдь не из решающих, война идет позиционная, то он нас беспокоит артиллерийскими налетами, то мы даем ему понять, что тоже не дремлем.

Потери невелики, опаснее всего навесной минометный огонь, когда мины рвутся позади дерево-земляного вала.

Пасмурным днем в середине августа роту внезапно отвели к передовой. Расположились за лесочком, получали полный боезапас. Сидели возле укрытий, примеряли каски, протирали тряпкой коротышки-патроны, удаляя жирную смазку, затыкали один за другим в круглые магазины, в основной и в запасный.

Укладывали в сумку гранаты, по две на брата, опасливо проверяя, цела ли и прочно ли гнездится на своем месте чека. Ясно, как день, пойдем в наступление.

Накрапывал мелкий дождичек, его капельки щекотали с тихим шелестом листья ольхового кустарника. Небо было серым, да собственно говоря, не было никакого неба, просто серело все пространство вокруг, вверху и внизу, серыми были палатки, кусты, трава, серыми были лица сидевших кто на чем товарищей, занятых подготовкой к нешуточным теперь уж боевым делам. Из серой дали вдруг возникла невысокая фигура в офицерской плащ-накидке, приблизилась к расположению взвода. Незнакомый офицер остановился в нескольких шагах от группы бойцов и произнес приятным хрипловатым баритоном:

— Кто тут среди вас газетный работник?

Это с чего же вдруг? Борис Комаров поначалу даже не сообразил, что вопрос мог быть обращен собственно ни кому иному как, именно к нему.

— Повторяю, товарищи бойцы, кто среди вас по специальности газетный работник, то есть журналист?

Неспроста он так настойчив, подумалось Борису, имеет точный адрес. Откликнуться? Если бы знать, что за этим кроется... А-а, понятно! Идем в наступление, положено выпускать боевой листок на поле боя, проходили такое в политучилище. Ну уж дудки, на этот крючок меня не поймашь, хватит мне урока в том достойном училище.

— Товарищи, в последний раз спрашиваю. У меня есть сведения, что среди вас находится газетный работник. Прошу назваться.

Совість заговорила: все же как-то неловко, член партии, скажут, уклонился от партийного поручения...

— Ну, я газетный работник, — буркнул рядовой Комаров, даже не вставая, хотя понимал, что перед ним офицер, благо под плащ-палаткой погоны не были видны. Уж больно не хотелось влипнуть в эту историю, в бою будет не до боевых листков, это тебе не учения, там взаправду стреляют...

— Фамилия? Звание?

Получив ответ, незнакомый офицер удалился. Борис свернул сигарку, закурил. На душе было мутно, беспокойно. Что это я, неужели трушу? Войну ощущали каждый по своему: пехотинец иначе, чем солдат корпусной артиллерии, комвзвода иначе, чем начштаба полка, сапер иначе, чем летчик — у каждого своя война... Понять друг друга проще всего тем, кто побывал в одинаковой шкуре. Что испытывает солдат перед своим первым боем, а может и не только перед первым ведь всякий бой может стать последним? Неуверенность? Страх? Обреченность? Решимость? Азарт? Ах, каждый по своему умом понимаешь, что можешь расстаться с жизнью, а все же не хочется верить, что это случится. Пока живой, мысль твои нацелена на продолжение жизни. Ведь всякое бывает, к тьму же смелого пуля боится, как гласит залихватская песня, в вторую исполняет краснознаменный ансамбль... А еще могут ранить не очень опасно, вон сколько их у нас в роте, вернувшихся из госпиталей...Только не струсить, не опозориться перед товарищами! Посмотри на бывалых бойцов— деловито готовят снаряжение, словно на работу собираются. Написать разве матери письмо, пока время есть?

Со стороны штаба завиднелись теперь две фигуры, одна прежняя, другая новая, повыше ростом и по-

мощней. Помкомвзвода, узнав начальника строевой части полка, подал команду «взвод, смирно» и начал рапортовать, но майор отмахнулся:

— Отставить! Рядовой Комаров, ко мне. Поступаете в распоряжение капитана Сухаревского, редактора дивизионной газеты.

Вот он, перст судьбы! Снова указывает он тебе на стезю журналистики. Видно уж, так в высшем решено свете...

Стыдно было удирать накануне активных действий, по приказ есть приказ. И с другой стороны, чего было стыдиться? Ведь чистая случайность! Судьба играет человеком, вот она и выбрала его, чтобы поставить на то место, которое ему, собственно, и принадлежало по логике вещей... Но сколько потом ни приходилось Борису приближаться к передовой с корреспондентским блокнотом, он всегда выбирал те места, где опасность не меньше, а больше, так он искал себе оправдание за то подобие дезертирства, которое он совершил хотя и не по своей воле, но во спасение свое.

17.

Наступление началось па рассвете. Загромыхали вдалеке шестидюймовые орудия, грянули на левом фланге, где в песчаных холмах разместился артполк, залпы семидесятидвухмиллиметровых пушек, а полчаса спустя взвились в небо ракеты. Перевалившись через дерево-земляные валы, пошла вперед по подсохшей за лето пружинящей корке пехота.

Корреспондент дивизионной газеты рядовой Комаров прибыл по приказу своего редактора на командный пункт второго батальона Н-ского полка к восьми ноль-ноль утра. На груди у него автомат, на боку дермантиновая полевая сумка с блокнотом и карандашами. У блиндажа, где искомый КП, необычная суета. Вбегают

и выбегают связные рот и приданных средств, внутри разноголосье, крик и брань, приказы, просьбы и пререкания, толчая у полевого телефона. Комаров нерешительно заглядывает вовнутрь через низкую дверь, но войти не решается, его отстраняют с пути спешащие по делу офицеры и сержанты.

Здесь он впервые со всей ясностью и остротой ощутил свою Принадлежность к категории людей, кормящихся около настоящего дела... Это ощущение не покидало его потом всю войну. Война — настоящее дело? Потому, что речь идет о жизни и смерти? Действительно так, а еще потому, что «дело идет о свободе и независимости», о том, «быть народам нашей родины свободными или впасть в порабощение». Так сказал вождь и учитель. По его мнению, мы еще недостаточно впали в порабощение. Или порабощение порабощению рознь? Как выглядит наша свобода и независимость, я достаточно повидал на Колыме. Или это не относится к делу? Сейчас не об этом речь? Какая-то путаница в мозгах...

Никто не обращает внимания на робкого растерянного рядового, никому нет дела до него, и сам он вполне понимает, насколько он здесь лишний и ненужный. А там, за валом, идут в бой его вчерашние товарищи, он слышит автоматные очереди и разрывы вражеских мин.

Наконец Борису удается схватить за рукав замешкавшегося сержанта:

— Слушай, где здесь замполит батальона?

— А хрен его знает, — бросает сержант и бежит по своим делам.

Борис Комаров протискивается в блиндаж. И здесь его не замечают, мало ли кто и с каким поручением приходит сюда, на КП. Как это непохоже на его прежнюю журналистскую практику в мирные годы, в дальних краях, на «гражданке»! «Корреспондент приехал!» — ты в центре внимания, тебя принимают кто с распро-

стертыми объятиями, кто с настороженным вниманием, кто с любопытством, одни ищут встречи с тобой, другие избегают встреч, но безразличных нет. Здесь же никто не спешит приравнять перо к штыку, и ты угнетен сознанием своей ненужности.

Какой то старший лейтенант показался ему занятым меньше других.

— Товарищ старший лейтенант, разрешите обратиться!

— Ну, чего тебе?

— Я из дивизионной газеты. Мне бы узнать...

— А пошел ты... Не до тебя.

Старший лейтенант хватается трубку только что освободившегося телефона, велит телефонисту вызывать артснабжение.

Борис Комаров снова выходит наружу. Сбоку от блиндажа он видит продолговатый свеженасыпанный холмик и в растерянности садится на него. Но тут же его заставляет вскочить негодующий окрик:

— Ты куда сел, скотина! Не видишь, что здесь человек лежит убитый!

Господи, да ведь это кое-как присыпанное землей человеческое тело. Сейчас еще не время для ритуальных похорон...

Потрясение от своей безобразной оплошности, сознание своей неуместности среди этой горячки управления боем приводят Бориса Комарова в состояние отчаянной решимости. Он подходит вплотную к той точке вала, где наблюдатель через стереотрубу следит за полем боя, становится на какой-то чурбак и выглядывает из-за вала. Перед его глазами расстилается плоская ширь, испещренная черными воронками, усеянная дымами разрывов. Посреди разрывов виднеются фигурки бойцов, вновь поднявшихся в атаку, доносится недружное ура, но вскоре поредевшая цепь снова залегает, люди падают с разгону на серую выгоревшую траву, ищут защиты за мохнатыми болотными кочками.

— Ты чего высунулся, дубина! Хочешь пулю схватить, клык моржовый, и меня размаскировать, паразит строганный, — грубо толкает его в ребро прикладом автомата сержант — наблюдатель. — Чеси отсюда к нехорошей матери!

И все же удается Комарову изловить офицера с красной звездой на рукаве и четырьмя звездочками на погонах.

— Товарищ капитан, извините... Я из дивизионной газеты,

Капитан с удивлением оглядывает его с ног до головы.

— Откуда? Что-то я тебя не знаю.

— Я вновь прибывший. Пожалуйста, расскажите мне о ходе боя. Главным образом об отличившихся бойцах...

На обратном пути, посреди знакомой поляны, его застает минометный обстрел. Мины рвутся метрах в сорока то спереди, то сбоку, взметая фонтаны земли, в ноздри ударяет вновь сгоревшего тротила. Он добегают до подбитой самоходки, стоящей здесь с незапамятных времен, залезает, присев на корточки, с тыльной стороны под ее широкое крыло. Налет долго не кончается, ноги деревенеют в этом скрюченном состоянии, надо бы просто сесть на землю, он было уже расслабляет колени, но посмотрев под себя, видит застарелую большую и неприличную кучу. Злость и стыд охватывают корреспондента Комарова, он выскакивает из под укрытия и, не дожидаясь конца обстрела, бежит по направлению к лесу. За его спиной продолжают рваться мины, но ни один осколок ему не достается. Вбежав под кроны искореженных, посеченных сосен, он прислоняется к стволу одной из них и достает блокнот. Надо записать на свежую память все, что говорил ему замполит батальона. Теперь скорее в редакцию, чтобы успеть сдать материал для набора в завтрашний номер.

Позади все глуше раздавалась стрельба, и он

снова почувствовал себя дезертиром.

В успех наступления с самого начала никто не верил. Немцы занимали возвышенный берег реки, вся болотина на месте старого русла расстилалась перед ними как на ладони, каждый куст был пристрелян, у нас же ни надежных укрытий, ни возможности окопаться, а преодолеть все расстояние до их переднего края единым броском было невыполнимым делом. После двух дней безрезультатных атак получили приказ прекратить наступательные действия.

Медсанбат был переполнен ранеными, поезда не успевали отвозить тяжелых в тыловые госпитали. Про соседнюю дивизию рассказывали то же самое. Неумение и горечь по поводу бессмысленных потерь широкой волной захлестнули поредевшие подразделения.

Капитан из фронтовой газеты, балагур и весельчак, при своих наездах в дивизию прежде всего посещал редакцию дивизионки: просматривал несколько последних номеров, выведывал последние новости и рассказывал сплетни из высоких сфер. Среди фронтовых «разбойников пера» ходила молва о том, как он добывал сведения для своих очерков. Дальше медсанбата его нигде не встречали, там же он велел показать себе когонибудь из легко раненных, подсаживался к его постели и заводил беседу.

— Ну так что, где тебя ранило? В атаку ходил?

— Да нет, товарищ капитан, меня еще на подходе ранило.

— Постой, постой, как же так... На подходе, это значит, ты все же шел в атаку, так или нет?

— Ну, вроде бы и шел, да не дошел...

— Вот и правильно, шел в атаку. И сколько же немцев ты уложил?

— Да нет, товарищ капитан, не было такого.

— То есть как не было? Что же получается... Ты шел в атаку, вел огонь сходу, как положено, так ведь?

— Ну вроде бы так...

— И что же, вел огонь, а противника не поразил? Зачем же Родина тебе оружие вручала, чтобы ты палил в белый свет, как в копеечку, зря боеприпасы расходовал?

— Ну, как зря... Все стреляли и я стрелял.

— Вот это другое дело. А раз стрелял, значит, куда-то летели твои пули? Неужели так уж ни в одного фашиста не попали?

— Ну как сказать... Может, в которого и попали...

— Вот так и говори. Так сколько же вражеских солдат ты уничтожил? Пять? Десять?

— Ну что вы, товарищ капитан... Не знаю я.

— Не знаешь... А надо знать! Ну, скажем так: пятерых, согласен?

— Да нет, товарищ капитан...

— Ну ладно, ты не скромничай. Запишем так: уничтожил пятерых гитлеровцев. А твой товарищ, твой сосед? Как его фамилия?

И так далее. Правда это было, или нет, поручиться никто не мог, но разговоры такие ходили, а очерки капитана были все на один манер.

Так вот, хотя капитан из фронтовой газеты особым доверием не пользовался, его объяснение причин внезапной вспышки нашей боевой активности звучало убедительно. Да, наступление было бесперспективным, но оно было необходимо как отвлекающий удар, чтобы противник не мог снять с нашего участка фронта силы и перебросить их в другие места. А в какие — скоро узнаете.

И действительно, через несколько дней Совинформбюро сообщило о крупных сражениях на Орловско-Курской дуге...

Здесь же, на этом второстепенном, вернее даже третьестепенном участке обширнейшего фронта августовское наступление приобрело неожиданный и запоминающийся финал. По всем частям и подразделениям прошел слух: в воскресенье, в полдень, будет дан салют

в память бойцов, погибших в этой операции.

По воскресеньям немцы не воюют, это было замечено за многие месяцы великого стояния в обороне. Чем они там занимаются в выходной, бес их знает. Наверно, чистят обмундирование, моются в бане, пишут письма своим Гретхен, а может быть хлещут шнапс. В воскресенье можно позволить себе походить вблизи передовой, забрести в лесок, подышать вольным воздухом... Но в это воскресенье, на которое был назначен салют, появился особый резон для того, чтобы выйти на волю: в небе над позициями разгорелся воздушный бой.

В этом бою участвовали только два самолета: наш МИГ и немецкий мессершмитт. Но сразу было видно, что оба летчика — непревзойденные асы. Они гонялись друг за другом, норовя зайти один другому в хвост, уходили в штопор, в мертвую петлю, ложились на крыло, описывая бочку, выделявали все известные в летном искусстве трюки и сыпали очередями трассирующих пуль. Но ни тому, ни другому не удавалось поразить противника. Поединок длился уже больше четверти часа, и, понятное дело, не одни наши бойцы следили за ним, затаив дыхание; немцы тоже, высыпав из блиндажей, наблюдали за схваткой в воздухе, желая победы, разумеется, мессершмитту. И вот, когда стало очевидно, что этот спектакль выманил из укрытий множество вражеских солдат, громыхнул обещанный салют. Ударили во всю мощь корпусные орудия, дивизионные артполки посылали свои снаряды по пристрелянным площадям... Противник потерял сотни, а может быть тысячи убитыми и ранеными...

Потом говорили, что в МПГе сидел лучший ас Северо-Западного фронта, а на мессере летал не кто иной как сам Александр Покрышкин.

Неделю спустя Борис Комаров повстречался на лесной дороге с верховым, в котором узнал парня из своего взвода. Тот остановил коня, поздоровались.

— Ты чего это, в кавалерию записался?

— Взяли связным командира полка.

— А что с нашей ротой?

— Осталось двадцать человек. Кто убит, кто ранен...

Двадцать из ста двадцати... В числе каких оказался бы я?

Борис Комаров побрел, опустив голову, своей дорогой.

— А Колька Удальцов, — обернулся он вдруг и крикнул вдогонку всаднику — про него не знаешь?

— Вроде бы ранен, точно не скажу.

— У этого парня железные нервы, — сказал капитан медицинской службы Михаил Иосифович Стражевский.

Он задумался на секунду, чуть отстранившись от операционного стола.

Полевым хирургам приходилось решать трудные, нестандартные задачи, потому что великого разнообразия поражений не мог бы предусмотреть никакой учебник. У этого бойца довольно большой, миллиметров тридцати по основанию, треугольный осколок мины, разорвав мягкие ткани большой грудной и малой грудной мышц, застрял в межреберьи острым концом. Второй хирург разводил края раны лопаточками и вопросительно косился на старшего.

Мешкать на полевых операциях было не принято, другие раненные ждали своей очереди, от срочности хирургического вмешательства зависели их жизни. Об этом никогда не забывал Михаил Иосифович, но случай рядового Удальцова поставил его в тупик. Можно было бы с силой тащить осколок щипцами, но тогда глубоко повредились бы края ребер, мало ли какая инфекция получила бы простор. Надо как-то расширить междуреберное пространство, ослабеть зажим этого кусочка металла, ржавого и зазубренного. Значит, надо увеличить разрез, иначе как подберешься к ребрам. Делать

нечего, пойдем на это.

— Скальпель!

Сестра подает инструмент.

— Малые щипцы!

Просунуть кончики щипцов в сжатом состоянии между ребрами, развернуть их и потом развести — но больной и так ведь уже на грани потери сознания...

— Увеличить наркоз!

Теперь к делу. Поворот. Разжим. Осколок стал податливой. Еще чуть-чуть. Совсем хорошо. Долой его! Полетел в таз.

Но что это с парнем? Зашевелил губами, пытается что-то сказать. Михаил Иосифович нагнулся, поднес ухо к губам солдата.

— Покажи! ... — услышал он сбивчивый шепот.

Боже ты мой, он еще интересуется своим осколком, который застрял у него в сантиметре от сердца. Ну характерец!

— Потом посмотришь! Спи теперь! — отчеканил он. И, обращаясь к сестре, добавил:— Возьмите уж этот сувенир, обмойте и заверните. Он заслужил такой подарок.

В послеоперационной палатке было душно, но Колька Удальцов этого не замечал. Он лежал на спине, обвязанный бинтами, ощущал в левом боку не то чтобы боль, а так, неудобство. Брезентовый верх палатки, подсвеченный снаружи косыми лучами солнца, как бы плыл перед его глазами мелкими и равномерными, как борозды пашни, волнами, голова сладко кружилась.

К вечеру его перенесли в большую, длинную, поделенную брезентовыми перегородками палатку выздоравливающих, места в послеоперационной требовались для новых пациентов. Положили на нижние нары, над ним кто-то ворочался и кряхтел. В полумраке едва освещенного пространства слышны были стоны, вздохи и прочие разные звуки. Где-то невдалеке вели разговор два соседа. Один сказал, с торжеством и каким-то

старинным трепетом в голосе:

— Стали его резать — одна сала!

Елки, да что ж это такое, подумалось Кольке. Откуда здесь взяться такому откормленному, где он наел столько сала. Хотелось узнать, что же дальше случилось с этим толстяком, и чуялось что-то недоброе, мелькнула догадка, что резали его не благонамеренные хирурги, а таинственные злодеи, и таятся они где-то тут, и опасность от них грозит всем и каждому.

А действие морфия тем временем проходило, боль в груди, чуть пониже плеча, становилась резкой и жгучей, голова горела. Попить бы... Позвать, что ли кого? Колька попробовал шевельнуться, боль усилилась. Нет, буду лежать и терпеть. Из головы не выходила злоецающая фраза: «Стали его резать — одна сала...» И невдомек было беспризорнику Кольке, измученному болью и жаром, что разговор-то шел всего лишь о поросенке, откормленном к святкам — о чем еще говорить оголодавшему крестьянину в солдатской шкуре... Понимал по-своему: достукался, сексот поганый, жирный черт. Не иначе как слягавил этот толстый... Кольке представилась расправа кого-то над кем-то, замелькали в мозгу нелепые и страшные картины, связанные с его прошлой жизнью, он забормотал что-то бессвязное и впал в беспамятство.

На другой день Борис Комаров пришел в медсанбат справиться о рядовом Удальцове. Сестра проводила его в большую палатку.

— Всю ночь бредил. Температура за сорок. Но организм крепкий, сдюжит. К отправке в госпиталь пока еще не годен, денька три еще придется подержать.

— А вы кто такой? — накинулся на него Стражевский, завершавший утренний обход. Он не любил посторонних. На счастье под халатом, который Борис просил у сестер, его погоны рядового не были видны.

— Корреспондент дивизионной газеты.

— А-ах... Ну, ладно.

Корреспондентов Михаил Иосифович тоже не любил. Опасаясь, что этот начнет приставать к нему с вопросами, он заторопился к выходу.

Извините, доктор, — крикнул Борис вдогонку, — что с Удальцовым?

— Сто лет проживет, — бросил Старжевский в полоборота и исчез.

— Комиссар! — обрадовался Колька и заулыбался спекшимися губами.

Бориса обдало теплом воспоминаний.

— Ну как ты, Коля?

— Сто лет проживу, если доктор не врет.

Он отчаянно сопротивлялся отправке в тыловой госпиталь.

Его то и дело переносили из одного списка в другой, и наконец согласились включить в команду для отправки не в тыловой, а во фронтовой госпиталь, откуда обратный путь в свою часть гарантирован почти на сто процентов. Быть вблизи «комиссара» стало для Кольки Удальцова жизненной потребностью. Борис Комаров был первым человеком в его жизни, который относился к нему, как к брату.

18.

Отголоски войны доходили приглушенным, но торжественным гулом и до лагеря «рабсилы», (приданного золотодобывающему предприятию со звучным названием «Большевик»). Наши больше не отступают, наши гонят врага на запад, дождались мы, наконец, давно обещанного перелома! Враждебность блатных к контрикам поугасла, ибо все удостоверились, что победам Красной Армии пятьдесят восьмая статья радовалась не меньше, если не больше других.

Прикомандированной к КВЧ з/к Павел Русланов выводил твердой, натренированной рукой крупные

буквы на красном полотнище: «Дадим больше металла для нужд фронта!» и «Каждый грамм металла — удар по врагу».

Кормежка была сносная. Вольняшкам перепало и от американских продовольственных поставок, предназначенных, разумеется, для фронта, но застревавших в Находкинском порту, потому что не хватало вагонов. Знали, что эти «слайсед бэкон» и «тьюнед порк» в действующей армии называли «вторым фронтом», поглощали их с пренебрежительными комментариями, однако не без аппетита, потому, что пища эта была калорийная и хороша на вкус, а что касается именно «слайсед бэкон», то она в особенности годилась как закуска.

Зина Селезнева нередко приносила начатую банку с собой в контору.

— На-ка, попробуй, — говорила она художнику. — Ознакомься, чем питается буржуазия.

Русланов стал все чаще замечать, что от Зины несло спиртным перегаром, перебивавшим даже запах одеколona «Красная Москва». Его разбирала досада на эту молодую, еще красивую, но на глазах разрушающую себя женщину. Однажды, не стерпев, он сказал ей:

— Зачем вы пьете, Зинаида Николаевна?

Она посмотрела на него с насмешливым любопытством и произнесла, хихикнув:

— А что, завидки берут? Могу и тебя угостить.

Павел Русланов принципиально не пил спиртного. Принципиально — это значит не потому, что беспокоился о себе, оберегал свой организм, а потому, что понимал социальное значение пьянства как средства, направленного на деградацию общества. Предводитель российских большевиков доказывал когда-то, что царское правительство преднамеренно спаивает народ, чтобы сделать его неспособным осознать свое угнетенное состояние, лишиться воли к сопротивлению. Какое же правительство спаивает народ теперь? Кто наводнил

российский рынок сорокоградусной взамен недостающих полезных товаров? Кому выгоден отвратительный обычай, любую встречу в дружеском кругу превращать в обильные возлияния? Какая сила вынуждает людей начинать застолье провозглашением тоста «за того, кто дал нам эту счастливую жизнь»? Непьющий стал внушать подозрение!

Пять лагерных лет не поколебали его убеждений, но он научился понимать, что человеку, подавленному своим бесправием, бессилием и обреченностью, свойственно искать отраду хотя бы в мимолетном блаженном оступении. Здесь он насмотрелся всякого — от поножовщины звереющих во хмелю бандитов и бесстыдства пьяных педерастов до медленной агонии попавших в зависимость от алкоголя добрых и порядочных людей. Но чем лучше была участь непьющих? Умер от истощения в лагерной санчасти сорокапятилетний профессор римского права, неспособный выполнить норму, а следовательно получивший урезанную пайку. Повесился на похищенном у взрывников бикфордовом шнуре молодой меннонит, зоотехник с Алтая, осужденный за то, что назвал племенного бычка библейской кличкой Иосиф...

Свою работу в КВЧ Русланов со всей беспощадностью к самому себе оценивал как ступеньку своего падения, но не проситься же обратно в забой!

Принятие поблажки от ненавистного режима он признавал пятном на своей совести. Однако инстинкт самосохранения перевешивал прочие соображения. Впрочем, это не был голый инстинкт, жила еще и надежда, что когда-нибудь кончится всевластие лжи и насилия, он получит свободу и сможет употребить свой интеллект на то, чтобы никогда больше не повторилось это безумие. Надо продержаться, надо, во что бы то ни стало, говорил он себе.

Зина стала приносить его порцию спирта в баночке с завинчивающейся крышкой из-под какой-то загра-

ничной мази. Баночка была небольшая, но когда содержимое разводилось водой, получался целый стакан крепчайшего пойла. Он заглатывал его — когда к обеду, когда под конец рабочего дня, и настроение поднималось, кисть резвее ходила по холсту, все вокруг выглядело не таким уж мрачным, и он вес больше проникался благодарностью к доброй бабенке, его благодетельнице, его спасительнице Зине.

Как то вечером, когда начальник уже ушел, а Русланов задержался, дорисовывая карикатуру на лодыря, которая ему никак не удавалась, Зина тоже осталась в конторе. Она то переключивала бумаги с места на место, то приближалась к Русланову, присматриваясь к его работе, и слегка прижимаясь к его плечу, как бы невзначай, а потом вдруг подошла к двери в пустующий начальственный кабинет, открыла ее, взглянула на кожаный диван, повернулась к Русланову, задержалась на нем долгим взглядом и сказала тихим, слегка дрогнувшим голосом:

— Зайдем, а?

Он поднял голову и застыл в странном оцепенении.

— Ну иди же, дурачок! Иди, а то обижусь...

Что-то сместилось в нем, когда в его жизнь вошла эта женщина, обольстительная и опустившаяся, добрая и беспринципная, неглупая и недалекая Зина Селезнева. Как дошел ты до жизни такой, задавал он себе sacramентальный вопрос, без сожаления и без досады, как бы разложив себя под гигантским микроскопом для точного и беспристрастного анализа. Умение посмотреть на себя со стороны он всегда считал неотъемлемым свойством интеллигентного человека.

Перелистывая страницы былого, он старался выявить закономерности своего перехода из одного качества в другое — во взаимосвязи с событиями быстротекущей жизни. Смутно помнились последние предреволюционные годы, военные годы в Петрограде, хлебные

шарики из собранных крошек, темные, мутноватые картинки на глянцевой жесткой бумаге, присланные из далекого таинственного места под названием фронт, которые мама показывала ему, утирая слезы, тыча пальцем в одну из одинаковых серых фигур со словами: «Это твой папа! Скоро кончится война, и он придет, и всем нам будет хорошо!». А ему и так было хорошо, он ведь не знал другой жизни, он свою жизнь начинал в это самое, а не в другое время. Он всегда был голоден, но не знал, что бывает сытость. У него не было игрушек, но он и не подозревал об их существовании.

Возвращение папы не принесло того умиротворения, которое обещала мама. Папа почти не бывал дома, он исчезал на несколько дней, а вновь появлялся внезапно и лишь на несколько часов. По Лиговке, где они жили в тесной квартирке на четвертом этаже, прокатывались волны пулеметно-ружейной стрельбы, было боязно и любопытно. А потом папа исчез надолго. Редко-редко приходили письма откуда-то с Урала, потом с Украины...

Своего дедушку, умершему еще до этих бурлящих событиями времен, маленький Павлик не видел живым, но на портрет его заглядывался часто. Там было изображено продолговатое серьезное лицо, добрые глаза смотрели с легким прищуром через пенсне в тонкой проволочной оправе и со шнурком, а рот был спрятан в темной заросли бородки и усов. Этот дедушка, отец матери, был, по ее рассказам, петербургским издателем, одним из многих, пробовавшим на рубеже веков свои способности на этом поприще. Все его издательство состояло из него самого и никого больше. Он сам договаривался с авторами, а было их у него не более шести или семи, сам готовил рукописи к набору, сам отвозил их к типографу, сам держал корректуру, сам забирал тираж и развозил его на извозчике по книжным лавкам. За недолгий срок он разорился в пух и прах, но зато открыл дорогу в литературу будущим знаменитостям.

Когда переехали в новую столицу, жили на самой окраине, возле Новодевичьего монастыря, а школа находилась на Плющихе, неподалеку от Смоленского рынка, где торговали овсом и конской сбруей и еще всякой всячиной, где пахло конским навозом, дегтем и сыромятной кожей, и где между рядами торговцев шныряли цыгане-конокрады и разная другая шантрапа. На рынок Павел забегал, влекомый боязливым любопытством, в нарушение материнского запрета, и однажды был пойман «уличными мальчишками», как их называла мама, допрошен и обыскан на предмет наличия денег или другого привлекательного имущества. За неимением таковых он был отпущен с миром, но предварительно слегка побит. У него не осталось зла на своих обидчиков, даже наоборот, он чувствовал себя чуть ли не виноватым, что у него не нашлось для них, босоногих и неумытых, ни одной медной монетки, ни конфетки в пестром фантике вроде тех, что мама покупала иногда в ближней лавке у непмана Фетисова.

В школе он ни с кем из сверстников близко не дружил, его тянуло к старшим ребятам. В переменах он убегал на верхний этаж, где учились старшеклассники, пристраивался сзади к степенно прогуливающимся группам, ловил обрывки разговоров про нэп, про мировую революцию, про недавно отмененный партмаксимум. Его поразила и крепко запомнилась оброненная кем-то фраза: «Разные были революционеры. Одни делали революцию для народа, другие для себя».

Его ранний интерес ко всему, что было связано с революцией и гражданской войной, постепенно углублялся. Он не по годам прилежно читал газеты, знал все про оппозицию, а потом про правый и левый уклон, горячо осуждал неисправимого смутьяна Троцкого, и когда сосед — они учились уже в восьмом сунул ему под партой книжицу «Уроки Октября», он, едва взглянув на нее, с негодованием вернул обратно.

В Университет на Моховой он ездил на тридцать

четвертом трамвае, без сожаления поглядывал, как рушат оплот мракобесия, храм так называемого Христа-Спасителя, и представлял себе в мечтах, какое величественное здание Дворца Советов воздвигнется на этом месте. В день своего вступления в комсомол он мысленно дал себе обет не пить, не курить, не донжуанствовать, отдать все силы делу революции, социалистического преобразования мира. Он осудил самоубийство Маяковского, революционного «горлана главаря» и порвал листки с переписанным стихотворением «На смерть Есенина», ожесточившись умозаключением, что поэт, перед которым он благоговел, своим малодушным поступком сравнялся с певцом «Москвы кабацкой».

В Университете происходили всякие реорганизации, смысл которых он не до конца понимал, хотя смутно догадывался, что идет борьба за идейную чистоту. Его историко-философский факультет выделился под названием ИФЛИ имени Н. К. Крупской в самостоятельное учебное заведение, обосновавшееся в здании бывшего Юнкерского училища на Малой Пироговской. Теперь от дома до института было рукой подать, трамвайные расходы сократились, а стипендии прибавилось. Жить бы да радоваться, но... По мере того, как он вчитывался в труды Маркса и Энгельса, преподносимые на лекциях постулаты утрачивали свою непререкаемость, а действительность приобретала все более мрачную окраску. «Дебаты о цензуре в Прусском ландтаге» — одно из самых ранних сочинений молодого Маркса положили начало мучительному переосмыслению усвоенных догматов. Свобода мысли, свобода критики, независимость от власть имущих, эти идеи, пронизывающие вдохновенные страницы «Дебатов», волновали и привлекали, но вместе с тем и наполняли тревогой, настораживали, казались неприменимыми к переживаемому моменту, потому что там шла речь о пороках враждебного класса, у нас же ограничение свободомыслия служит интересам победившего пролетариата.

та. Но как ни старался Павел Русланов шагать в ногу со временем, в глубине души он уже начинал понимать: что-то у нас не ладится, что-то происходит не только «не по Гегелю», но и не по Марксу.

Все окончательно прояснили процессы 37—38 годов, К этому времени Павел Русланов был уже аспирантом и секретарем парткома пединститута, поначалу удостоенного имени наркома просвещения А. А. Бубнова, а теперь получившего имя В. И. Ленина, чтобы уж наверняка... Выходит, и Бубнов оказался врагом народа, старый большевик-подпольщик, один из руководителей октябрьского вооруженного восстания?

Русланов понимал: открытый протест бессмыслен, безнадежен.

Можно ли, оставаясь самим собой, приноровиться к условиям режима, обнажающего свою звериную суть? Попробуем. На счастье, тема его диссертации была далека от злобы дня, и ему удалось защитить ее до того, как стало общеобязательным в любом претендующем на научность сочинении превозносить «роль товарища Сталина» в данной науке...

У него появились студенты. Как ухитриться, чтобы, не засоряя их мозги ложными знаниями, в то же время уберечь их от опасностей свободомыслия? Почти неразрешимая задача! Додумывать недодуманное пришлось уже в тюрьме.

Арест возвысил его в собственных глазах. Он знал, что правовое сознание россиян испокон веков искажалось произволом. Сочувствие к узникам и каторжанам было безвариантным, безотносительным к действительной провинности осужденного, его невиновность или несоразмерность тяжести капы с тяжестью вины предполагались априорно. Вспоминался Пушкин: «...Суд наедет, отвечай-ка, с ним я век не разберусь...»

Неправедность суда всегда принималась за данное.

«Враги народа» — особый случай. Их громогласно

осуждали, от них отреклись на собраниях, там было невозможно вести себя иначе, там срабатывал стадный инстинкт, там подхлестывал страх попасть под подозрение в сочувствии.

Поддержка несправедливого правления ради собственного благоденствия, пусть жалкого и скудного, — всенепременный спутник несвободы. А всякая несвобода начинается с невежества. Затяжное существование крепостничества на Руси объясняется тем, что невежественными были не только угнетенные массы, но и угнетатели. Стоило просвещению вторгнуться в помещичью среду, как сразу нашлись владельцы, которые стали отпускать «своих» крестьян па волю. Преобладали, кажется, моральные мотивы, но присутствовало и осознание экономической целесообразности, понимание того, что свободный труд продуктивнее подневольного. Свободный!

Труд ничуть не менее тяжкий, но без понукания, А по своей воле. Стремление к свободе!... Его так долго не хватало темным мужикам... Понимание ценности, общенародной выгоды свободы — его так сильно не хватало власть имущим!

Павлу Русланову сейчас не хватало свободы в самом элементарном понимании. Но никто не мог лишь его свободы внутренней. Внутренняя свобода, неиссякаемый источник душевных сил и даже наслаждения, как ни парадоксально это звучит в применении к заключенному колымского лагеря. Он ею владел, и это помогло ему сносить тяготы и унижительность неволи.

Глотком свободы стали для него и новые отношения с Зиной. Конечно, она не партнер ему в социально-философских изысканиях, но зато — добрая душа.

А собственно, почему не партнер? Ведь в сущности все в мире так просто! Его научный руководитель частенько говорил ему: «Ах, Русланов, как вы любите все упрощать!». А он действительно любил простоту, доступность глубоких истин всеобщему пониманию, и не

видел в этом греха.

19.

Старую Руссу брали на гребне зимы, в свирепые крещенские холода. Танковый удар расстроил оборону немцев, пехоте оставалось только ликвидировать остатки потерявших связь со своим командованием мелких групп.

Второй эшелон Н-ской дивизии проходил по городу в тишине и загадочности туманной от мороза ночи. Один за другим, ревя моторами, пробирались по ухабистым, изрытым воронками улицам тяжело нагруженные ЗИСы с военным имуществом, боеприпасами, продовольствием, запчастями, шли мастерские на колесах, тыловые канцелярии, трофейная команда и музвзвод. Почти в самом хвосте двигалась, переваливаясь с боку на бок, громоздкая, построенная на трехтонке будка дивизионной типографии, вмещавшая кроме собственного оснащения и персонала еще и всю редакцию с ее скарбом.

Внутри этой объемистой, утепленной войлоком будки, у передней стенки, стоит закрепленная болтами печатная машина «американка». По бокам в наклонном положении закреплены наборные кассы, они сейчас плотно укрыты тряпьем, чтобы не рассыпались и, не дай бог, не смешались шрифты—настоящее бедствие, пришлось бы потом литеру за литерой разглядывать, чтобы разложить их снова по своим гнездышкам, а наборщики- то люди пожилые, глаза уже не те... Под кассами громоздятся ящики со всякими припасами, рулоны бумаги, банки и бидоны, чемоданы офицеров и вещмешки рядовых. Посередине гордо высится чугунная печка-буржуйка, предмет всеобщего внимания, но топить ее на ходу, разумеется, нельзя, в холодном же состоянии она только усиливает стужу, через

выведенную в потолок трубу проникает наружный воздух.

На чемоданах да на табуретках, черных от типографской краски, примостился весь личный состав, только сам редактор Слесаревский сидит в кабине рядом с ефрейтором Шарафутдиновым, незаменимым мастером вождения этой неуклюжей колымаги по ухабам фронтовых дорог. Здесь все, за исключением Бориса Комарова, друг друга знают не первый год, с самого формирования под Оренбургом. Замредактора капитан Севрюков, неторопливый уралец с хитроватым и добрым прищуром карих глаз, лишь незадолго до большого наступления выписался из госпиталя, он страдает язвой желудка, но комиссоваться не желает, привязан к этой дружной фронтовой семье, в свою семью его не тянет, от жены приходят глупые, бессодержательные письма, а от стариков родителей нелестные отзывы о снохе. Рядом с ним, хватаясь за колено при каждом крене ковчега, сидит щуплый и неловкий старший лейтенант Иосиф Кухарь, по должности корреспондент, до сих еще смуглый от летнего загара. Безвылазно пропадающий в частях, суетливый и рассеянный, он прославился даже за пределами редакции тем, что очередное письмо горячо любимой супруге сдал в набор, она же получила от него статью под заголовком «Прямой наводкой».

Болезненно морщится от толчков, рывков и опасных наклонов грузный, рыхлый и неуклюжий лейтенант Линчук, лингвист с научной степенью, считающий свою должность секретаря редакции дивизионки несправедливым унижением.

Старший наборщик и метранпаж Степан Полуниин в звании рядового, высокорослый, крупного сложения степенный мужчина далеко за сорок, с простым крестьянским лицом и крупной шишкой на лбу, жировым наростом или попросту килой, признан всеми за олицетворение народной мудрости, его мнение всегда оказывалось самым правильным в поисках выхода из

трудных ситуаций.

Полная противоположность ему — самый старший в этой фронтовой семье наборщик Ефим Ахримович, шустрый, разговорчивый, неугомонный, несмотря на изрядную середину в кудрявой пышной шевелюре, великий знаток еврейских анекдотов и мастер их рассказывать. Сейчас он молчалив, как все, ежится от холода, покашливает, утирает нос рукавицей, ерзает на своем сундучке с висячим замком, где хранятся никому неведомые сокровища.

В спокойной настороженности сидит на подшивках газет печатник, он же начальник типографии тридцатилетний сержант Панасенко, серьезный, неулыбчивый, уверенный в себе служака с авторитетной поведкой, непревзойденный доставала, способный добыть ананасы на Северном полюсе, особенно если они понадобились его непосредственному начальнику.

Борис Комаров был здесь еще не совсем прижившимся новичком, хотя шел уже пятый месяц его корреспондентской службы. В редакции он вращался мало, все больше пропадал на передовой, соперничая со старшим лейтенантом Кухарем в поисках сенсаций местного значения. Между нами были распределены зоны влияния, за Кухарем числились два стрелковых полка и рота связи, Комарову были отведены стрелковый и артиллерийский полки, а в придачу авторота и саперный батальон.

Вот так они ехали по пустому полуразрушенному городу, замершему в зимней стуже. Борис Комаров стоял, держась за край наборной кассы, у маленького, подернутого инеем окошка и старался разглядеть проплывающие мимо местные предметы: побитые снарядами одно и двухэтажные кирпичные дома, тускло вырисовывающиеся под рассеянным в тумане лунным светом, покалеченные орудия, еще дымящиеся останки ненашенских автомашин...

Комаров поводил плечами, притопывал, ноги в

кирзовых сапогах, казалось, примерзали к холодному полу, надо было все время шевелить пальцами, чтобы они вконец не заоченели.

Не переставая удивляться своему чудодейственному спасению, он все еще испытывал смешанное чувство радости и стыда: вот так проехать по войне заморским гостем — завидная, но почетная ли участь?...

Под утро прибыли куда-то, остановились в чистом поле среди высоких снегов, с усилием стряхивали с себя стылую, тяжелую, томительную дрему, вылезали из будки, разминались на морозце, ждали команды. Потом снова забрались в машину, тронулись дальше, и наконец подрулили к ряду укрытых снежными перинами землянок. В одну из них было приказано вселяться.

Внутри еще не выветрилось тепло недавно оставленного жилья. Снаружи исчерченные шинами проезды указывали пути отхода отведенной то ли на отдых, то ли на переформирование, то ли на новое боевое направление снявшейся отсюда дивизии.

Вдали в морозной дымке вырисовывались покаптые холмы, а между ними чернел невысокий лесок. Приехали!

Эта зимняя оборона под Н. не доставляла ни бойцам, ни командирам больших забот. Позиции, оставленные предшественниками, были полностью оборудованы, окопы на холмах и у лесных опушек имели полный профиль, утепленные блиндажи и землянки были заранее обработаны санчастью на предмет уничтожения насекомых. Противник, засидевшийся на месте, притерпевшийся, прижившийся в этом неподвижном противостоянии, почти не беспокоил огнем, а если и постреливал, то так себе, бесприцельно, больше для острстки. Наши отвечали тем же. Активность разведки была невелика, лишь однажды за всю зиму наши парни из дивизионной разведроты безлунной ночью сходили за языком, привели жалкого испуганного фрица, сдали

в штаб и долго потом гуляли в подпитии во втором эшелоне с вылазками в расположенный неподалеку банно-прачечный отряд.

Наследство, оставленное предшественниками, заключалось не только в обжитых, хорошо утепленных землянках, но и в многочисленных росказнях и привольном житье-бытье на этих забытых богом и высшим командованием, почти не упоминаемых в сводках Информбюро позициях. Рассказывали, например, что один лихой командир пулеметного взвода сумел оборудовать на каждой из четырех огневых точек, где располагались его «максимы», по самогонному аппарату и, пользуясь телефонной связью, пытал командиров расчетов: «Доложи обстановку!» И если кто-то из них общал «закапало», отправлялся к нему для проверки боевой готовности. И еще рассказывали, что наши солдаты, привыкшие к длительной обороне, изучившие как свои пять пальцев позиции противника, расположенные в каких-нибудь ста метрах, услышали как-то с немецкой стороны усиленный рупором оклик: «Рус Иван! Хаст ду фойер? Имели спички?» Получив утвердительный ответ, двое немцев выбрались из окопа и двинулись по нейтральной полосе. Двое наших вышли навстречу, и где-то на середине ничейной земли наши дали немцам две коробки спичек, а взамен получили с полдюжины длинных шоколадок в синей обертке с желтоватой мягкой начинкой.

Поскольку дело получило огласку, «менял» определили в штрафники, а замполита роты разжаловали в рядовые, и ходил разговор, что чуть ли не из-за этого вот случая и сняли прежнюю дивизию с обороны, заменив ее более надежным войском.

Во втором эшелоне дивизии обстановка была просто-напросто мирной. В редакцию то и дело заглядывали гости из тыловых служб, из политотделов, из вышестоящих газет, выпивали, закусывали, ни дать ни взять как при зимних вылазках на загородные дачи.

Главная редакционная землянка была отделена на две половины. В задней, которую занимал капитан Слесаревский кроме широкой койки стоял еще невесть откуда взявшийся сто лик старинной работы, на гнутых ножках, крытый коричневым лаком, а к стене прибит висячий шкафчик такой же выделки, где хранились бутылки с трофейным коньяком и разными деликатесами. «По гусарски живем» — хвастал хозяин перед гостями своим чуть гнусавым баритоном, и на его плотоядных губах появлялась косая, сдержанная улыбка.

В передней половине, на дальнем конце большого рабочего стола возвышалось радиоприемное устройство, состоящее из двух ящиков, обтянутых брезентовой прорезиненной тканью. Один ящик представлял собой собственно приемник, а в другом помещалось питание, то есть аккумуляторы; когда они «садились», шофер Шарафутдинов относил их на подзарядку в аккумуляторную станцию автороты. Вдоль стены тянулась широкая скамья, и на ее конце, в темном углу, аккуратной стопкой были сложены постельные принадлежности Бориса Комарова. Его погоны были украшены двумя красными лычками: дослужившись до младшего сержанта, он исполнял теперь обязанности секретаря редакции, так как лейтенант Линчук по причине нервного заболевания с недавних пор обретался где-то в тыловых госпиталях.

Это нервное заболевание имело странную историю. Осенью, когда еще стояли на старом месте, лейтенант Линчук вышел как-то темной ночью из редакционного домика, называемого по фронтовому обычаю землянкой, хотя это было вполне наземное сооружение, вышел для того, чтобы справить естественную нужду. Дело было в перерыве между сеансами диктовки тасовских материалов для фронтовых газет. Сеансы эти вел некто по прозвищу Иван-краткий, такое прозвище ему любовно и единодушно навесили приемщики всех редакций потому, что при уточнении — по буквам —

написания фамилий и географических названий он именно так расшифровал неудобную букву «й». Всем сотрудникам редакций был знаком голос анонимного вещателя, и всех веселила его старательная артикуляция: «...Дмитрий-Ольга-Николай - Елена-цапля - Константин - Иван-Иван краткий, повторяю, Донецкий басейн полностью освобожден от немецко-фашистских захватчиков».

Той ночью, когда лейтенант Линчук вышел прогуляться, красноармеец Комаров лежал на своих нарах и не мог заснуть, потому что голос Ивана-краткого доносился из далекой, теперь уже мирной, тыловой Москвы, милой его сердцу столицы. Отсутствие лейтенанта что-то затягивалось, а перерыв между тем уже закончился и Иван-краткий снова начал вещать.

Борис Комаров вскочил с постели, подсел к приемнику и стал записывать, потому что пропустить что-либо было нельзя, а вдруг передадут важное сообщение! Он писал и писал, а Линчук все не возвращался. Кончился сеанс, Комаров сложил исписанные листки и в тревоге вышел наружу. У входа, на завалинке под стеной избушки, сидел Семен Линчук, зажав голову между ладонями, и всхлипывал как малый ребенок. В тусклом свете луны было видно, что все его обмундирование промокло, и от него исходило жуткое зловоние.

— Что с вами? — встревоженно опросил Комаров.

Линчук вскинул голову:

— Со мной? Ничего! Ровным счетом ничего!

— Вы провалились куда-то?

Догадка была резонной: отхожие места в этой болотистой местности перемещались, когда яма заполнялась до отказа, а выгребать было некому, да и незачем. Покинутые ямы кое-как прикрывались досками, и следовало бы их ограждать, но считалось, что их местоположение достаточно хорошо известно здешним обитателям, а чужаков не предвиделось. Ближняя к редакции

яма лишь накануне была покинута, тропа к новой точке еще не всем запомнилась.

— Никуда я не провалился, с чего вы взяли! — закричал Линчук в ярости. — Чего вы лезете, куда вас не спрашивают!

Комаров в недоумении возвратился в землянку. Спустя некоторое время Линчук вошел вслед за ним. Он был в одном нижнем белье, нес в руках сапоги голенищами книзу. Отвратительный запах сразу наполнил помещение. Капитан Севрюков проснулся, повел носом, увидел в свете снарядной гильзы мокрого полуголого Линчука и изрек с презрительной интонацией:

— На кого вы похожи, Линчук! Выйдите вон и не воняйте тут!

После этого происшествия лейтенант Линчук уже не мог прийти в себя. Сколько ни мылся он в ручье и в медсанбатовской бане, несмотря на полную замену обмундирования, включая сапоги и портянки, при его появлении все как-то непроизвольно приноживались, и это приводило ранее покладистого и уравновешенного кандидата филологии в неопишное бешенство. Он орал, неуклюже матюкался, раскидывал вещи, однажды чуть не разбил приемник, величайшую драгоценность редакции.

Наконец, уже на новом местонахождении он внял уговорам капитана Слесаревского и пошел в медсанбат показаться врачам. Больше его в редакции не видели.

20.

Посреди землянки дышала жаром железная печурка. Инструктор политотдела по разложению войск противника, а в обиходной речи просто «разлагатель» старший лейтенант Сергей Кравченко, знаток немецкого языка, сидел в нижней рубахе на склоченной из жердин койке и потягивал из алюминиевой кружки густо

заваренный морковный чай. Его единственный подчиненный, пленный немец по имени Адам, сидел напротив на чурбаке и пришивал подворотничок к гимнастерке старшего лейтенанта: он охотно и преданно исполнял при нем обязанности «бурше», в переводе на русский язык денщика. Адам происходил из рабочей семьи, его отец до «махтерграйфунг», то есть захвата власти нацистами, был активистом компартии, а при них отсидел два года в тюрьме. Поэтому Адам был поначалу признан «верунвюрдинг», недостойным воинской службы, и отправлен в рабочий батальон по обслуживанию железнодорожных путей. Но когда потери на фронте возросли, а на путевые работы стали привлекать военнопленных, к Адаму проявили снисхождение и отправили его в пехоту. При первой же стычке за малозначительную деревеньку он сдался в плен. Основная обязанность Адама, прошедшего подготовку в антифашистском лагере под Москвой, состояла в том, чтобы с замаскированной точки вблизи передовой выкрикивать в рупор подготовленный старшим лейтенантом текст, призывающий немецких солдат бросать оружие, переходить линию фронта и сдаваться в плен. Не часто эта агитация приводила к желаемому эффекту, зато всякий раз по площади, откуда раздавались эти речи, обрушивался огонь артиллерии и минометов, и только капитальное укрытие могло бы спасти отважных разлагателей, оно же как правило отсутствовало. Командиры рот и взводов решительно отказывались пускать разлагателей в свои окопы, кому охота вызывать на себя артминометный обстрел, поэтому всякий выход на «вещание» был связан для Кравченко и Адама со смертельным риском. Однако они наловчились вводить противника в заблуждение, быстро менять позицию после каждого словесного залпа, и возвращались домой всегда в состоянии радостного возбуждения. Не особенно надеясь на действенность своих воззваний, они бывали довольны уже тем, что унесли ноги.

Младший сержант Комаров часто захаживал в землянку Сергея Кравченко. Несмотря па разницу в воинском звании, они обращались друг другу на ты, позволяли себе всякие вольности в неслужебных разговорах, одалживали друг другу что-нибудь почитать и даже, случалось, сражались за шахматной доской, которую возил с собой интеллигентный старший лейтенант. Присутствие Адама нисколько их не смущало, ибо тот ни слова не понимал по-русски.

Разрешите войти? — шутки ради начинал Борис Комаров с уставного обращения.

— Попробуйте, — отвечал Кравченко. — Можете даже присесть, только вот там, с краюшку, а не рядом с высоким начальством. Ну-с, какими шедеврами порадовала нас военная журналистика? Скоро ли будут заткнуты за пояс Хемингуэй и Анри Барбюс?

— Со дня на день ожидаем перехода на нашу сторону всех противостоящих немецких войск, разложившихся под воздействием старшего лейтенанта Кравченко и его верного Санчо-Адама.

Длительное стояние в обороне привносило в быт войска атмосферу беспечности, благодушия и даже ироничного отношения к обстановке, которую лишь условно можно было назвать боевой. Боеприпасы зря не расходовали, случались дни, когда па передовой не раздавалось ни единого выстрела, подразделения почти не несли потерь. Казалось бы, жить да радоваться такому порядку вещей, ан нет, даже здесь был слышен ропот. С других фронтов приходили вести об успешном продвижении наших войск, об освобожденных городах и селах Украины, на юге наши уже приближались к государственной границе, а тут... Бездействие надоедало, представлялось постыдным, удручало, ожесточало и подрывало боевой дух. И благо тихого, сравнительно безопасного житья-бытья стало восприниматься как незавидная участь.

Человек так устроен, что если плохо не ему

одному, а всем вокруг, он готов с этим смириться. Но если кому-то хорошо, а ему плохо, это приводит его в негодование. Где-то шли дела совершенно иначе, наши теснили и гнали врага, брали трофеи, зарабатывали салюты, ордена и гвардейские звания. Уныние, смутное недовольство распространялось среди рядовых и сержантов, участились нарушения дисциплины, самовольство и пьянство. Что же касается офицеров, особенно старших, то редко кто из них не старался обзавестись ППЖ — так окрестили в подружейном народе фронтовых подружек, имевшихся у генералов, полковников, подполковников, майоров и даже некоторых командиров из окопной братии: полевая походная жена. Резервы этого контингента поставляли медсанбаты и санчасти всех рангов, служба связи, а кроме того военторг и банно-прачечный отряд. Убыль медицинского, главным образом младшего персонала, подлежащего демобилизации по деликатным обстоятельствам, причиняла немало забот командованию, а рядовой и сержантский состав, в массе своей менее удачливый в амурных делах, острил и злобствовал по адресу армейских донжуанов, а еще больше по адресу их вольных или невольных жертв.

Стихия фронтового беспутства не миновала и редакции дивизионок.

— Возьми меня к себе жить, — сказал сержант Комаров, усаживаясь рядом со своим другом старшим лейтенантом Кравченко.

— А что у тебя там, уюта не хватает?

— В том-то и дело, что перебор по этой части. Появилась пестренькая занавесочка, отделяющая половину патрона от половины престоноародия. И еще появилась Тося. Ее присутствие меня смущает, особенно по ночам.

Сережа Кравченко нахмурился. На эти темы он не мог разговаривать в легковесном тоне. У него не было, как у капитана Слесаревского, верной жены и малютки-

сына в глубоком тылу. Но у него была невеста Аня, которая присылала ему не реже двух раз в неделю аккуратные треугольнички, исписанные милым, любящим почерком — именно такими эпитетами наделял про себя двадцатитрехлетний Сережа Кравченко эти ясные, старательно выведенные фиолетовыми чернилами буковки, доносящие до него с удивительной проникновенностью нежные чувства и надежды юной, скромной учительницы из неприметной станицы на Ставрополье.

Про эту чистую, словно бы даже неземную любовь знала чуть ли не вся дивизия, хотя Сергей Кравченко ни с чем не откровенничал на эту тему, кроме разве что своего ближайшего друга Бориса Комарова, а тот был отнюдь не болтлив. Удивительно, как широко распространяются различные сведения из нашей жизни, чем-то выделяющиеся на фоне повседневности! Бывает достаточно какого-нибудь незначительного факта или замечания, случайно оброненного в сущности непричастным к делу лицом, вроде почтальона дяди Васи, а история уже передается из уст в уста и становится всеобщим достоянием.

Любовь старшего лейтенанта Кравченко к своей далекой невесте сделала его безучастным ко всем соблазнам фронтовой «романтики», несмотря на его несравненное мужское обаяние. Был он высок ростом, строен, плечист, на его тонком приветливом лице сияли открытым, смелым взглядом карие глаза, уголки четко очерченного рта то и дело тянулись вверх доброй улыбкой, а высокий лоб был увенчан светло-каштановой вьющейся шевелюрой. С этакой-то внешностью он мог бы рассчитывать на успех у самых неприступных фронтовых красавиц, однако он упорно сторонился женского общества, и не потому, что не ручался за себя, а затем, чтобы не смущать заглядывавших на него особ, не возбуждать ложных надежд. Незапятнанная, иконописная святость Сережи Кравченко была притчей во языцех, казалась неправдопо-

добной, вызывала недоверие и даже насмешку, но он действительно был такой, не хотел и не был способен перемениться.

Его дружба с младшим сержантом Комаровым питалась глубоким взаимопониманием и сходством жизненной позиции. Борис был единственным человеком, с которым Сережа Кравченко делился своими сокровенными мыслями и мечтами. А мечты эти и помыслы далеко не ограничивались пожеланием, выраженным в одной из любимейших на фронте песен — «Эх, как бы дожить бы до свадьбы-женитьбы и обнять любимую свою», хотя и это входило важной составной частью в его программу на «после войны».

Но именно лишь составной частью, целое не было ясным до конца, оно рисовалось как огромный клубок из множества взаимно переплетенных, порой смутных, даже противоречивых представлений, а ему хотелось ясности.

Самым губительным свойством человеческого общения он считал комплекс Вавилонской башни, то есть взаимное непонимание. Обучение в инъязе открыло ему доступ ко многим жемчужинам мирового культурного достояния. Он часто бывал в иноязычной букинистической лавке на улице Герцена и не жалел изрядной части своей стипендии, чтобы приобрести то или иное знаменитое сочинение. Теперь, на войне; хороших книг ему пока не попадалось, зато часто приходилось допрашивать пленных, а это значило почти то же самое, что читать в книге жизни — чужой, непохожей на нашу. Он допрашивал не так, как допрашивают штабисты, которых интересует дислокация частей, силы и средства, оперативные планы противника, а по-своему, поразлагательски, пытаясь узнать побольше о настроениях, о питательных корнях боевого духа и приметах его упадка.

Сначала, в тот период войны, когда чаша весов еще склонялась в пользу Германии, а потом лишь не-

много заколебалась, и неизвестно было, чей перевес грядет, его поражала стандартная тупость ответов, похожих на затверженный урок. Казалось, эти ответы выражали не столько внутреннюю убежденность, сколько боязнь получить плохую отметку от своих учителей — их авторитет еще не был достаточно поколеблен. И безусые новобранцы, усатые фельдфебели, не говоря уж об офицерах, твердили с однообразной самоуверенностью: немцы во всем превосходят русских, сила вермахта несокрушима, ничто не остановит нас на пути к победе. Потом тональность стала меняться, категорические утверждения сменились осторожными, уклончивыми ответами. Пока еще редко доходило дело до послушного «Гитлер капут», но все чаще проскальзывали жалобы на бессмысленность взаимоистребления. После поражения на Орловско-Курской дуге окончательно возобладали плаксивые ноты: мы не хотели этой войны, нам ничего не нужно от России, Гитлер сверг Германию в пучину бедствий. Вся эта смена настроений была легко объяснима, но становилось понятно и другое: как мало на свете людей, видящих дальше своего носа!

Когда своими наблюдениями и выводами Кравченко делился с Борисом Комаровым, их рассуждения неизменно приводили к сакраментальному вопросу: а у нас? Почему так много утрат? Почему отступали до самой Волги? Впрочем, с переломом в ходе войны недоуменные вопросы отступали на задний план. В третью военную зиму лозунг «победа будет за нами», поначалу произносившийся как заклинание, то есть с верой, но и только, теперь выражал обоснованную уверенность. Уже заговорили фронтовики и на такую тему: что станем делать, как будем жить после войны? Еще надо было остаться в живых, чтобы что-то делать потом, но эта деталь не принималась во внимание, обсуждение велось умозрительно, и шаткость исходной позиции только растормаживала воображение.

Впрочем, многие из тех, кто не вылезал с

передовой, избегали этой темы в разговорах из суеверного трепета перед судьбой, которую не следовало искушать. Но те, кто служил на относительно неопасных должностях, а оба друга себя именно к таковым и относили, в рассуждения о будущем пускались охотно.

Борис Комаров отшучивался: буду разводить кроликов.

Да и каким он мог представить себе будущее? Корни обрублены, все в жизни так перепуталось, что и концов не найти. А Сергей Кравченко любил разрабатывать тему будущего подробно и углубленно. Но не применительно к самому себе. Важнее было другое: как сложится жизнь в государстве и в мире?

— Ты представь себе, как вырастет самосознание народа! Ведь одержать верх в этой войне — это не просто военная победа. Это еще и доказательство нашей исторической правоты. Будет трудно, придется все поднимать из руин, после того, что мы пережили за эту войну, мирный труд всем будет в радость. А вот у немцев... Ты не смейся, по должности своей я просто вынужден вникать в их проблемы. Что будет значить поражение для них? Крушение всех устоев! Что такое фашизм и, в частности, его разновидность — германский национал-социализм? Это крайний, до предела заостренный эгоизм нации. Расовая теория — бред собачий, она не выдерживает научного подхода. Это, собственно, никакая не теория, а очередной эрзац, подмена реалистического мировоззрения набором заумных и крикливых фраз, рассчитанных на подогрев захватнических appetitов. Но на ней строилась вся система отношений. И вот рушится вера в превосходство. Уже рушится, на наших глазах. Что остается? Ничего. Нуль! Гитлер капут! Так почему они все еще воюют!?

— А повиновение приказу? А инерция большого разгона? А вера в чудо, наконец?

— Вера в чудо, говоришь... Это вера свойственна детскому возрасту. Мистический образ мышления

присущ детскому возрасту нации.

— Правильно, твои немцы впадают в детство, а это один из признаков старческого маразма. Вот и рассказывай им про Красную шапочку. А ты все про политику да про политику...

Между ними не случалось крупных разногласий, они о многом судили одинаково, если Борис возражал Сергею, то скорее лишь для поддержания разговора. Ему нравилось слушать стройную, благозвучную речь друга, логичную и темпераментную. Кравченко легко «заводился», безотказно, с умильной наивностью реагировал на каждую подначку, и Комаров забавлялся этим его свойством. Станным было это сочетание: младший по званию и по служебному положению был старше по возрасту и еще больше по жизненному опыту, и армейские прерогативы отступали перед житейскими.

Необычная должность Сергея Кравченко, экзотический род занятий на этой войне уводили его мысль на извилистые пути.

— Знаешь, иногда я не пойму: кто с кем воюет? Вот тебе сюжет для будущих произведений — говорят, плох тот журналист, который не мечтает стать Хемингуэем. Мой Адам, — тот вскакивал при упоминании его имени, Сергей мягко осаживал его служебную прыть, — мой Адам рассказал мне такую историю. В Красногорском антифашистском лагере вместе с ним находились два немца, немолодые люди из вспомогательной команды так называемых «wehrunwürdig».

— Уголовники?

— Ничего подобного, уголовников брали в спецотряды по борьбе с партизанами, где им разрешался грабеж и любые бесчинства.

А «верцнвюрдиг» признавали коммунистов и социал-демократов — бывших, конечно, легально никаких партий кроме нацистской не существует. Так вот, команда этих недостойных работала на обслуживании

одного железнодорожного узла в оккупированной зоне, за Днепром. И в этом же районе действовала наша диверсионная группа под командованием разведчика-профессионала. Этому майору удалось вступить в контакт с немецкими антифашистами. Под его руководством они заложили взрывчатку под мост через приток Днепра, и взорвали его перед самым подходом крупного эшелона с боевой техникой. Весь поезд полетел в реку и превратился в груды искореженного металла. Понимаешь? А ведь там были люди — немцы!

— Бывает, бывает... А ты про власовцев слышал?

— Еще как слышал! Конечно, воевать против собственного народа безнравственно. Но ведь у нас все это уже было, мы уже прошли гражданскую войну... А ты во время коллективизации где был? — перескочил вдруг Кравченко на другой, как показалось Борису, предмет.

— Как где? Учился в ФЗУ, работал на заводе...

— Значит, в городе. А я в деревне был... Ну ладно, это дело прошлое. Конечно, власовцы — предатели родины и так далее, но я бы не стал стричь их всех под одну гребенку.

— Все равно скоты. За неправоное дело воюют.

Сказав так, Комаров тут же почувствовал, что немало кривит душой. Не то что он был другого мнения, нет, он не сомневался, что за правое дело воюет наше, советское войско, но... Власовцы вызывали у него не только, даже может быть не столько гнев, а прежде всего любопытство. Что это за люди такие? Что толкнуло их на измену присяге? Или надо сказать — Родине?

— Кто спорит... И сами знают, что обречены. Что ждет их в будущем — тех, которые уцелеют?

Комаров ощутил, что, коснувшись этой темы, оба сразу как бы ушли в свою скорлупу, утратилась доверительность беседы.

— А каким ты себе представляешь наше общее будущее? — сказал он, чтобы уйти от неудобного предмета.

— Разумеется, не безоблачным. Без молочных рек и кисельных берегов. Будет трудно, но нам не привыкать. Трудное счастье — дороже дурацкой удачи. А когда все наладится, настанет золотой век. Люди будут долго жить. Ты понимаешь, что это значит? Это же невероятное прибавление общественного богатства — знаешь, какого? Ума! Вот Пушкин. Погиб в тридцать семь. А если бы дожил до семидесяти? Может быть, новому поколению наши мысли покажутся отсталыми и примитивными, так же, как мы находим примитивными мысли комсомольцев двадцатых годов. Но пока что мы такие и думаем так...

21.

Возобновление службы в родной дивизии было для Кольки Удальцова омрачено нелепым и прискорбным происшествием.

Поначалу все шло как нельзя лучше — поставили на довольствие, определили в ту же роту, с которой разлучил его на целых пять месяцев зазубренный осколок вражеской мины, Колька еще застал в живых даже кое-кого из старых друзей. Да и прежде незнакомые хлопцы оказались подходящими корешами, бывалыми, понюхавшими пороха, испытанными и окопной сыростью, и дизентерией, и вшами, выдавшие врага лицом к лицу, с медалями и нашивками ранений. Надо сказать, что и Колька пришелся ко двору в своем взводе, безбедно прожил остаток зимы в обширной как барак землянке посреди леса, подогревался, сидя в окопе, трофейным шнапсом, который братва возила за собой в трофейной же канистре, ходил в боевое охранение и чувствовал себя вполне в своей тарелке. Он привык заниматься солдатским делом, словно в этом и было его жизненное предназначение.

С приходом весны все усложнилось. Разладилась дисциплина во взводе, да и во всей роте. Наверное, так бывает всегда, если войско слишком долго засиживается в недвижной, малоактивной обороне. Что ни день, кого-нибудь сажали на губу за самоволку.

Казалось бы, куда тут отлучаться, кругом на десятки километров никакого мирного жилья, город далеко, села разорены, куда податься в зоне военных действий? Но вскоре адрес отлучек стал известен и Кольке Удальцову. Неподалеку, на берегу небольшого озера, каких было немало в этом краю, расположился армейский банно-прачечный отряд. В его личном составе преобладали не молодые, не старые, сплошь и рядом вдовы, нанятые в опустошенных деревнях простецкие и добрые, сочувственно относящиеся к солдатской доле бабенки, не чета задравшим нос медсанбатовским кралям, для которых отсчет достойных их внимания мужиков начинается с капитана...

Шумно-весело было в землянке. Сменившиеся из окопов бойцы отмечали, хотя и с некоторым опозданием, день всемирной пролетарской солидарности. Сам-то день 1 Мая прошел в ожесточенных перестрелках, возникших по почину противника: видно, немец решил испортить нашим их законное торжество.

Лесок уже зазеленел, кустарники приобретали свои живые опознавательные черты, и то, что всю зиму выглядело однообразной черной путаницей кривых, корявых, переплетенных стволов и прутьев, теперь становилось ольховником, орешником, черемухой, готовой вот-вот распухнуть своим пьянящим ароматом пушистые соцветия...

Сержанты где-то собрались отдельно, из офицерских блиндажей доносились то звуки патефона, то нестройное пение, то игривое повизгивание, а здесь, в углу обширной землянки с двухъярусными нарами сошлись в негромкой, потаенной бесшабашности окопные друзья. Наливали допоя, закусывали обильно

американской тушенкой, а пил каждый в свою меру, ведь как никак, а в километре враг. И лишь Колька Удальцов, истосковавшийся по вольнице, по раскованной гульбе, никакого удержу не знал, выпивал без остановки все до дна и не возражал, когда ему наливали по новой.

— Ну, а теперь пошли к девкам! — сказал пол конец, когда иссякли все запасы, веселый конопатый Петька Скориков, туляк, гармонист и лучший снайпер роты.

Пошли! Вперед! — подхватила вся компания, но больше для куражу, потому что высовываться наружу не хотелось никому, можно было попасться на глаза начальству, и тогда не миновать холодной батальонной гауптвахты.

Но Колька Удальцов отнесся к прозвучавшему призыву с неукротимым воодушевлением. Про банно-прачечный отряд он слыхивал уже не раз, да что-то не хватало решимости заняться делом вплотную.

— Ну что же вы, пошли, что ли! — поторапливал он друзей-товарищей. — Эх вы, трепачи! Не хотите, я одни пойду.

Кто-то во хмелю разъяснял ему дорогу, кто-то наставлял, как надо находить подход к прелестницам из того загадочного спецподразделения, кто-то отговаривал, а юто-то поощрял и прибавлял духу.

Слегка уже вечерело, когда Колька, надев пилотку набекрень, нетвердой походкой покинул землянку и зашагал потайной тропой, минуя батальонные постройки, в обход полковых складов, все дальше в тыл, извилистым путем к заветной цели. Вот и хорошо, что пошел один, бродила в его голове хмельная, беспутная мысль. А то глянешь, опять остался бы в дураках, как тогда в сибирской деревне, где взял на себя парикмахерский груд, по простоте своей, по совестливости какой-то дурацкой. А вот сейчас нет ему никаких соперников, придет он к бабам, познакомится, выберет

подружку, подходящую по всем статьям...

А тропка между тем сходила на нет, остались далеко позади последние строения второго эшелона, и начали сгущаться сумерки. Как это объясняли ему до рогу? ...Да, правильно, справа должен показаться песчаный бугор, поросший высокими соснами, вот он. По-над бугром идти все дальше, потом принять левей, будет видно озерцо, его надо обогнуть, потом взять вправо, и уже станут видны приметы банно-прачечного отряда. Вот так, значит, озерцо...

Берем вправо. Тропы тут никакой не видно. Ноги путаются в высокой траве, и что-то начинает хлюпать под сапогами...

Хмель все больше овладевает его беспутной головой и всем телом, плохо слушаются ноги, но он бесконтрольно все бредет и бредет — да только в том ли направлении? Все выше становится трава-осока, и наконец, он забредает в густые камыши. Сопротивление высоких, упругих и хлестких стеблей ожесточает его, он еще упорней рвется вперед, раздвигая камыши непослушными руками, не замечая, что бредет уже по пояс в воде, оступается, падает в воду, погружается едва не с головой, снова поднимается на ноги и наконец ощущает, что почва под ногами становится тверже...

И вдруг его ослепляет, оглушает и приводит в состояние звериной ярости выстрел, направленный прямо ему в лицо. Колька рвет на груди гимнастерку, орет вперемежку с отборнейшим матом:

— Ты по кому стреляешь, гад! Ты же по своим стреляешь!

Ему не приходит в голову, что можно напороться на позиции врага, ведь шел он все время в тыл, все дальше и дальше от передовой... Он выбирается из болота, карабкается на крутой бережок и тут его с двух сторон подхватывают сильные руки, и каким-то туманным полусознанием, словно издавека, он улавливает брезгливую фразу:

— Да он же в стельку пьян, скотина!

Колька очнулся на сыром песке в глубоком окопе, укрытом сверху шалашом из веток. Сквозь неплотное это сплетение смутно проглядывал рассвет. Колька дрожал от холода, голые ноги сводила судорога. Сапоги стояли рядом, холодные и еще влажные внутри.

— Эй, вы, кто там... — прохрипел Колька. — Откройте!

Послышались шаги, заскрежетал засов, деревянные, наклонные створки люка раскрылись, сержант со скрещенными стволами на погонах пробурчал:

— Вылазь, шпион окаянный!

В блиндаже у майора-артиллериста разговор был короткий:

— Фамилия? Звание? Какой части? Кто командир? Как сюда попал?

— Вышел прогуляться... Заплутал... — мямлил Колька, сгорая от стыда.

Часа полтора спустя на огневые корпусной артиллерии подкатил мотоцикл с коляской. Командир взвода лейтенант Мигулин представился майору-артиллеристу и принес свои извинения. Арестант был передан из рук в руки.

Всю дорогу молчали. Колька вздрагивал на каждом ухабе, нутро выворачивало, но он держался. По прибытии в расположение зашли к командиру роты, Мигулин доложил:

— Прибыли!

Капитан оглядел обмякшую жалкую фигуру, хмыкнул невесело и спросил Мигулина:

— Как он у тебя?

— Хороший боец. С кем не бывает...

Капитан сощурился недоверчиво, но все же возражать не стал, лишь снова смерил Кольку взглядом с головы до ног.

— Ну что, забулдыжник, куда тебя теперь? В штрафную?

Колька стоял на вытяжку, понунив голову, и шумно сопел.

— Дурак ты, дурак! Ну иди, проснись... Гуляка!

Лейтенант Мигулин Кольку ни о чем пытаться расспрашивать не стал, ему уже были известны все подробности. Он лишь приказал принести остатки незаконно хранящихся спиртных запасов, построил взвод и на глазах у всех вылил зелье в песок.

Мигулин, возрастом один из самых старших в батальоне, в армию был призван из запаса, когда уже разразилась война, и как пошел на фронт лейтенантом, так до сих пор в лейтенантах и пребывал. Еще под Смоленском его ранило, после госпиталя направили его в учебную часть заниматься подготовкой новобранцев, потом он попал под Воронеж, был ранен вторично, удостоился медали «За отвагу», но по службе не продвинулся ни на шаг. Он всех устраивал как командир взвода, был надежен и безотказен, звезд с неба не хватал и вперед не выскакивал. Бойцы его уважали, за глаза называли Батей, повиновались охотно, решений его даже в уме не оспаривали, чувствовали себя под его командой как за каменной стеной: взвод лейтенанта Мигулина, это стало чуть ли не легендой, почти не нес потерь, хотя любую боевую задачу выполнял исправно.

Видом был лейтенант неказист, роста невысокого, чернявый, лицом неприметный, голос имел негромкий. Среди офицеров он держался особняком, так как среди равных по званию считался стариком, а старших сторонился по скромности своей. Все же в дивизии он был человеком известным, дивизионная газета писала о нем не раз, особенно когда полк отводили во второй эшелон для занятий боевой подготовкой.

Не прошло без огласки и ЧП во взводе Мигулина, которое несколько пошатнуло его авторитет. Вроде возник повод покритиковать порядки в подразделении, а критика, особенно в период, обороны, считалась для дивизионной газеты делом обязательным и необходи-

мым в целях поднятия боеспособности.

С наступлением весны в подразделениях участились занятия боевой подготовкой. Для бывалых фронтовиков это означало, что недалек день, когда войско перейдет в наступление. Дивизионной газете освещать ход боевой подготовки вменялось с обязанность. Борис Комаров получил задание направиться в подразделения Н-ского полка, ознакомиться с ходом занятий, уделив особое внимание критике недостатков.

Должность секретаря редакции, которую вот уже несколько месяцев исполнял Борис Комаров, была должностью офицерской. Майор Слесаревский умел ценить усердие своих сотрудников, к тому же навещавшие редакцию журналисты армейского ранга корили его за то, что держат своего секретаря в черном теле. Ввиду этих обстоятельств майор добился в штабе дивизии утверждения Комарова в офицерской должности. И хотя до присвоения офицерского звания дело еще не дошло, Борису было выдано офицерское обмундирование и приказано надеть офицерские погоны с одним просветом, но без звездочек, на манер тех, которые носили при царской армии вольноопределяющиеся из интеллигентного сословия, не прошедшие офицерскую школу.

В таком вот необычном виде стал появляться Борис Комаров в подразделениях. Его знакомство со взводом лейтенанта Мигулина произошло перед учебной атакой на «сильно укрепленный рубеж» воображаемого противника. Командир взвода стоял в окопе, вел наблюдение за «полем боя». Заметив приближающегося с тыла незнакомца, он не поднялся ему навстречу, а наоборот, закричал с неподдельной тревогой в голосе:

— Ложись! По-пластунски! Убьет!

Хотя убывать его было некому, противник лишь обозначался поясными мишенями, Комаров послушно бросился на землю, подполз и представился.

— А-а, — сказал Мигулин. — А я думал, какой

проверяющий чин. — Сразу стало понятно, что проверяющих Мигулин не жалуется. — Так что извини, мог бы и не ложиться.

Ничего. Полезно для тренировки. Когда можно будет с вами переговорить?

— Вот сейчас проведем атаку, и тогда пожалуйста.

Комаров разглядел фигуры бойцов, залегших в индивидуальных ячейках на расстилавшейся впереди поляне.

— Мура это все, — сказал Мигулин. — В бою никогда не будет так, как мы тут упражняемся. Но раз велют, наше дело выполнять. — И обернувшись к «полю боя», прокричал: — Ориентир справа отдельная группа деревьев, слева желтый бугор, короткими перебежками, в атаку бегом марш! Отставить! Рябухин, ко мне! Как передвигаешься по полю боя, растудыть тебя, разгильдяя! А ну-ка по-пластунски! Вот так... Явился, не запылится... Ты что, уснул там, как у тещи на печи? Весь взвод поднялся, а он яйца чешет! В окопе отсидеться задумал? Не надейся, таким манером шкуру свою не спасешь. Суворов как учил? Вперед, все как один, чтобы противник с испугу усрался, понял? Марш в свой окоп. Да попластунски же, сукин ты сын! Мне чтобы все как один! Слушай мою команду... Взво-од...

Муштруя своих бойцов, Мигулин доводил их до изнеможения, и не спрашивал себя, зачем. Для него суворовская заповедь «тяжело в учении — легко в бою» была святой и непререкаемой, а может быть, он знал, что эта мудрость не так уж была справедлива, наверное знал, но действовал так, как положено, служба есть служба. Знал, что в бою никогда не бывает легко, потому что идешь на смерть. Понимали это и солдаты, и Мигулин знал, что они все понимают. Боевая подготовка на фронте при отводе в ближние тылы воспринималась с недовольством, насмешкой и раздражением. Лучше бы дали отдохнуть как следует... Да еще гульнуть напоследок... Одно ладно, что понарошку...

Молодцы! Можно оправиться-закурить. Удальцов, ко мне!

Колька заметил «комиссара», кивнул ему по-дружески, но, на большую фамильярность не решился, комвзвода был строг и не в курсе их давней близости.

— Удальцов, слушай боевую задачу. Видишь куст под бугром, слева, сто метров от рубежа атаки? Это вражеский дзот. Ты подползаешь на расстояние броска противотанковой гранаты — на сколько бросишь? Метров на пятнадцать-двадцать? Вот так, значит, подползаешь на пятнадцать метров и по сигналу атаки бросаешь гранату в амбразуру, ясно? Если не надеешься, что попадешь, подползи ближе. Чтобы огневая точка была подавлена, от тебя зависит успех атаки. Ясно?

— Так точно, товарищ лейтенант.

— Вот то-то. Ты парень ловкий, я на тебя надеюсь. Держи болванку. С гранатой обращаться умеешь?

— Да вроде бы...

— Я тебе дам, «вроде бы»! Умеешь или нет?

— Умею, товарищ лейтенант.

— Ладно, потом проверю... Покурили? Взвод, по местам!... И ты давай. Задачу понял? Марш на исходный рубеж. Да по-пластунски, мать твою так!

Опять, уже в который раз, «приготовиться к атаке».

Колька ползет, плотно прижимаясь к земле. Метров тридцать остается до куста... двадцать пять... двадцать...

— ...в атаку бегом-марш!

Колька вскакивает на ноги, пробегает недостающие метров пять до дальности своего броска, швыряет болванку точно под основание куста.

— Отставить! Все назад. Удальцов, ко мне!... Ты что же размудай, голова твоя садовая, зачем же ты вскочил? Ведь он тебя прежде скосит, чем ты гранатой замахнешься! Лежа, лежа надо бросать! Понял, мудило?

— Понял, товарищ лейтенант.

— Еще раз, Все на исходный рубеж. Приготовиться к атаке!...

— Так вот и живем, корреспондент... Ну, давай, какие у тебя вопросы.

Наконец все получилось, как надо. Мигулин снимает пилотку, утирает ее пот со лба.

22.

Может ли человек желать себе худшего? Всякое бывает. К примеру, стоим в обороне, противник особенно не тревожит, позиции обжитые, кормежка дай бог каждому, чего еще солдату надо? Так нет же, и здесь точит душу жажда перемен! Начался четвертый год войны, угрозы главные отбиты, столица, говорят, совсем по-мирному живет, на юге движутся войска уже за Днепр, к Днестру, к Дунаю, в газетах снимки ликования на улицах освобожденных городов, а тут... Когда же мы пойдем вперед. И ведь каждый знает, что в наступлении не то, что в обороне, где окопы полного профиля, редкий артналет причинит потери, а больше попугает. Там все иначе, там пойдешь под пули и под разрывы мин, уж сколько наших полегло в атаках, — нет, все равно, скорей бы наступать! Совсем иной тебе почет, когда ты в наступлении. Конечно, могут и убить, но не обязательно тебя! Можешь просто получить ранение, да такое, чтобы кости остались целы, и повезут латать бока по госпиталям, подлечат, подкормят, а там глядишь, и война закончится...

Известно, что на фронте планы держатся в секрете. Но сколько ни таись, от бывалого бойца главного не скроешь. Ночами из ближнего леса доносится рокот танковых моторов. Зачастили ночные вылазки разведчиков. Саперы выползают, чтобы проделать и обозначить проходы в минных полях, а днями то и дело гремят пристрелочные залпы приданной крупнокалиберной

артиллерии. Во втором эшелоне сгрудились полноставные роты пополнения. Младенцу понятно: скоро, совсем уж скоро!...

На рассвете ударили катюши. С визгом и в пламени проносятся их продолговатые болванки по отлогой траектории. Заухали где-то позади корпусные орудия. Полчаса грозных вспышек и гула над вражескими окопами, и вдруг на минуту другую все стихло. Ракеты вспыхивают над позициями батальонов.

Ур-ра!

Артиллерия бьет уже по отдаленным целям, а мы бежим по знакомым вприглядку кочкам и рытвинам, палим из автоматов в белый свет как в копеечку, вот уж близко брустверы вражеских траншей, да что-то никто не стреляет оттуда... Прыгаем в траншей, как нас учили, разбегаемся по ходам сообщения — никого! Вот паразит, отошел! А ведь вчера еще тут был. Распознал, сука, наш замысел. Где же он теперь? Во второй линии обороны?

Лейтенант Мигулин собрал взвод, передал командование старшему сержанту, а сам побежал ротного искать. Вернулся с приказом скрытно продвигаться ко второй линии обороны противника. А как скрытно, когда чистое поле и лишь редкий кустарничек. Ну, двинулись от куста к кусту. Огонь не открывали, зря палить — только себя обнаружить. И вдруг — как саданет их проклятуций «ванюша», зловредный шестиствольный миномет, его снаряды, цилиндры с набалдашником, напоминающие популярный орган трехбуквенного названия, вылетают из-за бугра с отвратительным скрежетом. Пришлось рвануть вперед до ближайшего пригорка и там залечь.

Колька Удальцов наскоро свертывает сигарку: страсть как охота подымить! Не успеваешь раскурить как следует, отделенный командует: короткими перебежками, вперед! Вперед так вперед, наше дело телячье, а что там впереди, одному богу известно. Лесок какой-то

виднеется малорослый, а что в нем? С пушки бьют ихние МГ, то есть пулеметы, короткими очередями, то ли много их, то ли один или два меняют позицию... Пожалуй что там, вдоль опушки, и есть их вторая линия обороны.

Приказ: окопаться и ждать команды. А чего окапываться, когда вон тянется какая-то насыпь с полметра высотой, вся поросшая травой высокой, может, канава какая была вырыта когда-то, вот за этой насыпью и заляжем, автомат на гребень, каску на глаза, будем покуривать и ждать у моря погоды. Говорят, выслали разведку, поглядеть, что у них там за горами, за долами...

Борис Комаров имеет задание: сопровождать наступающие подразделения и описать подвиги бойцов и командиров. Он чуть приотстал от наступающих рот и теперь что есть силы старается их догнать. Офицерская плащ-палатка развевается на его плечах наподобие крылатки гоголевских времен, кожаная планшетка с картой местности, блокнотом и набором карандашей, болтаясь, бьет по бедру, пистолет ТТ в брезентовой кобуре слегка оттягивает туго подпоясанный ремень, и все это новенькое снаряжение, такое же как у строевых офицеров, придает ему резвости, решимости и готовности к подвигу. Где-то за прорванной линией немецкой обороны он натывается на позицию сорокопятки, две пушечки стоят в кустах, готовые к отражению танковой контратаки, два офицера покуривают, скучая, беседуют, стоя во весь рост, как в парке культуры.

— Где второй батальон?

— Там, — махнули рукой офицеры, Комаров спешит дальше.

Нет, все же не обошлось без потерь. Навстречу попадают бойцы с перевязанной головой, с рукой на перевязи, бредущие в тыл. Посреди зарослей ивняка у какого-то то ли болотца, то ли ручья, лежит на спине толстый боец с простреленным горлом, он сипло дышит через узкое пулевое отверстие, сукровица пузы-

рится вокруг ранки, его глаза безумно вращаются, говорить он не может, лишь все его распухшее от прилива крови лицо выражает мольбу о помощи. А чем может помочь ему Комаров, он понятия не имеет, как обращаться с таким ранением, он даже не знает местоположения батальонного медпункта. Где же санитары, черт бы их побрал, как только увижу, пошлю за этим раненым, думает он и пробегает мимо, стыдясь своей беспомощности.

А вот и передовая цепь, бойцы залегли за каким-то невысоким валом, впереди синеет соснячок в кисейном мареве мелкого дождичка. Чего же они лежат, почему не продвигаются, ведь противника не видно и огня он не ведет...

— Где ваш командир?

Никто не знает. Приказано залечь, наше дело телячье...

Эх, зря, что ли, пролил он столько пота в пехотном училище!

Что важно в наступлении? Не медлить, не дать врагу опомниться, не позволить ему организовать оборону на новом рубеже. Где командиры? Может, вышли из строя?

— Рота, слушай мою команду! Ориентир справа одинокое дерево, слева заросли кустарника, огонь на ходу, в атаку бегом марш! Ура!

И выхватив пистолет, совсем как тот политрук на знаменитом плакате, Борис Комаров мчится впереди, и рота за ним, беспорядочно стреляя в воздух. Метров пятьдесят бежали эдак в наступательном азарте, по вдруг Комарова осенило: почему же без ответного огня?

Да есть ли там противник? А мы палим, расходует боеприпасы...

— Прекратить огонь!

Вот и добежали до опушки, перепрыгнув через неглубокие траншеи в желтом осыпающемся песке. Видно, здесь были какие-то запасные позиции, здесь наше-

го наступления не ждали. А чуть вглубь леса — целый ряд аккуратных домиков, несколько не вкопанных в землю, даже с застекленными окошками, обращенными внутрь леса, двери распахнуты настежь, а внутри тех домиков чисто сработанные койки, полочки вдоль степ, на них и на полу пестрые обрывки журналов, на картинках девицы в легкомысленных позах, валяются обертки шоколадных плиток, бутылки из-под шнапса, пустые консервные банки... Пожалуй, офицеры жили? Унтер-офицеры, как минимум. Не может же быть, чтобы рядовым такой комфорт!

Бойцы разбрелись кто-куда; шарят насчет трофея. А у Бориса Комарова наступает отрезвление. Привел роту на брошенные позиции врага, а что дальше? Добро хоть без потерь... А вдруг тут кто напорется на мину? Вышел на опушку, закурил, а по оставленной позади поляне уже бежит вослед пропавшей роте группа командиров, возвращающаяся с оперативки у комбата. Среди них Мигулин, легко перепрыгивая на коротких кривоватых ногах, он прямо к Комарову:

— Ты, что ли, их сюда привел? Ну и дурак. Я слышал, как палили. А впереди разведка послана. Вдруг бы попали в кого?... Вот он, твой узурпатор, слышь, старшой? — Это уже к командиру роты. — Ну, куда его, в трибунал?

— Ладно тебе пужать человека. Обычная фронтовая неразбериха.

Шли узкими тропками вдоль петлястого ручья, грязь хлюпала под каблуками, зорко глядели под ноги, косились боязливо на чуть торчащие из земли тройчатые рогульки прыгающих мин, саперы не успевали их извлекать. Шли и шли, а немцами не пахло. Разведка не обнаружила противника ни спереди, ни с флангов. Куда он подевался? Заманивает в ловушку? Или сберегает силы, отошел далеко на подготовленный рубеж?

Связной от комполка примчался чуть дыша, мотоцикл бросил у опушки, по этим болотистым тропам

проехать не мог. Передал приказ: батальону взять южнее, форсировать ручей и оседлать шоссейную дорогу. А что его форсировать, этот ручей, воды по колено не будет, только дно топкое, сапоги как бы не оставить. Кто разулся, а кто так, вышли па крутой берег, ноле открылось широкое в путанице сорняков и прошлогодней неубранной ржи. Роты развернулись в цепь, двинулись с опаской, вперед и на фланги выслали дозорных — никого! Куда подевался враг?

Щербатое шоссе, сереет вымытый недавним дождем асфальт, в дырах поблескивают лужицы. Можно бы построиться поротно и маршем двинуть по шоссейке, но не было такого приказа. В лощинке между двумя некрутыми буграми остановились на привал. Подъехала прицепленная к полуторке кухня, загремели котелки, замелькали алюминиевые ложки, извлеченные из-за голенища. А кругом ни звука, как на учениях, в тылу. Только в небе, высоко над завесой серых туч, гудел одинокий мотор, по звуку, должно быть, «рама» проклятушая, разведчик «Фокке-Вульф» искал, небось, просвет, подлюга... Ох, не к добру это, рассуждали бывалые бойцы.

Подъехал штаб полка, штабисты стали подыскивать место для землянок. А батальону дан приказ: пока сплошная облачность, поротно, форсированным маршем — вперед, на запад!

Колька Удальцов попал в сторожевое охранение. Шагали бодро в полкилометре впереди колонн, дивились тишине. Справа н слева чуть всхолмленные поля с редкими кустарниковыми кущами. Дорога пошла под уклон, а впереди, по обе стороны шоссе, на равном отдалении, метров по двести-триста от него, засветилась водная гладь. Вот они, те озера, о которых шел разговор между командирами! Предполагалось, что этих озер с боями можно будет достигнуть дня за три или даже за неделю, а тут вот они, полюбуйте! Между ними полукилометровый перешеек, прорезанный шоссейной до-

рогой. А впереди, за этими озерами, дорога круто поднималась вверх, уходила в узкую выемку, и стеной вставала поперек продолговатая гора, густо поросшая лесом.

Гора молчала, но вид ее внушал тревогу. Уж больно хмуро и грозно нависала она над этим межозерным дефиле, как называется такое строение местности в военной топографии. Группа охранения притормозила ход, отделенный послал Удальцова доложить комбату о подозрительном препятствии.

А колонна между тем поспешала бодрым шагом, хотя и без песни. Завидев бегущего Кольку, комбат придержал колонну и дал команду ротам, уже вошедшим в дефиле, остановиться.

Но было поздно! Длинные очереди крупнокалиберных пулеметов пронзили предательскую тишину. Сторожевое охранение, рванувшее было назад, к своим, полегло как один на сером разбитом асфальте. В колоннах, бросившихся врассыпную, люди падали, как подкошенные, а кто успел отбежать, те бросались на живот, прижимались к земле, шарили вокруг себя руками в поисках ямки или хотя бы кочки, лишь немногие вспомнили о лопатке и начали копать себе ячейку.

Вот оно что! Вот куда отходили немцы! Крутой лесистый холм над озерным дефиле, надолго запомнишься ты уцелевшим солдатам Н-ского полка!.. Куда же смотрела разведка? Чем думали штабные офицеры?

Где командиры рот? Где комбат? Его лошадь скакала по лугу, стремена подпрыгивали и били ее по бокам, лошадь не знала, куда ей деваться, и наконец остановилась, осела на передние ноги, уронила голову и стала тихо валиться на бок...

Борис Комаров залег в придорожном кювете. Пули свистели над его головой, но он почему-то не испытывал страха. Твой час еще не настал, говорил он себе, ты еще нужен кому-то и для чего-то...

По цепи передавалась команда: отползать назад.

Там, у поворота дороги, слева от нее возвышался бугор с отвесным краем, обращенным в тыл. Когда-то здесь добывали камень, позади отвесного края бугра образовалось «мертвое» пространство, недостижимое для обстрела с фронта. Постепенно сюда стекались уцелевшие и раненые, рассаживались за обрывом беспорядочными группами, не было здесь ни рот, ни взводов, были только ошалевшие от встречи со смертью люди, были изувеченные, стонущие от ран, были невредимые, онемевшие от радости спасения.

Комаров шел вдоль отвесной известняковой стены, светло-желтой, неровной, в потеках дождей. Чуть поодаль журчал ручеек, в удобном месте бойцы жадно пили воду, свесившись головой с плоского каменного бережка. А в трех шагах лежал на спине немолодой солдат, его живот был весь исполосован пулеметной очередью, сплошное кровавое месиво, невыносимое страдание отражалось на его сером морщинистом лице, он слабеющей рукой пытался схватить за ногу всякого, кто проходил мимо, и молил угасающим голосом: «Браток, родной, пристрели меня, прикончи, ради Бога!»

Где медсанчасть? Где санитары? Борис метался по-защищенному пространству, искал санитаров, искал командиров, но нашел только друга своего Кольку Удальцова. Тот сидел, прислонившись спиной к каменной круче, и тупо глазел перед собой.

— Колька! Живой?

— Дай закурить, комиссар. У меня табак есть, свернуть не могу, руки трясутся.

— Ну, чего ты, Коля... Обошлось ведь. А еще говорил, что невезучий.

— Все мои кореша... Я один уцелел. Ты считаешь, повезло? А мне на белый свет глядеть неохота.

Борис Комаров, вспоминая свою нелегальную дружбу с колымским лагерным философом, все жалел, что не удалось повидаться с ним перед уходом на войну. Он запомнил Русланова сидящим в тяжелом раздумье за шатким, измусоленным барьером в полутемной нарядной.

Русланов тоже часто вспоминал о своем свободо-мыслящем благожелателе. Он знал, что Комаров отправился на фронт, беспокоился за его судьбу и желал, чтобы война пощадила его.

За последнее время что-то сместилось в мировосприятии Павла Русланова. Раньше, на воле, да пожалуй, что и в заключении, он как бы не признавал себя биологической особью. Для него были несущественны, второстепенны чувства голода или жажды, у него не возникало неукротимых желаний, жизнь до ареста протекала в привычной неизменности, размеренным темпом, не над чем было ломать голову кроме проблем социальных, моральных, политических и философских. Даже когда случилось то, чему и следовало случиться со всяким мыслящим человеком в стране, где господствовали отношения винтиков и отверток, даже после изнурительных ночных допросов, после холода и грязи пересыльных тюрем, в каких только не пришлось ему вынести невзгод и унижений, — даже тогда он ощущал себя не столько беззащитным человеческим существом, сколько бесстрастным и высокоответственным носителем идей, которому ничто не мешает трезво смотреть на окружающий мир, соотнося свое собственное пребывание в нем со всем общественным устройством.

Война с Германией ни для кого не была неожиданностью, ее начало отнюдь не привело Русланова в смятение. В окончательной победе своего народа он не сомневался, потери территории воспринимал как горькую, но неизбежную расплату за тупость и самоуверен-

ность Правителя, а людские потери — кто тогда имел о них подлинное представление? Личную беду — неволю, истощение, оторванность от очагов знания — он рассматривал теперь как свою горькую каплю в океане всенародных бедствий. Он нес свой крест безропотно, с еще большим безразличием к своей личной судьбе, в которой давно уже не видно было никакого просвета.

Когда же все стало меняться? Когда возникло это властное стремление выжить? Выжить не специально затем, чтобы передать кому-то груз познаний, это само собой, но выжить просто так, ради самой жизни? Этот переворот в его сознании произвели не Маркс, не Энгельс, не Гегель и не Кант, а машинисточка из КВЧ Зина Селезнева. Бабенка недалекого ума, не безупречного поведения, не Бог весть какой красоты, она вытащила его из засасывающего болота апатии, вернула ему способность предвкушения каких-то жизненных радостей, сняла унылость с ожидания завтрашнего дня.

Он все понимал. Где-нибудь в столице, в обществе подобных себе глубокомысленных эстетов, он прошел бы мимо этого заурядного человеческого дитяти, не удостоив его даже беглого взгляда. По здесь, в нижнем круге Вельзевулова царства, среди низведенных до скотского состояния бессловесных рабов, среди ворюг и проходимцев, среди безвинно пострадавших, среди их отупевших от всевластия угнетателей, невольников бесчеловечной Системы, ожесточенных и проспиртованных до мозга костей, — в этой ужасающей своей изменностью среде «она явилась, как звезда во мраке ночи!» Он ловил себя на этой несуразной ассоциации и говорил себе: очнись, какая уж там звезда! Но при всей трезвости взгляда он не мог и не хотел ничего изменить. Пусть его нежданная-негаданная любовь была невысокой пробы, но она питалась благодарностью за спасение от верной гибели, и он был уверен, что сохранит это чувство навечно. Предвидел, что годы спустя, если сбудутся надежды на возвращение к родным пена-

там, многие будут недоумевать, как мог он терпеть возле себя «вульгарную бабу», не сомневался, что именно так нарекут ее в кругу столичных интеллектуалов, по был полон решимости пресечь любую попытку хотя бы намекнуть ей на «этот мезальянс», он не даст ее в обиду, да впрочем она и сама сумеет за себя постоять.

Решение выжить помогло ему избавиться от природной щепетильности, столь неуместной в лагерном обществе. У лагерных старожилов смещаются понятия. Что есть верность, что измена? Что подвиг, что падение? Раньше ему было бы совестно изменить своим верхним нарам в холодном сыром бараке, чем он лучше других, — теперь же он настойчиво добивался разрешения переместить свой ночлег в КВЧ, под тем предлогом, что работать приходилось допоздна. Плакаты и карикатуры, которые он изготовлял, перерисовывая из газет и журналов, все лучше удавались ему, и он сам почти уверовал в силу их воздействия. Его стали радовать сводки о перевыполнении плана, которые он выписывал крупным шрифтом во многих экземплярах, а потом развешивал на досках показателей, па стенах барачных, столовой и лагерного ларька. Русланов переставал считать себя изгоем, он начал ощущать себя со всеми заодно, с работягами в забоях, с солдатами па фронте, с фронтовыми корреспондентами, авторами победных репортажей в «Правде» и «Красной звезде», и чуть ли не с охранниками ВОХРа, которые посбавили свирепости в обращении даже с проклятой контрой: добрые вести с фронтов всех заряжали оптимизмом.

И в среде самой контры происходили заметные превращения. Меньше становилось безнадежных дохляг, громче стали голоса несгибаемых большевиков, крепла их вера, что вот завершится победой эта всенародная война и вождь получит возможность обратить высокое внимание на беззакония его недобросовестных подручных, с честных партийцев будет снято клеймо изменников, все вернутся на свободу и на ответпосты,

где подтвердят свою преданность делу Ленина-Сталина.

Зина оставалась с ним вечерами: разводить краски, резать бумагу, стирать старые полотенца. Разговаривая с ней, он как бы приседал умом до уровня ее мышления, и это не требовало от него насилия над собой и не доставляло раздражения, наоборот, он находил в этом удовольствие, как добрые люди находят удовольствие в разговорах с малыми детьми.

— Скажи, Паша, — только правду! — за что тебя посадили?

Вспору было развеселиться от такого вопроса.

— Как за что? Пятьдесят восьмая, не знаешь, что это такое?

— За контрреволюцию?

— Ага, её самую. И за непочтение к начальству.

— Ты был против советской власти?

— Как тебе сказать... Я был против засилия тупиц, пристроившихся к советской власти, чтобы не работать ни руками, ни головой, а жить припеваючи.

— Фм, тупиц! Выходит, не такие уж они тупицы, если умеют жить. Зато вот ты, такой умник, оказался на Колыме.

— Выходит, так. Ты читала «Горе от ума»?

— А как же. Проходила в школе.

— Скоро перестанут проходить.

— Откуда ты знаешь?

— Весть дошла. Из Наркомпроса.

— Да ну тебя.

— Правда, правда. Решили заменить на «Похвалу глупости», есть такое произведение, правда, не нашего классика.

— Ты меня за дурочку считаешь...

— Ну, что ты, Зиночка! Ну, не обижайся! С тобой уж и пошутить нельзя...

— Эх, Паша, Паша,.. Неустроенный ты человек. У тебя отец кто был?

Русланов любил, когда в рассуждениях Зины появлялись покровительственные нотки, в ответ в нем просыпалось чувство защищенности и какой-то детской привязанности к этой простодушной женщине, никогда не сомневающейся в себе и в своих жизненных установках.

Зина приносила спирт и хорошую еду. Еде он был рад, а к спирту начинал понемногу привыкать. Не мог же он обижать свою подругу отказом промочить горлышко перед доброй порцией свиной тушенки на ломте пышного ситного из особой пекарни для лагерных чинов, которой управлял кондитер из «Метрополя» с десятилетним сроком за расхитительство. По утрам бывало муторно, он говорил себе, ты опускаешься, Павел. Но после кружки крепкого чая угрызения проходили, надо было работать, за работой можно было думать сколько угодно и о чем угодно, этой свободы никто не мог у него отнять. Он занимался гимнастикой мысли, повторял сохранившиеся в памяти цитаты из классиков марксизма, читал про себя любимые с детства стихи преимущественно из Некрасова — «Мужичок с ноготок», «У парадного подъезда» и даже «Кому на Руси жить хорошо» почти от начала до конца. А еще из Лермонтова — «Бородино», «Спор» и даже, грешный человек, отрывки из юнкерских поэм, украдкой читанных лет эдак в тринадцать-четырнадцать... Под эти умственные упражнения легко скользила кисть по бумаге, уверенно писались бодрые призывы к борьбе за металл и возникала на большом квадрате ватмана фигура гиганта-работяги в телогрейке, который опускал увесистый желтый самородок на голову отвратительного существа в серой каске со свастикой.

Только бы не разучиться думать! Только бы не потерять трезвость мысли! До сорока лет ты был абстинентом, теперь привыкаешь к алкоголю. Куда это приведет? Нет, не сопьюсь! Еще сильны психические тормоза. Я еще буду нужен кому-то с моими выводами и

доводами. Не растерять бы умственный багаж! Трудно это, трудно здесь, без литературы, без писчей бумаги и пера, без собеседников... Был благодарный слушатель, Боря Комаров, но и его взяла война в свой оборот. Где-то он теперь?

Майор Слесаревский — теперь уже майор! — обращался к нему на вы, хотя большинству подчиненных считал естественным говорить ты. Манера разговора у него была такая: немножко сквозь зубы и как бы себе под нос.

— Что-то у вас красноармейцы как-то молча идут в атаку. Почитайте другие газеты: за Родину, за Сталина! А ваши—молчат. Не слышали возгласов?

— Почему же, слышал. Только другие.

— Вот как? Какие же?

— Все больше «в бога душу мать...»

— Н-да... Негибкий вы человек, Комаров.

«Редактор тобой недоволен», — напевал про себя Борис на мотив «Раскинулось море широко». Какая-нибудь мелодия, чаще всего песенная, постоянно преследовала его, так уж был устроен этот человек, с детства заряженный музыкой. Обычно мелодия ассоциировалась с окружающей обстановкой. Теперь, поскольку наступление развивалось, это было: «Все пушки, пушки грохотали. Трещал наш пулемет. Бандиты отступали. Мы двигались вперед». Из репертуара пехотного училища.

Дивизия, находясь на фланге корпуса, продвигалась по второстепенным путям, каким-то давно не саженым проселкам, среди песчанистых всхолмлений, тонкоствольных перелесков. Теперь и селения попадались лишь изредка, да и то все больше хуторки из нескольких хижин.

Всех взбаламутил слух о происшествии в соседней дивизии, наступавшей вдоль железной дороги. На маленькой станции, где войско остановилось для кратко-

временной передышки, была обнаружена одинокая цистерна, которую немцы, видно, не успели отогнать в свой тыл. Из этой цистерны, из ее сливного крана, капля за каплей сочилась прозрачная жидкость. Солдаты подошли, взяли на палец, понюхали: спирт! Край открутить не смогли, подставили котелок, пусть набегаёт. Но не тут-то было, командиры уследили, направили до половины набежавший сосуд в санчасть на исследование.

Санчасть была развернута в палатке, врач и фельдшер произвели анализ: метиловый спирт, яд смертельный, пить нельзя.

А между собой говорят: впрочем, если по маленькой, то наверно ничего не делается? Ну, и выпили по паре глотков. Случайно возле палатки оказался посторонний солдат, он все видел и слышал. Покатился треп по батальону: врут помощники смерти, говорят отравы, а сами хлещут почем зря. И пошел здесь дым коромыслом: с помощью ломика отвернули кран, подставили котелки, веселись, душа! Результат: сто двадцать мертвецов, десятки ослепших. Такое вот ЧП всеармейского масштаба. Газеты о нем не писали, но в передовицах дивизионков как по команде — да и в самом деле была такая команда — зазвучали грозные предупреждения: враг коварен, недопустимо подбирать оставленные трофеи.

Но в Н-ской дивизии, где служил Борис, слава Богу, ничего подобного не происходило. Продвигались без боя, почти без потерь, противник лишь изредка пускал откуда-то издалека тяжелые мины. Младший лейтенант Комаров — он наконец-то, прикрепил на одной маленькой звездочке на свои погоны — шел с передовыми подразделениями в ожидании событий. Особенно охотно он присоединялся к своему родному батальону, из которого прошлой осенью увел его капитан Слесаревский.

На горизонте возникла завеса зеленой поросли.

Поглядели на карту — узкая полоска леса вдоль шоссе, тянущейся с севера на юг, поперек линии движения войск, то есть «рокадной», как это называлось на военном языке. Разведка донесла: за шоссе сосредоточение вражеской пехоты. Батальон поротно развернулся в цепь.

— Ты вот что, давай-ка отсюда, — сказал комбат младшему лейтенанту Комарову. — Сейчас будет не до тебя.

— Но я же ваш, товарищ капитан! Ведь я из первой роты! И вот автомат у меня, могу пригодиться.

— Пошел ты, знаешь куда? Пригодиться! Тебя убьют, а мне потом отвечай!

— Но ведь ходили журналисты...— он хотел сослаться на пример всенародно известных фронтовых корреспондентов, намекавших между строк на свое участие в опаснейших действиях войск, но капитан не дал ему договорить:

— Знаем мы, как они ходили! Ну-ка, марш в тыл, и чтобы духу твоего здесь не было!

Младший лейтенант Комаров нехотя повиновался. Нехотя, мысленно подчеркнул он для себя. Но в глубине души засомневался. Так ли уж нехотя? Какая-то подспудная, подсознательная радость, странное воодушевление, ощущаемое чисто физически, завладела его существом. Он удалялся от линии, где завязывался бой, откуда уже доносился перестук автоматных очередей, шел умеренно быстрым шагом, сдерживал себя, стыдясь своего бегства — невольного, да-да, он лишь исполнял приказ, но внутренний голос возражал: а капитан-то не был твоим прямым начальником!..

Ну, да что теперь рассуждать, надо быстрее добраться до редакции, где-то она сейчас? Надо срочно отписаться, как говорили корреспонденты, перенести из блокнота на газетную страницу все важное, что удалось выведать у командиров и бойцов...

Он шел по травянистой целине, срезая крутую

излучину дороги, шагал по пологим выжженным солнцем увалам, то спускаясь в понижения между ними, то опять поднимаясь на гребни. Над ним пронеслись пули, жужжали наподобие пчелы в одиночном полете, он не обращал внимания, они предназначались не ему, это были шальные пули, случайно долетающие оттуда, где разгорался бой.

Понимание того, что на фронте твоя жизнь может внезапно оборваться, припрятанное под ворохом непосредственных впечатлений момента, всегда присутствовало подспудно в его сознании. Теперь, когда он удалялся от места, где люди стреляли друг в друга, в нем бродила безотчетная — не то что мысль, а так, мыслишка: еще не твой черед, еще не скоро, еще не сейчас!

Вдруг он услышал за спиной встревоженный голос:

— Пригнись, не слышишь, кукушка бьет по тебе, вон в том лесочке сидит! — Его догонял запыхавшийся сержант. Не иначе, связной к командиру полка с донесением, подумал Комаров.

Кукушками называли вражеских снайперов, устраивавшихся на деревьях.

Ему бы послушаться доброго совета, но какое-то фаталистическое упрямство подавляло голос благоразумия, он продолжал идти во весь рост, и лишь когда пришлось взбираться по пологому склону холма, на вершине которого стояла одинокая бревенчатая сараюшка, он все же пригнулся, повинувшись то ли инстинкту, то ли военной выучке. И едва он достиг этого строения и стал вот так, полусогнутым, обходить его, как что-то жесткое, железное и горячее полоснуло по спине. Он не устоял на ногах, запахал землю носом, но тотчас же, заползши на четвереньках за теневую сторону сарая, попытался встать. Это ему удалось с опорой на правую руку, а левая повисла и не повиновалась.

— Ну, говорил же я, говорил, — твердил, беря его

под здоровую правую руку, подоспевший сержант.

Засек меня, когда я оказался на светлом фоне выгоревшей стены сарая, подумал Борис Комаров деловито, а может быть даже сказал это вслух, но сержанту не было дела до его рассуждений, сержант тащил его прочь от этого проклятого места. Пули больше не свистели. Наверное, снайпер, увидев, как Комаров упал, отметил его палочкой в графе «офицеры» и на этом успокоился до появления новых целей.

— Пуля прошла под лопаткой, скользнула по четвертому ребру и вышла наружу. В рубашке родился парень, — сказал капитан медицинской службы Михаил Стражевский майору Слесаревскому. — Видеть его пока нельзя, только что прооперировали.

Борис еще лежал вниз лицом на операционном столе, умеренная доза морфия чуть-чуть туманила сознание, боли он не чувствовал, скорее наоборот, необычайное, никогда прежде не испытанное блаженство разлилось по жилам, а глаза от какой-то невесты с чего нахлынувшей растроганности наполнялись влагой. Он слышал разговор, происходивший где-то за брезентовой перегородкой, узнавал голос своего начальника, понимал, что говорят о нем, и в то же время вовсе не относил сказанное к себе. Это было как во сне, в который веришь и не веришь.

Одессит Михаил Стражевский, самый опытный, самый надежный из медсанбатовских хирургов, продолжал:

— Опасности для жизни никакой, максимум он будет иметь небольшой воспалительный процесс от загрязнения, пуля проделала канал длиной сантиметров пятнадцать в мягких тканях, слегка задела надкостницу, а прочистить этот канал нет возможности, и просто нецелесообразно. Ну, так что ему предстоит? Повысится температура, но организм крепкий, выдержит. На излечение уйдет недели две— две с

половиной. Он вам очень нужен?

— Спасибо тебе, доктор, — думал растрогано Борис Комаров, который все слышал. Ты правильно меня оценил, организм у меня действительно крепкий, я выдержу...

Ночью в длинной брезентовой палатке, уставленной двух- ярусными нарами в несколько рядов. Борис лежал без сна и прислушивался к шорохам, вздохам, стонам и храпу, доносившимся со всех сторон безмерного пространства, едва освещенного желтоватой лампочкой, аккумуляторы, значит, уже порядком подсели. Действие морфия проходило, под левой лопаткой разгоралась жгучая боль, голова пылала и мысли сливались в бестолковый, путаный клубок. Борис произвольно застонал, подошла сестра:

— Вам больно?

— Нет, ничего. Устал лежать на животе.

— Давайте повернемся на правый бочок. На правый можно. Давайте, я помогу. Вот так. Спите теперь.

— Спасибо, сестрица.

Опять горячая влага навернулась на глаза. Это от морфия, подумал он и вскоре уснул.

Подбирали контингент для отправки в «госпиталя»: кого в армейский, кого в тыловые соответственно профилю. У постели младшего лейтенанта Комарова остановились трое: хирург Стражевский, кто-то незнакомый из эвакогоспиталя и сестра с блокнотом. Поодаль, в накинутом на плечи халате, стоял майор Слесаревский.

— Никуда! — вскрикнул как от испуга Борис Комаров. — Никуда я не поеду!

— Как это ты не поедешь, — улыбнулся Стражевский. — Прикажем, и поедешь, как миленький.

— Братцы, помилосердствуйте! — взмолил Борис. — Я скоро поправлюсь, вот-те крест святой, у меня уже ничего не болит. У нас в редакции прорыв, вон спросите майора!

— Им сниматься надо, дивизию догонять, разгрузить медсанбат надо, — пояснил незнакомый офицер.

— Выпишите меня хоть сегодня! Клянусь, не подведу. Хотите подписку дам?

— Ну что за своеобразный тип, — сказал Стражевский. — Его на курорт отправляют, а он... Не договорив, хирург махнул рукой и двинулся дальше, а за ним и вся компания.

24.

Наступление развивалось скачкообразно. На каких-то промежуточных рубежах противнику удавалось соорудить полевые укрепления, создать достаточно устойчивую оборону, чтобы выиграть время для отвода главных сил. Тактика общеизвестная, и для наступающих тоже вполне приемлемая: подтягиваются резервные войска и отставшие тылы, сокращаются растянувшиеся коммуникации, словом, воссоздается потраченный перевес. На какое-то время война опять принимает позиционный характер, наступающие закрепляются на достигнутом рубеже, усиливают разведывательные действия, чтобы выявить у противника слабые места и предотвратить его контр-наступательные операции.

На этих промежуточных позициях, в эти дни краткосрочной передышки как никогда прибавляется работы у разлагателей. Враг деморализован, солдаты арьергардных частей понимают, что отступление будет продолжаться, что их приносят в жертву, а сдача в плен при неразберихе маневренных боев облегчается — как тут не воспользоваться благоприятной обстановкой для морального нажима на противника?

Старшему лейтенанту Кравченко не надо было разъяснять эти элементарные истины. Едва дивизия занимала промежуточный рубеж, он сразу же выявлял удобные точки для своих вещаний, меньше заботясь о

маскировке, так как противник не успевал сориентироваться на местности, и риск обстрела был не так велик, как в условиях длительной обороны. Составление текстов давалось теперь легко, успех наступления подсказывал, доходчивые слова.

«Немецкие солдаты! — писал Сергей Кравченко. — Неужели вы все еще не осознали, что поворот в войне, начатый под Сталинградом, необратим! Наступление Красной Армии продолжается по всему фронту от полярных широт до Балкан и Дуная, вы песете тяжелые потери. Пока что война идет на чужой для вас территории, но недалек тот час, когда она перекинется на вашу исконную землю. Пока что разрушению подвергаются чужие для вас города и селения, но скоро снаряды будут рваться у ваших домов. Крах нацистского режима неизбежен, но если вы хотите сохранить вашу отчизну от жестокой расплаты, кончайте войну, бросайте оружие, поднимайте белый флаг, сдавайтесь в плен наступающим частям Красной Армии!

Довольно искушать судьбу, довольно взаимного уничтожения, повинуйтесь разуму, а не вашим очумелым фюрерам!

Каждому, добровольно сдавшемуся, советское командование сохранит жизнь, обеспечит достойное содержание в лагерях военнопленных и возвращение на родину после заключения мира.»

Передовая проходила по склону невысокой гряды. Чуть западнее недавней линии обороны противника, в его еще не остывших землянках разместились батальонные тылы. Отслужив свою вечерню вблизи передовой, Сергей Кравченко и его верный Адам приютились у замкомбата по политчасти. А поутру, довольные вечерним вещанием — ни одного залпа не прогремело в ответ! — идут разлагатели в направлении штаба дивизии, идут не прячась, тропа скрыта невысоким кустар-

ником п противник совсем не ведет огня, видно, бережет боеприпасы. Вот уж завиднелся вдали хуторок, или бывшее имение, два полуразрушенных дома солидной постройки в окружении рослых лип да ясеней, позади пустой хлев и конюшня, поодаль, чуть в сторонке, длинное приземистое здание о шести окнах, барак не барак, может быть общежитие для сезонных батраков, а может быть школа, открытая добрым барином для ребятни из окрестных хуторов, кто его знает, непонятно и спросить не у кого, кругом безлюдье. Это продолговатое здание занял медсанбат, там лежат больные и легкораненые, тяжелых еще с марша отправили в тыл. Врачи и сестры коротают время под липами, наслаждаются природой — идиллия!

Штабные землянки тут же, неподалеку, в густом кустарнике, естественная маскировка, лучше не надо, не сразу найдешь даже зная, а с воздуха и подавно распознать немисливо. Сергей Кравченко и верный его Адам шагают знакомой тропой, рассуждают про все эти благоприятности обстановки, договариваются, что вот сейчас старший лейтенант доложит в штабе о проведенной акции, получит задание на вечер, и они пойдут в свою землянку во втором эшелоне, согреют чайку, отдохнут с дороги, Адам сходит с котелками за обедом, а Сергей — ну, ясное же дело, хотя об этом не говорят, — он сядет за очередное письмо своей дорогой и ненаглядной Анечке (он так и начинал все свои письма: Моя дорогая и ненаглядная...).

А у Адама свое на уме: близится конец войны! Вот послушались бы его соотечественники, солдаты некогда непобедимого вермахта, разумных советов, пошли бы сдаваться целыми ротами и полками, сколько молодых жизней было бы спасено! Нет, зря называют его предателем и врагом нации вечно вчерашние, попадающиеся среди захваченных в плен солдат и в особенности офицеров. Он воюет не на стороне большевиков, он воюет на стороне немцев, не ради победы русских, хотя

ее не миновать, а ради своих же братьев, обманутых нацистами, ради победы разума, ради спасения жизни своих соплеменников...

— Herr Oberleutnant, was glauben Sie, werden mich meine Landsleute verurteilen, wo ich nach'm Kriege heimkehre?

— Deine Klassenbürger bestimmt nicht, und was die fanatischen Nazis betrifft, so werden sie den Schwanz einziehen müssen.

— Herr Oberleutnant, und was werden Sie tun, wenn der Krieg zu Ende ist?

— Ich? Ich werde als Lehrer arbeiten. In der Schule Deutsch unterrichten. Damit mehr Verständnis zwischen den Völkern ist.¹

Совсем уже близко до штабного блиндажа, тропа ныряет в гущу кустарника, еще метров двадцать, и открывается небольшая полянка, а там вход в блиндаж, замаскированный зелеными ветками, три ступеньки вниз, укрепленные дощечками, чтобы не осыпалось, а у входа часовой...

На посту стоит бывалый сержант из комендантского взвода, испытанный боец, третий год на фронте, службу знает туго. Стоит, скучает, переминается с ноги на ногу, никаких происшествий, тишь да гладь, даже птички щебечут в кустах. Скоро сменят его, пойдет он в свою землянку, согреет чайку, отдохнет от долгого стояния.

¹— Господин оберлейтенант, как вы думаете осудят меня мои земляки, когда я вернусь домой после войны?

— Твои братья по классу определенно не осудят, а что касается закоренелых нацистов, то им придется поджать хвост.

— Господин оберлейтенант, а что вы станете делать, когда окончится война?

— Я? Буду работать учителем. Преподавать немецкий язык в школе. Чтобы было больше взаимопонимания между народами.

И вдруг слышит он немецкую речь. Да совсем близко! Что-то зашуршало в кустах. Раздумывать некогда, окликать бесполезно — немцы!

Ахмет вскидывает автомат, и длинная очередь полоснула по кустам, слева направо и справа налево...

— А может не стоит? — капитан медслужбы Михаил Стражевский хмурится и вздыхает. — Плох он, очень плох. Не надо бы его тревожить. Три сквозных ранения легких. Одно в сантиметре от сердца. Температура сорок. Эвакуация в таком состоянии отпадает. И нечем помочь! Был бы у нас пенициллин, как у американцев! Сколько жизней удалось бы спасти...

— А что... разве он безнадежен?

— Надежды никогда не теряем. Не имеем права. Будем бороться.

Боже, сколько смертей видел полевой хирург Михаил Стражевский! Кажется, пора бы притерпеться. Н действительно, у врачей, а особенно у хирургов, вырабатывается со временем что-то вроде иммунитета против острых переживаний по поводу неизбежных неудач, летальных исходов, вот такое бесцветно-бесстрастное профессиональное выражение придумали себе медики, чтобы не произносить этого грозного и мрачного слова смерть. И все же каждый летальный случай оставляет зарубку на сердце врача, крадет у него какую-то частичку, какие-то минуты, или часы, а может быть дни или недели его собственной жизни. А если ему пациент близок и дорог, то невозможность спасти его причиняет особенно острую боль. Но выдать ее врач не имеет права. Внешнее спокойствие — непременная обязанность врача. Тот, кому оно не дается, не может быть врачом, а у того, кто выработает его в себе, оно постепенно переходит в спокойствие неподдельное, спокойствие особого рода, ничего общего не имеющее с бездушием, но позволяющее трезво и уверенно до конца выполнить профессиональный долг.

— Так все же — как? Можно мне к нему? Вдруг я смогу его приободрить, поднять настроение, это ведь тоже лечебный фактор...

Как ни логичны эти доводы, внутренне им не очень верит даже сам Борис Комаров. Он не смеет настаивать, он боится выдать перед Сергеем свою озабоченность, свое беспокойство, свое знание о тяжелом состоянии друга. С другой стороны, а вдруг он действительно сумеет как-то поддержать Сережу, поможет ему мобилизовать жизненные силы? А кроме того, у него в руках письмо от девушки Ани из далекого Ставрополя. Полевая почта такая-то, Кравченко Сергею Александровичу...

— Давай все же я пойду к нему. Знаешь, ведь неплохо, когда не навещают. Подумает, что все его забыли.

— Ну, ступай. Только недолго.

Палата большая и чистая, пять коек свободны, лишь одна занята, крайняя. На белой подушке раскрасневшееся от внутреннего жара, худое, но чуть припухлое лицо. Частое, неглубокое дыхание. Сергей лежит на спине, это единственно возможное для него положение тела. Он чуть-чуть поворачивает голову, но даже это незначительное движение отдается гримасой боли.

— Ну, как ты?

Дурацкий вопрос. А что сказать умнее?

— Да вот видишь, как.

— Но ты того, крепись. Врачи говорят, что скоро дело пойдет на поправку.

— Да, они и мне говорят это самое. Дух поднимают. Не знаю, верить или нет.

— Верить, Сережа, непременно верить!

— А как Адам?

— Адам не вредим. Чего тебе принести?

— Ничего не надо. Здесь кормят. Только я есть ничего не могу. Вот если бы сока какого-нибудь... Да только где его взять? Морса... клюквенного... Пушкин

просил морошки.

— Не надо про Пушкина. Ты поправишься! Вот я тебе письмоцо принес.

— Правда? Дай сюда.

Нет, плохо слушается рука, а глаза не в силах ничего разглядеть, сливаются строки.

— Прочти ты.

— Доверяешь?

— Читай.

«Дорогой и любимый Сереженька! Твое милое письмо тронуло меня до глубины души. Но не надо тревожиться обо мне, что значат наши мелкие заботы по сравнению с вашими великими, поистине историческими делами! Твои скупые строки о фронтовой жизни, несмотря на всю их сдержанность и может быть даже приукрашивание суровой правды — ты ведь щадишь мои чувства, я знаю, — звучат для меня как возвышенные гимны вашему мужеству, вашему благородному подвигу. Не сердись за пышный слог, иначе сказать не умею.

Ты спрашиваешь о нашем житье-бытье. Все каникулы работаем на полях, хорошо управились с зерновыми, девочки научились жать серпами, и я вместе с ними. Сейчас работаем на овощных плантациях. Все думы о вас, наших дорогих фронтовиках, у каждого отца или брата на фронте.

Обо мне не беспокойся, я здорова и даже почти не похудела. Никак не удосужусь съездить в райцентр сфотографироваться, но обещаю твердо успеть это сделать до начала учебного года и прислать тебе новую фотокарточку. А тебе не будет ли случая сфотографироваться для меня?

Береги себя, мой родной и любимый, — для меня, для нас, для нашего будущего! Целую тебя и нежно обнимаю — твоя Аня».

На последних строках голос Бориса дрогнул, он сделал паузу, притворившись, как будто плохо

разбирает почерк, овладел собой и дочитал до конца.

— Напиши ей... Нет, не надо. Я сам напишу, когда поправлюсь.

«Дорогая Аня! (Извините, не знаю Вашего отчества). С болью в сердце беру на себя печальную миссию сообщить Вам о смерти близкого Вам человека, старшего лейтенанта Сергея Александровича Кравченко...»

Да, именно так, с официальной сухостью. Не надо о том, что он был моим другом, не надо жалостных слов, не надо рвать ей душу еще и моими стенаниями. Ведь это по сути дела взамен служебной похоронки, она таковой не получит, ведь не жена — всего лишь невеста!

«Он погиб на боевом посту, до конца выполнив свой воинский долг»... Вот такая стандартная обтекаемая фраза, зачем ей знать убийственные подробности... Что еще сказать ей, чем смягчить жестокий удар?

«Примите мужественно эту утрату, не позволяйте постигшему Вас несчастью сломить Вашу волю к труду во имя нашей победы...»

Боже, Боже, какое празднословие!... А как иначе?

«Сергей Кравченко похоронен с воинскими почестями у хутора Саулите в Латвийской ССР.

Искренне разделяющий Ваше горе

Лейтенант Борис Комаров».

25.

Лейтенант Мигулин раскрыл планшет, поглядел на карту-трехкилометровку и сплюнул в сердцах:

— Ну где она тут, эта высота? Нет ее ни хрена. Ничего про нее в штабе не знают. А она—вот она!

Адъютант — старший первого батальона, совсем еще юный капитан Юрасов, красавец и первейший бабник во всей дивизии, покрутил красным карандашом между пальцами, взял из рук Мигулина карту и

нарисовал на ней неправильной формы овал:

— Комбат приказал взять высоту и обеспечить продвижение батальона. Поддержку тебе? А чем мы поддержим, хреном?

Приказ есть приказ...

Второй день Мигулин командовал ротой, а его родной взвод оставался пока что без офицера и был как бы резервом в распоряжении самого комроты.

Лейтенант Мигулин присел на корточки в наскоро отрытом окопчике своего КП, застегнул планшет, поглядел, запрокинув голову, на серое, хмурое небо: с запада, вдогонку одна за другой проносились патлатые, рваные тучки, сыпали мелким дождем — недалеко уже было до Балтийского моря.

— Тебе ясен приказ? — спросил капитан Юрасов с ударением. Мигулин промолчал, словно бы даже не слышал вопроса. Да и что это был за вопрос? Так, болтовня. Для острастки. — Время тебе до шестнадцати ноль-ноль. Все, я пошел.

Ну да, конечно, ты пошел. А я теперь ломай голову, как же взять ее, эту проклятую высотку. Две атаки уже кончились ничем. То есть, что значит ничем? Потерями кончились немалыми, во взводах осталось по пятнадцать, от силы двадцать бойцов. Мигулин не разучился жалеть своих солдат, были они ему как родные, каждую смерть он переживал с болью и раскаянием, мол, где-то не так распорядился, не сумел сообразить, как сберечь молодых этих парней для дальнейшей жизни на земле... А приказ выполнять надо.

Сколько их там, на этой высотке? Наверняка не больше взвода. Горстка обреченных, оставленных для прикрытия отхода главных сил. Огонь оттуда не такой уж плотный, можно бы, если с умом, короткими перебежками, эти двести метров легко преодолеть, да только вот их пулемет на левом фланге... Когда они успели соорудить тот окаянный дзот? Ночью копали, паршивцы. Вчера еще не было его, вчера-то и надо было без

остановки штурмовать эту высоту, так нет, приказ был окопаться, тоже правильно, а то ведь батальон слишком вырвался вперед. Теперь подтянулся весь полк, да и застрял из-за этой высоты. Значит, так: все дело в дзоте.

Мигулин поманил связного:

— Удальцова ко мне. Знаешь Удальцова?

— Кольку-то? Кто ж его не знает.

Красноармеец Удальцов, по чину рядовой, вполз в окоп командира роты и отрапортовал.

— Вот что, Коля, — сказал лейтенант Мигулин и посмотрел на него долгим взглядом. — Помнишь, как на ученьях ты дзот забрасывал противотанковой гранатой?

Колька Удальцов полз по-пластунски, плотно прижимаясь к земле, в правой руке граната, тяжелая, стерва, и опасная, как бы не стукнуть ее обо что, вдруг сработает взрыватель? Ну, да эта мысль не очень его беспокоила, устройство надежное, и вообще не было в нем никакого страха, старшина выдал положенные сто граммов, а он попросил еще ввиду особого задания, и старшина не поскупился, тоже ведь не без понятия человек. Так что даже весело было отчасти, и гордостью распирало грудь, ведь не кому-нибудь, а именно ему, бывшему шпане и колымскому з/к доверили такую важную задачу.

Не спеши, но поторапливайся, сказал комроты. Так он и действовал. От кочки к кочке, ив ямки в ямку, извиваясь, как ящерица, ползет Колька Удальцов, забирает немного влево, чтобы не быть на виду у фрица, что засел там со своим МГ, машинен-гевером. Ползет вдоль низинки. С пункта наблюдения ее не было видно во всех подробностях, а теперь выясняется, что впадинка эта продолговатая, и она хорошо скрывает его. Недалеко уже осталось, метров может быть тридцать-сорок. Но где же он, этот сучий дзот? Оттуда, от комроты, хорошо

было видно в бинокль: небольшое возвышение, желтый песок наскоро укрыт свежим дерном, а под ним черное прямоугольное отверстие. Уже должно бы быть совсем близко, почему же никак его не разгляжу? А рота ждет, залегла на исходном рубеже...

Дождик кончился, от неостывшей земли повеяло теплом, поднимался жиденький, кудлатый туман.

«И пока за туманами видеть мог паренек, на окошке, на девичьем все горел огонек.» Песня была такая. Колька Удальцов знал ее, но не любил. Ни на каком окошке огонек для него не горел, разве что чуть теплится где-то в далеком сибирском селе, но это тоже навряд ли. А вообще, на девичьем фронте опыт у него был плачевный, а вспоминалась песня потому, что затуманило, и пулеметное гнездо за туманом было едва различимо, лишь когда изрыгало оно очередную порцию огня, становилось яснее его местоположение, а когда умолкал пулемет, место лишь угадывалось по направлению. Но наступать все равно надо, туман пехоте не помеха, она по небу не летает, она больше ползком...

Кто его знает, для кого туман выгоднее, для наступающих или для тех, кто держит оборону? Думалось, что для наступающих все же выгоднее. Тот палит в белый свет, густо сеет огнем, да он не прицельный. А ты выныриваешь вдруг из тумана, как призрак, и наваливаешься на него, не дав опомниться...

Впадинка ведет к кусту, из-за которого не видно амбразуру, видны только вспышки очередей. Пополз вправо в обход куста и понял, что стоит поднять голову, как попадешь на мушку.

Вспышки он видел, но саму амбразуру так и не мог разглядеть, а бросать гранату из-за куста, наобум лазаря, это же чистое фраерство.

Пулеметная очередь вновь пронзает тишину. Гремит совсем близко, и теперь Колька отчетливо видит амбразуру всего-то в десятке метров впереди и немного

вправо. Вот сейчас бы и бросить гранату, да только все еще мешает куст, из-за него как-то сильно сбоку получается, вдруг промажу? Или срикошетит граната, соскользнет по краю амбразуры и отлетит в сторону? Нет, надо, чтобы в самую дыру попала? Эх, была не была, повидалася! Ошеломлю врага, выскочу из-за куста и стоя брошу гранату, чтобы уж наверняка!

Долго раздумывать некогда, там ждут. Колька вскакивает на ноги, а ноги-то не больно слушаются, уж не перебрал ли я ненароком у того старшины? Но все равно — вперед!

Колька кидается вперед и вправо, замахивается, но тут его ударило по ногам, а ему показалось, что споткнулся о какую-то кочку, засеменял, черный четырехугольник совсем уже перед ним, и тут опять полоснуло по ногам, он по инерции еще заковылял вперед, зашатался... и рухнул на землю, прямо на отверстие, изрыгающее огонь.

Бойцы не сразу поняли, что произошло, почему прекратился огонь пулемета, хотя взрыва гранаты не было слышно. Но медлить было нельзя, раздалась команда «Вперед» и вывела всех из оцепенения. Рота рванулась в атаку...

А Колька, прострелянный насквозь, не слышал команды лейтенанта «В атаку, вперед», не слышал красноармейского ура, ничего не слышал.

Не видел пару дней спустя столбцов газет под крупными заголовками. И указа «О присвоении...» тоже не видел.

Сквозь мутные, сто лет немывтые окна бревенчатой избы едва пробивался свет неяркого осеннего дня. Изба была бедная, утварь в ней казалась принесенной из музея крестьянского быта девятнадцатого века. И весь-то заброшенный одинокий хутор на холмике посреди тускло-зеленого, давно не паханного поля выглядел каким-то унылым неудачником. Это Латгалия, во-

сточная часть Латвии. Говорят, они те же русские, эти латгальцы. Куда ушли хозяева, неужели на запад? По воле или поневоле?

Капитан Севрюков у двухэтажного приемника ловил какие-то звуки. Младший лейтенант Комаров укладывал вещи. Пришел приказ о его переводе в армейскую газету. Там тоже были потери, кто-то попал под обстрел, кого-то демобилизовали по болезни...

— Проворонили мы этот подвиг! — рывкнул в сердцах майор Слесаревский, отшвырнув «Красную звезду». — Ведь в нашей же дивизии, а мы — ни строчки!

Комаров понимал, что упрек майора адресован лично ему, ведь он побывал в роте Мигулина на другой же день после взятия высоты Безымянной. Но в том-то и дело, что он знал, как все произошло. В его корреспонденции не было ни звука о подвиге красноармейца Удальцова.

А в душе засела боль об утрате.

Кто был ему Колька Удальцов? Друг? Младший брат? Называл его комиссаром. Тяготел к нему, тянулся простодушно и по-детски. Может быть, надо было что-то сделать для него? Вытащить его с передовой, пристроить где-нибудь при штабе? Да нет уж, не в твоих это возможностях, да и способностей таких у тебя нет. Эх, Колька, Колька! Оскудела матушка-земля русская еще на одну неординарную натуру... Каким ты стал по счету? Миллионным? Пятимиллионным?

Был человек и нет человека... На войне так не говорят. Если бы на войне так говорили, над фронтами стоял бы неутихающий рокот.

Мигулин рассказал, что в левом кармашке Колькиной гимнастерки нашли бережно сложенную записочку, уголок подкрашен кровью. На тетрадном листке в косую линейку значилось: «Омская область, с. Березовка, Шурыгиной Людмиле». Никто не знал, написал ли он хоть раз по этому адресу.

Редакция армейской газеты жила на колесах — не в переносном, а в буквальном смысле слова. Войска продвигались с неслыханной быстротой, какой резон располагаться где-нибудь в населенном пункте, чтобы на другой день снова грузиться в вагоны и догонять ушедшие вперед штабы?

Стояли даже не на разъезде, а прямо посреди однокорейной дороги, слева редколесье, справа луговая ширь. В теплушках было темновато, «отписываться» устраивались снаружи как придется, кто на ступеньках тормозной площадки, кто на пеньке — «ни дать, ни взять, Ильич в Разливе», острил поэт Лева Крупинич, прикомандированный от Союза писателей Украины. В зеленом «служебном» вагоне стрекотали пулеметной дробью пишущие машинки. Старшая машинистка Вера, в сержантском чине, большеголовая, кудлатая, приземистая, вечно в кого-то безответно влюбленная, то и дело забегала к ответственному секретарю майору Лютову, чтобы помог разобраться в невысказанных каракулях.

Мимо этого короткого состава — в нем находились еще склады продовольственного и вещевого снабжения — по параллельному железной дороге песчаному проселку продвигались на запад танковые колонны, орудия на гусеничной тяге, громоздкие спецмашины, на ухабах неуклюже переваливающиеся с боку на бок, того гляди опрокинутся. В обгон бесчисленных заторов проносились на американских джипах полковники и генералы, орали, матерясь, на измученных водителей, а танкистов объезжали с опаской, потому что ходил слух, будто из какой-то тридцатьчетверки, командиру которой досталось по морде от высокого начальства, вслед удаляющемуся джипу был выпущен бронебойный снаряд. Правда ли, нет ли, но пересказывали эту историю охотно, потому что хотели верить, она была созвучна

настроению в войсках: генералов, особенно тыловых, недолюбливали — не каждого в отдельности, а чохом.

Борис Комаров, сдав в секретариат репортаж о дерзком обходном маневре в районе Земгальских болот, вскарабкался в жилую теплушку забрался на верхние нары, придвинулся к окну и стал рассматривать карту, подобранную среди хлама на улице недавно взятого городка. Карта была не такая, как выдавали для оперативных целей, а большая, во всю длину побережья от Финского задней до Куршской косы, с надписями на чужом языке. Ну ясно, в Ригу нам не попасть, идем южнее, Елгавой овладеем не сегодня-завтра, а потом?

Поговаривали, что кого-то оставят «доколачивать» прижатые к морю немецкие части, а основные силы повернут на юг. Еще говорили, что армейское соединение перенумеруют, переименуют в соответствии с заслугами и передадут в распоряжение Первого Белорусского фронта. Это означало, что будет путь лежать на Берлин! Однако достоверно никто ничего не знал, а кто знал, тот помалкивал, не смел разглашать военную тайну.

Тайна тайной, но обсуждали эту тему горячо и открыто. Не участвовал в обсуждениях только сам редактор, подполковник Рудаков, самый осведомленный, но и самый неразговорчивый человек из всей журналистской братии.

Михаил Константинович Рудаков даже для близко стоящих к нему по должности офицеров, своего заместителя Нестеренко и ответсекретаря Лютова, оставался загадочной личностью. Обо всех других было известно, кто, в каких газетах или журналах работал на гражданке, а если не имел касательства к печати, то какими судьбами попал в военные журналисты. О Рудакове ничего такого не знали. И никто не расспрашивал его об этом, ибо он никогда не давал повода к таким расспросам. Не то чтобы характером он отличался замкнутым, скорее был ненавязчив, скромн, пожалуй, даже до ро-

бости. С подчиненными был обходителен, приветлив и даже ласков, ни с кого ни за что строго не взыскивал, допускал даже всякие вольности вроде совместных пирушек по поводу и без повода, хотя сам в них никогда не участвовал. Руководить совещаниями он обычно доверял заместителю, а когда проводил их самолично, вернувшись после получения новых указаний, из политотдела армии, то говорил кратко и просто, а конкретных заданий никому не давал, во всем полагаясь на начальников отделов. Сам он для газеты не писал даже передовиц и лишь бегло прочитывал то, что печаталось в очередном номере. Было похоже, что он вообще ни во что не вмешивался, и оставалось только удивляться тому, что дела в редакции шли гладко, газету хвалили и сверху, и снизу.

Ежегодно, в каких боевых условиях ни находилась бы армия, подполковнику Рудакову удавалось получить краткосрочный отпуск. Когда однажды полковник Хорьков, начальник политотдела, не решаясь отпустить редактора, попрекнул его недостатком служебного рвения и спросил, может ли он поручиться за безупречное функционирование редакции, оставленной без руководства, Рудаков, как рассказывали политотдельские служаки, ответил: лучший редактор тот, который не нужен своей газете. Он уезжал на неделю-полторы куда-то в Архангельск, где у него, как говорили, оставалась молодая жена. Сам-то он был уже не молод, наверняка за сорок, и на фронте, не в пример многим равным по чину, никаких шашней не заводил.

Роста Рудаков был высокого, плечист, но сильно худощав, лицо имел узкое с прямым, тонким и продолговатым носом, который часто утирал большим белым платком в розовую клеточку, потому что был подвержен простуде. Поговаривали, что он пьет, но не в компании, а в одиночестве и преимущественно к ночи, а если другой раз и с утра, то после приема жует гвоздику и тем безопасит себя от подозрений.

Для младшего лейтенанта Комарова редактор был величиной недостижимой. Всего лишь один раз предстал он перед ясны очи Михаила Константиновича, и то не сразу по прибытии, а лишь несколько дней спустя. Разговор был короткий: «Так ты и есть тот самый Комаров, которого Слесарский держал в черном теле? Что умеешь делать?» — «Все умею. Карандаши затачивать, например...» — «Молодец. Ступай... Постой. «Красная звезда» за что?» — «Вроде бы ни за что. После ранения не рвался в тыл, может быть за это», — «Молодец. Просьбы, претензии?» — «Всем доволен». — «Молодец. Ступай».

В кругу равных по должности и ближнего начальства Комаров быстро освоился. Есть такое выражение: «нашли общий язык». Его понимают как иносказание, а в то же время в нем заключено содержание вполне конкретное: определенному кругу людей свойствен определенный язык — речевой стиль, словарный состав и даже интонации.

Комаров не переставал удивляться, сколько незаурядных, нестандартно мыслящих, он сказал бы даже выдающихся личностей собрала эта редакция. Начальником отдела информации был тридцатилетний ухарь-брюнет капитан Четвертухин. Его имя Генрих, весьма непопулярное в военное время, могло бы стать для него источником неприятностей, однако отчество Иванович в известной мере устранило возникающие подозрения. Генрих обладал набором качеств, делающих его незаменимым в своей должности: неистощимой фантазией, неукротимой энергией, неподражаемой раскованностью и общительностью. Среди армейских штабистов, да и в каждой дивизии у него было полным-полно друзей-приятелей. Он знал все обо всем, и если бы не был он за панибрата также и со смершевцами, то попасть бы ему давно под трибунал, потому что держать язык за зубами было не в его правилах. Он первым объявил в редакции и то, что идем на Берлин, и что Первый Бело-

русский фронт преобразуется в Центральный, потому что Белоруссия осталась позади, а впереди Варшава. «Даешь Варшаву, дай Берлин, мы врзались в Крым» напевал он как обычно себе под нос куплеты незабываемого «Буденовского марша», строча очередной шедевр для рубрики «Герой дня». При этом он безбожно искажал мотив, потому что ему, как он сам утверждал, на ухо наступил даже не медведь, а собственной персоной африканский слон. «Мы беззаветные герои все, и вся-то наша жизнь есть борьба, борьба!» Великие слова, мудрейшие и пронизательнейшие, высказывался он, если рядом находилась живая душа, но никогда нельзя было понять, говорит ли он серьезно, или иронизирует, такая была его манера.

Майор Петров, годами под сорок, до войны был рьяным активистом Осоавпахима, неоднократно выигрывал у себя на родине первенство города по стрельбе из малокалиберной винтовки и вел в редакции областной газеты, где ведал рубрикой физкультуры и спорта, стрелковый кружок. Он был большим знатоком военных наук и уставов, любил критиковать армейское командование и давал прогнозы по развитию обстановки на фронтах, которые нередко сбывались. — А в мировом масштабе могли бы? — спрашивал Комаров своего непосредственного начальника, подражая Петьке из «Чапаева». — Не разрешат, в чины не вышел — парировал майор Петров и расплывался в улыбке. Удивительно дружно жила редакция армейской газеты, и было в ней Борису Комарову так хорошо, как еще никогда и нигде.

В некотором смысле чужеродным телом выглядел в этой компании майор Нестеренко, который, как заместитель редактора, заведовал партийным отделом. Сугубо сдержанный и официальный в своих высказываниях, он удостоился прозвища «идейное бревно». Однако его авторитет не падал до нуля по той, казалось, побочной причине, что ему удалось завоевать расположе-

ние самой интеллектуальной девушки редакции, старшего корректора Вероники, и они вовсе не старались держать в строгой тайне свои отношения, несмотря на то, что где-то под Курском майора дожидалась — увы, напрасно — его законная жена с двумя дочерьми.

Вдруг наступило почти мирное время. Армию действительно повернули на юг, эшелоны один за другим отправлялись по рокадной дороге через Шауляй, Кедайнйя, Ионаву на Варену и Гродно. Ехали, главным образом, по ночам, перегоны проскакивали на предельной скорости, а днем больше отстаивались на небольших станциях, но все предосторожности казались излишними, погода стояла пасмурная, туманная, немецкая авиация не причиняла беспокойства.

В Польшу входили с черного хода. Ни дворцов, ни поместий шляхетских не попадалось на пути, одни деревушки неказистые, совсем как в соседней Белоруссии, далее еще беднее. Почерневшие от осенней сырости срубы, холопы в ветхой одежде.

«Ниц нема, вшистко герман забрал».

Да не надо нам от вас ничего, успокойтесь, братья славяне!

Недели две-три стояли в каком-то хуторке, никто не запомнил его названия, занимали обширную избу. Хозяин — горбатый, худой и заросший щетиной — приходил под вечер, рассказывал что-то невеселое, никто ничего не понимал, но сочувственно кивали, делились табаком, дарили на прощанье банку американской тушенки, и он уходил, дзенькуя с поклонами. Семья у него большая, жена и то ли трое, то ли четверо девиц на выданьи, ютились в подвале соседнего дома, девицы наружу не показывались, а хозяйка приходила по утрам, мыла полы и приносила воду из колодца.

«А почему ваши девчата не ходят к нам в гости?»

«Не розумем, цо мувишь... Ниц нема, вшистко герман забрал».

Чего стоим? Чего ожидаемся? Солдаты, впрочем,

особенно не жаловалась, идти в огонь всегда успеется, но все же было непонятно, почему медлим с наступлением на Варшаву. И не сиделось на месте в эту слякотную пору: осень не осень, зима не зима. Поскорей бы уж кончать с этой волюнкой, неужто немцам не ясно, что они проиграли войну?

— Не торопись на тот свет, там самогонки нет, — высказывался Сашка Лундстрем.

— Мы во втором эшелоне, — пояснил Генрих Четвертухин, который, как обычно, все знал. — Нас приберегают для великих дел.

Ехали, ехали, и очутились в Праге.

— Чего? Как это — в Праге?

— Не волнуйся, мы не сбились с пути. Наша Прага — это предместье Варшавы, ее правобережная часть.

— Вот оно что... Значит, не одна на свете Прага.

— «Ведь не одна лишь только на всем свете есть Параша», — спел Левка Крупинич, у которого на все случаи жизни находилась цитата.

— А в пятьсот восьмом полку есть один сержант, который освобождал Нью-Йорк от немецко-фашистских захватчиков.

— Ага, это в Донбассе...

Такие разговоры...

И наконец — Варшава. Боже праведный, во что ее превратили!... Груды битого камня, закопченные стены, торчащие под низкими серыми облаками, пахнет горелым, трамвайные рельсы дугой и спиралью, и безлюдье, безлюдье, безлюдье...

На запад продвигались опять без боев. Кто-то там расчищал дорогу, или немцы бежали, не чужая под собой ног, едва прослышав, что сам Левка Крупинич идет на них ратью. Веселый, торопливый период: много продвижения и мало крови.

Газета наполнилась рассказами о подвигах двухмесячной давности и поучениями на тему боевого опыта. Скукой веяло от ее страниц.

Подступала весна, всем хотелось чего-то возвышенного. Левка Крупинич писал стихи про любовь солдата, Юра Лютов бросал их в корзину. Левка не обижался, но сразу же облакал происшедшее в поэтическую форму:

«Ваши вдохновенные стихи, тем, товарищ капитан, плохи, что вы в них не отразили опыт — он пехоты крылья, вы остались к опыту глухи. Где же, где наш опыт боевой? Где же ближний, где же дальний бой? Где же танки и машины, где подложенные мины, где же перебежки со стрельбой? Опыт, только опыт боевой, ну а дальше чтоб ни в зуб ногой. Наш читатель должен лопать только опыт, только опыт, вдохновенье с лирикой долой.»

Так сочинял на ходу Левка Крупинич, и все распевали его актуальные вирши на мотив «Жил-был на Подоле Гоп со смыком».

В Бромберге — немцы, едва захватив пять лет назад польский Быдгош, переименовали его на свой лад — наше войско освободило большой лагерь военнопленных из союзных армий. Канадцы, в опрятной форме из легкого, мягкого сукна цвета хаки, разгуливали по городу, распивали с нашими солдатами трофейный шнапс, обнимались и клялись в вечной дружбе. Дружить с канадцами все были рады, но про себя каждый удивлялся, как непохожи были военнопленные союзных войск на наших — оборванных, истощенных, еле волочащих ноги...

Померания... Немецкая земля? Нет, считаем, что это все еще Польша. Была когда-то особым славянским княжеством, легенды про князя Богуслава еще не забыты среди польских батраков в немецких поместьях по Одру и Варте... Правофланговые корпуса повернули на север. Сходу взят Нойштеттин... Вот тюрьма на окраине города. До чего же здесь все рационально, в пролетах нет ни стен, ни полов, одни решетки из толстых железных прутьев, железные ступеньки с этажа на этаж. В

конце длиннющего коридора огромная свалка, ах, нет, энтшульдигунг, какая же это свалка, все уложено в полном порядке: кучи человеческих волос — черных, русых, светлых, вьющихся и прямых, всяких — сырье для текстильных фабрик. Груды ботинок и туфель, больших и совсем маленьких, на детскую ногу, — сколько их тут, аккуратно связанных попарно? Кто носил их при жизни, кому предназначались они после смерти владельцев? Это надо было показать всем, кто устал от войны. Это снимало усталость и возбуждало жажду возмездия...

А впереди еще был Шнайдемюль...

27.

...А потом был Шнайдемюль.

В переводе с немецкого — лесопилка. Какой-то роковой смысл чудился в этом названии.

Что знали мы об этом городишке? Любознательные, возможно, слышали краем уха, что познанские эти земли исконно принадлежали братьям славянам, но возбуждали аппетиты западного соседа. История отмечает три капитальных раздела Речи Посполитой, а после наполеоновских войн, по приговору Венского конгресса, образовалось Великое герцогство Познанское, отданное во владение Пруссии. Польское селение Пила переименовали в Шнайдемюль, а речка Гида, что приводила в движение колеса его мельниц и лесопилок, стала называться Рюддов.

Жители Пилы-Шнайдемюля кормились, стало быть, от лесопиления и мукомолья, а также пивоварения и мебельного ремесла. Действовали здесь еще и предприятия по изготовлению крахмала, костной муки и, разумеется, кирпича и кровельной черепицы, не говоря уже о всяких мелких ремеслах. Сделавшись железнодорожным узлом на пересечении магистралей Бер-

лин— Кенигсберг и Познань—Штеттин, городок продвинулся в своем развитии, появились чугунолитейный завод и металлообработка, но в основном Шнайдемюль с его пятьюдесятью тысячами жителей остался типичным центром аграрного района. Население этой окраины рейха отличалось необычной для Германии пестротой, до прихода к власти нацистов здесь уживались евангелическая церковь, католический костел, межконфесснальная церковь и синагога.

Оно бы не беда, что в штабах ничего не ведали про церкви и синагогу, теперь-то наверняка уничтоженную фашистами, хуже, что не имели достоверных сведений ни про численность, ни про намерения группировки немецких войск, оставшихся за спиной наших дивизий в районе Шнайдемюля. Серьезного сопротивления не встретили, вот и ладно, — вперед, на запад!

Если случается что-то непредвиденное, значит, кто-то чего-то не предусмотрел. При столь огромном превосходстве сил — попасть в такую мясорубку! Это надо уметь...

Ревущей лавиной рванулись немецкие танки. За ними на бронетранспортерах и грузовиках, поливая местность огнем автоматов и ручных пулеметов, помчалась мотопехота, артиллерия всех родов замыкала колонны, посылая с коротких остановок фугаски и шрапнель.

Потом обо всем этом скупо скажет полководец: «Раньше мы получали хорошие разведывательные сведения от наших партизанских отрядов, действовавших в тылу врага. Здесь их у нас не было». И «... в ходе Висло-Одерской операции наши части понесли серьезные потери». Но для войска, для «живой силы», происшедшее выглядело не столь бесцветно.

Прибавилось работы похоронным командам. Об этих скорбных и немногочисленных подразделениях, имевшихся при каждом полку и каждой отдельной части, не писали в газетах. Но они существовали, функци-

онировали, и без них ландшафты, оставленные ушедшими вперед наступающими частями, выглядели бы еще безутешнее.

Младший лейтенант Комаров и капитан Крупинич, возвращаясь из очередной командировки, разыскивали свою редакцию. Шли местами только вчера утихших боев и обсуждали события. Точные размеры понесенных потерь никому не были известны, но активность похоронных команд, которым были приданы ездвые санитарных рот, говорила о многом. У дорог, по которым брели приятели, группы пожилых солдат без ремней, хмуро и молча работали лопатами, отрывая братские могилы. По полю парами бродили деды в мешковато висящем обмундировании, разыскивали еще не найденные трупы.

Лева Крупинич, никогда не перестававший сочинять стихи, декламировал в такт своей походке:

— ...Ипатыч, старичок преклонный.
Казарм солдатских старожил,
Служил в команде похоронной
И на кладбище сторожил.
Планеты нашей обитатель,
Войдя в преклонные лета,
Что ждет и нас с тобой, приятель,
Найдет, что жизнь уже не та:
И солнце будто бы не греет,
И водочка не веселит,
И тело брренное болеет,
И грешная душа болит,
И глухо сердце к страсти нежной,
Одно уж слово — инвалид,
И мысль о смерти неизбежной
Бессонной ночью мозг сверлит...

— Как находишь? Эго пока только отрывок. Будет целая поэма. Называется «Супостат», — объяснил Лева

Крупинич и начал излагать содержание.

Но Комаров не слушал. Его внимание привлек одинокий белый домик под черепицей, завидневшийся вдаль. Они шли по косогору, дорога плавным закруглением опоясывала приплюснутый песчаный холм, почти лишенный растительности, его скудный вересковый покров даже теперь, ранней весной, выглядел высохшим и вялым. Слева, в широкой вмятине холма, примостились неуклюжие каркасные строения какого-то хутора, а справа, внизу, обок ручейка, петляющего по плоской долине, сочно зеленел ковер из осоки, и пушистый ивняк окаймлял лобастые берега... Вот там бы и разместиться нашей редакции, подумалось Борису, уж больно приветливым казался живописный этот уголок, мирным и безмятежным.

Но лишь какие-то мгновения смог он полюбоваться столь приглядной картиной, и тот час же идиллия рухнула. Из дверей белого домика стали выходить один за другим немецкие солдаты. На них была новенькая форма, еще не успевшая обтереться в боях и походах, потерять свою первозданную сероватую голубизну, очевидно это были новобранцы, совсем недавно вставшие под знамена. У некоторых виднелись свежие белые повязки на голове и на руках. Выходили они неловко, на заплетающихся ногах, и боязливо оглядывались, а сзади их подталкивали дулами автоматов одетые в маскхалаты красноармейцы. И едва эта разнородная группа отделилась от домика по зеленой лужайке на несколько шагов, раздалась автоматные очереди, и серо-голубые повалились в траву.

— Боже, что они делают! — вскрикнул Борис Комаров, схватившись за кобуру, и рванулся было в ту сторону, где творилась расправа. Но Крупинич цепко схватил его за плечо:

— Ты что, спятил? Пришьют и глазом не моргнут, да еще из немецкого автомата, чтобы никаких доказательств. Впрочем, в качестве покойника тебе ничего не

придется доказывать.

Младший лейтенант Комаров застыл в нерешительности. Да, они все могут, этот сорт вояк был ему знаком...

А расправа у белого домика продолжалась. Рыжеватый, тонкий и хлипкий, совсем молоденький солдат отказывался идти вперед, оглядывался с мольбой и отчаянием на коренастого парня в нашенской форме, а тот толкал его все решительнее, и в момент, когда солдатик посмотрел вперед, выстрелил ему в затылок из пистолета. Солдатик упал и забился в конвульсиях, и пока он еще содрогался всем телом, убийца уже шарил в его карманах, и зорким глазом Борис Комаров разглядел, как блеснул в руке победителя серебряный портсигар. Урки? А может быть это из тех, кто натренирован в таком виде стрельбы?

Друзья продолжали свой путь в подавленном молчании.

— Я подам рапорт, — сказал наконец Комаров.

— Бесполезно, — отозвался Лева Крупинич. — Кто станет разбираться? И потом — что мы знаем по сути дела? Может быть, это были приговоренные трибуналом за какие-нибудь злодеяния?

Может быть! Все может быть. Когда надо оправдать свое малодушие, человек находит тысячу объяснений. Может быть, немцы вот так же расстреливали наших. Может быть, у этих разведчиков родные погибли от рук оккупантов... И вообще, как можно вступаться за вражеских солдат, выступать на их стороне против наших доблестных воинов? Мысли тяжелые, горькие и путаные. Но тот белый домик у ручья в зеленой долине будешь ты вспоминать, Борис Комаров, еще не раз, когда речь пойдет о нашей священной, справедливой войне.

Дилетанты недоумевали — да что там, негодовали даже: почему сходу не форсировали Одер, не рванулись па Берлин? Ведь продвижение было таким стре-

мительным... Не давать врагу опомниться, учил Александр Васильевич Суворов. Беда, коль дилетант заветы классиков толкует...

Генерал-полковник Ковальчук не был дилетантом, он был профессионалом высокой марки и целиком одобрял решения маршала, не поддававшегося авантюристическим подхлестываниям Верховного. Многоопытному штабисту было ясно как день, что при быстрым и длительном продвижении отстают войсковые тылы, растягиваются коммуникации, а отступающий противник неспроста уклоняется от решительного сражения, он стремится, избежав крупных потерь, сосредоточиться где-то на подготовленной линии обороны. Не вызывало сомнений, что такая линия пройдет по водному рубежу Одера. Достигнув правого берега реки и овладев небольшим левобережным плацдармом у Кюстрина, войска остановились на отдых.

Командование армией вместе с третьей генеральской звездой Юрию Михайловичу Ковальчуку досталось недавно, после отстранения от должности прежнего командующего, оскандалившегося под Шнайдемюлем. Повое назначение он принял без особого воодушевления, но и без колебаний, как подобает человеку зрелому и здравомыслящему. Отсчет годов его земного пребывания приближался уже к пятидесяти.

Будучи до недавнего времени начальником оперативного отдела штаба фронта, генерал Ковальчук постоянно находился под гнетом неотвязной мысли: как бы чего не упустить! Теперь, когда круг забот многократно расширился, ему припомнилось изречение: нельзя объять необъятное. Девизом его деятельности как командующего стала противоположность прежнего: как бы что упустить! То есть, надо сосредоточиться на главном и оставить помощникам все то, что входит в их компетенцию. Исходя из понимания стратегической идеи, состоящей в том, что наступление скоро будет продолжено, он оставил на свою долю три основных

задачи: изучение обороны противника, разработка вариантов наступательных операций и личное знакомство с командирами частей.

В Н-ской дивизии, уже не раз отличившейся и поименованной по одному из освобожденных городов, его внимание привлек командир одного из стрелковых полков. Был он ростом невелик, мешковат, выправкой не отличался (а выправку Юрий Михайлович в военных людях ценил; он и сам — рослый, поджарый, весь напряженный — мог бы служить примером для иных лейтенантов). Зато этот подполковник поражал зычностью голоса, когда, скомандовав «смирно», отдавал рапорт, и еще преданным блеском в глазах, повадкой услужливой, но без суеты. Нетерпеливое ожидание приказа и готовность выполнить его без промедления и во что бы то ни стало, были написаны на его широком, блинообразном, сияющем от усердия лице. Этот способен на многое, подумал командующий. Такие бывают незаменимы в определенных ситуациях.

Начальник кадров дал потом такую справку: Симочкин, Петр Данилович, 1909 г. р., крестьянского рода, член ВКП (б) с 1931 г., окончил Военно-политическую академию, к началу войны секретарь корпусной парткомиссии в чине комбрига. При отступлении бросил на произвол судьбы все свое хозяйство, потерял сейф. Хотели расстрелять, однако миловали, и даже исключен из партии не был, а только понижен в звании до майора и переведен в строевые командиры. Почему так милостиво с ним обошлись, кто знает?... Вероятно, состоит в родстве с каким-нибудь влиятельным лицом. В дальнейшем проявил себя положительно, награжден орденами...

Понятно. Дослужился до командира полка, но дальше дороги нет, образование неподходящее. Надо держать на примете.

Генерал Ковальчук пока что остался доволен подбором командиров дивизий и полков, а те в своем

большинстве прониклись доверием к командарму.

Соединения и части уже прославленной, но идущей навстречу еще более громкой славе армии расположились широким полукругом по правому берегу Одера, великой реки, отделяющей исконно германские земли от исконно славянских. Впрочем, просторы Померании давно уже были освоены немцами, ее города и городки приобрели немецкий облик, получили немецкие названия, и сохранившееся население польского корня лишь окончаниями фамилий на «-ский» да соблюдением католического обычая напоминало про связь времен.

Чистенькие, опрятные, оставленные без боя городки изумляли спокойствием, но тишина их была мертвящей. Кто населял эти белые домики, эти маленькие, даже в своей опустошенности аккуратно прибранные квартиры? Похоже, будто жители, покидая насиженные места, то ли рассчитывали на скорое возвращение, то ли заботились о том, чтобы пришельцы не подумали о них плохо. Почти не видно было ни мусора, ни разбросанного старья, и даже пустые собачьи будки в мощеных двориках стояли в готовности принять обратно своих обитателей, а на улицах не было видно бродячих собак. Эти улицы, как будто вчера подметенные, мощеные серым булыжником, с узкими тротуарами, вымощенными таким же камнем, только меньшего размера, словно бы приглашали пришельцев блюсти заповедный порядок. Странно, удивительно, трудно объяснимо, но солдаты, пришедшие сюда сквозь дым и стон белорусских и польских пепелищ, прониклись вдруг почтением к этому царству чистоты и благоустроенности.

Но, разумеется, искали «трофеи». Со вступлением на вражескую территорию вышел приказ Верховного, разрешающий посылки с фронта. Они нас грабили? Грабили. Так пусть же торжествует справедливость! Шарилы по гардеробам, кованным сундукам, по чуланам и

даже по чердакам, находили малоношенные платья и костюмы, простыни и полотенца, а случалось и золотые часы, забытые впопыхах на туалетном столике, стаскивали скатерти с обеденных столов, изымали хрустальные бокалы и графины из буфетов, нередко с недопитыми винами и коньяками.

— До какого позора докатились! — восклицал Андрей Лютой, великий трезвенник и чистоплюй.

— От бедности это, — подавал голос Володя Завадский, старший лейтенант из артиллеристов, вдоволь навоевавшийся автор окопных стихов, недавно приглашенный в редакцию.

— Бедность не порок, но большое свинство, как уверяли наши предки-языкотворцы, — отзывался Лева Крупинич. — Это еще цветочки, ягодки появятся, когда наше доблестное воинство увидит настоящую Германию. Да и какой спрос с Грицко из-под Полтавы или с вологодского Ивана, когда товарищи генералы нагружают вагоны — не сами, конечно, — роялями, картинами, сервизами, заморскими сукнами и прочими предметами обихода проклятых буржуев и всяких там графьев...

— И правильно, зачем отправлять обратно по-рожные составы? Привезли снаряды, увезли наряды, естественный круго-обмен веществ, — заключал остро слов и циник Генрих Четвертухин.

Язвили безбоязненно в адрес высшего начальства, обсуждали — без зависти — карьеру каптенармуса, сопровождавшего комдивский груз до самого порога дачи: поехал старшиной, вернулся лейтенантом.

— Погодите, сделается еще и полковником, и будете стоять перед ним навытяжку, — угрюмо предвещал Крупинич.

Редакцию поместили в городишке совсем невеликом, едва ли более чем на полуторы-две тысячи постоянных жителей, но ажурные летние павильоны по берегу круглого как тарелка озера, и приставка «Бад-» вну-

шали догадку, что в сезон сюда съезжались курортные гости.

В распоряжении редакции с типографией, а также приданной им кухни-столовой, оказалась целая улица. Ах, какие уже тут улицы, все как игрушечное, словно на сцене детского театра! На этой Зеештрассе стояли вплотную друг к другу одноэтажные домики, всего-то восемь по одну сторону и столько же по другую, и с одного ее конца на другой можно было переговариваться, не повышая голос. Уютное это расположение настраивало на мирный лад, а близость озера даже на курортный.

Борис Комаров, как-то естественно вошедший в компанию с Крупничем, Четвертухиным и Завадским, уже привык к тому, что на всех стоянках их дружная четверка селилась вместе. На этот раз им достался приземистый, без цоколя, домик, оштукатуренный и побеленный снаружи, как все в его ряду. По фасаду растянутый в длину, позади он уходил в тыл двумя крылами, между которыми приютился миниатюрный садик с клумбами и подстриженными деревцами. Каждое утро, выходя в садик, чтобы сделать зарядку, Борис Комаров с удивлением поглядывал на свежеувлажненные клумбы — кто бы это мог их полить?

Позавтракав в расположившейся напротив столовой, все разошлись по своим делам, кто в редакцию, кто в войска, а к вечеру опять сходились в своей большой комнате, где по стенам и посередине стояли четыре разномастных тахты, притащенных откуда попало в эту общую спальню. Вернувшись как-то первым после похода в ближний учебный батальон, Борис Комаров запустил руку под подушку своей постели, чтобы взять оставленную с утра нижнюю рубашку, предназначенную для стирки, и отправиться с ней на озеро. Рука шарилась в пустоте. Странно. Воровать тут было вроде бы некому. Он издал недоуменное «фм» и вышел в садик, чтобы осмыслить происшествие, за папиросой. Между

столбиками балюстрады, опоясывающей внутренний периметр дома, была натянута веревка, и на ней, закрепленная двумя прищепками, висела его чисто выстиранная рубашка.

В гномов Борис Комаров не верил. Смутная догадка зародилась в его голове, он стал приглядываться к окошкам двух флигелей, окаймлявших дворик, и заметил, как шелохнулась занавеска на одном из окон правой пристройки. Он прошел по галерее к двери флигеля и потянул за ручку, но дверь оказалась запертой изнутри.

— Эй, кто там! — крикнул Комаров. — Выходи!

Послышались робкие шаги, затем звук откинутого крючка, дверь отворилась, и на пороге показалась женская фигура. Сначала Комаров принял ее за девочку, не по годам вытянувшуюся в рост, настолько она была худа и неуклюжа, но, приглядевшись, он понял, что перед ним взрослая женщина, только сильно исхудавшая и скованная не проходящим испугом. Синее платье из добротной шерстяной ткани висело на ней, словно было с чужого плеча, шея торчала из широкого выреза как стебель цветка, и на бледном, тонком лице виновато и покорно лучились светло карие глаза. Позади, в полутьме тесной прихожей, виднелось другое лицо, выглядывающее из-за косяка двери, ведущей вовнутрь жилья.

Справившись с удивлением, Борне Комаров произнес, указывая большим пальцем себе за спину, в направлении выстиранной рубашки.

— Ду?

— Ja, — торопливо заговорила худенькая незнакомка. — Wir machen hier sauber, aber nicht eigenmächtig, es ist uns von Ihrem Herr Natschalnik befohlen, seien Sie uns bitte nicht böse.²

² Мы здесь убираем, но это не самоуправство, ваш господин начальник приказал, пожалуйста, не сердитесь на нас. (нем.)

Она говорила еще что-то, так же непонятное Комарову, но общий смысл он уловил, вернее догадался, что этим двум немкам было приказано убирать в доме. Но кто они? Хозяйки? Беженки, заброшенные сюда военными ветрами? Или, может быть, шпионки? Как это выяснить, зная по-немецки едва ли десяток слов? А не попробовать ли с английским? В студенческие годы он увлекся им основательно, зачитывался Диккенсом в оригинале...

— Do you speak English?

Худенькая виновато пожала плечами. Ее подруга — сестра? Родственница? — вышла из-за двери:

— Nix English, in der Schule schlecht gelernt, alles vergessen.³

Комаров догадался, что она коверкает язык, желая облегчить ему понимание, таков общераспространенный предрассудок.

— Gut, — сказал он. — Danke, что выстирали рубашку.

Пусть привыкают понимать по-русски, подумал он как бы в шутку и улыбнулся сам себе.

Американцы говорят *keep smiling*, то есть улыбайся всегда, везде и в любых обстоятельствах. Интересно, а в бою они улыбаются тоже? Но здесь война на время притихла, объявлен антракт.

Обе немки не только заулыбались в ответ, они еще и прыснули совсем по-деревенски, рассмеялись в голос. Смущаясь своего веселья, они отворачивались, потом все больше смелели, в упор разглядывали русского офицера, пугались своей смелости, прыскали снова, сами не понимая, чему радуются, а Комаров стоял перед ними как на выставке, застыл в нерешительности, озадаченный таким поворотом дела. Наконец, пришла плодотворная мысль:

— Позвольте вас слегка отблагодарить,

³ Не знаем английского, в школе плохо учили, все забыли.

уважаемые дамы,— сказал он, нимало не заботясь о том, понимают ли они его слова.

Жестом он показал на дверь, ведущую в офицерское общежитие, вошел первым, «дамы» несмело последовали за ним. Порывшись в тумбочке, данной ему во владение на двоих с Володей Завадским, он достал пачку печенья из своего офицерского доппайка и протянул худенькой гостье. Та конфузливо отступила, совсем как маленькая девочка, и спрятала руки за спину, однако другая решительно шагнула вперед, отчитав подругу:

— Sie doch nicht so dumm!⁴

Комарову показалось, что он начинает понимать по-немецки.

Через полчаса раздался робкий стук в дверь, и худенькая в синем платье внесла на согнутой руке выглаженную рубашку Комарова.

— Ein Knopf fehlt. Ein Knopf,⁵ — повторила она, указывая на то место выреза нижней рубашки, где действительно отсутствовала верхняя пуговица.

— Да ладно, черт с ней, — ответил Комаров, принимая рубаху от худенькой немки. При этом его пальцы слегка коснулись её предплечья.

— Никс ладно, — возразила Худенькая. — Suchen Sie mal einen Knopf, ich werde ihn annähen.⁶

Она все больше осваивалась и смелела. Господин русский офицер оказался вовсе не так страшен.

— Нет у меня этой пуговицы, — сказал Борис с наигранной суровостью.

— Verloren?

— Ага, потерял.

— Warten Sie mal,⁷ — сказала Худенькая и исчезла за дверью. Через пару минут она появилась снова, дер-

⁴ — Да не будь ты такой дурой! (Нем.).

⁵ — Пуговицы не хватает. Пуговицы. (Нем.).

⁶ Поищите пуговицу, я ее пришью. (Нем.).

⁷ Подождите-ка. (Нем.).

жа в руках белую пуговичку более или менее подходящего размера и катушку белых ниток с иголкой. — Darf ich mich setzen⁸?

Не дожидаясь разрешения, она присела на край постели Бориса и приступила к пришиванию пуговицы, такому женскому, домашнему, умилительно семейному занятию.

Тем временем стали возвращаться друзья-сожители.

— Ого, — сказал Генрих Четвертухин, — у тебя уже фрау! Кто бы ожидал от скромного подпоручика такой гусарской прыти!

— Боря! А что скажет наш кухонный персонал, так незаслуженно обойденный твоим вниманием? — сказал Лева Крупинич.

Володя Завадский, пришедший последним, ничего не сказал, а только засвистал запрещенный на фронте мотив Табачникова: «После тревог спит городок...».

Поздним вечером Борис Комаров вышел в садик, затем лишь, как он себя уверял, чтобы выкурить папиросу на сон грядущий. Справа, в полумраке звездной ночи, он разглядел тонкую фигурку, нагнувшуюся у балюстрады, и бледный овал лица.

— Что, не спится? — сказал он, подойдя по гравийной дорожке сада, наполненного верещанием сверчков...

Между тем оборона немцев по Одера была прорвана, войска двинулись на Берлин. Приказ о снятии с якоря ждали со дня на день, и все же, как ожидаемое, он поступил внезапно. Грузились поспешно, все вместе без различия рангов, усаживались на чемоданы в двух открытых грузовиках... У дверей покинутого домика на Зеештрассе стояли две подруги, они помахали рукой вслед удаляющимся машинам, и никому не показался неуместным этот прощальный жест.

⁸ Можно, я сяду? (Нем.),

А Борису Комарову вспомнилась старая-престарая песенка, которую он слышал, будучи еще «комиссаром», от своих колымских подопечных: «И тут извозчику взгрустну-взгрустну-взгрустнулося, слезу он горючу уронил...». Как-то само собой в голове стали складываться стихи:

Прощай, моя гретьхен, подруга случайная,
Взгляни поласковой в последний раз
Ну вот и окончена любовь наша тайная,
Любовь солдатская, любовь на час.
Уйду я завтра дорогой длинною
Походкой твердой, строевой,
И может быть, в бою погибну
От пули брата твоего...

Он понимал, что стихи плохие, и даже не стал их записывать, а только повторял про себя отрешенно и растроганно. По все же продекламировал своему ближайшему другу Володе Завадскому. Тот никак не отозвался о стихах, а только протянул фляжку с чем надо, которую всегда держал при себе:

— На, глотни...

28.

В большой комнате, где с позавчерашнего дня поместилась редакция, все громоздилось вперемешку: ящики с имуществом, банки с типографской краской, подшивки газет, некогда было разбираться и наводить порядок, каждый час можно было ожидать нового приказа на перемещение. Пока что занимали этот белый домик на окраине Б. — городка в сорока километрах к северу от германской столицы.

Примостившись за единственным огромным столом, заваленным всякими пожитками, сидели трое: от-

ветственный секретарь майор Лютов, машинистка Вера и лейтенант Комаров, наспех переносивший содержимое своего истрепанного блокнота на листки, которые он тут же передавал машинистке. Все «разбойники пера» лишь накоротке появлялись в редакции, чтобы отписаться на скорую руку и вновь отправиться в войска. Шел четвертый день последнего, решительного наступления.

— Наши в Берлине! — крикнул с порога Генрих Четвертухин.

Майор Лютов вскинул голову, оторвавшись от чтения. Перед ним лежала целая кипа так называемых «оригиналов», он распределял их по срочности перед отправкой в набор.

— А ты не того? В сводке Информбюро ничего такого не сказано.

— Им пока не велят, — стоял на своем капитан Четвертухин. — Танки и пехота уже в Вайсензее. Посмотри по карте, Вайсензее — это северо-восточный район Берлина. А Информбюро сообщит на другой день. Зачем это нужно? А хрен его знает. Может, бояться, что наших выбьют обратно. А может, хотят задурить голову союзникам, чтобы те не спешили...

— Ну, ты стратег! — буркнул Лютов и снова погрузился в вычитку оригиналов.

— Я попросил бы не обзывать, — огрызнулся Четвертухин.

— Стратег у нас один, а мы евонные солдатики, — вставил Борис Комаров, уплачивая дань всеобщему вольнодумству.

С первого дня апрельского штурма Борис Комаров находился там, где стреляли. «Это есть наш последний и решительный бой...» Да нет, похоже, что не последний! Почему так отчаянно сопротивляются немцы? Неужели им не ясно, что их шансы равны нулю? На что они надеются? Зачем не сдаются?

«Лучше смерть на родине, чем измена ей». Слова

из рассказика, прочитанного когда-то в детстве в старой-престарой, дореволюционной хрестоматии. Эти слова произносил Сокол, чем-то провинившийся перед соплеменниками. Они прогоняли его на чужбину, он же предпочел отдать себя им на растерзание. Почему эта притча припомнилась ему сейчас? Не потому ли, что здесь, на подступах к Берлину, стал он свидетелем происшествия, слишком уж напоминавшего подвиг одного советского летчика в начале войны?

Небольшая река протекала на пути наших танковых колонн, и через нее был наведен понтонный мост. Комаров стоял на высоком песчаном обрыве рядом с командиром стрелковой роты, ожидавшей приказа на вступление в бой. Там, внизу, одна за другой, с интервалом, потому что мест выдерживал только одну машину, переправлялись на западный берег быстроходные тридцатьчетверки. И вдруг послышался над головой оглушительный рев авиационного мотора, из-за чащи лесной вынырнула, низко проносясь над обрывом, серая крылатая морковка «мессершмитта». Самолет описал короткую петлю над переправой и камнем ринулся на деревянный мостик. Грохнул взрыв, и не стало ни моста, ни самолета.

Верить своим глазам или не верить? Как назвать происшедшее? Если бы это был не их, а наш летчик, а переправа была бы через Пахру или Клязьму, а танки были бы немецкие, это называлось бы подвигом. А тут? Безумство отчаяния, не больше того... Но классик сказал, а мы повторяли: «Безумству храбрых поем мы песню». Свихнуться можно от этих мыслей.

И все же продвигались быстро. Шутка ли, полсотни километров от исходного рубежа до окраин Берлина преодолели за четыре-пять дней. Оборона немцев была плотной только по основным транспортным магистралям, а в промежутке между ними пехота шла через чистые, ровные пашни, через овощные плантации, изрезанные геометрически правильными канальчиками

оросительных систем. Встречали недолгое сопротивление на хуторах, окруженных едва зазеленевшими вишневыми, грушевыми и яблоневыми садами. На хуторах сидели, притаившись, немногочисленные группы с автоматами и ручными пулеметами, зачастую они пропускали наступающих, чтобы стрелять им в спину и нечем было ударить по этим хуторам, артиллерия не могла продвигаться по этой изрезанной канавами местности. Похоже, у противника не хватало войск, чтобы эффективно обороняться на широком фронте.

Старый знакомый лейтенанта Комарова капитан Александр Усатов, замкомбата по политчасти, прикомандированный к первой роте, действовавшей на левом неприкрытом фланге полка, зазвал его в крестьянский дом на только что занятом хуторке. На земле лежали незахороненные трупы его защитников. Два окна, обращенных на восток, были разворочены разрывом то ли мины, то ли противотанковой гранаты. На полу, в луже крови, валялись немецкая овальная каска и стрелянные гильзы от МГ, а сам МГ с покоруженным стволом торчал из обломков разрушенного пролета стены.

— Здесь мы положили четверых наших ребят, — сказал капитан Усатов, не глядя на собеседника. — Комроты ранен в голову. Ранены двое командиров взводов, — кажется, не опасно. Обидно терять людей под самый конец. В бой шли с азартом — знаешь, вроде того, как выходит на второй тайм выигрывающая команда. Каждый надеялся выжить. Отпраздновать нашу победу! Вот такие дела, лейтенант. Мы с тобой, кажись, пока еще живы. На-ка, глотни на дорожку. Сейчас старшина соберет остатки роты, связной пошел искать комбата, телефонисты потеряли кабель. На карте ни черта не поймешь, что это за точка. Нет ее на карте. Ну, ты пошел в редакцию? Бывай здоров. До встречи в логове зверя!

И — вот он, Берлин!

Не думалось, не гадалось и во сне не снилось

парнишке из рабочего поселка, что станет он военным корреспондентом и судьба забросит его туда, где творится История с большой-пребольшой буквы.

За что ему такая привилегия? По плечу ли ему такая ноша? Готов ли он к роли свидетеля столь выдающихся свершений, достоин ли ее? Сумеет ли дать показания, ничего не утаив и не исказив? Представится ли случай сказать во всеуслышание ту правду, которая доподлинно ему известна? Понимает ли он, что у каждого участника войны своя правда о ней, зависящая от того, какое место занимал он в рядах победителей или побежденных?

Никаких таких вопросов лейтенант в пропыленном и пропотевшем полевом обмундировании себе не задавал. Но по ходу событий ему пришлось раскладывать по сортам все то, что видел своими глазами и что узнавал от людей, честных и бесхитростных боевых командиров и солдат: вот это годится для скрижалей истории, а вот то надобно отложить в потаенные уголки памяти, а еще лучше накрепко забыть...

Сорок километров от исходных рубежей до окраин Берлина преодолели за четыре дня, а пять-шесть километров от окраин до центра продвигались в упорных уличных боях целую неделю. Двадцать седьмого апреля командование поставило задачу: двум полкам Н-ской дивизии овладеть зданием Министерства внутренних дел.

Под стеклянным продырявленным сводом Лертского вокзала⁹ разведчики родной дивизии пили кружками зеленый трофейный ликер, густой, как жирные сливки. Угощают бывшего соратника, неудобно отказаться, потом весь день ходил как очумелый и не мог смотреть на еду. Совсем ненужное приключение...

⁹ Вокзал западных направлений, названный по имени города и крупного железнодорожного узла Лерте, в 50 километрах к востоку от Ганновера.

Капитан Усатов («пока еще живы», вспомнилось Комарову), присев на край платформы, описывал, волнуясь и размахивая руками, как атаковали здание Министерства внутренних дел, недоброй славой «Дом Гимлера». Штурмовая колонна из пяти танков рванулась по мосту через Шпрее, близко подошла к зданию. Огнем своих пушек и пулеметов танкисты подавляли огневые точки эсэсовцев. Вперед двинулась пехота. От разрывов снарядов и мин вдоль набережной дым и пыль смешались в такую завесу, что солнца не было видно, хотя стоял ясный день. Ответный огонь оставался настолько плотным, что проникнуть в здание через двери и окна не было никакой возможности. Тогда танкисты пошли на таран. Отвернув башню в обратную сторону, раз, другой и третий били в стену поближе в восточной части фасада, и там образовался широкий пролом. В него был направлен интенсивный огонь, и скопившиеся в этом углу эсэсовцы с потерями отступили...

На этажах пахнет порохом. В пыли и обломках искалеченные столы, шкафы, сорванные с петель тяжелые двери.

Наверху стрельба. Кто стреляет? Где наши, где немцы? Комаров научился различать на слух огонь наших ППШ и немецких шмайсеров, наши тархтят звонче, но чуть тише, немецкие громыхают глухо и с оглушительным резонансом, когда в помещении. Но распознать, кто стреляет, все равно невозможно, потому что, случается, наши пользуются трофейным оружием. Не велено, но что делать, если в бою так сложилось... В минуту затишья Комаров взбирается по лестнице, заваленной обломками настолько, что едва различимы ступени.

Топча секретные бумаги, автоматчики куда-то несутся, как угорелые. А может они и вправду угорели, внизу что-то горит, дым ест глаза.

В отличие от дыма, стыд глаза не выест... Брось, чего тебе стыдиться, корреспондент Комаров? Ты же не

кривыми путями проник на корреспондентскую должность, сменив автомат и гранату на ручку и блокнот. Да, конечно. И все равно паскудно на душе. Кому ты здесь нужен? Вот вторгся ты, куда тебя не звали. А мог бы не вторгаться. Мог бы тихо-мирно сидеть в каком-нибудь политотдельском убежище, листать политдонесения, выписывать что-нибудь про подвиги во славу Родины и товарища Сталина...

На КП полка зазуммерил телефон.

— Седьмой, седьмой!.. Докладывает четвертый. Нахожусь в Министерстве. В намеченном здании. Ведем очистку верхних этажей. Вижу впереди непонятное сооружение, сильно укрепленное, серая глыба какая-то. Оттуда сильный ружейно-пулеметный огонь. Препятствует нашему продвижению к объекту атаки. Намерен обойти справа.

Объект атаки — это рейхстаг. Комполка Симочкин разглядывает карту.

— Что за глыба? В каком квадрате? — кричит в трубку. — Квадрат, квадрат укажи!

Комбат вперился взглядом в свою полукилометровку. Называет координаты. Комполка взрывается:

— Да что вы там за дубье, так вашу... Это же и есть объект атаки! Разуй глаза! Ты думал, там мраморные колонны блестят и медные ручки начищены, добро пожаловать, господа большевики? Атакуй, туда-т твою...

Комбат не обижается на матюги, он понимает: первыми овладеть рейхстагом — это случай войти в историю. Действительно, как это он не сообразил, что после стольких бомбардировок и артобстрелов рейхстаг не будет выглядеть дворцом.

— Ты очень-то не высовывайся, — говорит новоиспеченный комроты старшина Улыбин. — Чего на него смотреть, на ихний рейхстаг. (Это он придуривается, играет в невежду, каким, по его мнению, положено быть

в его шкуре, а на самом деле учитель, сельский интеллигент — с высшим образованием). — Глыба — она и есть глыба...

Все как-то не вяжется, не согласуется одно с другим в этом тридцатипятилетнем увальне. По-медвежьи неуклюж и мешковат, но в движениях сноровист, скор и точен. Его распоряжения четки, продуманны, обоснованы, их выполняют охотно, будто повелению собственного ума. Отдает он их без крика, в интонациях мягких, чуть ли не извинительно-просительных, так и слышится в них «Петя, сотри, пожалуйста, с доски», хотя приказано сменить огневую позицию, заменить раненого пулеметчика в обстреливаемом проеме окна... Лицо неподвижное, сосредоточенное, черты точеные, почти классические, разве что чуточку грубоваты, похож на кого-то из римлян, по выражение отнюдь не воинственное, без грозной решительности, скорее задумчивое, в горестной складке губ, в вопросительном взлете бровей, в морщинах широкого лба чудится не проходящее недоумение: почему я здесь? Провоевав всю войну, он так и не почувствовал себя военным.

— ...Глыба — она и есть глыба.

Правильно, глыба. Стекланный купол, вершина горы, побит, замаран гарью и не сверкает. Окна по фасаду замурованы наглухо. В бинокль — цейсовский, трофейный, — едва разглядишь отверстия, оставленные для наблюдения и ведения огня. Слепая, огромная глыба. Похожа на саркофаг, наподобие египетских пирамид, а по фронтому тускло вырисовывается надпись: «Dem deutschen Volke». Ему, значит, немецкому народу, сей саркофаг?

Наши тяжелые орудия бьют откуда-то из-за Шпрее. Из ближних руин лупят семидесятидвухмиллиметровые пушки. На монолитном фасаде — мелкие круглые щербины, но ни один снаряд не угодил в замурованные окна — перевелись снайперы в артиллерии?

— Дай-ка сюда твою гляделку. Теперь вижу. Вон

там, во рву. Это парни из разведвзвода. У них комвзвода новый, совсем еще мальчишка, только-только из училища, между прочим, казах. Ничего не боится! Фамилию забыл. Вроде как-то на кошку похоже.

Взять рейхстаг до Первомая, чтобы праздник отметить заключительным аккордом, так понят в войсках приказ высшего командования.

А до рейхстага еще метров триста с гаком. Перед ним широкая площадь, когда-то нарядная, разлинованная дорожками, с клумбами, фонтанами, засаженная деревьями, теперь не различишь, какой они породы, все побито, покорежено, с корнем выворочены серые кусты декоративных насаждений. Где-то за две трети расстояния поверхность грубо вспорота глубоким рвом.

На площадь они выпрыгнули из окна вшестером. Младший лейтенант и рядовой рванулись вперед и залегли. Где остальные? Замешкались? Приотстали, отрезанные плотным огнем? Ладно, догонят. Двое смельчаков замерли, пережидая обстрел, вжались в развороченные, поутру еще холодные камни. Надо уцелеть! Надо выполнить задачу. Замполит напутствовал: надеюсь на тебя, Рахим! Удостоверившись, что невредимы, поверив, что невидимы противнику, поползли дальше. Опять застыли, слившись с каменным ландшафтом. Шаг за шагом. Час за часом. Но вот и противотанковый ров, до рейхстага не более ста метров. Через ров перекинут жиденький мостик, по нему еще вчера ходили немцы. Для нас под ним последнее укрытие. Подтянулись отставшие. Вперед?

Стоп, сначала надо достать из-за пазухи выданный замполитом сверток в черной бумаге. Вынул флаг, развернул. Пришло в голову: оставлю память — мало ли что... Послюнявил химический карандаш, написал в углу две фамилии. И номер полка.

Вот теперь — вперед?

Они не слышали ни свиста пуль, ни разрывов снарядов: перед их глазами был рейхстаг, громадный,

заслонивший весь обзор.

Рядовой взбежал но-ступенькам, за ним младший лейтенант, и вот они уже вплотную у главного входа. Куда пристроить флаг? Кронштейна для нас не приготовили. Ага, вот расщелина в замурованной нише окна, но как до нее достать?

— Гриша, становись мне на плечи!

Туго влезает короткое древко в узкую щель, и вот затрепетал этот первый символ победы на стене еще не повергнутой, но уже обреченной, последней цитадели агрессора!

Флаги раздавали во всех подразделениях. Сказано было, кто первым водрузит, тому Героя...

— Видал?! — кричит корреспондент и озирается.

Но Улыбина уже нет рядом. Куда он делся? Конечно же, спустился вниз, где сосредоточилась его рота, сейчас последует сигнал к атаке. Атака всем батальоном, рота Улыбина впереди.

Перебегают площадь на ура. Саперы рвут кирпичную закладку. Наши уже внутри здания!

На Королевской площади санитары подбирают раненых. Убитых йотом соберет похоронная команда.

Из амбразур рейхстага еще постреливают, но все меньше и меньше. Война переместилась внутрь здания.

Взят рейхстаг? Вот это и есть наш последний и решительный бой? Последняя точка в этой войне? Не точка — восклицательный знак.

Под сводами рейхстага еще рвались гранаты, гремели автоматные очереди, еще гуляла смерть по коридорам, а на кухне истории уже варилось заказное блюдо.

Подполковник Симочкин зажмурился на минуту, потом потрянул головой и оглядел, как бы приходя в себя, полутемный подвал.

Комбат доложил: «Я в рейхстаге».

Вот оно! Свершилось! Мой полк!... Что теперь?

Согласно Боевому уставу — закрепиться. Закрепить успех. Но что значит закрепить этот успех? Успех успеху рознь...

Вспомнилось: неделю назад, после совещания у начальника политотдела армии всем полкам, наступавшим в направлении рейхстага, раздавали знамена. Что-то около десятка знамен, и кто первым завладеет рейхстагом, тот и водрузит... Где же это знамя, нам ведь тоже досталось одно?.. Приказал: срочно разыскать.

Искали, искали, с ног сбились, нигде не могли обнаружить. Что за черт, потеряли?

А жизнь фронтовая шла своим чередом, боевые подразделения, продвигаясь вперед, меняли позиции, за ними подтягивались тыловые службы. Хоззвод съезжал с пригородной усадьбы, где уютно располагался три дня и три ночи, пользуясь в свое удовольствие неслыханными удобствами брошенного буржуйского особняка: пуховые перины, ванна и ватерклозет. На выезде со двора повозку, запряженную трофейным битюгом с мохнатыми ногами, остановил наряд патрулей во главе с лейтенантом из полкового резерва. На всякий случай решили проверить, что за груз. Навалом, вперемешку лежали ломы и лопаты, новенькие котелки, по полдюжине связанные за дужки, куски брезента, под ним десятка два противотанковых мин, а на самом дне какой-то длинный предмет в черном чехле. Вытащили, развернули — знамя! Вот оно, то самое, помеченное в углу номером пять!

Следующий вопрос, кто и как должен его водрузить. Там, согласно донесениям вроде бы еще дерутся, в подвалах остались немецкие солдаты и какие-то гражданские лица, оказывают сопротивление. Нужны ловкие и смелые парни — ясно, из разведзвода.

Вызвал нового замполита того отличившегося батальона, что заменил убитого па подступах к рейхстагу капитана Устатова. Явился молодой, богатырского сложения.

— Значит, так. Поручение особой важности. Берешь двух разведчиков. Чтобы с Заслугами. И надо бы, чтобы один был русский, а другой — грузин. Понял?

Как не понять?..

В расположении взвода тишина: кто где-то на задании, а кто спит мертвецким сном после ночной операции, носили питание на передовую, днем-то не подступишься, умаялись с двадцатилитровыми термосами. Стал будить одного-другого, огрызались, вставать не хотели, отнекивались всеми правдами и неправдами, утверждали, что за неделю ни разу не выпались. Но лейтенант был настойчив, тем более, что здесь оказались как раз два очень подходящих парня, с орденами-медалями, один русский, сержант, другой младший сержант, грузин, лучшего сочетания и желать не приходится.

— Вас требует к себе командир полка. Быстро умыться, привести себя в порядок и за мной шагом марш!

Явились, предстали в боевой готовности, в начищенных сапогах и с автоматами.

Кругленький, упитанный, но обмякший от тревог и бессонницы, подполковник Симочкин, преодолевая вялость, напряжился и просверлил взглядом кандидатов на историческое бессмертие. Действительно, достойные ребята, давно в боях, с заслугами.

— Учтите: вам доверено особо важное задание. Задание высочайшей ответственности, исторической важности. Прониклись?

— Так точно, — подтвердили. Угадывалось, что дело стоящее...

По винтовой лестнице, длинной, железной, местами искореженной прямыми попаданиями снарядов, взбирались осмотрительно. Понимали, что особой опасности нет, все здание уже в наших руках, лишь в подвалах еще держатся немцы, и внизу специально назначенное отделение автоматчиков несет охрану. И

все же было волнительно, как при самой рискованной вылазке. Лезли проворно, дышали тяжело и гулко, не столько от физического напряжения, сколько от лихорадочного душевного состояния, ибо понимали: вершится нечто, предназначенное для истории.

Хоть бы кто пострелял для правдоподобия, думал про себя лейтенант, ведь напишут «под огнем противника»...

Как ни настойчиво внушал ему комполка мысль об исторической миссии и сверхпочетности задачи, становилось все яснее, что разыгрывается грандиозный спектакль. Существует выражение «театр военных действий». Правильно, для главных устроителей он, действительно, театр, но для исполнителей ролей, а тем паче для участников массовых сцен на войне все очень даже всерьез. Но это действие — вот уж воистину театр!

На душе у замполита, рядом с естественной неподнятостью, было неуютно, даже движения разрегулировались от подспудного недовольства, руки тряслись и удивляли неверностью хвата за железные поручни, ноги спотыкались о невысокие ступени, словно был он не многоопытным штангистом полутяжелого веса, а хлипким совслужащим из захудалой конторы, и вместо гордости за проводимую акцию бродила досада, что действует он наперекор своей воле, то есть пляшет под чужую дудку.

Но приказ есть приказ, особенно если это к тому же еще и как бы партийное поручение.

И, наконец — вот он, купол!

Выбрались па самую вершину, огляделись. Дымились развалины. С запада, со стороны Кроль-Оперы, доносился звук стрельбы, там продолжали сопротивление отборные подразделения СС. Примерились со знаменем к остаткам бронзовой фигуры, увенчивающей купол, приладили, накрепко прикрутили древко мягким трофейным кабелем, переглянулись: «Давай!» — сказал лейтенант. Сняли чехол, размотали полотнище. Запо-

лошилось, затрепетало на ветру Красное Знамя за номером пять.

Лишь месяц спустя, перед знаменитым парадом Победы в Берлине с участием союзных командующих и всех родов подчиненных им войск, было оно заменено привезенным на Москвы знаменем Победы с золотой бахромой и вышитым разноцветными нитями профилем вождя...

Отныне веять ему над Берлином, над третью Германии, над половиной Европы!..

КНИГА ВТОРАЯ

ГОРА С ГОРОЙ НЕ СХОДИТСЯ

1.

Этот город на Волге был невелик, но честь ему выпала большая: он дважды был наречен во славу великих мира сего, сначала по имени матушки-государыни, причастной к его основанию, а потом— основоположника социальной доктрины, которой ее последователи присвоили титул всепобеждающего учения. При переименовании изменилась лишь главная составная часть слова, окончание же каким было, таким и осталось, странным и непривычным на фоне волжской топонимики: «штадт» (дойдет очередь еще и до него).

Необычным был и облик этого приволжского поселения. Вместо золоченых куполов, ко времени описываемых событий, впрочем, повсеместно порушенных, стояли две «кирхи», одна католическая, с двумя высокими готическими шпилями и стрельчатыми окнами, другая поприместей, незатейливой архитектуры, с широким белокаменным крыльцом в три ступени перед дубовой двустворчатой дверью — лютеранская.

На дальней окраине грудились за оградой чумазы корпуса механического завода, выпускающего сельскохозяйственные машины и даже трактора. Несколько

двухэтажных и трехэтажных, но здешним меркам весьма презентабельных домов хранили память о некогда процветающих купеческих династиях Нейманов, Штальбергов и Фединых, а в остальном по отлогому берегу реки ровными рядами просторно располагались опрятные домики под железом или под черепицей в окружении яблоневых садов и аккуратно нарезанных огородных грядок.

Было в этом городе еще одно приметное трехэтажное здание, выстроенное когда-то на окраине, но с течением времени оказавшееся чуть ли не в центре. Облик оно имело, несмотря на побелку, угрюмый, да впрочем и виден был за высокой каменной стеной лишь его верхний этаж с небольшими окошками, защищенными железной решеткой. Позже к этим окошкам были приделаны деревянные «карманы», еще известные как «намордники», — ящики не ящики, раструбы не раструбы, словом, защитные приспособления, открытые сверху и сужающиеся книзу, дающие таким образом кое-какой доступ свету, но не позволяющие видеть через окно ничего, кроме известкой помазанных досок. Все помещения этой, когда-то с запасом сооруженной, тюрьмы, были забиты теперь до отказа, и новые поступления размещались уже в подвале, низком, темном и сыром.

Георг Функ, в обиходе то Йорх, то просто Юра, сидел на пристенке, обмазанной глиной широкой канализационной трубе. Зажав голову в ладонях, он медленно раскачивался из стороны в сторону, совсем как белые медведи в зоопарке, которых он видел во время экскурсии в столицу, будучи комсоргом и отличником учебы. В его пылающей жаром голове никак не уместалось то, что произошло за последние несколько дней. Путались мысли, сердце сжималось от ужаса, стыда и раскаяния.

Его вызвали в горком комсомола. Секретарь горкома, черноволосый, худой, аскетического вида очкарик, хорошо ему знакомый по множеству успешно про-

веденных мероприятий, просверлив его колючим пристальным взглядом, сказал:

— Йорх, ты ведь идейный комсомолец, классово сознательный и по сути дела взрослый человек, заканчиваешь школу. Ты должен всегда говорить правду и никогда не кривить душой, согласен?

— Безусловно, — подтвердил Йорх.

— Ну так вот. Это правда, что у вас были гости из соседней области, родственники, как будто.

— Совершенно верно, был мой двоюродный дядя с сыном.

— Ты можешь рассказать, о чем они говорили с твоим отцом?

— Я не слышал, но из того, что говорилось при мне, я кое-что запомнил.

— Ну и что же они говорили о положении в деревне?

— Ох, всякое говорили... Ничего особенного.

— А все же? Был разговор, что при колхозах стало хуже, чем было раньше?

— Было и это. Чего особенного...

— По-твоему, ничего особенного в этом нет?

— А может быть у них там действительно стало хуже? Мы ведь не знаем.

— Ты так думаешь? Ну ладно, не в этом дело. А твой отец — он возражал им, или как?

— Как же он будет возражать, когда он там не был.

— Значит, слушал и молчал? Или можем быть сочувствовал?

— Что значит сочувствовал! — разговор начинал сильно не нравиться Йорху. — Он только сказал, что коллективизацию надо было проводить так, чтобы люди не голодали. Ты же не думаешь, что мой отец против колхозов?

Считать Густава Функа противником коллективизации действительно не было оснований, ведь он был

известным в республике пролетарским поэтом, певцом революции, завоеваний советской власти, построения социализма.

— Я ничего не думаю, но знать мы должны все. И тебе советую внимательней прислушиваться к разговорам, которые ведутся вокруг. И сообщать руководящим органам обо всем, что может настораживать нас, идейных комсомольцев. Ты меня понял? Ну вот, ступай, и сделай выводы.

А ночью в их дом ворвались чужие люди. Отец поспешно одевался и говорил матери, бледной как мел и дрожащей всем телом:

— Не волнуйся, Фрида, это какое-то недоразумение. Невинных людей у нас не арестовывают. Жди меня завтра домой.

Но он не вернулся ни завтра, ни послезавтра, ни через две недели. А на третью, ночью же, пришли за Йорхом. Мать рвалась из рук людей в военной форме, кричала надорванным голосом:

— Что вы делаете, изверги! Ведь это ребенок! Как вы можете! Отпустите его сейчас же!

Ее толкнули, она упала на пол и забилась в припадке. Очнулась одна в пустом доме, никто не пришел ей на помощь, соседи боялись даже смотреть на функовский дом, вдруг кто-то со стороны уследит за украдкой брошенным взглядом и заметит в нем искру сочувствия. На другой день Фриду Функ арестовали тоже, а следом еще ее сестру с мужем.

Йорха вели по темным улицам, где-то вдали залиристо лаяли собаки. Он ничего не видел и не слышал. В мыслях он душил черноволосого очкарика за тонкую шею и уже свалившегося наземь пинал ногами, задыхаясь от ненависти... Он легко справился бы с таким-то противником! Это очкарик, «бриллентрэгер», был хлипкий и нескладный, а Йорх первым во всем городе сдал нормы ГТО. Невероятно, но факт: когда этот самый

тип от лица комсомола и по поручению комитета республиканского Совета физкультуры торжественно вручал ему значок перед строем школьной «линейки», Йорх испытывал к нему горячую симпатию! Очкарик складно говорил о труде во славу отчизны и об обороне ее от всех и всяческих врагов, на память цитировал Постановление ЦИК и ЦК ВКП(б)... Прицепив Йорху на рубашку похожий на орден серебряный значок, больно уколов при этом грудь держательной булавкой, комсомольский вожак пожал ему руку, глядя с победоносным выражением лица не на награждаемого, а на выстроившиеся шеренги. Ладонь вожака была мягкой и влажной, Йорху пришел на память мальчишеский треп, что такие ладони бывают у онанистов, но он тут же прогнал эту мысль, несовместимую с его благоговением перед родным комсомолом.

Вот мне тогда и наброситься бы на этого поганца, задушить его на глазах у всей школы, а там будь что будет. Безумная мысль, но неотвязная. А если повстречаешься еще раз на моем пути, не жди пощады, мерзавец! Справедливая мысль, по бесплодная, как очень многие справедливые мысли.

Подвал был разделен коридором, построенным из неструганных досок, на две продолговатые камеры. В камерах — только голые стены, ни нар, ни столов, ни табуреток, лишь пара-другая березовых чурбаков. Охалки соломы прикрывали холодный глиняный пол. Тусклые лампочки посередине каждой из камер и в коридоре свисали с потолка на проводах в серой оплетке. Электроэнергии было в обрез, на ночь свет гасили общим выключателем снаружи при входе. Там, у входа, стоял часовой, а внутри, в конце коридора, была отгорожена каморка, где под досчатым настилом стояла параша, объемистый бак из оцинкованного железа с двумя ручками—ее по утрам под конвоем выносили во двор и опорожняли в обширном многоместном сортире.

Одно из отделений подвала было уже полным-

полно, а то, в которое привели Йорха, едва только начало заселяться. Несколько арестантов, увидев новичка, сейчас же сбились в кучу и стали что-то втихомолку обсуждать. Йорх не обратил на них внимания, он вообще был неспособен обращать внимание на чтобы то ни было, его потрясенное сознание не вмещало никаких внешних впечатлений.

«Это младший сын старого Густава», — шептались подвальные жители. — Нельзя допустить, чтобы Густав увидел сыночка, это убьет старика. «Как он может увидеть, ведь он совсем ослеп». «Да, у него давно уже было плохо со зрением». «А теперь он совсем ничего не видит». «Но он может услышать его голос». «Надо, чтобы парнишка не разговаривал громко». «Он тоже не должен увидеть отца». «И не увидит, ведь Густав на той половине». «А вдруг он встретит его в коридоре?» «Надо это предотвратить». «Говорят, Густав совсем слаб. Он лежит пластом». «Боюсь, что ему недолго осталось мучиться». «О, Боже, о Боже, неужели мы все это заслужили?»

И все-таки встречу предотвратить не удалось, Йорх приоткрыл дверь в коридор, направляясь в отхожее место, а оттуда вели под руки уже не способного передвигаться самостоятельно, отощавшего, заросшего седой щетиной, постаревшего на десятки лет Густава Функа. Йорх вскрикнул и хотел броситься навстречу, но его удержали силой, втащили обратно в свою половину подвала. «Пустите меня, пустите!» хрипел он в смятении и муке.

Ночью он вынес в коридор толстый чурбак, встал на него, сорвал провод с фаянсовых роликов, сделал петлю и повесился на крюке, ввинченном в потолок на месте крепления лампочки.

Густав Функ умер несколько дней спустя от полного истощения в своем углу на охапке лежалой соломы, так ничего и не узнав о судьбе своего любимого сына.

Филипп Глаголев, аспирант кафедры филологии авторитетнейшего из московских пединститутов, по совету своего научного руководителя Александра Францевича Миллера, прибыл в Саратов, чтобы встретиться с литературными светилами поволжских немцев, а также с литераторами из германских эмигрантов- антифашистов. Этого требовала диссертация, которую он готовил к защите: немецкая антифашистская литература.

Друг его юности и однокашник по институту, саратовский житель Миша Полещук, с которым он стал советоваться по приезду, уставился на него светлокариными насмешливыми глазами в рыжеватых ресницах:

— Ты что, с луны свалился? Густав Функ? Это же враг народа. Еще в прошлом году он бесследно исчез. Говорят умер в тюрьме, вроде бы своей смертью. А эмигранты — это же сплошь германские шпионы! Вильгельм Франк? Сидит, если еще не ликвидирован. Фриц Шульман? То же самое.

— Невероятно! А что же германское правительство? Неужели не вмешалось?

— Филя, ты чудак! Это же антифашисты. Гитлер был бы рад прикончить их еще в фатерлянде, да поостерегся ввиду международного резонанса. А тут — пожалуйста, дело сделано, да еще и чужими руками. И вообще скоро война, бросал бы ты своих немцев и переключался бы на что-нибудь попроще.

— Какая война? Существует пакт.

— Ты веришь пактам? А я верю фактам.

Каламбур про пакты и факты еще недавно был популярен, теперь же, после трогательных объятий Молотова с Рибентропом, острить на тему о пактах было небезопасно. Но Мишка Полещук был человеком веселого и вольного нрава. Удивительно, как ему все сходило с рук. Когда лютой зимой тридцать пятого года в Москве хоронили Анри Барбюса, студентов вывели па бульвары шествовать в траурных колоннах. Колонны

протянулись на километры, то и дело возникали затопы, стоять же на морозе было неважно, и Мишка затеял игру в «жучка» для обогрева: несколько человек обхватывали полукруг, а к ним спиной стоял тот, кому досталось «водить». Он выставлял из-под правой подмышки левую пятерню, и любой мог врезать ему что был сил открытой ладонью, он же, повернувшись, должен был определить, кто автор, а все участники поднимали вверх большой палец правой руки и жужжали при этом: ж-ж-ж! Отгадаешь — поменяешься местами с ударившим, не отгадаешь — становишься опять в центр полукруга. Вот такая была игра, она согревала и вносила некоторое оживление, но какая-то унылость так и висела над толпой. Год назад на похоронах Кирова тоже играли в «жучка». Вспомнив об этом, Мишка возьми да и ляпни:

— Нет, ребята, когда Кирова хоронили, было веселей!

И ничего не последовало! Правда, тогда еще не сажали мелкую сошку, еще крупная дичь гуляла на свободе...

Сидели у окна в кафе на набережной, потягивали кофе с ликером, слушали многоголосые гудки волжских пароходов, вспоминали беззаботные студенческие годы. Слева вдаль, на том берегу, виднелись контуры города Энгельса — столицы немецкой республики, пристанища множества германских эмигрантов, так неожиданно и так жестоко обманувшихся в выборе.

— Считаешь, что сейчас не время?

— Чему только вас там учат, Фия! Твою диссертацию зарубят на корню, потому что никто не знает, как относиться к немцам. Одни побоятся оскорбить фашистов, другие — повредить антифашистам. «Ходить бывает склизко по камушкам иным» — кто сказал? Правильно, граф Алексей Константинович Толстой. Как в воду глядел его сиятельство. На целый век и более вперед... Ну, а что там у вас в столице? Искореняете

крамолу?

Филипп Глаголев хмыкнул неопределенно, взглянул с оттенком укоризны в насмешливо прищуренные глаза товарища, помешал ложечкой в остывшем кофе. Ему припомнился Русланов, припомнился профессор истории Зандберг, на лекциях которого не хватало места в большой аудитории... Нет, не хотелось думать об этом.

— Давай сменим пластинку, а? — сказал он жалким голосом.

2.

Шестнадцатое октября сорок первого года застало Филиппа Глаголева на распутье. Институт, в котором он уже в качестве новоиспеченного кандидата филологических наук был назначен вести курс западно-европейской литературы, эвакуировался в Оренбург, по-новому Чкалов. А аспиранты, из среды которых он едва только вычленился, но еще чувствовал себя кровно связанным с ними многолетним товариществом, шли в народное ополчение, чтобы встретить врага на подступах к столице. Ничто не мешало Филиппу Глаголеву уехать в спасительную даль. Ничто, кроме гражданской совести, или даже не совести, а гордыни. Он не трус!

Да, действительно, он не трус, но ведь разумный же человек! Какой прок от него, никогда не служившего в армии, державшего винтовку в руках единственный раз во время студенческих военных сборов, растерявшего мускульную силу за годы дотошных копаний в полутемных залах библиотек? Жестокое и обидное в применении к себе самому выражение «пушечное мясо», примелькавшееся после научного прочтения романов Ремарка, Ренна, Барбюса, не выходило из головы. Пушечное мясо с партбилетом в кармане, напрашивались определения одно другого циничнее. Впрочем,

партбилет следовало бы сдать на хранение, не дай бог потерять его в суতোлке боевых действий. Он мог бы тогда достаться какому-нибудь шпиону! Вздор, вздор, всякий вздор так и лезет в голову...

Рота ополченцев, обмундированных во что попало, выстроилась во дворе районной комендатуры. Филипп Глаголев постеснялся надеть старое-престарое пальто на вате с цигейковым воротником, в котором проходил все студенческие и аспирантские зимы, отверг также и белые бурки из тонкого фетра со стоптанными каблуками и потрескавшимися носами из коричневой кожи, только зимнюю кроличью шапку решил надеть, а в остальном облачился в тот же наряд, в котором обычно щеголял в осеннюю пору: серое драповое пальто, костюм из темно-синего бостона, черные полуботинки с острыми носами, едва налезшие на шерстяной носок...

— Р-р-равняйся!..

Первому взводу выдали через одного винтовки и по пятнадцать штук патронов. Остальных пообещали вооружить в другой комендатуре. Топали не в ногу по опустевшим улицам, косились на разбитые витрины продмагов, на черные останки сгоревших киосков. На перекрестках пожилые мужчины и женщины разбирали брусчатку, рыли землю, укладывали камни поперек проезда, приходилось огибать их по тротуару. Остановились в окраинном лесочке на большой привал, закурили, развели костры. Винтовки все еще не подвезли. Да мы их голыми руками, мрачно шутили остряки. Шапками закидаем.

На ближнюю станцию подали состав, велели погружаться. А где-же винтовки? Дадут, дадут, не беспокойтесь. Повзводно забрались в вагоны. А как же харч? Все будет, все дадут, имейте терпение.

Пушечное мясо. Надо было ехать в Оренбург, кретин!..

Когда-то выезжали в эти места за грибами. По грибы, надо говорить. По грибы, по ягоды. Это истинно по-русски. Ты филолог, для тебя все такие тонкости имеют значение. Винтовка тоже имеет значение. Дают через одного. Намекают — товарищ вышел из строя, ты берешь его оружие...

Здесь кто-то уже вырыл землянки. Жители ближней деревни. Куда они подевались? Прогнали их, или сами ушли подальше в тыл? Боятся жестокостей врага. Земля слухом полнится.

А где же тот враг? Ночью виднелись вдалеке огненные всполохи. Почему-то на юге, а не на западе. Зачем мы прячемся в этом лесу? Бои ведь вдоль главных путей сообщения. Говорят, командиры регулярных частей не желают, чтобы мы путались у них под ногами. Что толку от нас, необученных и почти безоружных?

Еще одна ночь. Холод и сырость пробирают до мозга костей. А костры разжигать не велят. Жмемся друг к другу в землянках. Не сыграть ли в жучка, как рекомендовал наш вождь и учитель товарищ Мишка Полещук. Вот он-то не пропадет! Где он теперь?

«Где вы теперь, кто вам целует пальцы,
куда ушел ваш китайчонок Ли?
Вы, кажется, потом любили португальца,
а может быть, с малайцем вы ушли?—
В последний раз я видел вас так близко, —
в пролеты улиц вас умчал авто.
И мнится, что теперь в притонах Сан-Франциско —
лиловый негр вам подает мантию».

Мама пела это с большим чувством под собственный аккомпанемент на стареньком пианино. Что это, слезы? Филька, какой ты слюнтяй!

Зябнет спина, прислоненная к голой стене землянки. Храпят сотоварищи, сгрудившиеся вповалку на еловых ветках. «Подожди немного, отдохнешь и ты...»

Без конца эти литературные ассоциации. Вояка!

Голова упала на грудь, сон одолел наконец и Филиппа Глаголева. А на рассвете всех всполошили автоматные очереди, зазвучавшие где-то совсем близко. Прозвучали, и удалились в восточном направлении. Немцы прочесывают лес. Нас они не заметили, прошли стороной.

Отсиделись, пока опять стемнело. Выбирались попарно и поодиночке, едва заметными тропами или напрямик сквозь намокшую елово-лиственную чашу. Сколько нас уцелело? Где остальные? Где командиры? Какая жуткая бессмыслица! «Что ты ночью бродишь, каин, черт занес тебя сюда...»

Чаща лесная, опушки, поляны... Темень ночная, прелый заброшенный стог... Необозримое поле в молочном тумане, лопушистая ботва по колено, наверно турнепс, ноги вязнут в тяжелом суглинке. Куда же ты выйдешь, на что ты напорешься там, за туманом? Ах, черт с ним со всем, нет больше сил, ноги не держат, «дыханья уже нет...» Голова пылает жаром, грудь разрывает кашель. Воспаление легких, ясно как день.

Парни в шинелях куда-то вели его под руки. «Позади их слышен ропот»: шпиона поймали, шпиона поймали. Вот как? Молодцы ребята. Шпиона поймали, шпиона поймали, шпиона поймали, стучало в висках.

В жарко натопленной избе командир непонятого ранга дымил папиросой, сверлил недоверчивым взглядом:

— А если вы из ополчения, то где ваша винтовка?
В самом деле, где она?

— Обыскали? — спросил тех парней недоверчивый командир.

— Так точно. Вот: кошелек, носовой платок, расческа, партбилет.

— Небось поддельный? Дай сюда. Глаголев Филипп Никанорович. Фм, Никанорович. Из попов, что ли?.. Год вступления одна тысяча девятьсот сороковой.

Ладно, отведите его пока в ту комнату, положите на топчан, пусть очухается, потом разберемся.

— А я бы...

— Что «я бы?» Может, он большую ценность представляет?

Я представляю большую ценность. Для науки. Мысль эта бесконтрольно копошилась в воспаленном мозгу Филиппа Глаголева, но выразить ее вслух не было сил.

— Точно, шпион, — доложил парень в шинели после того, как Филипп Глаголев, рухнув на шаткий топчан с соломенным тюфяком, закатил глаза, беспомощно замотал головой из стороны в сторону и невнятно забормотал «Им финстерен вальде...»

— Бредит по-ихнему.

— Вот видишь! А ты говорил «я-бы». Вызывай машину.

Проводив глазами черную эмку, на которой изловленного отправили в армейский штаб, начальник особого отдела дивизии подполковник Зимин вернулся в избу, потер руки, сел за стол и занялся текущими делами. Прочитал очередной приказ, спущенный поэтапно с самого верха. Слов много, а суть одна: всемерно усилить! В столице агенты подают световые сигналы ночным бомбардировщикам фашистов, стремясь навести их на Кремль. Диверсантов, застигнутых на месте преступления, надлежит расстреливать без суда и следствия. Может, я зря не послушал сержанта? Да нет, все правильно. Начальству тоже надо дать работу. Какие тут еще бумаги? Ах, вот протокол допроса этой Тамары, как она себя называет. Тамара Белоусенко, проживала до призыва в армии в селе Ермилово, есть такое на карте, легко проверить, да только надобности в этом нет никакой. Пришла «оттуда», через линию фронта. Допрашивал лейтенант Куракин, молодой еще, что с него возьмешь. Надо самому.

Ввели девицу лет двадцати на вид, рослую,

фигуристую, с гордой, независимой осанкой. Ишь ты, как держится, непростая штучка!

— Уф, жарко тут у вас, — сказала она, скинув с плеч солдатскую шинель, бросила ее на спинку стула, стоящего в трех шагах от стола, за которым недвижно, как изваяние, сидел Зимин, осталась в солдатской гимнастерке без ремня, синей суконной юбке в обтяжку, хромовых сапожках, очищенных от вчерашней грязи. Откинула со лба вороную прядь элегантно движением головы, огляделась вокруг, села. — О чем будем говорить, товарищ подполковник?

Полные розовые губы, слегка дрогнув, скривились в полуулыбке. темно-карие глаза в пушистых ресницах насмешливо сощурились.

Породиста, подумал подполковник Зимин и углубился во вчерашний протокол.

Молчание затягивалось, и напускная самоуверенность Тамары Белоусенко постепенно сходила на нет. Время от времени Зимин отрывал взгляд от бумаг и в упор смотрел на Тамару. От этого взгляда, холодного и подозрительного, Тамару бросало в дрожь. Виду она старалась не подавать, но внутри все холодело: неужели поставят к стенке? За что?

— Фамилия?

Господи, да что это они, все одно и то же? Надеются, что собьюсь, напутаю? Дураки, ведь путать мне нечего, все чистая правда.

— Лет?

— Семнадцать.

Поднимает глаза, смотрит в упор, с насмешкой. А что я, виновата, что выросла такая? Меня и в армию-то взяли, потому что выгляжу взрослой, хотя по закону не должны бы взять.

— Кем, когда и где вы завербованы?

И этот то же самое! Ну что им еще говорить?

— С каким заданием вы проникли в расположение частей Красной Армии?

Как им не надоест! А еще подполковник, и в солидных годах...

— Значит, вы утверждаете... Расскажите все по порядку.

В который уже раз! Ну, пожалуйста, если вам так интересно. Родилась на Кубани, в станице Михайловской. Родители вступили в колхоз одними из первых. Дядя по комсомольской путевке поехал в Москву, работать на строительстве метро. Женился на метростроевке, она родом из подмосковной деревни. Соскучилась по земле, по окончании строительства стали жить в деревне. Выписали к себе племянницу, чтобы закончила школу в ближнем городке и потом пошла бы учиться в московский институт.

На другой день после выпускного вечера грянула война. Все как один комсомольцы кинулись в военкомат. Никого не взяли по молодости лет, лишь ее одну признали годной к воинской службе, уж очень просила она допустить ее к защите родины, была комсоргом группы и ворошиловским стрелком... Вступили в бой под Нарофоминском. Понесли большие потери, но отступали в порядке. Батальон остановился и занял оборону возле деревни, названия которой она не знает. Окопы были вырыты кем-то заранее, но блиндажей не хватало, набились на ночь битком в большую землянку, офицеры и солдаты, среди них и она, санинструктор. Спали вповалку, стрельбы не слышали. Вдруг утром снаружи — немецкая речь...

Вывели всех под дулами автоматов, отвели в сарай. Держали там день и второй и третий, еды не давали, выводили оправляться утром, в обед и к вечеру. Она сказала себе: чем в фашистское рабство, лучше смерть. Когда в очередной раз вывели всех под вечер, а потом скомандовали «цурюк» и «херайн», она вместо того, чтобы в общей куче войти в ненавистный сарай, юркнула за угол и прижалась к стене. Наверное, пересчитывать им надоело, никто не заметил ее отсутствия. Чуть

стемнело, она бросилась бегом через поле, в лес, и, едва отдышавшись, пошла на восток, на восток... Заночевала под кустом, на рассвете снова двинулась в путь. Когда попадались деревни, приглядывалась с опушки, кто там, свои или немцы. В двух деревнях стояли немецкие автомашины, пушки не нашего образца, третья была безлюдна, и наконец перед четвертой деревней увидела родные серые шинели. Неслась к окопам как на крыльях, откуда силы взялись...

Подполковник Зимин следил по протоколу, составленному лейтенантом Куракиным, и противоречия не находил. Зазубрила легенду?

— Какой язык вы учили в школе?

— Ну, немецкий.

— Как успевали по этому предмету?

— На пятерку. Да я круглая отличница была!

— Значит, легко было договориться?

— С кем?

— Не ломайтесь, Белоусенко, или как вас там...

Чистосердечное признание облегчит вашу участь. Тем более, что вы еще не успели, как я надеюсь... Или вы не в первый раз переходите линию фронта?

— Вам делать, что ли, нечего? Пока вы тут ко мне пристааете, у вас под носом, может быть, орудуют настоящие шпионы?

— Ну, ну. Белоусенко, вы уж нас не учите, как нам работать. Так кем вы были завербованы? Сколько времени вы находились на оккупированной территории?.. Что-то незаметно, чтобы вас там морили голодом, выглядите вы довольно-таки... ничего. Значит, не желаете отвечать? Себе хуже делаете. Ну ладно, идите и подумайте как следует. Чистосердечное признание...

— Вам не надоело?

Как он смотрел на меня, когда я надевала шинель!..

Мешковатый дядька с прокуренными усами отвел ее в баню, чернеющую на краю огорода, обстоятельно

затворил за нею дверь, засунул щеколду, навесил замок, загремел котелками, приклад его винтовки глухо стукнул об пол предбанника.

— Ты тут тихо сиди, не балуй, шпиенка, — прокричал он через закрытую дверь, — а я схожу за обедом. Жрать, небось, хочешь?

Вечерами подполковник Зимин вызывал ее па допрос.

— Ну, надумала? Ничего не надумала? А чем ты докажешь, что не завербована? — Во взгляде его уже не было ни враждебности, ни подозрительности, была скука и жалоба на угнетенность своей должностью, жалоба на одиночество и жажда теплоты. — Пойми, не могу я тебя отпустить. Доказательства твоей невинности нет, а проверить... Как ты проверишь, когда тут вон какая карусель... Как тебе там, в этой бане? А то могу предложить—тут у меня есть свободная койка...

Когда остатки дивизии снялись со своего оборонительного рубежа и двинулись дальше на восток, подследственная Тамара Белоусенко сидела в черной эмке на заднем сидении рядом с лейтенантом Куракиным, который брезгливо отстранялся от нее, а подполковник Зимин сидел как обычно рядом с шофером, был молчалив и недоступен.

3.

На одном из некогда оживленных отрезков Бульварного кольца, в ряду тесно сплоченных, не то чтобы старинных, но все же принадлежащих к предшествующей эпохе двух- и трехэтажных домов, не бог знает каких импозантных, но и не убогих, украшенных по фасаду скромными, обязательными по тем временам лепными гроздьями да гирляндами, стояло неприметное в общем-то здание, выделяющееся тем не менее красной

вывеской у парадного: Райком ВКП(б). Напротив него, чуть по диагонали, за рослыми, ветвистыми, по зиме прозрачным рядами лип и вязов чуть возвышались над прилегающими строениями купол и колоколенка старинной церкви, одной из тех немногих, где, робко и нерегулярно, однако же совершалось богослужение.

Утрами по разным сторонам бульвара тянулись два одинаково жидких, но непохожих друг на друга потока. По одну сторону уверенным шагом поспешали энергичные люди, преимущественно немолодые мужчины — штатские с портфелями, военные в скрипучих портупях и с револьверными кобурами на боку: здесь неподалеку располагались внушительного ранга учреждения. А по другую сторону суетливо ковыляли старики с палочкой да старушки в старомодных клетчатых полушалках, нетвердой поступью восходили по ступеням божьего храма и скрывались под его сводами. От ближней площади, взвизгивая металлом, позвякивая зазевавшимся пешеходам, взбирался на подъем переполненный трамвай, милая сердцу москвичей бессмертная «Аннушка». Натужно ревя мотором, тарахтя расхристанным кузовом, нет-нет да и прошмыгнет обшарпанная полуторка и уж вовсе нечасто промчится какой-нибудь черный лимузин с седоком, погруженным в государственные думы.

Филипп Глаголев, худой как жердь, обмотанный двумя шерстяными шарфами поверх демисезонного пальтишки, стараясь не дышать глубоко, стало быть щадя свои едва излеченные от крупозного воспаления легкие, медленно преодолевал подъем по оледенелому, местами присыпанному золой тротуару и дивился переменах. Все ему было внове, все приглядно и умильно: пушистый иней на ветвях деревьев, пугливые своры тощих бездомных собак, белые бумажные перекрестия на окнах притихших, обезлюдивших квартир, и ни намек на прежние нервозность и страхи. Одиннадцать недель провалялся он в военном госпитале у Се-

меновской заставы, и все, что случилось за это время, пронеслось мимо его сознания. Лишь когда дело пошло на поправку, стал он узнавать, отрывочно и постепенно, про сибирские дивизии, про железного командарма Жукова, про «зимних фрицев» и про рискованный парад на Красной площади седьмого ноября.

Врачи дивились такой удаче: двадцать дней беспомысленства с температурой за сорок выдержит не каждый организм. И ведь не бог знает какого сложения этот долговязый блондин с интеллигентным лицом и высоко цивилизованной речью! Знать, бережет его судьба для каких-то важных дел...

Возле красной вывески Филипп Глаголев остановился, поднялся на единственную ступеньку, подергал дверь. Она не поддавалась. Подергал еще раз, постоял в нерешительности и повернулся, чтобы идти. Но именно тут к тротуару подрулила полуторка, нагруженная ящиками и шкафами. Трое парней в военном обмундировании сидели на ящиках в кузове, а из кабины вышла розовощекая молодая особа, рослая, энергичной поведки, в цигейковой шубке чуть выше колен и в шапке из лисьего меха. Она достала связку ключей из кожаной сумочки с пружинным запором в виде заскакивающих друг за друга шариков, шагнула к двери и тут заметила стоящую рядом фигуру, взгляделась остолбенело:

— Божечки, Филька! Какими судьбами?

— Узнала?

— Еще бы! Хоть ты и не очень похож на себя. Согнулся чего? А отоцал-то, батюшки-светы! Постой, сейчас мы разгрузим наше имущество и поговорим... Давайте, ребята, заносите все пока в коридор... Как видишь, возвращаемся на свои насиженные места. Значит, больше назад ни шагу.

Вот какая ты стала, Юлька Прокопович!.. Вспомнилось знойное лето тридцать пятого года, пионерский лагерь на Пахре, брезентовые палатки под густолиственными кронами, дощатая хибарка из двух половин, где жи-

ли вожатые разного пола... Душные ночи, нежная прохлада реки, низкорослый ивняк по бережку, бархатистый ковер травы, светлые пятна разбросанной одежды... Да, Филя Глаголев был неотразим, девицы сами вешались ему на шею. Говорили, что он похож на англичанина. Говорили так, хотя никто живого англичанина в глаза не видел, но вот поди ж ты, возник такой образ из каких-то неопределенных источников, то ли из романов Голсуорси, то ли из общего неясного представления, что у них все не так, как у нас. Величавая походка, гордая посадка головы, римский профиль, белый пушок на розовых щеках и что-то еще непонятно влекущее действовало на студенточек как магнит, и будь он не так занят своими науками, добыть бы ему славу подстать бессмертному Казанове. Но он не слишком злоупотреблял своими чарами, и достаточно было млеющей в его присутствии обожательнице встретить холодный, испытующий взгляд его голубых глаз, иногда приобретающих стальной оттенок, как она, поникнув головой, прощалась со своими надеждами. Юлька Прокопович была одной из тех, чьи надежды сбылись, хотя и ненадолго. Филипп знал силу своего обаяния, но умел пользоваться им не без разбора, а с умом. Ну, а Юлька, теперь уже не Юлька, а Юлия Никитична, инструктор райкома, замужняя женщина. Муж, по всей вероятности, на фронте, но это теперь не имеет значения.

Поговорили, повздыхали, погрустили, повспоминали сокурсников, друзей из общегития на Стромынке. Скольких, ах скольких уже поглотила война! Из ополченцев вернулись лишь единицы. Погиб Саша Овсянников, аспирант и надежда географической науки. Пропал без вести Андрюша Назарян, смуглый, кудрявый, отец его был армянин — если попал в руки немцев, то наверняка расстрелян, потому что похож на еврея.

— А ты с чем пожаловал?

— Отдаю себя в распоряжение партии.

— Похвально, весьма похвально. — То ли с

иронией, то ли покровительственно прозвучали эти слова. Как быстро она переняла этот стиль таинственного превосходства, свойственный партийным деятелям, подумалось Глаголеву. — И куда же тебя следует направить?

— Разумеется, на фронт. Наверно, сгожусь, например, для политработы.

— Рвешься в бой? А сам еле на ногах стоишь... Так-так, постой... Ты немецким владеешь? Английским, если не ошибаюсь, тоже? И по-французски кумекаешь более или менее?.. Ах, жаль, чуть-чуть ты опоздал к набору. А впрочем... Сейчас попробуем.

Она сняла трубку телефона. Говорила с кем-то весьма уважительным тоном. Представила его как многообещающего молодого человека с обширным интеллектуальным багажом.

— Отправляйся сейчас же! Это высшие дипломатические курсы. Как раз последний поток нового набора. Бумагу направим вдогонку. Позвонишь мне потом. Ни пуха, ни пера!

Особняк у Красных ворот стоял в глубине обширной усадьбы: широкие, сплошные, без переплетов окна, стеклянная дверь с пневматическим устройством для плавного закрытия, ковровая дорожка по мраморным пологим ступеням. Просторный, ярко освещенный зал библиотеки, стены сплошь уставлены книжными полками, кожаные, коленкоровые и какие угодно корешки изданий со всего света, на разных языках, два ряда полированных столов на тонких точеных ножках. Здесь все необычно, непривычно, неожиданно.

Чудо состоялось: в последний день он допущен к вступительным экзаменам. За широким столом — светила дипломатической науки и практики, знакомые по газетным сообщениям и даже по опубликованным портретам. И не экзаменуемые подходят к профессорам со своими блокнотами, а те сами подсаживаются к претендентам, выслушивают внимательно, беседуют

непринужденно. На заданный по-английски вопрос Филипп по-английски же и ответил. Лицо профессора осветилось благожелательной улыбкой. Слово за слово выяснились его познания в мировой географии, в экономполитике, в истории зарубежных стран.

— Well, now, tell me please, who is the Prime Minister of Great Britain?

Господи, премьер-министр Великобритании! Вопрос возмутил Филиппа до глубины души. Как можно спрашивать его о таких пустяках! Ведь это знает каждый, мало-мальски грамотный человек, лишь раз в неделю берущий в руки газету. Филипп в недоумении поднял глаза на полное, слегка одутловатое лицо человека, которого он знал как недавнего посла в одной из великих держав. И вдруг с ужасом обнаружил, что имя всемирно известного политика вылетело у него из головы. Сколько он ни старался припомнить это примелькавшееся, навязшее в зубах имя, оно никак не приходило ему на ум. Что за наваждение? Вот они, последствия трехнедельного беспамятства! По-своему поняв его растерянность, профессор снисходительно заметил:

— Ну не беда, достаточно... Вы свободны.

А на холеном, чисто выбритом лице Филипп прочел: как видно, международная политика тебя не очень интересует.

Зайдя на другой день в канцелярию курсов, чтобы узнать о результатах, он получил от секретаря бесстрастную справку:

— О вас вопрос еще не решен. Пока числитесь в кандидатах. Комплектование закончится на этой неделе. Ждите.

Он позвонил Юльке Прокопович.

— Не беспокойся, — сказала она. — В комиссии Грунич, он тебя знает. Я с ним поговорю.

Стоя у окна, Геннадий Васильевич Зимин, теперь уже полковник и начальник армейского особого отдела,

иными словами «смерша», бесстрастно наблюдал за происходящим. Должность научила его бесстрастию.

Старомодный особняк стоял на самой окраине городка, у железной дороги, из окна были видны строения станции — кирпичный домик с зарешеченными окнами и примыкающий к нему полуоткрытый павильон, точнее говоря, односкатный навес, его поддерживают деревянные фигурные колонны, они окрашены в коричневый цвет, а поясной барьер — в желтый.

Пестрая толпа, женщины всех возрастов, от старых до девчонок, ребята-подростки да старики, все в затрепанных одеждах, осаждали красные теплушки. Лезли, подсаживая друг друга, подавали багаж — узлы, мешки да потертые чемоданы. Поодаль стояли солдаты, ни во что не вмешивались, стояли себе кучками и поодиночке, покуривали, перебрасывались словами и поглядывали в сторону погрузки как бы без особого интереса. Длинный ряд крестьянских телег вытянулся вдоль края пристанционной площади. В головной четырехосный вагон, по старой памяти называемый пульмановским, заводили по сходням разномастных, беспородных лошадок.

Накануне этот тихходный обоз обогнало наше быстро продвигающееся войско. Судя по изможденному виду обозников можно было заключить, что тащились они уже много недель, если не месяцев. На их лицах отражалась какая-то странная смесь испуга и радости. Вы откуда и куда, осведомлялись солдаты, проносясь на грузовиках мимо застрявшего обок дороги обоза, но ответа не ждали, ясно было и так, что это население украинских или западно-белорусских деревень, угоняемое на запад. Однако конвоя с ними никакого не замечалось, очевидно, немцы рванули «вперед-назад», бросив своих подопечных на произвол судьбы. Так понимали обстановку наши люди, а может быть дело обстояла несколько иначе, некогда было рассуждать, требовалось настигнуть откатывающегося противника.

Это если говорить о боевых частях. У особистов подход был особый.

Полковник Зимин прошелся взглядом по всей этой панораме, вынул серебряный портсигар из брючного кармана, вспомнил при этом старый еврейский анекдот, ухмыльнулся, нажал кнопку, крышка со звоном отскочила, он вынул из-под прижимки папиросу, размял ее в пальцах, но вдруг вспомнил что-то и положил папиросу на место. Тома не любила, когда от него пахло табаком.

Лесенка на второй этаж была крута и скрипуча. Тома сидела на кровати, уже одетая по дорожному, в гражданское, у двери стояли два пузатых кожаных чемодана.

— Ты уже готова? — Голос полковника Зимины звучал с красноречивой хрипотцой. — А попрощаться?

Тамара вымученно улыбнулась.

— Так ведь поезд уйдет...

— Без тебя не уйдет...

Геннадий Васильевич сел рядом и обнял своего личного секретаря для начала за плечи...

Отправление поезду было дано только тогда, когда сотрудница особого отдела Тамара Белоусенко в сопровождении сержанта, который нес ее чемоданы, взошла по ступенькам в зеленый служебный вагон. На тамбурной площадке она обернулась и помахала плавающим в направлении двухэтажного особняка — там у открытого окна стоял статный полковник и делал прощальные жесты рукой с зажатой между пальцами дымящейся папиросой.

Ей отвели отдельное купе. Поезд с возвращенцами катил неспешно по местам, почти не тронутым войной, здесь немцы не оказывали сопротивления, отходили куда-то к наспех подготовленным рубежам. Тамара смотрела в окно, там проплывали волшебной красоты ландшафты, но она их просто не замечала, погрузившись в раздумье. А подумать было о чем.

Она ехала рожать, так это без прикрас называлось на фронтовом языке. Собственно, до родов было еще далеко, но Геннадий Васильевич настоял, чтобы она уезжала уже сейчас, пока округлость ее живота не стала предметом всеобщего обсуждения. Геннадием Васильевичем она называла его даже в мыслях, и уж подавно в прямом общении, несмотря на то, что уже третий год продолжались их интимные отношения: не могла преодолеть ощущения дистанции — он большой начальник и годился бы ей в отцы, а она... Вспоминала их первую ночь, закопчённую горницу в крестьянской избе, скрипучий топчан... Господи, что толкнуло ее на ту противоестественную близость? Разумеется, страх! Как ни смело, даже вызывающе, вела она себя тогда, это была разыгранная смелость, в глубине души она замирала от страха, понимала — они все могут, признают шпионкой, раз-два, и на тот свет. Велика ли цена за спасение, рано или поздно все равно придется отдать кому-то дар девичества... Как это пел в подпитии метростроевский друг ее дяди, московский гость из интеллигентного сословия: «Ах мама, мама, мама, со мной случилась драма, вчера была я барышня, сегодня стала дама».

Со временем она привыкла к своей роли, секретарство ее особенно не обременяло, секретным делом производством занимались лейтенанты, сменившиеся не раз за прошедшие два с половиной года, в дела служебные Геннадий Васильевич ее не посвящал, о чем-то она догадывалась, какие-то жалкие фигуры, отправляемые в тыл под конвоем, попадались ей на глаза, случилось ей переписывать на машинке розыскные бумаги, адресованные во все концы, но не это было главным среди ее обязанностей...

Он относился к ней по-доброму. Она убеждала себя, что и в делах служебных он был добр, или по крайней мере справедлив, а вникать в эти дела она решительно не желала. Не твоего ума дело, говорила она себе. Ее почтение к Геннадию Васильевичу было в общем-

то неподдельным. Бывало, в минуты близости он говорил ей: «Ну что ты меня все на вы да по имени-отчеству! Скажи: Гена. «Гена», говорила, она, вся зардевшись, но наутро даже наедине опять «Геннадий Васильевич», а при людях «товарищ полковник»...

Все-таки странный был он человек, ее Геннадий... Вроде бы недюжинного ума, а простых вещей понять не может: велел ехать к своей жене в Коломну, она мол, приютит и поможет в любом устройстве! Ну как это она явится к его жене, здравствуйте, я любовница вашего мужа! Она ни о чем не догадается, говорит Геннадий Васильевич. Плохо же он знает женщин! А потом родится сыночек — она не сомневалась, что это будет именно мальчик, и обнаружится сходство... Ну что ты, отвечал он, сходство выявляется потом, через несколько лет, а младенцы все одинаковы... Она все же взяла адрес его жены, но ехать в Коломну не собиралась. А куда? Домой, на Кубань? Там осталось одно пепелище. К дяде в Подмосковье? Там тоже похозяйничала война, и кто где теперь, одному Богу известно. В общем, буду устраиваться сама. Пойду в какой-нибудь военкомат и попрошу помочь. Не я первая, не я последняя. В какой? Не все ли равно. Поезд идет через Москву, там сойду и поеду в какой-нибудь подмосковный городишко, не пострадавший в войне...

А почему, собственно, через Москву? Ведь возвращенцы жили где-то на юге, в Одесской, что ли, области, или в Днепропетровской...

Обоз окончательно сформировался где-то на перегоне между Винницей и Шепетовкой, а до тех пор то удлинялся, то укорачивался от прибытия или убытия попутчиков. Он уже приближался к первому на немецкой земле городку, как вдруг оттеснила его на обочину колонна советских танков. Потом промчались, пыля, грузовики с пехотой, а там и пешим строем зашагали русские солдаты. Вот тут и наступило великое волнение

и смятение умов.

Когда немцы готовились к отходу, их комендант через своих подручных велел всем уходить на запад. Прислужники завоевателей страшали: большевики вас не пощадят, упекут каждого, кто побывал под оккупацией, в далекую Сибирь, заставят работать на лесозаготовках, сгноят в лагерях. Не очень верилось, хотелось ведь остаться на родной земле, у родного очага, если он сохранился, но полицаи грозили расправой. И двинулись в дальний путь, в неизвестность селяне — украинцы, белорусы и русские люди, а в первую очередь украинские немцы, которые предостережениям верили больше других. Конвоя никакого не было, шли, подгоняемые страхом.

Но вот нагнали их «большевики» и что же? Веселые лица, дружелюбные приветствия солдат, кормежка из походных кухонь... И этот вежливый, серьезный лейтенант; возвращайтесь домой, на освобожденную землю, родина вас ждет... Едем, едем!

Но почему отклоняемся все дальше на север, а не на юг? Наша родина там, в Приднепровье, Причерноморье, а везут нас куда-то через Витебск и Смоленск... И солдаты по-прежнему с нами — охраняют состав? От кого, неизвестно, и стоянок на больших станциях не бывает, а если случаются, то двери вагонов не открывают.

А когда замелькали уральские ели, все окончательно прояснилось. Спецпереселенцы! Не верили полицаям, а оказалось — правда!

В Москву эшелон не попал, его направили по окружной дороге через Манихино на Дмитров. В Манихино она сошла, отсюда было рукой подать то того городка, где прошли ее школьные годы, но даже и мысли не возникало о том, чтобы туда вернуться. С прежней жизнью было покончено, раз и навсегда. Кем бы кто ни был на войне, с войны он возвращается другим

человеком.

У нее был «литер», то есть воинский билет до Москвы. Дождавшись пригородного поезда из Волоколамска, она с великим трудом втиснулась в переполненный, прокуренный зеленый вагон с поднятыми верхними полками, на которых сидели, свесив ноги, солдаты — то ли отпускники, то ли выписавшиеся из госпиталей, — бородатые дяденьки, да еще «ремесленники» в тускло-черных форменных рубашках, подпоясанных брезентовым ремнем. На нижних скамьях сидели бабки в обнимку со своими мешками и корзинами, проходы были забиты людьми так, что не повернуться. Весь день дождило, тамбур наполнился душными испарениями. У Тамары закружилась голова, кто-то поддерживал ее под локоть, и она тяжело опустилась на свои чемоданы. В Гучкове дверь открыть было уже невозможно, новые пассажиры устраивались на подножках, на буферах и на переходных площадках.

Виндавский вокзал, небольшой и уютный, провинциального вида, быстро опустел, толпа разбрелась, а Тамара Белоусенко осталась на перроне со своими двумя чемоданами и безответным вопросом: куда теперь? Поезд отъехал на запасные пути, и Тамаре открылся вид на поваленный забор, за которым виднелись обшарпанные, желто-пятнистые, в дождевых потеках двухэтажные «стандартные» дома. Оттуда, шагнув по пружинящим доскам поваленного забора, шел высокий, худощавый, для нынешних дней необычайно щеголевато одетый молодой человек приятной наружности и покоряющей дирижерской осанки. Завидев одинокую даму, он смело подошел, поглядел на ее чемоданы, улыбнулся и молвил:

— Тяжеловато, а? Давайте поднесу. Куда вам?

«Если бы я знала», подумала Тамара, а вслух произнесла:

— Ну что вы, спасибо, я сама.

— Нет, все же... Нельзя вам с таким грузом! Так

куда? — спросил он еще раз, уже взявшись за ручки.

— Видите ли, — помялась Тамара... — Мне надо на другой вокзал, но поезд отправляется еще нескоро.

Это была не вся правда, но и не явная ложь. Уж чему другому, а фальши она обучилась досконально, не потеряв, впрочем, природного чистосердечия и честности перед самой собой. Как могут ужиться эти противоположности в человеческой натуре, известно многим из нас на этой грешной земле.

Молодой человек опустил чемоданы, выпрямился и взглянул на растерянную провинциалку с повышенным вниманием.

— Тогда знаете что? — быстрота реакции была одним из сильных качеств незнакомца. — Вам негде остановиться, это я понял. Здесь рядом студенческое общежитие, небезызвестная Трифоновка, там есть женский корпус, давайте я отведу вас туда, вы отдохните и даже сможете оставить багаж на время, пока все выяснится с вашим поездом.

«А говорят, что Бога нет», подумалось Тамаре. Логика незнакомца покорила ее, и никакие соображения осторожности не приходили ей в голову, фронтовички не боятся риска.

Они пересекли тупиковые пути, подгнивший поваленный забор слабо хрустнул под ее каблуками. Ее спутник-спаситель объяснял обстановку:

— В этом общежитии я провел мои лучшие студенческие годы. А сейчас зашел просто так, вернее из сентиментальных побуждений. Когда уезжаешь далеко и надолго, хочется попрощаться с памятными местами.

— Так вы тоже собрались в дорогу? Можно узнать, куда?

Какие-то едва уловимые интонации в его голосе подсказали ей, что ему будет приятен такой вопрос.

— Вообще-то мне не следовало бы... Одним словом, за океан.

— Ого! Наверно, с особым заданием?

— Ну что вы, если бы так, разве я мог бы даже намекнуть... Просто на дипломатическую работу.

— Я так и подумала. Вы ужасно похожи на дипломата.

Ему не стоило большого труда определить Тамару на жительство, его здесь помнили, пожилая комендантша таяла перед его обаянием, а комнаты стояли полупустыми — начинались летние каникулы. Прежде чем распрощаться, провожатый задумался на минуту: чем бы еще помочь этой красивой, необыкновенной и загадочной девушке, одетой во все заграничное, но с южнорусским выговором. Мысль сработала как всегда быстро и безошибочно. Достав блокнот и паркеровскую ручку с золоченым колпаком, он написал несколько строк.

— Вот, — сказал он со внушением, протягивая записку, — если встретятся затруднения... Да, кстати, как же вас зовут? — дописав имя и фамилию, он вручил ей записку и продолжал — ...пойдите в Дзержинский райком, спросите там Юлию Никитичну Прокопович — здесь написано... Она вам поможет... А это вам для памяти, — он подал небольшой продолговатый прямоугольник жесткой глянцевой бумаги.

Она первый раз в жизни держала в руках визитную карточку, прежде ей приходилось только читать о них в романах из ненашей жизни. На карточке тонким каллиграфическим, как бы рукописным шрифтом, с одной стороны по-русски, а с другой по-английски, было оттиснуто: «Филипп Глаголев, Советник посольства».

Серый, многоэтажный, расположенный тупым «углом назад», если воспользоваться военной терминологией, дом на скрещении двух знаменитых московских улиц, рядом с еще более знаменитой площадью, не привлекал особого внимания прохожих. Между его широкими распахнутыми крылами расстилался скверик, зеленеющий рослыми деревьями и подстриженным ку-

старником, и за этим растительным барьером даже при большой зоркости глаз трудно было разглядеть скромных размеров вывеску у парадного входа: Народный комиссариат иностранных дел.

Филипп Глаголев вошел уверенным шагом, сунул под нос вздремнувшему вахтеру удостоверение в развернутом виде и взбежал по лестнице на третий этаж. В полутемных коридорах было пустынно, еще не весь штат перебрался обратно из Куйбышева. В конце левого крыла, в боковом коридорчике, Филипп с разгона отворил высокую дубовую дверь.

Хозяин кабинета, однокашник по дипшколе, а ныне кадровик по странам английского языка, только вскинул голову, но не поднялся навстречу.

— Садись, — бросил он, не отрывая глаз от лежащей перед ним синей папки с бумагами.

— Я лучше стоя, — сказал Филипп, почуяв недоброе. Он пришел за документами к отъезду, но поведение приятеля его насторожило.

— Садись, садись! — Филипп повиновался. — И приготовь успокоительную таблетку.

— Обойдусь. Что-то пошло наперекосяк?

— Ты угадал. Твое назначение отменяется.

Филипп сглотнул, но больше ничем не выдал своего волнения.

— Они? — сказал он, помедлив, и ткнул большим пальцем куда-то себе за спину.

Кадровик только пожал плечами.

— Вот бляди! — выругался Филипп. — И ведь все-го то пара дней за линией фронта. Неужели они и это помнят?

— Там ничего не забывают, — заметил кадровик, но тут же осекся и огляделся, как будто усомнившись в том, что они одни.

Помолчали.

— Ты не унывай, без дела не останешься Ты по-немецки как? А по-французски? Формируется новый

секретариат при наркоме. Там нужны специалисты по разным отраслям знания. Я о тебе скажу, где надо.

4.

В биографии Семена Линчука было темное пятно. Собственно, пятно касалось его только боком по линии родства, на он его скрывал и тем превратил в свое. Его тетка по материнской линии вышла замуж за немца-меннонита, торговавшего в Оренбурге кожами и зерном. За женитьбу на иноверке община отторгла его, и хотя мирские дела ладилась пока что неплохо, в предвидении худших времен нэпман Фризен еще в двадцать четвертом году, разбазарив полимущества на взятки, с молодой женой и трехлетним сынишкой выехал в Канаду.

Тетку эту Семен Линчук в глаза не видел, только знал о ней из давних родительских разговоров, и на анкетный вопрос о родственниках за границей после минутного колебания писал «нет». Раздумывать, по логике вещей, еще имело какой-то смысл при заполнении первой анкеты, это когда поступал в университет (он инстинктивно выбрал чужой и дальний город, где его никто не знает), а потом уже приходилось повторяться: попробуй-ка, измени показания, узнаешь, чем это пахнет! И все же на злосчастном пункте рука его всякий раз невольно вздрагивала, и если бы кто-то постоянно наблюдал за ним, склонившимся над анкетой, повод для подозрения возник бы непременно.

При соприкосновении с властями любого профиля и ранга тайна канадской тетки наполняла Семена душевным трепетом и суетливой покорностью. Удивительно ли при таком стечении обстоятельств, что когда студента Линчука пригласили в университетский комитет комсомола и секретарь представил его незнакомцу в штатском, а тот позвал его за собой, увел в пу-

стой кабинет, усадил за стол и стал выведывать все про родных, нынешних и прежних знакомых, а в заключение предложил встречаться время от времени для «обмена информацией», Семен без звука согласился и подписал на заготовленном листке свою фамилию.

А дальше все пошло как по маслу. Ни до каких злостных выдумок Семен не опускался, его партнер по «обмену информацией» лишнего не требовал — так, о настроениях среди студентов, да нет ли в лекциях преподавателей какой-нибудь крамолы. Крамолы не было, и Семену становилось все спокойнее на душе, он даже уверовал, что делает доброе, полезное государству дело. А потом исчез один доцент, а за ним два аспиранта. Состоялось комсомольское собрание по вопросу о повышении бдительности. Доцента клеймили почем зря как завзятого врага народа. Семен и верил, и не верил, но в душе даже немножко торжествовал, тем более что этот доцент однажды вкатил ему двойку. Впоследствии исчезновения участились, но это было уже делом привычным, никто особенно в суть не вникал, у студентов свои заботы — сдать экзамен по-хитрому, раздобыть надежную шпаргалку, погулять с девчатами, дожить до стипендии... У Семена все шло гладко, оценки он получал вполне приличные даже когда ничего не знал, а по окончании его вызвал декан и предложил, как показалось Семену, без особого энтузиазма остаться в аспирантуре. Защита диссертации по древнерусской письменности прошла без сучка, без задоринки...

Но встречи с человеком «оттуда» тяготили Семена все больше и больше. Это был уже другой человек, куда девался прежний, Семен понятия не имел и спросить об этом не решался, а новый оказался куда требовательней, придирчивей, на слова Семена, что он «ничего такого» в своем окружении из замечал, реагировал бурно и требовал конкретных сведений о деятельности вражеской агентуры. А Семену давно уже все стало ясно, громкие московские процессы открыли ему глаза, не

верил он больше ни в какие происки врагов, хотел бы послать своего нового партнера ко всем чертям, но понимал, что тогда ему не сдобровать, и тянул время. Поэтому начало войны и свою мобилизацию он принял, язык не поворачивается произнести, грешно подумать даже, но именно так — с облегчением,

Психиатрическое отделение тылового военного госпиталя занимало территорию бывшего мужского монастыря. Толстая стена кирпичной кладки, некогда побеленная снаружи и изнутри, опоясывала по окружности высокого холма пространство в дюжину десятин. Стена выглядела зубчатой, невежда подумал бы, что зубцы служат для украшения, но Семен Линчук, кандидат филологии и специалист по славянской древности, знал их истинное назначение: это были собственно не зубцы, а выступы между бесчисленными бойницами для стрельбы по эвентуальным нападальщикам. Вдоль стены, на равном расстоянии друг от друга, располагались ниши, для чего они служили в старину Семен Линчук знал тоже, и мог бы объяснить любому встречному, да никто его здесь об этом не спрашивал, к сожалению.

Спрашивали его совсем о другом, вопросы задавали дурацкие, ответов ожидали еще более дурацких, а на его гневное возмущение и требование переосвидетельствования реагировали спокойно, миролюбиво, сулили все исполнить, а потом давали успокоительное и помещали в одну из келий, пристроенных к стене. Потом его перевели в обширную палату с высокими окнами. При старом режиме, когда действовал монастырь, здесь была трапезная, Семен догадался об этом по обширности помещения и отсутствию в нем каких-либо признаков отправления культа. Ныне вместо длинных скамей и столов, за которыми братия принимала пищу телесную, стояли ряды железных коек, а вместо благообразных и чинных монахов бестолковые психи и симулянты галдели, суетились и дрались до крови, пока их не

приводили в чувство дюжие братья милосердия.

На выявление симулянтов, как показалось Семену, были направлены основные усилия персонала. Но вот что удивительно, к его уверениям, что он совершенно здоров, белые халаты относились с неуклюже скрываемым недоверием, а впрочем не спорили и обещали вскоре отпустить домой.

Посередине яблоневого сада, росшего внутри ограды, стоял белокаменный храм. Во время недолгой оккупации немцы хранили в нем боеприпасы, а при отступлении, не поспевая с вывозом, взорвали все остатки. Главный купол рухнул, а стены храма и малые купола устояли, и теперь все сооружение выглядело странным и внушительным огромным белым ящиком с башенками по углам. В дальнем углу от главного въезда на территорию возвышались двухэтажные архиерейские покои. Там жили доктора и все медицинское начальство.

В осень, до снега, Семен, когда выпускали на прогулку, бродил по заброшенному саду, подбирал упавшие, но большей части уже подгнившие плоды антоновки и белого налива, обтирал рукавом и торопливо съедал, озираясь, чтобы не напал какой-нибудь из неблагонадежных товарищей по контингенту. Он уже начал было привыкать к своему здешнему житью-бытью, как вдруг нагрянула комиссия, провела поголовное освидетельствование и отпустила его, голубчика, со справкой об излечении и отпускными документами. Но куда теперь? Киев еще под оккупацией, в Оренбурге никого из родных не осталось... Явился в Дзержинский военкомат столицы и был определен в офицерский резерв. Дали койку в офицерском общежитии на Второй Мещанской, назначали раз-другой в комендантский наряд, и долго-долго ничего не происходило. Соседи по общежитию, не успев разгуляться вволю, один за другим получали назначения — кто во фронтовые части, кто в учебные подразделения, — а про Семена Линчука вроде бы со-

всем забыли. В военкомате говорили «ждите», он ждал, а когда ждать становилось уже невмоготу, снова приходил и просил хоть какого-нибудь назначения. И наконец ему сказали: ваше личное дело затребовано. Кем? Подождите, скоро все узнаете. И в самом деле, скоро последовал вывоз на площадь Дзержинского. Сколь ни малы были его старые заслуги, Семена Линчука здесь не забыли. Он получил направление в Особый отдел одной из армий Западного фронта.

Долгое время ему приходилось заниматься делами унижительно пустопорожними: читать полуграмотные письма, задержанные военной цензурой, заводить «личные счета» на слишком откровенных офицеров, проявлявших нездоровые настроения, реже сержантов, совсем редко солдат — разве такое достойно новоиспеченного профессионала, к тому же еще и кандидата наук? С принятием мер не спешили, особенно в отношении рядовых, ибо война распорядилась по-своему: сегодня он кандидат на трибунал, а завтра — пал смертью храбрых. Все меньше становилось пропавших без вести, почти исчезла надобность, в писанине по розыску дезертиров, так отразилось на деятельности смерша изменение обстановки на фронтах.

Оно бы пуститься, по примеру других, в погоню за трофеями, ведь можно было обзавестись и хрусталем, и золотишком, но Семен Линчук был не таковский, он брезговал нечистым промыслом, не рвался под видом обыска шарить по брошенным буржуйским особнякам, если же иногда и принимал участие в «прочесывании местности», то рвение его при этом было преимущественно служебным.

Но обстановка менялась, и все более круто. На первый взгляд сопротивление сохранивших боеспособность частей вермахта казалось бессмысленным, однако смысл в нем был, и очень существенный: немцы не просто отступали, они стремились уйти как можно

дальше на запад, чтобы сдать не Красной Армии, а войскам союзников. Под Торгау обнимались и осушали алюминиевые кружки за общую победу бойцы и командиры встретившихся войск, наши и американцы, но в штабах, а пуще того в политотделах спешно разрабатывали меры по предотвращению непредусмотренных контактов. Начальствующему составу предписывалось строжайшим образом пресекать самовольные отлучки. Порядок удалось навести на сразу, обоюдосторонний дружественный порыв был искренен и неудержим, и пока на высоком уровне договаривались о режиме, на Эльбе люди с разных берегов узнавали друг друга, удивлялись своему сходству и проникались взаимной симпатией. При этом возникали нежелательные сравнения.

Один старшина из автороты отправился на «козле» на тот берег раздобыть бензину. Взял с собой несколько канистр, переплавился по понтонному мосту, въехал в деревушку, где квартировал их батальон, был принят с распростертыми объятиями, усажен за стол и приналег на угощение. Понимали друг друга без переводчика: «Я Иван, — тыча в себя пальцем, — а ты?» — «Ай эм Джон!» — «Дай пять!» — «Хэв э дринк!» Все понятно, выпить — это у них, как и у нас, первое дело. В поддании затеяли автогонки, наш старшина, мало того что отстал, еще и врезался в столб, самому хоть бы что, а «козлика» расшиб вдребезги. Сбежались новые друзья, подхватили под руки, повели внутрь ограды, где стояли к ряду их машины, новые с иголки, показали широким взмахом руки: «Плиз, чуз!», в смысле выбирай любую. Явился старшина в свою часть на новеньком джипе, доложил начальству, получил благодарность за обмен и выволочку за «недостойное поведение». На этом можно было бы считать инцидент исчерпанным. Но зачем было потом распространяться, какая у американцев удобная и опрятная форма, какая у них водка-джин приятная на вкус, какая разнообразная закуска, а

машин, машин — видимо-невидимо! И так у них все запросто, даже не поймешь, кто командир, кто подчиненный...

Заткнуть рот старшине труда не составляло, но рассказы его повторяли по всей дивизии, а потом и за ее пределами, и что же получилось? Что под империализмом можно жить вроде бы не хуже, и чуть ли даже не лучше, чем в нашей юной прекрасной стране?...

В «хозяйстве Зимина» происшествие обсуждалось под особым углом зрения. Особый отдел — особый подход.

Ладно, приключение старшины из автороты и его последствия для настроения в войсках и для самого старшины, это мелочи жизни. Хуже другое. Нашелся среди офицеров, подобранных для встреч с союзниками, один лейтенант, который знает английский язык. Вернувшись, тот лейтенант стал направо и налево делиться свои впечатлениями.

— Ну и какие же такие впечатления?

Промежуточными вопросами полковник Зимин растягивал удовольствие. Выслушивать доклады Линчука было интересно, говорил тот складно и по делу. С ним можно было превратить служебный доклад в непринужденный диалог, допустить немножечко игры ума, даже с некоторыми рискованными высказываниями, позволительными в своем кругу.

Зимин был доволен своим новым сотрудником: толков, старателен. Конечно же, себе на уме, а как иначе? Иначе пропадешь. До сих пор ему не везло на подчиненных, ни умом, ни образованностью они не блистали, тянули лямку без выдумки, без воодушевления, Линчук отличался от них как орловский рысак от водовозной клячи. Нравилось и то, что в повиновение попал человек высокоинтеллигентный, даже с ученой степенью, а он, начальник, мог давать ему поручения, мог командовать им, мог делать ему внушения, мог дисциплинарно наказать, да мало ли что мог с ним сотворить, если бы

пожелал.

Линчук со своей стороны претензий к начальнику не имел: требователен в меру, службу знает досконально и даже не беспросветно глуп — а это качество Линчук предполагал во всех начальниках. Первое время его несколько коробило, что Зимин ему «тыкал», но вскоре он научился принимать это как должное, знал ведь, что так заведено, а впоследствии стал находить в этом даже некое удовлетворение, ощутил как бы восторг преодоления, подобный тому, какой испытывает праведник, надевший на себя вериги.

— Видите ли, у американцев, как уверяли того лейтенанта, каждый военнослужащий вплоть до айджи, то есть рядового, может, находясь вне службы, подойти к сколь угодно высокому чину, хоть к самому главнокомандующему, хлопнуть его по плечу и сказать: «хеллоу, Айк, как поживаешь?»

— Айк — это что такое?

— Это обще употребляемое сокращение, дружеская кличка генерала Эйзенхауэра, — пишется «эй», произносится «ай» — самого популярного среди союзных военачальников.

— Ишь ты, панибратство какое... Ну, а что еще рассказывал тот лейтенант?

— Это предстоит выяснить.

— Н-да... — протянул полковник Зимин, помолчав, — Ни к чему нашим людям иностранные языки!

Шутка? Или он в самом деле так думает? Линчуку это безразлично. он продолжает свою линию:

— Вопрос в том, как бороться с подобными разговорами, с настроениями, которые они возбуждают? Похоже, что растерялось даже высшее начальство.

— Ты думаешь? Отчасти, может быть и так. Пока никаких указаний не поступило...

— В угаре победы все как-то размагнитились, утратили классовое чутье, — продолжает Линчук. — Логика событий подсказывает: надо поддержать и

умножать потенциал недоверия к союзникам, недовольство ими, которое сложилось вследствие долгих проволочек с открытием второго фронта. Надо шире распространять сведения, достоверные или вероятные, невыгодные для западных держав.

— Что ты имеешь в виду?

— Например, о двойной игре их политиков, о бездарности их стратегов, о бесчинствах их солдатни. Или такой ход рассуждений: почему американцы, несмотря на превосходство своей авиации, мало вводили ее в действие против германских промышленных центров? Да потому, что Эйзенхауэр сам из немцев, ясное дело, он был против ударов по городам. С другой стороны, почему под конец войны, когда наши войска приближались к Берлину, американцы сравнивали с землей Дрезден, где не было никаких достойных внимания стратегических объектов? Да потому, что Дрезден, по решению, принятому большой тройкой, должен был войти в советскую зону оккупации, отчего же не причинить «советам» побольше трудностей?

— Логично, — хотя и недоказуемо. — Полковник Зимин незаметно для себя перенимал манеру выражаться от подчиненного.

— А продвижение войск союзников после Арденн, практически без потерь?

— Да, но какой тут умысел можно усмотреть с их стороны?

— Никакого умысла, а нашим досадно. Все в диалектическом единстве. Там города сдаются по телефону, а тут каждый километр достается дорогой ценой. Да мало ли еще сюжетов подбрасывает повседневность — уже теперь? Насилия, грабежи, спекуляция сигаретами и пенициллином? Только успевай пускать это в оборот...

Полковник Зимин постучал по столу карандашом в ритм? «Имел бы я золотые горы».

— Ты вот что, Семен Петрович... — Обращение по

имени-отчеству означало высшую степень благоволения. — Подготовь-ка нашу докладную по этим вопросам.

Старший лейтенант Линчук в душе возликовал, но виду не подал. Его расчет срабатывал. Он был намерен проявить себя. Он стремился бы к этому, будь его деятельность какого угодно иного рода. Ему необходимо было самоутвердиться, взять реванш за тот памятный и гнуснейший провал в сортирную яму. Доказать, что он не неудачник, что он не хуже других. Доказать — кому? В первую очередь самому себе. И всем им, всем тем, которые не принимали его всерьез. «Линчук, на кого вы похожи!» «Линчук, куда вы провалились?» Эти фразы, сказанные вне всякой связи с его купанием в навозной жиже, приводили его в бешенство и возбуждали ненависть к окружающим его благополучным и самодовольным тупицам. Но будет и на его улице праздник, он еще себя покажет!

Докладную старшего лейтенанта Линчука «О недопустимости и мерах по предотвращению братания с военнослужащими союзных армий» полковник Зимин прочел внимательно, отнесся к ней одобрительно и, внося ряд поправок и дополнений, отослал наверх. Разумеется, за своей подписью — так как составляли по его поручению.

Линчуку ничего знать об этом было не положено, секретность царила и внутри системы. Но вскоре сержант, сменивший Тамару Белоусенко в качестве делопроизводителя, дал ему понять, что он представлен к очередному званию и на него отправлены наградные бумаги. Сержант ни за что не разговорится бы по своей воле, ему велено было проговориться, догадался Линчук. Что отсюда следовало, Семен еще не уяснил до конца, однако благорасположение начальника не вызывало сомнений. Впрочем, Линчуку было известно, как действовали рычаги в механике награждений: представляя к награде подчиненных, начальник тем самым напоми-

нал о себе самом. И если в итоге у начальника оказалось вдвое или втрое больше орденов, чем у подчиненных, и более высокого достоинства, то иначе и быть не могло, ибо подчиненных много, а начальник один.

Отсыл докладной, составленной Линчуком, и представление его к награде полковник Зимин рассматривал в диалектическом единстве. Он предвидел, что молодой, образованный подающий надежды офицер рано или поздно попадет в поле зрения руководства и получит шанс на продвижение. Не исключено, что обгонит его самого и в один прекрасный день окажется на ступеньку выше. И тогда от него, возможно, будет что-то зависеть. Построения шаткие, и когда еще это сбудется! Но чем черт не шутит, ставки надо делать на любой номер, авось когда-нибудь да выпадет. А пока пусть работает докладная. Зимин засиделся в своей полковничьей должности. Уж не из-за той ли Тамары? Он жаждал повышения, и генеральские лампасы являлись ему во сне.

Старший лейтенант Линчук не смел справляться о судьбе своей докладной. Но по прошествии нескольких недель он стал получать задания, лежащие в русле его наметок. Этот факт будил в нем двойственные чувства: с одной стороны удовлетворение тем, что был услышан, — или может быть его рассуждения совпадали с ходом начальственной мысли, — с другой стороны досаду на свое угнетенное состояние, когда свои же идеи можно проводить в жизнь только по указке свыше.

«Хозяйство» Зимина обосновалось на краю тихого, укутанного зеленью то ли малого городка, то ли большой деревни, на высоком берегу ручья, а за ручьем расстилалась пашня, пустующая по бесхозности. В доме было в достатке мебели, посуды и даже съестных припасов, которые полковник из соображений бдительности приказал выбросить на помойку. Владелец этого домика, так удобно расположенного для целей «хозяй-

ства», толстого рыжеватою старика и его сухопарую супругу, выставили на улицу, однако разрешали приходить на приусадебный участок. В отдалении, поближе к лесу, располагалась пасека из двенадцати подкрашенных в голубое ульев. Прежде чем пустить старика на пасеку, полковник Зимин заманивал его знаками в дом, вынимал из письменного стола оставленные там бумаги, на которых красовался имперский герб в виде орла со свастикой в кружочке, и командовал застывшему на пороге пчеловоду: «Ком!» Он мог бы прибегнуть к помощи Линчука, владеющего немецким, но для его целей достаточно было его собственного лингвистического багажа. Немец подходил, дрожа всем телом. «Кукен!» продолжал Зимин, тыча пальцем в злополучную бумагу с фашистским гербом. Пасечник виновато опускал голову и громко сопел. «Варум?» восклицал Зимин, потрясая бумагой, и хозяин трясся еще интенсивнее. «Вег!» — заключал Зимин, и рыжий немец улетучивался и со всей возможной в его возрасте и при его комплекции прытью. Конечным результатом операции было появление рыжего старика через полчаса с литровой банкой чистейшего пчелиного меда.

Лето тысяча девятьсот сорок пятого выдалось безгранично добрым ко всему живому в Европе, оно дарило много солнца, в меру дождей, и ветры исполняли заказ на прохладу. Но Геннадий Васильевич Зимин был отродясь равнодушен к явлениям природы, а сейчас и вовсе их не замечал. Война вроде бы кончилась, а забот не убывало, скорее наоборот. Вооруженная борьба ушла в прошлое, но возникало новое противостояние, потайное, маскируемое улыбками. Встречи на Эльбе, славу богу, очень скоро прекратились, налачился пограничный режим, но где было взять силы для охраны демаркационной линии длиной в тысячу километров? Скрытое движение по лесным далям не поддавалось ни контролю, ни пресечению, ни даже приблизительной оценке. Что за люди уходили на запад? Богачи?

Переодетые солдаты, избежавшие плена? Жители оккупированных областей, сначала угнанные, потом освобожденные, которые не рады своему освобождению и не желают возвращаться на родину? Предатели, сотрудничавшие с оккупантами?

Назревала проблема «перемещенных лиц». Союзники противились принудительной отправке их на родину. Возникали многотысячные лагеря, из которых были открыты пути и в Канаду, и в Австралию, и в Аргентину. А дезертиров теперь надо было разыскивать не за Уралом, а за Эльбой.

Осваиваясь в этой обстановке, полковник Зимин все реже вспоминал о Тамаре. На душе у него было смутно, но к этому состоянию он давно уже привык. Появилось желание поделиться с кем-нибудь подспудными мыслями, по было не с кем, да и разучился он быть откровенным — даже с самим собой. Его воспоминания о Тамаре постепенно изменяли свою тональность. Поначалу они отличались необычной для него, удивлявшей его самого и в общем-то неуместной чувствительностью, даже нежностью. Ах, какие бывали сладостные минуты, пережитые вместе! И тревогой: как там удалось ей устроиться? Почему нет известий? Но это только поначалу. И хотя заменить Тамару в должности делопроизводителя другой персоной женского пола он не пожелал, память о ней все больше уходила куда-то в туманное прошлое, и он уже не огорчался отсутствием вестей, и все чаще ему приходила в голову меткая русская поговорка: баба с возу, кобыле легче!

Шел третий мирный месяц, когда телеграф отлучал номер полевой почты, фамилию адресата и одно единственное слово: девочка. Принимая телеграмму из рук сержанта, полковник Зимин внутренне съежился, но не потерял самообладания и принял такой вид, словно был удовлетворен закодированным сообщением своего тайного агента. И тотчас, отбросив колебания, утвердился в решении вызвать законную супругу для

продолжения совместной жизни. Был бы мальчик, решение далось бы ему труднее.

5.

Круто менялись доминанты бытия. Над рейхстагом развевалось красное полотнище с золотым шитьем, давно не слыханная тишина опустилась на площади, улицы, скверы, на груды развалин.

День-другой царило безлюдье, как вдруг серый город, лежащий в руинах, зашевелился. Словно по команде хлынули людские толпы по главным улицам, но не к центру, как во время праздничных шествий, а к окраинам: поляки к восточной, французы к западной, чехи к южной, голландцы к северной. Согнанная из оккупированных стран «рабсила» убиралась восвояси.

А на второстепенных улочках пустынно. Безмолвно, степенно стоят пожилые горожанки в очереди к водоразборной колонке, хотя, неизвестно, когда она оживет. Шустро, боком-боком проскальзывает господинчик с полной сумкой колбас — где-то курочат продсклад. Двое тощих стариков орудуют кухонными ножами над тушей убитой лошади. Скудна добыча, остались голые ребра, смельчаки побывали здесь, когда еще шла перестрелка.

«Берлин остается немецким!» — взывают с афишных тумб черно-коричневые плакаты, предсмертный вопль колченогого рейхсминистра пропаганды. Имперский враль сказал правду, сам того не подозревая; Берлин оставался немецким, от невесть кем подметенных тротуаров до белых и красных наволочек на ручках половых щеток в раскрытых окнах.

На северной окраине, у ворот шоколадной фабрики «Трумф», одноногий сторож заманивает красноармейцев, чтобы поскорее разбирали «трофеи» — перетянутые стальной полоской картонные коробки в полпу-

да весом: сменщик не является уже четвертый день, а бросить пост нельзя, пока не опустел склад...

В развалинах внушительного здания прохладной ночью бойцы разводят костер, бросают в огонь листки, валяющиеся возле разбитых железобетонных хранилищ. Наутро прибывшие из Москвы спецы по финансам, утирая скупую мужскую слезу, шевелят палкой обгоревшие клочки акций Сименса, Боша и прочих могущественных компаний.

А в подземельях рейхстага лихо пируют парни с Урала и Волги. Исчезновение опасности произвело странную опустошенность, жизнь без смертельной угрозы была непривычной, пресной, как бы даже ненастоящей и неполноценной.

Комарова тянуло к рейхстагу. Издали виднелся ориентир: красное знамя на верхушке полуразбитого стеклянного купола. Неуклюжая, искалеченная каменная громада казалось мертвой как египетские пирамиды. Но в подвалах бурлила жизнь. Здесь разместились штаб и все службы полка, овладевшего зданием: ловкачи хозяйственники со своими припасами, деловые, вечно забегавшиеся связисты, рассудительные, неторопливые саперы, разведчики — веселые, отчаянные как в деле, так и в гульбе...

Борис пробирался в лабиринте темных коридоров, надеясь встретить знакомого. Впрочем, понятия знакомый и незнакомый потеряли в те дни свое значение, можно было остановить первого встречного: слушай, война-то кончилась! И он тоже хлопал бы тебя по плечу, и вы повторяли бы вместе: война-то кончилась! Кончилась, кончилась война!

Комаров никуда не торопился и никого специально не разыскивал, бродил себе по подземельям рейхстага, тем самым, где нанятый Герингом оборванец Вандер-Люббе искал потайной ход в министерство внутренних дел, спасаясь от огня им же подожженных архи-

вов... А несколько дней назад оборонявшиеся тоже подожгли архивы, хотели дымом выкурить наших солдат, ворвавшихся на первый этаж...

Холодной жутью веет из черноты глубоких ниш, от тяжелых железных дверей. Узкий ход ведет в глухой неосвещенный тупик. Широкое полотнище — сшитые вместе две немецкие плащпалатки — занавешивает вход в какое-то помещение, занавес смутно просвечивает по шву, пестреют пятна маскировочной окраски. Что там? Комарову любопытно, он отводит край, заглядывает... Низкий зал уставлен двухэтажными железными койками. На них — что за наваждение? — немецкие солдаты!

— Что, корреспондент, испужался? Война кончилась, а ты к фашистам в плен угодил? Не бойсь, — смеется знакомый офицер, — наша здесь власть. Госпиталь ихний остался, эвакуировать было некуда. Мы уж его не трогаем, пусть долечиваются, а там разберемся. Давай, пошли к нам, познакомлю себя с американцем.

— Каким-таким американцем?

— Обыкновенным, пошли.

В небольшой побеленной комнате, освещенной двумя снаряжными гильзами, громоздились вдоль стен какие-то шкафы и ящики. У самой двери стоял квадратный стол, уставленным консервированной снедью от ветчины до сливового компота. Четырехгранная бутыл синего стекла внушительно возвышалась посередине.

На длинной скамье сидел за столом хорошо одетый мужчина, высокий ростом, дородный, с крупным, слегка обрюзгшим лицом. Офицеры потчевали незнакомца, подливали ему в стакан, пододвигали то одно, то другое из еды. Гость, отвечая благодарными взглядами, энергично жевал.

— Вот здорово, что тебя нашли, — сказал парторг, старый приятель Комарова, — Понимаешь, привели к нам, попросили накормить, говорят, из союзников, а что

он союзник — шут его разберет. Лопочет по-своему, а мы ни бум-бум.

Комаров поздоровался по-английски. Крупный мужчина перестал жевать, поднялся, протянул руку, представился:

— До войны я был здесь корреспондентом... — он назвал известное агентство. — Началась война, и я не успел выбраться отсюда. Никаких средств к существованию. Пришлось пойти работать в немецкую газету. Разумеется, не в «Фелкишер беобахтер», нет-нет! Я сотрудничал в «Курьере», умеренной, солидной газете с культурным уклоном. Вел рубрику «театр и музыка», невинные вещи...

Комаров перевел его слова своим друзьям.

— Ничего себе союзничек, на немцев работал, — процедил сквозь зубы парторг. Остальные участники застолья отреагировали молча — кто косой улыбкой, кто удивленно вскинутой бровью.

— Кажется, ваши товарищи не одобряют меня, — забеспокоился гость. — Но я прошу вас понять. Я оказался на положении интернированного. Бежать, скрываться? Но куда? И для чего? Мне ничто непосредственно не угрожало, я был всего лишь под наблюдением полиции. Соппротивление в одиночку было бы безумием. Обстоятельства были сильнее меня.

Американец говорил на родном языке с жадностью, взхлеб, словно изнуренный жаждой спутник, припавший наконец к вождеденному источнику. Но речь его пестрела немецкими словами, чего он сам, по видимому, не замечал.

— Вы журналист и можете меня понять: я наблюдал. Я видел немцев как в пору их блистательных успехов, так и во время неудач, в момент катастрофы. Видел жизнь Германии вблизи. Мои хроникальные заметки были только средством прокормиться. Настоящая работа заключалась в другом. Накоплен богатейший материал. Но все собранное во время войны бледнеет пе-

ред тем, что я пережил в эти немногие дни с момента вашего вступления в город. Как только я вернусь в Штаты, засяду за книгу. Главное место в ней займут эти незабываемые дни и мои встречи с русскими, мое восхищение вашими замечательными парнями. Ваше гуманное отношение к пленным... Ваша забота о гражданском населении... Храбрость и дисциплина ваших солдат... А ваши прекрасные песни!..

— Он говорит, что обстоятельства были сильнее его, — перевел Комаров исповедь американца в сокращенном варианте. — Сопротивляться в одиночку было бы безумием. Он решил сохранить себя для будущих трудов.

— А, чего там! Кто жрать дает, тому и поет, — буркнул непримиримый парторг. — Ну да ладно, долг гостеприимства, так сказать. Препроводим его к союзникам, пусть разбираются.

Американец долго не выходил из головы у Комарова. Как определить свое отношение к такой ситуации? Как сам он поступил бы на его месте? Прав ли парторг в своем осуждении? Чиста ли совесть у того американца? А может быть он не просто журналист? Имел задание? На войне чего не бывает... Почитать бы ту обещанную книгу...

Северное предместье Берлина, не тронутое войной. Немошренные улочки, поросшие травой, старообразные одноэтажные домики в окружении фруктовых садов, водоразборные колонки с длинными изогнутыми рычагами. Здесь расквартировались армейские тылы плюс редакция армейской газеты. Поздним вечером восьмого мая — переполох. В чистом небе далеко на юго-западе, над расположением соседей, грохочет канонада, рвутся в вышине зенитные снаряды, разноцветные очереди трассирующих пуль пронзают синий полумрак. Что за диво? Похоже на праздничный салют...

Наутро узнали подробности. Офицер по разложению войск противника, слушая немецкую передачу

лорда Хау-Хау, то есть лондонского радио, узнал, что адмирал Дениц подписал капитуляцию германских вооруженных сил. Конец войне! Капитан-разлагатель включает на полную мощность свою вещательную систему, спешит оповестить всех и вся об окончательной победе над врагом...

О дальнейшем рассказывали так. Командующий соединением, который лондонское радио не слушает, дознавшись о происхождении самостийного салюта, приказал судить капитана как вражеского агента, ибо его провокационное сообщение привело к растрате боеприпасов, а случись теперь, что недобитые части противника предпримут активные действия? Трибунал рад стараться, приговаривает виновника к расстрелу.

Два автоматчика и с ними лейтенант поднялись во внутрь служебной будки на колесах, чтобы охранять осужденного, а по утру исполнить приговор. И тут капитан им говорит: у меня канистра спирту припасена, дозвоьте перед смертью выпить за нашу победу. Что ж, причина очень даже уважительная, разрешили, да и сами не отказались как бы заблаговременно справить поминки. Пели все четверо: «Одержим победу» и прочие фронтовые песни, обнимались и плакали по такой вот дуриком загубленной жизни. Наутро примчался посыльный от генерала с сообщением, что сведения о капитуляции подтвердились и приговор отменен.

Так все это было или чуть по-иному, история понравилась. Уцелевшие фронтовики, смеясь, расставались со своим прошлым.

На банкет в честь победы в штабе Н-ской дивизии явился журналистский десант: сопровождаемый друзьями бывший рядовой стрелковой роты, а ныне военный корреспондент Комаров. Естественным было его желание отметить всенародный праздник 9 Мая с теми, с кем он начал свой боевой путь.

Длинный стол покрыт крахмальной скатертью,

теснятся на нем трофейные вина и коньяки, судки и блюда со всякой изысканной снедью. Комдив, начштаба, начальники служб уже навеселе. Журналистов встречают со снисходительным радушием, словно ряженных на святки. Велели принести стулья, потеснились, усадили, налили по штрафной.

Генрих Четвертухин, знающий все об всем, толкает в бок Бориса:

— Разведка донесла, что у них в подвале полные ящики швейцарских часов. Черный циферблат, светящиеся стрелки Водонепроницаемые, заказ военно-морского ведомства. Подъезжай, на тебя вся надежда.

— Геша, уволь. У меня не получится.

— Не хочешь порадеть за братьев по оружию? Стыдись!

— Ладно, попытаюсь. Налей втихую.

После двух дополнительных приемов коньяка лейтенант Комаров поднимается с бокалом в руке, ест глазами комдива.

— Товарищ полковник! Я, конечно, извиняюсь, что мне приходится называть вас полковником. В наших глазах, в глазах всех, кто служил под вашим командованием, вы давно являетесь генералом...

Уснадобливал это смелое утверждение еще каким-то словесным гарниром, но мог бы не продолжать: комдив отреагировал мгновенно:

— Слышь-ка, начштаба... Распорядись там насчет часов для товарищей журналистов!

Ах, все мы люди, все мы человеки!..

Войско называлось оккупационным, но оккупантами никто себя не признавал, предпочитая звание освободителей. Слова меняют свое значение, понятия приобретают разные оттенки — в зависимости от обстоятельств.

Этот город, расположенный почти в самом центре Германии, повидал множество войн, пожаров,

разрушений и немало оккупаций на своем долгом веку.

Но самыми невыносимыми оккупантами были свои же соотечественники. Двенадцать лет властвовали здесь полуграмотные горлопаны, самонадеянные ничтожества. После них любая власть была бы желанна. Заокеанские избавители возникли и исчезли, как мимолетное видение, отошли за лесистую громаду Гарца, обдав не успевший опомниться город синеватым дымком своих бесчисленных джипов и студебеккеров. Новые хозяева положения вступили не спеша, вразтяжку, обосновывались всерьез и надолго.

За глухой, в полтора человеческих роста, белокаменной стеной высятся пятиэтажные казармы. По соседству, отделенные подрастающей рощицей, стоят офицерские дома, тоже пятиэтажные, но гражданского образца. Какими судьбами остался невредимым этот уголок большого города, наполовину разрушенного бомбардировками, известно одному богу войны, после долгих колебаний возлюбившему тех, кому по праву суждено было стать победителями.

В глубине рощи стоял двухэтажный особняк из желто-розового песчаника с широченными окнами. Раньше в нем обитал командир квартировавшей здесь егерской дивизии, теперь же он достался командующему соединением, чьи дивизии располагались в широкой округе.

Шла послевоенная реорганизация: переформирование, передислокация, демобилизация, отправка на родину, а если не повезет, то в направлении сопок Манчжурии. Омоложивался офицерский корпус.

Тихо, без помпы, простился со своими соратниками редактор Рудаков. Обошел всех до единого, от своего заместителя до печатников, шоферов и кухарок, пожал каждому руку, с ветеранами обнялся по-братски. Был невесел, трезв и рассеян. Возникали разные догадки, поговаривали про плохие вести из дома, про давние трения с политотделом. Нового редактора встретили

холодно — так встречают в семье нового — неродного отца.

Из редакций газет расформированных дивизий прислали троих новичков. Двое из них — разбитные, бывалые — легко вписались в ландшафт и посему стали незаметны. Третьим быть совсем молоденький лейтенант, рослый, худощавый, ладно скроенный. На его милостивом бледном лице лежала печать тайной озабоченности. Он был молчалив, очень воспитан, поеживался от всякой непристойности и даже от простой грубости. Борис Комаров, проникшись симпатией к новичку, принял на себя добровольное опекунство над ним: объяснял, как лучше добраться до войсковой части, куда его направляли в командировку, к кому лучше всего там обратиться, в каком стиле разработать порученную тему... Лейтенант Турченко с благодарностью принимал дружескую помощь, но и только. Сближению способствуют приятельские застолья, а Валентин Турченко их сторонился.

Состояние, в котором пребывал Борис Комаров все лето тысяча девятьсот сорок пятого года, вернее всего было бы обозначить как удивление. До сих пор, на пути к Берлину, а паче того, в самом Берлине, он видел преимущественно руины. Но в этой округе, где без боя прошли американцы, все выглядело как на картинке. То есть буквально! В детстве, рассматривая иллюстрированные странички сказок братьев Гримм, Борис усвоил, что на картинках рисуют именно по-сказочному, чтобы было красиво, на самом же деле не бывает, чтобы домики и сарайчики были так ярко и разноцветно окрашены, чтобы так круто вздымались черепичные крыши, чтобы такими прямыми были ограды и садовые дорожки, чтобы так блестели на солнце чисто вымытые окна. А оказалось, что все это существует в действительности.

На прибранном к рукам мотоцикле — много бесхозной утвари раскидано было на опустевших подворьях

ях. — Борис разъезжал по окрестностям, благо в каждом городишке располагалась какая-нибудь воинская часть. Однако служебный интерес у Бориса Комарова все больше отодвигался на второй план. Его пленила Германия!

Еще на пути к Берлину, на одной из бесчисленных коротких стоянок он обнаружил в куче всякого хлама два тома словарей Лангенхофа: англо-немецкий и немецко-английский. Воодушевившись сходством лексикой того и другого языка, он вознамерился освоить немецкий. Спрашивал дорогу у местных жителей, читал вывески и объявления и не чуждался любых контактов. Теперь он был уже достаточно подкован, чтобы, оставившись в придорожном трактире, заказать кружку жиденького пива, перекинуться парой слов с хозяйкой — как называется деревня, далеко ли до такого-то города, что тут сеют на полях и велик ли урожай. Он испытывал радостное возбуждение как от разгаданной загадки, когда убеждался, что немцы его понимают и он понимает их. Так день за днем и шаг за шагом он переставал чувствовать себя чужаком на этой земле.

Вражеская страна? Невероятно, но факт: чувство враждебности не возникало при встречах с невооруженными немцами даже тогда, когда еще продолжалась война. Теперь же здесь о враждебности не могло быть и речи. Было любопытство. Была отчужденность. Было недоверие. Но враждебность? «Мы не хотели этой войны!» Так кто же ее хотел?

За обедом в гарнизонной столовой Борис Комаров и Валентин Турченко нередко оказывались за одним столом. Однажды, передавая соседу тарелку борща, Борис обмолвился — в шутку:

— Битте, мэйн герр!

Валентин расцвел в улыбке и ответил:

— Данке, коллеге, зеер либенсвюрдиг фон инен!

— Ого, да ты в совершенстве владеешь немецким!

— Ну что ты! — поспешно возразил лейтенант

Турченко как бы в свое оправдание. — В совершенстве владею двумя-тремя фразами.

Вместе поднялись из-за стола и вышли наружу.

— Слушай, отчего ты живешь каким-то отшельником, сказал Борис Комаров, взяв товарища за локоть. — Заходи сегодня вечерком ко мне соберутся ребята...

— Извини, не смогу... А может быть ты зайдешь ко мне? Например, завтра?

Приглашение было сделано таким странным, нерешительным и в то же время просительным тоном, что Борис невольно насторожился. Все уже привыкли к тому, что этот юноша сторонится компанейских увеселений — ну и пусть, мало ли что... Может быть, ему нельзя — врач запретил... И вдруг это приглашение. Да еще и добавление к нему:

— Только ты один, хорошо?

На другой день, к вечеру, Борис надел штатский костюм, прихваченный в ходе наступления в каком-то брошенном доме, почистил ботинки, второй раз побрился, побрызгал на себя одеколоном — что-то подсказало ему, что этот визит необычен, вышел из своего подъезда и направился в другой подобный же дом, где каждый офицер тоже занимал отдельную квартиру. Невольно он оглядел всю короткую улицу с молодым кустарничком вдоль тротуаров, и то, что она оказалась пустынной, почему-то принесло ему успокоение. Однако не полное — смутные предчувствия не покидали его.

Он нажал кнопку звонка у двери на первом этаже, послышались торопливые шаги и взволнованный голос Валентина спросил:

— Кто там?

Странно, подумалось Борису. Он ведь знает, кого приглашал.

— Это я, Комаров.

Валентин Турченко. приветливый и смущенный, быстро втащил его в дверь, провел в комнату, обставленную скромно, но очень прибрано в духе столовой-

гостиной, усадил в кресла, произнес несколько слов про то, как он рад его приходу, попросил извинения и, сказал, «я сейчас», скрылся за дверью соседней комнаты.

Борис огляделся.

На зеленом плюшевом диване лежала думка из бордового бархата, вышитая крестом. Над диваном висела дубовая полированная дощечка с надписью готическими буквами: «Ein froher Gast ist niemals Last». Круглый столик был сервирован к чаю — на четверых! Ваза с вареньем, блюдо с домашним печеньем, фарфоровые чашки с блюдцами, серебряные ложечки, розетки зеленоватого стекла... Боже, как все обыденно, подумал Комаров. Эта незатейливая до скуки обстановка почему-то вызывала недоверие, почти протест, ибо она вступала в резкое противоречие с тем накалом ожиданий, который, казалось, был разлит в атмосфере. Это выглядело как бездарно выбранная или навязанная цензором водевильная декорация, когда играть предстояло трагедию. Думалось, здесь уместнее были бы грозные скалы и темные бездны, кромешный мрак и всплески молнии... Ощущение трагедийности внушало и странное поведение Валентина, начиная от таинственности, которой он окружил свое приглашение, и кончал какими-то долгими приготовлениями, происходившими за дверью в другую комнату. Оттуда слышалось торопливое перешептывание, приглушенные вздохи и шарканье нерешительных шагов.

Наконец дверь отворилась, и на пороге появился Валентин Турченко, ведущий за руку юное создание божественной красоты — никакими иными словами Комаров не взялся бы высказать произведенное на него впечатление.

Лет двадцать на вид. Светлые волосы пушистой волной ниспадают на округлые плечи, на молочной свежести щеках розовеет нежный румянец, большие небесной голубизны глаза в обрамлении длинных шелковистых ресниц лучатся смущением и добротой. На

ней широкое и длинное, наподобие пеньюара, светло-розовое платье из легкой полупрозрачной ткани — оно, увы, не может скрыть значительную округлость живота!

Лейтенант Турченко, крепко и бережно держа белую припухлую руку подруги, улыбался Борису торжественно и искательно. Следом за этой удивительной парой показалась женщина лет сорока, одетая в строгое серое платье. Смесь виноватости и гордого вызова отражалась на ее испуганном лице.

— Моя невеста Эльза, — сказал Валентин Турченко. — А это ее мама, фрау Виденгефт. Прошу любить и жаловать. — Это все по-русски. — А обернувшись к дамам, по-немецки. Мой друг Борис Комаров.

Раскланялись.

— Очень приятно, — произнес Борис по-немецки, пожимая руки — осторожно, в полсилы Эльзе и твердо, решительно ее матери.

Чинно пили чай с вишневым вареньем.

— Мы всегда варим много вишневого варенья, его хватает у нас на весь год, до нового урожая, — говорила фрау Виденгефт.

Печенье домашнего изготовления похрустывало на зубах.

— Я давно просила Валентина, чтобы он познакомил нас с кем-нибудь из своих друзей, — поддерживала разговор фрау Виденгсфт. — Но он отвечал, что нам будет неинтересно общество людей, с которыми мы не сможем говорить на одном языке. Теперь нам очень приятно встретить русского офицера, который так же, как наш Валентин, хорошо говорит по-немецки.

— Хорошо говорит — это преувеличение, — скромничал Борис. — Вы слишком добры ко мне.

— А где ваш дом, господин Борис?.. О, Москва, это огромный город и, наверное, очень красивый... У вас очень холодно зимой?

Салонный разговор! Улыбки получались

натянутыми, при всей доброжелательности с обеих сторон.

Борис вздохнул с облегчением, когда они с Валентином, вызвавшимся его проводить, вышли на улицу. Без лишних слов Борис затащил друга к себе, достал начатую бутылку коньяка.

— Ты с ума сошел! — накинулся он на непутевого лейтенанта. — Как ты представляешь себе ваше будущее?

— Выслушай меня, — тихо сказал Валентин Турченко, опустив голову. Отодвинул налитый стакан, взглянул в лицо Борису откинулся на спинку стула, встал, походил по комнате, взял стакан, выпил залпом, сел и заговорил.

Городок, в котором надолго застряли тылы дивизии, наступавшей в направлении Штеттина, был невелик, но была в нем небольшая типография, которой и завладела «дивизионка». Сотрудников редакции разместили по соседству, на квартирах у местных жителей. Лейтенанту Турченко достался одноэтажный домик неподалеку от типографии. Ему отвели две комнаты, две других оставила за собой хозяйка, фрау Виденгефт. Она вела себя тихо, опасливо, готовила ему утренний кофе и вечерний чай. Похоже, она жила одна, но у него все время возникало подозрение, что в доме находится кто-то третий. То он слышал осторожные шаги, где-то рядом, то ли за стеной, то ли в подполье, то приглушенный разговор едва доносился до его ушей...

Он еще в школе — редкий случай! — неплохо выучил немецкий язык и поначалу досадовал на то, что хозяйка оказалась неразговорчивой. Едва подав ему чай, она уходила к себе, односложно, с подчеркнутой вежливостью, ответив на его вопросы. Все же безупречное поведение квартиранта сделало свое дело, лед начал таять. Он узнал, что это был дом ее покойных родителей, а она до недавних пор жила в Восточной

Пруссии, в небольшом имении, принадлежавшем мужу. Майор Виденгефт погиб на восточном фронте. Его портрет, повязанный по углу черным крепом, стоял на комодe в комнате хозяйки. Когда она показала ему этот портрет, он невольно, из сочувствия к одинокой женщине, застыл перед ним в минутном молчании. Это произвело впечатление на хозяйку, она взяла его за руку и сказала: «Я вас благодарю. Теперь я знаю; его убили не русские. Его убила война».

На другой день за утренним кофе появился третий человек, о присутствии которого в этом доме Валентин смутно догадывался. Эта красивая девушка вела себя очень тихо, почти не разговаривала, молча исполняла приказы матери — посмотреть, кипит ли чайник, заварить эрзац-кофе, принести американские галеты из запасов господина лейтенанта, убрать со стола... Она боязливо сторонилась Валентина.

Так прошли недели, но вдруг в доме наступило праздничное оживление. Приходили соседки помогать на кухне, из погреба извлекались банки с законсервированной снедь: предстояло отметить день рождения Эльзы, ей исполнялось девятнадцать лет. Узнав об этом, Валентин раздобыл букет, составленный цветочником по неизвестному Валентину специальному подбору, и преподнес его Эльзе за утренним кофе. Потом ему пришлось принять участие в праздничном ужине, он сидел — за неимением прочих мужчин, что ли? — на почетном месте во главе стола, все хвалили приобретенное им в военторге грузинское вино. Танцевали под радиолу, и он пригласил Эльзу на танго. С этого все и началось.

Вечерами они сидели у «телефункена», слушали музыкальные передачи из Брюсселя и Лондона. Мать уходила, оставляя их одних. Он брал Эльзу за руку, любовался ее профилем, они выходили в сад... Его приводило в недоумение, что мать не препятствовала их сближению и даже не протестовала, когда Эльза оставалась с ним допоздна.

После первых дней светлого праздника любви Эльза сделала признание, которое потрясло его как ни что на свете. Смеясь и плача, она вдруг стала его пылко благодарить. За что, он никак не мог взять в толк. «Ты вернул меня к жизни», повторяла она. «Ты снова сделал меня человеком». Поняв, наконец, о чем идет речь, он зашатался, как от удара.

...День и ночь за городом шли бои. Лавина огня перекатывалась с одной окраины на другую и постепенно сдвигалась с севера на юг. Жители прятались в подвалах, дело еще не дошло до повального бегства, всем хотелось сохранить свое имущество.

Четверо ворвались в их дом. Мать успела спрятать Эльзу в подвале, научила ее вымазать углем лицо... Не помогло. Налетчики разыскали вход. Мать, которая кричала, не смейте трогать мою дочь, связали и заперли в кладовке. А ее...

После происшедшего она уверилась в том, что никогда больше не сможет смотреть на мужчину без отвращения. От одного только намека на отношения между женщиной и женщиной ее бросало в дрожь.

Потом они пробирались по лесным дорогам на запад, на родину матери, волокли на себе самое необходимое из одежды, и домашней утвари.

«Ты вернул меня к жизни!» — повторяла она. «Искупил грех своих соотечественников», — думал он с горькой иронией и стыдом. Чувства, разбуженные в нем, не имели названия. Ясно было только, что их сила и глубина, напряжение, жгучесть, повелительность, власть над всеми соображениями благоразумия и дозволенности — безграничны.

Что было дальше? Возникла маленькая семья. Все трое неразрывно привязались друг к другу. Дивизия оставалась в резерве и больше не участвовала в боях до самого конца войны, а только перемещалась шаг за шагом вслед продвижению фронта. Переезжала редакция дивизионки, переезжал на новые квартиры лейтенант

Гурченко, переезжали вслед за ним мать и дочь Виденгефт. Валентин был не настолько наивен, чтобы открыто признавать свою «связь с немкой», чуть ли не равнозначную «измене родине», но его товарищи по редакции были в курсе, а ближайшее начальство догадывалось и молчало. Эльзе и фрау Виденгефт он говорил, что постарается оформить брак как только будут улажены отношения между его страной и побежденной Германией. Но вот дивизию расформировали, а его направили в армейскую газету... Темной ночью он перевез их сюда, на свою новую квартиру, и здесь они жили в заточении, не смея показаться на людях.

— Ну что сказать тебе, дружище Валентин, — промолвил старший лейтенант Комаров, раскуривая сигарету. — Да поможет вам Бог — если он есть...

6.

Германия разбогатела столицами, их сделалось целых пять. В Берлине заседал Контрольный совет в составе высших чинов четырех держав-победительниц, и в четырех его секторах наводили порядки, каждый по своему, четыре военных коменданта. Во Франкфурте-на-Майне обосновалась американская оккупационная власть, богатая, либеральная, вовсе даже не охочая до управления чем бы то ни было. В Дюссельдорфе осели англичане, серьезные, благовоспитанные, весьма обеспокоенные поддержанием своего престижа и доброго имени. В Баден-Бадене радовались жизни французы, быстро превратившиеся из оккупируемых в оккупирующих, радушные, раскованные, не помнящие зла. Но самой внушительной и самой авторитетной среди прочих столиц был Потсдам, штабквартира Советских оккупационных войск. Тех самых войск, которые не просто вынесли главную тяжесть войны, но и могли бы без

участия союзных армий дойти до Рейна, будь на то воля божья.

Потсдам, как много в этом слове... Резиденция прусских королей, а затем германских императоров во времен Фридриха Великого, Большого Фрица, самого популярного из германских монархов... Место последней встречи последних самодержцев Германии и России, Вильгельма и Николая, оба вторые... И вот уж совсем недавно, прошлым летом, в августе — место последней встречи союзников, пока еще союзников, между которыми уже забегали черные кошки, одна из них, чернейшая, была выпущена как раз во время этой встречи, и звалась она атомной бомбой...

Осенью тысяча девятьсот сорок шестого года Потсдаму было назначено опять-таки стать ареной события, по внешности не столь значительного, однако единственного в своем роде и чреватого последствиями: намечался торжественный прием по случаю двадцать девятой годовщины Октябрьской революции с приглашением высоких представителей оккупационных держав.

В первых числах октября Борис Комаров, к этому времени уже капитан и ответственный секретарь редакции армейской газеты, был вызван в отдел кадров соединения.

— Садись, — сказал худой угрюмый полковник, не дослушав рапорт. — Комаров? Ты по национальности кто? Ну, понятно. Фамилию не менял? С родственниками как? Благополучно? Вот ты пишешь в анкете, что владеешь английским языком. А не врешь? Диплом имеешь? Ну ладно, проверить тебя здесь некому. Значит так: поедешь в Потсдам. Явишься в штаб группы войск...

В полутемном коридоре на высоких дверях белые овальные номерки, разглядеть цифры можно только, если подойдешь вплотную. Постучав, он вошел и сощурился от яркого света, окна выходили на юг, и невысокое осеннее солнце било в глаза сквозь черное кружево

оголенных ветвей. В кабинете никого не было, на письменном столе громоздились разноцветные папки. Была открыта дверь в смежную комнату, оттуда доносились голоса и стрекот пишущего аппарата. Помявшись у порога, Комаров покашлял, сначала несмело, потом громче. Невысокий, молодцеватого вида лысеющий подполковник вышел из соседней комнаты.

— Фамилия? Откуда прибыл? Садись.

Подробно расспросил обо всем, начиная от рождения и кончая вчерашним днем. Борис говорил все, что следовало, он знал правила игры. Подполковник вертел карандаш между пальцами.

— С немками не якшаешься?

— Никак нет!

— Гляди! — Он посмотрел на часы? — Обедал? Ступай пообедай. Явишься в шестнадцать ноль-ноль.

В шестнадцать с минутами в кабинете собралось четверо приезжих: один майор, два капитана и лейтенант, все из разных гарнизонов.

— Ну вот, товарищи офицеры, — сказал подполковник, — мы познакомились с каждым в отдельности и теперь вводим вас в курс дела. Все вы политработники, обстановку вам объяснять не надо. Одним словом, вам поручается ответственное задание. Вернее так: вам оказано высокое доверие. Вы будете присутствовать на праздничном банкете во дворце Цецилиенхоф. Почему вам такая честь? Потому что вы знаете английский язык.

Со всей группы войск набралось всего-то четверо знатоков? Не густо, подумал при себя Борис Комаров.

В чем будет состоять ваша задача? — продолжал подполковник. — На банкете будет присутствовать много представителей западных держав, больше всего англичан и американцев. Они будут вести разговоры между собой. О чем? Вот это нам как раз и интересно. Вы будете вращаться среди них и слушать, о чем говорят. Потом доложите в письменной форме. Понятна

задача? Старший вашей группы — майор Черкасов. Подробную инструкцию получите от него впоследствии. Предупреждаю: полная секретность. В случае разглашения — трибунал. Ясно? Вызовем вас перед праздником. Пока свободны. Капитан Комаров, вы останьтесь, с вами будет еще отдельный разговор.

Почему со мной? Чем я лучше или хуже других? Что они знают обо мне? Или еще хотят узнать?

— Присядь вон там, — подполковник указал на небольшой столик дальнего окна.

Барышня в военной форме без знаков различия вынесла большой анкетный бланк с полусотней вопросов и два листа для автобиографии. Они меня куда-то метят, догадался Комаров. Но куда? В разведку? В чужедальнюю страну?

— Разрешите узнать, с какой целью все это? — спросил он у подполковника, передавая бумаги.

— Узнаешь в свое время, — ответил тот без улыбки.

— А если я не захочу?

— Ишь какой — не захочет он! Ты на службе! Прикажут и захочешь. В общем, не волнуйся. Хуже тебе не сделаем. Пока что езжай обратно в свою часть. О результатах известим.

Недели через две Комарова снова вызвали в отдел кадров соединения. Вручили готовые документы: направление — вещевой и продовольственный аттестаты — денежное довольствие.

— Желаю успеха! Не посрами... — напутствовал его подобревший кадровик.

Накануне октябрьских торжеств капитан Комаров прибыл в Потсдам с вещами.

За день до события четверо «слухачей» — этот термин промелькнул как-то в разговоре и запомнился Комарову — собрались для заключительного инструктажа. Он был кратким: прислушиваться к разговорам — существенное запомнить — спиртного в рот не брать —

в разговоры не вступать. Все!

В гарнизонной парикмахерской ножницы лязгали в темпе автоматной очереди, а людская очередь не убавлялась, занятого вида полковники и подполковник, едва вбежав, усаживались в кресло, а младшим офицерам оставалось лишь потряхивать гривами да грызть удила... Когда капитан Комаров, причесанный по-мокрому и пахнувший «Белой акацией», вбежал в свою комнату Дома приезжих, до начала приема оставалось меньше часа. А требовалось еще начистить сапоги, отполировать пуговицы, пришить свежий воротничок... Боже, как скачут светящиеся стрелки на этом черном циферблате!

Бегом, бегом!.. Вот он, вход во дворец, распахнутая дверь под двумя высокими шатрами... Перед дверью выстроилась цепочка приглашенных, среди них не видно офицерской братии подстать капитану Комарову, тут все больше представительные фигуры в иностранной форме, иные с женами в изысканных одеждах. Делать нечего, капитанишка Комаров пристраивается в хвост. Очередь движется быстро. Вот он уже миновал маленькую прихожую, входит в обширный вестибюль... О боже, что-это там впереди? Полукругом стоят генералы, от плеча до плеча в орденах, рядом с некоторыми из них нарядные дамы, а во главе этого строя — высокий и осанистый, живое олицетворение величия державы, сам главнокомандующий оккупационными войсками!

Гости один за другим проходят вдоль полукруга встречающих, пожимают руки, обмениваются приветствиями... Разве и мне продефилировать в этом порядке? Пожать руку маршалу и хлопнуть его по плечу: хеллоу, Майкл?

Капитан Комаров ловко увиливает вправо, пропускает вперед пристроившегося за ним джентльмена в смокинге, а сам скрывается за какой-то полуоткрытой дверью. Два офицера с повязками смотрят на него вопросительно, он предъявляет пригласительную кар-

точку, они молча кивают и продолжают наблюдать за ходом церемонии через дверную щель.

Прошли все высокие гости, вестибюль опустел. Борис Комаров покидает свое убежище и направляется внутрь дворца. Залы кишат народом. Длинные столы уставлены фантастическим скоплением деликатесов высшей марки, коньяками, винами, водками всевозможных сортов, тортами, пирожками и бисквитами на любой вкус, плодами всех земных широт. Толпясь во круг этого питейно-гастрономического великолепия, военные, полувоенные и штатские чины обзаводятся тарелками, вооружаются вилками, наполняют бокалы, чокаются, провозглашают тосты. У пологой ковровой лестницы, ведущей наверх, стоят молодые люди с повязками на рукаве, оберегают ход в тот особый зал, куда удалились самые высокопоставленные персоны.

Переходя из зала в зал, Комаров наткнулся на майора Черкасова.

— Где ты шляешься? Мы уже скоро час как здесь.

— Явился именно к началу. Точность — вежливость королей.

— Ну, мы-то с тобой пока еще не короли. Действуй. Будем встречаться время от времени, обмениваться соображениями.

Становилось все более шумно, чинность и степенность растворялись в вине, торжествовали простота и раскованность. Борис Комаров переходил от одного стола к другому, от одной группы к другой, стараясь уловить канву разговоров. Ничего достойного внимания услышать ему не удавалось, до и не все понятно было в смешении разноязычных фраз, возгласов и приветствий. На перекрестии двух коридоров он вновь повстречался с майором Черкасовым.

— Ну что они там?

— Все больше про икру, а про политику ни слова.

— Ладно, продолжай. Может быть в подпитии разговорятся.

Снова ходит Борис Комаров от стола к столу, с завистью косится на пустеющие бутылки с заморскими винами. У одного столика в уютном углу его внимание привлекает веселая компания, пошумнее других. Остановился поблизости, прислушался... Что за диво? Мужчины в американском обмундировании, по без знаков воинского ранга, такую форму носят гражданские служащие в их войсках, с ними молодая дама в цивильном, по говорят-то они, говорят — по-русски! Может быть я ослышался, думает Борис, и как бы невзначай приближается вплотную к оживленной группе. Нет, никакой ошибки, говорят по-русски, причем дама — на чистейшем русском языке, а полувоенные мужчины с некоторым затруднением. Это уже интересно!

При очередной встрече с майором он делится своим наблюдением.

— Вот что, — говорит Черкасов. — Получено новое указание. Можно выпивать, конечно, понемногу и вступать в контакт. Действуй!

Рады стараться! За малолюдным столом средних лет офицер в незнакомой форме, с тремя маленькими звездочками на широких черных петлицах, не спеша, с достоинством угощается осетриной.

— Хау ду ю ду, — говорит Борис. — Прекрасная атмосфера здесь, на этом приеме.

— Совершенно с вами согласен, — вежливо отвечает офицер.

— Позвольте представиться, капитан Иванов, из штаба Войск.

— Очень приятно. Полковник Де-Брюс, военный атташе Бельгийского Королевства при Контрольном Совете.

Вот тебе на! Поди, разберись, у них со знаками различия! А я-то думал, что это птица моего полета!

— Позвольте поднять бокал за ваше здоровье, полковник!

— Ваше здоровье, капитан!

Борис спешно ретируется. Такой собеседник ему не по плечу.

Компания американцев, говорящих то по-русски, то по-английски, уже изрядно под мухой. Переходят на пиво. Вспоминают что-то забавное, смеются. Борис приближается, слушает, Упоминают Киев, аэродром, Днепр, ночные рейсы, летную погоду, переводчиц, красивых женщин. Все ясно, это американские представители, которые в Киеве обслуживали челночные операций по доставке грузов из-за океана... Женились на киевлянках, немного даже обрусели. Вполне прилично говорит по-русски тот плечистый, смугловатый малый в форме вольнонаемного американской армии. Ладно, бог с ними, пусть веселятся, какой мне в них интерес...

Капитан Комаров идет дальше, переходит в следующую зал. Там в обширной нише кутят французы, их язык звучен и красив, но Борису, увы, непонятен. Но чу? — что за оказия? Тут тоже слышится русская речь, да еще какая: изысканная, плавная, словно со сцены императорских театров... Ба, да ведь эго эмигрантское отроде из России, потомки всяких там Милюковых да Родзянок! Офранцузились, надели форму французской армии, по тряхнуть стариной все же захотелось, когда русская водка развязала языки. В возбуждении от своего открытия капитан Комаров ищет свободное место у ближайшего стола, наливает себе что попало, выпивает, наскоро прожевывает бутерброд с икрой, еще раз прикладывается к бокалу, и отправляется на поиски контактов в соответствии с новой инструкцией. В голове у него приятно шумит, ноги пока что слушаются исправно, на душе легко и привольно. Пошло дело, ради которого он здесь, на радостях он готов обнять весь мир. Он идет по широкому проходу между двух уже опустевших столов, а ему навстречу движется размашистой походкой детина огромного роста, стройный и ладный, в отлично сидящей на нем американской форме с погонями лейтенантского достоинства. На симпатичнейшем

юном лице его сияет дружелюбная улыбка. Эти два молодых человека движутся навстречу друг другу, как будто сама судьба свела их вместе, неизвестно, для какой цели их влечет друг к другу, повелительно и неудержимо. Они встречаются посередине зала, протягивают друг другу обе руки.

— Хеллоу. Джон, — говорит Борис Комаров.

— Хеллоу, Иван, — говорит американский лейтенант.

— Комм, лет аз хэв э дринк тугезер, — говорит русский.

— Правильно, пойдем выпьем, — отвечает американец.

Они в обнимку идут в боковой зальчик, где нет уже ни единой души, но столы еще полны всякой всячины, наливают себе по бокалу вина.

— За нашу победу! — говорит Борис Комаров.

— За победу, так за победу, — поддерживает его американец.

Налили по второй.

— За твое здоровье, — говорит Борис Комаров.

— И за твое тоже!

Почему мы разговариваем по-русски, доходит вдруг до сознания Бориса Комарова?

— Слушай, откуда ты так хорошо умеешь говорить по-русски?

Рослый американец смотрит на него сверху вниз с веселым прищуром.

— А потому, что когда у вас произошла эта самая незабвенная Октябрьская революция, годовщину которой мы торжественно отмечаем сегодня, мои папа и мама сочли за благо смыться из осчастливленной ею родной страны.

Странно, подумал Борис: я не почувствовал никакой обиды, никакой враждебности к этому белогвардейскому отпрыску, он по-прежнему нравится мне, и я даже готов выпить с ним на брудершафт. Может быть

это оттого, что я пьян.

— Как тебя зовут по-настоящему? Владимир?! Володя, объясни мне. Я тут повсюду слышу русскую речь, и у французов, и у американцев. Как это понимать?

— Милый мой, вся русская белогвардейщина, которую на данный момент можно было собрать в Европе, сегодня находится здесь.

Вот как! С какой целью, не надо мне объяснять, думает Борне Комаров, трезвея. А мы-то с грехом пополам наскребли четверых, из которых двое, как выяснилось, едва выговаривают хау ду ю ду!

Это приключение составило основу рапорта, который капитан Комаров подал по принадлежности. Ему было приказано явиться на следующий день за назначением.

И этот день настал. Знакомого подполковника было не узнать. Не пригласив сесть, он встретил капитана Комарова грубой бранью. Что только не сыпал он на голову неудачника! Он и пьяница, и разгильдяй, и разложившаяся личность, чуть ли не изменник родины: обнимался с американцем! Подполковник ругался долго и нудно, и временами Комарову казалось, что говорит он не свое, а исполняет чужую, ему навязанную волю: уж больно резким был поворот. В заключение подполковник изрек:

— Такие люди нам не ко двору. Идите и забудьте о нашем предложении.

...Кто-то накапал, думает Борис. Кто? Неужели наш майор? Ах нет, на него непохоже. Ну да черт с ними совсем, радоваться надо, что обошлось. Но куда теперь? Ведь из своей армии я уволен. В раздумьи плетется он по коридору, и вдруг слышит оклик:

— Комаров! Ты чего здесь?

Вот так встреча! Это бывший начальник кадров политотдела, друг редакции полковник Щербатов.

— Ты как сюда попал?

Выслушав печальную повесть несостоявшегося

разведчика, полковник задумался.

— Н-да, бывает... Слушай, а ты по-немецки — как? Более или менее? Я сейчас по кадрам в Военной администрации. У СВАТ отличная газета на немецком языке. Могу порекомендовать редактору. Пойдешь?

7.

Сколько зигзагов было на жизненном пути Филиппа Глаголева! Можно сбиться со счета. Очередной такой зигзаг занес его в тихую гавань продолговатого кабинета с двумя высокими окнами, которые пропускали мало света, потому что напротив высилось еще одно здание старинной постройки, и в узкую щель между этими двумя строениями лишь изредка и вскользь, на закате, заглядывали лучи уставшего за день неяркого солнца.

С высоченного потолка свисала пятиламповая люстра, светившая при пасмурной погоде весь день напролет. На обширном дубовом письменном столе старинной работы горела еще и настольная лампа на толстой ножке под бронзу о двух сто свечевых лампочках. Лампа стояла по левую руку, а по правую стоял телефон, перед ним, под толстым стеклом, лежал печатный список номеров, не обозначенных ни в каких общедоступных справочниках. В противоположном углу комнаты стоял такой же стол, за ним сидел лысый очкарик, обладатель мягкого баритона, воспитанной и дружелюбной повадки, обложенный книгами и вооруженный вечным пером, по чину такой же реферант, занятый неизвестно чем, прилежный и молчаливый. Иногда он исчезал на несколько дней, куда и зачем, разговора об этом не бывало. Стены почти сплошь были уставлены книжными шкафами, где хранились бесценные, неизвестные широкой публике исторические, философские, географические, социально-экономические

и прочие сочинения на разных языках.

Медленно тянулось время в этих звуконепроницаемых стенах. Человек, не заряженный внутренней жаждой деятельности, мог бы здесь околоть от безделья, здесь можно было не то что днями — неделями не получать никакого задания. К счастью для Филиппа у него были свои научные интересы, и обширная, лишь здесь доступная библиотека давала ему массу материалов для обогащения знаний и по зарубежным литературам, и по всяческим направлениям философской мысли.

Но временами плавное течение дней вдруг резко нарушалось, возникал бешеный аврал, срочно требовались высказывания того или иного философа или государственного деятеля, или литературные цитаты, или даты и повестка дня той или иной международной конференции. Тогда все бурлило и сотрясалось, с полок прыгивали тома лексиконов и собраний сочинений, по коридорам бегали посыльные от инстанций одна другой выше, телефон надрывался звонками. Филипп или его товарищ по кабинету, или оба сразу строчили затребованные справки. Потом снова все затихало, дни текли как в полудремоте, только получасовая болтовня в чинной, неспешной и немногочленной очереди да за столиками ведомственного буфета, скрашивала серость будней.

Жить бы да радоваться такому порядку вещей. Одна беда: это кабинетное сидение по длительности своей не знало никаких разумных пределов. Нельзя было уйти со службы до тех пор, пока не ушел непосредственный шеф, а тот не мог покинуть свой пост, пока на месте его начальник, а тому нельзя отличиться до тех пор... И так далее вплоть до самого наиверховнейшего шефа, пристрастного к ночным бдениям. Филипп страдал душой и хирел телом, однако человек привыкает ко всему. «Время первое было трудно мне, но потом, проработавши год» — мысленно напевал он из «Кирпичи-

ков», ибо под воздействием жизненных ситуаций ему вспоминались созвучные обстоятельства выдержки из теснящегося в его мозгу литературного багажа от античной классики до базарного фольклора.

Но сколько ни привыкай к условиям существования, с отсутствием личной жизни трудно смириться любому человеку, а такому как Филипп Глаголев в особенности. Из всех некогда многочисленных дамских знакомств у него оставалось лишь одно, которое удавалось поддерживать. Его когдатошная протеже, Тамара Белоусенко, которая понравилась Юлии Прокопович и устроилась по ее рекомендации секретарем-машинисткой в редакцию одного литературного журнала, всегда была рада его звонкам, а еще более посещениям. Филипп был ее единственным близким знакомым в этом пока еще чужом для нее огромном мире по имени Москва.

Ее маленькая, квадратная комнатка в коммунальной квартире на Остоженке, доставшаяся ей за неимением наследников у одинокой старушки, умершей в эвакуации, была обставлена старинной мебелью орехового дерева под светлым, не поддающимся никакой потраве лаком: столик на гнутых ножках, два стула с бархатными красными сидениями, диванчик, обитый таким же бархатом с горбатой, украшенной резными завитушками спинкой, маленькое трюмо с тускнеющим зеркалом и глубокими выдвигаемыми ящиками. С этими изысканными предметами плохо гармонировала узкая железная кровать с волосяным матрасом на провисшей проволочной сетке, покрытая зеленоватым вигоневым одеялом. Что же до стоящей с противоположной стены кроватки с высокой деревянной решеткой, то хозяйке того предмета мебелировки, тихой сонливой Катеньке, не было никакого дела до стилевых несоответствий.

О существовании Катеньки Глаголев узнал необычным образом. В первые месяцы своей деятельности в секретариате министерства он под наплывом но-

вых впечатлений почти совсем забыл о своей встрече на перроне Виндавского вокзала. Как-то в преддверии Октябрьских праздников ему позвонила Юлия Прокопович.

— Прими мои поздравления!

Необычный тон озадачил Филиппа.

— Ты имеешь в виду...

— Я имею в виду твою прелестную дочурку.

— Какую дочурку, о чем ты?

— Не притворяйся. Я уже знаю, что твоя Тамара произвела на свет очаровательную девочку.

Филипп остолбенело дышал в телефон.

— Постой, погоди... Какая Тамара? Что ты мне приписываешь, Юлька? Я, конечно, польщен, что ты склонна считать меня отцом всех нарождающихся младенцев, но в данном случае...

— Ты хочешь сказать, что не имеешь отношения к ребенку Тамары, которую ты с такой трогательной заботой доверил моему попечению?

Господи, Тамара! Та растерянная провинциалка с двумя чемоданами!

— Постой-ка, она что, сказала тебе...

— Мне она ничего не сказала, но нетрудно было догадаться.

Филипп расхохотался в телефонную трубку:

— Послушай, что за фантазия? Я познакомился с этой Тамарой в тот самый день, когда направил ее к тебе, и с тех ни разу ее не видел,

— Вот и напрасно. Запишите ее телефон и непременно позвони. Она очень нуждается в поддержке.

Записывать он ничего не стал, но этот номер так прочно засел у него в памяти, что однажды он в минуту отчаянной скуки и досады на бесполезное сидение допоздна в пустом кабинете взял да и действительно позвонил.

Ответил сипловатый женский голос. Филипп даже растерялся на мгновение, но тут же сообразил, что

трубку взяла соседка: кого только не приютила Москва в это смутное послевоенное время.

— Можно попросить Тамару?

— Сейчас.

Коридорный шумок, хлопанье дверей.

— Тамара Белоусенко слушает.

Странная интонация, звучит отголоском военных рапортов.

— Здравствуйте, Тамара.

— Здравствуйте... А кто это?.. Ах, это вы!.. Как хорошо, что вы позвонили! Я часто вас вспоминала, вы мне так помогли... Если бы не вы, я не знаю, что бы со мной было... Так может быть зайдете?

К Тамаре можно было заходить в любое время, хоть в полночь, можно было оставаться ночевать, а можно было не заходить неделями, она всегда встречала его с мягким радушием. Катенька им совсем не мешала, она очень любила свою подушку и почти не просыпалась по ночам. Поняв из кратких, сбивчивых и неохотных объяснений Тамары, что отец Катеньки погиб на войне, Филипп больше не касался этой темы.

Катенька между тем подрастала. Заглянув как-то к Тамаре в воскресный день с очередным продовольственным пакетом, Филипп был очарован невиданной картиной: полненькое, крепенькое созданище в застиранных байковых ползунках с розовыми завязками на плечиках, стоя в кровати и держась за перильце пухлыми ручонками, в быстром темпе подпрыгивало на опасную высоту, повизгивая от восторга. Голубые глазенки сверкали озорством, светлые локоны подрагивали в такт прыжкам, щечки пылали румянцем. Напуганный высотой прыжков, Филипп подбежал к кровати и вытянул руки, готовый подхватить Катеньку при падении. Тамара рассмеялась:

— Не бойся, она не выскочит. Можешь взять ее на руки, если хочешь.

Филиппу, действительно, захотелось поддержать

Катеньку на руках. Осторожно, словно имея дело с хрупким предметом, он подхватил ребенка подмышки, поднял и прижал к своей груди. Первый раз в жизни он держал на руках дитя человеческое. Ни с чем не сравнимая мягкость едва оформившегося тельца, первородное тепло человеческой плоти, молочный запах от прижавшейся к его плечу головенки — это сочетание незнакомых ощущений ошеломило его и наполнило необъяснимым торжеством. «А может быть Юлька в принципе права», пришла ему в голову шальная мысль. Он почти испугался необычности охвативших его чувств и передал ребенка по принадлежности. Катенька прильнула к материнскому плечу. Но глазенками шаловливо зыркала на Филиппа.

— Ты ей понравился, — сказала Тамара.

Чрезвычайно сузился круг общения. Однокашников расшвыряла война: одних уж нет, а те далече, иными словами, одни полегли в боях под Москвой, другие пропали без вести, такое вот малоутешительное иносказание. Популярнейшие профессора жертвою пали в борьбе роковой совсем иного рода, и среди них особенно близкий Филиппу, величайший знаток и исследователь западных литератур, на свое несчастье родившийся немцем в стране, где это чревато опасностями. Он канул в неизвестность, что тоже равнялось безвестной гибели.

Филипп Глаголев не был сентиментален и не привык давать волю своим чувствам; но когда в телефонной трубке раздался голос его друга и земляка Михаила Полещука, он едва не подпрыгнул от радости:

— Мишка! Ты ли это!? Откуда ты взялся? Как ты меня нашел?

Нашел он его, понятно, через Юльку Прокопович, единственное связующее звено в оскудевшей друзьями Москве. Вечером Филипп, отпросившись у начальства, принимал друга в своей квартире, многоэтажном доме

в одном из переулков, ответвляющихся от Тверской — собственно, от улицы Горького, но он, хотя был и не московским, а саратовским уроженцем, в многолетнем общении с коренными москвичами усвоил привычку, улицы и площади именовать по-старому: Тверская, Мясницкая, Поварская, Варварка и так далее. Этот дом снаружи ничем особенно не выделялся среди своих соседей, но его внутреннее устройство было необычным. Длинные широкие коридоры тянулись вдоль каждого из его шести этажей, за исключением первого, одинаковые дубовые двери были помечены белыми эмалированными номерками.

Квартира состояла из одной комнаты, но какой! От двери до противоположной стены было чуть ли не десяток метров, поперек не менее шести. В передней части капитальная перегородка выкраивала возле двери узкий коридорчик наподобие прихожей, а за перегородкой образовывалась обширная ниша, она была завешана тяжелым бархатным занавесом, и в этой нише стояла широченная мореного дуба двуспальная кровать. Главная часть комнаты была богато обставлена одностильной мебелью красного дерева, в углу стояла на высокой ножке напольная лампа с широким шелковым абажуром. Когда-то, при старом режиме, этот дом представлял собой что-то вроде пансионата для дворян, не имевших в Москве собственных домов и недостаточно богатых, чтобы снимать апартаменты в достойных их звания гостиницах.

Сидели под торшером, потягивали «Хванчкару», любимое вино Филиппа Глаголева, Михаил рассказывал о своих фронтовых похождениях.

А рассказать было что. При его лихости характера было более чем естественно, что после первых же боевых испытаний он стал командиром отделения в разведвзводе, а затем и командиром взвода. Три ранения, четыре медали и шесть орденов, восемнадцать «языков» на личном счету, таков был неполный итог фрон-

товой карьеры Михаила Полещука. Он и теперь еще в войсках, приехал в отпуск с берегов Дуная, рвется в гражданскую жизнь, но пока не отпускают.

Долго сидели, и на третьей бутылке, отказавшись остаться па ночлег («есть тут у меня одно гнездышко»), Миша Полещук выкарабкался из кресла, прошел, разминая ноги, в прихожую, снял с крючка свою полевую сумку...

— Значит, друг Филя, потолковали мы с тобой и теперь опять, наверно, долго не увидимся. А чтобы ты меня не забыл, подарю я тебе фронтовой сувенирчик. — С этими словами он расстегнул сумку и достал небольшой изящный черный пистолет. — Вот, Филя, тебе повоевать толком не пришлось, но память о войне ты должен иметь. Это «вальтер», излюбленное оружие германских господ офицеров. Патронов не даю, чтобы ты, боже сохрани, не вздумал учинить какую-нибудь шалость, понял? На, держи!

Эх, знать бы лихому разведчику, чем обернется его необычный дар для обоих друзей!

8.

Неподалеку от Александрплац треугольным зеленым островом в каменном море внедрился один из популярнейших городских парков, куда в былые времена стекались тысячные толпы берлинских пролетариев, чтобы послушать коммунистических или социал-демократических говорунов. В войну здесь были воздвигнуты гигантские бетонные убежища, в которых окрестное население спасалось от воздушных бомбардировок. Теперь самосвалы свозят сюда неисчислимые кубометры обломков и грунта, заваливают недоброй славой «бункера», превращая их в мемориальные холмы...

У края парка Фридрихсхайн стоит особняком

продолговатое новое с иголки трехэтажное здание, нарядно-белое, чуть в желтизну. На фасаде, над широкими каменными ступенями, строгая вывеска, гравированная на бронзе: «Тэглихе рундшау», что в переводе на русский язык означает «Ежедневное обозрение».

Одна из крупнейших и влиятельнейших в послевоенной Европе газет, на шестнадцати страницах большого формата, да еще со сменными полосами для каждой из шести провинций советской оккупационной зоны, «Ежедневное обозрение» нуждалась, разумеется, в соответствующих полиграфических возможностях — их предоставила типография почившего в бозе лидера прессы третьего рейха, пресловутого «Фелькишер беобахтер» (что означает «Народный наблюдатель»), лишь немного пострадавшая от бомбардировок.

В редакции «Ежедневного обозрения», помимо срока советских офицеров, недавних руководящих лиц из системы разложения войск противника, работают более сотни немцев, берлинских журналистов, наименее скомпрометировавших себя — насколько это известно — сотрудничеством с нацистами. Новичок редакции Борис Комаров любит слушать их рассказы о прежних порядках в германской прессе. Штаты редакций были невелики. Сотрудник, ведущий определенный раздел, именовался редактором. Оперативный материал поставляли главным образом «волонтеры», кормившиеся от гонорара. Любой и каждый мог прийти просто с улицы и предложить: я напишу для вас о том-то и том-то. Пожалуйста!.. Волонтер клал на конвейер отпечатанный на машинке «манускрипт», телетайпист набирал его, тискальщик переносил текст на полосу бумаги и оттиск направлялся редактору. Напечатан твой репортаж, приходи за следующим заданием. Если же материал не появился, можешь попробовать свои сил еще и еще раз. Редакционной правкой никто себя не утруждал. После двух-трех неудач редактор говорил

волонтеру: ваши услуги, молодой человек, нам, увы, не понадобятся. Удачливый журналист мог быть зачислен в штат с фиксированным окладом. Таковы были нравы буржуазной прессы, ими следовало бы возмущаться, но Комаров что-то никак не мог к этому себя принудить. Он заметно пообтерся за годы войны и эти первые месяцы мира, его взгляды и критерии изменились настолько, что он порой недоумевал, да тот ли он самый человек, который был когда-то московским студентом, потом колымским корреспондентом, потом «комиссаром»...

По утрам ведущие сотрудники — они по-прежнему называют себя редакторами — собираются у ответственного секретаря, и каждый заявляет свою претензию на газетную площадь. Покоряясь необходимости, со вздохом отводят место капитальным статьям, полученным по заказу от политических деятелей или светил науки. Дебаты разгораются вокруг тем, которыми дышит улица. Распоряжения властей и реакция публики, разговоры, подслушанные в трамвае, выступления газет разных направлений, требующие ответа, и тому подобное все это оценивается по меркам актуальности. Лаконизм тут в цене, многословие обрекает на неудачу. Вот исчерпан двадцатиминутный лимит на обсуждение, репортеры спешат на место происшествия, профилированные сотрудники отправляются брать интервью... В четыре часа пополудни редакторы собираются у дежурного помощника ответ секретаря и деловито торгуются за место на «полосах» — уже с готовыми материалами.

Колесить по Германии со служебным удостоверением Военной администрации — одно удовольствие! В поездах табличка «Для военнослужащих Советской Армии» избавляет от тесноты и прокуренности общих вагонов, в больших городах коменданты, а в малых — местная власть изыскивают опели и мерседесы для

ниспосланного свыше корреспондента, в ресторанах «оберы» являют чудеса расторопности и со словами «мы учимся работать по-социалистически, как в Советском Союзе», отвергают предложенные чаевые...

Целью одной из первых поездок Бориса Комарова был знаменитый на весь мир, воспетый эстетами всех стран, овеванный музами Веймар. Но не громкая слава пристанища искусств привлекала корреспондента Комарова, сына эпохи острейших социальных противоборств. Разумеется, он не упустил случай поклониться памятнику бессмертных Гете и Шиллера у Национального театра, но и только. Недодав должное концертам, дворцам и музеям, он поспешил в раскинувшийся неподалеку буковый лес, прелестный Бухенвальд, некогда излюбленное место воскресных прогулок, а затем таинственное скопище людей под пугающим обозначением Ка-Цет, концентрационный лагерь для врагов нации.

Что там теперь? По имеющимся сведениям, тоже лагерь, только, если можно так выразиться, с обратным знаком: те, кто в него посылал других, теперь сами находятся там.

Перед оградой — зеленый служебный барак, над центральным крылечком аккуратный и даже не без изящества островерхий навес. В длинном коридоре прохлада и полумрак.

— Diese Tur, bitte.

Пожилой чичероне от местного магистрата остается снаружи, ему приспело выкурить сигарету. Навстречу Комарову встает из-за стола крупный, борцовского сложения капитан небезызвестных войск.

— Садись, корреспондент, введу тебя в курс дела... Содержатся у нас нацистские преступники, ведем следствие. В основном мелкая сошка, но попадаются гады отпетые. Ведут себя нагло, много понимают про свои права. Другой раз руки чешутся, аж нет терпенья, думаешь, дал бы тебе сейчас в нахальную морду, чтобы скула набок, но — нельзя! Не велено! А он, скотина, лыбит-

ся на тебя: вы докажете!.. Есть из местного гестапо, есть из лагерной охраны. Расстрелы, убийства, при попытке к бегству, расправа с участниками побегов, у них по локоть руки в крови, но самое гнусное отродье — это те, кто обслуживал фабрику смерти. Твой сопровождающий геноссе Кригер покажет и расскажет, что это такое...

Над центральными воротами прозрачная проволочная арка, по ней надпись, библейски лаконичная: «Jedem das Seine», каждому свое. По гребню холма тянется асфальтированная дорога, справа внизу площадки с нехитрым спортивным оборудованием — неужели для заключенных? Нет, это эсэсовцы упражнялись здесь в отведенные часы. Слева кварталы барачных строений, но геноссе Кригер ведет дальше, что там смотреть, бараки суть бараки. И то правда. Но вот дошли: длинный забор чуть выше человеческого роста, прочный, из тесин внахлест, покрашенный в зеленый цвет, здесь этот цвет, видно, был в почете. Повернули направо вдоль забора, геноссе Кригер начал давать пояснения.

Заключенных, отобранных по списку, выстраивали по одному в длинную цепь вдоль забора. Никто из них не знал, зачем. Им сказали, на медосмотр, или за получением посылок, или еще какую-нибудь парашу. Цепочка медленно продвигалась вдоль забора, пока очередной не достигал узкой калитки, возле которой стоял охранник и указывал ему войти. Едва он сделал шаг-другой вдоль открывшейся слева кирпичной стены, как проваливался в люк, на глубину трех метров, внизу, в том помещении, куда попадал провалившийся, эсэсовец бил его с размаху железной палкой по голове. Двое других подхватывали убитого — или только оглушенного — и навешивали подбородком на крюк, как вешают туши на скотобойне.

— Пойдемте, я покажу вам это помещение.

Обойдя кирпичное здание, спустились по наружной лестнице в подвал. Квадратная комната с черными

стенами и цементным полом. Вверху вдоль стены — поржавевшая стальная рейка, на ней навешаны большие заостренные крючья. На каждый такой крюк за нижнюю челюсть подвешивали человеческую тушу, сдирали с нее одежду и обувь, бросали тряпье в одну кучу, ботинки в другую, а крюк сдвигали по рейке вдоль стены, пока он не оказывался под лифтом, на котором — теперь уже наверняка безжизненное — тело поднималось в верхний этаж.

— Kommen Sie, — говорит геноссе Кригер.

Поднялись по внутренней лестнице, оказались в светлом продолговатом зале. Стены облицованы белой глазуревой плиткой, кафелем выложен пол. Возле торцевой стены, рядом с той нишей, в которую лифт доставлял очередного мертвеца, ряд из нескольких ванн, облицованных также, как стены, а дальше вглубь зала — бетонные столы...

В ванны наливался специальный состав, в котором кожа отмокала и ее легко было отделить... Да, вот на тех столах. Останки (или остатки) сжигали в электрической печи, вон она, при температуре восемьсот градусов, почти без дыма. Собирались еще наладить перемалывание костей, не успели...

Не думал, не гадал Борис Комаров, что его еще можно чем-нибудь ошеломить. После войны? После Колымы? Оказалось, еще как можно. То, что он узнал, увидел воочию, довообразил — опрокинуло его представления о пределах зла и хладнокровной жестокости. Все же дали очко вперед профессионалы Гимmlера бездарным ежовским энкавэдэшиикам!..

После этой экскурсии Комаров целый день провалялся в отеле, курил одну сигарету за другой и никак не мог заставить себя переключиться на следующее задание — посетить коллективное хозяйство новых крестьян, осваивающих земли бежавшего на запад помещика...

Машинистки упоенно хихикали над грамматиче-

скими перлами, когда перепечатывали рукописи нового сотрудника. Он и сам бывал свидетелем тому, как они передавали из рук в руки его сочинение, беззастенчиво косясь на него и прыская в кулак. Но честолюбец Комаров не сдавал позиций. Мог бы прибегать к услугам переводчиков, но он сказал себе: нет, раз ты попал в немецкую газету, значит обязан писать по-немецки. Дотошно вникая в поправки, вносимые редакционными стилистами, он со временем стал доставлять машинисткам все меньше поводов для веселья.

Звездный час Бориса Комарова пробил, когда было поручено разрешение послать корреспондента в американскую зону оккупации: из советских сотрудников только он достаточно хорошо владел английским языком.

Два черных длинных многоместных лимузина, немецкий хорьх и российский ЗИМ, катились по бетонной автостраде на юго-запад. В них теснились восемь пассажиров во главе со старшим — как по возрасту, так и по весомости представляемого органа — Егором Николаевичем Царевым. Сам Егор Николаевич, распорядитель хорьха, сидел на переднем сидении, рядом с шофером, а в затылок ему, на откидной скамеечке устроился Борис Комаров, как-то само собой получилось, что он стал личным переводчиком и как бы адъютантом водителя.

Рядом с Комаровым сидело сопровождающее лицо, он же официальный переводчик, отрекомендовавшийся Анатолием Ключевым, молодой человек высокого роста, элегантно одетый и обладающий хорошими манерами. Позади, на широком диване располагались корреспонденты двух агентств и еще одной центральной газеты. Во второй машине поместились фоторепортер и три корреспондента из газет рангом ниже.

Остались позади шлагбаумы на границе оккупационных зон. Ничто не изменилось ни в ландшафте, ни в качестве дорожного покрытия. Местность была не-

привычно пустынной: автостраду старались прокладывать по пустошам, вдали от селений. Но вот впереди, на косогоре показались строения из светлого камня, под цвет окружающих безлесных пригорков. Сопровождающий дал знак остановиться. Вылезли из машин, поразминали затекшие конечности и направились по неширокой асфальтированной тропке чуть наверх, к раскидистому домику под скромной вывеской «У Густава». Ворвались шумливо. Густав в белом фартуке поспешил навстречу:

— Сердечно приветствую, господа, прошу садиться!

Чистенькие столики из розовой пластмассы на металлических ножках, высокая стойка бара и полки разноцветных бутылок позади него.

К сожалению, не могу предложить никакой достойной вашего внимания еды...

— Не беда, у нас с собой достаточно припасов... А что у вас есть насчет выпить?

— О, это пожалуйста! Есть виски, есть джин, есть апельсиновый ликер, есть мозельское...

— Значит, так, — глубокомысленно изрекает московский фоторепортер, подступив вплотную к бару и сосредоточенно сдвинув брови. — Налейте-ка вот из той бутылки чуть-чуть — стоп, хватит! Теперь из той тоже немного, так... И вот из этой столько же... и вот еще из той...

Хозяин выполняет указания гостя, почтительно вручив ему образовавшуюся смесь, осведомляется:

— Не будет ли господин так добр, назвать себя?

— Почему же нет — Рогинский.

Густав делает заметки в своей конторской книге — зачем бы это?

Повеселевшая компания мчится на двух лимузинах под привычным лозунгом: вперед, на запад! До вечера ей надо достигнуть небольшого городка на севере Баварии, где приготовлен ночлег.

Гостиница на окраине, на каком-то безлесном взгорье, не поражает шиком, скорее наоборот, озадачивает каким-то странным убожеством: вход откуда-то сбоку, узкие, со ступенчатыми перепадами, извилистые коридоры, необычное, путаное, как бы вовсе бесплановое расположение комнат. Даже непохоже на гостиницу, скорее напоминает полицейскую казарму из прошлой эпохи. Никакой организованной встречи, только молодой сержант показывает дорогу прибывшим — сюда, плиз...

Вошли в большую комнату, оглядели накрытые солдатскими одеялами кровати, поставили возле них дорожные чемоданчики, присели. Толя Клюев вернулся из служебной комнаты, с кем-то поговорив по телефону.

— Они приносят извинения. Оказывается, мы приехали не по той дороге. Они ждали нас у северо-восточной окраины. Гостиница была приготовлена в другом месте. Но раз уж мы попали сюда, то придется здесь и заночевать.

— Все вранье, — шепчет Егор Николаевич Борису Комарову. — Они не успели оборудовать ту гостиницу как им надо. А здесь у них все давно налажено.

Что — все? Комаров не успел задать свой вопрос, Егор Николаевич молча поманил всех за собой в обширную туалетную комнату с несколькими местами для отправления нужды и раковинами для умывания. Пустив воду обильной и шумной струей, он только после этого объявил сгрудившимся вокруг него спутникам:

— Ничего лишнего в разговорах. Понятно?

Призывы к бдительности давно наскучили Борису Комарову, и он внутренне посмеялся над предосторожностями старшего коллеги но, тут произошло нечто, заставившее его переменить свое мнение. Снаружи слышался шум мотора, все вышли в коридор, входная дверь отворилась и вошли, приветливо улыбаясь, двое мужчин и одна женщина. Толя Клюев перевел взаимные

приветствия. По-русски никто из вошедших не говорил. Все трое были в форме гражданских на армейской службе, темно-зеленые френчи без знаков различия, на мужчинах синие брюки, на даме синяя юбка обычного покроя. Где я видел этого брюнета, смугловатого, чуть выше среднего роста, плотного сложения?.. Заметив, что брюнет тоже смотрит на него, отошел в сторонку, почти спрятался за спины товарищей.

Сомнения быть не могло, это тот самый гражданский служащий, которого он видел во дворце Цецилиенхоф на праздновании годовщины Октябрьской революции! Но ведь там он свободно говорил по-русски! Почему же здесь он делает вид, что не понимает ни единого русского слова?

Толя Ключев знакомил между собой гостей и встречающих.

— Сэмьюэл Уайт, или просто Сэм, — так он представил смуглого брюнета, — ответственный сотрудник по связям с общественностью, по-английски паблик релейшенс.

Сэм согласно кивнул. Пожали друг другу руки. При обмене рукопожатием с Сэмом Уайтом Комарову показалось, что тот выразительно взглянул на него и сразу отвел глаза. Дал мне понять? Мол, мы друг друга знаем, мы одного поля ягода, но не будем мешать друг другу заниматься своим делом? Запомнил меня? Раскусил меня тогда, понял, с какой целью я, рядовой офицеришка, присутствовал на шикарном банкете?

Прошли в столовую, там был накрыт ужин — скромный, однако с виски и джином.

Прежде чем лечь в постель, Борис отвел в сторону Царева и тихо сказал;

— Сэм понимает по-русски.

— Я об этом догадывался, — ответил Егор Николаевич.

В Штутгарте остановились не в гостинице, а на роскошной вилле, окруженной экзотическим садом, где

северо-американская секвойя уживалась с европейскими березками, а австралийский эвкалипт со средиземноморским каштаном. В глубине сада, посреди травянистой лужайки, виднелся выложенный кафелем бассейн с кристально чистой водой. Владелец виллы, сбежавший в Аргентину выкормыш нацистов, был, по видимому, человеком гостеприимным, на верхних этажах виллы нашлось достаточно гостевых комнат, чтобы каждому досталось по от дельной. День проходил в деловых поездках и встречах, а к вечеру все собирались внизу в освещенной неяркими бра гостиной с камином и широкими кожаными креслами. Молчаливый служитель в белом кителе приносил на серебряном подносе наполненные бокалы, и Сэм Уайт с простоватой любезностью приглашал всех угощаться. Приходили какие-то люди в военном и штатском, дамы и господа. Толя Клюев и американская переводчица не успевали посредничать в разговорах, объяснялись кто как мог с помощью немногих заученных слов и выразительных жестов, виски с содой, джин с апельсиновым соком и коктейли развязывали языки, и всем казалось, что они прекрасно понимают друг друга.

Борис Комаров быстро уставал от этого бессмысленного на его взгляд времяпровождения, он раньше всех поднимался из своего кресла, говорил: «Ladies and gentlemen, I leave you now, I am not very well, must go to bed», (Леди и джентльмены, я теперь покину вас, я неважно себя чувствую и должен лечь в постель), раскланивался на все стороны и поднимался к себе. Наутро он первым вставал с постели и выходил в сад. Почти одновременно с ним на лужайке у кафельной лужи появлялся Сэм Уайт. «Хэллоу, Борис», «Хэллоу, Сэм».

Отношения с Сэмом Уайтом складывались по формуле «невмешательства в дела друг друга». Несомненно, Сэм видел в Борисе своего коллегу и проявлял себя по отношению к нему вполне коллегиально, пожалуй, даже предупредительно, был готов смотреть

сквозь пальцы на отлучки в нарушение общей программы, непредусмотренные вылазки в одиночку, и только мимоходом давал понять, что видит его насквозь. В сознании своего превосходства, любил подшучивать над закрытостью «советов». Мировая пресса в эти дни описывала во всех ужасающих подробностях ашхабадское землетрясение, и только советские газеты как в рот воды набрали.

— А что, при социализме не бывает землетрясений? — спрашивал Сэм с выражением простой любознательности.

Борис жалко улыбался, ему нечем было поддерживать заданный тон...

— Хэллоу, Борис!

— Хэллоу, Сэм!

Раздевшись до купальных трусов, они начинали каждый свой набор физических упражнений. Ни следа усталости от позднего сидения за коктейлем у Сэма не наблюдалось, упругие мускулы играли под загорелой кожей.

— Let us make a competition in swimming, — предложил Борис, встав у края бассейна.

— Not a bad idea, — отозвался Сэм и встал рядом.

(Давай устроим соревнования по плаванию. Плохая идея).

Борис на секунду задержался после своей команды, чтобы посмотреть, как плывет его соперник, и был заморожен великолепным кролем, которым владел Сэм Уайт. Разумеется, тот быстрее достиг противоположного берега и, вытираясь широким махровым полотенцем, торжествующе улыбался. Он был едва ли намного старше Бориса, и спортивный азарт был ему определенно не чужд. Попрыгав на одной и на другой ноге (значит, американские мальчишки точно так же вытрясывают воду из ушей, как и русские, подумал Борис Комаров), Сэм принял боевую стойку боксера и выжидательно посмотрел на соперника. Борис в свои юные го-

ды тоже немного увлекался боксом, что позволяло ему принять шуточный вызов, подумав при этом: он выясняет, чья подготовка лучше. Считает меня своим коллегой. Боксировали имитационно, не доводя удары до цели, а лишь реагируя на них рывками, уходами и уклонами. Борису пришлось убедиться, что и в этом виде физподготовки американский партнер решительно его превосходил. Профессионал, отметил, он про себя. Борису подмывало заговорить по-русски со своим давним знакомцем, но он благоразумно отвел эту мысль, совсем ни к чему было глубже втягиваться в игру...

Городам, как и людям, есть что сказать о себе. Нюрнберг! Проезжайте по Дойчхернштрассе мимо Дойчхернвизе, и вам вспомнятся парады безупречной стройности колонн, их маршировка несравненным нюрнбергским шагом — прямая нога чуть не до горизонтали, носок оттянут в одну линию — кажется, он где-то будет унаследован потом? Вот здесь возвышались трибуны, и на этих трибунах сам фюрер и его сподвижники укреплялись в убеждении о непобедимости войска, способного так безупречно слиться воедино, о надежности этих парней, так безраздельно отрекающихся от личной непохожести, так безотказно исполняющих команды...

А вот и здание Трибунала, у входа еще стоят часовые из союзных армий, здесь еще судят нацистских главарей рангом пониже, чем те два десятка, которые не вышли отсюда живыми.

А Мюнхен! Здесь еще существует пивная, где отставной ефрейтор Шикльгрубер так приглянулся шкурникам всех мастей и масштабов, от базарных проходимцев до денежных тузов, что был возведен ими в ранг вершителя народных судеб... И тут несносной стала для него плебейская родовая фамилия, он придумал себе звучный, символичный псевдоним, как это делали и до него претенденты на место в истории. Что означала эта впечатляющая кличка, где ее этимологические корни?

«Хит» по-саксонски означает наносить удар, попадать в точку. Значит, Хитлер — это как-бы бьющий без промаха. Неплохо придумано.

Сейчас та пивная не в почете. Больше внимания привлекает дом земельного правительства, откуда министр экономики Людвиг Эрхард, прозорливец и аналитик, увидел наилучшие возможности экономического возрождения для своей родной Баварии, а потом и для всех западных зон. Ориентировка на Америку, денежная реформа, стабилизация рынка, пусть даже за счет того, что придется еще туже затянуть пояса, торговые связи в западном направлении, пусть в ущерб экономическим и прочим отношениям с восточной частью расколотой Германии! Тенденция маскировалась иносказаниями, так как она означала углубление раскола, а сохранение единства Германии провозглашалось целью не только немцев, но и всех оккупирующих держав. Вот эти-то козьи реакции и должен был разоблачить перед читателями «Ежедневного обозрения» его специальный корреспондент.

Борис Комаров ревниво следил за усилиями руководителя группы Егора Царева, добившегося приема у баварского министра. Наконец согласие было получено, и в назначенный час журналисты расселись за продолговатым столом. А за письменным столом в глубине кабинета, в свободной, ничуть не величественной позе, как бы подчеркивая равенство сторон, сидел серьезный, сосредоточенный, уверенный в себе мужчина средних лет, умеренной полноты, с крупным интеллигентным лицом и легкой проседью в темной густой шевелюре.

Задаются вопросы о том и о сем, от биографических подробностей до видов на урожай... Комаров терпеливо ждет своего часа, как младший он не смеет высказывать вперед. Наконец возникает долгожданная пауза, и он спешит вставить свой вопрос.

Он уже усвоил из общения со своими немецкими коллегами, травленными волками западной журнали-

стики, простую истину: порою важен не столько ответ, сколько сам вопрос, заданный взятому на прицел политику. Что бы тот ни ответил, читатель поймет из одного уже вопроса, откуда дует ветер и чье мясо кошка съела, а поверит или не поверит ответу, это уж другое дело.

На каком языке задать вопрос? Борис придавал значение тонкостям. У него формулировка готова в трех вариантах: немецком, русском и английском. Спросить по-русски, значит удлинить процедуру, а заодно то ли расписаться в своей языковой ограниченности, то ли подчеркнуть перед побежденным свою принадлежность к главной державе-победительнице — и то, и другое Комарову не по нутру. По-немецки? Не значит ли это пойти слишком далеко навстречу представителю побежденной страны? Или наоборот, унижить его предположением, что он не владеет английским? Борис решается на третий вариант...

— Господин министр, считаете ли Вы, что развитие экономических связей с заокеанской державой для Баварии выгоднее, чем поддержание традиционных обменов с восточной частью Германии?

Ни единый мускул не дрогнул на лице хозяина кабинета, лишь беглый взгляд в сторону молодого журналиста, профессорский взгляд, в котором смесь поощрения и веселого любопытства дает понять, что министр по достоинству оценивает вопрос. Ответ его пространен и уклончив, ничего другого Комаров и не ожидал, ему достаточно того, что вопрос был задан. Так постигал он законы настоящей журналистики.

Франкфурт-на-Майне, американизированная столица юго-западной зоны Германии. Борис наслышан о «таушгешефтах», обменных магазинах, где расторопные дельцы, спевшись с родственными душами в кругах армейского интендантства, выменивают у изголодавшихся, но еще не окончательно обнищавших граждан фамильные драгоценности, ковры, картины, меха, сто-

ловое серебро — за сыры, колбасы, шоколад, бразильский кофе и прочие деликатесы, с баснословной выгодой для себя и для своих покровителей. На автобусной остановке близ рынка Борис спрашивает у рослого незнакомца, как пройти к обменному гешефту. Откуда ему было знать, что здесь страсть как не любят берлинских спекулянтов, когда и от своих нет житья! Не подозревал он и о том, что, пообтершись в Берлине, приобрел весьма заметный здесь, на Майне, и легко узнаваемый в любой части Германии берлинский акцент. Ошарашив Бориса отборной бранью, детина грозитя отвести его в участок. Вот уже до чего никак не следовало доводить дело! Вспомнилось предупреждение: если американские власти дознаются, что цивильно одетый корреспондент состоит на военной службе, то не миновать ему суда за шпионаж.

Все же, присмотревшись к потоку пешеходов, Борис Комаров находит путь в один из «таушгешефтов».

Поглазев на витрины, поприценявшись к тому и другому товару, переодетый офицер Комаров спешит на бульвар, садится на скамеечку и, оглядевшись, вынимает блокнот, записывает на свежую память добытые сведения. В открытую заниматься таким репортерством ему нельзя, группа работает по утвержденной программе.

Спрятал блокнот, идет по бульвару. Что это за дом белеет в окружении липовой рощицы? Подошел поближе, пригляделся. обнаружил неброскую вывеску: Городской туберкулезный диспансер.

Его встречает молодой озабоченный доктор, дистрофик с лихорадочным блеском в глазах, нервозность прочитывается в каждом движении. Комаров без колебаний представляется как приезжий корреспондент из берлинской газеты, даже не скрывает, какой именно. Франкфуртский фтизиатр оживляется, его речь — как хлынувший поток, когда открыли шлюзы: наконец, нашелся кто-то, готовый выслушать его. Трудно прихо-

дится, очень трудно! Болезнь распространяется с неслыханной быстротой. Иначе и быть не может на руинах проигранной войны: голодное существование, скудность в сырых подвалах. Не хватает персонала, не хватает мест в стационаре, не хватает лекарств. Оккупационная власть? У нее свои заботы. А у нас свои: весна — пора расцвета природы во всех ее проявлениях. В том числе и для палочек Коха...

Блокнот возле сердца печет, как горчичник, но теперь надо успеть на вечер в Международном пресс-клубе, такой уже существует в американизированном Франкфурте.

Обширный ресторанный зал гудит разноязычным разноголосьем, пестрит разнообразием парадных костюмов и униформ: журналистская братия со всего света отмечает свой любимый праздник 1 апреля — День шутника. В этот день можно открыто упражняться в том, что в остальные предпочтительно делать только из-под полы: сочинять и распространять — разумеется, в своем кругу, среди коллег, понимающих юмор, ложную информацию. Пышущий ароматом гуляш на фарфоровых блюдах, рейнское вино в узких высоких бутылках, сигаретные дымки над столами, — все это веселит душу и располагает ко всякому дурачеству. Провозглашаются тосты один другого несуразнее, передаются из уст в уста сообщения одно другого хлеще. Но это еще цветочки, поясняет джентльмен от паблик релейшенс, главная сенсация впереди.

И в самом деле: по внутренней громкоговорящей сети во всех помещениях пресс-клуба вдруг звучит объявление: просим получить экстренный пресс-релиз в телетайпном зале. Это где Борис Комаров вливается в поток знатоков, хлынувший куда-то по закоулкам. Небольшая давка у столика с пачками отпечатанных листов, пришлось потолкаться, об извинениях никто не помышляет. Комаров хватает два листка и один из них какой-то внутренний голос надоумил его — складывает

вчетверо и прячет в тот же карман, в котором хранится его заповедный блокнот.

Он оказался резвее всех из своей компании, больше никому из группы Царева сенсационных листков не досталось. Собрались опять за столом, торопят Бориса, чтоб огласил веселую фальшивку. Он зачитывает текст, с ходу переводя его на русский, и постепенно лица слушателей мрачнеют: не так уж безобидна эта чушь!

Мифическое агентство передает из Аргентины: туда прибыл и был восторженно встречен своими соратниками чудом уцелевший фюрер немецкой нации Адольф Гитлер! Следует целый каскад правдоподобных деталей...

В сущности, что здесь особенного? Слухи такого рода давно курсируют по всей Германии, почему бы и не позубоскалить на эту тему? Американцам что не шутить? Разве они испытали на своей шкуре хоть сотую долю того, что принес фашизм Европе? Но у советской стороны особое отношение к тому, что касается Гитлера и его присных. Гитлер мертв, это не подлежит сомнению, но где-то скрывается Борман, и рассказывают про целые поселения беглых нацистов в южноамериканской сельве. И есть еще в самой Германии «недобитые», не смирившиеся с поражением. Слухи про фюрера придают им духу.

— Дай сюда, — протягивает руку Егор Николаевич Царев.

Но тут же, откуда он только взялся, подскакивает некто из паблик релейшенс и подхватывает зависший над столом листок.

— Пардон, джентльмены, это не для вас! — поясняет он с усмешкой — не то извиняющейся, не то торжествующей, и удаляется, не слушая протестов.

Борис Комаров поглаживает свой нагрудной карман. У него есть доказательство того, что кто-то подливает масла в огонь разгорающихся противоречий между союзниками. Еще недавно они встречались на Эльбе как

добрые друзья, а теперь разделены барьером взаимных подозрений. Железный занавес, увиденный Уинстоном Черчиллем, завис над Эльбой-рекой.

Штуттгартские, мюнхенские и франкфуртские зарисовки Бориса Мюкенберга — такой псевдоним был ему придуман для завоевания симпатий у немецкого читателя — привлекли к себе внимания. И поскольку первый опыт удался, других кандидатур для командировок в западные зоны уже не искали.

Шварцвальд, волшебные ландшафты Прирейнской возвышенности. Всемирный курорт Баден-Баден, ныне штаб-квартира французских оккупационных сил. Банкет в особнячке пресслужбы: аперитив — сладкая анисовая водка за четверть часа до обеда, этак стоя, в непринужденной беседе, затем неподражаемая французская кухня, к мясным блюдам красное, к рыбным белое «бордо»... Бесшумные гарсоны скользят за спиной, наполняют бокалы... Что-то уже неладно с головой, и собрав все свои ресурсы, почерпнутые из разговорника, Борис Мюкенберг выговаривает через плечо старательному молодому человеку в белом смокинге:

— Garson, pourquoi remplier et, remplier vous?

— Mais, monsieur, vous buver et buver done!

— Гарсон, почему вы все подливаете и подливаете?

— Но мсье, ведь вы все выпиваете и выпивайте! — не остается в долгу гарсон.

Ах, умеют жить французы!

У англичан все иначе, они живут по-своему: все чинно, благородно, без шума и без суеты. Холодный, хмурый Дюссельдорф, отель «Кенигсхоф», длинный узкий вестибюль за толстыми сплошными стеклами, низкие столики, диванчики из искусственной кожи, скучный осенний дождичек снаружи, неуютная тишина внутри — журналисты ждут встречи с министром по делам Германии лордом Бивербруком. Лорд! Это что-то

совсем невообразимое, что-то из юношеских романов, «Маленький лорд Фаунтлерой», лорд Байрон, палата лордов — с ума сойти, сейчас увидим живого лорда!

Вот он идет, лорд Бивербрук. Мужчина крупного телосложения, в обычном темном костюме, вовсе не новом, высокий лоб, редящие темные волосы без седины, спокойной и внимательный взгляд серых глаз. И все же, при всей неброской внешности, при всей простоте обращения какая-то неуловимая, но и не остающаяся незамеченной печать аристократизма на всем его облике...

Ты участвуешь в беседе с лордом, ты задаешь ему вопрос, бьется в подсознании Бориса Комарова невероятная очевидность. И лорд отвечает тебе:

— Правительство Великобритании полностью разделяет позицию Советского Союза по вопросу о выплате ему Германией репараций за нанесенный ущерб. Британская военная администрация будет способствовать тому, чтобы репарационные поставки из подведомственной ей зоны Германии осуществлялись неукоснительно.

До чего же приятный народ эти лорды, улыбается Борис Комаров своим потаенным мыслям. Боже упаси высказать их вслух!

А вот в Берлин приезжает другой англичанин, во все уже не лорд, а совсем наоборот, лейборист и ярый демократ Тонни Зиллиакус. После встречи у советского коменданта Берлина и беседы на ходу с корреспондентами член палаты общин направляется к ожидающему его автомобилю, и Толя Ключвин, назначенный ему в сопровождение, распахивает перед ним, ориентируясь на привычные представления, почетную переднюю дверцу.

Возмущению демократа нет предела:

— Вы что себе позволяете, молодой человек?! Вы хотите меня, британского парламентария, посадить рядом с шофером?! Я что вам, лакей?

Поди ж ты, пойми их, демократов не нашей чеканки!

И снова на запад, по той же дороге, что и год назад, только теперь Борис Комаров едет лишь вдвоем с Егором Царевым под видом его переводчика, на этот раз не удалось оформить корреспондентский статус. Ну, не беда, для сбора материала это не помеха. Вот памятный придорожный трактир, все тот же Густав хлопочет у стойки.

— Что предложите выпить?

— Битте зеер, господа, есть виски, есть джин и есть коктейль «Рогинский»!

Знакомые места: Штуттгардт, Мюнхен, Франкфурт, Висбаден, Золинген... Банкет во франкфуртском Деловом центре по случаю приезда видного бизнесмена. Полно незнакомых гостей, тесно за столами. Вилку надо держать в левой руке так, как держат ложку, чтобы не оттопыривался локоть и не толкнуть бы им невзначай соседа — чему только не научишься у этих буржуев. А Егор Царев издевается:

— Какая сегодня великолепная погода — переводчик, переведите этой моей визави!

Куда деваться, приходится переводить с приличествующей миной, хотя между тем остывает жаркое. Такова она, светская жизнь...

Сотрудничество с представителем самого авторитетного органа советской печати складывалось па основе добровольного и охотного подчинения, но без заискивания. При обсуждении ситуаций Комаров не оспаривал оценки старшего, а лишь вставлял, где представится случай, иронические замечания. Царев не сердился, он удостаивал такие реплики снисходительной улыбкой: так принципал реагирует на выходки придворного шута.

— Ах, безответственны ваши суждения, Комаров!
— сетовал он с игривым огорчением.

— Тонко подмечено, шеф! Позвольте закрепиться в легком весе и впредь именоваться Безответственным.

Кличка прижилась, игра в придворного шута устраивала обе стороны, каждая извлекала из нее свои преимущества.

А от московских газет веет холодом противостояния. Нехорошо ведут себя союзники, препятствуют возвращению на родину перемещенных лиц...

В этих делах Борис Комаров немножко более сведущ, чем те, кто пишет о них в московских газетах.

Журналистская группа получила от оккупационных властей разрешение посетить лагерь перемещенных лиц в английской зоне. За оградой, вернее за длинной решеткой из толстых железных прутьев. («Почему решетка»? «Для вашей безопасности», не без ехидства разъясняет сопровождающий англичанин), теснились люди, одетые в пестрые лохмотья, мужчины и женщины, еще и малые дети. На попытки Царева завести разговор они отвечали истошными выкриками вперемежку с непристойной бранью: убирайтесь, вон отсюда, не желаем в ваш вшивый Советский Союз, знаем, что нас там ожидает... Сжатые кулаки, злобой искаженные лица.

— Это провокация, — объясняет Егор Царев. — Англичане специально подобрали нужный контингент, чтобы оправдать свое нежелание пустить перемещенных на родину. Это же дешевая рабочая сила!

Хотелось верить в эти доводы, ах, как хотелось! Но... Неужели все дело только в искусстве внушения, и так ли уж сильны в нем союзники? Эти люди живут в клетках, а домой не хотят! Все как один предатели, пособники фашистов? Или они догадываются, что с ними не станут особенно разбираться, — был в плену, побывал в фашистском рабстве, оказался под опекой союзников — какая разница, всех под одну гребенку, в Сибирь, в лагеря! Да, в этом они убеждены, вот какой смысл удастся уловить из их выкриков, сливающихся в многоголосый рев. Подобраны? Все может быть. Но за-

чем тогда метать бисер перед свиньями, уверять — родина ждет вас, она вас примет как дорогих сыновей и дочерей? Мы то уверены ли, что так будет? А вдруг они лучше знают?

Комаров не читал, что потом было напечатано в газетах об этой встрече. Да и было ли что-нибудь напечатано? Сам он не написал о ней ни строчки.

9.

Оживленнейшая магистраль, автострада Франкфурт-на-Одере — Берлин — Магдебург — Брауншвейг — Дюссельдорф, пролегает почти без извилин по пятидесятой параллели, пронзает Германию насквозь, соединяя восток и запад. У шестнадцатого меридиана она пересекается с зональной границей, безлюдной и извилистой, рассекающей страну по живому. По обе стороны стоят войска, пока еще как будто бы затем, чтобы закрепить власть победителей над побежденными, но в действительности затем, чтобы, оградив территории от влияния извне, потягаться в искусстве жизнеустройства и провести без помех эксперименты над подвластными частями немецкой нации. На границе, как на границе, хотя она и называется всего лишь демаркационной линией, посты, собаки, патрули...

У пропускного пункта то и дело скапливаются десятки машин. Английские сержанты неторопливо, основательно, дотошно проверяют документы и грузы, заглядывают в багажники, козыряют с безразличным видом и поднимают шлагбаум.

Замелькали знакомые ландшафты, даже вроде бы чем-то родным повеяло от черноземных пашен, хуторов на безлесных холмах. Здесь когда-то колесил на трофейном мотоцикле военный корреспондент Комаров. Когда-то? Прошел всего-то лишь год с небольшим, а кажется, как давно это было!

— Егор Николаевич, — говорит Комаров, он же Мюненберг, — тут ведь мои однополчане проживают, совсем рядом. Может быть высадите у моста? Я потом доберусь уж как-нибудь общедоступным транспортом.

— В награду за скромность подвезу прямо под дверь твоей милашки, указывай маршрут.

— Вы меня переоцениваете, шеф. Милашками не обзавелся.

Все как прежде, молодая роща с особняком командующего в глубине, короткая улица офицерских пятиэтажек, вот и знакомый подъезд, здесь жил лейтенант Валя Турченко со своей незаконной женой, ангельски прелестной Эльзой, и ее умудренной мамашей. Зайти, что ли сходу? Нет, что-то удерживает Бориса от поспешных действий. Он помнит: тень неблагополучия еще тогда нависла над этой безрассудно возникшей семьей, а с тех пор, если что-то и менялось, то не в ее пользу. Зайду-ка лучше к Генриху Четвертухину, надежнейшему из старых друзей... На звонок открывает незнакомая женщина средних лет.

— Четвертухин? Нет, теперь мы здесь живем. А Четвертухин отбыл на родину.

— Извините.

Но тут из-за спины супруги появляется Федор Петров в гимнастерке без пояса, с подполковничьими звездами на погонах.

— Ба, Борис! Да ты заходи, заходи! Познакомься с моей лучшей — по ее мнению — половиной. Сейчас обзвоню всех наших ветеранов, посидим вечером, вспомним старину. Много у нас тут переменилось. Мы теперь все остепенились, жены приехали, взяли нас в руки. Но тем не менее!

Всей душой откликаются ветераны, еще бы, такой прекрасный повод тряхнуть стариной, отвлечься от тягостных, серых армейских будней, гульнуть на всю катушку. Лева Крупинич, Юра Лютов, Саша Лундстрем

— их голоса звучат в телефонной трубке торжественной готовностью, как будто труба зовет их на ратный подвиг.

— Ну что, всем позвонил? А Вале Турченко?

— Кому? Турченко? Так ты ничего не знаешь?..

Пришли ночью.

Визиты различаются по стуку. Бывает стук робкий, стеснительный, извиняющийся за беспокойство. Бывает спокойный, умеренной громкости, уверенный в своей правомерности, внушающий веру в чистоту намерений посетителя. Бывает стук нервный, встревоженный, испуганный, панический, отчаянный и молящий о помощи. И еще бывает стук требовательный, самоуверенный, бесцеремонный, стук грубой силы и неумолимого превосходства.

Валентин, в немецкой полосатой пижаме, подбежал к двери. Стук (а не звонок!) не был для пего неожиданностью, кругом уже случалось всякое, а земля слухом полнится, да и московские газеты снова захлебываются разоблачительным пафосом. И хотя не был он ни врачом-отравителем, ни безродным космополитом, не был тайным агентом империализма и даже не отщепенцем с намерениями изменить родине, его прегрешение стояло в том же ряду: связь с немкой!

— Кто там? — спросил он дрожащим голосом, отлично понимая, насколько праздным был этот вопрос.

— Открывайте! — прогремело в ответ.

Он даже не собрался с духом спросить, кто такие потребовать документы. Вошли, оттеснив его в сторону, капитан, старшина и рядовой при оружии. С ними, неловко прячась за спины, прошмыгнул какой-то хмырь из соседнего подъезда и его бесформенно обрюзгшая жена, одетые неряшливо и наскоро. Солдат остался у двери. Капитан бросил на ходу «вон там садитесь», кивнув на диван с отброшенным одеялом и еще теплой постелью хозяина, а сам рванул дверь в спальню. Эльза

и фрау Виденгефт в белых ночных рубашках сидели на кровати, прижимая к груди одеяла-перины.

— Это гестапо? — шепнула Эльза, наклонившись к уху матери.

Она первой овладела собой и сказала незваному гостю с изысканной вежливостью:

— Guten Abend, Herr Major, sehr nett von Ihnen, dass Sie uns besuchen, wenn auch zu dieser späten Stunde¹⁰

— Довольно болтать! — гаркнул капитан. — Собирайтесь, да поживее.

Он отвернулся (какой цивилизованный!), но из комнаты не вышел.

Валентин вскочил с дивана, бросился к спальне, но дюжий старшина толкнул его в грудь, и он плюхнулся обратно на диван.

— Как ты смеешь, хам! — взревел Валентин, снова вскочил и ринулся к открытой двери в спальню, но тут старшина навалился на него всем своим богатырским телом, скрутил ему руки за спиной, опрокинул и уселся рядом.

— Сволочи! Гады! Вы не имеете права! Отпусти меня сейчас же, скотина!

Солдат у двери глядел в потолок, обозначая равнодушие. Он на службе, его дело — выполнять приказ. Понятые жались в углу, растерянно мигая.

Фрау Виденгефт и Эльза, одетые по дорожному и с дорожными сумками в руках, прошли через гостиную, не взглянув на Валентина, извивающегося в тисках могучего хвата старшины.

— Эльза! Эльза!..

Нечеловеческим усилием Валентин Турченко отбросил пятипудовую тушу, вскочил с дивана, рванулся к двери, движением руки отстранил преградивший ему путь ствол карабина, по тут старшина исхитрился схва-

¹⁰ — Добрый вечер, господин майор, очень мило с вашей стороны, что вы нас посетили, хотя и в этот поздний час. (нем.)

тить беглеца за ногу. Валентин упал па пороге, старшина навалился на него, прижал голову к полу.

— Что вы делаете, паразиты, пустите меня! Не смейте!

Но Эльза с матерью были уже на улице, хлопнула дверца автомашины, завизжал стартер...

Валентин кричал, старшина зажимал ему рот громадной ладонью. Капитан вернулся в дом переступил через Валентина, прошел в гостиную. Валентин бился головой о жесткий пеньковый половик, бровь его была рассечена, кровь заливала лицо.

— Здесь распишитесь, — протянул капитан какой-то листок понятым, дрожащим н своем углу. — Теперь можете идти.

Понятые бесшумно удалились, осторожно обойдя почти уже бесчувственное тело лейтенанта Гурченко, который был отрешенно и жалобно, не поднимая головы.

Его отвезли в войсковой психоневрологический госпиталь, поместили в палату для буйных, надели рубаху с длинными рукавами, завязанными на спине так, что руки не освободить. Палата была большая, ее обитатели являли собой диковинное зрелище: кто орал не своим голосом, лежа на койке, кто, беснуясь, бегал из угла в угол, пока его не умиряли в своих объятиях братья милосердия, кто пел матерные частушки, кто занимался онанизмом, не стесняясь ничьим присутствием. Наверняка были здесь и симулянты. То одного, то другого уводили к врачам (осмотр? допрос?), они возвращались умиротворенные и подолгу валялись ничком на постели. У дверей палаты, возле тумбочки с телефоном, дежурил солдат с карабином, и никто не мог выйти из палаты без сопровождения.

Дни шли за днями. Валентин Турченко лежал на койке, погруженный в тяжкие раздумья. Куда они девали Эльзу? Отправили домой? Но куда — домой? Где был теперь дом Виденгефтов? Что делать? Как вырваться из

западни? Врачи им не занимались, лишь однажды сводили его на прием, моложавый психиатр заглядывал ему в глаза, оттягивая веки, задавал нелепые вопросы, прописал какие-то порошки...

Так он лежал и лежал, безучастный к окружению, мысли теснились, путались и разбредались в несуразность, в голове возникали фантастические картины смелого побега и последующих удач в розыске похищенной любимой. Он совсем разучился спать, а воображаемые эпизоды невероятным образом смешивались с реальной действительностью, и все неудержимое в нем закипала жажда действий, готовность совершать героические поступки ради справедливости, ради праведной мести мучителям, жажда свободы и возвращения отнятого счастья.

Как-то глубокой ночью, когда в полуосвещенной палате все спали крепким сном, а главное спал, обхватив ствол карабина, охранник у входа, Валентин бесшумно встал с постели, подошел, как был в нижнем белье, к караульному. Вырвал карабин. Стукнул с размаху едва проснувшегося воина по голове и бросился бежать.

Перемахнув через ограду, он оказался в незнакомом лесу, бежал наобум подальше, прочь от ненавистной психбольницы, запутался в кустарнике, упал, услышал шум погони. Прозвучали выстрелы, ему было наплевать, пускай убьют, это лучше, чем жить в мучениях от несправедливости, от сознания своего бессилия...

Он вырвался из чащи, перед ним в сиянии луны мерцала серой лентой автострада, и едва он выскочил на бетон, какой-то грузовик ударил по его немощному телу, отбросил за обочину и понесся дальше, не желая связываться с разбором досадного происшествия...

Согласно законам диалектики, развитие идет по спирали. Снизу вверх. Может быть и так, в мировом масштабе. Но судьбы людские тем законам не подвластны.

Что мы подразумеваем, говоря о зигзагах судьбы? Чередование крайних точек. Взлеты и падения. Движение приливной волны поступательно, однако щепочка, подхваченная ею, лишь миг недолгий держится на гребне, а затем низвергается в бездну.

Филиппа Глаголева порою посещали мрачные предчувствия. Он слишком тонко разбирался в хитро-сплетении событий, слишком ясно представлял себе подводные течения, чтобы не предвидеть опасностей, грозящих каждому, кто хоть чуть соприкоснулся с тайнами кремлевского двора...

Впрочем, смутная тревога гнездилась лишь где-то в глубинах подсознания, оттесненная увлекательной деятельностью, которая захватила его после того, как он распрощался с секретариатом министра иностранных дел.

В своем новом качестве он совершил маленькое чудо, в невероятно короткий срок создав и поставив на ноги новое учреждение в системе идеологических структур.

В верхах был замечен возросший читательский интерес (как известно, советский человек самый читающий в мире) к произведениям иностранной литературы. Зарубежные писатели осмысливали и преломляли в художественной форме общественные процессы, связанные с минувшей войной, с подъемом антиколониальных движений, с обострением социальных конфликтов. Но к советскому читателю попадали не всегда лучшие образцы новой литературы. Потребовалось создать специальное издательство, способное взять на себя ведущую роль в отборе произведений по высоким

художественным и идеологическим критериям.

Юлия Никитична Прокопович, к тому времени уже в Отделе культуры цеха, напомнила руководству, что крупный знаток западной литературы прозябает в канцелярии, где его способности пропадают втуне...

Теперь Тамара подолгу не видела своего возлюбленного, довольствуясь телефонными звонками:

— Ни сна, ни отдыха, поверь! Нет надежных помощников, все сам, все сам!..

Это была чистейшая правда. В короткие часы, которые он выкраивал для личной жизни, Филипп делился с Тамарой своими замыслами по служебной линии, но также и соображениями об устройстве семейного счастья:

— Меня уже спрашивали о семейном положении. Я сказал: нас трое. Дадут хорошую квартиру, вот посмотришь. Наладим упорядоченный быт, как у всех. Теперь мне это вдвойне необходимо...

Пришли поближе к утру. Много работы, еле управлялись.

— Одевайтесь, вам придется пройти с нами.

Филипп потянулся к телефону.

— Напрасно беспокоитесь, линия отключена.

Действительно, в трубке глухо. Как же дать знать Тамаре?..

Он был спокоен. Все понял. Давно уже понял.

Что там водопровод, сработанный рабами Рима, в наши дни вошли в неискаженном виде и нравы Римской империи. Ничего нового не придумано. Нерон казнил сенаторов, чтобы оставшиеся на развод не смели оспаривать его права на имперский венец. Не пощадил и мать родную, отправил на тот свет, дабы не выболтала, каким образом ей удалось возвести на трон семнадцатилетнего красавчика. Ее убийцы действовали не столько ради награды, сколько из страха, что за неисполнение приказа их самих постигнет та же участь,

предчувствуя однако, что за исполнение — и подавно. Впрочем, матушка тоже была хороша, кто как не она пятью годами раньше велела отравить своего второго мужа, императора Клавдия, чтобы расчистить путь к престолу любимому сыночку от первого брака...

Боже, как все не ново под луной! Там умерщвляют мать, тут жену, там сенаторов, тут членов политбюро... А суть одна и та же: насладиться властью!

Великая расправа длилась уже третье десятилетие. Давно не стало главных соперников, действительных и мнимых. Изведены как потенциальные противники все — кажется, все? — кто способен разумно мыслить и решительно действовать. Уничтожены все, кто что-то знал о его темном и бесславном прошлом. Пал под ударом лесоруба самый ненавистный супостат, сумевший окопаться аж на противоположном полушарии, но недооценивший искусства лубянских виртуозов, верных вершителей воли вождя, И вот настал черед еще уцелевших соратников, вроде бы лояльных, но кто ж, их знает, что у них на уме... На всякий случай следовало убрать их тоже.

Подбирались исподволь, брали мелкую сошку из нынешнего и прошлого окружения, чтобы через это окружение добыть компрометирующий материал, а способы давно отработаны.

Вот в такой переплет ты попал, Филипп Глаголев! Чем тебе это грозит? Ха, грозит! Ты уже в их лапах, мало тебе? Мне вполне достаточно, но им мало. Нельзя поддаваться нажиму: если пойдешь на оговор вышестоящих лиц, то не сдобровать и тебе самому. Единственно возможная линия поведения: ничего не знаю. Удастся выйти сухим из воды? Вряд ли. А сколько могут дать? Пять? Десять? Пятнадцать?

Анатоль Франс отчеканил понятие: наслаждение пониманием... Насчет наслаждения не сказал бы, но рассудительности и спокойствия прибавляется, когда все понятно.

Они поторапливали: полагалось вынести, пока почивают добропорядочные граждане. Чтобы их не смущать. А также в интересах следствия. Двое увели Филиппа, двое других остались продолжать обыск.

С вызовом на допрос не спешили. Чего они добиваются? Хотят взять измором? Шла уже вторая неделя, когда наконец загремел запор в неуточный час, дверь каменной каморки отворилась, и сержант в синих погонах подтолкнул его в нужном направлении.

Фамилия, имя и прочее. Как в романе на криминальный сюжет.

— Вы знаете, где вы находитесь?

Что за дурацкий вопрос!

— Догадываюсь. Но хотел бы знать, на каком основании.

— У нас имеются материалы, позволяющие предъявить вам обвинение в связях с иностранными разведками и выдаче им государственных секретов.

— Только и всего? Ничего больше не придумали?

— А вы, я вижу, за словом в карман не лезете. Вот и рассказывайте, чьи задания вы выполняли и кто были ваши сообщники.

— Вы прекрасно знаете, что все это чистый вздор. Я не собираюсь на себя наговаривать.

— Хорошо, не собираетесь. Подойдем к делу с другой стороны. Назовите ваших знакомых и сослуживцев, с которыми вы поддерживаете тесные отношения.

— Никого не стану называть. Я веду знакомство только с порядочными людьми, не представляющими для вас интереса.

— Ну, это уж нам судить, кто для нас представляет интерес, а кто нет. Что вы можете сказать, например, о...

Они мастера расставлять ловушки! Ты смолчишь, а они докажут, что такой-то — шпион. И он подтвердит: да, я шпион!

Впрочем, не будем предвосхищать события. Этот

малый производит интеллигентное впечатление. Что ж, потягаемся....

Кого бы следователь ни называл, ответ один: не был с ним близок, никаких порочащих данных о нем не имею. А тот без устали выуживает из бумаг, лежащих перед ним на жиденьком однотумбовом письменном столе, все новые имена, и виду не подает, что разочарован ответами Филиппа, скорее выглядит удовлетворенным, что все идет по плану, по его сценарию, и постепенно Филиппу становится скучно от этой затяжной и бессмысленной словесной дуэли. И вдруг:

— При обыске у вас был найден пистолет системы вальтер. Откуда у вас это оружие и с какой целью вы его хранили?

Филипп похолодел. Боже, пистолет! Экзотический подарок друга-фронтовика! Он совсем забыл о нем. А ведь это улика, да еще какая! Зачем только он согласился принять этот данайский дар? Почему не выбросил его на другой же день куда-нибудь на свалку или в Москву-реку? Что теперь отвечать этому бесстрастному, самоуверенному партнеру по смертельно опасной игре, так долго и так умело державшему камень за пазухой?

— Вы слышали вопрос, Глаголев? Для какой цели...

— Да, я слышал...

Надо отвечать. Причем немедленно. Чем дольше я задерживаюсь с ответом, тем хуже для меня. Что же ответить?

— Это был подарок на память от одного фронтовика, друга детства.

А что еще мог он сказать? Что-нибудь придумать? Не было времени, чтобы придумать что-то убедительное. И какой смысл? Чтобы потом запутаться во лжи?

— Назовите этого друга детства.

Черт возьми, почему я сказал про детство? В детстве мы друг друга вовсе не знали. Он требует назвать дарителя. Выдать Мишку? Но что значит «выдать»? Ни

в каком преступлении они его обвинить не могут. Ну подарил и подарил, что в этом особенного? Незаконно хранил трофейное оружие? Его фронтовые заслуги с лихвой искупают эту пустяковую провинность... Нет, Мишке это не грозит. А если утаить? Но как утаишь? Ведь они, конечно, все уже выяснили. Не зря же так долго тянули с допросом.

Этот пистолет подарил мне Михаил Полещук, капитан...

— Его адрес?

— Адреса я не знаю. Он был проездом в Москве.

— С какой целью Михаил Полещук вручил вам это оружие?

Бог мой, с какой целью!

— Без всякой цели! Просто как сувенир. От фронтовика своему другу, который не был на фронте.

— Просто как сувенир... Хватит придуриваться, Глаголев! Признаете ли вы, что Михаил Полещук вручил вам это оружие для того, чтобы вы убили товарища Сталина?

О-ох! Вот это удар, так удар! Холодный пот выступил на лбу. Абсурд? Вот именно, но чем абсурдней тезис, тем менее он подчинен логике опровержений.

— Что за чушь! Я же говорю, это просто подарок на память! Ведь не было даже ни одного патрона!

Зачем я это говорю. Это же детский лепет... Они найдут и патроны и даже схему помещений, в которых бывает товарищ Сталин... Но зачем им этот вздор? Хотят разыграть раскрытие террористического заговора?

— Вы должны понимать, Глаголев, что чистосердечное признание...

Идиоты! Я вижу насквозь всю вашу кухню, что же вы мне толкуете про чистосердечное признание...

Его увели. Камера изнуряла тишиной. Серьезность положения становилась все ясней. Сна не было и в помине. Приносили еду, его мутило от одного ее вида.

Потерян счет времени. Утро? Вечер? Ночь?

На допрос! Не наверх, нет. В лифт не сажают, куда-то вниз ведут цементные ступени. Серые, почти черные стены голы как горные скалы. Шаткий столик в глубине, все тот же лейтенантик со своими бумагами, но из боковой двери выходит, покачиваясь могучим корпусом, детина с папироской в зубах.

Табуретка посередине.

— Садитесь! Признаете ли вы, что некто Полещук вручил вам пистолет системы вальтер для того, чтобы вы убили товарища Сталина?

— Что за вздор! Я вам уже сказал...

— Отвечайте на вопрос: да или нет?

— Конечно, нет.

Детина с папироской подходит медленным шагом. Филипп вскинул голову, чтобы посмотреть ему в лицо, успел заметить довольную ухмылку, и тут же удар волосатого кулака по скуле опрокинул его наземь, табуретка тоже упала. Он вскочил на ноги, губы его дрожали. Это было чудовищно. Его еще никогда не били, даже в детстве он не попробовал ремня. Он давно знал, что от них всего можно ожидать, но не мог применить это знание к себе. Его, потомственного интеллигента, ученого, бьет кулаком в морду какой-то неотесанный болван?

Еще не осознав толком, что с ним происходит, Филипп поднял табуретку и сел. Голова кружилась.

— Признаете, ли вы, что некто Полещук...

— Это не некто! Полещук — капитан Советской Армии. Он герой-фронтовик! Никаких террористических намерений у него не было и быть не могло. Это был подарок на память, сувенир, понятно?!

Зачем я все это говорю? Понятно должно быть мне, а не им. Что попятно? Да то, что я попал в мясорубку, и не выйти отсюда живым.

— Признаете ли вы... Да или нет?

— Разумеется, нет!

Он летит на пол вместе с табуреткой, за которую

держался руками. На этот раз удар пришелся прямо в челюсть. Солоноватый вкус крови заполнил полость рта. Шум в голове. Филипп лежал и не двигался. Что-то твердое нащупывалось во рту, плавающее в смеси крови и слюны. Это зубы. Зубы, белые и ровные, были украшением на моем благородном лице. А нос, мой римский нос, он пока еще цел? Выплюнь зубы, чтобы не проглотить. Как быстро изменяются функции сознания в зависимости от обстоятельств...

Его увели. Два нижних чина взяли под руки и потащили.

— Позовите врача, — прошепелявил он обезумевшим ртом.

Они только хмыкнули в ответ.

Сколько времени прошло? Никакого понятия. Он снова в кубическом склепе — без окон, с серыми, почти черными стенами. Те же лица.

— Признаете ли вы, что некто Полещук вручил вам пистолет системы вальтер для того, чтобы вы убили товарища Сталина?

Боже, опять этот вздор.

— Нет, не признаю.

Помощник следователя, или в какой еще должности был тот детина, в юности занимался боксом и очень любил проверить себя, не утратил ли он свои спортивные навыки. Он поднимал Филиппа со стула левой рукой за грудки, а правую отводил горизонтально локтем назад для прямого удара. Иной раз он раздумывал или повиновался какому-то знаку начальника, и тогда отказывался от своего намерения, но уж если осуществлял, то по всем правилам искусства: р-р-раз!

Удар пришелся по виску. Цементный пол был холодным и липким от невытертой крови. Сапог верзилы с папироской во рту был тяжел и тверд. Содрогались внутренности, что-то хрустнуло внутри...

Уведите!..

Уволокли.

Сколько дней это продолжалось?

Приходила врачиха. Дала что-то принять, наложила повязку на разбитое темя. Сказала:

— Зря вы упираетесь. Они свое дело знают.

И ушла.

Серая комната, табуретки посередине, лейтенант за шатким столом.

— Признаете ли вы...

Верзила с папирской во рту приближается из своего угла...

— Да или нет?

— Да. Да! Да-а!

Какая же ты скотина, говорит себе Филипп Глаголев и вздыхает с облегчением... «В пору ливней зимних те дерева, что гнутся долу, сохраняют ветви все; упорные же с корнем исторгаются». Это из «Антигоны». Мозговит был старик Софокл.

11.

Стоя на лестничной площадке у широкого, стирающегося от низу до верху на все три пролета витража, Борис Комаров наблюдал презабавную сценку: снаружи, на заднем дворе, два взрослых дяди, оба в майорском чине, играли в прятки среди лабиринта из кирпичных штабелей, сложенных позади редакционного здания. Один майор, дородный, рыхлый, в синих бриджах и хромовых сапогах, в коверкотовой гимнастерке с расстегнутым воротом, пузырем выбивающейся из-под косо сползающего ремня, без фуражки, со слипшимися редееющими волосами на шаровидной голове, прятался за кирпичами и панически убегал от другого майора, плотного, приземистого, в кителе со стволами на погонах, в фуражке с черным околышем, резвого и четкого в

движениях. Этот последний кричал что-то своему партнеру по странной игре, привставал на цыпочки и подпрыгивал, чтобы подглядеть, где укрылся первый майор, тот же — то приседал за кирпичными грудями, то продолжал суетливые зигзаги в писках нового убежища.

Смех, да и только! Но капитану Комарову было не смешно.

По лестнице спускался кто-то из немецких сотрудников. Остановился возле Комарова, заметив его сосредоточенное внимание к чему-то, происходящему снаружи, хотел присоединиться, но Комаров, встреपунувшись, подхватил его за талию и увлек за собой дальше вниз:

— Иду в буфет перекусить. Вы тоже? Составьте мне компанию?

Нельзя, чтобы немцы видели это!

С недавних пор артиллерийский майор зачастил в редакцию «Ежедневного обозрения». Вид он имел целеустремленный, угрюмый и независимый, ни с кем не здоровался, проходил быстрым шагом напрямик в кабинет редактора, полковника Кружавина, беседовал с ним подолгу за закрытой дверью, и секретарша фройляйн Краузе выразительным жестом и суровым выражением лица давала понять неурочным посетителям, что туда нельзя. Было замечено, что посещения постороннего майора синхронизировались с последующим исчезновением того или другого из ответственных сотрудников. Все понимали, на какой службе состоит этот майор, и встречу с ним считали дурным предзнаменованием.

Иногда приземистый майор заходил не к редактору, а в другой кабинет — без приемной, зато с окованной дверью, где сидел в одиночестве, почитывая Александра Дюма или перелистывая личные дела, редакционный кадровик Иван Петрович Шестопалов. Иван Петрович был тих повадкой и голосом, ко всем внимателен

и участлив, он быстро и без лишних придирок оформлял всякие дела, от отпускных до продвижения по службе, а больше ни до чего не касался и с редакторскими работниками дружбы не водил по причине полного несходства интересов. После посещения артиллерийского майора Шестопалов подолгу сидел взаперти, просиживал даже обеденный перерыв напролет, видимо, чтобы избежать встреч в редакционном буфете.

Что же означала эта сцена погожим летним днем в кирпичном лабиринте? Заподозрил Иван Петрович, что артмайор явился уже и по его грешную душу? Или неумолимо стало давать на просмотр и комментировать все новые и новые личные дела? Его бегство выглядело наивным и несурзным, что за детские игрушки перед такой недетской силой, какую представлял артиллерийский майор!

На другой день по редакции прокатился слух — или известие? — за подлинность никто поручиться не мог, но и другой версии никто не выдвигал, говорили, что Шестопалов доставлен в нервно-психиатрическую больницу. Так ли, нет ли, но кабинет его был опечатан, и на его место долго никого не назначали.

Неужели опять уходить душам в пятки? Известно с детских лет: живой организм, перенес опасную болезнь, вырабатывает в себе противоядие, иммунитет, и впредь ему уже не страшно даже прямое соприкосновение с этой же заразой. Но если рецидив все же случается? Не значит ли это, что организм поражен неизлечимым недугом? Что-то вроде проказы? Опасные мысли, даже если они только про себя. И чисто теоретически.

Мысли сами по себе, а жизнь сама по себе. И если по утрам недосчитывались то одного, то другого из тех, с кем вчера сидели за одним столом, занимались общим делом — делай вид, что ничего не произошло. Публично, на совещаниях, помалкивали в тряпочку, вопросов не задавали, и лишь между собой, с близкими, надеж-

ными друзьями, предварительно оглядевшись, обменивались парой фраз накоротке: «Кого, Гольдштейна? Так ведь это праведник, каких мало!» «Говорят, у него нашли какие-то ценности. То ли золото, то ли бриллианты». «У этого-то голодранца? Да он последнюю рубашку готов отдать первому встречному. Знать бы, кто распускает такие слухи!» «А то ты не знаешь...»

Новая волна расправ, мутная и грозная, докатывалась до Москвы до самих до окраин, накрывая и унося в пучину неизвестности зазевавшихся. Правда, не без разбора, а предпочтительно умствующих, да еще тех, кто носил подозрительные фамилии.

Надвигалось исподволь. Сначала стали происходить неожиданные увольнения. Вроде бы ценный был работник, ничем особым себя не запятнал, разве что был замечен в тесных отношениях с особами из местного населения... Дружно и весело провожали с Восточного вокзала всеобщего любимца, ведущего знатока экономических проблем Германии и Европы капитана Дорфмана, а он разыгрывал ликование с таким блеском, что сам Станиславский не обнаружил бы фальши. Фройляйн Краузе в проводах не участвовала, но целую неделю ходила красными глазами. Потом отбыл на родину ответственный секретарь Шварцкопф, хотя считался примерным семьянином, жил со своей законной женой, лишь недавно прибывшей из родного Киева. Взамен выбывших прислали молодых лейтенантов, выпускников Военного института иностранных языков, не успевших понюхать пороха, неискушенных в настоящей политике, которой здесь приходилось иметь дело, и полных новичков и журналистике.

Удаление Шварцкопфа оказалось судьбоносным для Бориса Комарова. Кто-то полистал его личное дело, а там значилось, что ему уже приходилось подвизаться в роли ответственного секретаря, и начальственный перст указал на него. Какое значение имело, что между обязанностями ответственного секретаря в армейской

или в провинциальной советской газете и кругом деятельности его коллеги в одной из крупнейших газет послевоенной Европы пролегла пропасть неизмеримой глубины. Не боги горшки обжигали! Борис был молод и честолюбии его не смущали ни сложности политической обстановки, которые надо было принимать в расчет при составлении каждого номера, ни контакты на высоком уровне, и если теперь ему приходилось засиживаться в редакции до позднего вечера, он и это принимал безропотно и даже с некоторым оттенком гордости, ибо это приближало его к избранному кругу высокоответственных лиц.

Он был, что называется, в гуще событий, и новые впечатления громоздились одно на другое. Первомайские праздники отмечались в Берлине, по старой традиции германского пролетариата, не одним лишь участием в демонстрации, но и скромным, многолюдным застольем в своем кругу где нибудь на открытой площадке подле популярного кафе. На такое собрание всего коллектива «Ежедневного обозрения», то есть и редакции и вдвое более многочисленной типографии, пришли два виднейших политика Восточной Германии, сопредседателя объединенной партии рабочего класса. Они сидели за одним столом с наборщиками и печатниками, и старый рабочий, пожав руку партийного вождя, говорил ему, а помнишь, Вилли, как мы с тобой прятались от вильгельмовских жандармов? Борис Комаров дивился сходству с обычаями американцев и несходству с нравами его страны, и проникался убеждением, что присутствует при рождении новой Германии, которой суждено великое будущее на вечные времена.

А между тем не умолкали разговоры — доверительные, шепотом! — про какого-то Кравченко, изменника и перебежчика, написавшего что-то невероятное про свободу, которую он якобы выбрал, в то время как всем известно, что нет страны свободнее, чем его собственная. Западные газеты, которые продавались на

каждом перекрестке, писали про судебный процесс в Париже, где этот отщепенец пытался доказать свою правоту, но виднейшие деятели мирового демократического движения в защиту мира решительно осуждали его. Осуждали, разумеется, и все знакомые Комарова, вместе с ними осуждал и он сам, а тем не менее снесло любопытство: прочесть бы, что он там написал!

Но завладеть сочинением Кравченко было не так просто, да и небезопасно. А вот брошюрку Бирнса, бывшего госсекретаря Соединенных Штатов, под многообещающим заглавием «Откровенно говоря» Борис купил в киоске на Александерплац, положил ее дома на письменном столе и не раз порывался прочесть, но, заваленный неотложными делами, все откладывал на потом.

В редакции то и дело принимали гостей, и среди них двух виднейших советских публицистов военного и послевоенного времени, возвращавшихся через Берлин из поездки в Великобританию. Они откровенно рассказывали про все виденное, и по их версии лондонский Гайдпарк представлял совсем не как реакционная говорильня, а как живая арена противоборства разных политических течений, подлинная арена демократии, во все не похожая на те картины, которые рисовали они же сами в «Правде» и «Красной звезде».

Вернувшийся из Югославии немецкий писатель-антифашист с восторгом отзывался об атмосфере на международной стройке, Трансбалканской автомагистрали, где плечом к плечу дружно трудились молодые люди из разных, очень разных стран, и это тоже разительно отличалось от скупых и едких сообщений, появлявшихся в московской прессе.

Борис Комаров издавна привык к тому, что существуют три правды: одна такая, которую можно знать только избранным, другая для всеобщего употребления, которую нужно знать всем, а третья — особая, если знаешь ее, то помалкивай. Колымские впечатления,

хотя и задавленные наслоениями последующих лет, еще жили в его сознании и он все понимал правильно, то есть именно так, как оно было в действительности, но в то же время сознавал свою обязанность понимать и по другому, то есть так, как было указано свыше. Это не значит, что он страдал раздвоением психики, до шизофрении ему было еще далеко, просто его натренированный мозг приспособился к двоякому направлению мысли, и линия раздела, не всегда четкая, проходила таким образом: с одной стороны — как само думается, другой — как следует думать.

Гости приезжали и уезжали, а ряды ветеранов тем временем продолжали редеть. Уже становились во главе отделов недавно прибывшие лейтенанты, никто не принимал их всерьез, на планерках самое веское слово принадлежало многоопытным немецким журналистам, но и в их суждениях появлялась робкая оглядка, особенно после того, как вопреки их мнению газета подключилась — правда, вполсилы, — к кампании по пропаганде нового движения среди восточно-германских шахтеров, получившие имя забойщика, в одночасье ставшего знаменитым как продолжатель дела своего советского коллеги Алексея Стаханова. Его рекорд не был таким головокружительным, всего-то восемь сменных норм выполнил мастер отбойного молотка, но его почин, как сообщали газеты и радио, был подхвачен сотнями бригад на угольных шахтах и разрезах, а потом и в других отраслях производства.

Мало кто принимал всерьез эти начинания, бывалые журналисты знали цену подобным сенсациям, но сообщения поступали во все редакции, и волей-неволей газеты печатали их, сопровождая одобрительными комментариями. «Ежедневное обозрение» получило информацию на эту тему от старшего лейтенанта Чебоксарова, своего собственного корреспондента в провинции, где произошло событие.

Чебоксаров частенько наезжал в Берлин, провинциальное существование было ему не по нутру, он жаждал разнообразия и интеллигентного общения. Явившись в редакцию вскоре после упомянутого рекорда, он привез большой очерк о герое дня.

— Впечатляет? — спросил он у Бориса Комарова, мнение которого имело вес.

— Вообще-то да, — ответил тот не совсем уверенно. — Только не слишком ли иконописно? И мастер своего дела, и отличный семьянин и активист в общественной жизни... Так ли оно есть в действительности?

— В известной степени, — помялся Чебоксаров. — Что такое действительность? Мы сами ее создаем. Сначала чертим план, а потом кроим ее, сердешную, по нашему эскизу. Разве не так?

— А у тебя то что, эскиз, или уже скроенная по нему действительность?

— Как тебе сказать... Все происходило по плану и стало действительностью. Понял?

— Не совсем.

— Подробности письмом. Ты сегодня вечером свободен?

Сидели у Комарова за бутылкой коньяка. Чебоксаров обнаруживал необычную прыть, Комаров не успевал наливать.

— Ты просишь подробностей? Их есть у меня. Прежде всего заметь себе, что я из Донбасса. Помнишь тот знаменитый рекорд, который открыл у нас целую эпоху? Я был тогда уже взрослым парнем и работал нормировщиком на соседней шахте. Мы были полностью в курсе дела. Разрабатывался мощный пласт, каких в Донбассе мало. Задолго готовили лаву, подрубали пласт, подносили крепеж и так далее. Это там. А здесь вот что. Как-то в разговоре с нашими хлопцами из провинциального управления я упомянул эти дела, просто так, к слову пришлось. А через несколько дней вызывает меня крупный чин — не скажу тебе, кто именно, хо-

рошо? Вызывает и говорит: надо помочь немецким друзьям развернуть движение по поднятию производительности труда на угледобыче. К тебе, говорит, обратятся товарищи из профсоюза, ты поделись с ними нашим опытом... Понял? Я им все расписал, и дело пошло как по нотам.

Комаров криво усмехнулся:

— Так это твоя заслуга? — В общем-то ничего принципиально нового, но настолько будничное объяснение всей механики его ошеломило. — Ну и как ты теперь себя чувствуешь?

— Честно сказать — неважно. Мавр сделал свое дело. Думаю, теперь меня уберут куда-нибудь подальше.

— А может быть наоборот, откроют тебе путь наверх?

— Ты их плохо знаешь... Налей!

— Тебе надо... как бы это сказать?... поменьше распространяться.

— Нем, как рыба. Только вот тебе да еще ребятам из нового пополнения... Мои однокашники, я кончал, а они только поступали. Толковые ребята, передовые. Вчера поддали малость за встречу.

Чебоксаров больше не вернулся в свою провинцию. Через день-другой его перестали видеть и в редакции. А осенью его видели уже в других широтах, а именно на шахтах Воркуты. Там его след окончательно потерялся.

Окна выходили на юго-восток, и в хорошую погоду всю первую половину дня кабинет ответственного секретаря полнился солнечным светом. Комаров любил задерживаться здесь, когда наступал обеденный перерыв. Все устремлялись в полуподвальный этаж, где по одну сторону располагался наборный цех, а по другую «Betreibsküche», то есть рабочая столовая, и в редакции воцарялась гулкая тишина. Наслаждаясь покоем, Кома-

ров первые четверть часа перерыва использовал на то, чтобы привести в порядок бумаги на рабочем столе, додумать недодуманное, заглянуть в «Stundenplan», почасовую запись неотложных дел на сегодня. Совершая эту легкую, рутинную работу, он расслаблялся, слушал обычную для обеденного часа легкую музыку, доносимую словно издали негромко включенным сетевым приемником, а иногда, случалось, еще проделывал несколько гимнастических упражнений — он боялся растолстеть от сидячего образа жизни. Спешить не требовалось, в столовой для него всегда оставалось свободным место за угловым столиком, и едва он появлялся, старшая официантка фрау Вибе, сухопарая и чопорная, будто классная дама, приносила его любимый салат и листок с дежурным меню — здесь было принято оказывать внимание очень занятым людям.

В этот ласковый августовский полдень, закончив свои предобеденные процедуры, капитан Комаров шагнул уже было к двери, как вдруг зазвонил телефон. Застигнутый на пороге, Борис поморщился от досады: он не любил нарушений привычного ритма.

Хрипловато прозвучал голос полковника Кружавина:

— Комаров? Ты один там? Собрался на обед? Ну, ничего, зайди ко мне на минутку. Дело есть.

Кабинет редактора находился этажом ниже в противоположном конце коридора. Комаров поторапливался, хотелось успеть пообедать и войти в график.

Приемная была пуста, дверь к редактору приоткрыта. Постучав, Комаров вошел. Темные тяжелые портьеры до самого пола оставляли лишь узкую щель для дневного света, в углах гнезился полумрак: у полковника Кружавина было что-то с глазами, выходя на улицу, он обычно надевал темные очки.

Шеф поднялся навстречу из-за обширного дубового стола, сразу заговорил деловито и настоятельно:

— Понимаешь, какое дело, нас с тобой

приглашают на совещание в Управление пропаганды. Да, прямо, сейчас. Давай, поехали, нас там ждут.

Редакторский автомобиль, открытый опель-адмирал, стоял у подъезда. Шофер Федя Баранчук, рослый рыжеватый татарин в чине старшины, но всегда одетый в штатское, открыл, дотянувшись, дверцу, Кружавин сел рядом. Комаров устроился сзади на мягком кожаном сиденье. И сразу тронулись, помчались знакомым маршрутом — вниз по Грайфсвальдерштрассе, влево на Франкфурталлее, направо по Лихтенбергерштрассе, еще раз налево по Мюленштрассе в направлении к Варшавскому мосту...

И тут Комарова пронзает догадка: стой, какое же совещание может быть сейчас, во всеобщий обеденный перерыв? Совещания в Управлении обычно начинаются с утра, или же часов с четырех пополудни!.. И так вот вдруг, с такой поспешностью?

Он все понял. Не этим ли маршрутом везли на такое же совещание подполковника Переверзева, отсутствующего вторую неделю?

Скоро мост через Шпрее. До английского сектора рукой подать. Ты сидишь позади, Кружавин смотрит вперед, лишь изредка оглядывается как бы невзначай, видно, все же стыдится своей роли, или не хочет выдать себя, а может быть ему и так видно твое отражение в зеркальце над ветровым стеклом... Ах, черт с ним, он старый, неуклюжий, нерасторопный, а ты выпрыгнешь сейчас через борт — и поминай как звали!..

Фантазии эти задерживаются в голове лишь на короткое мгновение, решимости на такой поступок не хватает, да и нужно ли так рисковать, ведь если догонят и схватят, сразу появится тяжелая улика против тебя... Сиди уж! Посмотрим, что еще будет. Вдруг и в самом деле какое-нибудь совещание?

Однако, приехали. У парадной двери никого.

— Нам наверно, — говорит Кружавин все тем же хрипловатым голосом. Откашливается, пропускает

Комарова вперед.

Последние сомнения исчезают, когда остается позади ход в зал заседаний, он на втором этаже.

Третий этаж.

— Вот сюда, — указывает Кружавин.

Полутемный учрежденческий коридор, двери справа и слева, все тихо.

— В эту дверь...

Незнакомые люди в штатском. Их трое. Прерывают свой разговор, переглядываются.

— Комаров Борис Семенович? Вы пройдете с нами. Предупреждаем: если встретите кого из знакомых, не останавливаться и в разговор не вступать. Пошли!

Комаров бросает насмешливый взгляд на полковника Кружавина. Тот стоит в стороне с отсутствующим видом. Смотрит в окно.

— Вы нам больше не нужны, — бросает ему один из тех, кто в штатском, по-видимому, их старший.

Полковник Кружавин жалко кланяется, лыбится раболепно бледными губами...

По той же лестнице вниз, в сопровождении троих в штатском, один впереди, двое позади. Никто не попадает навстречу, время выбрано со знанием дела. Опель-адмирал куда-то отъехал, у подъезда стоит другая машина, черный мерседес. Их старший садится впереди, арестант сзади посередине, двое сопровождающих по бокам. Но прежде чем влезть в машину, Комаров успевает окинуть взглядом округу, и замечает на отдалении, за воротами, ведущими в хозяйственный двор, отогнанный туда опель-адмирал, а рядом с ним стоит Федя Баранчук и, кажется, заинтересованно, даже соболезнующе наблюдает за происходящим. Вот и прекрасно, думает старший лейтенант Комаров. По крайней мере все будут знать, куда я подевался.

Странное спокойствие приходит к нему: словно это не его везут в пугающую неизвестность, будто пе-

ред ним всего лишь раскручивают захватывающий фильм. Он испытывает даже некое удовлетворение от того, что предугадывает повороты сюжета.

Ехали в полном молчании по знакомым улицам: Гауптштрассе, Кеппеникерштрассе.... Следовательно, в Карльсхорст. Значит, их главная контора тоже там. Ну да, разумеется, все до кучи...

Он был не настолько наивен, чтобы задавать вопросы — хоть вслух, хоть про себя — вроде «на каком основании» или «по какому праву». Колыма была еще достаточно свежа в его памяти. Смешно было бы выяснить, за что и почему, его мысль работала в единственно важном теперь направлении: пройти через все это с достоинством и — уцелеть! Не дать им ни одного козыря в руки! Спокойствие и еще раз спокойствие, не терять голову, что бы ни случилось.

Замелькали кварталы Карльсхорста, но не казармы его и дворцы, а жилая часть, чистые улочки в тени акаций, опрятные домики в зелени садов за зеленой же оградой из проволочной сетки. Стоп, машина! Обычный коттедж, ничем не выделяющийся в своем ряду. Разумеется, никакой вывески. Железная калитка, дорожка из бетона с каменными бортиками, несколько ступенек, входная дверь с застеклённой верхней половиной — все как у всех.

— Сюда!.. Направо!..

Сухо командуют, но без пинков, даже без грубостей, и на том спасибо...

Комната с окнами во двор, голые стены, мебельровка до предела скудная: у стены простой, ничем не покрытый стол, перед ним обыкновенный стул с полумягким сиденьем, напротив окна письменный стол в неудобном положении, в устье какой-то ниши, а в глубине этой ниши массивный коричневый сейф на деревянной тумбе, тоже коричневый, с облупившейся краской. За письменным столом сидит скучного вида муж-

чина в форме с погонами старшего лейтенанта — понятно, этот уже не из тех, которые выезжают на задание, этот из кабинетных служаек.

Двое спутников — третий остался снаружи — обмениваются вполголоса парой фраз со старшим лейтенантом, дают ему на подпись бумагу.

— Фамилия? Имя-отчество? — спрашивает, вскинув голову, старший лейтенант бесстрастным, официальным голосом — совсем как в загсе. Получив ответ, расписывается в положенной перед ним бумаге. Двое в штатском удаляются, их миссия окончена. Вместо них появляется старшина, молча становится у двери. Ничего так ребята, свое дело делают деловито. Без суеты.

— Выкладывайте все, что есть в карманах. Документы и прочее, — говорит старший лейтенант. — Кладите вот сюда, на стол.

Выложил удостоверение, достал партбилет.

— И это?

— Все, все выкладывайте.

— А кошелек?

— И кошелек тоже. Будете на казенном довольствии.

Шутники, однако, и здесь не перевелись.

Со старшиной пересчитали деньги.

— Что еще есть в карманах?

— Вот — расческа... Носовой платок.

— Все кладите сюда.

— Платок и расческу тоже?

— Расческу тоже. И часы давайте.

Сухо командует, и как бы брезгливо. Ему самому противно, отмечает про себя Борис Комаров. Озирается — стены голые. Какие портреты сюда повесят? Какие снимали?

Старший лейтенант записывает изъятые предметы в приготовленный бланк, заворачивает все в платок, навязывает узелком, посматривая на Комарова с таким видом, с каким маэстро-фокусник производит на глазах

у публики свои манипуляции. Сует узелок на край стола, старшина берет и запирает в сейф.

— Распишитесь... Посидите тут.

Комарову приходит на ум старый украинский анекдот: «Чи це вы коняку украли? — Ни. — Почекайтэ...— Чи це вы коняку украли? — Мы. — Сидайтэ». Кто, где, когда ему это рассказал? Хоть убей, не вспомнить. Память отшибло? Ну, нет уж, так скоро они его не выбьют из седла.

Оба уходят. Комаров садится на стул и набирается терпения. Что будет дальше? Допрос? Интересно, о чем они будут спрашивать. Мне не страшны никакие подвохи, нет за мной никакой провинности, думает Комаров. Пусть это для них несущественно, зато существенно для меня. Не проведут на мякине! Не дать им никакой зацепки, такую задачу ставит себе капитан Комаров. Он уверен в себе, потому что знает противника. Вернее, думает, что знает.

Сидит, ждет. Старается досконально осмыслить происшедшее. Классическое заблуждение ни в чем не виновных «произошла ошибка» его не соблазняет. Подвернулся под руку, вот это будет вернее. Что дальше?

Сидит, ждет. Сидел прямо, руки на коленях, задубела спина, сменил позу, заложил ногу на ногу, левую руку закинул за спину стула, расслабился. Следят? Незаметно. Плевать.

Сидит, ждет. Вся серьезность положения все еще не доходит до его сознания. Никаких иллюзий, но и никаких преждевременных страхов. Чего бояться человеку, который уже был под огнем? Линия поведения выработана — никаких уступок!

Сидит, ждет. Устал сидеть, еще раз сменил позу. Может, встать и походить по комнате? Черт их знает, что они придумали. Зачем эта задержка в пустой комнате? Часы отобрали, сволочи. Сколько времени прошло? Возможно, не хотят везти при свете дня, чтобы не понял, куда, темноты дожидаются. Нет у них «ворон-

ков», что ли? Или не желают их применять, чтобы разговоров не было? А впрочем, и на «воронках» возили больше по ночам. Кадров не хватает? Работы прибавилось, а штаты прежние? Тоже ведь встречаются трудности, как во всяком деле. Направляя свою мысль по ироническому пути, Комаров старается сохранить за собой духовное превосходство.

Уже начинало смеркаться, когда за ним пришли: старый знакомый артиллерийский майор и один из тех трех провожатых в штатском. Сели в мерседес, поехали, долго петляли по улицам, пересекли какой-то пустырь, остановились у деревянных ворот, посигналили, кто-то выглянул из сторожевой будки, ворота открылись. Проехали метров десять, — снова забор из свежих истрюганных тесин, это уже вторая зона, опять сигнальчик, беглый контроль, ворота открылись. И наконец, третьи ворота, железные, в бетонной стене, а у ворот контрольная будка с окном и железная калитка. Майор входит в калитку, и через пару минут ворота открываются, машина въезжает во двор. Мало им было этой бетонной ограды, отмечает про себя Комаров, обнесли двумя дополнительными зонами. Попробовал оглядеться, когда выходили из машины — обширное голое пространство, асфальт, посередине двухэтажное здание из желтого кирпича, с обычными окнами, без решеток, вовсе непохожее на тюрьму. Штатский подталкивает в спину — первое телесное прикосновение, Комарова передернуло, он ускорил шаг.

Дверь как дверь, ничего особенного. Бетонные ступеньки ведут на второй этаж. Обычный коридор, по одну сторону ряд окон, по другую ряд дверей...

— Станьте здесь! — голос майора звучит резко и требовательно, таких интонаций Комарову слышать еще не приходилось — Руки назад! Лицом к стене!

Вот когда они заговорили на своем языке! Уверенности сразу поубавилось. Капитан Комаров стоит вплотную к стене, почти уперся в нее лбом, руки за спи-

ной, и ему приходит в голову, что сейчас им ничего не стоит подойти сзади и всадить ему пулю в затылок. Никто с них не спросит, никто не осудит. В крайнем случае придумают что-нибудь вроде попытки к бегству...

В такой позиции минуты тянутся медленнее, чем часы. Хочется повернуть голову, оглядеться, но страшно, вдруг следят, подловят на невыполнении приказа, унижат окриком, ударят? И все же он отваживается на этот рискованный поступок, поворачивает голову налево и направо. Коридор пуст. Вдруг загорается свет, Комаров вздрагивает, ему кажется, что это не случайное совпадение, а ответ на его самовольство. Но вот шаги по коридору...

— Идите!

Сколько времени прошло? Полчаса? Четверть?

Какой-то дюжий старшина, опять новое лицо, сам идет впереди, здесь предосторожности излишни.

— В эту дверь!

Маленький «предбанник» пуст.

— Теперь сюда!

Почему-то две ступеньки вниз, странная планировка. Старшина открывает дверь, пропускает Комарова вперед.

И вот финал: в начальственном кабинете, за письменным столом напротив двери, сидит майор в золотых погонах с голубой каймой. Красноватое отечное лицо и рыжеватые волосы с залысинами кажутся странно знакомыми. Ба, да ведь это Линчук! Быть не может! Неужели действительно Семен Линчук! Едва не сорвалось с языка «вот так встреча!», но он вовремя спохватился, подумав: наверно, тому будет неприятно, что старый знакомый застал его при выполнении такой позорной роли.

Комаров сделал вид, что не узнал Линчука.

Тот в свою очередь тоже «не узнал» его, хотя, пожалуй, из других соображений. В стеклянном взгляде зеленовато-серых глаз мелькнула искра то ли

удивления, то ли испуга, но тотчас погасла.

— Фамилия?

Так и хочется сказать, а то ты не знаешь, но Комаров подавляет эту невольную реакцию, здесь ничего нельзя делать спроста, из естественных побуждений, здесь каждый шаг, каждое движение мысли должно оставаться под контролем.

— Комаров.

— Имя-отчество?

Надо играть по их правилам. Раз он делает вид, что мы никогда прежде не встречались, значит и мне не следует раскрываться.

— Садитесь!

По укоренившейся «вольной» привычке Комаров садится на стул у приставного столика, как это принято на приеме у любого начальства. Табуретка, стоящая посреди комнаты, вовсе и не привлекла его внимание. ,

— Да не здесь! — рывкает золотопогонный майор, рывкает так, что задрожали стекла. — Здесь люди сидят! А вы — преступник!

Комаров вскакивает на ноги, ага, все-таки «вы!» Значит, умею держаться. Он готов к отпору, но сдерживает себя.

— Вон там садитесь! — майор кивает на отдаленную табуретку.

Ну что ж, сядем. Спокойно, не спеша. Комаров переходит к табуретке, опускается на нее. Его хладнокровие бесит майора. Он гневно бросает старшине, стоящему у двери:

— Почему погоны не сняли?! Снять погоны!

Наверно, тоже отработанный прием, думает Комаров, а старшина подбегает, хватает поочередно один и другой погон своими могучими клешнями, вырывает их с мясом. Потом снимает с Комарова фуражку, вытаскивает из нее пятиконечную звездочку и косо нахлобучивает фуражку на голову теперь уже подвластного ему человека, лишённого знаков офицерского достоинства.

Арестант Комаров и ухом не ведет. Стерпим и это, говорит он себе, с любопытством наблюдая за майором Линчуком. А ведь неплохо играет свою роль, отдает он должное противнику. Ясное дело, ему нельзя опознаться перед арестантом, иначе подозрени не оберешься, небось их тоже в страхе божьем держат...

— Рассказывайте, Комаров, какими контрреволюционными, антисоветскими делами вы занимались?

Вот дураки! Хотя бы придумали что-нибудь оригинальное!

— Никакими контрреволюционными, антисоветскими делами я не занимался.

Надо точно придерживаться их формулировок!

— А вы подумайте. Или вы считаете, что наши органы бесосновательно хватают невинных людей?

Дешевая ловушка!

— Вам виднее.

Стоп, это было, пожалуй, неосторожно, замечает свою оплошность Комаров и поправляется:

— С кем не бывает...

— Что не бывает? Что бывает? Вы говорите, да не заговаривайтесь! Ишь, упражняться в остроумии он сюда явился! Вы думаете, здесь недоумки сидят? — То ли он разыгрывает роль, то ли в самом деле взбеленился? — Будьте уверены, вы у нас заговорите! Не таких ломали!

— Ну, это мы еще посмотрим, — думает Комаров в тайном ожесточении, а наружно — сама покорность.

12.

С достигнутой вершины иначе смотрится пройденный путь. Невзгоды и тяготы, оставленные позади, теряют свои мучительные свойства, они преобразуются в предмет гордости, карабканье по скалам уже не изнуряет, падения и ушибы не причиняют боли, все это ста-

новится атрибутами подвига и освещается торжеством преодоления.

Руководящий пост — заветная мечта служаки. Семен Линчук к служакам себя не относил, но о возвышении мечтал, так как верил в свое высокое предназначение. Его путь к отдельному кабинету был долог и тернист. Он пролегал через унижение несправедливых нагоняев, через заискивание перед начальственными тупицами, через исполнение приказов, бессмысленность — или бесчеловечность? — которых была очевидной. Порой хотелось бросить все и бежать куда глаза глядят, ведь он знал, какой недоброй славой пользуется его департамент в народной гуще, но знал и то, что обратного хода отсюда не бывает. Однако презирать себя он себе не разрешал, находя успокоение в мысли, что если не ты, так другой, который будет похуже. Его не опьяняла доставшаяся ему малая толика власти. Стремясь к большей, он убеждал себя, что сумеет пользоваться ею разумнее, чем другие. А впрочем, иногда ему казалось, что он себя еще плохо знает.

Доставшийся Семену Линчуку вместе с майорским званием руководящий пост отнюдь не был предметом его вожделений, зато властных функций предоставлял немало. К тому же это только в упрощенном варианте говорилось «тюрьма», на официальном же языке заведение именовалось иначе. Сложное было название, его даже сам Семен не сразу усвоил, но старался и в мыслях не подменять его «баналом». Нельзя сказать, что он стыдился своей новой роли, он ведь не упускал из виду принципиального различия между эпохами. Одно дело царское самодержавие или реакционные режимы в других странах, там исполнять такую должность было бы в самом деле позорно, его же сферу деятельности вышестоящие лица называли почетной — другой бы спорил, а он согласен. Несколько смущало то обстоятельство, что данное заведение, а точнее сооружение со всем его оборудованием было унаследовано в нетронутым виде у

того учреждения, которое со всей большевистской страстностью клеймили как жесточайшее орудие господства злейших врагов человечества. Но не пропадать же добру!

Цинизм? А почему бы и нет? Нынешние полуинтеллигенты, нахватавшиеся вершков, превратили это слово в ругательство. А кто из них знает, что основоположники цинизма, — кстати, если уж быть точным, не циники, а киники, были последователями материалистической школы Сократа и противниками идеалиста Платона, отрицателями лицемерия, сокрушителями псевдо-нравственных химер? Про бочку Диогена слышал каждый, а многим ли заведомо, что Диоген был последовательнейший циник, а точнее киник, и его выбор жилищного устройства означал протест против роскошества патрициев, против рабовладельческих устоев?

Да, Семен Линчук не зря просиживал штаны в научных библиотеках, его кандидатская степень была заработана честным и упорным трудом. Но странное дело: среди своих нынешних коллег Семен Линчук не только не афишировал свое научное прошлое, но и без особой надобности о нем не упоминал. Более того, он старательно перенимал чуждые ему ранее стандарты поведения, ибо в противном случае, инстинктивно угадывал он, его шансы на продвижение были бы ничтожны.

Семен Линчук не стремился именно к этой должности, но ее преимущества он вскоре оценил — она была не очень обременительна. Поначалу требовалась некоторая деловая разворотливость, но это ненадолго. Хозяйство перешло к новым владельцам в отличном состоянии, не требовалось никакой перестройки, наоборот, предстояло еще освоить технические средства, доставшиеся в наследство. Понадобилось лишь одно новшество — обнести объект двумя дополнительными зонами, и хотя эти дощатые заборы с колючей

проволоккой поверху нарушали общий архитектурный стиль, зато на входящего сюда они нагоняли дополнительный трепет.

По завершении организационного периода майору Линчуку, как большинству начальников, стало вообще нечего делать. В его подчинении было достаточно исполнителей, ему оставалось только распоряжаться, да впрочем и распоряжаться было в общем-то незачем, все происходило автоматически, все знали свою задачу, а если не знали, то догадывались, что от них требуется.

Допросы в обязанности начальника тюрьмы не входили, ему достаточно было проверить по анкетным данным идентичность личности вновь прибывшего. Но Линчук не мог отказать себе в развлечении, поднимавшем его в собственных глазах. Он находил, что ему многое удавалось лучше, чем следователям по должности, и хотя протоколы его допросов не велись, они, эти допросы, оказывали на подсудимых такое влияние, что потом следователям оставалось лишь пожинать плоды.

Но вот неожиданно-негаданно судьба столкнула его лицом к лицу с Борисом Комаровым. Черт принес его сюда, этого типа, который знал его прежнего, в прежнем обликии, да к тому же был свидетелем его падения в сортирную яму! Сак-краменто, какая гнусная символика!

Похоже, что он меня вовсе не узнал. Артист! Узнал, разумеется, узнал. Но виду не подал. Пусть бы попробовал! Я бы ему показал, как мы реагируем на попытки использовать личное знакомство для получения послаблений! Но умеет держать себя в руках, скотина! Интересно, что ему шьют? Ах, плевать мне на него. Разберутся. Вернее, подберут статью... Забыть и в землю зарыть.

Но забыть не удавалось. До сих нор ни к кому из его постояльцев у Семена Линчука не было личного интереса. Сидят себе и сидят какие-то люди, что-то за ними числится, чего-то от них добиваются, потом их

куда-то отправляют, привозят новых — циркуляция. Разные встречаются: молодые и старые, здоровые и хилые, испуганные и негодующие, «мужику какое дело»... А тут впервые попался на глаза кто-то не безликий, а обладающий «лица необщим выражением» — как всякому начитанному субъекту, Семену Линчуку часто приходили на ум крылатые фразы.

Неисповедимы пути твои, Господи, и непредсказуемы превратности судьбы. Конечно, исчезнет этот нежелательный свидетель с твоего горизонта, канет в неизвестность и не успеет никому рассказать о темных пятнах в твоей биографии — почему, собственно, темных? История нас рассудит.

Все же интересно, за что они его. Ничего такого в нем не замечалось тогда, в дивизионном стойле. Шел, куда посылали, писал, что велели. А впрочем... Не любил пышных фраз. Не прославлял товарища Сталина! Даже разногласия имел по этому поводу с редактором. Вот где берет начало его путь на Голгофу! Теперь ясно. Но ведь ты тоже не прославлял? Тебе и не нужно было. У тебя должность была другая. Передаточная инстанция. Великое благо быть передаточной инстанцией. Ты и сейчас передаточная инстанция. Анкета у этого типа заурядная. Ничем особо не блистал. Как же он оказался сотрудником такой влиятельной газеты? Да еще немецкой? Уж не немец ли? Уж не агент ли адмирала Канариса проник тогда в наши ряды? Ах, вздор это все! Выбрось из головы.

Ан, не выбрасывается! Встает и встает перед глазами — то отзывчивый, всегда готовый помочь солдатик, новичок в дивизионной редакции, то не дрогнувший ни единым мускулом арестант, капитан с горделивой осанкой... Надо бы все же принять какое-то участие в его судьбе. Каким образом? И в каком направлении?

А что это я так о нем забеспокоился? Кто он мне, сват или брат? Семен Линчук ловит себя на том, что он к этому арестанту, этому изгою, обреченному на годы

лагерей, испытывает некое подобие уважения, чуть ли не признает его превосходство, чуть ли ему не завидует!

Майор Линчук шел со службы в задумчивости, в растерянности даже, не замечая никого и ничего вокруг себя. Он долго засиделся в буфете общежития сотрудников особого отдела, и впервые был настолько пьян, что пришлось под руки вести его на третий этаж в его холостяцкую конуру.

13.

Почему ведут не по лестнице, а указывают на железную дверь в конце коридора? Зачем лифт в таком невысоком здании? Железная решетчатая клеть скользит плавно, бесшумно. Промелькнул первый этаж, поехали дальше вниз. Так вот почему нет решеток на окнах!

Приехали, первый подземный этаж. Есть поглубже еще и второй? Может быть, и третий? А поглядеть снаружи, ничего особенного, административное здание, у всех на виду, за серой бетонной оградой. Теперь, упрямое за тремя зонами, бывшее гестапо и вовсе скрылось из виду. Это уже наши придумали. Тоже не лыком шиты.

Полностью ориентироваться в обстановке, точно фиксировать каждую мелочь! Никакой паники! Так убеждает себя Комаров, но унять внутреннюю дрожь ему не удастся. Ты в их руках! Один неверный шаг, и они с тобой расправятся. Да что им твой неверный шаг, могут и без всякого повода. Могут избить. Могут бросить в карцер. Интересно, какой тут карцер? Болван, все тебе интересно! На экскурсию пришел, турист! Мысли проносятся, как зажженные стрелы, обжигают и ранят.

Дверь из шахты подъемника открывается в небольшую квадратную каморку с глухими стенами, освещенную потолочным плафоном. За столиком чита-

ет газету еще один старшина. Сплошь сверхсрочники, догадывается Комаров.

— Получай, — произносит тот старшина, который сдирал погоны, и уезжает на лифте. Вот так же он выразился бы, если бы доставил, скажем, куль мякины.

— Раздевайся, — говорит новый старшина, пожилой, мешковатый, добродушной повадки. — Давай, давай, чего ты застеснялся, тут баб нету.

Выдадут арестантское, думает Комаров, снимая китель, брюки...

— Рубаху, трусы, все давай скидовой.

Пожилой старшина переминает предметы одежды, берет в руки один полуботинок, потом другой, перегибает, комментирует:

— Бывает, что там стальная стелька, это чтоб не гнулась подошва, мы ее вынаем. Фуражку дай сюда. Вот гляди: пружинный обод вставлен, он расправляет тулью, а то бы она у тебя висела лопухом, понял? Вынаем, он распрямился, а концы-то острые — теперь смекнул, почему вынаем? О вас же, дураках, беспокоимся. Расческа где? Там еще забрали? Ну, и правильно сделали. Одевайся. Ремень дай сюда. Ну, вот, теперь ты в порядке. Сейчас отведут тебя на квартиру.

Старшина нажимает кнопку, является тюремщик пониже рангом, погоны сержанта у него, возраст неопределенный, взгляд угрюмый, исподлобья, в руке связка ключей. Как это все не ново! Ничего своего не придумали?

Длинный коридор, пол вымощен керамической плиткой, молочно-белой с коричневыми узорами. Поворот налево, другой коридор, конца его не видно. Остановились у одной из железных дверей, сержант отпирает ее, все молча, лишь головой кивает — туда, мол.

За спиной с железным скрежетом щелкает несмазанный замок. С новосельем!

Стоя посреди камеры, Борис окидывает взором свое владение. Просторно, ничуть не похоже на одиноч-

ку. Окон нет, да откуда им быть — подземелье! Стены окрашены серой масляной краской. Вдоль задней стены сплошной лежак такой же окраски, во всю ширину, на нем могли бы уместиться в ряд человек шесть, если не больше. Потолок несвежей белизны, посередине яркая электрическая лампочка в колпаке из толстого стекла, надо думать, небьющегося. В переднем, дальнем от двери, углу стоит большой бак из оцинкованного железа с крышкой, следовательно, параша. И больше ни-че-го! Ни постели, ни стола.

Борис присаживается на широченное ложе. Это все на одного? Или поделят кого-нибудь в дальнейшем?

Который теперь час? Отобрали часы, паразиты! Должно быть, дело к ночи. Усталость смертельная, как будто день-деньской катал колымские тачки, но нет и намека на сон, какой-то нервный зуд во всем теле. Зачем изымают часы, ведь ими не вскрыешь вены? Наверно, как и деньги, во избежание сделок с персоналом. Все надо осмыслить, понимание обстановки есть ключ к правильному реагированию.

Что они могут предъявить, какие придумают обвинения? Скорее всего, прицепятся к поездкам на запад. Ладно, это их забота. Что попусту ломать себе голову, утро вечера мудренее. Не падай духом, а падай брюхом, говорил своим солдатам взводный Мигулин, обучая их маскировке на местности. А тебе никакой маскировки не нужно, оставайся самим собой, и не пристанет никакая пакость. Говорите, не таких ломали? Врете, меня вам не сломать!

Звучит резкий, пронзительный звонок. Комаров с усилием поднимается на ноги и начинает ходить из угла в угол. Через несколько минут грубый окрик снаружи:

Отбой был — почему не ложитесь? Лечь немедленно!

Уследили! В двери есть глазок, как я сразу его не

заметил. Однако, порядочек, как в санатории...

Комаров ложится спиной на голые доски, затылок на жесткое изголовье, потом догадывается, что можно подложить фуражку. Свет в глаза... Опускает веки, жмурится, красные точки кружатся, скачут, остановились, сделались красной вуалью. Почему не гасят свет? Забыли? Увы, не гасят и не гасят. Значит, входит в программу. Ладно, будем привыкать. Он поворачивается на правый бок, лицом к стене — памятное выраженьице! — и начинает считать фунты изюма: один фунт изюма и один фунт изюма — два фунта изюма, два фунта изюма и один фунт изюма... На семнадцатом фунте изюма им, наконец, овладевает сон.

Узнать, что наступило утро, ему помогает все тот же пронзительный звонок. Гремят ключи, щелкает замок. В дверях выводной.

— Пошли умываться. Парашу бери. А мне хрен с тобой, пустая она или полная, будешь брать и ополаскивать. Живей давай, ты тут не один.

Понятно: водят по одному. Чтоб никаких контактов!

Над скрещением коридоров висит — как вчера я его не заметил! — настоящий светофор, только чуть поменьше уличного и без желтого фонаря. Конечно же, немцы додумались, наши-то обходятся подручными средствами, стучат ключами по котелку. В умывальне над длинной лоханью — толстая труба с отверстиями, хлещет вода, а дальше сортир наподобие наших вокзальных. Комаров исполняет утренние процедуры, умылся без мыла, полотенца нет, утерся подолом рубахи. Выводной стоит у двери, поторапливает. Ничего так мужик, без лишнего хамства.

Вернувшись в камеру, Борис начинает ходить по периметру, собирается с мыслями. Соображает, не сделать ли зарядку. Надо поддерживать форму, это важно. Косится на глазок, как бы на это самовольство не по-

следовал окрик надзирателя. Все же решается, проделывает несколько упражнений — ничего, обошлось.

Доносится какой-то странный звук, что-то движется с негромким дребезжанием, потом движение прерывается, совершаются какие-то действия, слышны неясные шумы. Комаров прислушивается, старается отгадать, что же это там едет по коридору с остановками. Движение возобновляется, и так много-много раз. Эта звуковая загадка сначала удалялась, потом снова стала приближаться, вот звуки раздаются уже совсем рядом, и наконец, затихают у его камеры. Отворяется клапан — окошко в железной двери, и — что за диво — перед дверью железная трёхъярусная тележка, ободья в резиновых обручах. Рационализация, спасибо предшественникам! На нижней полочке бачок, а в нем черпак, на средней горка алюминиевых мисок, на верхней кружки, чайник и белый хлеб, нарезанный толстыми ломтями. Кухонный служитель в заляпанной белой куртке выдает Комарову через кормушку его долю перловой каши, кружку чаю и ломоть ситного. Паек хоть и арестантский, но с оглядкой на армейские рационы. Благодарю, не ожидал!

Спустя полчаса коляска обратным рейсом собирает посуду. Прислушиваясь к производимым ею звукам, Комаров определяет ход перемещения: вот она приближается, сейчас остановится возле моей двери... Но нет, удаляется снова, значит, объезжает камеры по противоположную сторону коридора. Вот уже совсем ее не слышно, завернула в другой коридор. Через некоторое время возобновляются удобопонятные звуки, коляска приближается, на этот раз наверняка уж ко мне... Так будет теперь каждый день, утром, в обед и вечером предоставится мне это развлечение — расшифровка звуков...

А в промежутке между кормлениями — пустота! Пустая камера, пустые стены, пустое время, заполнить его можно только движением. Движением тела и дви-

жением мысли. Вот ходи теперь и думай, размышляй, готовь себя к новым встречам с товарищами — пардон, с гражданами-начальниками, которые станут тебя ломать.

Когда же поведут на допрос? Хм, допрос! Дико и чудовищно применять к себе это понятие, такое, казалось бы, отчужденное.

Комаров ходит и ходит по своей на удивление просторной келье, перебирает в памяти события прошедших дней, стараясь выявить связь между ними и его арестом, ни к чему не приходит, устает от бесплодных раздумий, начинает считать шаги. Сколько шагов (метров? километров?) сможет он нашагать в единицу времени? Но какую единицу? Часы-то забрали, сволочи! Нет меры времени, так измерим пространство. От передней стены до лежака пять шагов, да сам лежак, считай, шага три, итого общая протяженность семь шагов. Теперь вдоль лежака, то есть поперек камеры — шесть шагов. Переводим шаги в метры, умножив на ноль-восемь, получается около шести метров на что-то около пяти. Вычисляем площадь, пять шесть тридцать, и это на одного, неслыханная роскошь, за что мне такие привилегии?

Боже, чем приходится заниматься! В царских тюрьмах политические требовали книги, перо-бумагу, и получали! А ты-то кто? Какой ты политический? И вообще, нет у нас политических. Ты просто преступник, так определил твой старый приятель Семен Линчук.

И еще они перестукивались с соседями. Попробовать, что ли? Как у них обозначались буквы — по Морзе, точка-тире, или по нумерации алфавита? Ах, чепуха все это! О чем ты стал бы стучать соседу? У нас стучат теперь совсем не в этом смысле...

День прошел, другой проходит — когда же? Забыли о нем? Хоть бы уж что-нибудь происходило!.. По звонку Борис Комаров с нелегким сердцем ложится

спать. Не сразу уснешь на голых досках без подушки. Изюм уже не помогает, надо попробовать почитать про себя запомнившиеся с детства стихотворения: «Однажды в студеную зимнюю пору я из лесу вышел, был сильный мороз...» На счастье сейчас лето, и в камере тепло. А если б зима? Есть тут хотя бы отопление? Какие-то трубы виднеются под топчаном, у дальней стены, он заглядывал дном, хотел даже залезть туда подалее, но грязно, пыльные клочья и паутина.

Никак не уснуть, да еще и блохи откуда-то появились, не он ли их растревожил, когда пытался залезть под топчан, черт его туда понес... Прыгает какая-то стерва по щеке, как бы не забралась в ухо. Вот такие проблемы теперь у тебя, з/к Комаров...

Неужели отправят на Колыму? А что ты думаешь, захотят и отправят. Повстречаешь там своего старого друга Русланова; там ли он еще? Жив ли? Ну, что ж, Колыма так Колыма. Не таких она ломала? Но многих не сломала, и его тоже не сломит, До Колымы еще долог путь. Сначала будут допросы. Какая глупость, ну о чем его допрашивать? Придумают что-нибудь!..

Теперь Комарову представляется, что уже везут его куда-то в телячьем вагоне, а на тормозной площадке солдат с винтарем. Но он-то бывал и не в таких переделках, да-и сила есть еще в руках, с верхних нар он выбирается через узкое окошко наружу, подтягивается, карабкается на крышу, а тут как раз моет через речку, что за река, то ли Двина, то ли Днепр, а может быть уже и Волга, какая разница, ему бы только успеть ухватиться за верхнюю балку, пропустить состав, а потом спрыгнуть вниз, упасть в холодную воду, пловец он отличный, и до берега не так далеко, вот уже камыши вдоль отмели, громко шуршат, когда их раздвигаешь руками...

— Встать, Комаров!

Что это? Ага, за ним пришли.

— Выходи. Направо.

Среди ночи?

— Сюда!

Скорее сбросить с себя эту вялость. Лифт? Понятно.

Знакомый коридор. Вот у этой стены он стоял, к ней лицом. Что теперь?

Незнакомый капитан, худой, как щепка, стоя в дверях, цивилизованно приглашает войти. Выглядит скверно, тонкое лицо изжелта бледно, вокруг глаз чернота, движения дерганые. Ну, держись, Комаров, начинается твой главный экзамен.

В глубине кабинета однотумбовый письменный столик. Два окна, белые занавески в полвысоты. На отдалении от стола одинокая табуретка, это для него, он уже в курсе дела.

— Садитесь, Комаров. Рассказывайте.

Вот тебе здарсьте!

— Что рассказывать?

— Рассказывайте, как вы вступили в связь с иностранными агентами и какие сведения вы им передавали.

Как в воду глядел: кому-то мои поездки встали поперек горла! Есть чему завидовать? Кому я перешел дорогу? Ладно, сосредоточься и будь точен.

— Ни с какими иностранными агентами я в связь не вступал и никаких сведений никому не передавал.

Смотрит в свои бумаги.

— А вы подумайте. Вы вспомните.

Что они знают про Сэма Уайта? Что могут мне приписать? А-а, наплевать мне на них, сам на себя напраслину возводить я не стану.

— Ничего другого вспомнить не смогу.

Опять что-то ищет в бумагах.

— Какой антисоветской клеветнической деятельностью вы занимались?

— Никакой антисоветской клеветнической деятельностью я не занимался.

Перелистывает. Что-то нашел?

— При обыске у вас на квартире... (ага, даром времени не теряли!) обнаружена книга Бирнса «Откровенно говоря». Кто передал вам эту книгу и с какой целью?

Нашли-таки за что зацепиться!

— Брошюру госсекретаря Бирнса «Откровенно говоря» я купил в общедоступном киоске на Александерплац, чтобы использовать ее в целях контрпропаганды.

Опять углубился в бумаги... Но что это — голова его клонится долу, подбородок ложится на грудь. Уморился, сердечный! Наверно, трудился весь день, а теперь вот еще и ночная смена... Да, час поздний, добрые люди мирно спят, видят сладки сны...

Комаров покачулся на своей табуретке и тут же решительно взял себя в руки: тебе-то спать нельзя! Бдителен будь!

Сидит прямо, жесткая спина, руки на коленях, подбородок приподнят, как в строю по команде смирно. Не спать! Не дать застать себя врасплох!

Надо думать о чем-нибудь, думать интенсивно, шевелить мозгами, чтобы не совели. Вспоминать что-нибудь приятное — впрочем, нет, это как раз усыпит тебя вернее всего. Размышлять об узниках прежних эпох! Шлиссельбургская крепость... Алексеевский рavelин... Княжна Тараканова... Эгмонт... Эва, куда хватил! Возьми полтона ниже, приятель. Не примеряйся к монументам, не возносись в заоблачные выси, лучше по-вспоминай, где и в чем твои промашки? Кому не угодил? Цареву? Нет, с ним было полное взаимопонимание. Привыкая к службе при нем, в добровольной подчиненности, ты сам напросился на звание и статус. Безответственного, подсознательно вживаясь в приспособленчество как способ существования. Приспособленчество может проявляться в мягкой форме, служить скорее как способ выживания, нежели как средство получения вы-год...

Слово «приспособленец» он зачислял в разряд ругательств, но причислял ли он себя к приспособленцам?

В минуты самокритичных раздумий, пожалуй, да. Но ты приспособливаешься, говорил он себе, преодолевая внутреннее сопротивление. Значит, не безнадежен.

Страна не приказывала тебе быть героем. Героические натуры совершают исторические подвиги, нередко ценой собственной гибели. Отдают свою жизнь за правое — по их мнению — дело и остаются навеки в памяти людей. А что делать натурам зарядным? Неужели они ни на что не пригодны? Ни сказки о них не расскажут, ни песни о них не споют?.. Так зачем они живут? Как это говорил Русланов коль скоро мы приговорены к жизни, то постараемся же сделать эту жизнь выносимее для себя и себе подобных...

Это стыдно — быть заурядной натурой? «Der Mann ohne Eigenschaften» — «Человек без качеств» это же про тебя! Книга австрийца Музиля попала к нему на глаза, но он не успел ее прочесть, куда там, три тома один другого толще, оставил на потом, но уже отнес к себе обозначенную в том заглавии характеристику... Человек без качеств... А это не то же самое, что бесцветная личность? Тех, кого называют бесцветной личностью, он считал презренной категорией рода людского. Предполагается, что бесцветная личность может принять любой цвет, в зависимости от обстоятельств. Такую оценку он ни за что не согласился бы признать за собой. А вдруг кто-то и тебя зачисляет в бесцветные личности? Сможешь ли доказать, что ты не таков?

Вода камень точит, а наждак житейского опыта стирает острые грани самобытности. Когда-то ты был потрясен открывшимися перед тобой уродствами бытия, но годы шли и пласты нового опыта наслаивались поверх прежних отложений. Старые не исчезали, оставались на своем месте, но уходили в глубину. Гвоздь под стелькой уже не вонзается в пятку. Ошеломляющие открытия преобразуются в тягомотину школьных учебников. Восстания, убийства и предательства, превратившись в историю, не вызывают переживаний и уж

давно не побуждают к ответному действию...

Минуты бегут, изнуренный следователь сопит и всхрапывает. Вдруг он вскидывает голову, смотрит помутнело.

— Какой антисоветской клеветнической деятельностью вы занимались?

— Будь точен, — напоминает себе подследственный Комаров.

— Никакой антисоветской клеветнической деятельностью я не занимался.

Но следователь уже не слышит, голова его снова повисла, воронья челка упала на лоб. Комаров сидит как по стойке смирно, смотрит во все глаза, не позволяет себе расслабиться, шевелит пальцами рук и ног, регулирует дыхание. Он вырабатывает линию поведения: не давать хода эмоциям, не возмущаться даже внутренне, не ты первый, не ты последний, возмущение лишь обострит твое чувство бессилия, выбрось из головы само понятие страдания, уясни, что ты не пуп земли, и если ты зачем-то нужен в этом мире, то не как борец, обреченный на поражение, а прежде всего как свидетель. Когда ты понадобишься в этом качестве? Кто знает... Но постарайся уцелеть, в этом твое предназначение.

Если мне не изменяет чувство времени, прошло уже не меньше получаса, думает подследственный. Покашлять, что ли? Ладно, пусть его... Вот он, кажется очнулся, вскидывает голову, бормочет спросонья:

— Какой антисоветской клеветнической деятельностью вы занимались?

— Никакой... — начинает Комаров, но его собеседник опять уже отключился, бедняга.

Как долго это может продолжаться? Час? Два? Наконец капитан встряхивается, поднимается из-за стола, на нетвердых ногах проходит к выходу, скрывается за дверь. Комаров сидит. О чем он думает? Он думает об этом несчастном человеке, своем мучителе.

Это он-то должен меня ломать? Да он сам давно уж сломлен. Что-то с ним неладно. Эта мертвенная бледность, эта чернота вокруг глаз — похоже, он принимает наркотики. Чего можно от него ожидать? К чему надо быть готовым?

Проходит еще полчаса, Комаров сидит, не шелохнется, а капитана все нет. Вместо него приходит сержант и уводит Комарова вниз, в его разлюбезную просторную камеру. Борис мешком валится на свой многоспальный топчан и мгновенно погружается в забытие. Ему кажется, что он едва успел заснуть, когда раздается резкий звонок побудки...

— Берн парашу, понеслась!

Сегодня выводной — веселый малый, шустрый толстячок, тоже из сверхсрочников, он доволен жизнью, наверно, бывали у него похуже времена, а нынешняя должность нравится ему, он исполняет ее шутя и играя. С ним даже можно перекинуться парой слов, хотя арестантам разговаривать с выводными запрещается.

Холодная струя бодрит, но стоит вернуться в камеру, как тяжелой тучей наползает сон. Надо перетерпеть, привезут шамовку (в соответствии с тюремной обстановкой вспоминаются полузабытые словечки), подзаправлюсь, тогда уж покемарю...

Комаров ходит из угла в угол, потом по периметру, в одну сторону и в другую попеременно, чтобы не закружилась голова, все должно быть продумано и подчинено одной идее: самосохранение!

Есть не хочется, но надо — для поддержания сил. Дождавшись сбора посуды, он ложится на правый бок, фуражку под голову, коленки к животу — эх, как славно сейчас я отосплюсь!

Черта с дна — железный стук в дверь.

— Лежать нельзя!

Вот тебе и веселый малый! Голосом кричит беззлые, даже как бы приветливым, но чего нельзя, того нельзя.

Значит, снова ходить. От стены до стены семь шагов, от топчана до двери шесть, еще раз семь, еще раз шесть, всего получается двадцать шесть, десять кругов — это около двухсот пятидесяти метров, сорок кругов — километр, надо нахаживать километров пять за день, иначе сильно ослабнут ноги. Но сейчас нет сил пройти больше двадцати кругов, голова чугунная, а ложиться нельзя.

Комаров садится, прислоняется к стене плечом и головой, как в трамвае, и вот уже надвигается сладкая дрема, как вдруг — все тот же адский стук железом по железу:

— Нельзя сидеть у стены!

Теперь все ясно. Днем спать не дадут. Так хоть дали бы ночью! Как дотянуть до вечера?

Нестерпимо медленно тянется день. Знакомые шумы по коридору — везут обед. А что если объявить голодовку? В старину к ней прибегали революционеры, и чего-то добивались. Но наших этим не проймешь. Нельзя рисковать здоровьем. И забудь о революционерах. Они ведь за что-то боролись! А за что борешься ты? Пока что только за выживание.

Обед привносит разнообразие, но потом наступит самое тяжелое. Нет сил ходить, сон валит с ног прямо на ходу. Комаров приспособливается хоть немного уснуть сидя — но не у стены, а посередине своего обширного лежака. Всего на несколько минут, дольше не получается, тело теряет устойчивость (усидчивость?), клонит то вперед, то назад, то вбок, и все же вот так, урывками, удается слегка компенсировать нехватку ночного сна.

Пожинав, Комаров не ложится сразу, знает, что все равно поднимут, терпеливо дожидается отбоя. Как трудно дождаться того, чего ждешь с нетерпением! Наконец резкий, высокого тона, звонок пронзает тишину. Настал твой час блаженства, бери его! Но вот незадача: сон, такой долгожданный, теперь не приходит.

Комаров поворачивается и так и сяк, на правый бок, на левый, ложится на спину, прикрыв фуражкой глаза от лампочки, которая ночью горит особенно ярко — нет сна, да и только! Уйми досаду, думай о чем-нибудь приятном. Ну, например, вообрази, что вышел указ, предписывающий судить по правде и без причины не сажать? И приходят к тебе толпой полковник Кружавин, майор-артиллерист, за ним те штатские, безымянные герои, следом майор Линчук, сонливый следователь-наркоман, все здешние старшины, выводные и повара, они несут тебе пружину для фуражки, погоны и звездочку, извиняются и поздравляют... Нет, что-то не клеится картина, воображение не подчиняется насилию. Лучше повспоминай что-нибудь достоверное из милого прошлого.

Как недавно еще это было, девчушка из фотолaborатории принесла снимки с твоей пленки, привезенной из командировки в американскую зону... Объясняла тебе преимущества одних перед другими с таким тонким знанием дела, что ты невольно заслушался — да и загляделся на миловидное личико в каштановых кудряшках, на такие ловкие, подвижные пальчики — и как это ты раньше не замечал, что за прелестное создание ходит и дышит здесь, под одной с тобой крышей... А вскоре на концерте во Фридрихштаттспаласте, куда выезжали всей редакцией, ваши места оказались рядом — случайно это было, или кем-то подстроено?

Пятно на биографии, великий криминал — связь с немкой. Какое отвратительное выражение! Какие пошляки могли его придумать! Ты понимал, что ваши отношения бесперспективны. Ты знал, чем это кончается. Но понимание пониманием, а взаимное влечение сильнее, чем выдумки пошляков. Никакие пятна не пристають к белому платью искренних человеческих связей... Нет, не стоит тебе предаваться этим воспоминаниям, они не придадут тебе бодрости духа и не помогут уснуть, скорее наоборот, Выбрось из головы. Считай

фунты изюма...

Комаров, кажется, засыпает, как вдруг...

Боже мой, кого же это так истязают?! Крик — нет, вопль разносится по коридорам подземной тюрьмы. Нестерпимую боль выражает этот истошный, из самого нутра исходящий, полный муки и ужаса, леденящий душу вопль. В нем и бессильная жалоба, и всплеск отчаяния, и мольба о пощаде. Истязают где-то неподалеку, почти рядом — что там у них, камера пыток? Что они делают с ним, загоняют иголки под ногти? Прижигают кожу паяльником? Пропускают ток через тело? Говорят, когда-то гестапо было гораздо на такие приемы. Неужели и это перешло нашим в наследство? Невозможно слушать! Когда же они прекратят?

Долго, долго длится мучительство, долго разносятся по коридору отчаянный вопль, а когда он смолкает, все еще отдается в ушах, мешая уснуть. Едва Комаров все же засыпает, звонко шуршат камыши, отпирается дверь его камеры, пожалуйста на допрос...

— Какой антисоветской клеветнической деятельностью вы занимались?

Одно и то же, одно и то же!

И так день за днем, ночь за ночью. И так же в урочный час, раздастся чей-то истошный крик, кого-то мучат по соседству. Но на третий раз Комаров определил уже безошибочно: все та же тональность, значит, прокручивают запись, сволочи! Тоже у гестапо научились? Раскусив уловку, Комаров больше не пугается, но заснуть эта музыка все же мешает.

Жаловаться, протестовать? Мы к этому не приучены. Приспособиться? Вот это пожалуйста. Ночь за ночью Борис не спешит отдаться Морфею, ждет повторения — но напрасно, концерт-пытка не возобновляется. Сломался аппарат?

В часы, когда он был предоставлен самому себе, он чувствовал себя свободным. Он вовсе не тяготился одиночеством, скорее даже наслаждался им, насколько

можно говорить о наслаждении в условиях тюремного подвала. Здесь ни перед кем не нужно было ничего изображать, не нужно было держать себя в руках, ты был никому ничем не обязан, ты мог быть воистину самим собой и все оставшиеся в тебе силы расходовать только на себя. Лишь мысль о том, чем все это может кончиться, нависала грозной тучей, бередила душу, но поскольку действительность нашей жизни есть настоящий момент, то мысль эту можно было отместить в сторону, отодвинуть в область общих, абстрактных, не очень личных рассуждений. И если бы не мучительный недосып, Борис Комаров мог бы сказать, что он почти счастлив, вернее не так уж обижен судьбой, потому что печальный опыт — это тоже приобретение.

В один из дней камера открылась в необычное время, спустя какой-нибудь час после обеда. Длинный тощий парень, рыжий, конопатый, абсолютно безмолвный, объясняющийся только знаками, повел куда-то по новому маршруту, узким коридорчиком к бетонному приступку в четыре ступени, отпер железную дверь, и Комаров очутился во внутреннем дворе, продолговатом и пустынном. Впереди стояла стена высотой в два человеческих роста, а в ней через равные промежутки несколько железных дверей. Выводной отпер одну из них, указал арестанту войти, и щелкнул запором у него за спиной. Борис огляделся: небольшой прямоугольник метров пятнадцатые в длину и около десяти в ширину (потом он посчитал метровыми шагами шестнадцать на восемь). Он понял: это прогулочный дворик. Одиночный!

Великое дело прогулка! Тесны высокие побеленные стены, но небо, небо! Небо над головой то же самое, что у всех людей, и воздух такой же вольный, как где-нибудь над прилегающими улицами, над Александр-плац, над Берлином, над всей Европой, над Россией, над Москвой! А солнышко августовское стоит еще высоко в этот послеобеденный час, его лучи своевольно вторга-

ются внутрь прогулочного дворика, лишь у одной узкой стены таится затененный уголок. Солнышко, твои лучи полезны, ты должно мне помочь! Комаров решительно скидывает китель, снимает нижнюю рубашку, обнажает изомлевшее в неволе мускулистое тело. Он ни на минуту не забывает о поставленной задаче: сохранить себя! Для чего? Я свидетель!

Отныне всякий раз, когда его выводят на прогулку, Борис раздевается до пояса, подставляет солнышку руки, плечи, грудь и спину. Но как-то, едва он оголился, дверь дворика с лязгом отворяется, на пороге возникает толстый слугитель и орет во все горло:

— Тебе что здесь, курорт? Одеться немедленно! Ишь ты, распоясались!

Как не понять его возмущение. Действительно, не курорт... И ведь уследили, паразиты!

Над наружной стеной возвышалась сторожевая вышка, из разных двориков она виднелась по-разному — когда слева, когда справа, а иногда прямо над головой. В этом случае Комарову нравилось поглядывать на часового: как-то он себя чувствует там, на высоте, доволен ли службой, исправно ли ее несет? Солдатики дежурили тоже разные, одни пристально всматривались в поднадзорный отрезок стены, другие откровенно скучали. Особенно понравился Борису один из караульных. Был этот парень светловолос, курнос, и выражение лица имел сугубо добродушное. Он не очень-то ревностно следил за своим участком обзора, а больше запускал глаза внутрь поднадзорного пространства, разглядывал арестанта с любопытством и без всякой враждебности.

Гуляя по дворику, Борис Комаров чувствовал себя почти как на свободе. Однако не хватало общения с внешним миром, не хватало вольности в поведении. А как хотелось раскрепоститься хоть ненадолго, как хотелось войти в контакт с кем-то вне этих неприступных стен! Однажды он ходил и ходил, как обычно, круг за кругом, и вдруг у него возникла потребность осуще-

ствить одно естественное отправление. Конечно же, он мог потерпеть до возвращения к своей параше, но тут его осенила дерзкая мысль. Недолго думая, он остановился под сторожевой вышкой, с которой посматривал вниз симпатичный ему молодой охранник, поднял на него глаза, поймал его ответный дружелюбный взгляд, и сказал негромко:

— Слушай, а можно... поссать?

Часовой улыбнулся чуть заметно, зыркнул в ту и в другую сторону, и ответил также негромко:

— Валяй.

Боже, подумать только, какую бурную радость, какое высокое наслаждение может доставить человеку самое заурядное, до предела прозаическое, с точки зрения общественных приличий даже непристойное действие! Смешно, нелепо, глупо, как угодно, назовем это происшествие, но для Бориса Комарова это был настоящий праздник. Он с ликованием оросил ненавистную стену, с улыбкой мстительного торжества перешагнул большую лужу и зашагал дальше с таким душевным подъемом, словно совершил удачный побег и стал уже не узником, а свободным человеком, вольным делать что угодно, и никто вроде ему не указ. Нам тем дороже ничтожные радости, чем менее они доступны, подумал Борис, и сообразив, что такие откровения на улице не валяются, пожалел, что нет с ним бумаги и карандаша.

Врете, вы меня не возьмете, думал он, возвращаясь в камеру. Все-таки уже не 37-й на дворе, а сорок девятый!

14.

Установка была такая: в этап, предназначавшийся угольным шахтам, где убыль рабсилы и в войну, и в послевоенные годы была особенно велика, отбирать по признакам крепкого здоровья, возраста до 35 лет и с

продолжительным сроком, далеким от истечения. Русланов под эти критерии не подходил, но на приисках молодым и здоровым з/к тоже знали цену, а посему старались сбывать с рук заодно и таких, которые были в обузу, то есть хлеб жрали, а продукцию не давали.

Ходатайства Зины Селезневой на этот раз не помогли бы делу, наоборот, стоило ей вступить, и всплыли бы наружу подробности из жизни ее и Русланова, которые не следовало предавать огласке. Но едва пароход с этапом отбыл из бухты Ногаево, Зина Селезнева подала рапорт на увольнение. Никто держать ее особенно не стал, и первым же пассажирским рейсом она отбыла во Владивосток.

Вот уж не знали разведслужбы нехороших государств, кого бы им следовало вовлечь в свою агентурную сеть! Потолкавшись на железнодорожном узле, она попыталась, куда направился эшелон с заключенными, и только-только этот состав, о котором повеселевшие на дармовых харчах урки говорили, что он длинный, красный и подолгу стоит, прибыл на конечную станцию, как и Зина Селезнева оказалась в Караганде.

Работу она себе искала не где-нибудь, а именно в лагерных учреждениях, причем документы с последнего места работы немало ей в этом способствовали. Так она стала машинисткой в конторе лагпункта, контингент которого был придан одной из самых крупных, самых отстающих, самых неблагополучных шахт. Именно сюда определили прибывшее с востока пополнение.

Что двигало этой простодушной, малообразованной женщиной, далекой по духу от тех высот, которые были доступны кандидату философских наук Павлу Константиновичу Русланову? Любовь? Да, конечно. Но что питало, что наполняло жизненной силой любовь сибирской бабенки к столичному ученому? Восхищение его образованностью, тонкостью ума? Присутствовало и это, но ведь восхищаться можно и на расстоянии. Близость с таким человеком возвышала ее в собственных

глазах, льстила ее самолюбию? И это тоже. Но было еще что-то, какая-то тайная сила, о существовании которой Зина Селезнева, подчиняясь ей, может быть, вовсе и не подозревала, ибо к самоанализу ни малейшей склонности не питала.

На ее совести была безвременно загубленная жизнь. Теперь, пусть неосознанно, повинуюсь каким-то ей самой неведомым импульсам, она посвятила себя спасению другой жизни, ничуть не заботясь при этом об отпущении греха или о спасении души, как выразились бы религиозные люди. Она не была религиозной, не была и безбожницей, она была никакой. Никакие духовные или рациональные принципы не обременяли ее свободную от идейных оков натуру. Она была просто Зиной Селезневой, урожденной Рубцовой, и больше никем. Она не вникала в мотивы своих действий, она действовала, и все тут, а потребуй с нее объяснений, она не нашла бы что сказать. Логика ее поступков была проста: иначе она не могла. Никаких отвлеченных целей она перед собой не ставила, она просто повиновалась внутренним побуждениям, не отдавая себе отчета, да и не спрашивая с себя отчета ни в чем. В одном лишь была у нее полная ясность: она знала, что не остановится ни перед чем, когда решается судьба Павла Русланова.

Отсидев свои восемь часов в конторе, где она механически, не вникая в содержание, перепечатывала какие-то отчеты, требования, накладные, рапорты, сводки и прочую бумажную дребедень, Зина спешила на облюбованный ею холм у дороги, по которой угрюмо тянулись со смены колонны запорошенных угольной пылью, едва переставляющих ноги з/к. Издалека такая колонна, извивающаяся на поворотах дороги, смотрелась как гигантская серая змея, а вблизи напоминала грязевой поток,двигающийся медленно и бесшумно, лишь редкие окрики конвойных нарушали мертвенную тишину. Случалось, что ей приходилось долго стоять в

ожидании, смену задерживали, если была невыполнена норма, и на глазах Зины, тревожно вглядывающейся вдаль, происходили природные метаморфозы: ослепительно желтое солнце приобретало оттенок остывающей меди, медленно приближалось к горизонту, погружаясь в прозрачную муть из дорожной пыли и заводских дымов. Иногда над раскаленной степью медленно проплывали свинцовые тучи, синие лохмы дождя свисали невдалеке, но капли испарялись, не долетая до земли. Наконец появлялась колонна, и не было на свете ничего больше, кроме этой угрюмой-реки человеческого бездолия. Зина приглядывалась к темным, едва различимым в сумерках лицам, и когда конвойных поблизости не было, кричала проходящим: «Русланова не знаете?».

— Художники меня не интересуют, — сказал Федор Загорулько, начальник механических мастерских при шахтоуправлении. — А почему вы обращаетесь именно ко мне?

Ну, как ему объяснить, почему? До него Зина Селезнева побывала самое малое в полдюжине кабинетов, каких только начальников она ни осаждала, всех не упомнишь, и каждый отсылал ее к кому-нибудь другому или вообще слушать не желал. Главное, как она понимала, было не в том, что она обращалась не по адресу, а в том, что эти начальники не испытывали к ней ни малейшего интереса: один был стар и сед, другой слишком занят своими делами, третий куда-то торопился, четвертому жена звонила по телефону, проверяя, на месте ли он... На этого начальника была ее последняя надежда.

Она разузнала о нем через секретаршу, а со всеми секретарями местного начальства она, едва определившись на службу, по велению корпоративного инстинкта вступила в дружеский контакт, вступила легко, так как была общительна и внушала доверие себе по-

добным. Она узнала, что этот начальник сам не так давно освободился, а судим был не за политику, а за хищение госимущества, и теперь жил здесь один, так как его супружница не соглашалась даже на время покинуть родную Одессу, он же домой не спешил ввиду больших выгод своего здешнего положения — получал неплохие деньги, спецпаек, разъезжал на машинах, сданных в ремонт, и был дружен со всеми лагерными начальниками, потому что чинил и изготавливал для них предметы жизненного комфорта от сортирных бачков до самодельных аппаратов. Жил он на холостых правах и права был отнюдь не монашеского.

— Да уж я к кому только не обращалась, — проговорила Зина. — Если вы не поможете, то уж прямо не знаю...

Не договорив, она взглянула на него смиренно и просительно своими золотисто-кариими лучистыми глазами из-под приспущенных век. Сердце Федора Загорулько дрогнуло и сладко затрепетало, то ли оттого, что лестно ему было ощутить себя властным над судьбами людскими, то ли от завораживающего воздействия этого взгляда, этого несмелого румянца на полненьких щеках просительницы, а пуще всего от колебания округлых форм ее груди в такт взволнованному дыханию. Лето было на исходе, но конец августа выдался жарким, на Зине было легкое цветастое платье с короткими рукавчиками, открывавшими полные белые руки.

— Я же вам сказал, что мне не нужны художники, — повторил Федор Загорулько несколько игривым тоном, вовсе не означавшим, что разговор окончен. — Мне нужны, например, лекальщики.

— Он может и лекальщиком, правда-правда! Он работал лекальщиком — в молодости! — заторопилась Зина, готовая ухватиться за любую брошенную ей соломинку.

— Вот как? — ухмыльнулся Загорулько. — Он что

же, универсал?

— Еще какой универсал! — обрадовалась она. — Возьмите, не пожалеете! Он что угодно освоит, у него золотые руки!

— Да кто он вам — муж?

— Нет, что вы... У меня нет мужа.

— Так кто же? Сват — или брат?

— Брат... Двоюродный.

Загорулько еще раз оглядел посетительницу пристальным, оценивающим взглядом. Вгляделся в лицо, нашел привлекательным и правильный овал, золотистые кудряшки свежей завивки, чуть подкрашенные сочные губы (где-то достает помаду, отметил он с уважением), не ускользнули от его внимания и морщинки у глаз, выдающие не очень-то юный возраст, — но более всего приковал к себе его взор вырез крепдешинового платья, достаточно глубокий для того, чтобы разглядеть пологую выемку между двумя соблазнительными возвышенностями.

— Надо подумать, — сказал Федор Загорулько, вздохнув и воздев глаза к потолку. — Зайдите завтра. Ну, скажем, после обеда... Нет, лучше поближе к вечеру. Под конец рабочего дня.

Уходя от него, когда под утро, когда около полуночи, она не вспоминала о своей главной цели. Федор Загорулько был наделен качествами, привлекательными для женщин. Лишь в самом начале визита, едва переступив порог его квартиры на втором этаже нового стандартного дома, построенного пленными немцами, пустоватой и неприбранной, загроможденной всякими техническими деталями от разнообразных радиоприемников до автомобильных покрышек, она справлялась требовательным тоном:

— Ну, так когда же? Почему моего брата так и держат на подземных работах? Ты не знаешь, а я знаю, я каждый день захожу в мастерские, нет его там.

Загорулько оправдывался:

— Думаешь, это так просто? Позвонил по телефону, и пожалуйста? Понимаешь, нет нужного человека, в отъезде он. Да ты не беспокойся, сказал устроим, значит устроим.

А потом о Русланове приходилось на время забыть. Загорулько тоже по-своему требовал внимания.

Между тем Павел Русланов до х о д и л. Все непосильней становились ему вагонетки с углем, которые надо было катать за полкилометра к стволу шахты, все чаще другие откатчики наступали ему на пятки. Кто-то помогал ему одолеть трудный подъем, кто-то крыл его отборным матом, и он, собрав последние силы, преодолел свою немощь и так дотягивал до конца смены. Когда же громыхающая клеть выносила его в числе двадцати других шахтеров наружу, и вольный воздух врывается в забитые угольной пылью легкие, он едва не терял сознание, голова кружилась, ноги подкашивались, кашель сотрясал все тело, и товарищам по колонне приходилось порой подхватывать его подмышки и на плечах волочить до барачной койки.

Но в нем все же теплилась надежда. Увидев Зину в первый раз на песчаном бугре обок дороги, он просто не поверил своим глазам, не признал ее. принял за привидение и даже не обернулся на оклик «Паша», решил, послышалось. Поздно ночью он вдруг проснулся, потому что вновь, уже во сне, услышал этот взволнованный зов, и перед его глазами опять возникло это видение: знакомая женская фигура, подсвеченная лучами заходящего солнца, развевающийся на ветру подол прозрачного платья — черт знает что, наваждение какое-то! Но когда на другой день женская фигура появилась на том же месте и замахала поднятой рукой, он понял, что это живая действительность, почувствовал прилив сил, с непривычки несмело заулыбался и даже поднял руку в ответном приветствии.

Она сбегала с бугра и пристроилась сбоку колонны, но подоспевший конвоир облаял ее, замахнувшись

прикладом, и она отстала, что-то крича. Он верил и не верил, что это все наяву, слишком невероятным было появление здесь его колымской подруги и спасительницы, но она появлялась на придорожном бугре снова и снова, и он все больше проникался уверенностью, что она о нем хлопочет, и это придавало ему силы и подпитывало волю к выживанию. Однако дни шли за днями, а перемены не наступали.

Ночной кашель в бараке был так же привычен как дробь отбойных молотков в шахте, никто не придавал ему значения до тех пор, пока у кого-то он не начинал сопровождаться кровохарканьем. Серым, дождливым утром позднего сентября Павел Русланов не смог подняться с постели — если можно назвать постелью жалкий истертый соломенный тюфяк, черную наволочку, набитую древесной стружкой, да истрепанное до дыр серое вигоневое одеяло. Он сел, коснулся босыми ногами грязного холодного пола, и тут же приступ глубокого, раздирающего грудь кашля скрутил его в три погибели, и прижатый к губам большой, давно не стираный платок окрасился кровью.

Подошел бригадир, постоял около, ухватил негробо за повисший чуб, приподнял голову Русланова, отпустил чуб, и голова безжизненно упала.

— Ладно, сиди, — сказал бригадир. — Пойдешь в санчасть, я скажу там...

Зину уже заметили многие, а близкие знакомые Русланова знали, кто она такая. В тот день, когда она напрасно искала его глазами в колонне, бригадир крикнул ей, сколько хватало голоса:

— В санчасти он! Болеет!

В наступивший затем четверг, обычный день ее свиданий с Загорулькой, она, едва переступив порог, набросилась на него:

— Ты что, меня за дурочку считаешь?! Когда делаешь, что обещал?

— Ну, погоди, погоди, не кипятись... — Он был

настроен вовсе не на разговоры. — Давай потешимся побалуемся, а потом поговорим.

И тут он вдруг стал ей как никогда противен. Она увернулась от его объятий, отпрянула, схватилась за спинку стула и выставила его вперед как грозный барьер между ним и собой, готовая к сопротивлению.

— О, чего это ты так остервенилась? Да сделаю я, сделаю, вызволим мы твоего братца, я уже договорился с кем полагается...

— Все ты врешь, гад! — выпалила Зина, сверкнул своими золотисто-кариими глазами. — В санчасти он, кровью харкает, понял? Вот смотри, собака, если умрет, и тебе не жить, гадина!

Она отшвырнула стул, он опрокинулся, и пока Загорулько его поднимал, Зина была уже за дверью. Загорулько сел на поднятый стул, призадумался. Черт их поймет, этих баб. Вдруг и впрямь подговорит каких-нибудь бандитов.

Доступ в мастерские был открыт для «вольняшек», и когда Зина появилась однажды возле его верстака, Русланов не очень удивился. Радость, которую он испытал, не была бурной, она была тихой, была приглушена и особенностями обстановки, и незнакомой ему доселе сдержанностью подруги, и еще чем-то, смутно, ощутимым, не имевшим названия. Он не знал и пока не догадывался, какой ценой Зина вызволила его из смертельной западни подземных работ. Перевод после излечения в ремонтные мастерские так соответствовал естественному ходу вещей, что ему и в голову не приходила мысль о существовании каких-то побочных обстоятельств. Зина показалась ему не то что постаревшей, этого выражения он не мог бы к ней отнести, а как бы повзрослевшей, остепенившейся что ли, и, пожалуй, в каком-то смысле потускневшей. Впрочем, ее осторожность при этой первой встрече вполне объяснялась законами общения на людях между вольнонаемными и з/к.

— Ну, как ты? — сказала она.

— Да вот, видишь как. Осваиваюсь.

— Что подделываешь?

— Так, по мелочи. Всякую слесарную работу дают.

— Здоровье как?

— Сейчас слава Богу. Почти не кашляю.

— Возьми вот... — Оглядевшись, она достала из сумочки бумажный кулек, в котором прощупывалось кольцо краковской колбасы.

— Ох, спасибо тебе, Зинуля! Это же просто мечта!.. Ты-то как? И прежде всего, как ты сюда попала и как меня нашла?

— Да я что... Нам нет преград.

Это было ново: раньше Зина не была склонна к глубокомысленным ассоциациям. Он посмотрел ей в глаза со значением. Не сказать, чтобы она была сейчас ему особенно нужна как женщина, но он ощутил потребность выразить ей свою привязанность и верность. Зина по-своему поняла его взгляд и ответила с неожиданной рассудительностью:

— Буду заходить сюда, а больше никаких возможностей. Сколько тебе осталось?

— Год, восемь месяцев и одиннадцать дней. Если еще не накинута.

Высчитывать срок Русланову труда не составляло: если уголовникам полагались «зачеты» за выполнение и перевыполнение нормы, то на контриков эта льгота не распространялась. А добавку можно было получить за любую, даже вымышленную провинность.

— Как долго! — вздохнула Зина. — Но ничего, потерпим, ладно?

— А куда деваться, — согласился Павел.

Зина была теперь его единственной опорой, единственным звеном, связывавшим его с внешним миром, и он не мог не ценить этого. И даже после того, как он узнал (свет не без добрых людей!) все то, что ему не следовало бы знать, его отношение к ней не измени-

лось, а если изменилось, то лишь в лучшую сторону: она не упала, а возвысилась в его глазах. Его душа и без того была уже вся в рубцах, одним ранением больше, одним меньше, какая разница, судьба изгоя научает принимать удары. Случившееся он воспринял не как поругание своей чести, даже не как свою беду, а лишь как отчаянно-великодушную жертву своей подруги. Пусть это покажется странным человеку, который не был в его шкуре, но это новое знание о Зине побудило его не к отторжению ее, а к еще большей привязанности к ней, усилило чувство долга перед ней, и он знал теперь, что навек останется с нею, что бы ни случилось в его дальнейшей жизни. Наверно, трудно будет понять его тому, кто не хлебал лагерной баланды...

15.

Что-то где-то происходило. Здесь, в изоляции от внешнего мира, невозможно было распознать, что именно, а все же чудились какие-то симптомы перемен. Как-то в полуденный час дверь камеры вдруг отворилась и молчаливый выводной поманил за собой Комарова. У светофора повернули налево, в необычном направлении, прошли в дальний полутемный конец коридора, поднялись по короткой лесенке, конопатый отпер железную дверь, толкнул ее и впервые за все время их знакомства раскрыл рот:

— Полчаса!

Узкий коридорчик, длинная серая скамья вдоль стены, на противоположной стене вешалка на шесть крючков, на копне скамьи мочалка, мыло и полотенце.

Боже, баня! Это ли не счастье! Борис торопливо раздевается, хватая кусок изрядно уже израсходованного серо-коричневого хозяйственного мыла, большую лыковую мочалку, и входит в моечное помещение. Озирается. Квадратная комната чуть побольше его камеры.

У правой стены ряд душей — они особой конфигурации, без кранов, а лишь с одним железным рычагом у смесителя, — шесть штук, и все на одного! Бетонный пол, чуть покатый к середине, там широкое углубление с дырчатой решеткой. Вдоль наружной стены длинная ребристая батарея отопления. А над ней — окно! Невысокое, до половины погруженное в бетонную выемку, но все же окно, настоящее окно, пропускающее дневной свет, и даже не зарешеченное, да и зачем бы ему решетка, оно ведь выходит на внутренний двор тюрьмы...

Борис на минуту забывает, зачем он находится здесь, он стоит посередине этого странного банного заведения, один-одинешенек, а шесть душей, дожидаясь его, негромко шипят и сочатся, роняя капли на рифленные подножья, а он все стоит и стоит и не может оторвать взора от этого окна, полупогруженного в скованную бетоном землю: там, за окном, где-то вдали, позади степы, загораживающей обзор, торчат зеленые верхушки тополей. Только самые верхушки, почти одинаковой высоты, их четыре, они едва выглядывают из-за степы.

Эти тополя растут на воле! Вот чем они так милы Борису, вот чем дорога ему эта траектория общения с ними! Да разве он обратил бы внимание на какие-то тополя, эти зауряднейшие из деревьев, будь их хоть пять, хоть десять в ряд, попадись они ему на глаза в былые дни? А теперь он стоит как замороженный и смотрит на четыре тополиных верхушки, и мнится ему, будто он побывал где-то там, рядом с ними...

Но хватит, сбрось оцепенение, вспомни, зачем ты здесь, почему сжимаешь в одной руке сырую мочалку, а в другой истонченный посередине кусок хозяйственного мыла, оторвись от захватившего тебя зрелища такой близкой и такой недоступной воли! В твоём распоряжении полчаса, они принадлежат твоему телу, не смей обирать его! Борис спешит к ожидающим его шести душам, шевелит рычаг одного из них, хлынула холодная вода, подвинул рычаг в другую сторону, хлынул кипя-

ток, черт подери, что за хитрое устройство! Наконец он нащупывает такое положение рычага, которое дает струн приемлемой температуры. Он нежится в обильном потоке, потом мылится и трется мочалкой, но взгляд его все так же прикован к манящему окну, за которым расстилается пространство, именуемое волей.

Эх, слишком мало видно этой воли сквозь высоко над полом расположенное окно, лишь чуть выглядывают из-за тюремной стены верхушки тополей, растущих где-то там, далеко за стеной, вдоль какой-то улицы, по которой ходят свободные люди, на которой стоят дома, куда эти люди входят и выходят по своей воле!..

А что, если взобраться на батарею и заглянуть в верхнюю часть окна, ведь откроется больше пространства, можно будет увидеть не одни только верхушки этих тополей, а всю или почти всю их крону?

Ну и что, увидишь ты крону, станет тебе от этого легче?

Но как хочется увидеть хоть чуть-чуть побольше вольного мира, как неудержимо хочется! Стоит только встать на батарею, держась за трубу-стояк, что проходит вертикально обок окна...

Болван, ты станешь лезть наверх к окну, а дверь откроется, охранник увидит тебя за этим занятием, решит, что ты собрался бежать, и всадит тебе пулю в спину! Вдруг они нарочно оставляют тебя как бы без присмотра, чтобы выяснить, что у тебя на уме? Вдруг они наблюдают за тобой в какой-нибудь глазок? Есть тут глазок? Что-то непохоже. Все равно, они никого не оставляют без надзора, наверняка ты у них на виду...

Все же попробовать? Никчемная затея, никому не нужный риск, — и ради чего? Всего лишь, чтобы увидеть чуть больше, чем тощие верхушки тополей?

Борис Комаров мается в раздумьях, взвешивает за и против, прикидывает разные варианты. А может быть они затем и заперли тебя сюда, чтобы спровоцировать на попытку к бегству? Да ну, какая чепуха! И все же

неблагоразумно искушать судьбу.

Однако неведомая сила так и тянет, так и подталкивает его к этой отдушине во внешний мир. Устав бороться с собой (со своей трусостью, говорит он себе), Борис подходит к окну, ставит ногу на батарею, горячие ребра обжигают ступню, труба жжет схватившуюся за нее руку, но Борис уже стоит на батарее,

Не так уж велика награда: он видит все те же зеленые тополя, теперь в половину их роста, и больше ничего. Ни крыш домов, ни даже фабричных труб, ничего, только эти четыре сигаровидных тополиных кроны. Но ему и этого достаточно. Удовлетворенный, он соскакивает на пол, и, радуясь удавшейся проделке, возвращается под душ. Чему он радуется? Тому, что увидел кусочек воли? Тому, что не струсил, идя на бессмысленным риск? Тому, что не так уж неотступно следят здесь за каждым шагом арестанта? И тому, и другому, и третьему, всему рад, но более всего тому, что поступил по своему хотению, по своей воле, а не по их произволу. Тому, что еще не сломлен!

Четыре тополя! Они долго будут с ним, они будут веселить его душу, подпитывать его силу сопротивления.

Едва он вытерся в предбаннике коротким полотенцем не спроста оно короткое, мелькнула догадка, — как загремел замок. Конопатый выводной не говорит ни слова. А мог бы, например, поздравить с легким паром. Ну, да Бог с ним, с бессловесным стражем. Откуда мне знать, отчего он так угрюм?..

Нет, определенно что-то происходило. Прекратились ночные вопли. Две ночи подряд его не таскали на допрос. А потом среди дня загремели засовы, и в камеру вошли какие-то люди — подполковник, два майора, младший лейтенант с блокнотом и женщина с погонями капитана медицинской службы.

Комиссия, определил Комаров. Откуда и зачем?

— Жалобы есть? — спросил подполковник.

Борис только пожал плечами: а что, собственно, могло у него быть, кроме жалоб?

— На чем вы спите? — спросила женщина.

— Вот, — кивнул Борис, — смотрите.

— Никакой постели?

— Как видите.

Младший лейтенант что-то писал в блокноте.

— Блохи есть?

Комаров даже улыбнулся, умиленный такой заботой.

— Сколько угодно! — отрапортовал он, подумав, уж не поручат ли ему их подковывать.

Посетители переглянулись и молча удалились. Через час ему принесли ватный тюфяк, подушку, набитую перьями, и картонную коробочку с надписью по-немецки: средство от насекомых.

Этот визит дал Борису обильную пищу для размышлений. Какие-то перемены на самом верху? Амнистию готовят для участников войны? Ждут высокого начальства? Видно, и они кого-то боятся. Смутная надежда зашевелилась в душе.

Только одну ночь довелось Комарову выспаться на дарованной ему постели. На другой день вызвали на допрос. Не ночью, а среди бела дня, такого еще не бывало! Повели в другой кабинет, небольшой, ярко освещенный солнцем. В нем два стола, за одним сидел все тот же черноволосый капитан с черными кругами у глаз, другой стол бы пуст, и возле него стоял стул со спинкой.

— Садитесь, Комаров, — буркнул следователь. — Будем писать протокол.

Фамилия, имя, отчество... В который раз?

— Какой антисоветской клеветнической деятельностью вы занимались?

— Никакой антисоветской клеветнической деятельностью я не занимался.

Пишет...

— При обыске у вас на квартире была найдена книга Бирнса «Откровенно говоря». Кто передал вам эту книгу и с какой целью?

— Брошюру Бирнса «Откровенно говоря» я купил в общедоступном киоске на Александерплац, чтобы использовать ее в целях контрпропаганды.

Пишет... Комарову вспоминается дурацкий стишок из студенческой юности: «А Дон Померанцо все пишет и пишет, и черт его знает, чего он там пишет»...

И час, и другой длится этот бессмысленный допрос, одни и те же глупые вопросы, одни и те же точные ответы... Наконец, следователь умолкает, долго перечитывает исписанные листки. Закончив чтение, протягивает листки Комарову:

— Прочтите и подпишите.

Комаров поворачивается к своему столу и углубляется в чтение. Все зафиксировано точно так, как он отвечал. Что могут они предъявить ему на основании этого протокола? Ровным счетом ничего. А впрочем... Вот оно, это сомнительное место: «Брошюру Бернса я купил в киоске, чтобы использовать ее». И все. Точка.

— Здесь необходимо исправить, — говорит Комаров. — Надо добавить то, что я говорил: в целях контрпропаганды.

Следователь кривится изможденным лицом, пожевывается недовольно:

— Ну, чего вы придираетесь, Комаров, какая тут разница? Как вы говорили, так и записано. Подписывайте.

— Нет, в таком виде не подпишу. Внесите исправление.

Торг затягивается, следователь настаивает, Комаров не уступает, следователь пытается его сломить какими-то неясными намеками. Комаров стоит на своем. Наконец, капитан сдается: подписанный протокол ему, как видно, необходим сегодня, и, наверно, к

определенному часу.

— Эх, Комаров, Комаров!.. Нет у вас должного понимания... Давайте сюда.

После точки, даже не зачеркнув ее, он дописывает: в целях контрпропаганды.

— Ну, теперь довольны?

Комаров подписывает протокол. Следовательно шумно вздыхает. Это не вздох облегчения, нет. Это вздох человека, придавленного непосильной ношей. Комарову становится жаль своего противника: пожалуй, ему влетит за брак в работе. А тот вдруг произносит сногшибательную тираду:

— Ну, вот что, Комаров... Мы, конечно, могли бы предъявить вам тяжкие обвинения, которые дорого вам обошлись бы. Но учитывая вашу молодость... Ваше участие в боях... Одним словом, вы будете освобождены из-под стражи и отправлены на родину. Дальнейшее зависит от вас. Сделайте правильные выводы.

Комаров, что с тобой? Торжество? Недоумение? Смещение чувств! Боже, боже, какая нелепость! Могли бы казнить, так ведь нет, решили миловать!

А говорят, чудес на свете не бывает! Бывают, бывают чудеса, да еще какие! Вся наша жизнь проходит в ожидании чуда. Когда мы молоды, нам кажется, что эта жизнь — пока! А настоящая — впереди.

Аэропорт Темпельхоф. Служебное здание в стороне от аэровокзала, на втором этаже буфет-забегаловка для сотрудников, высокие круглые столики без стульев. Два больших чемодана стоят в ногах у Комарова, здесь все его имущество, собранное без его участия заботливыми патронами, выдворяющими его, победителя, за пределы побежденной страны. Самому ему побывать на его здешней квартире не было дозволено.

— Будешь проверять? — вопрошает черногривый капитан.

Он сейчас какой-то совсем иной, ничего не

осталось от его тупой и жесткой требовательности, служебное рвение как ветром сдуло.

Проверять Комаров не желает. Капитан — само дружелюбие.

— Слушай, тут у них коньячком торгуют, исподтишка, конечно. Поставишь, с отъездом?

Ему-то? Почему не поставить!.. В сущности, он ведь, революцией мобилизованный и призванный не сам все это придумал. Подчинялся приказу. Приказ командира — закон для подчиненного. А без приказа он такой же смертный, как любой из нас. Разве что еще более жалкий.

Ну, кто бы распознал в этих двух мирно беседующих за стопкой коньяка военных вчерашнего арестанта-подследственного и его мучителя-следователя? Оба в прекрасном расположении духа: один потому, что вырвался на волю, другой потому, что выпало ему что-то вроде отгула, пустяковое поручение, сопроводить до самолета выдворяемого из страны индивида, как бы персону нон грата.

— А что это за комиссия была, пару дней назад?

— Ах, эти? Да это наши, тутошние. Проверяли предварительно. Ждем из центра большое начальство.

Трудно ли домыслить: не успели состряпать ничего убедительного, вот и решили спровадить — от греха подальше.

— Выходит, мне повезло?

— Выходит, что так. Давай выпьем. За твою удачу. И не поминай лихом.

— Я понимаю. Служба такая... Да в общем-то, может, оно и к лучшему: если теперь меня спросят, сидел ли я, смогу ответить — как всякий порядочный человек.

— Ха-ха-ха! — посмеялись дуэтом.

Он действительно не из худших, думает Комаров. Пальцем не тронул! И на том спасибо.

В момент опасности мы собираем волю в кулак, мобилизуем силы разума, и только так можем противостоять беде. Испуг приходит потом, когда угроза миновала.

Комаров не может до конца поверить в свое чудоподобное спасение, его трясет как в лихорадке. Или это от холодного прикосновения к борту самолета?

ИЛ-14, он же Боинг, летит, подрагивая всем телом, над облаками. Что там, под ними, какие ландшафты? В просветы облаков виднелось, как далеко внизу букашится нечто подвижное — то жучки автомобилей, то гусеницы поездов. Наша земля, или еще чужая? Чем встретит тебя родная столица? Быть может, черным вороном у трапа? Не должно быть такого, по чем черт не шутит, когда Бог спит...

Возьми себя в руки, уйми эту дрожь, отбрось эти мысли, думай о чем-нибудь другом. Кому ты нужен, они поугали тебя и отстали. Все тебе вернули, кроме чести. Отдали погоны, офицерское удостоверение, звезду от фуражки, стальную пружину для тульи, даже партбилет — и еще довольно тугой кошелек. Часть его содержимого причиталась капитану за приобретенный для тебя билет, но и на коньяк еще хватило... Комаров ощупывает карманы: да, все документы при нем. Но чувство такое, словно бы они опоганены, побывав в чужих и нечистых руках... Ах, чепуха все это, надо смотреть вперед, а не назад.

Но что впереди? Отныне ты навсегда у них на примете. Это бы ладно, на прицел к ним может попасть каждый, но ты то уже сидел, на тебе клеймо! Позорное? А это как сказать. Может быть, еще настанут времена, когда ты будешь этим гордиться. «А вы при Сталине сидели? — Разумеется, как всякий порядочный человек!» Нет, с Руслановым тебе не сравниться, но хоть самую малость ты все же приблизился к нему.

Провалились в воздушную яму... Еще одну... Дух захватывает, как в детстве на качелях. Не страшно, а только боязно — по-детски.

Весь полет сейчас — что провал в воздушную яму. Куда податься вчерашнему арестанту? Тебе даже обновиться негде. Была когда-то женщина, считавшаяся твоей женой, ты давно окрестил ее бывшей, после того памятного напутствия по дороге на фронт. Была у тебя еще мать родная, жила неподалеку от Москвы, но умерла в зауральской эвакуации. Вот и стал ты совсем бесприютным.

Перебирая в уме знакомые адреса, Комаров отвергал их один за другим. Сверстники ушли на фронт, кто из них остался в живых? Явиться к их осиротевшим родным, здравствуйте, я вышел сухим из воды?

Лишь на одном из многих адресов он смог, наконец, задержаться мыслью.

Жил-был на свете добрейшей души человек артистка одного из неглавных московских театров, Софья Николаевна Афонина. Она вела когда-то у них в институте драматический кружок. По молодости лет Бориса тянуло испробовать свои способности и на артистическом поприще. Сыграл он худо-бедно в двух-трех спектаклях, особых лавров не снискал, но с кружковцами близко сошелся, потому что находил в них то, что было свойственно и его натуре: поиск самого себя.

Софья Николаевна, молодая, обаятельная, просвещенная, была, разумеется, душой кружка. Девушки ей подражали во всем от прически до походки, а парни были, само-собой, немножко в нее влюблены. Ее мужа, довольно удачливого актера, напротив, недолюбливали с примесью ревности, и на репетициях, которые он проводил в дни ее занятости в театре, действовали вяло и неубедительно. Поэтому Сергей Афонин не одобрял возни своей жены с бездарными любителями, и на этой почве, а скорее всего больше по другим, неведомым для кружковцев причинам, между супругами нарастало

охлаждение. Замечая признаки разлада, кружковцы были целиком на стороне своей патронессы и всеми доступными средствами доказывали ей свою преданность. Часто они собирались у нее на квартире, случалось, проигрывали какие-то сценки, но больше предавались веселой праздности, пили чай с домашним печеньем, читали Бальмонта и Блока, а иногда и свои поэтические пробы. Квартирка из трех маленьких комнат на первом этаже деревянного дома в тихой улочке за Садовым кольцом, заброшенной, малолюдной, без магазинов, без трамваев и автобусов, мощеной дореволюционным булыжником, тянула к себе кружковцев сильнее любого театра.

Стало быть, к Афонинной? Почти уже решившись на это, Борис вдруг заколебался. Не забывай, кто ты! Вчерашний арестант, едва освободившийся з/к. С какими глазами явишься ты в дом к посторонним людям? Подумай, какие последствия может иметь для них общение с личностью, находящейся в поле зрения органов?

А впрочем... Если бы она узнала о таком ходе твоих рассуждений, вознегодовала бы. Да и не случится ничего, если ты разок побываешь у нее в гостях, и даже если она приютит тебя на пару дней. Не так уж они расторопны, чтобы сразу взять тебя под наблюдение. Эх, была не была, повидался, как говорили когда-то его друзья-беспризорники.

Софьи Николаевны дома не оказалось. Ему открыла незнакомая девушка в выцветшем ситцевом платье, улыбнулась приветливо и пригласила войти.

— Мама скоро придет, проходите. Я вас помню: вы — Борис.

Бог мой, да ведь это же Люся! Девчушка, которая тогда, в его студенческие годы, жалась по углам со своими учебниками и тетрадками и с робким любопытством поглядывала украдкой на разбитных, громогласных кружковцев. Ее младший брат, Костик, был куда

смелее, он крутился среди парней, залезал на колени ко всякому, кто усаживался в обитое зеленым бархатом кресло, единственный шикарный предмет мебели, оставшийся от былых времен в этом исконно артистическом семействе...

Все это высветила память за какие-то мгновенья. Борис смутился. Вместо веснушчатой замухрышки-школьницы перед ним стояла рослая красавица. Золотистая коса тяжело и плавно извивалась с каждым поворотом головы. Он старался не разглядывать ее фигуру: по отношению к той, кого он знал маленькой девочкой, это казалось ему безнравственным. Он промямлил в нерешительности.

— Я, пожалуй, зайду попозже... Дело в том, что... есть дела...

А сам подумал: сколько же это лет прошло? Десять? Двенадцать? Как много вместили они и как незаметно промчались!

— А зря, — сказала Люся. — Я бы вам чайку согрела. Хотите, с печеньем?

А голос-то какой! Глубокий, чистый, интонации истинно московские...

— Нет, что вы... Спасибо. Я займусь пока своими делами.

Дела! Банальная отговорка. Просто ему надо было прийти в себя, собраться с мыслями.

Борис спустился по крутому уклону к бульвару. Было сколько угодно свободных скамеек, он выбрал самую уединенную, уселся и стал размышлять. Пытался сосредоточиться на главном: как держаться в служебных кабинетах.

Просительно? Независимо? Как ни в чем не бывало? О каком назначении просить, явившись завтра, согласно выданной бумаге, «в распоряжение Главного политического управления Сухопутных войск для прохождения дальнейшей службы». Где это управление? До своей разлуки с Москвой он никакого отношения к во-

енным учреждениям не имел. Что скажет он там, в этом внушающем трепет управлении? Как объяснит свое увольнение с прежнего места службы? Что там известно о его последнем местопребывании? Гнетущее сознание ущербности — сумею ли его преодолеть? Чувство неуверенности, незащитности, надломленности, тревоги — как после контузии! А разве не было это контузией, те дни в подземельях — нет, уже не гестапо, нашего родимого смерша?

Надо было думать о деле, а он снова и снова сбивался на посторонние мысли. От подземелий к небесным высям. Люся, Людмила, школьница в веснушках, вот какой ты стала! А я, выходит, вовсе не изменился? Она меня сразу узнала, несмотря на военную форму, несмотря на серебристые нити в висках. Он впервые заметил их, увидев себя в зеркале в парикмахерской аэровокзала Темпельхоф, куда дружелюбный капитан завел его побриться. Как давно это было!.. А студенческие сходки у Софьи Николаевны — как недавно! Среди анекдотов, которые рассказывали тогда, был один про условность понятия времени. Эйнштейн объясняет юной прелестнице свою теорию относительности: когда я провожу вечер в обществе старой карги, он мне представляется вечностью, а когда я часами беседую с вами, они пролетают, словно одна секунда. Как все изменилось с тех пор! И как неузнаваемо должен был бы измениться он сам, пройдя через огни и воды и медные трубы! А она его сразу узнала, эта девочка Люся. Невероятно!

Сгущались сумерки, он заспешил наверх по неровным, повыбитым тротуарам, мимо старомодных, одноэтажных и двухэтажных домиков, к тому заветному парадному, которое еще в те давние времена всегда обещало что-то доброе и светлое, радость дружеского общения, раскрепощение духа, освобождение от земных забот...

Софья Николаевна заспешила ему навстречу,

обняла его по-матерински, расцеловала и сразу отпала как застарелая короста скованность, неуверенность и оглядка.

— Боренька, милый, живой и здоровый, как я вам рада! Ну покажитесь же во всей своей красе, повернитесь, вот так, идите к свету — боже, какой молодчина! Это что за полоски — ордена? А эта нашивка — ранение? Вы прямо из Берлина? Мы кое-что знали про вас, земля слухом полнится... Вы как, в отпуск? Или насовсем?

Что они знают? Он внутренне сжался. Да нет, не может быть, чтобы проведали о его последних приключениях.

— Но вы же голодный, сейчас мы вас накормим, идите сюда, — ничего, что на кухне?

Кухней был конец коридора, отгороженный ситцевой занавеской. На кухонном шкафчике громоздилась керосинка с закопченным слюдяным окошком, напротив, маленький обеденный столик, застеленный голубой клеенкой... Нет, не хотелось сравнивать это с аперитивом в Баден-Бадене. Некстати такие сравнения. Никто здесь не стеснялся своей бедности и неустроенности, для послевоенной Москвы и это убожество было чуть ли не пределом мечтаний для многих. Вкусно пахло домашней пищей, на сковородке шипела и потрескивала яичница, Люся в фартуке из голубой катуни приподнимала кухонным ножом ее края.

— Садитесь, Боренька, и лопайте, ждать нам некогда, наш Афонин-Тяньшанский еще не вернулся из экспедиции. Ах, боже мой, вы же еще ничего не знаете! Костик у нас студент, в медицинском, а сейчас в экспедиции, в Средней Азии, с прививками против холеры, можете себе представить, в каком я ужасе? Окончил два курса, сейчас у них полевая практика. — В ее голосе зазвучали нотки материнской гордости и нежности. — А Люся, вот она перед вами, заканчивает Консерваторию. Помните, как она мучила наше старое пианино? Но что же это я все про нас — вы расскажите о себе!

О, себе? Люся сидела напротив и не сводила с него глаз. Нет, вовсе не влюбленных, с чего бы это, а просто полных любопытства. Было похоже, что человек, прошедший войну, был как-то по-особому ей интересен. Тем более, свой человек, знакомый по прошлой жизни. Живой человек, не из литературы.

Литературе о войне уже не было веры. Фронтовики, толпящиеся у пивных ларьков, у палаток «Голубой Дунай», где продавали водку в розлив, человеки-обрубки на шарикоподшипниковых колясках, низеньких и плоских как поднос, с деревянными приспособлениями для отталкивания, похожими на гладилки штукатуров — все это перечеркнуло жирным крестом сусальные рассказы лауреатов, все эти предания, в которые верилось с трудом, потому что действовали в них не живые люди, а выведенные в пробирках идеи. Только одна книга внушала доверие — некрасовские окопы Сталинграда обжигали неприкрытой правдой о войне, но после краткой серии похвал о ней вдруг перестали говорить вслух, как будто ее и не было вовсе.

А для Бориса война уже была в далеком прошлом, рассказать о себе значило для него вспомнить свои последние дни в Берлине, они заслонили своей мрачной тенью все предшествующее.

— О себе? Не умею. Ничего, достойного внимания.

— Фу, какой скромный,—укорила Софья Николаевна. —Ну, тогда расскажите нам про Германию, про немецко-фашистских захватчиков, как они там устроились после того, как мы свернули им шею.

Похоже, здесь уже известно, что разгромленные нами агрессоры на четвертом году после войны живут куда богаче и достойнее нашего, подумалось Борису, уловившему в заданном вопросе ироническую интонацию.

— Так то ж захватчики!.. Одумались, поумнели и приспособились. Живут неплохо...

Разговор не клеился, несмотря на все расположе-

ние собеседников друг к другу. Слишком разными путями пришли они к этой новой встрече, жизнь варила их в очень непохожих котлах, они отвыкли друг от друга за прошедшие годы, приходилось заново искать общий язык. И если хозяйкам хотелось узнать, чем обогатился и в кого превратился тот серьезный, сдержанный, даже замкнутый и не очень способный драмкружковец, то Борису было необходимо не выдать себя, утаить то главное, что носил в себе. А пуще всего его смущала прозаическая забота: негде переночевать, а попроситься на ночлег в этом доме не поворачивался язык. Мысль о том, куда делся Сергей Михайлович Афонин, не давала ему покоя, но спросить он, естественно, не осмеливался.

Между тем время клонилось к ночи, за окном стало совсем темно. Борис лишь с усилием поддерживал беседу, ему едва удавалось скрыть усталость долгого, с частой сменой декораций дня. Надо было попрощаться и уйти, а решимости не хватало, потому что здесь все его привлекало и наполняло желанием сделаться своим, а идти было некуда, по части гостниц он вовсе был не сведущ, да и денег оставалось всего ничего. Софья Николаевна, чуткая натура, заметила его состояние.

— Боря, а где вы остановились?

— Да я, собственно... Тут вот... У одного приятеля.

Борис замешкался. Что-то плохо вретя с добрыми людьми. Там, в гестаповско-смершевской обители, он при случае соврал бы и глазом не моргнув. А тут...

Неизвестно, чем бы кончились его колебания, но в этот момент раздался стук в окно. Стучать в окно было здесь издавна заведено: звонок у парадного был один, а квартир восемь, с подразделениями на семьи считай все двенадцать, приходили же больше всего к Афониным, и был найден такой вот способ избежать недовольства прочих жильцов. Но вот стук вызвал замешательство: его не ждали.

— Я пойду отворю, — сказала Люся с поспешностью, которая возбуждала всякие догадки.

Софья Николаевна смолчала. Поджав губы, она сидела неподвижно, держалась настороженно, словно скованная недобрым предчувствием. Борис Комаров сжался и похолодел, хотя и понимал: если бы это были они, то стучали бы в дверь.

Послышались громкие голоса, застучали тяжелые сапоги, и на пороге возник рослый парень в солдатской гимнастерке. Согнувшись под тяжестью огромного заплечного мешка, он опирался на толстую палку с накопником от альпенштока. Ввалился весело, шумно, довольный произведенным эффектом, а позади него смеющаяся Люся уже тянула рюкзачные ремни с его крутых плеч.

Софья Николаевна бросилась навстречу, прильнула и всхлипнула.

— Боже мой, Костенька, разбойник! Почему же не предупредил, не дал телеграмму, мы бы тебя встретили!

— Только этого не хватало, в смысле, такие нежности при нашей бедности! Здравствуй, мама, как вы тут?

Освободившись от рюкзака, свалив его в угол, Костя шагнул навстречу Борису.

— Рад тебя видеть, воин-победитель! Дозволь тебя обнять! Я только что узнал от сестрицы о твоём прибытии, приветственной речи приготовить не успел, да и к чему слова... В представлении не нуждаюсь, или как? Отставной капрал в смысле унтер Константин Афонин, знаток сопок Манчжурии и протянул руки навстречу Борису.

Ну, дела! Значит, и он уже успел повоевать, тот мальчик, которого я катал на закорках! Сколько же воинственности в нас!

Словно не веря своим глазам, Борис нежно ощупывал прищельца, его плотную, жилистую, худощавую фигуру, жесткие прямые плечи, выгоревший ежик волос, вглядывался в загорелое лицо римского образца,

лучащиеся весельем зеленоватые глаза. Завеса времени скрывает постепенность превращений, и вот ты видишь пред собой не мальчика, но мужа...

Как все на зависть просто и естественно в этом парне! Без всяких церемоний он переходит на ты, что ему какие-то десять лет разницы в возрасте, ведь под ружьем стояли оба. С Люсей дело сложнее, она по старой памяти называет его на вы, а ему что делать? Язык не поворачивается говорить ей ты, как много лет назад, а перейти на вы тоже вроде несуразно... Вот такие око-вы этикета среди воспитанных людей.

Снова сели за ужин.

— А выпить что-нибудь есть в этом доме? — бросил чуть простуженно утомленный странник. — Если мое возвращение целым и невредимым с памирских круч не воспринимается как достаточный повод, то хотя бы прибытие покорителя Берлина приняли во внимание.

— Перестань, Костик, Боря может подумать, что ты и в самом деле такой пьяница.

— Маман, вы подменяете понятие. Речь идет не о пьянстве, а о соблюдении славной русской традиции. Повторяю вопрос: есть или нет? Нету? Срам и позор! Борис, не взыщи, в отсутствии настоящего мужчины наступает крушение устоев. Завтра положение изменится к лучшему.

Как ни славно и вольготно чувствовалось ему здесь, среди милых, расположенных к нему людей, какая-то смутная неловкость, как бы сознание своей вины перед ними, скребла на сердце. Он ничего не рассказал им о себе!

Вопрос о ночлеге решился теперь безболезненно. С полки над притолкой достали раскладушку, поставили в Костиной комнате. После недолгой торговли, кому на ней спать, тянули жребий. Гостю достался диван, как того и требовал Костик, и хотя Борису не стоило бы труда доказать, что с головками были обе спички, он

смолчал.

Долго не спали.

— Так что там, в Берлине?

— Ох, всякое... А что там, на сопках Манчжурии?

— Уж если где всякое, так это в первую очередь там!

— Когда тебя призвали?

— Под занавес.

— То есть?

— Весной сорок пятого. Вы уже штурмовали рейхстаг.

— И сразу на Дальний Восток?

— Два месяца муштры, пардон, боевой выучки.

Потом в телячьи вагоны и навстречу солнцу.

— Кем ты был?

— Дослужился до ефрейтора и возглавил стрелковое отделение.

— Бои были жестокие?

— Не стану утверждать. Они сначала отступали, а потом охотно сдавались в плен. Когда узнавали подробности про бомбу.

— А вы знали подробности?

— Нам рассказывали сказки. Наш политрук объяснял, что мы идем на выручку союзникам, которые увязли в чем-то там таком. Словом, туго им приходится.

— И вы верили?

— Попробуй не поверь...

Комаров осмысливал говоренное: вот так мальчик превратился во взрослого человека со своим видением мира. Очень правильным видением. Еще почему-то вспоминалось: «Оковы тяжкие падут, темницы рухнут, и свобода...» Твоими бы устами, Александр Сергеевич.

Помолчали на эту тему. С раскладушки послышался легкий храп с присвистом. Умаялся путешественник.

А Борис еще долго не мог заснуть. Возвращение в тот мир, который он покинул десятилетие назад, обернулось переселением чужеземца в незнакомую страну.

То есть все было вроде бы знакомо, но виделось не так, как раньше. Костик, ласковый мальчик — он стал повидавшим виды солдатом. Люся, Золушка, превратилась в царевну. На ней заклинило мысль. Люся, Люся, я влюблюся... Уж и вправду, не влюбился ли ты с первого взгляда? Выбрось это из головы. Не забывай, кто ты и какой хвост тянется за тобой.

Утром явилась Дарья Абрамовна.

— Божечки, кто же это такой? Нет, скажите мне, это тот самый Комарик, которого все ужасно обожали?

Борис понял, кого ему здесь все время не хватало. Ибо Дарья Абрамовна была неотъемлемой частью этого маленького мира.

Она была дочерью бедного, неудачливого сапожника Абрама Финкельштейна, чья мастерская ютилась под лестницей одного из самых захудалых домов в ближнем переулке. Жена сапожника рано умерла, оставив Абраму малолетку Дарью. Исконно славянское имя родители дали ей в надежде, что оно поможет ей устроиться в жизни, но этот наивный расчет рухнул, едва зародившись. Чтобы прокормить свою дочь и себя самого, Абраму пришлось не отдавать ее в школу, а кто бы иначе вел хозяйство и разносил заказчикам починенные ботинки? В большинстве своем заказчики сами были из таких, кто еле сводит концы с концами, но все же обычай требовал давать замухрышке то алтын, то пятак, а если даже и всего-то копейку, то и она была не лишней. Общение со всякими клиентами в известном смысле заменяло Дарье школу, она с малых лет нахваталась разнообразнейших выражений и соображений о жизни, и диапазон ее речевого богатства простирался от академических терминов до непристойных ругательств.

Революция не внесла существенных изменений в жизнь холодного сапожника, а если и повлияла, то только в сторону ущерба, так как жалкие гроши, которые он откладывал на приданное для дочери, потеряли

всякую цену, и оставшаяся неграмотной Дарья потеряла последний шанс устроить свою судьбу. Однако среди ценных качеств, вынесенных Дарьей Абрамовной из своего детства, была неистощимая жажда деятельности. Ей было незнакомо чувство уныния и безнадежности, ей попросту некогда было унывать. Привязавшись к семье Афониных, которой старик Финкельштейн до самой своей кончины чинил всю обувь от штиблет Сергея Михайловича до сандалий Люси и Костика, Дарья Абрамовна стала немножко нянькой для детей, немножко кухаркой, немножко прачкой, а в общем, почти равноправным членом семьи. Жила она по-прежнему в своей каморке дряхлеющего дома в соседнем переулке, но приходила каждый день, исполняла, не спрашивая, любую работу, которая казалась ей необходимой, ходила в магазин и на базар за покупками, но никак не считалась домработницей и не получала жалования, была чем-то вроде дальней родственницы, причастной ко всему и ни на что не претендующей, ни к чему не обязанной и на все готовой, ничем не обиженной и всем довольной.

Существовало ли такое мироустройство в других московских семьях, Борис Комаров не знал, но здесь оно представлялось ему настолько естественным, что он и не задумывался о его правомерности. Отношение к Дарье Абрамовне в этой семье было сдобрено легким юмором. Юмора она не замечала, а доброту понимала и умела ценить. По своей необразованности и ранней посвященности во все и всякие житейские дела, она отличалась первозданной душевной простотой, которая придавала ее суждениям неотразимую прелесть, иными словами. она обладала устами младенца, умудренного опытом сорокалетней жизни, прожитой по соседству с Марьиной рощей.

— Дарья Абрамовна, — сказал Костик, — а вы не могли бы сходить и купить нам водки?

— Какие водки! — возмутилась добрая женщина.

— Кто же это пьет водку с утра? Только последние бродяги и всякий люмпенпролетариат. Если хочешь, я куплю хорошего вина, включая кагора, даже за свои деньги, только не для тебя, ты вообще еще молокосос, а в честь этого приезжего военного человека, чтобы он не подумал о нас плохо.

За завтраком Борис был рассеян, больше молчал и отвечал невпопад. Предстоящий визит в Управление стоял ему поперек горла, он предугадывал высокомерную сухость начальства, опасался придирчивых вопросов и не решил еще, как отвечать. Часам к одиннадцати он собрался с духом, получил от радушных хозяев напутствие «ни пуха, ни пера», почистил ботинки и вышел на улицу.

Постовой милиционер козырнул, покопался в справочнике и назвал адрес. Это где-то у Арбатской площади, знакомые места. Далековато, но все равно имеет смысл пройтись пешком, давно не ходил по Москве, надо оглядеться на милых сердцу улицах, это радостно, как встреча со старым добрым другом. А с другой стороны, — стыдно признаться себе в этом, но факт есть, факт, — хочется отдалить момент встречи с новой судьбой, покрытой мраком неизвестности.

Вот Цветной бульвар, его былая пикантная слава еще жива в памяти коренных москвичей, по скоро исчезнет, будет забыта, оттеснена популярностью двух мощнейших центров притяжения — цирка и центрального рынка. Дальше — Неглинная, под ней замурована речка Неглинка, когда-то она текла на свободе, быть может в ней плескались или ловили рыбку дети московского простонародья, кто вспоминает о ней теперь? Театральная площадь, театры Малый и Большой, который из них тебе дороже? Ах, разумеется Малый, в нем живут Гоголь, Грибоедов, Островский, Чацкий, Собакевич и Хлестаков...

Охотный ряд... Куда подевались его трактиры, и лавчонки, аляповатые вывески и приказчики в жилетах,

ты еще застал их в твои детские годы... На их месте грузно и грозно громоздится гостиница «Москва» — кто населяет ее роскошные апартаменты? А вот и «Националь», прибежище разврата и всякого буржуазного разложения. И надо же, совсем рядом, что называется, впритык, американское посольство, гнездилище всяческих империалистических козней, как учит нас родная большевистская печать.

Университет, храм науки. Тебе не доводилось переступить его порог, увы. Сравнима ли его слава с репутацией Сорбонны? Подобна ли спайка его выпускников корпоративности воспитанников Оксфорда? Едва ли... А напротив — Манеж. Что там теперь? Трамвайный парк? Или, как прежде, конюшни? На углу Воздвиженки... Или кто она теперь? Побывала уже улицей Коминтерна, но недолг был век корпорации, давшей ей это имя... На углу Воздвиженки и Моховой угрюмо распластались новые корпуса Ленинской библиотеки, их серый и безликий облик (вот тебе раз, как может облик быть безликим?) по соседству с Кремлевскими стенами приводит на память поговорку про корову и седло. Подъемник дает себе знать, дыхание учащается, но это только поднимает настроение, есть еще сила в ногах, не иссякли жизненные соки, значит, мы еще повоюем. Справа живописный как рождественский торт, особняк Кузнецова (или Морозова?), что там теперь? Дом для приема заморских гостей? Неплохо постарался мироед для нужд пролетарского государства...

А вот и Арбатская площадь. Чем-то до боли родным повеяло от ее лучеобразных перекрестков, от сиротливой неуклюжести башенки метро. Справа островок старых невзрачных домов в устье Новинского бульвара, он еще устоял под натиском сталинского плана реконструкции столицы, его все-так же охватывают трамвайные пути. Почему-то бросилось в глаза: во втором от угла трехэтажном доме с маленькими, вот уж воистину провинциально-мещанскими окнами, не хва-

тает только горшочков герани на подоконниках, внизу, над плохо вымытой и пустопорожней витриной, вывеска белым по буро-зеленому: «Юридическая консультация». Кто ходит туда? Консультируется — о чем?

А тебе налево, к Гоголевскому бульвару. Там, совсем под боком у горестно задумавшегося Николая Васильевича, гордо высится новое здание Наркомата — пардон, теперь уже Министерства обороны. Туда-то тебе и надо. Дрожь в коленях? Походи вдоль по улице Фрунзе, бывшей Знаменке, поищи глазами нужный подъезд... Что ж ты никак не осмелишься приблизиться к заветной двери, за которой твоя судьба? Оробел? А ведь когда-то рвался в бой, хотя и был приписанным к дивизии корреспондентом. Что ж ныне ты такой кислый?

Капитан Комаров вдруг решительно ускоряет шаг, возвращается на площадь, минует станцию метро, ищет глазами вывеску — вот она: «Юридическая консультация».

Что происходит с тобой, выдавшим виды воякой? Ведь мог же ты вчера, в кругу старых друзей, выбросить из головы все пережитое в тех благоустроенных подвалах, забыть о них, как о дурном сне, так что ж теперь ты снова так подавлен, так растерян?

Женщина с серьезным взглядом, не Бог знает какая интеллигентная с виду, если можно по виду определить интеллигентность, с широким простоватым лицом без помады, с несвежей завивкой перманент, в сереньком неновом жакете, указывает ему на стул и говорит негромким и бесстрастным голосом:

— Слушаю вас.

Комаров откашливается.

— Видите ли... Один мой товарищ... знакомый... С ним произошла такая история. Он был... арестован. Его взяли под стражу. Ну, в общем, посадили в тюрьму. Но потом выпустили. Дело в следующем. Ему предстоит теперь заполнять анкеты в различных учреждениях, а в

анкетах есть соответствующий вопрос: «подвергался ли» и так далее. Так вот, как ему отвечать. Он не был осужден. Посадили, а потом выпустили. Что он должен указать в анкете?

Она выслушала его спокойно, не прерывая, ни один мускул не дрогнул на ее лице, бледном и застывшем, как у каменного изваяния.

— А сколько времени находился ваш товарищ под арестом?

— Ох, недолго... Что-то недели две...

Лицо консультантки чуть просветлело, как будто даже мимолетная улыбка тронула сухие некрашенные губы:

— Скажите вашему товарищу... — едва заметная искорка понимания промелькнула в зрачках не то насмешливо, не то участливо прищуренных глаз, мягкая нотка материнского покровительства едва уловимо зазвучала в голосе. — Скажите вашему товарищу... — Она каким-то добрым, и в то же время внушительным, чуть ли не гипнотическим взглядом посмотрела Комарову в лицо, — что содержание под стражей сроком менее двух недель считается не арестом, а только задержанием. Никаких юридических последствий этот факт за собой не влечет и упоминать о нем в анкетах не нужно.

Он наскоро пробормотал «спасибо» и выбежал вон, потому что на глаза навертывались слезы. Какая умница! Ведь все, все поняла! «Скажите вашему товарищу», — каким добрым, сочувственным голосом было это произнесено! Есть же добрые люди на свете! То бишь не просто есть, из них-то именно свет и состоит, на них-то и держится земля. Ну, а те, кто портит нам жизнь? Их меньше. Так почему же они сильнее?

Мысли возникали невеселые, но настроение оставалось приподнятым. Тяжкий груз свалился с плеч. Он ничего не рассказал там, у друзей. И правильно сделал. Зачем их волновать?.. Его «задержали» (хотя он никуда

не бежал), подержали и отпустили, значит, признали свою ошибку. Следовательно, ничего не произошло. Он дешево отделался.

Вспомнилось, что направлялся-то он в Управление. Надо бы теперь предстать пред ясны очи начальства, уже без прежней дрожи в коленях. Однако ноги сами собой несли его обратным маршрутом, вниз по Воздвиженке, напрямик до Кремлевских стен. Час назад он не посмел бы приблизиться к ним, словно от них веяло полярным холодом, исходила какая-то-угроза для него, меченного каиновой печатью, но теперь ему было все нипочем, чувство ущербности улетучилось, он ощутил себя обыкновенным прохожим, таким, как все.

На дорожки Александровского сада, плавно покачиваясь и кружась падали первые осенние листья. Он поднялся на Красную площадь, бестрепетно покосился на Мавзолей, повернул на Никольскую и вышел на площадь Дзержинского, про себя называя ее Лубянской. Постоял, поглазел на многоэтажное вместилище вселенской жути, вспомнил армянскую загадку про воробья на крыше — «сверху пух, а внизу страшно», улыбнулся, чуть было не заорал «наплевать мне на вас!» и легкой походкой зашагал к знакомому дому.

Проходя по Сретенке, взглянул мимоходом на серую коробку «Урана», прочел на фронтоне безвкусно размалеванную рекламу трофейного фильма «Романс в миноре», вспомнил мельком, с каким сопереживанием смотрел эту добротню сработанную мелодраму в каком-то из бесчисленных берлинских киношек, как смахивал украдкой, стыдясь своей чувствительности, непрошенную слезу.

По пути он обдумывал заново, как теперь ему устроить свою жизнь. Выходит, ничто не мешало ему добиваться назначения, которое соответствовало бы его профессиональному уровню и последней должности. Почему бы, например, не в «Красную Звезду»? Негде жить? Пристроился бы в каком-нибудь общежитии

или снял бы комнатку где-нибудь на окраине... Стал бы навещать Афоных, через них разыскал бы уцелевших старых друзей... Все это говорил он себе с легким сердцем, как бы скользя по поверхности, снимая поверхностный слой (по-колымски «торфа», а золотосная залежь под ними), старался не тронуть глубинного пласта, не поранить, не вспугнуть едва зародившуюся догадку: а вдруг здесь тебя ожидает нечто еще не испытанное, что-то возвышенное и радостное, необычайное, нежданно-должданное, как вспышка пролетевшей звезды? Вспомнилось, как еще в детстве любил он смотреть на ночное небо, стараясь подкараулить, когда пролетит падающая звезда.

Он гнал от себя прямолинейные соображения о Люсе. Ведь ты не мальчишка, напоминал он себе, смешно и несовременно верить в сказку про любовь с первого взгляда. И все же теплилось смутное предчувствие чего-то светлого и прекрасного, возникшее в нем с того самого момента, как он увидел ее, вернее, встретил ее взгляд. В стремлении вполне владеть собой, он как бы в шутку говорил себе, а хорошо бы влюбиться, и притворно посмеивался над собой, и не хотел признаться себе в том, что это уже произошло. Возражал: какая чушь! Молниеносный роман в двух частях с эпилогом. Вообразил себе бог знает что! Но чем больше он старался уверить себя в беспочвенности и бесплодности рассуждений на эту тему, тем настойчивей звучал внутренний голос: а собственно почему бы нет? Разница в семь-восемь лет когда-то отгораживала нас друг от друга высоким барьером, а что теперь? Всемогущее время творит и не такие чудеса, оно разводит рядом стоящие поколения по разные стороны баррикад, оно же сближает и роднит целые эпохи...

Софья Николаевна показала Борису расстроенной. Несмотря на все радушие, тревога угадывалась в ее торопливых фразах:

— Боренька, как я вам рада! — (С чего бы это, ведь

мы расстались всего-то пару часов назад.) — Я так волновалась за вас. Ну что там, куда вас определили? Кем вы будете теперь, наверно, очень важной персоной? Или вас опять зашлют в какие-нибудь заграницы?

— Еще ничего не известно, — сказал он по инерции, наобум, не успев подумать. — Завтра все решится... Я не застал нужного человека, — добавил он, чтобы дать конкретность этим ничего не значащим словам. Вот такая экспромтная ложь — не ложь, а так, маленькая неточность. Сколько их бывает в нашей жизни! — А где все?

— Костик пошел в институт, сдавать отчет о практике, Дарья Абрамовна пошла па базар... А Люся... — (Почему о Люсе говорит в последнюю очередь? Да еще с какой-то горестной интонацией?) Люся пошла к... к родителям своего жениха! Да, представьте себе. Наша Люся выходит замуж.

Обухом по голове.

Она заметила, как он погрузился.

— Ах, где же вы были раньше!.. Шучу, шучу!

В каждой шутке есть доля правды. В иных настолько весомая, что выворачивает душу.

Да полно тебе, ведь не было еще ничего! Нельзя потерять то, чего не имеешь. И не подавай виду! Забудь немедленно! Но почему так безрадостно прозвучало это сообщение из уст ее матери? Эх, да что мне за дело! Как это пелось в шалмане на Сухаревской площади: «А если вновь больное сердце ноет, заставь его забыть и замолчать»... Не будь сентиментальной мокрой курицей! ,

— Садитесь обедать, Боренька, сейчас я вас накормлю.

— Спасибо, я уже. — Еще одна маленькая ложь, теперь вынужденная, продиктованная невыносимостью ситуации. — Хотел вот сходить в кино, давно не был... В «Уране», шел, мимо, какая-то трофейная картина...

На другой день он ехал в Управление трамваем. По

дороге соображал: хорошо, что не явился вчера. Стал бы просить, чтобы оставили в Москве, и напрасно. Зачем она мне, Москва? Тут сразу обнаружится все то, что было, придут бумаги, начнут копать... Не лучше ли, не дожидаясь новых неприятностей, махнуть куда-нибудь на юг, отдохнуть, оттаять душой? Хотелось забиться в угол и не подавать голос.

Получив желанное назначение, он решил уехать в тот же день.

— Боренька, почему же так срочно! Ни с кем не попрощались, я одна дома, Костик бы вас проводил, чемодан такой огромный...

— Не могу задерживаться, труба зовет... Всем передайте мой привет и наилучшие, пожелания.

— И куда ж вы теперь?

— Туда, где теплые моря, где много солнца и покоя, как сказал чуть ли не Бальмонт.

— Боже, это ведь так далеко!

— Только до тех пор, пока нас там нет.

17.

В его квартире жили другие люди.

— Извините за вторжение... Меня зовут Русланов, Павел Константинович... Дело в том, что... Я жил здесь раньше, давно... До войны.

— Это мы ничего не знаем. Мы здесь законно прописаны, вот, проживаем. — Глава семьи щелкнул подтяжками по дородным бокам. — Так что...

— Да нет, я без всяких претензий на эту... жилплощадь. Я только хотел узнать... Моя мать жила здесь после моего... отъезда. Она умерла в сорок втором году. Может быть, остались какие-нибудь вещи.

— Никаких ваших вещей тут нету. Здесь все наше, нажитое честным трудом. Так что...

Вошла хозяйка, вытирая руки о передник:

— Здрасьте... Вася, кто это?

В углу стоял старый офицерский сундук, обтянутый брезентом, опоясанный выпуклыми прутиками с железными накладками по закругленным углам.

— Вы говорите нету, а вот я вижу этот сундук, он принадлежал еще моему отцу.

— Это-то барахло? Да забери ты его бога ради, он тут только мешается.

Зина ждала его на бульваре.

— Говорила тебе, надо было взять меня с собой. Я бы им разъяснила!

Несуразность какая-то. Непонятно, кто ты теперь. Ничего не осталось от прошлого, ни пристанища, ни связей, ни даже воспоминаний, за которые можно бы уцепиться. Будто щепку, брошенную в воду, поток несет тебя, и неизвестно, к какому берегу прибудет. Единственный ориентир — радиус в сто километров.

В большинстве своем среднерусские города располагаются на холмах. Чем выше, тем, стало быть, ближе к Богу. Если холмы числом в семь, то совсем хорошо, такое расположение прибавляет святости. Блажь, суеверие, а все равно хотелось бы отыскать такой. Карты под рукой не было, оставалось прямо на вокзалах изучать схемы пригородных сообщений, выискивать что-нибудь подходящее после отметки в сто километров.

Рассуждали: куда податься? На юг, на север, на восток, на запад? Восток отпугивал воспоминаниями. Север пугал холодами. Юг представлялся недоступной роскошью, не по чину. Оставался запад — ближе к цивилизации. И что же, как раз на сто втором километре нашелся городок с благозвучным, памятным с детства названием.

Полдня тащился паровичок, волоча за собой восемь зеленых вагонов с полками в три этажа. До конечной станции доехало немного пассажиров, и все куда-то мгновенно исчезли. Чистенький вокзальчик располагал к ночлегу на длинных коричневых скамьях. Три кре-

стьянских семьи уже устроились на мешках и на лавках, дети спали, взрослые обнимали драгоценную кладь. Заглянул молоденький милиционер, подергал дверь в станционный буфет, оглядел с пристрастием зал ожидания и степенным шагом удалился.

Зина сказала «сиди!» и вышла на привокзальную площадь. Вернувшись, принесла подтверждение тому, что выведала за время пути из разговора с попутчиками: утром будет автобус, а до городка километров пять.

Павел Константинович в тех разговорах участия не принимал. Он еще не нашел себя в новой, непривычной обстановке, чувствовал себя скованно и неуверенно, он еще не освоился со свободой, да в нее и не верилось пока. Не было зоны, не было вышек, не было конвоя, не было даже коменданта, чтобы брать разрешение на отлучку. Но ощущения свободы тоже не было. Утверждают, что зверь, рожденный в неволе, не выносит свободы, он возвращается в клетку. Человек, приспособившийся к жизни в неволе, носит цепи в самом себе. Сможет ли он освободиться от внутренних цепей? Преодолеть свою робость перед запретами, сознание своего бессилия перед властями?

Что бы он делал без Зины! Впрочем, нет, не настолько уж он беспомощен, он нашелся бы в любой обстановке, но сейчас ему было удобно и даже приятно отдаться на попечение своей энергичной подруги, довериться ее практическому чутью, а себе оставить больше досуга, больше простора для осмысления всего, происходящего вокруг, и собственного места в этом порядке вещей.

Ты вышел на волю. Но эта воля теперь иная, вне всякого сравнения с прежней. Пятнадцать лет назад интеллектуальная Москва возлагала надежды на молодого ученого, знатока социально-философских концепций от Платона до Шпенглера, исследователя современных течений в западной философии. А ныне? Изгой, бывший з/к, для которого доступ к прежней деятельно-

сти заказан, прегражден пятном в биографии, строкой в анкете. Да впрочем, если честно, то и желания нет возвращаться к книжной премудрости, ко всем этим доктринам и концепциям, на которые начхать властолюбивым невеждам и их чиновным холуям. Забудь о прошлом, а зарабатывать свой хлеб ты сможешь благоприобретенными лагерными профессиями. Катали здесь не требуются, писать афиши для кинотеатров тебе, пожалуй, не доверят, как бы не пририсовал где-нибудь фашистский знак, но на плотников и слесарей спрос никогда не иссякнет. А чем плохо — плотником? На свежем воздухе, физический труд, простор для раздумий под взмахом топора... Свободы куда больше, чем у невольников какой-нибудь кафедры, вынужденных научно обосновывать нелепости и преступления режима.

Но пока что он просто приобщался к свободе. К той порции свободы, которая была ему отпущена. Ему доставляло неизъяснимое удовольствие ходить по городу — просто так, никуда, от одной окраины к другой, вверх и вниз по крутым булыжным улочкам, приглядываться к обшитым тесом, окрашенным то суриком, то киноварью, то ультрамарином домишкам, прикидывать — вот в таком домике с палисадником, где позади оголенных кустов сирени доцветают поздние астры, хотелось бы поселиться, или вот в таком кирпичном особнячке, не иначе он принадлежал когда-то местному купчишке, торговавшему рожью да овсом или галантейным товаром...

В центральной низинке, по-над запрудой, за которой простирался пришедший в запустение городской сад, еще сохранились торговые ряды, одинаковые лавчонки из красного кирпича, под единой крышей, по их углам и по стыкам, под обломанными концами водосточных труб щерились щербинки разрушающейся кладки. На высоком холме, за неподвластной ни времени, ни непогоде каменной оградой, торчали облезлые

купола без крестов, а у подножья холма старушки с ведерками, кастрюльками да кружками толкались вокруг родника, черпали святую, но их мнению, водицу, омывали сморщенные личики, брызгали вокруг себя и на тропинку, по которой возвращались домой.

А Зина между тем — золото, а не баба! — уже решила квартирный вопрос. Да еще как удачно! Хозяин, дядя Ваня, потомственный ремесленник, мастер на все руки, числился на службе в ремстройконторе, а по сути дела подряжался со своей артелью, в которую набирал лишь хорошо знакомых мужиков, на разные работы в широкой округе, клал печи, строил дачи для разбогатевших в войну ловкачей, перевозил избы из обнищавших деревень для новых городских поселенцев.

Дядя Ваня был уже в летах, войну он провоевал ездovým в санитарной роте, схоронил двух лошадок, в одну угодил снаряд, другая подорвалась на mine, а самому хотя бы что — заговоренный я, объяснял он свою удачу. О военных приключениях он любил рассказывать, когда подвыпьет, привирал изрядно и заметно, ибо героями его рассказов наряду с ним самим были все чины от полковника и выше. В остальном же был он человеком надежным в делах и справедливым при дележе доходов.

В сильном подпитии дядя Ваня плакал горячими слезами по пропавшему без вести сыну, а о дочери, которая вышла замуж за армянина, лечившегося в здешнем госпитале, и уехала на Кавказ, вспоминать не любил и обзывал ее заглазно всяческими словами, однако при наездах встречал приветливо, хотя и сдержанно, поддерживал деньгами и участливо справлялся о внуках.

В домашнее хозяйство дядя Ваня не вникал, домом заправляла супружница тетя Фрося, толстая, хлопотливая и в делах решительная. Зину она приняла поначалу настороженно, нездешний ее разговор, крашенные губы и шляпка с отделкой из невиданного меха

посеяли в ней смутные подозрения.

— А кто тебя ко мне направил? — осведомилась тетя Фрося, не пустив просительницу дальше порога.

— Никто, — честно созналась Зина. — Хожу вот подряд, в двух домах отказали, вы третья.

Хозяйка отступила на шаг:

— Ну проходи уж, коли вошла. Ты одинокая, что ли?

— Нет, с мужем.

— А кто таки?

— Приезжие мы.

— Вижу, что приезжие. А по что приехали?

— Работу искать.

— А по что сюда-то? Али других местов нету?

— Местность понравилась.

— Ишь ты!.. Местность! Постой-ка, постой, вы ли не из энтих, как их... Стокилометровых?

— Из них самих, а что? Не такие же люди?

— Люди всякие бывают. Твой-то за что сидел? За грабеж, али за политику?

— За политику.

— Ну, за политику, это ишшо подходяшше. А то бывают бандюги всякие... Называются урканы. А твой, говоришь, политикан? Ну вот чего, приведи его, погляжу я, что за человек, тогда и сговоримся. А платить-то есть чем?

— Насчет этого не беспокойтесь. Могу даже задаток внести.

— Сперва приведи квартиранта, муженька своо. Да комнату поглядите, может ишшо и не понравится.

Дядя Ваня пришел к вечеру трезвый и злой, сел на кухне ужинать, потребовал налить.

— А я новых квартирантов пустила.

— Что такое за квартиранты? Опять каких жуликов? Обворуют к едрене матери да и подожгут ешшо...

— Эти смирные. Политический он, вроде

профессором работал.

— Знаем мы этих профессоров. Давай-ка его сюда, надо ж познакомиться.

Усадили Павла Русланова за стол, налили самогонки. Тетя Фрося стояла у печи, скрестив руки поверх массивных грудей. Зину не позвали, она осталась в комнате, раскладывала вещи по ящикам доставшегося им комода, через неплотно закрытую дверь прислушивалась к разговору мужчин.

— Дак тебя как звать-то? Павел, а по бабушке? Знатчица, работу будешь искать? А что ты можешь делать? Акромя, конечно, своего профессорства.

— Пришлось поработать и слесарем, и плотником...

— Плотником? Если хороший плотник, то ты и мне сгодился бы. Сруб срубить можешь?

— Сруб не приходилось.

— А что ж тебе приходилось, плотник?

— Разное по мелочи. Главным образом занимался ремонтом тачек.

— Чего? Тачек? — Дядя Ваня закатился смехом. — Какой же ты нахрен плотник, если ты... Настоящий плотник, это ты знаешь, кто такой? Ты топором-то владеть умеешь? — Дядя Ваня налил себе еще стакан, долил до полного Русланову. — Вот ты ко мне в бригаду просисса. А ты знаешь, как раньше-то старший к себе в артель принимал? Не знаешь, вот послушай. Приходит мужик на берег, ну это, значит, где они сруб собирают. А почему на берег, это потому что лес по реке сплавляли, а как же ешто? Вот, приходит, так и так, хочу к вам в артель. Этого сволочества, как теперь, отдел кадров и все такое прочее, не было и не снилось никому. Артельный видит, у ево за поясом топор, значит, и вправду вроде плотник. Как, говорит, твое фамилие? Надоть бы записать, да вот карандашик затупился — он его из-за уха достал, — дай-ка твоего топора, карандашик зачинить. Тот дает ему топор, и вот если он им карандаш

зачинит, то разговор дальше идет настоящим порядком, а если нет, то он его эдак — швырь в речку! Тот только рот разинет, а уж и сказать нечего: по топору видать, каков ты есть плотник — страмотища! Понял? А ты говоришь, тачки... Ну, ладно. Забор поставить сумеешь? Палисадничек там, и все такое прочее? Ладно, поглядим, на что ты годишься. Давай, за знакомство. Отсидел-то сколь?

Вечерами, в подпитии, дядя Ваня любил играть на аккордеоне. Играл только дома, на улицу не выходил, потому что аккордеон, трофейная диковинка, был непривычен и даже вызывал неприязнь. Нередко и по радио говорилось с осуждением об немецкой выдумке, то ли дело исконно русская трехрядка или в крайнем случае баян... Но аккордеону было от этих злопыханий ни холодно ни жарко, он шагал себе по стране и набирал очки. Аккордеонист был дядя Ваня неважный, пьесы подбирал на слух, долго мучился над нужными аккордами, но в конце концов добивался своего и вальс «На сопках Манчжурии» получался у него очень даже ладно.

Однажды Павел осмелился и попросил на минутку инструмент. Он никогда не держал его в руках, но фортепианная клавиатура была ему как дом родной, а разобраться с басами было делом пяти минут. Он сыграл «Турецкий марш», стал вспоминать начало «Лунной сонаты», но тут вмешался дядя Ваня:

— А «Свечи огарочек» можешь?

Павел подобрал по памяти, хотя слышал эту песню лишь мельком.

— Молодец, — сказал дядя Ваня. — Видать рабочего человека.

18.

Когда говорят о тюрьме, вспоминают все больше о самых лихих злоключениях: побои, пытки, карцер... Но

не из одних же страстей господних состоит тюремная жизнь, так же как и фронтовая жизнь не из одних боевых эпизодов.

В тюремной больнице было обычно и просто. Лечить не лечили, но по крайней мере не били и не таскали на допрос, то есть давали отдохнуть. Врачиха, немолодая черноглазая смуглянка с пушистыми, как беличий хвост, усиками, приходила раз в день, щупала живот, считала пульс, спрашивала, где болит. Голос у нее был густой и гулкий, и хотя она ангельской красотой не блистала, при виде ее Филипп Глаголев вспоминал царицу Тамару, которая, живя в суровой и тесной башне, была при всей своей обворожительности как демон коварна и зла. Но едва в мыслях возникало это имя, как тут же память оттесняла Тамару из Дарьяльского ущелья другой Тамарой, той, что из Ольховского переулка близ Остоженки. Может быть, дарьяльская Тамара вообще появлялась тут непрошенной гостьей, не столько по сходству с черноокой врачихой, сколько по созвучию имен, образ живой и недавней Тамары прочно занимал свое место в его подсознании, хотя он в этом и не отдавал себе отчет.

Тамара, Тамара... Одна с малышкой Катенькой. Она же ничего не знает! Что она думает о нем? Что подумает, когда узнает? А как она узнает? Кто ей сообщит?

Никогда раньше Филипп Глаголев не думал о женщинах с заботой и тревогой. Они были ему интересны только в непосредственном контакте. Мы меняемся под ударами судьбы, как меняется под ударами молота раскаленный кусок металла. Потом этот кусок застывает в новой форме, и даже молекулы его выстраиваются в ином порядке. Подумав так, Филипп сказал себе: ты мудрствуешь лукаво! Это был его первый шаг к примирению с новой действительностью и приспособлению к ней.

Капитан медицинской службы Фарид Азизовна

Мамедова, возможно, была добрейшей души человек, но в интересах своего служебного соответствия усвоила манеры сухости и даже суровости. Филиппу Глаголеву было на что жаловаться, его донимала боль в груди, лежа на спине терпеть было можно, однако же едва он пытался сесть, что-то у него словно бы обрывалось внутри, и внутренности как бы за что-то зацеплялись, но когда он пытался объяснить свои ощущения врачихе, она скептически улыбалась, и он умолкал, стыдясь своего медицинского невежества. Тюремный опыт, короткий, но суровый, лишил его былой уверенности в себе, как будто ему заменили орлиную душу на заячью. Он робко спрашивал:

— Доктор, скажите правду, у меня сломаны ребра? Одно? Два?

Фариза Азизовна уклонялась от прямого ответа:

— Что вы беспокоитесь? Все пройдет. Такой молодой!..

Неладно было с зубами. Жевать он мог только правой стороной, а левая ныла и отказывалась служить, еще слава Богу, что жевать-то было особенно нечего.

На третий или четвертый день, понемногу приходя в себя, он попросил:

— Доктор, а нельзя ли раздобыть для меня чего-нибудь почитать?

Она принесла ему истрепанное и засаленное «Восстание ангелов», и хотя он конечно же читал это раньше, наслаждение оттесняло физическую боль. Чтение расшевелило мозги, мысль воспаряла в эмпирии, прочь от грубой действительности.

Врачиха утешала:

— Сто лет проживете, Глаголев. Унывать не надо, у вас еще все впереди.

А впереди-то у него было десять лет лагерей. Про этот отмеренный ему срок узнал он тремя неделями позже, перед отправкой по этапу, когда ему дали расписаться в ознакомлении с приговором. И то, что разбира-

тельство прошло в его отсутствии, его нисколько не огорчало, не смутило, он уже находил это в порядке вещей, более того, почитал за благо, что обошлись без него, ему вовсе не хотелось встречаться вновь с блюстителями советских законов, не дай Бог! Того, что он успел узнать о них до сих пор, было ему вполне достаточно. Он открывал в себе новое, неизвестное ему ранее свойство характера: трусость не трусость, а так, некое гаденькое чувство беспомощности перед грубой силой, сознание невозможности ей противостоять и готовность покориться ей.

Невзрачное здание у верхней оконечности одной из знаменитейших улиц столичного центра имело неприметную узкую дверь, обок которой была прикреплена неброская красная вывеска под толстым стеклом: «Приемная МВД СССР». Три наружных ступеньки вели к этой двери, а за ней посетитель попадал в голое, ничем не обставленное и даже не украшенное ни единым портретом помещение с одним окном на улицу. В глухой стене справа было проделано окошко с полукруглым отверстием в толстом стекле, за этим окошком сидел дежурный в военной форме, когда мужского, а когда и женского пола. Здесь можно было получить справку о родственниках, находящихся в подведомственных сему учреждению местах. Приходили сюда преимущественно женщины, иногда с детьми, да еще старички с палочками, в старомодных одеждах.

Тамара Белоусенко стала появляться здесь недели две спустя после того, как посещения Филиппа внезапно прекратились. Никто ее на то не надоумил, просто идеи такого рода витали в воздухе... Его служебный телефон все не отвечал и не отвечал, а когда наконец ответил, неизвестный женский голос с фальшиво любезным безразличием проговорил заученно:

— Филипп Никанорович у нас больше не работает. Тогда-то она и стала ходить на Кузнецкий.

— Ваши документы, — буркнул толстощекий лейтенант.

— А кто он вам?

Тамара замялась. Что сказать? Муж? Двоюродный брат?

— Муж, — произнесла она как можно более твердым голосом.

— Из документов этого не следует. Посторонним справки не даем. Следующий!.. Отойдите, гражданка, не задерживайте других.

— От этого вы ничего не добьетесь, — шепнула ей пожилая дама в долгополом пальто не по сезону. — Вы приходите, когда дежурит такая беленькая, молоденькая. Она всех добрее. Кстати, любит духи.

Принести духи Тамара постеснялась, но почувствовала к беленькой, молоденькой, в погонах лейтенанта, необъяснимое доверие. Озираясь на очередь, она стала говорить торопливо и приглушенно:

— Слушай, я сама работала в органах. Скажи ты ради бога, где он? Не расписаны мы, ребенок у нас! Любит он меня, а больше никого у него нету, ни отца, ни матери, вот тебе крест святой!..

Посылочку Филипп получил перед самой отправкой. Там были две пары носков, пара теплого белья, плитка шоколада, четыре пачки «Казбека», кружок краковской колбасы и коробочка «Сливочной помадки», на обратной стороне крышки которой едва заметно, простым карандашом, были нацарапаны слова: «Ждем, любим, тоскуем. Тома и Катя». Филипп прочел и разревелся, как баба.

19.

Много притоков у батюшки Дона, но этот особый. По его имени был назван обширный округ казачьего войска Донского, издавна известны не столько подви-

гами по славу оружия, сколько величиной земельных наделов, щедростью черноземных нив, доходностью сельских промыслов, да еще рыбоносностью рек и речушек, короче говоря, завидным процветанием и благоденствием, а следовательно и миролюбием жителей. Словно бы в соответствии с этим миролюбием и как бы в награду за него даже жестокие бои минувшей войны обошли стороной эти благословенные места.

Райцентр этой глухомани не привлекал к себе внимания стратегов, так как не обладал железнодорожным узлом, а про его продовольственный потенциал, заключающийся в мясоконсервном комбинате, маслобойном заводе и довольно крупном элеваторе, которые исправно действовали всю войну, противник то ли ничего не ведал, то ли не считал их достойной целью. Лишь случайные бомбы, сброшенные какими-то заблудившимися юнкерами, обезобразили два-три квартала и без того невзрачных домов недавней постройки, оставив глубокие воронки, соединившиеся постепенно в безобразный котлован, ненадолго заполнявшийся в непогоду дождевой водой.

Разросшаяся еще в царские времена станица на берегу реки, сделавшись местопребыванием окружного атамана, приобрела городской статус и соответствовала ему по многим статьям. Здесь были салон-магазины и торговые ряды, Городская дума и Дворянское собрание, общедоступная библиотека и кинематограф, и даже свой театр с любительской труппой и наезжими гастролерами. Однако, в силу удаленности от магистральных путей, городишко сохранял старомодный облик и патриархальные нравы на протяжении всех грозных, сотрясающих общественный уклад десятилетий. В годы «коренных преобразований» казачья солидарность и традиции не исчезали бесследно, и даже нельзя сказать чтобы пошли на убыль, они просто не выступали на поверхность, ушли в подсознание, и только великая война, унесшая в небытие почти все дееспособное муж-

ское население, казалось, поставила крест на всей предшествующей истории. Но городок уцелел, а многокорпусные казармы из красного кирпича, куда в прошлом съезжались на трехгодичные сборы молодые казаки «подготовительного разряда», служили теперь регулярному войску.

В пищевую промышленность нахлынуло много пришлого люда из разоренных войной сопредельных местностей, по окраинам возникали кварталы унылых, безликих, «стандартных» домов в два этажа, но прибрежная слобода, застроенная частными домиками с палисадничками и огородами на задах, сохраняла традиционный облик казачьего поселения. Здесь обитали потомки исконного казачества, сохранившие насколько возможно устои былого жизнеустройства.

В одном из домиков на тихой немощёной улице, по сторонам густо поросшей травой и лопухами, нашел пристанище новый редактор бригадной газеты капитан Борис Семенович Комаров. Комната в зеленых обоях была обставлена всей необходимой мебелью: были в ней обитый бордовым бархатом диван со спинкой, пригодный для спанья, массивный гардероб старинной выделки, буфет с дверцами из толстого узорчатого стекла, комод с выдвижными ящиками и даже письменный стол с зеленым сукном в раме из полированного орехового дерева. Когда-то эта комната служила кабинетом хозяину дома, офицеру, из казачьего рода, ушедшему на фронт пятидесятилетиям командиром полка и не вернувшимся с войны. Его вдова, потомственная казачка Ефросинья Корниловца, рослая дородная дама за пятьдесят, встретила будущего квартиранта настороженно.

— А вы одинокий или семейный?

— Пока одинокий.

— Видите как. Сегодня одинокий, а завтра приволокете целую ораву...

Говорила она звучным, в меру громким голосом,

произношение имела внятное, интонации, можно сказать, интеллигентные, и лишь некоторые слова переиначивала на местный лад.

— Нет-нет, не сомневайтесь, это я для красного словца ввернул насчет «пока», а вообще-то закоренелый холостяк.

— А служить будете в бригаде или в военкомате?

— В бригаде, — заверил Комаров, не понимая, какая разница для хозяйки, где он будет служить.

— А вы... в приметы верите? — помявшись, спросила она вдруг.

— Да вроде бы нет. — пожал плечами Комаров.

— Дело, значит, вот какое... — продолжала хозяйка, с трудом подыскивая слова. — Тут до вас был у меня один жилец... Тоже молодой человек, военный, званием лейтенант. Из военкомата.

Обворовал он ее, что ли, мелькнуло у Комарова в голове.

— ...Так вот ведь какое несчастье приключилось... Тихий был и ничего такого не позволял... Не пил, не курил. Молчун был великий. И вот... учинил над собой, чего никогда бы не подумала. Самоубийство! — заключила она дрогнувшим голосом. — Вот, поглядите.

Она приподняла висящий над диваном небольшой гобелен, зеленовато-коричневый с золотой бахромой, на котором был изображен конный рыцарь с копьем, а на отдалении дама в светлом платье с кринолином, машущая платком.

— Видите?

В стене зияло маленькое отверстие.

— Насквозь себя прострелил, сюда пуля ушла. Обои старинные, нет ни кусочка, чтобы заклеить, я ковриком завесила... — Ефросинья Корниловна всхлипнула легонько. — Такой был тихий, смирный. Царство ему небесное!..

Комаров не смалодушничал и от комнаты не отказался.

Хозяйка объясняла новому постояльцу:

— Я бы никого не пустила, а вас, Борис Семенович, потому пустила, что видно вас, вы человек степенный, от вас мне, старухе, не будет такого беспокойства. А ваша полсотня, ее что есть, что нету, силов у меня не стало огород обрабатывать, за всем на базар, хоть и одна живу, а все же питаться надо...

С соседями Ефросинья Корниловна почти не водилась, знала себе цену как супруга старшего офицера, и разговоров на ее половине почти никогда не было слышно, обычно только музыка лилась из висящего на кухне черного рупора местной трансляции.

Воинское соединение называлось бригадой, но газета «Защитник Родины» по инерции считалась «дивизионной», ибо такого названия как «бригада» не существовало. Бригадами сделались многие дивизии, прошедшие по войне, но затем подвергшиеся «кадрированию»: их рядовой и сержантский состав был сокращен до минимума, необходимого для обслуживания бронированных чудовищ, и лишь офицерские кадры оставались почти нетронутыми.

Из-за бетонной ограды выглядывали казармы добротной кирпичной кладки, неподвластной пока атмосферным влияниям, а позади них, невидимые городским прохожим, стояли высокие и обширные то ли гаражи, то ли ангары, не верилось, чтобы раньше они существовали в качестве конюшен, но и на новые строения были непохожи. Комаров подивился огромности выкрашенных в серую армейскую краску въездных ворот, но дальше вникать не стал, писать историю бригады он не собирался. В этих гаражах хранилась техника, у входа дежурил наряд, и ежедневно сюда приходили сержанты для смазки, протирки и прочего ухода.

Редакция и ее автономная типография размещались в угловой части здания, в остальном отведенного под клуб с обширным зрительным залом и сценой, с библиотекой и комнатой оркестра, откуда постоянно

доносились звуки кларнетов, баритонов и валторн.

Прежде чем явиться в редакцию, новый редактор, само собой, должен был представиться начальнику поллитотдела. Полковник Федот Егорович Пустовалов принял новичка с необычайным для официального лица радушием, долго расспрашивал о прежней жизни и службе, уверял, что ему понравятся здешние места. Он сам вызвался проводить капитана Комарова к месту работы, чтобы лично представить сотрудникам.

Федот Егорович был по натуре человеком деятельным и демократичным. Всю войну он провоевал на должностях невысоких и требующих расторопности. Сделавшись начальником поллитотдела отдельного соединения, — отдельного не только по штатной категории, но и в обыденном смысле, то есть дислоцированного вдали от крупных гарнизонов и высоких военных учреждений, — он понимал, что, повысив в звании для подслащения пилюли, пихнули его сюда потому, что все прочие кандидаты отбрыкивались как могли от такой своего рода ссылки. Он же по скромности своей нисколько назначением не был обижен. Здесь, правда, он сильно страдал от вынужденного безделья, иными словами, отсутствия необходимости что-либо делать. Совещательной суеты он терпеть не мог еще со времени своего довоенного служения в качестве ротного политрука. Теперь, своя рука владыка, совещания в поллитотделе он проводил коротко, без лишних словопрений, и не упускал возможности, покинув свой начальственный кабинет, пройтись по вольному воздуху.

Поллитотдел помещался в раскидистом одноэтажном кирпичном особняке позади расположения бригады. Пройти в распоряжение можно было бы через железную калитку в тыловой части ограды, но калитка сия постоянно была на запоре, так как не хватало часовых на все посты. Поэтому Федот Егорович повел нового редактора вкруговую, вдоль бетонной ограды, местами поврежденной. Возле каждого лаза Федот Егоро-

вич останавливался, доставал блокнотик и заносил туда координаты пролома с привязкой к местным предметам. Ясное дело, он намеревался распорядиться о заделывании лазеек, но Борису Комарову сразу подумалось, что старания эти бесплодны, а впоследствии он убедился, что так оно и есть.

Длинноногий, худощавый полковник прытко вышагивал по тропинке вдоль ограды, капитан Комаров едва успевал держаться слева рядом и на полшага позади, соответственно правилам субординации. Кося глазом направо, он видел худую загорелую шею с начатком старческих морщин, чисто бритую впалую щеку и усеянный мелкими капельками лоб под вздернутым козырьком не новой фуражки. Так они дошли до главного входа на территорию войсковой части номер такой-то. Над широкими воротами была перекинута ажурная металлическая арка, под ней натянута красное полотнище с надписью: «Слава защитникам нашей советской Родины!»

Никакой вывески у входа в редакцию не оказалось. Дверь была высокая, облезлая, светло-коричневая краска на ней шелушилась как человеческая кожа после солнечного ожога. В узком коридоре из-за двери слышался мерный глухой стук печатной машины «американки». Полковник Пустовалов открыл другую, левую дверь, вошел и остановился в двух шагах за порогом. В высокие окна жарко светило полуденное солнце. Два офицера, старший и младший лейтенанты, вскочили, едва не опрокинув стоящую между ними табуретку с шахматной доской, где фигуры находились в остром миттельшпиле. Дама средних лет нехотя поднялась из-за пишущей машинки.

— Товарищ полковник, редакция... — начал было рапортовать старший из офицеров, но Пустовалов отмахнулся:

— Вижу, вижу, чем вы тут занимаетесь. Вот вам новый редактор. Он наведет здесь порядок. Наведешь?

— Буду стараться.

Комаров не возмущался, когда старшие называли его по-отечески на ты. Именно старшие, и именно по-отечески. Чины не имели к этому никакого отношения.

20.

Строили дачу какому-то профессору. Что за человек был хозяин, Павел Константинович не знал и не интересовался. Его дело было копать ямки под столбы, отесывать их, смолить им нижние концы, а потом вкапывать, уплотнять трамбовкой землю до полной твердости, работа несложная и даже в какой-то степени увлекательная, так как результаты на виду, сработал — можешь полюбоваться. На двух рогатинах, воткнутых в землю, держался железный лом, на нем висел чан с гудроном, а под ним горели обрезки тесин и всякая щепка, ничего не пропадало зря. Время от времени надо было подбрасывать в котел черные, антрацитного блеска куски гудрона, привезенные знакомым дяде Ване шофером на самосвале откуда-то с дорожной стройки. Не за так, разумеется, но и не по грабительской цене, все как у людей. В котле ходила ходуном, по-своему кипела тяжелая полужидкая масса, плохо вздувалась посередине и растекалась по сторонам — медленно, лениво, бесшумно, без бульканья и без пузырей. Русланову вспоминались небылицы про грешников в аду, которым он, рационалист от рождения, даже в детском возрасте нисколечко не верил. Но, наблюдая в натуре образ смолы кипящей, он начинал понимать тех фантазеров, которые придумали и богов, и чертей, и райские кущи, и адские муки, и ему казалось, что он уточнил общепринятую версию происхождения религиозных мифов: они возникали не просто в общении с природой, но прежде всего в процессе труда. Невьясненной оставалась самая малость, рядовые ли труженики сочиняли их, или же

наблюдатели из праздношатающихся умников. Проблемы разделения труда, в том числе на физический и умственный, никогда не выходили у него из головы. Даже для забавы он размышлял не на житейские, плотские темы, а погружался в дебри метафизики.

Дачный этот участок был поближе к Москве, ездили поездом, утром туда, вечером обратно. На месте, ночуя в сараюшке, оставался поочередно кто-нибудь из артели — сторожить, чтобы не растащили материал. Утром народ в поезде был угрюмый, не выспавшийся, неразговорчивый, а вечерами другое дело, возвращались из столицы колхозницы, продавшие на базарах кое-какую снедь, работяги с подмосковных заводов, иные уже в подпитии, совслужащие с портфельчиками, чего-то добившиеся в столице. Разговор шел свободный и раскованный, собеседники были случайные, мало знакомые, никто никого не боялся, поговорили и разошлись, не знали, кто на какой станции слезает, и должность твоя на лбу не написана.

Вспоминали про войну, кому какие бедствия выпадали на долю.

— Нет, я в войну хорошо жила, — признается полнотелая бабенка не без гордости. — В пекарне работала. Конечно, платили нам мало, ну дак ведь наша партия-правительство, она же знает, что мы все равно украдем...

Курили кто махорку, кто «Север», а кто и «Беломор», консультировали безбилетников, где видели контролера, какой вагон он прошел и в каком направлении движется.

Приятен был после такого дня плотный ужин с чаркой первача, который гнал старик-сосед, крепок был короткий сон, горяч утренний чаек перед первым поездом — и так день за днем.

Раз-другой приезжали из Москвы на трофейном мерседесе три дамочки, одна солидная, в летах, и две молоденькие, то ли дочери, то ли дочь с подругой. Мо-

лоденькие все ходили вокруг участка, переговаривались втихомолку, удивлялись чему-то, хихикали, осторожно переступали через кучи мусора, опасно обходили лужи, а старшая дама, видать, профессорская жена, отзывала в сторону дядю Ваню, обсуждала с ним производственные проблемы, доставала деньги из сумочки, дядя Ваня совал их в карман не считая, все на честность. Получку делили по справедливости, никто не спорил и не обижался, кто помоложе, бегал в пристанционный поселок за поллитрой, и работу заканчивали пораньше, чтобы успеть на пятичасовой...

Приезжал еще какой-то представитель заказчика, шустрый человечешко с военной выправкой и командным голосом, приезжал на грузовой машине, доставляющей материал, покрикивал на работяг «давай, давай, ребята!», угощал дядю Ваню «Казбеком», наскоро осматривал стройку, но долго не задерживался, шофер поторапливал. «Завхоз ихнего института, я так понимаю», говорил дядя Ваня, неуверенно, потому что все производственные отношения строились не по документации, а исключительно на доверии.

Как-то раз — сруб уже подвели под крышу, ставили стропила, знакомый шофер привез шифер для кровли, а Павел Константинович, прибыв слегу вдоль всей ограды, начинал приколачивать штакетник, равняя по шнуру углом опиленные верхушки, — пожаловал сам профессор.

О том, что приедет барин, дядя Ваня поговаривал уже несколько дней. Дело шло к зиме, и надо было спешить с окончанием главных работ, поставить крышу, настелить полы, сложить печь, застеклить окна. Терем получался внушительный, четыре комнаты внизу и две наверху, крыша островерхая, наподобие швейцарских гибельдахов, так что барином дядя Ваня называл хозяйина неспроста. Его приезда ожидали с некоторым любопытством, но без робости. Молоденький плотник Леша, только что из армии, уверял, что профессор этот не

простой, а в чине генерала, потому что на такой размах хватает запалу нынче только у генералов, которые из Германии трофеев навезли. Печник Ипатыч, первейший мастер на широкую округу, возражал: генералы по одиночке не строятся, у них отдельные поселки, и забор единый, и караульный у ворот, а энтот будет самый что ни на есть штатский, только, пожалуй, что сородич какому-никакому министру, потому что все ему возят без задержки, хоть тес, хоть шифер, хоть огнеупорный кирпич.

Павел Русланов ожидал приезда «барина» не то чтобы с опаской, но с какой-то странной тревогой. Говорили — профессор. Профессором называли и его самого — там, в лагерях. И если бы не эти годы Колымы с Карагандой впридачу, и если бы он смог, преодолев себя, верой-правдой служить великой неправде, то быть бы ему теперь наверняка профессором, а то и членом-корреспондентом... Нет, не сетовал он, не досадовал на свое нынешнее положение. Кое как одет-обут, накормлен, но не хотелось, чтобы его узнали. Чтобы выражали сочувствие, в котором он не нуждался. Или наоборот, чтобы делали вид, что видят его в первый раз. Никаких связей с прежней жизнью! По крайней мере до тех пор, пока новая жизнь не переменится. А может ли она перемениться?

Русланов не читал газет: противно! И все же не мог удержаться, чтобы не заглянуть хотя бы мельком в первую страницу «Правды» (в кавычках, отмечал он про себя), вывешиваемой в специальной витрине на столбиках возле станции.

Профессор приехал субботним днем, под конец работы. Был он телом могуч, в движениях скор, лицом приветлив, в манерах жовиален, старался вести себя попростеcki, немного матюкался, но к дяде Ване обращался на вы и в дела стройки вникал с пониманием. Артельщики держались в стороне, каждый занимался своим делом. Павел Русланов, издалека поглядывал на

«барина», пытался сообразить, каков его научный профиль, и отнес хозяина дачи к разряду технарей. Никого из прежних знакомых он ему не напоминал. Павел Константинович успокоился и мысленно побранил себя за глупые переживания. Дома, после ужина с положенной по субботам стопочкой наливки, сидя над руководством по столярному делу для ремесленных училищ, он говорил своей преданной подруге:

— Знаешь, Зинуля, я все больше поражаюсь этому удивительнейшему созданию, которое называется человеком. Он соединил в себе качества всех прочих живых существ — от льва до зайца, от удава до кролика, и лисы, и верблюда, и собаки, и свиньи! Это подтверждено фольклором всех народов и баснописцами всех времен. Вот такой синтез гнездится в каждом из нас.

— И в тебе тоже?

— А чем я лучше других?

— Ты лучше, Пашенька! Ты лучше всех на свете!

Она обняла его за шею и прижалась щекой к его редеющей макушке. Потом оттолкнула и стала шарить по кармашкам фартука и халата в поисках платка. Как и многие женщины, она не упускала случая всплакнуть.

21.

Федот Егорович Пустовалов не придавал большого значения своему полковничьему званию. Старую закуску пролетарской семьи из Нижнего Новгорода, по новому городу Горького, не смогли вытравить все последующие за призывом в Красную Армию годы учения и годы странствий. Свое приобщение к высокой воинской плеяде он в глубине души считал каким-то недоумением. Никогда не стремясь к возвышению, он выполнял возложенное с унаследованным от предков старанием — учебной роте, потом младшим команди-

ром («сержантов» тогда еще не было и в помине) при дальневосточной потасовке у озера Ханка, далее командиром взвода в зимнюю кампанию на линии Маннергейма, впоследствии на курсах политруков перед большой войной, а затем уже в боях под Тихвином, в Приднепровье и за Днепром, в Прикавказье и Закарпатье, и так аж до озера Балатон, постепенно заменяя выбывших из строя старших начальников. Он никогда не бежал от опасности, но удивительным образом ни разу не был задет ни осколком, ни пулей — в пору было поверить в божественное провидение, да партийная принадлежность не позволяла. Вот так дослужился он до своих нынешних должности и звания, оставшись все тем же Егорычем, как еще смолоду звали его соседи по верстаку, и не усвоив ни начальственных повадок, ни пренебрежения к мелкомасштабным сторонам бытия.

Начальник политотдела не любил сидеть в кабинете, да никто и не осаждал его кабинет, зато сам он частенько наведывался в «частя», как принято было говорить в этой местности, глядел на все открытыми глазами, откровенно ликовал, когда видел порядок, горевал, когда замечал безобразия, корил офицеров за нерадивость и вредные пристрастия, а своих подчиненных-политработников наставлял в духе высокой нравственности и личного примера. Никто его не боялся, ибо никому никогда он не причинил никакого зла, и между собой называли его Егорычем, а относились к нему по-разному, кто с полной симпатией, кто с доброй насмешкой, а кто и с дерзкой иронией, но все в общем полагали, что с политначальством им повезло. А капитан Комаров отметил про себя, что такого начальника политотдела он встречает впервые.

Егорыч частенько заглядывал в редакцию. Войдя, он первым делом оглядывал помещение и каждую соринку, замеченную на полу, поднимал, медлительно нагибаясь заглубелой спиной, и относил одну за другой в стоящую у двери корзину для бумаг. Присутствующие

молча и пристыженно наблюдали за ним, но делал он это вовсе не им в укор, а просто по своей с детства воспитанной тяге к опрятности. Когда Комаров впервые стал свидетелем этой процедуры, он долго не мог прийти в себя от изумления, но сотрудники уверили его, что это у Егорыча такая уж чудинка, не стоит придавать значения. Тем не менее он стал с особой придирчивостью следить, чтобы редакция всегда выглядела, как в первый день творения.

При очередном посещении Егорыч спросил Комарова:

— А ты комбригу представился?

Комаров смешался:

— Как-то не пришло в голову. Я полагал, если надо, дадут команду.

— Ишь ты, команду! А чтобы самому сообразить, на это нас нету. Ладно уж, я договорюсь, он тебя вызовет.

Через несколько дней, действительно, зазвонил телефон:

— Капитан Комаров? Вас вызывает полковник Мишутин. Сегодня в четырнадцать ноль-ноль.

Адъютант в приемной встал, чтобы приветствовать вошедшего. Это было ново.

Полковник Мишутин вышел из-за стола. Комаров видел его не впервые, ему уже пришлось присутствовать на еженедельном общебригадном офицерском совещании. Манера Мишутина вести совещание с одной стороны покорила лаконичностью и конкретностью постановки задач, с другой ошеломляла контрастами. Этот ясно выраженный военный интеллигент-профессионал обильно пересыпал свою речь пришедшимися к слову сермяжными солдатскими шуточками, неизменно вызывая «веселое оживление в зале», как пишут в газетных отчетах.

— Вчера иду по расположению, заглянул в сортир...

Солдатские уборные в военном городке оставались такими, какими их соорудили при батюшке-царе первоустроители казарм — длинные сарайчики с дырами в толстой доске. Раз в неделю, в тот час, когда роты уходили на полевые занятия, к тыльной стороне этих сооружений подъезжала автомашина, напоминающая бензовозку, только с цистерной не овальной, а круглой формы, в люк опускался широкий рубчатый шланг, и шла откачка «ночного золота». Полковник Мишутин называл эти автомашины «За Русь святую».

— ...иду по расположению, заглянул в сортир. Вот мы все требуем, — продолжает комбриг, — «однообразие прицеливания, однообразии прицеливания»... Так что же вы думаете — дыра вот такая (показывает разводом рук), так нет, кругом наложат!

Дружно хохочут господа офицеры, хотя некоторые из них, старослужащие, слышат эту побасенку не в первый раз...

Полковник Станислав Васильевич Мишутин поднимается из-за стола навстречу редактору. Роста он оказался повыше, чем представлял себе Комаров, видевший его до сих пор лишь на отдалении — расстояние, как известно, уменьшает рассматриваемые предметы, — но такой именно плотный, плечистый, с гвардейской выправкой. Рыжеватые редкие волосы причесаны на пробор, светло-голубые глаза на не принимающем загар красноватом лице, насмешливы. Оглядывает гостя с легким прищуром, подает руку.

— Садись, капитан, рассказывай.

— О чем, товарищ полковник?

— Обо всем. Где родился, чему учился, сколько раз женился. Ничего, что я на ты?

В чем была прелесть провинциальных гарнизонов в те первые послевоенные годы? Там все еще дышало победой, там жил еще вольный и возвышенный настрой настоящего дела, там командовали еще те самые боевые офицеры, которые довели своих бойцов до Праги,

Будапешта и Берлина, и хотя их нынешние солдаты были уже другие, не нюхавшие пороха, не хоронившие товарищей, не видевшие ни родных, ни вражеских руин, для этих командиров они все равно были теми же Иванами, Ашотами и Кайратами, готовыми пролить свою кровь. В таких гарнизонах еще мало знали о высоких заборах вокруг обширных лесных угодий, с теремами, набитыми трофейными роялями, шифоньерами и сервизами. Здесь все было по провинциальному тихо и основательно, здесь несли службу без лишней ретивости и без суеты, здесь мало было рвущихся наверх, шагая по головам менее расторопных.

Комаров решил, что не ошибся в выборе. Новые места, новая обстановка, новые лица... Они нравятся нам по тому же закону, что и новые вещи. Пройдет время, вещи обветшают, лица примелькаются, обстановка наскучит, и там, где все казалось прекрасным, приглядевшись, мы замечаем безобразные изъяны. А пока какая-то странная инверсия, отмечал он про себя: чем дальше от столиц, тем больше дела и порядка. Свои наблюдения и впечатления он записывал на клочках бумаги и складывал их в большой, жесткий, прозрачный конверт, прихваченный где-то в Германии...

Выслушав ответ редактора на свои вопросы, комбриг Мишутин посмотрел на него сочувственно:

— Значит, ты в принципе москвич? Ну и как, не тоскуешь?

— Пока пет.

— И правильно. Тут хорошая библиотека в городе. Да, кстати, мне Егорыч рассказывал, там у вас в редакции все шахматисты... А сам-то ты как?

— Не так чтоб очень... Но когда-то грешил этим делом.

— Заходи ко мне как-нибудь вечерком. Позвони предварительно. Нет, тебе неудобно, я сам позвоню, согласен?

— Буду весьма рад.

— Вот и хорошо. Я тут, знаешь, сам немножко тоскую. Ну ладно, отставить неслужебные разговорчики.

— Разрешите идти?

— Разрешаю.

У двери Комаров замялся:

— Товарищ полковник... Не в порядке подхалимства... Но было очень приятно познакомиться с вами.

— Ну и молодец. Ступай.

Взаимопонимание с сотрудниками складывались лучше некуда. Секретарь редакции старший лейтенант Иван Кудинов, тридцатипятилетний здоровяк с фронтовой закалкой, знал наизусть все воинские уставы и несколько стихотворений Некрасова из школьного курса, был трудолюбив и упрям, не блистал ни стилистическими навыками, ни дружественными отношениями с грамматикой. Должность его понималась условно, просто он дослужился до нее верой и правдой, а занимался тем же самым, что входило в обязанности корреспондента-организатора.

Сам же корреспондент-организатор по должности, Сурен Христофорович Налбандян, малорослый и тщедушный, представлялся при знакомстве не иначе как «самый старший младший лейтенант», потому что при возрасте далеко за сорок в силу неисповедимых обстоятельств пребывал действительно лишь в числе младшего лейтенанта. Налбандян гордился своей фамилией и любил объяснять, что в переводе с армянского на русский она звучала бы как «Кузнецов», а следовательно его предки происходили из обозначенной таким образом почетной профессии. Еще он любил опровергать подлинность так называемых армянских анекдотов, и рассказывал другие, по его утверждению истинно армянские. Например, про то, как нового попа сельские подозревали в невежестве и нечестивости. Чтобы вывести его на чистую воду, подговорили одного бедняка притвориться мертвым и послушать, как лжесвящен-

ник станет в ночь перед погребением читать молитвы по усопшему. Действительно, вскоре нечестивому попу наскучило произносить положенные молитвы, и мнимый покойник услышал всяческие поношения: «...и само ты прощельга худородный, и вся твоя родня босяки, и жена твоя шлюха...» Наутро собрались мужики у церкви, навстречу им выходит поп в изодранном одеянии, с синяком под глазом, с разбитым в кровь носом и говорит: «Ну и покойничка вы мне подсунули, насилиу его обратно укокошил!»

Секретарскую же работу брали на себя — вполне добровольно, из сознания долга перед многострадальным русским языком — литсотрудник по письмам, она же по совместительству машинистка, жена строевого офицера, обладающая высшим педагогическим образованием, Лина Павловна Малютина, дама солидная и в средних годах. Она деловито и молчаливо исправляла грамматические ошибки сослуживцев и приводила их писания в удобочитаемую форму.

Понятно было с первого знакомства, что ни в каком руководстве эти трое не нуждаются и способны без всякого вмешательства выпускать три раза в неделю полутысячным тиражом листок, удовлетворяющий требованиям местного и высшего начальства и не очень раздражающий своей бесполезностью предполагаемого читателя. Уже на третью неделю пребывания в должности Комаров вспомнил девиз, которому когда-то следовал полковник Рудаков: лучший редактор тот, который не нужен своей газете.

Явившись с утра к девяти, он диктовал передовицу в номер по утвержденной политотделом тематике, вычитывал ее и со словами «я пошел в часть» — он тоже стал выражаться в соответствии с местными речевыми навыками — отправлялся в полки и батальоны, разбросанные по окраинам. Шаг за шагом он осваивал город со всеми его официальными, культурными, торговыми и бытовыми учреждениями от вокзального бу-

фета до городских бань. Он смотрел сквозь пальцы на продолжительные отлучки подчиненных и не требовал с них отчета, его любимым изречением стало: «мне не надо, чтобы вы работали много, мне надо, чтобы вы работали хорошо». Легковесность его служебной задачи, как он ее понимал, формировала и весь стиль его поведения — выяснялось, что капитан Комаров в свои тридцать лет все еще весьма податлив на лентяйство.

С наступлением летнего тепла он все с той же обобщающей «в частях» направлялся к реке, отыскивал па обширной песчаной отмели укромное местечко среди ракушечных кустов и укладывался под лучами солнышка с учебником французского языка, раздобытого в городской библиотеке. Он решил взяться за ум, не терять времени даром, и никакие угрызения совести по поводу манкирования служебными обязанностями его не терзали, поскольку он с самого начала убедился в том, что отданная под его пригляд солдатская газетенка не только никому не нужна, но и таит в себе угрозу отупления неосторожного читателя.

Если же погода не благоприятствовала пляжным удовольствиям, Комаров забредал к своему соседу, начальнику клуба майору Шпаку, коротконогую полнотелому донбассцу, добродушному весельчаку и краснобаю, мастеру на всякие придумки, неподражаемому рассказчику анекдотов, которых знал неистощимое множество.

По субботам в клубе устраивались вечера развлечений и танцев. Чинно выступали офицеры с женами, скромно жались по углам девицы из местных, сбивались шумливыми кучками сотрудницы столовых и магазинов военторга, а молодые лейтенанты и старшины сверхсрочной службы — холостяки или выдававшие себя за таковых — разборчиво находили партнерш для фокстрота и вальса. Бригадная капелла в составе элитной части оркестра, рассевшись на подиуме, услаждала нетребовательный слух господ офицеров и их

избранниц.

Майор Шпак подвел Бориса Комарова к высокой стройной молодой особе в легком шелковом платье, надушенной дорогими духами:

— Мадам, позвольте вам представить — редактор авторитетнейшего в нашем гарнизоне печатного органа Борис Комаров... Несравненная примадонна драматического коллектива Луара Коробейникова.

Большие серые глаза на круглом гладком лице смотрели в упор чуть насмешливо и вопросительно, эти глаза находились как раз на уровне его глаз, полные сочные губы широкого рта чуть расползлись в сдержанной улыбке.

— Чрезвычайно польщен, — только и успел произнести Борис Комаров, как майор Шпак исчез и уже улаживал какие-то дела в другом конце зала.

— Простите, я не ослышался: Луара, а не Лаура?

— Законное имя, данное папой и мамой и удостоверенное советским загсом. Они грезили Францией. Пама и мама, не заг же, конечно.

Голос у Луары был низкий и глуховатый, произношение нездешнее.

— Вы москвичка?

— Как вы угадали?

— Немудрено. Я сам такой. Похоже, перст судьбы.

— Пока же перст майора Шпака. А там посмотрим.

В танце она тесно прижималась к его животу и ногам. Борису вспомнились гарнизонные картинки из прозы Александра Kupрина. Захотелось выпить. Слаб человек, сказано в писании. Воистину так!

Провожаться не пришлось, офицерские двухэтажные домики стояли совсем рядом за оградой военного городка, к тому же Луара, несмотря на поздний час, решительно завозражала против его намерений:

— Хожу вместе с соседями — во избежание ненужных разговоров. А мои дневные маршруты — базар, кино и пляж. Всего хорошего и приятных сновидений.

Ох, не к добру все это, подумалось Комарову, и он поплелся на свою тихую улочку.

22.

Заглянув но соседству в клуб, Борис Комаров застал его начальника за странным занятием: майор Шпак, забравшись на стремянку под одним из членов политбюро — портреты их были выстроены, как и полагалось, в одну шеренгу, — смещал багетовую рамку таким образом, чтобы потревоженный вождь висел косо — не то чтобы очень, но заметно для глаза.

— Шпак, ты что сотворил? — удивился редактор. — У тебя глазомер повредился?

Удовлетворившись содеянным, майор сошел вниз, прострочил взглядом по всему ряду и велел сержанту унести стремянку.

— Чудак-человек, неужели не ясно: готовлюсь к встрече начальства. Как тебе должно быть известно, ожидается инспекторская проверка.

Борис Комаров даже отшатнулся в недоумении и уставился на начальника клуба так, как глядят на дикое животное, помещенного в клетку зоопарка.

— Не понял? — продолжал майор Шпак. — Поясню. Вот является высокий чин политуправления. Его задача в чем? Выявить недостатки и дать указания. Вошел, озирается, видит: портретик-то косо висит! Ну, само собой, не из главных лиц, а так, пониже рангом, из второй гарнитуры. «Что ж это у вас майор», говорит начальство, «портрет косо висит?» — «Виноват товарищ (как его там), не доглядели! Немедленно устраним. Сержант! Поправить портрет товарища такого-то!» Начальство довольно, глубже копать ему уже неохота. Уразумел?

Редакция готовилась к высокому посещению без всплесков фантазии: лишний раз помыли полы, убрали

с подоконников кипы старых газет, прибавили усердия в броской подаче материалов. Потрафить начальству следовало также и содержанием: вдруг удосужится прочесть?

Приближался девятнадцатый партсъезд, первый после тринадцатилетнего перерыва. Все газеты от столичных до самых захолустных состязались в отображении всенародного подъема. На утренней летучке Иван Кудинов произнес в задумчивости:

— Вот все пишут: встретим девятнадцатый съезд чем-нибудь таким... Повышением добычи угля, выплавки стали, удоев молока, ну и так далее. А нам что сказать? Успехами в боевой и политической подготовке? Так ведь это уже в зубах навязло.

— Дело говоришь! — заметил Сурен Налбандян, самый старший младший лейтенант. — Надо что-то оригинальное. Но что?!

— Истина всегда конкретна, — заметил капитан Комаров. «После вчерашнего» в дружеском кругу его тянуло на глубокомыслие. — Что у нас в частях сейчас самое главное?

— Боевые стрельбы на следующей неделе! — не промешкал с ответом старший лейтенант Кудинов, гордый своей осведомленностью.

— Это наш главный экзамен. По результатам будут судить и о политработе и о чем ты хочешь. Даже о нас грешных. Мы с Суреном готовим подборку о лучших стрелках.

— Значит, так, — подытожил Комаров — Даем большую подборку. На целую полосу — да что там на полосу, на весь ворот, так? Одолеем?

После того, чем он занимался в Берлине, вся его деятельность здесь представлялась ему детской игрой. Он придерживался ее правил, старался не обидеть партнеров своим ироническим отношением к делу, не выдать этого отношения ни примитивностью решений, ни интонацией замечаний. По всей видимости, его со-

трудники все принимали всерьез, возможно, так оно и было, а может быть, ему это только казалось. Всюду, в любом деле, большом и малом разыгрывался спектакль, где всемогущим режиссером был инстинкт самосохранения.

— Разворот? Это в наших силах! — откликнулся самый старший младший лейтенант.

Какой настоящий газетчик не любит авралы?

— Давайте уж тогда и шапку придумаем на этот разворот, — предложил Иван Кудинов.

—Что-нибудь такое призывное и в духе времени, — уточнил Налбандян. — Вроде того: «Товарищ боец, чтобы Родина тобой гордилась...»

— Это же вне всякой ритмики! — запротестовала Анна Павловна, литературный авторитет редакции. — Надо, чтобы звучало, как стихи. Вот послушайте: «Солдат, чтоб Отчизна гордилась тобой...» Звучит?

— «Каждую пулю в мишень посылай», — заключил Сурен Налбандян.

— Ни в склад, ни в лад, — возмутился Иван Кудинов, поклонник Некрасова.

Скажите иначе, но главная мысль должна быть такая, — настаивал Налбандян. — И чтобы про съезд тоже было.

— Сейчас, дорогие соратники, — вмешался сам редактор и сосредоточился... — Как там у вас начало? «Солдат, чтоб Отчизна...» — ...«гордилась тобой», — подсказала Анна Павловна.

— «Девятнадцатый съезд встретить отличной стрельбой!» — заключил Борис Комаров.

— Во! Не в бровь, а в глаз! — оживился Иван Кудинов.

— И вполне добротная рифма, — добавила Анна Павловна.

Шахматные поединки по субботам у полковника Мишутина завершались чаепитием. Полковник (жил один, семья оставалась в его родной Астрахани, он ча-

стенько гонял туда на своем служебном газике, утомительная езда длиной в сутки по всяким дорогам, но гражданский транспорт был полковнику не по нутру. Из своих поездок привозил он арбузы да всякие домашние угощения, всевозможные коржики, ватрушки, завитушки «хворост», и кроме того вяленую рыбу — когда воблу, а когда и леща. Воблу он целиком отдавал шоферу, потому что пива не пил, остерегался потолстения. Чай же любил самозабвенно, готовил его сам, а свою службу — ординарца, сержанта-сверхсрочника, — по субботам с обеденного часа отпускал домой.

Полковник занимал особняк, некогда принадлежавший окружному атаману, проскользнувшему за кордон, то ли в Персию, то ли в Турцию. Особнячок этот стоял в окружении фруктового сада, росли там и яблоны, и груши, и вишня, но ухода за деревьями настоящего не было, фрукты родились недружно, часто повреждались червями и прочей нечистью, ординарец Степан выбирал какие получше для полковничьего стола, а плохонькие отдавал солдатам, которые ведрами относили их в казармы. Словом, жизнь проходила в патриархальном стиле и сам полковник, переодевшись в домашнее, больше напоминал старосветского помещика, нежели боевого командира доблестной Советской Армии.

— Ну, рассказывай, что читал, — выспрашивал он Комарова, держа на трех пальцах свою любимую пиалу с золотым ободком. Полковник считал необходимым быть в курсе литературных явлений,

— Прочел на прошлой неделе пьесы Екатерины Второй. Одна из них — про Козьму Политова. Матушка-государыня была основоположницей борьбы с космополитизмом.

— Вот те на! Екатерина Вторая? Вот уж чего никогда бы не подумал. Она же немка была...

— Мало ли что. Интересы империи превыше всего.

— Выходит, и это наши не сами придумали!.. А «Белую березу», вторую часть, прочел? Говорят, это сейчас актуально.

— Пришлось. Еще на позапрошлой неделе.

— Ну и как?

— Ничего, одолел.

— Хочешь сказать, не в восторге?

— Если откровенно...

— Ну, а как же иначе? Я ведь не твой идейный держиморда, или как ты думаешь?

— Думаю, вы прямая противоположность.

— То-то же. Давай еще налью. А как тебе «Кавалер Золотой Звезды»?

— Обязан хвалить, поскольку премия была дана, но что-то язык не поворачивается.

— Хм, вольнодумец! А кого из писателей ты ценишь прежде всего?

— Из нынешних или вообще.

— Ну, скажем, вообще.

— Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина.

— Да ну? Это что ли про город Глупой?

— Лучшие произведения Салтыкова-Щедрина у нас не рекламируются. Например, «Современная идиллия»...

— Что ты говоришь? Велю принести. Есть в нашей библиотеке?

— В городской. Там несметные сокровища, спасибо вам, что надоумили.

— Тебя-то я надоумил, а вот у самого руки не доходят.

Странный человек был этот комбриг, какая-то неразгаданность чудилась в нем, смущая и возбуждая любопытство. В войну он командовал дивизией, большинство комдивов получили генеральские чины, он же остался полковником. Его дивизия участвовала в штурме Кенигсберга, другие командиры получили Героя, он же не удостоился даже «Александра Невского». Ходил

слух, что он отпустил с богом немецкого полковника, сдавшегося в плен лично ему и поклявшегося не возвращаться в строй. Полковник Мишутин даже по большим праздникам не надевал ордена, а его орденские планки умещались в три строки, хотя прошел он через всю войну, начав ее комбатом. И еще ходил слух, совсем уже невероятный, что будто бы полковник Мишутин приходится дальним родственником генералу Мамонтову и чуть ли не содержит где-то в потайной конюшне потомка его жеребца — чего только не придумают люди от нечего делать в таком казачьем захолустье! Но интересно, что слух этот вовсе не наносил ущерба его репутации, скорее наоборот.

А шахматистом он был неважным, как раз подстать Борису Комарову, счет побед и поражений был между ними примерно равный. Если же баланс начинал слишком уж клониться в его пользу, капитан Комаров позволял себе рискованные и даже явно обреченные на неудачу маневры. Полковник играл как всегда неторопливо, осторожно, не забывая о страховке, укрепляя тылы, надежно защищал каждую продвинутую пешку, педантично сдвигал ладьи и наращивал силы для удара по второй горизонтали противника. А Комаров словно бы и не замечал сгущающихся туч, беспечно рокировал своего короля под открытую грозовую вертикаль. Ах, заглянуть бы сейчас ему в душу! Но нет, не было задней мысли и у младшего партнера, да и быть не могло, ведь его карьера находилась в руках иного ведомства, а если и была какая мыслишка, то лишь самого бескорыстного, альтруистического свойства. Получив мат, он лишь для проформы изображал огорчение, а в душе радовался удаче партнера и любовался выражением довольства на лице Мишутина.

— В шахматах главное — осмотрительность, — говорил полковник наставительно. — Как, впрочем, и в жизни.

Шахматы были, по сути дела, лишь прологом,

главное заключалось в чаепитии. Полковник Мишутин приготавливал напиток по особому рецепту, подбавляя в заварку малую щепотку соли и выливая перед употреблением из налитой до половины чашки крепкий настой обратно в заварочный чайник. Прodelывая эти процедуры, он не скупился на пояснения.

— Ты думаешь, чай заварить, это просто так, насыпал, залил кипятком и готово дело? Нет, братец, шалишь: заварка чая — это искусство! В старинные годы пели такую песенку...

Комбриг, не прерывая своего занятия, начинал напевать:

Раз прислал мне барин чаю
И велел его сварить,
А я отроду не знаю,
Как проклятый чай варить...

Далее следовало, что незадачливый повар засыпал в котел вместе с чаем «луку, перцу, и петрушки корешок», после чего разгневанный барин «уж таскал меня, таскал»...

Предположительно, за вихры, — дополнял Мишутин. — Как, нравится? А господам нравилось. Исполнитель же старался изо всех сил, рассчитывая на подачку. А ты говоришь...

Комаров ничего не говорил, но догадывался, что имел в виду полковник («из бывших», додумывал он в скобках).

— Вот такая самодеятельность из дворовых крестьян, — продолжал Мишутин, — была у каждого уважающего себя помещика. У графьев — целые театры. Выступали перед гостями, и кто кого перещеголяет. А ты думал, наши сами ее придумали? Черта с два, ума бы не хватило.

Прощаясь после чаепития, Борис задавался мыслью: а что станет делать после его ухода этот странный

человек, оставшись один в уединенном особняке посреди чужого города? Читать военные журналы — их много было на полках у Мишутина? Слушать по радио концерт из Москвы? Звонить по телефону жене в Астрахань? Кстати, его жена ни разу не навестила его здесь. А может быть и не было у него никакой жены? А может быть и ездил он вовсе не в Астрахань? А может быть это просто твои, берлинские приключения внушают тебе всякие нелепые мысли, редактор Комаров?

Нет, все же загадочный человек был полковник Мишутин, и каждая встреча с ним только прибавляла этой загадочности, потому что он никогда не раскрылся, а только прощупывал собеседника.

Случалось, что во время шахматных сражений к комбригу заглядывал некий подполковник. Он был высокого роста, осанистый, но со странной повадкой, сдержанный и настороженный, словно всегда ожидал каких-то внезапностей. Лицо у него было серое, невыразительное, и левый глаз слегка косил во внешнюю сторону.

— Ах, вы заняты, товарищ полковник, — говорил посетитель. — Ну ладно, зайду в другой раз.

— Да чего там, посидите с нами, — приглашал Мишутин.

— Нет-нет, не стану вам мешать, — говорил подполковник и спешно удалялся.

— Ходит тут... вынюхивает... — бурчал Мишутин.

Подполковник Бурмакин был начальником бригадного смерша. Вся наша жизнь проходит под их прищелчком, думал капитан Комаров, но от взысканий воздерживался.

В остальном круг общения Бориса Комарова постепенно расширялся. Участниками дружеских сходов бывали начальник клуба Шпак, Сурен Налбандян, физрук бригады лейтенант Мамлюк, директор городского театра Турчанский и кое-кто из молодых офицеров,

ищущих содержательного времяпровождения. Отдельно Комаров дружил еще с секретарем парткомиссии майором Пономаревым, но это был человек семейный, солидного образа жизни, да и статус не позволял ему принимать участия в вечеринках.

Собирались поочередно то у одного, то у другого, некоторые приходили с женами, другие с подругами, выпивали умеренно, пели под гитару, в сумерках выходили с песнями па улицу и на берег реки. У Комарова всем понравилось, стали все чаще собираться у него. Круг сужался, но веселья прибавлялось. Луара отбирала гитару у майора Шпака, настраивала ее на минор и пела: «Цыганский быт и нравы стары, как песни, что мы все поем, под рокот струн, под звон гитары, жизнь проживая мы живем...» Она была совершенно не похожа на цыганку, но голосом обладала грудным и низким, так что получалось вполне в духе жанра.

Когда провозжались, Луара, жалуясь на высокие каблуки, удерживала Бориса от поспешности. Они отставали, теряли из виду остальных, а кончалось дело тем, что возвращались к нему...

Как-то самый младший лейтенант Сурен Христофорович Налбандян отозвал Бориса в коридорчик, отделяющий редакцию от типографии:

— Борис Семенович, не сочтите за бестактность... Дама, с которой вас видят иногда в компании и так далее, это жена офицера, проходящего службу за рубежом. Он, случается, приезжает в отпуск. Не сочтите за бесцеремонность...

— Ничего страшного, — возразил Борис Комаров. — Чисто товарищеские отношения.

Разумеется, это была неправда.

23.

Временами им овладевало тяжкое уныние.

Шевелилась в мозгу испрошенная мысль, на первый взгляд чужеродно-банальная, словно вычитанная в дешёвом романе, а по сути неоспоримая: ты скатываешься в пучину пошлости и беспринципности.

Она изменяет мужу, это ее дело. Но ты изменяешь самому себе.

Он старался увернуться от дальнейших рассуждений на эту тему, уверял себя, что все это временно, поверхностно, все переменится, как только изменится обстановка. Говорил себе: не ты первый, не ты последний. Но это не успокаивало. Успокоение давала рюмка коньяка.

В один из «их» вечеров ему захотелось сказать ей: «Послушай, ведь у тебя есть муж...». Но он вовремя спохватился, сдержался, отбросил дурацкую мысль. Она могла бы ответить: «А ты что, стоишь на страже его интересов?» или что-нибудь в этом духе. «Нет, но все же», — пришлось бы ему изворачиваться, — «Мне как-то не по себе...» — «Хочешь в рай попасть?» — употребила бы она свое любимое выражение, и на этом дело бы кончилось. Лучше смолчать, решил он. Принимай жизнь такой, какова она есть. Прозрачный конверт из целлофана пополнялся новыми исписанными листками.

Они жили в извилистом переулке между Арбатом и Поварской, неподалеку от Собачьей Площадки. Ее первые впечатления детства: мать в слезах, она в чем-то укоряет отца, отец сердится и молчит, потом срывается с места и исчезает. Исчезает надолго. Мать молчит и хмурится, принимает лекарства, не обращает внимания на маленькую девочку, Луара сама греет чайник на керосинке, грызет черствые коржики, ластится к матери, та рассеянно гладит ее по нечёсаной головенке. На улице она дружит исключительно с мальчишками, носится по дворам, лазит по деревьям, ободранные коленки заживают сами по себе. Отец возвращается добрый и тихий, в чем-то уверяет мать, она лишь вертит головой и

безнадежно вздыхает. Как-то поздно вечером явились какие-то дяди в белых халатах, мама билась в истерике, ее взяли под руки и увели...

Прошло время, и отец привел в дом чужую тетю, красивую, кудрявую. Звали тетю Виолеттой. Отец сказал: ты можешь называть се мамой, но Луара и не подумала воспользоваться этим разрешением. Они втроем ходили в Летний театр «Эрмитаж» у Петровских ворот, садились так: папа с одной стороны, Виолетта с другой, Луара посередине. Как-то раз Виолетта, воодушевившись пением Вадима Козина, взяла руку Луары и пожалала се.

— Не жми мне руку! — вскрикнула девочка, соседи обернулись, а Виолетта шумно задышала и приложила платок к глазам.

В антракте ушли домой, дорогой молчали все трое, а дома отец сказал:

— Ну объясни, чем тебе не нравится Виолетта?

Луара разревелась и убежала на кухню.

Почему она закричала? Руке ведь не было больно. Просто какие-то мурашки побежали по спине, вдоль всего позвоночника, снизу вверх, сверху вниз, и от этого всю ее передернуло, как от встречи с чем-то ужасным и отвратительным. Потом она всю жизнь страдала от этих мурашек, они появлялись всякий раз от испуга, а в особенности, когда ей попадались на глаза какой-нибудь гнойник, ранение, калечество или уродство. Во время войны она не смогла работать в госпитале, хотя прошла ускоренные курсы медсестер, она чуть не падала, увидев открытую рану, а если ей поручали сделать перевязку, у нее так дрожали руки, что она путала и роняла бинты.

В остальном она жила, как все. Была школа, были пионерские сборы, потом комсомольские собрания, они не оставляли никакого следа. Не надо было ни над чем задумываться, все было просто, как дважды два, делай как я, будешь стараться, тебя заметят. Но она не стара-

лась, училась кое-как, дружила с кем попало и много смотрелась в зеркало.

Отец быстро постарел, она как-то между делом узнала, кем был он вне дома — оказалось, он работал научным сотрудником в Институте мировой литературы, был незаурядным переводчиком с французского, его любимым литературным героем был мсье Бержере со своим знаменитым изречением: «это правда, что он презирал почести, но он предпочитал презирать их, получая». Между отцом и дочерью издавна пролегал холодок отчуждения, но когда их покинула Виолетта, он попытался вернуть ушедшую близость, да было уже поздно: каждый жил по-своему, и точки соприкосновения находились только на уровне покупок и кухни.

К отцу наведывался молодой поэт, ищущий поддержки и известности. Он просил у отца подстрочки французских стихов, чтобы зарифмовать их и втиснуть в привычную форму. Отец не очень охотно исполнял эти просьбы, ему не нравились собственные стихи начинающего гения, он находил их выпенными и угодливыми, но молодой человек приносил добытые где-то сырки и галеты, а от этого трудно было отказаться в те суровые годы после войны.

Когда молодой поэт не застал отца дома, он этим вовсе не огорчился. Выяснилось, что в его распоряжении был автомобильчик «опель-олимпия», вывезенный папой-полковником из побежденной Германии. Какая юная москвичка, сроднившаяся с дребезжащим трамваем, не соблазнилась бы приглашением покататься?

Луара была рослой девушкой, фигурку имела стройную, хотя и плоскую, личико круглое и тоже как бы плоское, но украшенное необыкновенно крупными серыми глазами с выражением наивно-вопросительным, бесстрашным и доверчивым. Любопытство к жизни брало верх над всякой осторожностью, и лишь мурашки в спине тревожили первое время, но потом они, странное дело, вовсе как бы исчезли, были

— и нету...

Она не особенно расстраивалась, когда поэт признался ей, что родители силком женят его на дочери высокопоставленного деятеля, имеющего отношение к литературе. По правде сказать, он ей уже наскучил. Хотелось новизны, приходило сознание своей притягательной силы и складывалась привычка рассматривать людей как свои игрушки. Встреченный в одной студенческой компании молодой лейтенант, безродный, но целеустремленный, некрасивый, но излучающий уйму энергии, предложил ей руку и сердце. Пока что он служил в захолустном гарнизоне, но это пока, он давно бы поехал по обмену в Германию, но туда посылали преимущественно женатых... Не то чтобы страна чудес, но все же за граница. Теперь он там, но с вызовом что-то не торопится.

Квартировать у старой казачки, наблюдая ее образ мыслей и действий, было весело и поучительно. Ефросинья Корниловна была женщина совестливая, и порой ей вдруг приходило в голову, что берет с квартирантов, которых она «пускала» постоянно с тех пор, как овдовела, слишком высокую плату. Тогда она находила нужным сделать скидку, но поскольку ни по каким житейским правилам не полагалось делать это просто так и по своему почину, она придумывала какой-нибудь трюк, например, разрешала пользоваться своими дровами, как бы вспомнив, что отопление входит в условия сдачи квартиры.

При всей широте натуры, Ефросинья Корниловна была бережлива до скарденности, и решиться что-нибудь выбросить, пусть даже испортившиеся объедки, означало для нее великое преодоление. Но лишь в том случае, если вся тяжесть решения лежала на ней самой, а пропажа, происшедшая по чужой воле, трогала ее гораздо меньше. Скажем, дали трещину два глиняных кувшина, прослуживших Ефросинье Корниловне не один десяток лет. Пользоваться ими было уже нельзя, а

выбросить — жалко: выглядят, как целые. Хозяйка положила их на дровяной штабель у забора. Наступили холода, и Комаров стал пользоваться разрешением брать дровишки из этой поленицы для своей голландки. Он осторожно перекаладывал крынки с места на место, чтобы невзначай их не уронить. Застав его за этим занятием, Ефросинья Корниловна крикнула с крыльца:

— Да вы их не очень-то, они лопнутые!..

Благоволение к военным било в ней через край.

— Был бы вы какой штатский, я бы вас ни за что не пустила, — повторяла Ефросинья Корниловна за чаепитием в те редкие вечера, когда Комаров в одиночестве возвращался со службы. — Знаете, как мы с подружками пели в гимназии? «Вот идет штафирка, фрак на нем висит, а военный-душка, все на нем блестит!»

Шумливые, но не до безобразия, сборища у квартиранта поколебали устои вдовьего быта благонравной казачки, не ускользнули от внимания Ефросиньи Корниловны и его амурные дела, и в ней проснулась обида за свое одиночество.

— Хоть бы вы познакомили меня с каким пьяницей — пожаловалась она Комарову, то ли в шутку, то ли в серьез.

Он принял просьбу к исполнению. Подходящей кандидатурой представился ему немолодой и забулдыжный вольнонаемный стекольщик, обслуживавший воинскую часть. Как-то вечером Комаров привел его с собой и познакомил с хозяйкой. На другой день она пригласила нового знакомца с полдня посидеть за чаркой, и Комаров подольше задержался в редакции, чтобы не мешать свободному развитию событий. Придя домой уже к вечеру, он застал вот какую картину. В чисто прибранной комнатке-кухне стекольщик сидел, развалясь, на табуретке спиной к столу, раскинув руки по его краю, широко расставив ноги, и горланил нецензурщину. Опустошенная поллитровка валялась на боку посреди недоеденной домашней снеди. Хозяйка хватала гостя

за воротник, пытаюсь вытолкать его вон, он же валился мешковато и пытался лапать ее непослушными руками. С помощью квартиранта стекольщик был выпровожден на улицу.

— Ну что, — спросил Комаров на другой день, — не понравился вам новый знакомый?

— Не надо мне ваших пьяниц, и не надо, и не надо! — отмахивалась добрая женщина, шумно дыша от возмущения.

Неожиданно Луара перестала попадаться ему на глаза. Исчезла с его горизонта, как будто вовсе ее не бывало. Он продолжал ходить к реке, на песчаную отмель, и хотя лето шло на убыль, становилось уже прохладно, часами лежал с французским романом на песке в укромном местечке среди краснотала, прислушиваясь к шорохам окрест. Вот слышится всплеск весла, шуршание камышей. Приехала на лодке? Да нет же, это дядя Вася, старый рыбак, на своей долбленке. С дядей Васей Комаров познакомился еще прошлым летом, они оба были привязаны к реке, хотя каждый по своему, а раз часто встречались, то не миновать было и разговориться.

Дядя Вася знал бесчисленное множество историй — и про реку, и про город, и про его обитателей, и про себя самого. Рыбачил он тут с детства, знал каждую заводь, и где какая водится рыба, и как ее взять. Одна из его историй касалась недавнего времени, когда старые казармы уже заполнились новыми людьми, вернувшись с войны.

Бывалый старшина-сапер увидел однажды, как дядя Вася сидит в лодке с тремя удочками посреди широкого омута, а клев никуда не годный, дядя Вася скучает и сердится.

— Эй, дед, — крикнула старшина, — чего зря время проводишь, не знаешь, как рыбу добыть? Давай вместе порыбачим, твоя лодка, мой инструмент?

Дальнейшее дядя Вася излагает следующим образом.

— Назавтрева приходит этот старшина с банкой большущей из-под консервов, в ей белая такая вещь, вроде как бы воск затверделый, а оттуда шнур тянется длинный, черный, блестящий. Залезает этот мой соучастник в лодку, выгребай, говорит, на середину. Ладно, заплыли, стало быть, на середину, кидает он эту банку в воду, а шнур черный запаливает зажигалкой с конца. Шнур быстро так тлеет, потрескивает, он его тоже в воду кидает, а он и там не гаснет, огонек по ем бежит. Ну, а теперь, говорит, отгребай подальше, да попроворней. Я давай веслом шуровать, стараюсь пошустрее, и что такое со мной сделалось, ни в жисть такого не бывало, я и так и эдак, а лодка кружится и кружится, ну хоть ты лопни, и никак с места не стронется. А бонба тама в глуби фурчит, а старшина как заорет на меня нецензурным матом, давай, старый хрен, отплавивай живей, чего ты крутишься как квочка над цыплятами, или хочешь, чтобы нас в щепки разнесло? Я тут еще пуще стараюсь, а получается только хуже через эту панику, кружимся и кружимся на одном месте. Я сижую, значит, сзади, старшина на носу, И тут оно ка-ак жажнет! Лодку как подкинет! Я гляжу и глазам не верю: не моя ли туловища полетела! Ум-то совсем отшибло энтим грохотом. А это старшина в небо взвился, в аккурат под носом рвануло, руками-ногами машет, высоко так метра на три или поболее, а потом плюх в воду! Однако выбрался, ничего. Я его в лодку втянул чуть живого, глазами ворочает, мычит коровой, слова выговорить не может, но все же очухался и давай меня костерить в три бога мать и так далее. А рыбы всплыло — мать родимая, весь омуток покрылся, и течением ее уносит потихоньку, вся кверху брюхом, аж бело стало па воде. Мы ту, котора покрупней, в ведро собирать да на берег выгружать, но где там, самую малость собрали, а погубили мульены несчетные. Нет, говорю я ему, я тебе в таком

промысле не товарищ, и ты нам эту моду не вводи, мы тут пока ищю от веры православной не отступились.

Сейчас Борису дядя Ваня вовсе не нужен, он лежит тихо и ждет, когда рыбак проедет дальше.

Он удивляется себе, как будто вполне легковесна эта связь, без глубоких чувств, без божества, без вдохновенья, а вот поди ж ты, оборвалась ниточка, и точит какой-то червь. Не ревность, нет — сожаление. Дело ясное, приехал муж. Делать нечего, отойдем в сторонку.

В редакцию он явился уже под конец рабочего дня.

— Вас искали, — сказала Анна Павловна. — Позвоните в политотдел.

— Где ты шляешься, — досадливо прохрипел со рванным голосом инструктор по пропаганде. — Тебя искали по всем полкам. Егорыч собирал политработников, завтра начинается инспекторская, приезжает целая команда из политуправления. Ты прикреплен к подполковнику, Лукашину, будешь при нем поводырем. Кто он по должности? А бог его знает. Вроде по бытовым вопросам. В общем, будь с утра на месте и жди сигнала.

Солнце палило не по-осеннему жарко. Подполковник Лукашин, высокий и тучный, изнывал под брезентовым тентом — плащ-палаткой, натянутой на четырех кольях позади огневого рубежа. Сняв фуражку, он измятым клетчатым платком утирал пот со лба и шеи. Он даже расстегнул ворот гимнастерки и ослабил ремень. Командир стреляющего батальона раздобыл где-то раскладной стул, подполковник грузно опустился на него и развернул газету. Капитан Комаров стоял сбоку и поглядывал на ревизора, стараясь уловить его реакцию. До этого они уже обошли расположение двух полков, осмотрели наглядную агитацию, пролистали подшивку газеты в редакции. Подполковник прочитал набранный крупными буквами призыв насчет отличной стрельбы и покосился на редактора.

— Ну, и как действенность?

— А вот сейчас посмотрим, — ответил Комаров...

Мешал разговору разноразной винтовочных выстрелов. Комбат стоял на огневом рубеже и в бинокль рассматривал мишени. Проверяющий от штаба округа то и дело заимствовался биноклем, склабился одобрительно, хлопал майора по плечу.

— Ну-ка попроси у них бинокль, — сказал подполковник Лукашин.

Комаров неохотно повиновался. Ему уже изрядно надоело за полдня прислуживать этому политвельможе. Удивительно, как неодинаково было ему тыканье в зависимости от того, кто себе его позволял: со стороны Егорыча или комбрига Мишутина он даже забеспокоился бы, если бы те вдруг стали величать его на вы, но тыканье этого постороннего начальника возмущало его и злило.

Подполковник поднес бинокль к глазам, с бровей капало, окуляры были ему не по размеру, дистанция не соответствовала его диоптриям.

— Ни черта не видно! — буркнул он недовольно и протянул оптику Комарову. — Отдай им.

Комаров отошел вразвалку, сам примерился к биноклю, подрегулировал, разглядел мишени, поражение было всем на зависть. Отдал бинокль комбату, вернулся не спеша под тент.

— А все же жарковато, — произнес подполковник Лукашин, Вытянул ноги. — Раздобыл бы ты чего-нибудь промочить горло. Минералки, что ли...

Что-то щелкнуло у Комарова внутри. Он принял стойку смиренно и отрапортовал четко, по-военному:

— Палатка военторга двести метров, азимут сто восемьдесят, желаю успеха. А у меня своих дел полно.

С этими словами он повернулся кругом и удалился неспешным шагом. Подполковник Лукашин, раскрыв рот от удивления, посмотрел ему вслед.

Дел у него было не так уж много, в редакции все

шло своим чередом, он мог бы даже не читать полосы очередного номера, вполне мог бы положиться на Налбандяна, но на сей раз надо было как-то хотя бы для себя самого оправдать дерзкое бегство от высокого начальства. И еще он сообразил, что теперь к его газетенке проявится особое внимание, нельзя допустить ни малейшей оплошности. Подписав листы и печать, капитан Комаров, не дождавшись конца рабочего дня, отправился домой. Почему-то вспомнилась ему дырочка в стене, завешенная ковриком с конным рыцарем и кринолинной дамой. Войдя к себе, он, повинувшись какому-то неясному побуждению, приподнял коврик за оба нижних угла и посмотрел на то сакраментальное пулевое отверстие. Оно было на месте, тускло проблескивал свинцовый задок застрявшей пули. Чего это я вдруг, удивился сам себе Комаров и отпустил коврик. Сел к столу, достал целлофановый конверт, написал на листке: «Тот кто дорожит чувством самоуважения, поступает так, как велят его внутренние убеждения, а не так, как диктуют внешние обстоятельства». Вложил листок в конверт, спрятал его в стол, подошел к буфету, достал начатую бутылку коньяка, засосал большой глоток, прополоскал подробно полость рта, как учил его когда-то фронтальной хирург Стражевский, проглотил, спрятал бутылку и лег одетым на диван. Он этого так не оставит, подумалось. Ну и наплевать! Все надоело.

24.

Какие нары лучше — нижние или верхние? Имелись разные мнения. Не сказать, чтобы это было дело вкусов, но личные качества обладателя, несомненно, играли важную роль. Слабосильным милее была, разумеется, нижняя койка: пригнал и с работы, плюхнулся и наслаждайся. Но те, кому взбираться наверх не в тягость, предпочитали верхнюю. У нее много преиму-

ществ, Филиппу Глаголеву они открылись не сразу. На первых порах он не имел ничего против нижнего места, указанного ему старшим барака.

Барак! Звучное слово — барак! Филипп был чувствителен к звучности слов. Чусовая... Тоже звучное слово. Долина сказочной красоты. А может быть это вовсе не Чусовая? Кто-то обронил это слово, бывал уже здесь, говорит. Рожа вполне бандитская. Но что рожа? Аль-Капоне выглядел вполне благообразно.

Их везли со станции С. в кузове ЗИСа. Вохровец с винтарем сидел на чурбаке спиной к кабине и дремал, несмотря на дорожную тряску, а они, тесно сгрудившись на полу, вбирали головы в плечи и поеживались от холодного встречного ветра, погода была прохладная, несмотря на июль. Одеты были кто во что, разношерстная компания, от бледности и нечесанности все как бы на одно лицо. Различались, конечно, по статьям и по срокам, но были между собой в большинстве еще не знакомы, лишь некоторые звали друг друга по имени или по блатной кличке.

Филипп неотрывно провожал взглядом пейзаж — уходящие вдаль ущелья, темные, густо заросшие кустарником, синеватые скалы, отвесно вздымавшиеся вверх на десятки метров, кудрявые поросли на их верхушках топорщились словно хохолки, взбитые над лбами приказчиков из пьес Островского — Филипп никогда не мог отделаться от литературных ассоциаций. Местами дорога близко подступала к реке, видны были белые, как мыльная пена, перекаты, но шума течения не было слышно за ревом мотора.

Жизнь продолжается, думал Филипп. После грязи, духоты и вони тюремных камер, тесноты арестантских вагонов зеленые взгорья под бледно-голубым северным небом казались землей обетованной. На свежем воздухе дышалось так сладко...

Десять лет! Сколько мне будет, когда они истекут? Немного за сорок? Возраст еще не пропащий. Только бы

дожить! Только бы не сломаться! Худшее, кажется, уже позади. А впереди? Говорят, на лесоповал. Говорят, дадут телогрейку. Говорят, кормежка от выработки...

Филипп никогда раньше не занимался физическим трудом и теперь им овладевало некоторое любопытство, подобное тому, какое испытывает добрый молодец на ярмарке, подходя к устройству по испытанию силы: сдюжу ли?

Его определили в сучкорубы, и он поначалу обрадовался этому. Что может быть проще — обрубить сучья! Но вскоре все валится из рук, поясница разламывается, но пуще всего, кто бы мог подумать, тяжелеют ноги, нет сил их поднять. Ходить по лесу, это не то, что по асфальту. Перешагивать через кочки, через заросли папоротника, через груды обрубленных веток, час, другой — и не поднять ногу в грубом сыромятном ботинке, будто пуд свинца в его подошве. Сердце колотится и хочет вырваться из груди, словно курица, которую несут на чурбан, голову рубить.

Нет сил подняться, чтобы идти на ужин.

— Ну, ты что, профессор? — эта кличка успела уже прилипнуть к нему. — Или не вкусна баланда?

Черт с ней, с баландой. Пожую, что осталось от пайки, кто-нибудь плеснет опивки чифиря в алюминиевую кружку...

Недели три спустя он стал втягиваться понемногу, меньше болели плечи, затвердели мозоли на ладонях, но тут случилась другая беда: не рассчитал точности и силы удара в основание тонкого сучка, топор скользнул по золотистому стволу сосны и саданул по голени, рассек штанину и чуть затронул кость. Филипп хотел смолчать, понимал, что могут заподозрить в умышленном членовредительстве. Но рана сильно кровоточила, ботинок тяжелел от набежавшей крови, и Филипп позвал бригадира... Бригадир сказал: «Заживе як на собаци», по все же отправил в санчасть.

При выписке пожилой профессор — не по кличке,

а диплому — сокрушался:

— Я бы затребовал вас к себе, да ведь статья, статья! Неподходящая статья! Вот были б вы какой-никакой воришка!.. Но на общие работы вам нельзя. Что нога, она беспокойства не внушает, а вот сердчишко, сердчишко надо побережь. Не хочу вас пугать, но предупредить обязан. Напишу вам справку...

На сучья Филиппа больше не ставили, он попал в команду уборщиков, для слабосильных, пайка шестьсот граммов. Начальник лагеря был великий чистоплюй и уборщиков держал сверх нормы, но поблажек им не давал. Старший команды был молчалив и с виду угрюм, дальше чем «фозми лепата» или «сопери фсе ф пальшой куча» его указания не простирались. Филиппу еще по Саратову был знаком этот говор волжских немцев, как-то он осмелился и бросил старшему пару слов по немецки.

— Буве, бишт ду эн дайчер? — обрадовался старик.

— Не совсем. Но из ваших мест.

Для Филиппа настали золотые деньки. Карл Давидович поручал ему самую легкую работу и отводил с ним душу в разговорах о привольной жизни на «Вольге», продолжавшейся до тех пор, пока «этот люмп Гитлер» не бросил тень на всех немцев, а другой проходец, оставшийся неназванным, «расогналь цветущую ресбуплику»..

— Как вы сюда-то попали, Карл Давидович?

— Это ошень просто. Моя швигертохтер — это, кажется, сноха? — она дольжна биля уходить в трудармию, но если дети до трех лет, то не брали. Метрики писали так: год рождения цифрой и словами, а месяц только римской цифрой. У ее ребенка стояло римское пять, я прибавил дфе палочки, это была обман, я понимали, что делаю неправильно, но мне было жалко мою бедную сноху. Следовательно сказали «грубая работа», и мне дали восемь лет, как са заботаж. Шесть лет уже

прошли. Осталось два года. Где найду потом майне либен, моих дорогих?

Ах, Карл Давидович, все под Богом ходим!

— Где ходим? Ах, зо, ах так... Ладно, иди работай. Бери тачка и тот большой куча перевези в тот большой яма.

Двор был чист, и чисты были помыслы Карла Давидовича. И ни тени уныния!

— Какие наши годы, — заканчивал обычно старый немец свои воспоминания подслушанной где-то фразой.

— А какие, Карл Давидович? Сколько вам стукнуло?

— Меня стукнуло? Ах зо... Зекс унд зекцихь ¹¹, круглое щисло, — жизнерадостно заключал главный уборщик лагеря, по-своему определявший, какие числа круглые, какие нет.

— А где ваша швигертохтер, знаете вы что-нибудь о ней?

— Нишего не снаю, но думаю, что ей нишего не делается. Она живучая, наша вся порода такая.

Что-то из «Фауста» думал Филипп Глаголев. Уж если он не унывает, то мне сам Бог велел.

Вскоре после Октябрьских ему пришла посылка: кулек риса, две плитки шоколада, две пачки печенья «Рот фронт», пачка чая и теплые носки. Все было переворочено, упаковки печенья разорваны. Однако по описи ничего не исчезло. А незадолго перед новым годом пришло письмо. Оно начиналось словами «Дорогой наш папочка», а в конце, рядом с подписью Тамары, были начертаны угловатые каракули и под ними расшифровка: «Это наша Катенька шлет тебе любовь и привет».

Уже стало привычным, что на новых поворотах его жизненного пути стояла эта рассудительная и ре-

¹¹ Шестьдесят шесть

шительная молодая женщина — теперь уже и с малым дитем, доставшимся ему по недоразумению, но странным образом прикипевшим к сердцу.

25.

Отчего-то в последние дни Комарову все чаще стал вспоминаться дезертир. Историю эту он никогда никому не рассказывал, да собственно и не было никакой истории, так, мимолетный эпизод без всяких последствий, но в память он врезался крепко и по каким-то неисповедимым законам движения мысли нет-нет да и напоминал о себе без всякой вроде бы связи с текущими событиями.

Прошлым летом по бригаде прокатился слух: в каком-то из соседних гарнизонов сбежал молодой солдат, скрывается где-то в лесах в северной части округа, дана команда принять меры к задержанию. Редактора Комарова эта ситуация по служебной линии никак не затрагивала, о дезертирстве в печати не сообщалось, где там, даже намек на возможность таких явлений в нашей классово сплоченной армии не мог просочиться на страницы газет, но сам по себе факт был из ряда вон и поэтому волновал Комарова. С чего бы это солдат вдруг решился па такое? Не выдержал муштры? Издевались командиры? Обижали товарищи? Дурные вести из дома? Религиозный дурман? Всякое могло быть, но никакая причина не служит оправданием, и каждый военнослужащий обязан был способствовать поимке беглеца.

В перерыв, после домашнего обеда, приготовленного Ефросиньей Корниловной, капитан Комаров по обыкновению выходил прогуляться. Почему-то избрал он на сей раз необычный маршрут, пошел не вниз к мосту, а в противоположную сторону, к северной окраине, где негусто росла тополиная роща, а за ней с крутого

обрыва открывался вид на противоположный берег реки. Комаров постоял на круче, любуясь голубыми водами, всплесками резвящихся рыбин, зелеными зарослями на том берегу, как вдруг заметил человека, поспешно пробирающегося в этих зарослях вдоль реки, вниз по ее течению. На нем была армейская форма, за плечами тощий вещевой мешок.

Дезертир, мелькнула догадка! Вот он, тот самый, которого выслеживают теперь по всем дорогам, подкарауливают на вокзалах и автобусных станциях, о ком спрашивают жителей... Что делать? Бежать, доложить? Эту мысль Комаров отвел, даже не задумываясь о мотивах. Он внимательно провожал глазами дезертира, терял его из виду, снова замечал, видел, как тот обходил топкие места, перешагивал через поваленные стволы деревьев. Очевидно, он шел без тропы, шел быстро, безоглядно, и вскоре скрылся за густым кустарником.

В задумчивости Комаров побрел прочь от своего наблюдательного пункта. Не хотелось идти на службу. Обойдутся без него. Хотелось забраться в лес, повстречать дезертира, сесть с ним у костра, закурить фронтовой махорки, чтобы этот дезертир рассказал без утайки, что заставило его изменить присяге... А впрочем, может он еще не принимал присягу? А может, то был вовсе не дезертир?

Дошагав в задумчивости до дороги, ведущей к мосту, Комаров свернул к реке, в мыслях все еще беседуя с дезертиром, перешел на другой берег и побрел по пыльному проселку в степь, расстилающуюся за узкой полоской прибрежных зарослей.

Ветерок ласкал серо-зеленую гладь степного ковра. Невидимый мир живых существ наполнял это море трав переливчатым гомоном, и казалось, будто гомонит сама степь, каждый стебелек своим жужжанием и звоном.

Комаров присел на камень у скрещения дорог. Солнце припекало. Вдали, на невысоком пригорке вид-

нелся хутор в мареве августовских полуденных лучей. По широкой ленте проселка, ведущего к хутору, пара крепких, гладких саврасок тянула большую железную бочку на колесах. На передке в разбросанной позе, как нельзя более гармонирующей с атмосферой томления и инерции, восседал возница. Это был невзрачный мужичонка лет сорока, с косматой белобрысой шевелюрой, выбивающейся из-под измятого картуза, с выцветшими бровями, заspanной, опухшей физиономией. Его черная рубаха была выпущена поверх серых порток, из которых высовывались, свисая с передка, корявые, почерневшие голые ступни.

Почувствовав жажду при виде водовоза, Комаров вышел на дорогу навстречу медленно приближавшемуся агрегату. Поравнялись, возница молча натянул вожжи и остановил коней. Не глядя на нечаянно встречного и не говоря ни слова, он достал из-под сидения ковш с длинной ручкой, зачерпнул воды из прямоугольного отверстия и безразличным, механическим жестом подал Комарову. Вода была студеная до боли в зубах, здесь где-то неподалеку находился знаменитый на всю округу родник. Бросив сонный взгляд на папиросу, дымящуюся в руке у Комарова, он не спеша достал кисет, свернул сигарку. Комаров протянул ему свою, мужичонка прикурил и отсутствующим жестом вернул окурочок.

— Дезертира не видел? — сказал Комаров.

— Чево? — только и вымолвил водовоз и тронул вожжами.

Комаров вернулся в редакцию. Никому ни слова. Пусть ловят те, кому положено по службе...

И вот теперь опять, ни с того ни с сего, стал возникать в памяти жаркий летний день, всплески резвящихся рыб в омутах, торопливая фигура в зарослях ивняка на противоположном берегу... Где ты теперь, мой непутевый дезертир? Едва ли удалась тебе твоя отчаянная попытка, пожалуй, схватили тебя где-нибудь на

подходе к родной деревне, припаяли положенный срок... Но я не участвовал в этом. Я тебе не судья. Я только свидетель — не перед судом, нет. Перед Богом и людьми. В Бога, положим, я не верю. Но заповедям Христовым — подотчетен? Выходит что так.

Явившись на торжественное собрание в честь очередной годовщины Октября, капитан Комаров увидел в продолговатом вестибюле группу знакомых офицеров, ведущих, покуривая, кулуарный разговор. Он направился было к ним, но, заметив среди них высокую фигуру подполковника Бурмакина, сменил направление. Ему показалось, что левый глаз Бурмакина косит в его сторону. Не то чтобы этот подполковник внушал ему страх или личную неприязнь, а просто действовала какая-то неведомая сила отталкивания, как между телами с одинаковым зарядом. Свернул, и тут же спохватился: с чего это я вдруг? Осознаю, что на подозрении? Бог ты мой, а кто у них не на подозрении? Что подумал он, если заметил мой финт? Преодолев инстинкт отталкивания, Комаров повернул опять в сторону знакомых офицеров. К его удивлению, а отчасти и к облегчению, Бурмакина уже не было среди них.

Неделю спустя в политотделе ему вручили командировочное предписание: вызван на заседание парткомиссии округа. Зачем? В качестве кого? Ничего неизвестно. Приедешь — узнаешь.

Южный город в осеннем убранстве располагал к меланхолии. Каштаны сбросили наряд, в городском саду стало светло и прозрачно, листва шуршала под ногами, античные герои с атрибутами древнегреческого воинства, но в благонравных советских трусах, равнодушно взирали на редких прохожих.

Истерия усековнения частей тела героев, не рекомендованных к выставлению на показ, еще была свежа в памяти горожан. Областное руководство, решив как-

то посетить места отдыха трудящихся, явилось сюда с чадами и домочадцами. Увидев статуи, скопированные местными ваятелями с шедевров Эллады, девицы прыснули и захихикали, а матрона склонилась к уху первого лица и нервным шепотом выразила свое негодование. Наутро горожане ахнули: за одну ночь все до единого древние греки лишились главных признаков своего мужского естества, а оставшееся им в удел место было защищено легкоатлетическими трусами.

Комаров заглянул к старому приятелю, служившему в окружной газете. Ее редакция занимала трехэтажный кирпичный дом в стороне от главного проспекта, в котором, по слухам, до революции помещался солдатский бордель. Напротив располагались корпуса знаменитой консервной фабрики «Смычка», аппетитные запахи жареной рыбы и маринада щекотали ноздри военных журналистов. Столовая при фабрике, рядом с проходной, славилась изобилием и дешевизной. Проходя по коридорчику, ведущему в общедоступный зал, можно было увидеть слева за проволочной перегородкой приемно-заготовительное помещение, где на цементном полу лежали бревноподобные шестиметровые донские белуги.

Отягощенные обильным ужином, друзья долго бродили по улицам вечернего города, обсуждали, зачем бы редактор захолустной дивизионки мог понадобиться окружной парткомиссии, и ни одна из догадок не была утешительной: за лаврами на парткомиссию не тянут. Каким бы балагурством ни развлекал его друг-приятель, ничто не могло высвободить Бориса Комарова из хватки ожидания беды, бесформенной, неопределенной и неотвратимой. Это ожидание было мучительнее, чем сама невозможнейшая беда. Ему вспоминался рассказ про жуткую казнь в Занзибаре, вычитанный давным-давно то ли у Карла Мая, то ли у Стивенсона: в отлив вора закапывают по горло в прибрежный песок, и он ожидает прилива, который накроет его с головой.

Явившись к десяти ноль-ноль, капитан Комаров доложилась полнотелой девице в военной форме, но без знаков различия.

— Посидите, — сказала девица и вошла в начальственный кабинет. Возвратившись, она взглянула на него с сожалением: — Заседание начнется в шестнадцать часов. А это, — она протянула ему несколько сшитых скобкой листков, — вам для ознакомления. Сядьте вон там и прочтите.

Что это? Обвинительное заключение? Донос? С первых же строк кровь хлынула к голове. «...Злоупотребив оказанным доверием, восхваляя царскую армию, ставил в пример белогвардейских офицеров...» Боже, когда ж это было? Ах, вот когда: в передовице о славных традициях русского оружия упоминался кроме Суворова и Кутузова еще и Брусилов и употреблялось выражение «отцы-командиры»... «Во время службы в Германии якшался с немками... Занимался сбором антисоветской литературы...» Узнаешь, откуда ветер дует! А ты — «забиться в угол»... Да они вездесущи! Контакт двух родственных учреждений как на ладони. Но вот, кажется, венец уничтожающей характеристики: «В период подготовки к XIX съезду партии публиковал провокационные призывы...» Какие же это? Не иначе имелось в виду «...встретить отличной стрельбой!». В корень смотрел товарищ подполковник!

Ай да ревизор! Ты не остался в долгу, с лихвой отплатил за мою непочтительность!

Из двадцати пунктов состояла бумага, и каждого в отдельности хватило бы на отправку в места не столь отдаленные... Привет тебе, родная Колыма, незримо ты с нами во веки веков!

Сапер ошибается одни раз в жизни, а редактор два: первый раз, когда идет в редакторы. Так острили у них в армейской газете, только тогда это было смешно, а теперь Комарову было не до смеха.

Два генерала и шесть полковников расположились по сторонам длинного приставного стола, а за главным, письменным столом восседал в кресле с деревянными подлокотниками седьмой полковник с выразительной фамилией Сердюк. Подлокотники были жесткие, едва положив на них свои тяжелые, пухлые предплечья, тучный полковник тут же их перемещал, поглаживал, опираясь локтями на стол, хмурился, и на его красном лице гипертоника отражалась досада от физического неудобства.

Присутствующие смотрели на Комарова, стоящего в двух шагах от главного стола — сесть ему не предложили, — с любопытством, иные с каким-то плотоядным восторгом, подобным тому вожделению, каким компания гурманов встречает аппетитное жаркое, и даже, как показалось Комарову, у некоторых сладострастно раздувались ноздри.

В углу длинного кабинета, по правую руку от письменного стола, на деревянной подставке, напоминающей постамент, монументально громоздился толстостенный сейф, железный куб с закругленными гранями, его дверцу украшала толстая, блестящая Т-образная рукоятка с шаровым утолщением посередине, а выше и ниже ее висели круглые заслоночки, прикрывающие отверстия для ключа. Этот предмет притягивал к себе взгляд Комарова, словно это был третий, самый важный генерал. По портрету позади письменного стола Комаров лишь скользнул взглядом, тут ничего нового не предполагалось, а там, в сейфе, могли содержаться гороскопы множества человеческих судеб.

— Партбилет с собой?

Голос главного инквизитора звучал хриловато, как от простуды.

— Так точно.

— Хм, устав блюдешь... Тут действует другой устав, партийный. Вот так-то, коммунист — пока еще — Комаров... Положите партбилет вот сюда, — он указал

на край стола.

Комаров повиновался.

— С докладной из политуправления ознакомились?

— Так точно.

— Ну, так расскажите нам, как дошли вы до жизни такой!

— Какой?

— А вот такой, которая привела вас на заседание парткомиссии.

В интонациях председательствующего слышалась готовность позабавиться. Так жизнеобильный кот, поймав мышь, не спешит с пей расправиться, отпускает ее в побег и тут же настигает снова.

Комаров оглядел присутствующих. На лицах светилось предвкушение забавы. Только один полковник, в погонах с черной окантовкой и молоточками, не смотрел в его сторону, выглядел безучастно и перелистывал разложенные перед собой бумаги. Остальные замерли настороженно, как футбольные болельщики в ожидании гола.

Окружен, и нет путей отхода, сказал себе Комаров. Ну, раз так, не стану я перед вами шапку ломать! Семь бед, один ответ.

— Значит, как дошел... Откуда начинать? С папы и мамы? Дедушку с бабушкой не трогать?

— Ну-ну, Комаров! Вы тут не очень-то распоясывайтесь. Ведите себя как положено. А то ведь могут возникнуть неприятные для вас последствия.

— А что вы меня пугаете? — Комаров криво усмехнулся. — По мне стреляли.

Выпалил, и сам удивился своей отваге. Полковник инженерной службы поднял голову и поглядел на Комарова с любопытством. Секретарь парткомиссии раскрыл рот, но слова застряли у него в горле. Пехотный генерал с целой лестницей орденских планок поспешил ему на выручку:

— Ну, вы вот что, капитан. Нечего тут щеголять этим делом. Не вы один воевали, а партийная дисциплина для всех одинакова.

— Вы поняли, Комаров? Перейдем к обсуждению, — сказал председательствующий. — Все товарищи знакомы с делом? Прошу задавать вопросы.

И пошло, и поехало!..

— Почему вы после высокой должности оказались редактором бригадной газеты? Вас направили или вы сами пожелали?

— А почему вы отказались от офицерского общежития живете на частной квартире?

«Провокационных призывов» никто не касался. Конечно, любопытно было узнать какие-такие именно. Но — дело щекотливое, как бы не оступиться...

Как вы объясните, что в редактируемой вами газете не появилось сообщение о выходе в свет труда товарища Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР»?

Вот оно! Внимательно же изучал подполковник Лукашин подшивку его газетенки!

Он попробовал объяснить. Газета выходит по средам, а в центральной печати сообщение появилось в воскресенье, московские издания поступили в понедельник, их все прочли, по радио сообщение передавали несколько раз — какой же смысл публиковать то, что всем известно?

Вот эти-то доводы их больше всего и возмутили. Как можно рассуждать о произведении величайшего гения человечества с позиций будничной целесообразности? Да кто ты такой, чтобы решать, сообщать или не сообщать о событии, связанном с именем товарища Сталина? Да всякий печатный орган должен почитать за величайшую честь... Они словно соревновались друг с другом, кто сумеет дать его проступку самую уничтожающую оценку, чтобы степенью осуждения, пылом негодования выразить свою верность принципам, на

которые он посягнул. Они могли бы простить, если бы это было простой оплошностью. Но ведь он действовал — сознательно! Еще и обосновывает!

А зачем ему было признаваться в преднамеренности? Почему было не сказать: упустил в запарке, виноват! Черт его дернул отчитываться в своих соображениях! Вот и допрыгался. Можешь считать свою биографию испорченной окончательно.

Эх, надо было, надо было!.. Комаров, как многие из нас, крепок задним умом, ему недостает быстроты реакции, так необходимой во всяких передрыгах. Вернее сказать, он обычно реагирует даже слишком быстро, мгновенно — но неправильно, необдуманно, а потом мучительно сожалеет о вырвавшемся слове, которое не воробей, о поспешном решении, о неосторожном поступке. Оплошности такого рода могут проистекать как от излишней самоуверенности, так и от неуверенности в себе, что сродни комплексу неполноценности... Когда-нибудь Комаров постигнет все эти и многие другие взаимосвязи, но пока его мысли заняты текущим моментом.

А вдруг они правы? Может быть в самом деле есть такие области жизни, есть такие обстоятельства, где здравый смысл, обычная человеческая логика — недействительны? Чего-то он недопонимает! Он мыслит не так, как нужно. Ведь эти высокопоставленные люди вроде бы непритворно возмутились, неужели все они глупее его? И ведь, кажется, никто не хочет ему зла, да и с чего бы? Ему предлагают: признай свою ошибку, дай надлежащую оценку! И это определит наше решение, такой подтекст слышится в этих призывах. А если здраво рассудить, что мне стоит сказать: да, я глубоко раскаиваюсь, расцениваю свой поступок как грубое политическое недомыслие. Почему же не может он выдавить из себя эти слова? Ведь их подсказывали ему! Нет, не может. Язык не поворачивается.

Значит, все правильно. Так мне и надо!

На портрете дядя с трубкой шурил левый глаз.

В самую трудную минуту поднимает голову полковник инженерной службы:

— А скажите, капитан, вы проходили специальную подготовку как военный журналист? Или хотя бы как журналист обыкновенный?

— Никак нет. Специальной подготовки не имею.

Мелькает догадка: уж не моя ли анкета у него перед глазами?

— А скажите... — Интеллигентный полковник говорит нарочито медленно, внушительно припечатывая слова, — каким образом вы попали в армейскую печать?

— В общем, случайно. Меня вытащили из стрелковой роты. Вероятно потому, что в моем личном деле было записано высшее образование.

— А скажите, у вас есть боевые ранения?.. А подвергались ли вы раньше партвзысканиям?

Председательствующий проявляет нетерпение: в коридоре ждут другие своей очереди!

— Есть еще вопросы к Комарову? Нет? Идите, капитан. Решение узнаете завтра. Явитесь к десяти ноль-ноль. — Комаров тянется за красной книжечкой. — Нет, партбилет оставьте.

Остаться без партбилета — это совсем не то, что сравняться с беспартийными. Это означало почти то же, что оказаться вне закона. «Фрайвильд», вспомнилось Комарову немецкое выражение — дичь, дозволенная к отстрелу.

Он вышел на проспект имени прославленного шашкомахателя. Дул сильный влажный нордвест. Подняв воротник, Борис сгибался навстречу ветру, прятал подбородок в вырез шинели, но не досадовал: ветер освежал его воспаленные щеки, словно прикосновением прохладной руки. Безотчетно шагал и шагал, и вдруг опаматовался: куда, собственно, иду?

В голове бродили отрывочные мысли, темные и

безрадостные, как клочья облаков, проносящихся по вечеряющему небу. Эти мысли, навеянные пасмурным обстанием земли, роились и путались, и свои невзгоды тускнели на фоне сумрачной вселенской круговерти.

Правоверные тупицы продолжали громить космополитов, вейсманистов-морганистов, кибернетиков, прибирая к рукам освобождающиеся должности, квартиры и пайки... На недавнем съезде Микоян похвалялся ростом потребления спиртных напитков, как показателем того, что жить стало лучше, жить стало веселей, а возле «голубых Дунаев» калеки на роликовых «подносах» пропивали собранные с прохожих медяки... «Отравители» из кремлевской больницы сели в тюрьму, и больные не шли на прием к врачам-евреям... Вот и ты попал под колеса все той же бездушной машины — умирать по этому поводу или гордиться?

Наутро, взбодрившись под холодным душем. Комаров вышел подышать. Обрывки облаков серебрились в бездонной вышине. Исключили? Влепили строгача с предупреждением? А, черт с ними! Погибать нам рановато, как-нибудь уж пристроимся в жизни, а ее вон еще сколько впереди...

Полковник Сердюк встретил его неожиданно мягкой, даже покровительственной, благодушной речью:

— А, Комаров... Мы тут вчера немного погорячились... Тут, видишь ли, вот какая выяснилась особенность. Не положено нам тебя разбирать, как младшего офицера. На окружной парткомиссии подлежат разбору только старшие офицеры, начиная с майора и выше... А ты — капитан, тебя должны разбирать у себя в бригаде. Он достал из кармана связку ключей, звякнул ими, натренированными движениями отпер сейф и достал красную книжечку. — Вот, держи. Дело твое мы перешлем. Можешь идти.

Комаров взял партбилет и вышел молча, даже не козырнув. Так зачем же вы глумились надо мной целый час? Значит, спектакль? Паразиты! Разве вчера вы не

знали, что я вам неподсуден? Для острастки, да? На это вы мастера.

Гроза пронеслась, но радости не было. Вот так и живем: побранят, да и простят. А захотят и не простят. Почему-то опять вспомнился дезертир, вспомнилось, как, проводив его взглядом, сам он бежал из рощи, чувствуя себя чуть ли не сообщником, и как, словно, взглянув на себя со стороны, удивился сам себе и обнаружил в себе что-то новое, или что-то забытое, глубоко заложенное до поры до времени. Так и теперь, бредя без цели по пустынному парку, он вслушивался в какие-то неясные процессы, происходящие в его сознании, и ему казалось, что в нем сейчас пробуждается другой человек, умудренный, понимающий, который уже не сможет думать так, как думал вчера.

Приехав с утренним поездом, он направился прямо в политотдел, доложил полковнику Пустовалову, рассказал, как было дело.

— Ладно, поглядим. Иди, работай.

В редакции все шло заведенным порядком. Никто ни о чем не спрашивал. Наверное, знали. Если бы не знали, то спросили бы.

Он только вечером пошел к себе домой. На душе было все так же муторно. Западный ветер швырял в лицо какую-то влажную муть, желтые, неполного накала фонари на невысоких столбах раскачивались круто и неравномерно, вдруг, накрывая улицу черной тенью, и от этого земля под ногами казалась палубой корабля, раскачиваемого океанской волной. Он шел по середине улицы, ноги вязли во влажном песке, истертом в пыль колесами автомашин. Он не спешил, не ожидая ничего хорошего от встречи со своим холостяцким логовом. Что происходило тут в его отсутствие? Вспомнилось, как смотрел в его сторону подполковник Бурмакин накануне вызова в округ. А может, он вовсе и не смотрел в его сторону?

Закипала злость на самого себя: ты уже трусишь!

Откуда этот подлый страх, ведь даже когда по тебе стреляли не было такого страха! Это не тот элементарный страх, который внушает определенная, ясная, открыто заявляющая о себе опасность. Это страх от сознания беспомощности перед незримой, бесформенной, темной силой. Придут и скажут: собирайтесь. И соберетесь. И пойдешь.

Ах, глупости все это, бред собачий! С чего бы это вдруг? У тебя же и в помыслах не было... Чего не было в помыслах? А вдруг что-то было? А может быть, есть и сейчас? Почему ты никому не доложил про дезертира?

Они могли прийти с обыском в его отсутствие. Надо быть ко всему готовым. То есть, надо подготовиться. Помнишь, у нас в армейской газете говорили: лучше перебдеть, чем недобдеть. Придут, станут рыться в бумагах... Вот-вот: бумаги! Был обыск? Не было? Куча всяких записей. Надо немедленно разобраться.

Домик под тополями дышал миром и покоем, за ставнями не пробивался свет, наверно, хозяйка уже спала, она любила ложиться спозаранку. Комаров, взялся за большое железное кольцо, повернул его, глухо стукнула щеколда, отворилась калитка, он вошел во двор, нащупал ногой узкую дорожку, вымощенную кирпичом... Всего четыре дня не был он здесь, а все представлялось, как впервые, или как после долгой-предолгой разлуки. Поднялся на высокое крыльцо, достал длинный ключ из кармана шинели, отпер ветхую дверь, петли жалобно скрипнули. Проходя мимо бачка с водой, задел за рукоятку ковша, всегда лежащего на крышке, ожесточился от произведенного шума и, перестав осторожничать, прошел в свою комнату. Он не запирает ее на замок, чтобы хозяйка могла войти при надобности, не запирались и ящики письменного стола.

Сбросив шинель на диван, он зажег настольную лампу, выдвинул средний ящик. Здесь хранился заветный целлофановый конверт, набитый исписанными листками — цитаты из прочитанных книг, газетные

вырезки, собственные мысли. Зачем он собирал все это? Мало ли зачем. Когда-нибудь пригодится. Какой журналист не тешит себя надеждой сотворить когда-нибудь что-нибудь значительное.

Он высыпал на стол плотно слежавшиеся листки, получилась целая гора. Когда-то он хотел рассортировать их по тематике: литература и искусство, философия и социология... Руки не дошли. И слава Богу, что не дошли. Сразу было бы к чему прицепиться. Хм, философия! Философия бывает разная. А «социология», это что еще за птица, у нас такого понятия нет и быть не может, откуда он его взял, уж не из западных ли источников? Он принялся раскладывать листки, наскоро прочитывая их: опасные направо, безопасные налево.

«Авторитет правомерен только за тем, кто признается в незнании». — Куда, направо или налево? Спросят: а кого вы имели в виду? Кого, кого, ну, разумеется его, кого же еще. Его, непревзойденного знатока всех наук и всех общественных процессов. Догадаются? Как дважды два. И зашумят: охайвал. Значит, направо...

«Непрерывно доказывать, что все хорошо, значит сопротивляться всякому улучшению», — Направо!

«Счастье человека измеряется числом людей, хорошо к нему относящихся», — Ну, тут уж, кажется, не к чему придраться. Налево.

«Никакая наука не может развиваться, не отвергая прежних открытий. Буквоеды держат оборону тупиц против тех, кто способен что-то придумать». — Помнится, это из афоризмов Русланова. Направо.

«На Руси спокон веков карали не тех, кто плохо поступает, а тех, кто об этом говорит». — Направо.

«Едва ли где-нибудь кроме России с ее огромными расстояниями, слабостью средств связи и патриархальщиной могли сложиться такие различия между столицей (столицами?) и всей страной. Это куда? Вперед бы нейтрально... Рискнем положить налево.

«Прежде, чем стали доказывать, что Бога нет,

кто-то должен был утверждать, что он есть». — Идейная неустойчивость! Или не так страшно? Нет, все же направо.

Комаров читал и читал, проглатывал старые записи увлеченно, сердце замирало от привкуса запретности, вдруг вознесшегося над его бесхитростными заметками.

«Если бы не было богатого привилегированного слоя, выходцы из которого могли, не заботясь о прокормлении, посвятить себя борьбе за уничтожение привилегий, как тогда добивался бы рабочий класс своей гегемонии?» — Это уж чистая крамола! Направо.

«Есть люди, которые сделали своим призванием быть несчастными и не находят себя ни в какой другой роли», — Это куда? Если спереди приставить в «капиталистическом мире», сойдет для левой стопки. Пока отложим в сторону.

«Чувство юмора и склонность к игре мысли — мера запаса интеллекта. Проба на чувство юмора должна стать первой составной частью оценки умственного потенциала». — Ох, сложный случай. Кто-то может — и не без основания — принять на свой счет. Тоже в сторону. На нейтральную полосу, пока. А там посмотрим.

«Рассчитывать на успех новых идей можно лишь привязав их к господствующей идеологии. Иисуса Христа его сторонники были вынуждены объявить сыном Божьим, чтобы внушить доверие к его проповеди». — Жаль, но все же направо.

Правая горка росла, левая заметно отставала. Сколько же у меня несогласий с генеральной линией!

«Либеральная оппозиция показывает нам уровень политического сознания, как вообще оппозиция служит показателем развития данного общества... Цензура... есть воплощение несвободы, есть борьба мировоззрения видимости против мировоззрения сущности, она имеет лишь отрицательную природу... Ни один человек не борется против свободы, — борется человек, самое

большее, против свободы других». — Боже праведный, да за такие слова... В дрожь бросает от таких утверждений! Постой, погоди... Эти слова — чьи они? Ведь это из Маркса! В прошлом году ты взял в городской библиотеке первый том сочинений Маркса и Энгельса, никто этих книг сроду не брал, сказала библиотекарша, а ты взял — ей на удивление!

Но — скажут, врешь, не мог Карл Маркс говорить такое, и даже проверять не станут. Или, скажут, вырвано из контекста. Ступай направо, классикосновоположник, с тобой недолго и в кутузку угодить!

Покончив с содержимым конверта, Комаров стал вспоминать про всякие блокноты и тетради, где посреди набросков «для дела» могли оказаться такие заметки «впрок». Он шарил по ящикам стола, в решимости выловить все, что может содержать хоть малейший намек на отсутствие идейной устойчивости. Одна предполагаемая запись тревожила его больше всего.

Лет около пяти назад, году так в сорок восьмом, два популярных политика, югославский маршал Йосиф Броз Тито, герой партизанской войны, и болгарин Георгий Димитров, герой лейпцигского процесса, пытались договориться о создании Балканской федерации. Трубила об этом вся мировая пресса, поначалу и «Правда» с «Известиями» подавали сообщения об этой идее не только без осуждения, но даже с понятным энтузиазмом: еще бы, мощная социалистическая держава на юге Европы. Но стоп! — вот именно то, что мощная социалистическая и вызвало настороженность. Ведь это означало, что такая держава может перестать слушаться команд из Москвы, может сделаться самостоятельной в своих решениях, в своих программах построения социализма, отличных от предначертаний Великого кормчего!

Идею Балканской федерации удалось раскусить, она была развенчана, а ее инициаторы Тито и Димитров приглашены в Москву для обсуждения возникшей ситу-

ации. Маршал Тито, травленный волк, приглашением благоразумно пренебрег и был объявлен агентом вражеских разведок. Георгий Димитров, верный коминтерновским принципам, приглашение принял и по прибытии попал в Кремлевскую больницу, где благополучно скончался. Вскоре после его кончины последовали разоблачения кремлевских врачей-отравителей. Случайное совпадение? Может быть и случайное, но очень уж некстати!

Где-то должна быть запись на эту тему. Комаров лихорадочно шарит по ящикам стола, перелистывает блокноты, перебирает уже просмотренные записи, и ничего не находит. Что за наваждение! Или не было никакой записи? Может быть, это все только вертелось у него в голове? А может быть он просто делился с кем-то этими мыслями? С кем, когда? Нет, ничего не может он вспомнить. Эх, да что там рассуждать, уничтожить без разбора весь этот бумажный хлам, избавиться разом от этой бумажной горы, загромоздившей весь стол. Каким образом? Проще простого воспользоваться вот этой вделанной в стену голландкой, облицованной белым изразцом, но что значит жечь бумаги в ожидании ареста? Это значит вредить самому себе. Даже если растереть кочергой весь пепел, чтобы ничего нельзя было восстановить, все равно ухищрения будут разгаданы как попытка замести следы. Голландка отпадает.

Стенные часы в хозяйкиной комнате проббили три. Оставалась еще масса неразобранных бумаг, надо довести дело до конца, и спать в общем-то не хочется, занятие держит в напряжении. Комаров продолжает просматривать записи, но наконец убеждается в безнадежности затеи. Он сгребает все в одну кучу: подумаешь, драгоценность!... Но где сжигать? Ладно, утро вечера мудренее. Сегодня уже не придут, осталось каких-нибудь пара часов до рассвета. Не раздеваясь он заваливается на диван и погружается в некрепкий, нервный сон, полный нелепых, пугающих и сумбурных

сновидений.

Утро выдалось пасмурным. Накрапывало. Он вышел на крыльцо. Серый рассвет дышал промозглой сыростью. Сорняк на задах хилился долу под пеленой белесого тумана. Неслыханное сочетание: туман и дождь! Слева, возле ветхого тына, отделяющего хозяйкин огород от соседнего участка, высился узкий серый домик из горбыля. При виде сей надворной постройки, среди множества названий которой Комаров предпочитал русско-французское «сортир», его осенило: вот здесь-то я и осуществлю задуманное! Он вернулся в дом, собрал наспех бумаги, предназначенные к сожжению, нащупал в кармане спички и вышел вон. На душе была странная приподнятость, как перед парашютным прыжком. Сейчас он избавится от всего этого компрометирующего материала, он надует их, обведет вокруг пальца, пусть приходят, ни черта они не обнаружат, ничего не смогут доказать.

Запершись в щелястой некрашеной будке, он начал один за другим комкать коварные исписанные листки, поджигать и пылающими бросать их в непотребную дыру. Однако горящие комки гасли, не долетая до дна, в несгоревшем виде продолжали представлять собой улику. Комаров перестал сминать их и, поджегши, держал в руке до тех пор, пока терпели пальцы. Дотирая на лету, вместилища его собственной и заемной мудрости наполняли помещение едким дымом, который постепенно сгущался и через щели выбивался наружу. У Комарова запершило в горле, защипало в глазах, но он все продолжал свою уничтожительную работу. Ему вспоминалось крылатое «И дым отечества нам сладок и приятен!» Он тут же попытался прогнать от себя эту неуместную ассоциацию в испуге, как бы кто не узнал, что у него вертелось в голове эта кошунственная в данной ситуации фраза, доказательство его недостойного образа мыслей: черт их знает, а вдруг они видят нас насквозь?

Приятен или нет был ему этот дым, в конце концов он закашлялся и с ужасом подумал: ведь дым вылезает из щелей наружу, увидят, подумают пожар, прибегут гасить. Он выскочил, огляделся. Слава Богу, «дым отечества» пока не привлек ничего внимания. Но что делать с остатком?

На терраске Комаров обнаружил выеденную консервную банку из-под тушенки. Прихватив ее, он вошел в свою комнату и туго набил банку оставшимися бумагами. Куда с этим добром? Ноги сами понесли его по безлюдной улице в направлении тополиной рощи. Выйдя на тот самый крутой берег, с которого когда-то он увидел дезертира (или это был не дезертир?), Комаров вынул банку из-под полы шинели, размахнулся и швырнул ее в темные воды реки. Банка плюхнулась недалеко от берега, надо бы подальше, но что ж теперь делать... Разучился бросать, отметил про себя Комаров и загрустил.

Ты искал здесь тихой пристани, сказал он себе. А что нашел? Нет, братец, напрасный труд. Нет нигде от них спасения. Они вездесущи, все пронизано их щупальцами, везде присутствует всевидящее око...

Он шел из леса, и в глазах его стояли слезы — то ли от ветра, то ли от обиды. До его сознания вдруг дошла вся вздорность и весь стыд его поступка. И он подумал: черт с ними! Больше никаких мер безопасности. Хватит праздновать труса.

Шли дни, ничего не происходило. Комаров продолжал являться в редакцию и просиживал в ней теперь дольше, чем бывало. Он реже ходил в «частя» и меньше мудрил над содержанием передовиц, махнув рукой на свое правило давать читателю, насколько возможно, пищу для ума. Теперь он равнодушно следовал «спущенным» рекомендациям, воплощенным для видимости в тематический план, и странное дело, чем меньше он старался отойти от таблоид в своих

статейках, тем труднее они ему давались.

Время от времени он справлялся у майора Пономарева, секретаря бригадной парткомиссии, — ну что, не доехала еще телега? И вот наконец прозвучало в ответ: зайди.

Заседание было коротким. Майор Пономарев зачитал бумагу. Семеро офицеров, бывалые фронтовики, все добрые знакомые капитана Комарова, недоуменно переглядывались, пожимали плечами. Но раз есть указание, обсудить, значит придется обсуждать. Судили, рядили и так, и сяк. Конечно, имелись отдельные недоделки... Отдельные неточности в формулировках... Но чтобы так уж... Мы же знаем его, как облупленного...

Так какое будет решение? Без последствий оставить нельзя, как-никак указание свыше. Придется вынести выговор. С занесением или без? Ну, зачем же так сразу... Дадим без занесения.

Проголосовали единогласно.

Комаров шел домой, ликуя. Вот оно, настоящее боевое братство! Они-то его знают, как облупленного. Они-то понимают, что никакого преступления он не совершал. Утерли тебе нос, подполковник Лукашин! Но чем дальше он проворачивал в уме все обстоятельства, тем больше улетучивалось его торжество и все яснее вырисовывалась трезвая оценка. Ведь «телега» пришла сверху! На таком либеральном решении начальство не успокоится. Назначат новое разбирательство, членам бригадной парткомиссии укажут па мягкотелость, а в первую очередь ее секретарю... Он едва дождался утра, и как только явился на службу, позвонил майору Пономареву:

— Слушай, Коля... Вот вы вчера подошли по-человечески, дали без занесения... Спасибо, конечно, только видишь ли, какое дело... Они ведь не утвердят. Заставят пересмотреть. Еще и вас начнут таскать за беспринципность. Ты знаешь что? Давай переиграем... Влепите мне на полную катушку. Так и вам будет

лучше, да и мне спокойнее.

— Ты мыслишь по-государственному, парень. Ладно, сейчас обзвоню ребят. Строгач с занесением тебя устроит?

— В основном, да. Но лучше с предупреждением, Коля.

— Вот даже как? А зачем тебе это?

— Есть кое-какие соображения. Потом скажу.

Соображения Комарова были вполне реалистичны. Бесплодность и ненужность его дальнейшего пребывания в должности редактора дивизионки стала очевидной. С незначительным партийным взысканием его еще долго держали бы в этой шкуре, а с весьма серьезным, да еще за идеологические проступки, он уже не годился на редакторский пост. Как только утвердят взыскание, последует освобождение от должности, а там — рапорт на увольнение, и — прощай, оружие!

Неспешно ходят по инстанциям бумаги. Состоялся новый год, февраль отшумел метелями, а приказа все не было. Как-то утром, в первых числах марта, Борис Комаров шел, скучал, вдоль наружной стены военного городка. Являться на службу не хотелось. Все знали, что ему предстоит. Редакторские обязанности он с негласного благословения политотдела переложил на Ашота Налбандяна, договорившись заодно о его представлении через ступеньку сразу к званию старшего лейтенанта, и теперь ходил в «присутствие» больше для проформы, помогая в литературной обработке «материалов» — это слово почему-то всегда стояло ему поперек горла.

Атмосфера была насыщена тревожным ожиданием. Третий день московское радио передавало, а газеты печатали бюллетени о состоянии здоровья товарища Сталина. Догадка, все больше переходящая в уверенность, вертелась в голове: Сталин мертв. Никто не рискнул бы передавать такие мрачные сводки о его болезни, если бы в перспективе виделось выздоровле-

ние. Сталин умер?

С каким чувством он воспринял бы это известие? Горести-печали? Что-то и намек на это не было в его трепетном предчувствии. Так может быть, торжества и ликования? Вот это было уже ближе к истине, хотя... Он сам себе не мог признаться в этом до конца. Всенародный театр никого не отпускал со сцены: будь ты хоть статистом, но соблюдай уговор, не порти панораму.

Комаров с детских лет недоумевал, как легко дается человеку двуличие. В общем-то трезвомыслящие люди, чуть что, ревностно изображали преклонение перед вождем, которого в душе проклинали. Повзрослев, он понял, что это было выражением всеобщего панического страха перед аппаратом насилия. Тошно было слушать лицемерные славословия в адрес творца и вдохновителя всех и всяческих побед, и неотвратимо росло отвращение к трагическому фарсу. Иногда приходило ему на ум: а может быть он чего-то недопонимает, может быть, действительно, так нужно для каких-то высших целей? Но нет, не мог он убедить себя в этом, и его внутреннее неприятие правил игры, которое необходимо было тщательно скрывать, не позволяло ему усердствовать в холопстве. В глубине души он гордился тем, что ни разу за время своей журналистской карьеры не осквернил свое перо упоминанием имени Сталина, воздавая ему хвалу, а без такого воздаяния само упоминание этого имени было немыслимо. Не то что протест, даже эта пассивная увертка была чревата опасностью, но ради самоуважения стоило рисковать.

Как всякий рядовой советский гражданин, Комаров не мог знать всей правды о Сталине, о его коварстве, о мотивах его поступков, не мог проникнуть в суть его политики, но как всякий здравомыслящий человек он осуждал его — отчасти инстинктивно, отчасти по здравому соображению о событиях, происходящих на виду у всех.

И вот — неужели свершилось? Неужели конец

тирании, безумству и несправедливости? Да, да, теперь все будет по-другому!

Так он шел, размышляя, и тут слух его уловил слабое звучание траурной мелодии. Это не было «Вы жертвою пали», не был и траурный марш Шопена, звучало что-то из Бетховена, может быть из Генделя или Баха, но минорный строй был однозначен, а исполнение было непревзойденным, так играть мог только симфонический оркестр высочайшего класса. И казалось, что он играл с особым вдохновением.

Отзвучали последние такты симфонии, и из репродукторов, отрегулированных на полную мощность, на всю округу прогремели слова:

— От Центрального комитета...

Капитан Комаров заторопился в редакцию.

— Слыхали?

Сотрудники молча сидели у приемника. Чередуюсь с минорной музыкой, сообщение передавалось через каждые полчаса...

Зазвонил телефон.

— Капитан Комаров? Зайдите в политотдел.

Ему вручили выписку из приказа: отчислить из рядов Советской Армии.

Так день пятого марта стал для него памятным вдвойне.

Придя домой, он застал хозяйку в слезах. Хорошая женщина сидела у кухонного стола, слушала музыку, слегка раскачиваясь в такт и время от времени сморкалась в платок.

— О чем плачете, Ефросинья Корниловна?

— Да как же... Ленин умер...

— Не Ленин, а Сталин.

— Да ведь все равно... жалко...

Три дня ушло на сборы, оформления, расчеты и прощальные застолья. Расставание с хозяйкой было овеяно тихой грустью, Ефросинья Корниловна, хорошая душа, совала ему специально испеченные на дорогу

пирожки с луком и яйцами, всхлипывала, тихонько и утирала слезы копчиком фартука...

А накануне вечером, когда он в последний раз, выполняя свою домашнюю обязанность, вышел с двумя ведрами к колонке, он увидел зрелище неповторимой красоты. На западе еще чуть розовел край небосвода, и над этой розовой полоской необъятная ширь глубокой, постепенно темнеющей кверху голубизны, в ней громадный, лучистый, чистейшей белизны колобок Венеры, а внизу, над розовой каймой и над темным силуэтом крыш и древесных крон — совсем тоненький, тускло краснеющий, будто только что откованный серпик остывающей меди: едва народившийся молодой месяц. Хорошая примета? Или, может быть, дурная? Да уж так или эдак, впереди новизна!

КНИГА ТРЕТЬЯ

БЛАГИЕ ПОРЫВЫ

1.

Москва обростала пристройками. Как у непутевого хозяина с прибавлением семейства и умножением родни лепят терраски, клетушки да чердачные каморки вместо того, чтобы строить па отлете новые избы, так столица потянулась вверх и поползла вширь. То, что было дальним пригородом, становилось городской окраиной, а ближние пригороды становились Москвой. Под чугунной поступью Генерального плана реконструкции столицы рассыпалась Сухарева башня, рухнула Китайгородская стена. Уже не было в живых вдохновителя этих затей, но они с прежним усердием воплощались в жизнь.

В пригородных поездах еще не перевелись слепцы и прочие народные артисты, но репертуар обновился изрядно. «Как товарищ Берия вышел из доверия, а товарищ Маленков надавал ему пинков», пел под прихлопывание своих одеревенелых ладоней постаревший наружностью, но не стареющий душой ветеран богородского маршрута. Пассажир в офицерской шинели без погон пошарил в карманах и ссыпал в шапку исполнителя горстку медяков.

Комаров ехал в тот милый его сердцу поселок, давно уже, впрочем, удостоенный городского ранга, где прошло его детство. Почему туда? Разные были причи-

ны. Разные соображения. Каждое в отдельности вроде бы и несущественное, в сумме они обретали перевес. А если по честному, то это было бегство. В Москве, в ее необъятном пространстве, было пятнышко, исхоженное вдоль и поперек, невзрачно-неприметное для чужаков, прожилки переулков, пустынный скверик с чахлыми кустами желтой акации, трехэтажный дом стародавней постройки с адресом, который был записан в его доверенном паспорте... И там, по этому адресу, жила женщина, ставшая совсем чужой за военные годы, прожитые настолько по-разному, что развели мужа с женой вернее всех загсов вместе взятых. «Тебя убьют, а мы потом мучайся!», эта фраза поставила точку там, где еще была возможна запятая. Избежать встречи с этой женщиной, наверное, было бы несложно в многомиллионном городе, но Борис Комаров, пуганая ворона, робел душой при мысли даже о маловероятных случайностях. Магнетизм отталкивания гнал его прочь от столицы.

Посреди новой застройки, желтых двухэтажных «фрицевских», то есть построенных военнопленными домов, и безликих пятиэтажных громадин из серого силикатного кирпича (новинка послевоенной строительной индустрии), сохранились два-три квартала исконного поселения, основанного первыми рабочими завода. Здесь строили жилища по образу и подобию оставленных лишь недавно деревенских изб, а то и просто перевозили на новое место старые срубы, но ставили их на кирпичный цоколь, и все это с обязательным садиком-огородиком позади и сиренью под фасадными окнами.

Этот островок деревенского ландшафта настраивал умиротворенно и ностальгически. Скучающие собаки незлобно лаяли по долгу службы. Одетые в домашнее женщины у водоразборных колонок глядели на чужака с недоверчивым любопытством.

Своего школьного товарища Ивана Грецкого Борис нашел по старому адресу. На стук в знакомое окош-

ко хозяин вышел на крыльцо. Встретились без ахов и охов, будто вчера расстались, посмотрели друг на друга, молча обнялись.

— Заходи, — сказал Иван.

В доме было тихо и пахло нежильем.

— Ты что, один живешь? — спросил Борис.

— Старики померли в войну. А прошлой осенью жену схоронил...

Сын некогда знаменитого вальцовщика, гордости прокатного цеха, первого на заводе орденосца, Ваня Грецкий не пошел по стопам отца, хотя и обучился его профессии. Его жизненный путь определило обстоятельство на взгляд человека из рабочего клана, вовсе несерьезное. Дело в том, что Иван с юных лет был лучшим центрохавом, по-новому центральным полузащитником заводской футбольной команды. Достигнув тридцатилетнего возраста, он принял должность тренера той же команды, получившей по сути профессиональный статус, а именно включенной во всероссийский календарь по классу «Б» и состоящей на содержании родного завода под видом слесарей, токарей, электромонтеров и прочих мастеровых шестого-седьмого разряда. Оклады были не ахти какие, но платили премиальные — не исходя из процента выполнения плана их цехами, а в зависимости от результатов игры.

Иван Грецкий уже несколько месяцев не выходил из глубокой депрессии. Покойница не оставила ему потомства, так как роды ее, счетом до трех, были сплошь неудачными. В конце концов она надолго слегла, и медицина ничем не могла ей помочь. Что с ней, допытывался безутешный супруг, видя, как тает на глазах любимая женщина. Мы делаем все, что можем, уверяли врачи.

Соседка шепнула: пошел бы ты, Вань, к бабке. Дам адресок, если желаешь.

— Поехали мы...

Иван Грецкий сидит с Борисом Комаровым на

кухне за чаем, от крепких напитков он зарекся еще с тех пор, как стал спортсменом, а теперь вдвойне боялся притронуться к спиртному — затынет в омут и не выплывешь.

— Поехали мы... Деревня знакомая, там у нас родни полно. Но ни к кому не заходим, совестно мне, что к знахарке обращаюсь, вроде бы культурные люди. А куда деваться, на бабу последняя надежда, Баба старая, неряха, руки трясутся, голова кивает, страх один, чистая Баба-Яга. Велит оставить Шуру, а сам чтобы шел куда-нибудь на часок-другой. Возвращаюсь, Шура сидит на лавочке за воротами, плачет. Я к бабке: ну что? Баба отвечает: порча. Что еще за болезнь такая, лечить то чем? А она свое: порча! Отдал десятку, как договорились, и поехали мы с моей Шурой восвояси... В декабре схоронил. Тихо умирала. Приходили сестры из поликлиники, делали уколы. Удивлялись, что не жалуется она, спрашивали, не кричит ли по ночам. А она терпеливая была... Мне говорила: ты, Ваня, если будешь жениться, бери городскую, они расторопнее в жизни...

Борис в двух словах рассказал о себе.

Иван спросил:

— Так ты как, погостить или насовсем?

— Надо поглядеть. Можно у тебя пока остановиться?

— Чего спрашиваешь? Мне тебя, получается, сам Бог послал.

Новая школа на «соцгороде» удивляла широкими окнами и совершенством кирпичной кладки — научились строить! Директор был рад Комарову: ушла в декрет преподавательница литературы в старших классах, и хотя до конца учебного года оставалась одна лишь четверть, нежданно-негаданно объявившийся литератор оказался как нельзя более кстати.

— Кто что читает, хотел бы я знать, — заявил Борис Семенович при первом знакомстве девятому классу.

— Прошу вас, напишите на листочке перечень

произведений, прочитанных за последний год.

Парни ответили дружным смехом, словно бы поняли шутку, а девушки конфузливо улыбались, пялились с лукавым любопытством на молодого словесника в костюме нездешнего покроя.

По воскресеньям, утречком, Борис прогуливался по памятным с детства местам. Он неосознанно Искал душевного контакта с прошлым, ему необходима было почувствовать себя дома! Где теперь его дом?

На южной окраине, пока еще мало задетой новым строительством, стояли в нетронутости пропитанные морилкой двухэтажки, угрюмо хохлилась в глубине березовой рощицы директорская дача. Старый парк, хотя и попал в окружение, позиций не сдавал и набирался весенних соков. А за его чертой зиял котлован новостройки, и под ненадежной защитой нового, но уже изрядно порушенного и растащенного забора, грудились запасы кирпича, арматуры, труб и пиломатериалов.

Борис проник в широко раскрытые ворота, протер стекла темных противосолнечных очков, еще невиданной здесь диковинки, и направился к краю котлована, придерживая цейсовскую «лейку», болтающуюся на ремешке. Взъерошенный мужик, выскочив из сторожки, набросился на непрошенного гостя:

— Ты чего здесь шляешься, а? Нельзя сюда, не видишь огороженная территория! Ты кто такой?

Озорство обуяло Бориса Комарова, хотелось приволья на родимой земле.

— Уэлл, — сказал он, глядя в упор на разгневанного стража, — ай эм пиорли эн америкэн спай.¹²

— А-а, ну тогда пожалуйста, тогда пожалуйста, — залебезил, оробев, мужичонка.

Велико наше почтение к иностранцам!

¹² Так, я, разумеется, американский шпион.

Ваня Грецкий уехал с командой на весенние сборы. Оставшись один в доме, Борис не утруждал себя приготовлением пищи, а посещал то одну столовую, то другую, примеряясь, где лучше кормят, и никак не мог ни на чем остановиться, хотя был вовсе не привередлив и знаком с кулинарными стандартами в большом диапазоне. Как-то поутру занесла его нелегкая в пристанционную закусочную. На грязных шатких столиках теснились неубранные тарелки с остатками еды. Толстая буфетчица равнодушно взирала из-за прилавка на привычное безобразие. Борис получил через оконце порцию гуляша с лапшой, наскоро проглотил полуостывшее блюдо и обратился к скучающей трактирщице:

— А запить у вас что-нибудь найдется?

Толстуха в заляпанном фартуке, не оборачиваясь, повела рукой себе за спину, указывая на трехэтажные полки, сплошь уставленные бутылками «Московской».

— Вон тебе сколько, пей — не хочу.

— Э-э, нет, — возразил Комаров. — Мне бы чайку горячего или в крайнем случае кофе. А это зелье пить с утра — не настолько еще я одурел.

К прилавку между тем уже подтягивались клиенты с помятыми, опухшими физиономиями, явно нацеленные на упомянутое зелье.

— Так что ж, по-твоему, наша партия-правительство одурело? — рявкнула дама с угрозой.

Комаров подивился такой неожиданной логике:

— Разве есть такое указание партии и правительства с утра спаивать народ?

— Ага, вот ты какой! Подослали, небось, — оттуда! Да за такие разговорчики знаешь, что бывает? — расходилась хранительница устоев.

И чего я связался с этой дурой, мысленно поругал себя Комаров, махнул рукой и вышел вон. Довольно-таки поспешно, отмстил он в порядке самокритики, Струхнул? Эх ты, пуганая ворона!

Нет, не приходило ощущение слитности с

окружающей действительностью, слишком глубокими оказались перемены в этой действительности? Или в нем самом?

По прошествии нескольких недель он обнаружил в ящичке для почты по своему новому месту прописки конверт необычного формата, из шершавой серой бумаги. Белый листок с угловым штампом гласил, что ему надлежит явиться такого-то числа, к такому-то часу, по такому-то адресу...

А ты решил, что все уже позади, отпустили душу на покаяние! Как бы не так! Но чего им от меня надо? Неужели дура-буфетчица успела накапать? Нет, невозможно... Старые «грехи»? Новые доносы? Будут сажать? Сомнительно, тогда они не вызывали бы повесткой, а придумали бы что-нибудь понадежнее...

Позади главного здания, у начала Малой Лубянки, стоял трехэтажный дом неприметной внешности, окрашенный жиденько разведенной охрой, без всяких украшений по фасаду, пройдешь мимо и не обратишь внимания. Но по какой-то причине здесь и прохожих вовсе не наблюдалось, то ли не было в округе обывательского жилья, то ли избегали жители эти маршруты несмотря на редкую для тогдашней Москвы исправность тротуаров.

Снаружи ничем не примечательный, внутри этот дом впечатлял. Лейтенант у входа проверял документы неторопливо и дотошно. До двери в назначенный кабинет по полутемному коридору посетителя сопровождал молчаливый сержант. Напротив дверей стояли жесткие деревянные скамьи, темно окрашенные, едва различимые в полумраке.

Бедновато живут, подумал Комаров, входя в указанную дверь. Три стола стояло в кабинете, за каждым по капитану.

— Садитесь, Комаров, — пригласил капитан, который справа. Стул стоял перед столом вплотную, зна-

чит, не допрос. Да и какой мог быть допрос в присутствии неприсяжных к делу лиц? А впрочем, кто их знает, какие у них здесь порядки, в областном Управлении... Комаров сидит с прямой спиной, готовый к подвоху. Капитан раскрывает папку.

— Комаров, Борис Семенович, тысяча девятьсот шестнадцатого года рождения, член ВКП (б) — все правильно... Угу, вот, были к вам кое-какие претензии... во время вашей службы в Германии. Имели связь с немкой — было?

— Не считаю возможным обсуждать с вами подробности моей личной жизни.

Ч-черт, надо было предвидеть их придирки и приготовить толковые ответы!

Ну, зачем же так сразу, Борис Семенович! Личное с общественным у нас тесно связано, или как вы полагаете? И ведь вы, кажется, состоите в законном браке, хотя с женой не живете, так? Ну хорошо, оставим эту тему, раз она вам не по вкусу. Хотя моральный уровень советских людей нам не безразличен, вот так-то... Поговорим о другом. Вы, кажется, проявляли интерес к антисоветской литературе, было такое дело?

— Там все сказано, — буркнул Комаров, кивнув на папку.

— Да вот, не знаем, все ли... Ну ладно, пойдем дальше. Уже на новом месте службы... тоже были к вам претензии. Выходит, что не сделали вы правильных выводов.

— Уверяю вас, сделал.

— Да? Какие же?

Капитаны за другими столами помалкивали, уткнувшись в бумаги.

— Не высовываться и не чирикать.

— О, да вы знаток анекдотов! Может быть расскажете какой поновой?

— За этим вы меня... гм, пригласили?

— Нет, Комаров, не за этим. Мы пригласили вас по

делу. Не думайте, что мы собираемся преследовать вас за ваши, скажем, некоторые ошибки. Нам хотелось бы верить вам, считать вас истинным советским патриотом. Вы можете дальнейшей вашей работой в интересах укрепления единства и сплоченности советского общества искупить те ошибки, которые вы совершили... Согласны?

Что-то очень туманно... Куда он клонит?

— Как каждый на своем посту...

— Ну вот видите, мы почти договорились. Значит так, Борис Семенович... Вы сейчас — на вашем посту как воспитатель и наставник юношества...

Все знают, каждый шаг!

— ... на вас лежит особая ответственность... и мы надеемся, что вы эту ответственность оправдаете. Нам хотелось бы... Вы же понимаете, время непростое, в нашу среду, в основном здоровую, проникают разные влияния. Еще не изжиты остатки буржуазной идеологии, различные пережитки в сознании. Это мешает нашему обществу двигаться вперед. Особенно важно, чтобы соблюдалась идейная чистота в рядах воспитателей советской молодежи. Нам хотелось бы, чтобы вы помогли нам... быть в курсе тех настроений, которые имеют место в коллективе вашей школы. Педагогическом коллективе, разумеется, хотя и настроения среди старших учащихся тоже представляют интерес. Так вот, готовы ли вы...

Вот оно! Быть бычку на веревочке! Неплохо придумано... Как же быть? Послать их подальше? Так ведь не отстанут! Будут придирааться и травить, покуда не найдут предлог и не упрячут — теперь уже основательно...

— Вы задумались, Комаров, а зря. Вас смущает то, что происходило в прошлом, так? Но ведь мы теперь не те, мы теперь боремся только с действительными врагами, надеюсь, вы заметили это...

В самом деле, подлый заговорщик и агент

Интеллиндженс сервис Берия был казнен, его ближай-
шие соратники тоже, подручные послетали с насижен-
ных мест...

— ... наши кадры сильно обновились, так что ни-
какие моральные соображения не могут препятство-
вать сотрудничеству с нами — для настоящего совет-
ского патриота. Так как?

Надо что-то говорить!

— А как всякий советский человек... Если мне ста-
нет что-нибудь известно... Какие-нибудь враждебные
действия или намерения... То как всякий советский че-
ловек...

— Ну вот и прекрасно. Правильно мыслите. Мы
тут приготовили маленький документик. Вот. Озна-
комьтесь и подпишите.

Едва взглянув на заголовок, что-то такое вроде
«обязательства» мелькнуло перед глазами, Комаров
отдернул руку.

— Подписывать ничего не буду! — выпалил он,
даже не успев подумать, словно бы кто-то другой, более
искушенный в делах мирских и ответственный за него,
подсказал ему решение. И тут же пришла незамутнен-
ная ясность: только не это! Это хуже тюрьмы, хуже Ко-
лымы, хуже высшей меры, это сверх высшая мера, это
мера неизмеримого унижения, мера уничтожения лич-
ности, мера превращения человека в ходячий зловон-
ный труп.

— Ну что это вы, Комаров! — произнес капитан
укоризненно. — Ведь мы с вами, кажется, договорились.
А это всего лишь маленькая формальность.

— Вот и не надо этой маленькой формальности, —
нашелся Борис Комаров. — Я же сказал вам, что буду на
страже... Как всякий советский человек...

Ах, Комаров, Комаров, — засокрушался капитан.
— Всякий то всякий, да ведь вы то не всякий. Вам еще
надо доказать, что вы, ну, как бы это сказать, вот имен-
но — всякий. Ну, будем подписывать?

— Да зачем вам это, — пытался мягко выкрутиться Комаров. — Я же сказал...

— Вот и подтвердите то, что вы сказали.

Торг начинал раздражать обе стороны. Капитаны за другими столами поглядывали с иронической усмешкой, адресованной то ли наивному сопротивлению, то ли их коллеге, неспособному с ним справиться. Реплика за репликой повышался голос капитана, а в голосе «клиента» все явственней звучало ожесточение. Наконец, утомленный безрезультатным препирательством, капитан откинулся на спинку стула, шумно вздохнул и процедил сквозь зубы:

— Ну и вредный же вы экземпляр, Комаров! Подите, сядьте там, в коридоре, и подумайте хорошенько.

Борис вышел. Сел на скамью. Жесткая и прохладная. Он почувствовал облегчение, но ненадолго. Чем кончится для него эта дуэль? Он не уступит, что бы ни грозило... Нудно тянутся минуты. Редкие прохожие, в форме и без, делают вид, что его здесь нет. Вышел капитан, его собеседник, надо спросить, где здесь уборная... Закурить, что ли? А может, не велено? Наорут еще... Ладно, потерпим.

Сколько времени прошло? Комаров смотрит на часы, с трудом разглядывает циферблат, благо что стрелки светятся, швейцарские часики для офицеров «кригсмарине»... Уже около пяти; черт подери, когда же они вызовут его снова? Где тот капитан? Пошел докладывать о неподатливом кандидате в сексоты? Ах вот он идет. Проходит мимо, ноль внимания, будто я мебель. Выдерживают...

— Войдите, Комаров. Сядьте... Ну, надумали?

На окнах противоположной стороны улицы уже сверкали отблески заката. Два других капитана начали складывать бумаги.

— Надумал.

— Что же вы надумали?

— Все то же самое. Подписывать не стану.

— Так вот и не станете? А вы подумали о том, какие последствия... Вы понимаете, что означает ваш отказ? Значит, вы не желаете помочь нам в деле борьбы с врагами социализма?

— Не надо про врагов. Если мне таковые встретятся, сообщу.

— Много на себя берете, Комаров! Так они и придут к вам, здрасьте, я враг. Нам нужна информация о настроениях...

Сослуживцы, сложив бумаги и заперев их в сейфы, направились к выходу, едва кивнув. Капитан с завистью посмотрел им вслед. Надо форсировать!

— Учтите, Комаров, что ваше поведение можно рассматривать как уклонение от исполнения гражданского долга... А с другой стороны, сотрудничество с нами могло бы принести вам определенные преимущества...

Еще и это решили испробовать! Комаров настораживается.

— ...кое-какие материальные выгоды... Да, ведь вы владеете иностранными языками? Могли бы ездить за границу в составе делегаций...

— Вы меня плохо знаете, — отрезал Комаров.

Капитан вскинул одну бровь, посмотрел долгим взглядом в лицо строптивцу.

— Вы нас тоже, — сказал он и криво усмехнулся.

— Но уже достаточно хорошо, чтобы держаться от вас подальше.

Капитан взорвался:

— Да что вы мне голову морочите, Комаров! Подписывайте, и конец разговору!

Вот здесь сорвался и сам Комаров. Что-то екнуло внутри, что-то сжалось в груди, спазм подступил к горлу, речь, сумбурная и отчаянная, хлынула сама по себе, бессвязно и бесконтрольно:

— Чего издеваетесь над человеком, кто дал вам такое право, кто вы такие, чтобы требовать от человека,

чтобы он изменил своей натуре, чтобы... чтобы...

Боже, что это со мной? Сроду такого не бывало! Реву, как баба. Содрогаюсь всем телом. Позор! А впрочем... Вполне мог бы взять себя в руки, если бы очень захотел.

Капитан поднимается из-за стола. Этого ему еще не доставало! Идет к столику, где графин со стаканом, наливает воды.

— Нате, выпейте... Ладно, Комаров, прекратим истерику. Давайте наш пропуск. Мы еще вернемся к этому разговору. А теперь идите.

2.

Уже давно гуляли по городам и весям многотысячные орды бериевских любимчиков, амнистированных уголовников всех мастей, обогащая великий и свободный русский язык изысканными изречениями, словечками с окончанием «-уха», и нагоняя страх на имущих граждан. А между тем контрики так и томились в лагерях, вкалывая за себя и за тех парней.

Но вот случайно уцелевшим борцам за народное дело удалось достучаться до сознания нового ареопага, триумvirата Хрущев — Булганин — Маленков, и подновленная юстиция начала извлекать на свет божий слежалые листы подтасованных следственных протоколов и состряпанных приговоров. Понемногу, тонкими струйками, потянулись с Колымы, из Норильска, Караганды и Воркуты изможденные, полуживые ветераны революции, преисполненные благодарности родной партии и советской власти, оправдавшим их надежды на конечное торжество правды и справедливости. Реабилитационный процесс коснулся и тех, кто чудом уцелел на протяжении всего припаянного срока и вернулся на неохраемые просторы родины чудесной, однако удаленные от ее столиц на сто и более километров.

Безучастная к делам высших политических сфер, Зина чутьем угадывала сдвиги, могущие отразиться на судьбе ее беззаветно любимого и боготворимого Паши Русланова. Ранней весной одна тысяча девятьсот пятьдесят четвертого года женщина в диковинной шубейке из нерпы и клетчатом шерстяном платке была заметна в очереди у дверей приемной Верховного Совета на углу Воздвиженки и Моховой, напротив Троицких ворот Кремля.

Разговор получился короткий:

— Так вы говорите, он жив? Вот и пусть сам подаст ходатайство, с указанием лиц, его знающих. Можете вы принести, пожалуйста, но от его имени. Вот если бы он умер, тогда другое дело. Не захочет, говорите? Ну, уж это его дело.

Русланов, действительно, не хотел. «Да пошли они все, знаешь куда?». Она знала. Но не отвязалась до тех пор, пока он не написал требуемую бумагу. Без надежды на успех, только чтобы не обижать подругу.

— Пустые хлопоты, — сказал он, отдавая ей листок. — Да и ни к чему все это...

В конце мая Борис Комаров опять получил повестку: «...надлежит явиться в Прокуратуру Московской области...». Такого-то числа, по такому-то адресу...

Уже и к прокурору? Быстро же это у них происходит? Он недолго ломал себе голову над причинами вызова. Понимал, что каждый, кого они однажды взяли на прицел, навсегда останется под надзором «недреманного ока».

Его отношения с «органами» складывались по-прежнему неладно. Как-то в предмайскую мокредь, в будний день, когда у него не было часов в школе, к нему явился некто средних лет, представился старшим лейтенантом, хотя одет был в неприметное штатское, показал новенькое удостоверение и пожелал узнать, каковы успехи «добровольного помощника» по части вы-

явления нездоровых настроений среди педагогического и прочего персонала.

— Не могу сообщить ничего, что могло бы вас интересовать, — отрезал Борис Комаров.

— Ну зачем же так, Борис Семенович. Ведь мы не требуем от вас никаких порочащих сведений. Если все в порядке, так и скажите, что никаких... нежелательных явлений не наблюдается.

— Совершенно верно, не наблюдается.

— Вот так и напишите.

— Писать ничего не стану.

— Ах, несговорчивый вы человек! Ведь ничего от вас такого не требуется... Вы поймите, у нас ведь тоже служба. Мы должны отражать обстановку. Не подумайте, что мы работаем по-старому. Ведь вот я — вы думаете, я кто? Работал на заводе. Сказали — нужны новые кадры. Честные партийцы. И я пошел.

Бедняга, подумалось Комарову. Малый был ему почти симпатичен. Широколицый, чернявый, рабочие руки...

— Все так, — сказал Комаров, — но писать мне в самом деле нечего. Так что уж не взыщите.

— Н-да... Жаль, жаль... Но встречаться мы с вами все-таки будем, не возражаете?

— Что уж тут возражать... Если вы говорите будем, значит так тому и быть.

Старший лейтенант из рабочих стал приглашать на свидание в Дом приезжих, переименованный в гостиницу, но цели своей не достиг. Комаров по-прежнему уклонялся от исполнения патриотического долга, и его опекун вроде бы смирился с этим, беседовали просто так, обо всем и ни о чем, видно, старший лейтенант быстро утратил служебное рвение.

И вот теперь эта повестка... К прокурору? Они что, заодно?

Он шел по Ильинке в поисках указанного переулка, уже недалеко оставалось до Красной площади, когда

мелькнула слева искомая табличка. Громоздкие, неуклюжие, похожие на торговые ряды или скорее на лабазы здания с большими окнами и железными въездными воротами внушали опасливую мысль, что адрес был неправильным. Однако вот он, нужный номерок у неказистой двери, как бы встроенной в витрину. Никакой вывески, странно. Может, это вовсе и не прокуратура? Заманили, и сцапают сейчас, как миленького? Фух, какая мерзость, жить в постоянном страхе!..

В лабиринте неприветливых, полупустых проходных комнат и коротких переходов Комаров с трудом разыскал нужное помещение. Худощавый, узколицый человек с цивилизованными манерами пригласил его сесть.

— Мы здесь временно обосновались, у нас ремонт, — пояснил он, как бы извиняясь за голые стены, отсутствие шкафов и слабое проникновение дневного света сквозь стенку из квадратиков толстого зеленоватого стекла. С потолка свисала несильная лампочка без абажура. А может быть это вовсе никакая не прокуратура, подумалось Комарову. Веяло сырým холодом, как в подземелье.

Временный хозяин кабинета достал папку, раскрыл, но листал в бумагах. Что же они мне предъявят, подумал Комаров, стараясь не поддаваться приятному впечатлению, которое производил этот серьезный тихоголосый чиновник.

— Комаров, Борис Семенович? Бы окончили МГПИ — в каком году? Скажите пожалуйста, были ли вы в тот период знакомы с Руслановым Павлом Константиновичем?

Боже, Русланов! Что с ним такое? Почему именно меня вдруг спрашивают о нем? Какая новая беда свалилась на него?

— Да, я знал Павла Константиновича Русланова. По тем временам.

Надо быть настороже. Ничего про Колыму!

Проведали о наших встречах? Не дай Бог, прицепятся, припишут... Что припишут?

— Какого вы мнения об этом человеке?

— То-есть... как это? Нормального мнения.

— Слышали ли вы от него какие-нибудь антисоветские, контрреволюционные высказывания?

— Боже сохрани! Он был секретарем парткома и высказывался всегда в духе своей должности.

— Я должен пояснить вам, с какой целью мы выясняем обстоятельства, касающиеся Русланова. Подано заявление о его реабилитации. Известны ли вам какие-либо факты, порочащие Русланова с точки зрения его политического лица?

Как ярко расцвело все вокруг! Какой приятный, душевный человек этот прокурорский чин! Как ладно сидит на нем скромный серый костюм, как аккуратно завязан синий в розовую крапинку галстук, узел приходится точно посередине между уголками безукоризненно чистого голубого воротничка... Стоп, а нет ли здесь подвоха? Не слишком ли широко ты расплылся в улыбке? Тьфу, проклятье, каждый шаг с оглядкой!

— Я знал товарища Русланова только с положительной стороны. Никакие порочащие факты мне не известны.

— Готовы ли вы письменно изложить то, что вам известно о Русланове?

— Разумеется!

— Пожалуйста, сядьте за тот стол, там есть бумага и перо. «...знал — нет, был знаком...».

— Зачеркивать можно?

— Нежелательно, лучше возьмите новый листок.

«...в период 1937-38 гг. Будучи секретарем парткома, тов. Русланов отличался высокой идейностью, оказывал положительное влияние на коллектив...». Что бы еще такое ввернуть, чтобы было убедительно и не очень суконно? Ох, нелегкая это работа, писать казенные бумаги!

«...Никаких сведений, бросающих тень на тов. Русланова как коммуниста и советского гражданина, сообщить не могу и утверждаю, что знал его как подлинного советского патриота». Жалкие слона, но так надо!

Прокурор, или кто он по званию, читает, кладет бумагу в стол.

— Благодарю вас, товарищ Комаров.

— Его освободят?

— Он уже на свободе. Речь идет о другом.

— Реабилитация?

— Не будем предвосхищать события. Работает комиссия, мы передадим ей наши материалы.

— Я могу идти?

— Да, конечно. Всего хорошего!

Русланов на свободе! Времена меняются!

Он вышел на Красную площадь, окинул взглядом кремлевские стены — что они там замышляют, за этим высоким барьером между плебсом и высшей знатью?.. Говорят, скоро в Кремль будут пускать.

Русланов на свободе! Эх, не спросил я того прокурора, где он обретается. Здесь, в Москве? Надо разузнать.

Куда теперь? Время детское и торопиться некуда, а настроение такое, словно в небе ангелы поют! Вспомнилось: в доме Вани Грецкого есть старый патефон, голубой квадратный чемоданчик с крышкой, заменяющей граммофонную трубу как отражатель звука. Давно уже его не заводили, пластинки какие побились, а какие Иван роздал знакомым, потому что были это русские песни, которые любила покойница Шура, и при одном лишь взгляде на них, не говоря уже о том, чтобы их завести, Ивана одолевала грусть и тоска безысходная. А значит, надо обзавестись новыми пластинками, Иван приедет со сборов, будет ему приятный сюрприз.

Борису издавна был известен магазинчик, где торгуют пластинками, на Самотеке, у самого пересече-

ния с Цветным бульваром. От этого перекрестка было рукой подать до Афониных, и хотя Борис к ним вовсе не собирался, место это, поблизости от некогда милого сердцу жилища, влекло его к себе с какой-то неосознанной повелительностью.

В убогом, невесть каких еще времен, глубоко вросшем в землю домишке толпились столичные меломаны. Длинные полки вдоль стен вмещали бесчисленное множество поставленных на ребро пластинок, барышня у стационарного проигрывателя едва успевала менять диски по заказу покупателей. Знатоки шептались по углам, показывали друг другу из-под полы нелегально записанные на рентгеновских пленках новинки американского джаза и новоявленных фаворитов, английских «биттлз». Дневной свет едва проникал через закоптелое от уличной гари, полупогруженное в землю окошко, несильная лампа под оранжевым абажуром придавала обстановке колорит таинственности и потусторонности.

Борис просматривал списки музыкального наличия, вполуха прислушиваясь к отрывочным пробам на проигрывателе, как вдруг с порога раздался требовательный голос, показавшийся Борису знакомым:

— У вас есть речь товарища Сталина на совещании хозяйственников?

Продавщица за прилавком испуганно вскинула голову:

— Да, да, конечно!

— Поставьте.

Музыка прекратилась, продавщицы суетливо перебирали заповедные коробки, сдували с них пыль, протирали диски с красной наклейкой, нашли, наконец, нужное и с благоговением водрузили на вертящуюся шайбу. Меломаны притихли, и раздался знакомый голос с легким грузинским акцентом, с уверенной и властной интонацией:

«Товарищи! Из материалов совещания видно, что

с точки зрения выполнения плана наша промышленность представляет довольно пеструю картину. Есть отрасли промышленности, которые дали прирост продукции за истекшие пять месяцев в сравнении с прошлым годом в сорок-пятьдесят процентов...».

Сколько, сколько, настораживается выдавший виды Комаров? Никогда прежде он речей товарища Сталина не читал, и не предполагал, что в них столько потрясающих сведений.

«...Есть, наконец, отдельные отрасли промышленности, которые дали минимальный прирост — каких-нибудь шесть-десять процентов, а то и меньше того...

...Где причина того, что некоторые отрасли промышленности дают всего лишь двадцать-двадцать пять процентов прироста, а угольная промышленность и черная металлургия дают еще меньше прироста, плетутся в хвосте за другими отраслями?».

Присутствующие оторопело прислушивались, тщательно скрывая недовольство.

«...Некоторые наши хозяйственники вместо того, чтобы изменить приемы работы, все еще продолжают работать по-старому...

Речь идет, прежде всего, об обеспечении предприятий рабочей силой. Раньше обычно рабочие сами шли на заводы, на фабрики, — был, стало быть, некий самотек...

Можно ли сказать, что мы имеем теперь такую же точно картину? Нет, нельзя этого сказать... Мы снабдили деревню десятками тысяч тракторов и сельхозмашин, разбили кулака, организовали колхозы и дали возможность крестьянам жить и работать по-человечески...

Из этого вытекает, во-первых, то, что нельзя больше рассчитывать на самотек рабочей силы. Значит, от «политики» самотека надо перейти к политике организованного набора рабочих для промышленности...».

Двое вошедших продолжали стоять на верхней

ступеньке у порога, словно на трибуне, возвышаясь над толпой. Борис смотрел на них во все глаза, внутренне потешался и восторгался дерзостью бузотеров. Один из них, рослый брюнет, был ему не знаком, но другой — ну, разумеется, кто же еще! — это был Костя Афонин, неистощимый на выдумки озорник. Борису вспомнилось, что еще будучи в третьем классе маленький Костя послал на Всесоюзное радио заявку: В честь Международного коммунистического женского дня Восьмое Марта прошу исполнить русскую народную песню «Из-за острова на стрежень».

Борис стоял, неузнанный в толпе, и колебался: подойти к лихим крамольникам или подождать, посмотреть, чем все это кончится.

Несколько минут длилось подневольное слушание речи покойного, но еще грозного отца народов, и наконец Костя Афонин, махнув пренебрежительно рукой, изрек во всеуслышание:

— Благодарю, не подходит!

С этими словами пришельцы исчезли за дверью, как исчезает загадочный призрак.

Хохот возник и тут же пресекался. Сам собой. Испуганное молчание, растерянные лица продавщиц наполнили тесное помещение напряжением разноименных зарядов. Борис, забыв о своих намерениях, выскочил вслед за ушедшими.

Он догнал Костю на противоположной стороне Садового кольца.

— Ну, парень, это был спектакль! А где твой спутник?

— Побежал за бутылкой «Салхино», которую он мне проспорил. Между прочим, это муженек нашей Люськи. Будешь иметь удовольствие познакомиться с ним. Ничего так малый, тоже фронтовик, найдете общий язык. Пошли, пошли к нам, никаких твоих резонов слушать не желаю.

Люськин муженек! Люся замужня женщина... Как

все меняется в мире! А ты думал, что все затормозится в удобном тебе положении, маленькая девочка останется маленькой девочкой или в крайнем случае превратится в невесту на выданье, которая ждет не дожждется своего принца, такого завидного жениха, как ваше неподражаемое совершенство. Страшновато идти в этот дом, где все теперь не так, как прежде... А как? Нет, не утратил ты любопытства к жизни. И ведь не зря свела тебя судьба опять с обитателем этого дома...

Софья Николаевна всплеснула руками:

— Боже, Боренька! Где же вы пропадали? И не общил ничего! Мы совсем потеряли вас из виду. Опять в Москве? Ах, как жаль, что Люсеньку вы не застали, она только что уехала домой.

Ага, домой. Значит, муженек попался не бездомный. Ладно, не твое дело.

Константин увел Бориса в свою комнату, когда-то «детскую», теперь он был в ней полновластный хозяин. Перемены бросались в глаза. Полки по стенам были уставлены странными, отнюдь не блещущими изяществом экспонатами. Здесь были полуграмотные рекламы кустарных мастерских и каких-то вовсе невероятных промыслов вроде хиромантов, гадалок и предсказателей судьбы, были объявления о пропаже собак, миниатюрные вывески частных практикующих венерологов, троллейбусные номера, завитые головы, изображающие шедевры парикмахерского искусства, самодельные дорожные знаки, уличные таблички с отколовшимися углами и чего еще только не представляла дичающая Москва любительского паноптикума. Увлечения такого рода входили в моду среди юных вольнодумцев столицы.

— Как находишь? — Костя широким жестом обвел свои сокровища. — Если что попадетсЯ, тащи. Ах, вы слишком добропорядочны и серьезные, сэр, понимаю. Тогда вам надо в Третьяковку, там выставлены творения советских художников, отобранные самолично то-

варищем Ждановым. Вот ты не одобряешь, а зять все-цело за. И даже вносит лепту.

При всей его непосредственности и расторможенности, которые были свойственны всем членам этой необыкновенной семьи, в интонациях Кости, когда он говорил о зяте, слышалась некоторая едва уловимая нарочитость, словно ему было необходимо преодолеть какое-то предубеждение — то ли предполагаемое у Бориса, то ли присутствующее у него самого. Хотя роман между Борисом и Люсей не состоялся, какое-то предчувствие или подозрение на этот счет витало в воздухе. Сам же Борис, как только услышал о существовании «муженька», дал себе зарок мобилизовать всю свою объективность и доброжелательность, удушить в зародыше малейший проблеск соперничества и воспринять новое лицо, принадлежащее к кругу его друзей, как своего нового друга.

Григорий Чугунов принадлежал к тем натурам, которые не располагают к себе лиц мужского пола. Рослый, дородный, даже рыхловатый не по возрасту, с выражением превосходства на красивом, холеном лице, он внушал при первом знакомстве настороженность, если не робость. Возникало впечатление, что этот человек привык быть правым в споре, первым при дележе и непричастным при неудачах. Но Косте не хотелось, чтобы между его новым родственником и старым другом семьи возникла неприязнь. В ожидании прихода зятя с проспороленной бутылкой он целенаправленно готовил Бориса к новому знакомству.

— Заметь и держи в уме: Гришка не любит свое имя.

Вот тебе и на! Это отчего же?

— Считает, что запятнано предшественниками.

— Вот как! Отрепьев, Распутин, кто там еще?

— Хватит этих двух. Требуется, чтобы в уменьшительном варианте говорили не Гриша, а Григ.

— Он музыкант?

— Почти что. Он художник. Окончил Строгановское, в аккурат перед войной. Призвали и направили в редакцию какой-то армейской газеты, художником-ретушером.

Борис подумал: и здесь наши пути едва не пересеклись.

Как-то при осложнении боевой обстановки, когда войска несли тяжелые потери, и командование собирало для боевых подразделений с бору по сосенке, молодого художника отлучили от профессии, отдали на съедение Молоху, как выражался сам Григорий. Он стал бойцом разведвзвода, ходил на задания, брал языка, заслужил орден «Красной звезды», выдвинулся в командиры отделения, и только после второго тяжелого ранения, когда дела на фронте пошли в гору, был возвращен на прежнюю должность.

После демобилизации, в оскудевшей кадрами Москве ему предложили должность заместителя главного художника в одном из ведущих издательств. Новые друзья, издательские редакторы, ввели его в афонинский кружок знакомств, он стал бывать на встречах старых кружковцев.

В мае пятьдесят третьего Чугунов вдруг исчез из поля зрения, не заходил и отсутствовал на службе. Когда же он вновь появился, и Костя набросился на него с расспросами, Григорий отозвал его, вывел на улицу и, озираясь по сторонам, рассказал о своих приключениях.

Был на Сельхозвыставке, подготавливаемой к новому открытию. С необычным заданием: руководить очисткой территории от статуй, бюстов и прочих изображений Усача. Ведь первоначально выставку готовили к новому, послевоенному открытию еще по указанию товарища Сталина. Во время войны она не действовала, там были позиции зенитных батарей, склады и все такое прочее...

Так вот, готовили по указанию вождя, а он тем временем возьми да и помри! (По слухам не без помощи

своего друга Лаврентия). Теперь же страной правил триумvirат Маленков — Хрущев — Берия, причем последний лелеял мечту воцариться единолично. По его повелению и проводилась на выставке очистительная акция.

Воплощений образа великого вождя в бронзе, мраморе и на холсте было видимо-невидимо. Воодушевляясь воскресающими в воображении сценами, Григ рассказывал, как работяги стаскивали с постаментов бронзовые бюсты и швыряли их в кузова ЗИСов — это ли не гримаса истории, в кузова грузовиков, изготовленных на заводе его имени!

Мраморные изваяния с азартом крушили кувалдами, разбивали на куски с лихостью и вожделием, так свойственным россиянам, когда дело доходит до низвержения кумиров...

Заканчивали во второй неделе мая, а 17-го июня в Берлине и других городах восточной Германии произошло нежданное и неслыханное: рабочий класс выступил против порядков, введенных советскими оккупационными властями. Германские события стали удобным предлогом для смещения и ареста всемогущего энкавэдешника, не сумевшего предугадать и предотвратить «мятежи». А суть то была в том, чтобы не допустить его к верховной власти!

— Н-да, дела...

Посидели, помолчали.

— Что-то долго он ищет твое выпоренное «Салхино».

— Спрос большой. Любимое вино усопшего вождя народов.

— А говорят, он был аскетом.

— Не аскетом, а вегетарианцем. И не он, а Гитлер.

Посмеялись.

— Закурим?

— А кого еще ждем?

— Должны прибыть все старые кружковцы. Да вот

уже кто-то шаркает по коридору — знакомая походочка?

Ученый пушкиновед и знаток золотого века русской литературы Никита Кулемин, из самарских крестьян, неизменно сохранял свой волжский говорок вопреки напору московских влияний. Он щеголял народными изречениями, матерился (разумеется, не при дамах) со вкусом и даже с особым изяществом, корректируя общепринятые формы с позиций образованности и тонкого эстетства. Он все еще ходил в военной гимнастерке, не столько из бедности, сколько из презрения к столичному франтовству.

Пришел отвоевавший артиллеристом худой и нервный математик Эрнест Щегловитов, прозванный Гарвардом, потому что одним из первых советских преподавателей побывал в Соединенных Штатах, где прочитал студентам Гарвардского университета системный курс по геометрии Лобачевского. Гарвард был сухарь и систематик. Первого числа каждого месяца он устраивал себе день знаний. В этот день он не позволял себе никаких развлечений, даже если концерт давал сам Гольденвейзер, а целиком посвящал его неизвестным ему именам и явлениям в науках. Брал БСЭ и читал статьи о названиях, которые встретились ему за последнее время, и если энциклопедическая справка возбуждала интерес, добывал соответствующую литературу. И еще Гарвард был поклонником Канта, с трансцендентальностью запанибрата, чем приводил в смущение далеких от абстрактного мышления кружковцев.

Пришла в сопровождении своего нового вздыхателя историчка Оксана Фетисова, некогда сыгравшая Афиногеновскую Машеньку с таким блеском, что ее не шутя сравнивали с Бабановой и прочили ей завидную сценическую карьеру, но верность избранной с детства педагогической профессии была ее жизненным девизом. Не позволяла рассчитывать на громкую сценическую карьеру и внешность Оксаны, она была мешковата

фигурой и круглолица. Бледность, почти болезненная, ее чуть одутловатого, рыхлого лица не воспринималась сама по себе, а только оттеняла то теплый, то пронзительный, то гневный взгляд огромных серых глаз. Первый ее роман закончился крутым разрывом с потомком одного из бакинских комиссаров, ускользнувшим от призыва в армию благодаря унаследованным связям; прелестная девчушка трех лет иногда появлялась с ней здесь на непоздних встречах, но в последнее время все чаще оставалась дома на попечении бабушки.

Как славно, что я опять среди этих милых людей, думалось Борису Комарову.

За бутылкой сладкого, непревзойденной прелести букета «Салхино» Гарвард рассказывал про вольные манеры американских студентов, их непринужденные, с нашей точки зрения, непозволительно панибратские отношения с профессорами. Никита Кулемин советовался, следует ли принять приглашение на чтение лекций в Институте изящной словесности, где обладающие литературным дарованием — или же влиятельными родителями — юнцы, сменив выпущенное на вольные хлеба фронтовое поколение, перенимали стиль поведения своих предшественников, и в первую очередь их приверженность к крепким выражениям и крепким же напиткам.

А Костя Афонин брэнчал на гитаре и декламировал стишки, не называя автора. Не Бог знает какая высокая поэзия, однако озорные, ироничные и крамольные вирши на злобу дня принимались одобрительно. «Сказал мне раз один нахал, знаток по части конъюнктур, пишите так, как братья Хал-, ах нет, простите, братья Тур». Все догадывались, что стихи были собственного сочинения, чужих он не читал, гордость не позволяла ему пользоваться ничем готовым.

Свободно судили о событиях близкого и дальнего прошлого, смело изощрялись в поисках исторических аналогий. Историчка Оксана, которая, как считалось в

кружке, собаку съела на Великой французской революции, то и дело садилась на своего конька.

— Дело революции погубила бессмысленная жестокость, — утверждала она.

— Ты говоришь: бессмысленная жестокость, — привязывался Никита Кулемин. — По-твоему, бывает жестокость со смыслом?

— Не знаю... С благотворным едва ли. Но такова уж наша фразеология.

— Да, уж, по части фразеологии мы в грязь лицом не ударим, — замечал желчный скептик Гарвард.

— Бессмыслица, насколько мне известно, — примета всех революций и всех писаний о них, — оглашал свое мнение Костя Афонин, любитель парадоксов и нестандартных суждений. Вождь монтаньяров и друг народа Жан-Поль Марат, разоблачив буржуев и аристократов, разоблачился в свою очередь и полез в ванну. Случайно оказавшаяся там же аристократка и жирондистка Шарлотта Корде заколола его ножом.

А Борис Комаров скромно помалкивал в углу. Он замечал, что в своем добровольном изгнании отстал от развития вольной мысли, от современной манеры выражаться, от новых речений, от информации о новых открытиях в науке и новых явлениях в искусстве. Это ощущение отсталости не было болезненным, ущербным, он трезво, без эмоций констатировал такой вот очевидный факт: провинциал. Хорошо это или плохо, выяснится потом, а пока нужно просто принять это к сведению.

Хотя он и пообтерся в заграничных скитаниях, приобретенный там набор знаний и стиль общения оказывались здесь ни к селу, ни к городу. Российская столица была чем-то совершенно особым, выше или ниже рангом, об этом вопрос не возникал: иная, и все тут. Теперь он был счастлив тем, что попал в столичную среду. Он догадывался, что это не самые вершины, что где-то, может быть, наблюдается куда более высокий

полет мысли, царят более взыскательные вкусы, но ему и этого было достаточно, ведь он вырос не в Доме на набережной у Каменного моста, набирался ума не около Консерватории и Музея изящных искусств, а там, где поют «Шумел камыш» и «Хасбулат удалой», и даже в студенчестве его окружали преимущественно «выдвиженцы» и «кухаркины дети».

В этой новой среде его особенно привлекал к себе Костя. Несмотря на превосходство в возрасте, он был готов искать костиной дружбы и даже внутренне был согласен на подчиненное состояние. Только ли интеллектуальная живость привлекала его в этом парне? Как в притяжении разнозаряженных частиц, здесь много значило несходство. Комаров был склонен к самодисциплине, доходящей до педантизма, Костя же, напротив, был живым воплощением свободы, он был полон беспечной легкости, доходящей до безалаберности, свойственной, впрочем, всему семейству Афониных. Здесь жизнь была полна непостоянства, здесь презирали рутину, здесь разбрасывали где попало предметы повседневного пользования от чулок до сковородок, их поиски приятно разнообразили жизнь, безвозвратные потери случались редко, а каждая находка прибавляла радостных минут.

Разносторонняя одаренность Кости заставляла вспоминать о великих гениях средневековья. Но что-то остановило Костю Афонина на пути к совершенству. Что это было? Война? Водка-ханжа из манчжурского проса-гаолян? Неправильный выбор профессии? Опережающие похвалы нетребовательного окружения? Отсутствие близости к великим и сильным мира сего? А может быть не хватало женщины, ниспосланной Богом подруги жизни, способной понять, поддержать и зажечь?

В разговорах на матримониальные темы любимым изречением Кости было: если ты захотел жениться, Бог накажет тебя тем, что это тебе удастся. Пройдет

много лет, и выяснится, что где-то в прикаспийских краях, в каком-то поселке близ базы экспедиции, в глинобитном домике живет одинокая учительница, к которой Костю однажды поместили на постой. И еще окажется, что уже после того, как, сделавшись дипломированным врачом, он перестал ездить в экспедиции, Костя все равно два-три раза в году навещался куда-то на юго-восток. Каждый его приезд к своей негласной жене с ее подрастающей дочкой был для них как светлый праздник. Временная жена, неказистая и добрая, не предъявляла никаких претензий, она и так считала своего Костю дорогим и незаслуженным подарком судьбы, а дочка, по имени Галя, души в нем не чаяла и тоже ничего не требовала и не ожидала от приезжего папы. Он был с ней душевно ласков, в раннем детстве рассказывал ей на ходу сочиненные сказки, а когда она выросла, шутил с ней как с равной. Когда она ходила уже в восьмой класс, при чтении «Комсомольской правды» Галка как-то спросила:

— Папа, что такое «эгида»?

— Гм, «эгида»? Это, наверное, дерево такое. Помнишь: «Под эгидой густой мы сидели вдвоем»...

— Папа, ты можешь быть серьезным?

— Я стараюсь.

Здесь его любили и принимали его таким, каков он есть.

Костя был душой афонинского кружка, хотя и уступал по эрудиции многим его членам.

3.

Появление в стенах издательства бывшего директора Филиппа Никаноровича Глаголева произвело сенсацию. Его хорошо помнили здесь, старые сослуживцы рассказывали о нем новым сотрудникам. Рассказы эти, как водится, обрастали вымыслами, сводившимися

главным образом к тому, что образ невинно пострадавшего директора окружался все более ярким ореолом борца против бюрократического диктата верхов. Понималось, что нынешний директор этому диктату противостоять не умел.

С чем явился бывший шеф? Вопрос живо осуждался в редакторских кабинетах, в коридорах и курилках. С еще большим жаром обсуждали сам облик возникшего из небытия когда-то высокоуважаемого директора, представлявшего собой образчик не только компетентного руководителя, но и цивилизованного европейца: безукоризненно одет, изысканно вежлив с сотрудниками любого ранга, исполнен достоинства, без начальственной спеси.

Знавшим его прежде казалось, что лицо, появившееся здесь сейчас и назвавшее себя Филиппом Глаголевым, имеет с прежним человеком, носившем это имя, мало общего. И действительно, Филипп Глаголев невообразимо полинял. Вместо прямого как тополь, розовощекого красавца во цвете лет сотрудники увидели старика с обильной проседью в светло-русых волосах, с беззубым шамкающим ртом, опущенными плечами, сутулой до округлости спиной и неподвижным взглядом немигающих, как бы неживых глаз.

Секретарша в приемной директора, хотя и была предупреждена о его приходе, тем не менее встрепенулась испуганно при его появлении.

— Я сейчас доложу, присядьте пожалуйста... Там у него люди...

Филипп присаживаться не стал, прохаживался по приемной, узнавая и не узнавая знакомые, можно сказать родные стены. «Вместо Усача повесили Ильича», отметил он про себя, взглянув на портрет. Еще, кажется, сменили обои, в комнате стало светлей, но низкий столик возле диванчика для посетителей остался прежним, а вместо бордовой дорожки от двери до двери стелился во всю ширину пестрый ворсистый ковер.

Дверь кабинета отворилась, и нынешний директор, улыбчивый толстячок с поблескивающей лысиной во всю голову, устремился навстречу гостю. Следом выкатились четверо заведующих редакциями, с любопытством взглянули на пришельца с того света и отсалютовали ему растерянно-почтительными кивками.

— Входите, входите, Филипп Никанорович, я кажется, не заставил вас ждать... Рад видеть вас в добром здравии, здесь все вас помнят, все поминают добрым словом, — сыпал словами толстячок в нервном возбуждении.

Поводя вытянутой рукой, как бы намереваясь обнять гостя за талию, но не доводя это намерение до конца, директор пропустил Филиппа впереди себя в доставшийся ему пять лет назад руководящий кабинет. Здесь все оставалось в нетронутости обширный письменный стол с приставкой, книжные шкафы с чисто вытертыми стеклами, и даже портрет Максима Горького висел на своем месте. Это приятно поразило Филиппа Глаголева, и он счел необходимым тотчас же успокоить нового хозяина относительно своих намерений:

— Надеюсь, вы не подозреваете меня в реваншистских устремлениях? — произнес он заготовленную фразу.

Посмеялись в светской манере, сидя у приставки друг напротив друга, но разговор не клеился. Директор принялся рассказывать о текущих делах и задумках на будущее, но получалось что-то вроде отчета перед вышестоящим начальством, возникала какая-то неловкость, и Филипп решил не затягивать ненужные словопрения.

— Позвольте о цели моего прихода. Внесем ясность: не может быть и речи о моем возвращении в издательство в каком бы то ни было качестве, это раз. Приятно было познакомиться с вами, это два. Собственно говоря, дело мое не к вам, но не мог же я вас миновать, появившись здесь! Итак, о сути дела, — Фи-

лип с ужасом обнаружил, что разучился вести деловой разговор на интеллигентном уровне, приходится с усилием подыскивать слова. — Мне нужен, собственно, секретарь парторганизации. Речь идет о восстановлении в партии. Требуются характеристики от коммунистов, знавших меня по прежней работе.

— Боже ты мой, да это мы в момент организуем! — воодушевился директор.

— Нет, что вы, не надо никаких усилий с вашей стороны, дело чисто партийное. Скажите только, кто сейчас у вас секретарь парткома?

Филипп вернулся в Москву в канун октябрьских торжеств. Столица готовилась отметить тридцать седьмую годовщину революции. Многозначительная цифра «37» красовалась на плакатах, на полотнищах, натянутых через пролеты улиц, вызывала у памятливых граждан кривую усмешку.

Тамара встречала его на вокзале. Идти на старую квартиру было бессмысленно, он не сомневался, что все было конфисковано и отдано тем, кто заслужил. В чисто прибранной светелке на Остоженке подросшая Катенька, стесняясь, подала ему пару новеньких домашних туфель.

— Вот и дождались мы нашего дорогого папочку, — сказала Тамара. — Обними же его, доченька!..

Потребовались не дни — недели, чтобы отдышаться и прийти в себя. Филипп ходил в Тургеневскую библиотеку на Поварской, в Библиотеку иностранной литературы на Варварке, листал новинки, записывал в блокнот названия значительных трудов, которые надо будет основательно проштудировать, а утомившись от книжной премудрости гулял с Катенькой по Зубовскому бульвару и Девичьему полю, дивился наивной доброте и сообразительности юного создания и с умильным непротивлением привыкал к титулу папы.

Как-то, вернувшись со службы, Тамара подала ему

листок с телефонным номером и сказала:

— Тебя просили позвонить.

Кто, зачем — Тамара уклонялась от прямого ответа. Просили и все.

На другой день он с некоторым тревожным любопытством набрал указанный номер.

— Соединяю, — ответил женский голос, а следом в трубке загудел вальяжный голос:

— Филипп Никанорович? Рад приветствовать вас снова в столице. Как здоровье, как самочувствие?.. Хотел бы с вами повидаться... Предмет разговора вот какой: попробую набраться смелости и предложить вам место у себя в редакции. В качестве моего заместителя. Понимаю, для вас не Бог знает какая честь, но дело в том, что мне в недалеком будущем придется уходить, и хотелось бы передать дело в хорошие руки.

Стремление вверх было в крови у Филиппа Глаголева. Начать снова на несколько ступенек ниже, но с перспективой вскоре шагнуть чуть выше, было привлекательно.

Хотя номинальный круг его прямых обязанностей ограничивался литературоведением, критикой и публицистикой, фактически на его плечи лег весь «портфель» журнала. Стареющий «главный» становился ленивее день ото дня, он рад был свалить на заместителя, эрудированного, требовательного и самолюбивого, все, что можно было свалить, оставив за собой только контакты с высшими инстанциями, а кроме того он спешил закончить двухтомный роман-эпопею, пока не изменилось благоприятное для него расположение звезд на кремлевском небосводе.

Приятные, желанные, свойственные его натуре нагрузки были не в тягость Филиппу Глаголеву. Он последним уходил из редакции и еще дома засиживался за полночь над стоящей рукописью или над достойной внимания книгой. Но теперь он жил, поминутно изме-

няя себе, его рационализм после пятилетнего пребывания «вдалеке» обострился, дополнившись комплексом пуганой вороны. Прочитанные произведения он заносил в особую тетрадку с краткой аннотацией и оценкой. Прочитав «Не хлебом единым», он поколебался: записывать или не стоит? Но все же отбросил осторожность: черт с ними, пусть знают! Соображение, что тетрадка тем или иным путем попадет «им» на глаза, представлялось ему бесспорным. При написании статьи об одном мыслителе прошлого века, упомянув его тяготение к свободе, он спохватился: не слишком ли я тут много о свободе? Даже дал прочесть Тамаре внушающий опасения абзац. Тамара похвалила, а он все не успокаивался: да нет, я не в смысле стиля, а вот, не вызывает ли каких-нибудь сомнений? Не настораживает?

Тамара безропотно сносила его полуночиство, заготавливала крепкий чай в китайском термосе и старалась не разбудить его по утрам, собирая в школу первоклассницу Катю.

Филипп не переставал удивляться этой женщине, так богато наделенной от природы способностью приспособливаться к превратностям жизни. Она всегда все знала, от «где что дают» до кто с кем ведет компанию в литературных склоках, будет ли и когда денежная реформа и кого из деятелей высочайшего ранга какая судьба ожидает. Филипп понимал, что своим приглашением на работу в журнал он обязан каким-то разведывательным действиям и интригам Тамары, но не стремился дознаться истины, ему было бы невыносимо признать свою зависимость от человека пусть близкого, но стоящего ниже по духовному уровню, ему удобно было считать, что все произошло само собой...

Дневные часы в редакции были заполнены малопродуктивной, но увлекательной суетой. Секретарша Нина Сергеевна, неопределенного возраста, ширококостная и сухопарая, рыжая, курящая, пересидевшая в приемной уже трех главных редакторов, со знанием

дела регулировала поток посетителей. Комната была квадратная, угловая, с окнами на улицу и в переулок. Стол Нины Сергеевны стоял лицом к фасадным окнам и левой стороной к боковым. Справа позади стола высилась массивная дубовая дверь главного начальственного кабинета, оберегаемая с особой тщательностью. За этой дверью, вдали от шума городского, проводил часы в творческом горении шестидесятипятилетний Степан Федорович Коробейников. Творчество ему лучше удавалось в служебном кабинете, так как дома, при всей комфортности четырехкомнатной квартиры в многоэтажном доме, на еще не полностью застроенном новом проспекте, он был не начальник, а муж, отец и даже дед. Засиживаясь в «присутствии», он оправдывался дома неотложными служебными делами, а при уходе со службы в неурочный час подразумевалось, что его позвало творческое вдохновение.

Доступ к заместителю главного оберегался с меньшей строгостью, докладывать Филиппу Никаноровичу о посетителях Нина Сергеевна не считала необходимым, а только отвечала тем, кто спрашивал разрешения, занят он или свободен.

Посетителей Филипп вскоре научился подразделять на три категории. К первой и главной, хотя и далеко не самой многочисленной, он относил сложившихся, неоднократно печатавшихся авторов, членов Союза писателей. Разговаривать с ними было нелегко, и вообще народ это был очень разный, у одних преобладало непомерное самомнение, другие поражали неуместной скромностью и неуверенностью в себе. Разговоры с ними носили чаще всего конфликтный характер, касались преимущественно идейной выдержанности их произведений, а также редакционных поправок и сокращений. Филиппу почти всегда удавалось выходить победителем в спорах. Он допускал, что при этом играла роль его позиция (хозяин положения!), но все же неоспоримо вырисовывалась и его интеллектуальное

превосходство. После каждой выигранной словесной корриды ему вспоминалось нелепое и досадное обстоятельство, что Секретариат все тянул с утверждением его членства в Союзе писателей, хотя еще тогда, до его «посадки», он, автор нескольких литературно-критических и исследовательских работ, прошел процедуру приема.

Ко второй категории посетителей Филипп относил молодых, а точнее начинающих авторов, далеко не все из них были так уж молоды. Они обращались главным образом с жалобами — когда робкими, когда возмущенными — на несправедливые, по их мнению, решения редакторов, отвергших их сочинения. С ними было просто. Если из умения вести разговор становилось ясно, что автор чего-то стоит, Филипп соглашался вникнуть в существо дела и при необходимости вмешаться. Если же жалобщик не умел связать двух слов, Филипп разъяснял, что не может вмешиваться в прерогативы редакторов, таков порядок... От иных настойчивых авторов бывало нелегко отвязаться, и тогда Филипп прибегал к проверенному, не им изобретенному способу: смотрел на часы, извинялся и пояснял, что торопится на совещание.

Но были просители, с которыми и эта уловка не действовала. Третья категория, самая опасная и обременительная, называлась графоманы. Графоман — это бич редакций. Убедить его в чем-нибудь невозможно, прямой разговор ведет лишь к обострениям, а деликатных намеков он не понимает, тактичные указания на элементарные грамматические ошибки парирует железным аргументом: а вы исправьте, на то вы и редактор. Отказ они воспринимают как выражение предвзятости и обещают разобраться.

Один такой графоман, вредный старикашка, неряшливый, всегда какой-то недобритый — где-то посреди щеки обязательно торчал кустик седой щетины, — с обвислой кожей кадыка и сальными, давно не

стриженными волосами, был хорошо известен в редакции. Нина Сергеевна, если через окно замечала его приближение, подавала сигнал тревоги, и Филипп скрывался или запирался на ключ. Но графоман был не так то прост, со словами «ничего, я подожду» он усаживался на стул, клал на колени пухлый потрепанный портфель из искусственной кожи, и мог держать осаду часами. Добившись своего, он трескучим голосом разоблачал некомпетентных и лживых по его мнению историков, не робея ни перед какими учеными авторитетами вплоть до академиков, сыпал именами и датами, потрясал захватанными листами рукописей и требовал напечатания. Бесплезно было отсылать его к другим журналам, начиная со специальных исторических и кончая «Огоньком», он везде уже побывал и шел по второму или третьему кругу, отвязаться от него можно было только пообещав ему что-нибудь по возможности неопределенное. Оставляя одну из многочисленных копий своего труда у Нины Сергеевны, он требовал расписки в получении таковой, а получив вместо этого ее заверения, что здесь ничего не пропадает, галантно раскланивался и удалялся со словами «мадам, надеюсь только на вас». После его ухода Филипп Глаголев доставал из шкафа початую бутылку коньяка и позволял себе пару глотков для снятия напряжения.

Развлекательными были еженедельные, по средам, совещания у главного редактора. Собирались все, чего не случалось в обычные дни, обменивались слухами и свежими анекдотами. Деловой разговор начинался с доклада ответственного секретаря о продвижении очередного номера и подготовке следующего. Сухой, поджарый ветеран редакции, некогда подававший надежды как остроумный юморист-сатирик, но под гнетом своей хлопотной должности давно расседлавший пегаса, уныло и едко жаловался на придирки типографии, непунктуальность рецензентов и неторопливость авторов. Заведующий отделом прозы позволял

себе весьма вольные высказывания о качестве произведений новоиспеченных лауреатов-скоростников, намекая на то, что почин небезызвестного драматурга, нанимавшего «космополитов» для написания очередного шедевра, не остался без последователей. Филипп быстро осваивался в этой сложной литературной обстановке середины пятидесятих годов, и его суждения стали отличаться взвешенностью и здоровым скептицизмом. Дирижерская осанка постепенно возвращалась к нему.

Но не участие в редакционной суете было главным для Филиппа Глаголева. Важнее было то, что он увидел себя в гуще литературных процессов и понял, что это дает ему крупный шанс в научной карьере. Ты здесь у самого истока литературного развития в русле социалистического реализма, сказал он себе. Тема докторской диссертации вырисовывалась сама собой. До сих пор о социалистическом реализме на истинно научном уровне рассуждал только один приبلудный литературовед из бывших коминтерновцев, но ведь это был все-таки иностранец, человек не то чтобы совсем посторонний, но все же как бы пристроившийся с фланга, с ним можно спорить, а кроме того есть признаки, что его теория вскоре вообще будет разнесена в прах. Значит, надо брать быка за рога! Достаточно отдана дань западной литературе, запад нынче под подозрением, а в твоей новой роли сама судьба толкает тебя к более актуальной проблематике!

4.

Трясаясь в вагоне последнего, полуночного пригородного поезда, Борис Комаров наслаждался покоем и одиночеством. Знакомые ландшафты проплывали за окном неясными тенями, станционные постройки в скудном освещении горящих вполнакала фонарей каза-

лись сказочными замками, прибежищами тайн и привидений. Время от времени по проходу быстрым шагом, словно от погони, прошмыгивали какие-то типы, по одиночке и компаниями, молчком, с оглядкой, и Борису вспоминались истории, которыми до сих пор еще полнилась Москва и ее окрестности — про Черную кошку, про Мосгаз и прочее такое, хотелось не в шутку испугаться, ощутить холодок опасности и приготовиться к самозащите, но испуга не получалось, закалился он, видно, или отупел душой, после стольких-то передряг.

Думалось кусками из прошлого. Все-то его бросает куда-то, из стороны в сторону, вперед-назад, зигзагами и петлями, как в заячьей охоте, пора бы остановиться, оглядеться, перевести дух и определиться по азимуту. Вот и со школой ничего не получается. Он-то думал — появятся у тебя ученики, может ли быть выше назначение? Не к этой ли роли ты готовил себя в самом начале своей взрослой жизни? Сеять разумное, доброе, вечное и так далее. Знание предмета еще не выветрилось из головы, да и как могут выветриться знания по родной литературе и родной речи? Они с тобой навсегда. Но есть у тебя не менее драгоценный багаж знаний — о жизни, о людях, живущих на этой земле рядом и вдали, об их поведении в различных обстоятельствах, о мотивах их поступков. Ты должен суметь изучение литературы сделать наукой жизни, и тогда у тебя будут не просто ученики, а родственные души и верные друзья.

Примерно так представлял себе Борис Комаров свою деятельность на ниве просвещения юношества, но ему очень скоро пришлось убедиться в иллюзорности этой благодатной картины. Он пришел на поле, уже засеянное кем-то другим, и не бросать зерна в свежевспаханную почву досталось ему, а продираться в зарослях чертополоха. И было поздно пытаться что-то исправить в эти считанные недели до конца учебного года, и ему не оставалось ничего иного, как дотянуть свои «девятые» до экзаменов с такими отметками, которые

примелькались до него.

Он умел ладить с людьми при любом соотношении подчиненности, научился повиноваться старшим и управлять младшими, но здесь его навыков оказалось недостаточно. Шестнадцатилетние парни и девушки вели себя как хозяева, они могли разговаривать на уроках, почти не понижая голос, ходили по классу «за стеркой» или за карандашом, на замечания реагировали в лучшем случае молчаливой ухмылкой или же независимой репликой «а я чего?» У капитана запаса Комарова хватило бы жесткости поставить на место разгильдяя, но он сдерживал себя, задаваясь вопросом: а что дальше?

Словом, учитель Комаров лишь тянул свою ляжку, что было вовсе не в его натуре. Он стал тяготиться своей должностью и уже набирался решимости оставить ее, как только закончится учебный год.

Но может быть и не эта разочарованность была главным среди его мотивов к уходу. Призрак рабочего-выдвиженца, старшего лейтенанта, не носившего форму, всякий раз возникал в его воображении, когда он соприкасался с любым нестандартным поступком, любым отступлением от предписанного режима в поведении окружающих. Если следовать их требованиям, он должен был бы все это брать на карандаш и докладывать в письменном виде под псевдонимом «источник такой-то». Он ни разу не выполнил возлагавшейся на него задачи, но старший лейтенант не отставал, с тупой настойчивостью продолжал назначать свидания и пытаться хоть какие-то сведения. Борис неизменно докладывал о полном благополучии, а если его партнер переходил на личности, давал всем безупречную характеристику. Но и эта линия поведения не избавляла его от отвратительного чувства замаранности.

Послать их ко всем чертям? Но как это сделать, не повредив себе, не испортив непоправимо всю свою последующую жизнь? И еще одно соображение, может

быть нелепое, неуместное, слюняво-интеллигентское удерживало его от попытки резкого разрыва: он жалел этого несчастного выдвиженца: тому поручили работать с «источником», а ничего не получается, а тут еще «источник» взбунтовался и выходит из-под контроля! Смешно, говорил себе Комаров, не хочешь подводить — кого? Друга? Приятеля? Ах, что там — просто человека.

Значит самый правильный выход — исчезнуть. Сменить адрес. Работу, место жительства, все! Встреча со старыми друзьями и соприкосновение с вольнолюбивым кружком столичной молодежи укрепили его в этом намерении.

Сойдя с ночного поезда, он оглядел прощальным взглядом немой в этот час новый вокзал, заслонивший собою обветшалую избушку, в которой когда-то уместались все службы прежнего полустанка, и понял, что без грусти покинет место, переставшее быть ему родным.

Лето выдалось жарким, где-то горели леса, и дым распространялся над широкой округой, несмотря на безветрие, Иван Грецкий разъезжал со своей командой по недалёким городам, привозил невеселые вести: под Муромом поймали диверсантов, засланных империалистами, на Храпуновских торфяных болотах рухнул целый горизонт, и вся бригада гасителей погибла в огне.

Из последней поездки Иван вернулся с племянником. Витюнька вырос в районном городке под Рязанью, кончил школу с серебряной медалью и задался целью, эдакий честолубец, поступить в Московский авиационный институт. Прошлогодняя попытка закончилась неудачей, предстоял второй заход, к которому племяш Витюнька готовился со всей старательностью провинциала, корпел над учебниками и регулярно посещал все консультации. Однако из поездок в институт он вынес не столько знания по экзаменационным предметам, сколько дополнительные сведения о путях, ведущих к успеху. Возвратившись из Москвы, Витюнька уединился

с дядей в его горнице, и о чем они там подолгу рассуждали, Борису было неведомо.

Как-то вечером, после ужина с необычным угощением из деревенской снеди, присланной Витюньке родителями, Иван позвал Бориса в садик, усадил на скамью и начал издали:

— Вот ты, Боря, как поступал в институт?

— Ну, как? Обычно поступал, сдал экзамен, и пожалуйста, — ответил Борис, не желая вникать в подробности.

— Вот видишь... Тогда рабочий класс в институты чуть не силком загоняли, так? А нынче, брат, совсем другое дело. Теперь народ смекнул, где пироги с начинкой. В институты — конкурс. Понял?

— Чего ж тут не понять. Идет отбор. А что, у Витюньки трудности? Должны бы, кажется повыситься его шансы по сравнению с прошлым годом, ведь как занимается!..

— Шансы, говоришь... Вот в шансах то все и дело.

— Иван замешкался. — Короче говоря, ты деньгами богат?

— Да есть кое-какие остатки прежних капиталов, а что?

Иван отвернулся, задумался на минуту, глядя на нырнувшее в сизую дымку огромное медно-красное солнце, и выдал с усилием:

— Можешь одолжить сотни четыре?

Борис насторожился:

— Что, неужели надо положить на лапу? Кому, профессору?

— Ты пойми, Боря, был бы это мой сын, я сказал бы: поступишь по-честному, тогда учишься, а через черный ход, это не наша статья. Но Витюнька — племянник, сын не мой, а моего родного брата, а он знаешь кто? С войны пришел покалеченный, был мастер на все руки, а теперь подсобник, получает восемьдесят с копейками. Да что говорить, трудно живут. Вся надежда на Ви-

тюньку. А ему загорелось: авиационный, и ни шагу назад.

— Погоди, погоди... А четыре сотни это в каком же смысле?

— Ставка пять. Сотня есть у меня, а надо — пять.

— Значит, Витюнька вместо ответа экзаменатору должен вручить ему конверт?

— Не так. Техника отработана. Экзаменатор в стороне. Есть некто Жора. Жора получает деньги, а дальше никто ничего не знает.

Скрепя сердце, Борис дал другу требуемые четыре сотни. Позже он узнал, что Витюнька принят. Возникшее еще при первом соприкосновении с родной послевоенной действительностью ощущение, что он приехал в другую, незнакомую страну, укреплялось.

Он явился в горно, чтобы оформить увольнение. Пожилая инспекторша поверх очков долго разглядывала его с любопытством.

— С вами будет разговор, — вымолвила она наконец. — Пройдите к заведующей.

— Садитесь, товарищ Комаров, — сказала жестким учительским тоном дородная дама в сером жакете. — Вот вы тут пишете в своем заявлении, что потеряли квалификацию и не считаете возможным — ну, и так далее. Вы это серьезно?

— Вполне.

— Фм... Очень самокритично. Даже слишком. Ну ладно, дело ваше. Чем же вы предполагаете заняться в дальнейшем?

— Еще не решил.

— Удивительный вы человек, Борис Семенович. Так легко расстаетесь с самой почетной профессией — или вы не считаете нашу профессию почетной?

— Почему же, считаю.

— Так. Неразговорчивый вы человек, к тому же. Тогда может быть вы и правы. Учитель должен быть

разговорчивым, это его стихия. Согласны?

— Вполне.

Заведующая горно улыбнулась:

— А вы мне нравитесь, — заметила она и взглянула в бумаги. — По вашим анкетным данным... Вот: корреспондент, ответственный секретарь... Одним словом, так. Моя хорошая знакомая, редактор нашего родного «Вестника просвещения» просила меня, если встретится подходящая кандидатура, порекомендовать ей человека на должность ответственного секретаря взамен выбывшего... кадра, — закончила она, не найдя лучшего слова. — Пожалуй, ваша кандидатура подошла бы им, как вы думаете?

На ловца и зверь бежит, так подумал Комаров, но подумал еще и о том, что газета сия отвращала его своей непроходимой скукой, сухостью и хождением по струнке. Но впрочем, чем черт не шутит, может быть именно ему удастся что-то изменить? Поколебавшись, он ответил:

— Можно бы попробовать.

— Вот и ладненько. Езжайте и обращайтесь прямо к Серафиме Игнатьевне. Скажите, что от меня.

5.

Шли месяцы, ничего в судьбе Русланова не менялось. По каким канцеляриям бродят мои бумаги, думал он? Зряшняя затея, у них правая рука никогда не знает, что делает левая. Все уйдет в песок, застрянет на соглашениях и противостояниях. Сегодня у них одно, завтра другое. Вот дядя Ваня — это надежно. Уж раз пристал к этому берегу, около него и держись!...

Дачу заказчику сдали, профессор остался доволен, расплатился без прижима и даже поставил магарыч, однако не в натуре, опасаясь безобразия и пожара, а просто выдал сверх уговора десятнику сотенную, а ра-

ботягам по полсотни. Употребить полученное не по назначению дядя Ваня никак не мог себе позволять, поэтому выпивали теперь не только по субботам после бани, но и в разные будние дни. Новых заказов пока что не было, отчего не пожить в свое удовольствие.

В малом подпитии дядя Ваня любил расспрашивать Русланова о науке.

— Ты скажи мне, — начинал дядя Ваня, чокнувшись граненым стаканом, на две трети наполненным «Пшеничной», со стопкой Русланова, которому из уважения к его учености наливал «Старку», — раз ты человек научный, вот и объясни мне, неучу: наука, она ведь все знает, так?

— Ну, не все, но многое.

— Ладно, не все, ну, а столько-то, чтобы сказать человеку, как ему жить, чтобы горя не знать, а? Может или нет?

— Так ведь дело не в одной науке. Надо, чтобы все люди понимали свое благо, или, скажем, свою выгоду, и так бы ее понимали, чтобы не в ущерб другим.

— Вот и научили бы! А если не можете, так на шиша она кому нужна, ваша наука? Чтобы самим дармоедничать, а неученый — хрен с ним?

— Жизнь устраивать приходится всем вместе, ученым и неученым. Ученые пока не способны думать и решать за всех.

— Вот и я что говорю, — подтверждает дядя Ваня с таким видом, словно одержал верх. — А все же ты объясни, какая есть разница про между ученым подходом к жизни и таким вот обнакновенным?

Русланов знает эту струнку дяди Вани, великого знатока «обнакновенной» жизни, и не прочь подыграть.

— Разница? Ну вот, если, например, ученый напишет: «В условиях растительного сообщества, характеризующегося преобладанием злаковых влаголюбивых видов, представитель низшего сословия аграриев совершает выпас единицы крупного рогатого скота», то

человек неученый на это самое скажет: «на лугу мужик пасет корову».

— Во! А я что говорю! Давай, за науку!

Но, разоблачив пустозвонов-ученых, дядя Ваня, удовлетворенный победой, поворачивал штык:

— А все же ты, Константиныч, зря от науки отстранился. Ведь там кто крутит-вертит? Они же жизни не знают, энти профессора! Они же все только по книжечкам. А ты жизнь повидал, всякую. Тебя на мякине не проведешь, они тебе книжечку, а ты им, ваши благородия, жизнь по-другому учит. Верно я говорю?

Как ни простодушны были рассуждения мастерового дяди Вани, они делали свое дело. Не было веры ни в какие ходатайства и ни в какое изменение курса, но все же Павел Русланов стал задумываться о том, что он стал бы делать, если бы ему довелось вернуться к тому роду занятий, к которому он чувствовал себя призванным в далекие годы, когда юные, открытые влияниям умы тянулись к нему в вузовских аудиториях. Да, перемены в верхах не вселяли надежд, но сдвиг в настроении общества был заметен. Размороженные начавшейся оттепелью голоса, как в памятной сказке Андерсена, звучали все громче: в очередях, на киноэкранах, в радиопередачах, на страницах журналов.

Русланов стал покупать газеты. Не затем, чтобы узнать что-нибудь новое, а главным образом затем, чтобы выяснить, с какой степенью открытости пишут о том, что всем известно. Увы, эта степень была далека от его ожиданий. Зато ему попадались на глаза объявления о конкурсах на замещение должностей в столичных институтах. Сначала он просто дивился новшеству, потом из любопытства стал вникать в содержание объявлений, касающихся вакансий на кафедрах диамата и истмата, невольно применяя их на себе. Он был не настолько наивен, чтобы замышлять свое участие в таких конкурсах, но мысль о том, что «может быть, когда-нибудь» засела в его голове.

Приодевшись с полочки, он стал ездить в Москву. Пока что без определенной цели, а так, чтобы освоиться, или, может быть, повинуюсь какому-то внутреннему беспокойству. Он ощутил себя совершенно другим человеком по сравнению с тем молодым доцентом, который ходил когда-то по этим тротуарам, аллеям, мостам... Годы лагерной «перековки», излюбленное словечко времен Беломорско-Балтийской стройки, значили, как оказалось, неизмеримо больше, чем проштудированные тома классиков марксизма и других философских школ.

Он медленно привыкал к свободе. Запрет проживать в столице не означал, что ему нельзя туда приезжать, и все же он чувствовал себя неуютно, бродя по улицам, и каждый милиционер внушал ему плебейскую робость. Но никто не обращал на него внимания. Постепенно освобождаясь от комплексов подконвойного, бесправного з/к, он стал присматриваться к прохожим, пытался прочесть на лицах, насколько это было возможно в мимолетном безмолвном общении, историю жизни встречного-поперечного, а в итоге суммарную историю жизни всех, прожитой за столько лет в его отсутствие. Он с удивлением обнаруживал в себе этот новый интерес к людям, к заурядным судьбам «простых смертных», про которых не пишут в энциклопедиях, таких, как его Зина, как дядя Ваня, как работяги из его бригады, как попутчики в поездах. Раньше этот интерес был ему не то чтобы вовсе чужд, но плотно заслонен сначала соображениями вселенского масштаба, потом жестокой реальностью лагерного существования. Теперь ему было важно понять, что изменилось за эти годы у тех, кто жил другой жизнью, подвергался другим испытаниям. Он обращал внимание на одежду, походку, вслушивался в интонации чужих разговоров, оценивал манеры пассажиров трамвая, примечал чистоту или заплеванность знакомых улиц, запахи вокзалов, вовек неизменные, гудки автомобилей и повадки уличных

воробьев. Никогда раньше такие мелочи жизни его не интересовали, и он с удивлением отмечал эту перемену в себе самом.

Но Русланов не был бы Руслановым, если бы не соотносил свои будничные впечатления с глобальными процессами и не вспоминал бы о роли в истории великих мира сего. Чем велик и в чем уцербен был Ульянов-Ленин, вот вопрос, который он задавал себе множество раз на протяжении своей богатой впечатлениями жизни. Ленин был знатоком теорий, но был ли он знатоком человеческой натуры? И что важнее? Что первично? Вопрос о первичности и вторичности был главным для понимания двигательных сил истории. Марксизм отвечал на него однозначно. Но был ли верным этот ответ? В осуждение, в оправдание ли убеждений Ульянова-Ленина (только так Русланов называл про себя вождя большевиков), необходимо было иметь в виду, что этот человек вступил на путь политической деятельности зеленым юнцом, а ушел из жизни, едва начав набирать государственной мудрости. Как можно судить о мыслительных потенциалах людей, не доживших до умудренной старости?

В таких раздумьях Русланов бродил по бульварам, ездил в метро, исполнял заказы Зины в промтоварных и продовольственных магазинах, читал объявления на столбах об обмене квартир и в специальных витринах о спросе на рабсилу. У Таганского метро, на доске объявлений уголовного розыска, его заставило улыбнуться перечисление особых примет опасного рецидивиста: ...вежлив, в разговоре употребляет слово «пожалуйста»... Вот тебе и на, уже и это относится к разряду редких особенностей.

После поездок в Москву Русланов укреплялся в убеждении, что его дальнейшая судьба надолго связана с промыслом дяди Вани. Он пока еще не усомнился в том, что выстоять в любых обстоятельствах, устоять против любых невзгод помогает широкий обществен-

ный интерес, позволяющий подняться над своими личными переживаниями, но уже не считал, что этот интерес должен непременно воплощаться в общественную активность: философия, как никакая другая из наук, совместима с созерцательностью.

И все же, как ни гнал он от себя мысль о невероятном, то есть о возвращении на какую-бы то ни было кафедру, Русланов против своей воли размышлял о том, что сказал бы он своим слушателям теперь, обогатившись опытом Бутырок, Колымы, Караганды и сто первого километра. Он складывал в уме фразы и целые отрывки — о бытии и сознании, о свободе воли и об этических нормах, о роли личности в истории и о роли исторических условий в формировании личности. Он с удивлением обнаруживал, что его суждения стали основываться не столько на освоенной когда-то книжной премудрости, сколько под влиянием жизненных наблюдений, от приисковой каторги до разговоров в пригородных поездах, в сопоставлении жизненных реальностей с их словесным отображением в газетах. Он пришел к мысли, что философскую науку надо вызволить из пут глубокомыслия и школярства, ее надо упростить и сделать доступной каждому простому смертному, чтобы она действительно могла стать путеводной нитью в обыденной жизни.

Раньше течение жизни и социально-философские категории лежали для Русланова в разных плоскостях. Он не спрашивал себя, зачем строят Днепрогэс, Магнитку, Горьковский автозавод, — строят и строят, дело практически необходимое. Теперь все прежние события, помноженные на четыре года войны и ее исход, суммировались в конечный итог. А в итоге получался не взлет самосознания народа, не рост его благосостояния, а лишь доказательство правоты великого вождя; которому было важно поставить на своем, посрамить и доконать политических противников и утвердиться в единоличном господстве. О да, вождь стремился со-

здать и укрепить могущество державы, но все ради той же высокой цели. Или еще ради победы пролетарской революции в мировом масштабе? Но, узнав о цене, не воздержится ли мировой пролетариат от предлагаемой ему революции?

Теория и практика шли порознь и никогда не пересекались. Вместо построения бесклассового общества образовывался многочисленный паразитический класс, пользующийся плодами труда миллионов заключенных, да и формально свободных, но по сути тоже подневольных людей. Значит, грядет новая революция, возмущение угнетенного класса против угнетателей?

Вот такие непрошенные мысли забредали в голову одичавшего вдали от научных центров кандидата философских наук Павла Русланова. Он понимал, что схему новых общественных отношений нельзя чертить в старых координатах марксистско-ленинской классово-вой теории. Понимал также, что если бы ему сейчас доверили какой-нибудь курс, он, конечно, не стал бы излагать взгляды, которые непосредственно опираются на трезвый анализ действительности. Бесмысленно, потому что невозможно. Не поймут. Не поверят. И немедленно пресекут. Нет, надо о другом. Нужны теоретические посылки, которые ничего прямо не опровергают, ничего конкретно не осуждают, но дают ключ ко всем загадкам конкретики. Ключ этот лежит на той полке, которую они называют коренным вопросом философии: это — соотношение между общественным сознанием и общественным бытием.

И еще приходило в голову, что, может быть всякие абстракции — это лишь забавы изощренного ума, что весь этот трансцендентальный хлам никак не сопрягаем реальной жизни, которая течет сама по себе, своим ходом, повинуваясь не столько законам диалектики, сколько прихотям людей — от вождя, невзлюбившего другого вождя, до пьянчуги, спалившего собственную хату.

Выбрось это все из головы, говорил себе Русланов. Отвлеченным умствованием сыт не будешь, надо зарабатывать на жизнь.

У дяди Вани пока хватало и на выпивку, и на закуску, и хотя тетя Фрося понемногу пилила его, называя но-модному тунеядцем, поисками работы он себя не утруждал. Но Русланову сказал как-то за чаем:

— Слышь, Константиныч, тут мужик один, в низах живет, сад у него... Старый он, и сад у него старый... Ты сахар-то бери, не стесняйся... Да, стало быть, хочет он сад свой обновить, новые породы посадить, а старые деревья спилить и выкорчевать. Вот, ищет человека. Ты бы не взялся?

Низы - эго просторные выселки на покато́й равнине, вниз по течению ручья, где он, просочившись сквозь тесные шлюзы городского пруда и миновав по оврагу ольховую рощу, выплескивается журчливым перепадом на ровную поверхность речной поймы, чтобы, петляя и обрастая осокой, через несколько зигзагов слиться с рекой. Земля здесь тяжелая, жирная, и дома, стоящие вразброс, крепкие, основательные, участки поболее городских, а хозяева работающие, состоятельные и прижимистые.

Дом старика Мелентьева был замечен издалека. Он стоял и вовсе на отшибе, был обширен, увенчан мезонином под мансардной крышей, имел стеклянную террасу во весь фасад и к ней широкое крыльцо с перилами. Вдоль северной границы участка тянулась шеренга рослых лип с густым подлеском из рябины, а южная сторона была открыта солнцу и ветрам. На пространстве в пятую часть гектара, в строгом порядке стояли поближе к дому молодые плодовые деревья, уже сбросившие листву, а позади, перед продолговатой застекленной теплицей, торчало несколько невысоких пеньков.

Садовод, щуплый старик незавидного роста,

выйдя на крыльцо, смерил Русланова недоверчивым взглядом из-под кустистых седых бровей, и в дом не пригласил.

— А ты чей такой будешь?... Из залетных, выходит... Не обворуешь?

Русланов заверил, что не обворует.

— А кто тебя послал?... А-а, Ванька-печник, ну, тогда лады, можешь приступать к работе. Работа, значит, такая. Вон, видишь, пеньки. Спилил я дерева с соседом, да вот корчевать силов моих нету. А живу один со старухой, сыны-то разбежались кто куда, польстились на городскую жизнь бездельную... Почто спилил? Скажу тебе так: не то чтобы они были сильно старые, те яблони, но неподходящие для дальнейшего произрастания. Испортил мне их тут один шалопай, пристал, давай привьем, уверял, что вдвое станут плодоносить. А что получилось? За- место антоновки да анисовки стало расти непонятно что, ни кислоты, ни сладости, так, деревяшка, а не яблоко. А виноват подлец Мичурин, он перепутал все сорта.

Старик подождал, не поддержит ли работник разговор каким-нибудь замечанием, но Русланов молчал, не имея, что сказать.

— Значит так, — перешел хозяин на деловой тон, — приходи завтра с утра, струмент весь мой, вон в сарае лопаты, ломик, топор — выбирай, какой тебе с руки. Обедом старуха накормит, за день управишься. За все про все двадцатка, согласен?

— Двадцатки мало, — поторговался Русланов, как подучивал его дядя Ваня. — Тут работы не на день, на все три. Шесть пеньков, да вон какие толстенные, их как репку не выдернешь.

— Ну уж ты скажешь, три дня! Если не ленив, то за день как есть управишься.

— Работа будет на совесть, но и плата должна быть по чести, — не сдавался Павел Константинович, стараясь попасть в тон работодателю.

— Ладно, давай так: за твоей работой я погляжу, а положим мы по пятнадцать целковых за трудовой день. Согласен?

Никогда раньше корчевать пни ему не приходилось. Уже к обеду первого дня Павел Константинович понял, что торговался не зря. Корни старых яблонь широко расползлись во все стороны, окапывать пень приходилось радиусом чуть ли не в метр. Толстые боковые корни легко поддавались топору, но пень все равно стоял, как вкопанный, тонкие ветвления уходили куда-то вглубь невидимыми нитями, главный корень глубоко внедрялся в землю. Как же приноровиться, чтобы стронуть с места этот колтун из слипшейся с землей древесины, этот громадный ком, черный и сырой, пахнущий болотом и грибами? Орудя ломом, Русланов отковыривал куски земли от цилиндрической глыбы, раскачивал эту глыбу так и эдак, пытаясь освободить ее от хватки еще оставшихся на глубине отростков корня, восклицательным знаком вонзающегося в землю глыбу и наконец добился своего, глыба стала подвижной. Но она еще держалась внизу на привязи главного корня. Лопатой, ломом, опять лопатой отесывал он эту блямбу снизу и с боков, постепенно она все больше кренилась на бок, и вот, когда она уже легла на борт ямы, он смог наконец добраться до главного корня, восклицательным знаком вонзающегося в землю на неведомую глубину. Один, два, три удара топора, молочно-белое тело корня блеснуло с укором, глыба дрогнула и повалилась на бок, легла на дно ямы... Теперь оставалось только ломом и обухом топора отторгнуть остатки налипшей земли, и облегченный, но все еще многопудовый древесный спрут можно будет с помощью лома выкатить на поверхность...

Осуществив эту последнюю операцию с крайним напряжением сил, Русланов выбрался из ямы и сел на культю ствола. Грудь вздымалась и опускалась в неслыханном темпе, синие и красные круги плыли перед гла-

зами. Черт меня дернул ввязаться в эту авантюру — подумал Русланов и вспомнил колымский лагерь «Большевик», глинистый пласт, прослоенный крупной галькой, и неподъемное к концу работы кайло.

Еще недавно, трудясь на строительстве дачи, Павел Константинович предавался сладостным размышлениям о достоинствах физического труда, полезного организму и оставляющему мозг свободным для ничем не стесненной мыслительной работы. Он вспоминал при этом о сельских умниках, описанных Тургеневым, Толстым, Успенским и Короленко, и ему казалось, что он вплотную приблизился к какой-то доселе неведомой ему жизненной правде. Он начинал с настороженностью, чуть ли не с осуждением думать о стремлении технологов механизировать все до последней производственной операции, вытеснив полностью физический труд... Теперь он был бы вовсе не прочь стать оператором корчевальной машины. «Бытие определяет сознание?» Может быть, именно в этом смысле надо понимать главный постулат исторического материализма, подумал Русланов и улыбнулся своим несерьезным мыслям, а тем временем пришло в норму его дыхание.

За обедом старик-садовод сказал:

— Ты вот что, парень... Я гляжу, ты не больно в силах. Валяй, иди, пожалуй, отдохни. Завтра продолжишь, спешить некуда.

Наутро побаливали мышцы рук и спины, однако злость на работу разгорелась с новой силой. Взаясь за гуж...

Вечером, одолев за день три пенька, он возвращался домой на ватных ногах. Даже пологий подъемник по аллее городского парка давал себя знать. Три ступеньки крыльца отозвались чуть ли не предельным напряжением, частое биение сердца кисло отдавалось в горле.

За ужином дядя Ваня потянулся бутылкой к

поставленной перед ним традиционной стопке, но Русланов прикрыл ее ладонью.

— Ты чего, лекцию какую прослушал?

— Да, вроде этого.

Третий день начался с жестокого преодоления. Волоча по земле лопату, Русланов с ненавистью приближался к оставшимся двум пенькам, и в зависшем утреннем тумане ему чудилось, что они щерятся зловредно, завидя его приближение. Потом он разгорелся, работа пошла в охотку. Сноровки прибавилось, топор точно попадал в то место, где корень не очень пружинил, а тонкие нитяные отростки легко поддавались острой лопате. Дело, которое нам удастся, мы делаем с удовольствием. Гляди-ка, я стал специалистом по выкорчевке пней, думал про себя Павел Константинович с мальчишеской гордостью. Под старость кусок хлеба...

Но по пути домой опять как свинцом были налиты ноги. Он присел на скамью в парке, раскинул руки по спинке. Саднило в пересохшем горле, и дальше вниз, до самого солнечного сплетения, распространялась какая-то странная, неизведанная, тупая и жгучая боль. Подостыв, Русланов закашлялся, кровь прилила к голове, и опять пошли перед глазами синие и красные круги. Наглотался сырого воздуха, осень на дворе, подумалось ему. Отдохнул, сердце успокоилось, боль в груди вроде бы прошла. Он поднялся со скамьи, заторопился к дому, в тепло, предвкушая блаженное расслабление за крепким чаем у самовара, но подъем все равно ощущался даже там, где раньше он его вовсе не замечал.

На другой день привязался кашель.

— Поди к врачу, — требовала Зина.

— Пустяки. Легкая простуда, пройдет.

Но не проходило. В городской поликлинике молодая врачиха суетливо и неуверенно послушала его через стетоскоп. Завела историю болезни, написала: трахеит. Дали порошки от кашля. Через неделю, действительно, прошло.

6.

Острословы — ими никогда не оскудевала земля русская впоследствии назовут эти пятидесятые годы эпохой раннего реабилитанса. Потом случится еще и поздний, но это все потом. А пока и без того хватало пищи для острот.

Общественная жизнь, внешне зажатая в железные рамки, подспудно кипела и бурлила. Еще не отгремели залпы по безродным космополитам и безыдейным злопыхателям, еще опоясывал заповедные пущи соцреализма частокол постановлений сорок шестого года, еще распиная в московских забегаловках уволенный за пьянку инструктор цеха: «А крепенько мы поработали тогда в Ленинграде! А вы думали, он сам что ли черную работу делал?». (Это о Жданове, кстати, уже покойном). Еще только прорезывался голос у Валентина Овечкина, начавшего публиковать свои «Районные будни», вызывавая молчаливую Настороженность властей, а эренбургская «Оттепель» уже получила должную отповедь от верных присяге культур-надзирателей, еще только робко и наощупь позволяли себе Миронова и Менакер кое-что непозволительное, еще владели радиоэфиром песнопения — гимны про счастье Родины, которое превыше всех иных забот, лишь слегка потеснившись в пользу любовных неудачников, не умеющих объяснить в своих чувствах, — как вдруг, громом среди ясного неба обрушилось на голову изумленной публики и молниеносно завладело всеми эстрадами немислимое: «Я люблю тебя, жизнь!».

Знатоки затаили дыхание. Ждали последствий, предрекали: пресекут и сделают оргвыводы. Но время шло, песня прожужжала уши, а запрета все не было, и авторитетные органы печати склоняли авторов в сдержанно-похвальном падеже.

— Можете себе представить, — чесал язык Костя Афонин, — он любит жизнь! Просто так, в натуральном

виде, то есть не Родину с большой буквы, не Партию с еще большей, не Армию родную и даже не ударный труд во имя светлого будущего, нет — просто жизнь. Народ ликует: разрешили! Уже можно! И даже про поцелуй там довольно таки нескромно, не какой-нибудь в щечку, а эдакий на рассвете, от которого получаются дети — ну, братцы, повеяло ветром свободы! И уж совсем ни в какие ворота — выражено пожелание, чтобы жизнь лучше стала. Куда же еще лучше то? Что ж, выходит, она у нас недостаточно хороша? Да за такие слова...

— К становому, считаешь? — угадывал мысль Гарвард.

— Именно! Да на съезжую!

Афонинский кружок прирастал числом и интеллектом. Оксана Фетисова приходила со своим поклонником (это по-старому, а по-новому другом жизни) Николаем Федоровичем Судариковым. Старше ее лет на десять-двенадцать, вдовец. Жена и две дочери погибли в Мурманске при бомбежке, но об этом никто кроме Оксаны и Софьи Николаевны не знал, отчего случались бестактности, на которые Николай Федорович внешне никак не реагировал. Он от звонка до звонка провоявал на Северном флоте, побывал во всяких переделках, но воспоминаний военных не любил, был глуховат на одно ухо и прихрамывал на правую ногу. Давно уже уволившись из войска, он все еще донашивал старенькую, но аккуратно содержимую форму морского офицера без знаков различия, скорее всего потому, что больше нечего было надеть. Николай Федорович преподавал военное дело и избирался партторгом как единственный среды педагогов партийный мужчина.

На сходках кружка Николай Федорович присутствовал бессловесно, считалось, что он приходит лишь затем, чтобы сопровождать Оксану в небезопасные вечерние часы. Его партийная принадлежность никого особенно не смущала, а что касается партийности Бориса Комарова и Эрнеста Щегловитова-Гарварда, то ее

вообще не принимали во внимание, так как это были ветераны кружка.

Благосклонность Оксаны к Моряку, так заочно называли ее друга, вызывала некоторое недоумение, считали, что он ей не пара, но соглашались в том, что ей виднее. Николай Федорович на сборищах слушал внимательно, но никакого отклика нельзя было прочесть на его худом, матово-бледном лице. Никому не ведомо было, что у Моряка на уме, его даже немного стеснялись и чуточку побаивались, но, привыкнув, перестали обращать на него внимание.

— Николай Федорович, вы любите жизнь? — спросил Гарвард, когда-то имевший виды на Оксану и в силу этого недолюбивавший Моряка.

— Жизнь? — Моряк огляделся по сторонам. — Слишком много в этом слове. Когда судья спросил чикагского гангстера Аль Капоне, предпочитает ли он быть повешенным или казненным на электрическом стуле, тот ответил: я люблю молочный суп. Его приговорили к восьми годам тюрьмы.

И все то он знает, этот моряк!

Гарвард изредка приводил с собой свою супругу Галину — по-видимому, в тех случаях, когда не мог от нее отвязаться — крикливо-вульгарную, крупную, костлявую брюнетку, с которой он вечно вздорил. Никто не понимал, что привязывает их друг к другу. Встревая в дискуссии, Галина приводила примеры из жизни, не имеющие к обсуждаемому предмету никакого отношения, и Гарвард нервно подергивал щекой, но не вмешивался, опасаясь скандала.

Самой горячей спорщицей была Оксана, ее сторону держала и Людмила, ныне Чугунова. Позиция Люси часто не совпадала с точкой зрения супруга, который считал необходимым, может быть просто по долгу службы, выступать в защиту советской литературы и в частности ее новинок, партийно-патриотического направления. Но стоило ему вступить за какой-

нибудь эдакий бестселлер, как раздавался бас знатока и ревнителя русской классики Никиты Кулемина:

— Да это рядом с литературой не лежало. Ты разберись-ка с их лексикой. Герои объясняются с помощью двух десяткой слою. А сюжеты? Вот уж воистину морковный кофе. Интрига на уровне кухонной сплетни. В финале «ей стало по-хорошему плохо, ему стало по-плохому хорошо», вот их художественные высоты. И ваша «Люблю тебя, жизнь» тоже недалеко от них ушла.

Борис Комаров, с тех пор, как он определился в редакцию «Просветителя», почитал своим долгом отстаивать умеренные взгляды. Песенку в редакции одобряли, хотя и с оговоркой насчет поцелуя.

— Как ни говори, что-то свое. Не то что «Крутит-ся-вертится шар голубой» на мотив «глянул к цыганам, там пир идет горой».

— Ты хочешь сказать, уворовано? — дознавался сторонник определенности Гарвард.

— Точно также как полька из фильма «Старые друзья» на мотив «жил-был у бабушки серенький козлик».

— Это называется случайные совпадения, — заметил Костя. — Имеет отношение к теории больших чисел — я правильно понимаю, Эрнест Гарвардыч?

Гарвард только хмыкнул, он терпеть не мог дилетантства.

Люся же сказала:

— Оказывается, у Бориса тонкий слух.

Григорий Чугунов досадливо поморщился, размял папиросу и вышел покурить.

— Ты обратил внимание, что Люська редко появляется здесь вместе с муженьком, — шепнул Борису Костя. — А если и приходят вместе, то держатся порознь.

— Там что-то не ладится, думаешь?

— Тут и думать нечего. Козел и трепетная лань.

Борис нахмурился. «Ах, где же вы были раньше»,

эти слова, когда-то сорвавшиеся с языка Софьи Николаевны, глубоко запали в его растерзанную душу. Слово не воробей, говорят, «Хотел бы в единое слово»... Грустно!

А Софья Николаевна с дочерью надолго уединялись в спальне для каких-то тайных переговоров, а когда они возвращались к обществу, как-то невольно все менялось, от темы разговора и до манеры выразаться.

Обычно «леди» втроем или вчетвером жались на продавленном и вытертом диване бордового бархата, тогда как «джентльмены» рассаживались привольно на чем попало, кто верхом на стуле, кто развалился в единственном реликтовом кресле, кто на краю стола, а кто и на подоконнике. То один, то другой в возбуждении вскакивал с места, мерил комнату шагами, голоса взвивались до крещендо, а жестикуляция становилась небезопасной для окружающих лиц и предметов. Только Никита Кулемин никогда не горячился, сидел себе в удобной позе и изредка вставлял свое веское слово.

— Чтобы создать что-то новое, небывалое, нужен талант. А талант вещь редкая и самообманом не добываемая.

Все как-то притихли. В душе каждый подозревал в себе какой-то талант, дремлющий до поры до времени.

— Сурово, — заметил Костя Афонин.

— Но в иные эпохи с талантом в самом деле приходится погодить, — добавил Кулемин, как бы снисходя. — Бывает, что нет на него спроса.

Никита Кулемин воевал в саперах. Отделался контузией и двумя ранениями. Дослужился до старшины, а вернувшись из Праги стал доучиваться на литфаке, откуда был призван после второго курса. Стало быть, отстал от других по срокам получения образования, но его преданность науке была замечена профессорами. Окончив пединститут с красным дипломом, он сразу же был привлечен к преподавательству при кафедре русской литературы, где состоял аспирантом.

Никита был знатоком народных речений и лексического багажа разных эпох, читывал «Слово о полку Игореве» в оригинале, а про Даля высказывался с некоторым пренебрежением, считая его человеком к народной речи посторонним, и если что-либо знавшим, то именно «понаслышке». При Кулеmine было опасно высказываться о русском языке. Когда кто-нибудь ругал современных бюрократов за то, что они якобы выработали канцелярский язык, Никита поправлял:

— Нет уж, батенька, выработать что-нибудь они, увы, неспособны. «Мероприятие?» Это словечко было у чиновников очень в ходу еще при Николае первом. Тогда же в верноподданической журналистике весьма употребительным было выражение «беспредельная преданность», только не партии и правительству, а престолу и отечеству.

В кружке Никите поначалу присвоили было кличку «фельдфебель», но она не привилась: не фельдфебельской, а скорее генеральской была его повадка. Каким-то умиряющим, почти завораживающим был взгляд его глубоко сидящих и потому неразличимого цвета глаз, аристократическое достоинство виделось в посадке головы с густой, пышной, откинутой назад шевелюрой, гвардейской была его выправка, как ни плохо она гармонировала с неказистым и даже слегка комичным сложением — короткие ноги несли крупное, стройное туловище, как бы взятое из другого комплекта. Внушительно звучал его сильный, хотя и глуховатый голос, годящийся для обращения к сколь угодно многочисленной аудитории, которым он варьировал по надобности в диапазоне от глубокого баса до почти дискантовых нот: Никита, когда был в настроении, самозабвенно пел народные песни.

Рационалист Эрнест Щегловитов, он же Гарвард, считавший ненаучным все кроме математики и отчасти физики, да еще философии Канта, ни в чем не соглашался с филологом Кулеминым.

— По-твоему выходит, что если талант прячется за спины процветающих бездарей, то это служит его самосохранению. Кладбищенская теория! Он сохраняется, сохраняется, а когда пробьет час для самореализации, глядишь, он уже усох, твой талант. Или ты просто не дожил.

— Ты хочешь сказать, что талант должен пробивать себе дорогу? — несмело ввязался в спор Борис Комаров. — Но ведь таланту свойственна тонкость восприятия, деликатность отношений. А тонкость и напористость не уживаются под одной крышей.

— Как знать, как знать, — многозначительно изрек Костя Афонии.

— Суждения могут быть близки к истине или далеки от нее, по они всегда верно характеризуют того, кому принадлежат, — заметил Гарвард, нашпигованный отвлеченной премудростью.

В программу входило угощение. Софья Николаевна, раскрасневшаяся у керосинки, вносила изжаренные на ней рыбные котлеты, непременное блюдо на афонинских вечерах. Эти котлеты, самый дешевый полуфабрикат в рыбном магазине на Тверской, были постоянным вкладом семьи Афониных в совместные трапезы, а всякое прочее, несмотря на протесты Софьи Николаевны, приносили кружковцы: легкое вино, сдобное печенье, иногда пирожные или даже торт, а если случался особый повод вроде чьего-нибудь дня рождения, тогда обязательно бутылку-другую «Салхино». Дни рождения или что-то подобное изобретали всякий раз, когда хотелось повеселиться, потом признавались в обмане и получали индульгенцию.

За ужином споры не стихали. Говорили об упадке нравственности, о беспринципных приспособленцах и о тупицах на вершине власти. Но о чем бы ни говорили, всегда подспудно звучало разочарование послевоенным ходом событий: за что боролись?

— История повторяется, — говорил кто-нибудь.

Стали уже общим местом ссылки на историческую аналогию: точно так же не сбылись надежды русского воинства, вернувшегося из Парижа в 1813 году. Вспоминали Генеральные штабы, конвент, Робеспьера и термидор.

— Не трогайте историю! — раздражался скептический и желчный Гарвард. — История вне логики, потому что ее коверкают фанатики.

— А что же массы? — выяснял Костя.

Сейчас он в роли любознательного студента, отметил про себя Борис Комаров. Каждый из нас играет по несколько ролей, меняя их с переменой сценической площадки. Интересно, как он держит себя в своем медицинском институте, (Поближе к спирту, так объяснял Костя свой выбор).

— Фанатики! — подхватывала тему Оксана. — Действительно, фанатики, как бы это сказать, разбрасывают искры возмущения. Но эти искры воспаляют массы, в которых накоплен взрывчатый материал недовольства. Вы видели где-нибудь, когда-нибудь массы без недовольства? Вот то-то же. С другой стороны, энергетический заряд фанатиков подпитывается той самой взрывной энергией, которая накопилась в массах. А когда иссякает этот подпитывающий источник, все идет прахом. И вершители истории сходят со сцены. Тем или иным путем.

— Правильно, — подтверждает Костя. — Вот они, ушедшие: Александр, в смысле Македонский, Наполеон, Гитлер — и еще кое-кто.

— Ты говоришь — прахом, — смелеет Борис Комаров. — А продолжатели?

— Продолжатели, доделывая историю, невольно доказывают при этом порочность замысла, — припечатывает Гарвард.

— Он? — уясняет Костя, разглаживая в стороны место для усов.

Здесь никогда не произносили его имени, то-ли из неистребимого страха, то-ли из отвращения.

— Конечно, и он. То есть, в первую очередь он, — соглашалась Оксана.

— Липовые вы теоретики, — авторитетно заявлял Никита Кулемин. — Без фанатизма невозможно осуществление никакого смелого замысла, посягающего на основы. И между прочим не только в политике или, скажем, в общественных движениях, но также и в науках и в любом искусстве, даже в музыке. От фанатиков тоже есть своя польза — в историческом разрезе.

Григорий Чугунов не любил такого рода дискуссий:

— Бросьте вы эту трепотню, народные радетели. Ничего вы не измените, только вляпаетесь в какую-нибудь, пот именно, что историю. Мало вас учили?

От такого рода предостережений вспыхивал даже невозмутимый Гарвард:

— Пескарь премудрый! Конечно, помалкивать в тряпочку куда спокойней, но достойней ли? Пусть мы ничего не совершим, а только отведем душу, пусть мы немного стоим, пусть мы навоз, но мы удобрим почву для тех, кто придет после нас. Бог даст, как в прошлом веке, уже в шестидесятых годах, они не за горами.

Когда Гарвард возбуждался, его тонкое лицо не краснело, как у большинства нормальных людей, а наоборот, еще больше бледнело, и еще чаще подергивалась правая щека.

Жадно ловили всякие нигде не напечатанные новости, и каждый вносил свою лепту. Называлось «слухи», но верили им больше, чем «Правде».

Люся приносила вести из музыкальных кругов. Окончив консерваторию, она работала «пока» аккомпаниатором в Институте имени Гнесиных на Поварской, не теряя надежды «когда-нибудь» получить доступ к самостоятельному концертированию, однако это «когда-нибудь» отодвигалось все дальше. Тем временем от

бесчисленных повторений чужих и чуждых музыкальных текстов уставали и дубели пальцы, и надежда на избавление от этого рабства съезживалась как шагреневая кожа. Но Люся умела мириться со своей участью, как на профессиональном поприще, так и в обыденной жизни. Среда гнесинских музыкантов пришлась ей по душе, в Институт она ездила как на праздник, никакие тяготы аккомпаниаторской доли не могли сломить ее природной жизнерадостности. И все же ранняя усталость давала себя знать. В былые годы Люся охотно играла «для себя» и для друзей, теперь она редко садилась за старенькое пианино, отнекивалась под предлогом, что оно сильно расстроено, но, если, к великой радости Бориса Комарова, все же удавалось ее уговорить, слушатели не улавливали фальши — возможно, их слух не был достаточно тонок. Комаров испытывал особое наслаждение, когда по его просьбе Люся играла «Поэму» Фибиха. Для нее эта пьеса была слишком элементарна, но, желая угодить старому другу, она разыскивала в груди нот затрепанные голубые листки и проникновенно воспроизводила зашифрованные в мелодии чувства...

В Институте и в Консерватории, по рассказам Люси, не умолкали пересуды о происхождении Государственного гимна, заменившего еще во время войны отправленный в отставку «Интернационал». Это была, с одной стороны, уступка союзникам — они все еще нужны были, до победы было еще далеко, с другой стороны, патриотический подъем требовалось направить по новому руслу.

Среди конкурсных партитур всех затмевала своей мелодичностью и величественной гармонией та, которую представил всемирно известный Рейнгольд Глиер, автор знаменитого балета «Красный мак» и многих произведений классического стиля. Комиссия под председательством известного композитора, профессора и генерала, готова была присудить Глиеру первое место,

но свое слово еще должен был сказать заказчик. Он, великий кормчий, корифей всех наук и искусств.

Корифей поморщился и изрек:

— Глиер? Кто такой? Рейнгольд? Немец? Не пойдет.

— Что же нам делать, Иосиф Виссарионович, — забормотал в растерянности профессор. — Лучшего варианта у нас нет. Все остальное — так, потуги...

— Как это — нет? — хитро прищурился корифей. — Зачем скромничаешь? Разве твой «Гимн партии большевиков» плохая вещь?

Гениальная мысль! С основоположниками не спорят. Но вот беда, нужны слова, а срок готовности уже на носу. Кто-то вспомнил про легкого на подъем стихоплета, умеющего работать по заказу для композиторов-песенников. И тот, хотя и пребывал в очередном запое, поручение принял с энтузиазмом. Представленный им текст отвечал главным критериям, отражал в должной мере и патриотическую сплоченность народов, и огромную роль великого Сталина, однако был несколько легковесен, то есть смахивал на оперетту. Срочно привлекли к доработке высокоодаренного и заметного своей общественной активностью поэта, автора популярнейших стихов для детей, сатирических пьес, а также едких басен, бичующих наряду с немецко-фашистскими захватчиками также и отечественных пройдох, подхалимов и бюрократов. Соавтор блестяще справился с задачей, и в новогоднюю ночь, когда страна вступала в ознаменованный громкими победами сорок четвертый год, по радио впервые прозвучало на знакомый мотив: «Союз нерушимый республик свободных сплотила навеки великая Русь...». А в рефрене вместо «Партия Ленина, партия Сталина» хор четко выговаривал: «Слався, отечество наше свободное...».

Вот так состряпали Гимн. Рассказывают, что потом Соавтор куражился в буфете Дома литераторов на Поварской, неподалеку от Гнесинского института:

— Вы не хотели слушать меня сидя? Так теперь попойте меня стоя!

— Н-да, поизгалялся над нашим братом вождь народов, — произнес в задумчивости Никита Кулемин.

— Все так, — сказал Григорий Чугунов, — однако прощаться с его прахом хлынула вся Москва.

— Правильно, шли, — подтвердил Никита. — Толпы многотысячные, да. А вот насчет «охваченные горем», это как сказать. Может быть, один из тысячи... А в массе — скорее охваченные психозом. Эффект толпы. Шли еще просто из любопытства, жажды неповторимого зрелища. Не каждый день достается увидеть мертвого тирана. А может быть, люди хотели лично убедиться, что он действительно мертв? Говоришь, со слезами на глазах? И это было: побаивались шпииков. Вспомни Пушкина: «Все плачут, заплачем брат и мы». С искаженными болью лицами? А по-твоему, с какими лицами должны были гибнуть в давке на Трубной старики и подростки?

Комаров хмурился, когда накалялись страсти.

— Что скажешь, партийный человек? Где ты был девятого марта?

— Как раз в объятой горем столице. Только не на поверхности, а под. Проехал с вокзала на вокзал в метро имени Лазаря Кагановича. И никакие отголоски происшествий на Трубной туда не доносились.

В разгар дискуссий Софья Николаевна брала зонтик, открывала форточку, просовывала в нее крючковатую рукоятку и пошевеливала ею во все стороны, изображая таким образом изгнание агента в гороховом пальто. Страх перед грозными силами понемногу стусевывался, уступая место насмешке над тупостью.

7.

Комаров жил на новой окраинной улице, застро-

енной внушительными пяти- и семизэтажными домами. Он снимал комнату у одинокой стареющей вдовы, которая, по всей видимости, отнюдь не была готова к самоотречению. Она молчала с недовольной миной и негодуя потряхивала еще не отъединенными бигудями, когда он наутро извинялся за вчерашний поздний приход. На работу он уходил без завтрака, спеша поскорее покинуть неприветливое пристанище, но затем по дороге не торопился, потому что и в редакции чувствовал себя неуютно.

— Не забудьте, что завтра в одиннадцать нам с вами к министру, сказала ему на второй неделе его службы в «Вестнике просвещения» главный редактор Серафима Игнатьевна, когда закончилось нудное совещание так называемой малой редколлегии, к которой принадлежали кроме нее самой два ее заместителя и отныне он, новоиспеченный ответственный секретарь.

В этом предупреждении он уловил намек на свою небрежность в одежде: слегка поношенные серые брюки, светло-коричневый пиджак спортивного покроя с накладными карманами и клетчатая рубашка с расстегнутым воротом. Замы ходили в отутюженных темных костюмах и при галстукке. Сама Серафима Игнатьевна хранила верность незатейливым платьям из тонкой шерсти, плотно облегающим ее дородную фигуру, меняя лишь их цвет от светло-голубого до темно-коричневого и кружевные воротнички. Было похоже, что здесь все разыгрывается по каким-то вчуже писанным нотам, кому-то и чему-то подражают, не только в одежде, но и в манере вести разговор и даже в его бессодержательности.

В противоположность нравам малой редколлегии, а может быть в нарочитой конфронтации, большинство сотрудников одевалось кто во что горазд, носили спортивные куртки и ботинки на толстой каучуковой подошве. Впрочем, женщины, составлявшие, вопреки ожиданиям Комарова, меньшинство, разделялись на

два лагеря: одни старались во всем походить на предводительницу, другие же стремились быть ее противоположностью, носили широкие суконные юбки и мужские ковбойки, тонкие свитера, называвшиеся «водолазками». Приглядевшись, Комаров заметил, что эта последняя манера одеваться, скульптурно подчеркивающая особенности телосложения, была во вкусе первого зама, Льва Александровича Сальникова.

Лев Александрович был не просто по должности, но и по свойствам своей натуры естественным центром жизнедеятельности редакции. Своей манерой поведения он давал понять, что пользуется неограниченным доверием «главной», и это действительно было так. Величественно-авторитетная повадка не очень шла к его наружности — ниже среднего роста, коренастый, склонный к полноте, с походкой торопливой и разболтанной, он выглядел скорее комично, чем грозно, однако властные интонации его скрипучего тенора обладали действенностью чуть ли не гипнотической. Его лицо, довольно обыкновенное, неспособное круто менять выражение, вызывало странные ассоциации, желание искать сходства то со скульптурными портретами древнеримских мудрецов, то с фотографиями разыскиваемых нарушителей закона. Обширная лысина в полукружьи рыжеватых остатков шевелюры поблескивала жирно, и глядя на нее, Комаров вспоминал слышанное когда-то давно изречение: со лба лысеют от большого ума, а с макушки от беспутной жизни.

Здесь возникало ощущение какой-то неоднородной среды, где действовали взаимно отталкивающие силы, создавая поле высокого напряжения. Ближайшие сотрудники Комарова, два заместителя и выпускающий, встретили нового шефа настороженно, были с ним сухо вежливы и не вели в его присутствии никаких внеслужебных разговоров. Что это могло означать? Недовольство заменой прежнего ответсекретаря, с которым сработались — он перешел в популярную молодежную

газету, — неизвестно откуда взявшимся чужаком? Или крушением надежд на продвижение кого-то из своих? Вероятно, отчасти и то и другое, но главным, как он понял впоследствии, было его введение в должность по выбору, так считали «низы», самой Серафимы, а значит, он был ее человеком, следовательно, из стана твердолюбых, тогда как прежний был талантлив и стоял к ней в оппозиции.

Но это понимание пришло не сразу, поначалу же Комаров просто не видел себе применения в налаженном процессе. Он мог часами сидеть непоколебленным в своем кабинете, никого не интересовало, чем он занимается. Лишь раз в день, незадолго до обеденного перерыва, приходил его заместитель, ведущий очередной номер приносил макеты на подпись, молча раскладывал их на длинном приставном столе и ожидал замечаний, переходя от одной страницы к другой... Не находя общего языка в кругу редакционной верхушки, к которой он по должности принадлежал, и тяготая куда больше к «рядовому составу» (еще не были забыты категории военного быта), он пытался войти в контакт с некоторыми из сотрудников, заводил неслужебные разговоры, но не встречал живого отклика, а скорее наталкивался на недоверие и настороженность.

Здесь все было непохоже на атмосферу редакций, в которых прежде приходилось работать Комарову: не было ни мрачного юмора «Советской Колымы», ни нервной спешки военных газет, ни строгой регламентации «Ежедневного обозрения», а было натужное, неохотное исполнение наскучивших обязанностей. Постепенно вникая в содержание газеты, постигая особенности редакционного уклада, он впоследствии все расставит на свои места, но для этого потребуется время, а пока его ожидала встреча с министром. Зачем это?

Явившись одетым комильфо, он предстал в урочный час пред ясны очи Серафимы Игнатьевны, которая оглядела его с пристрастием и сказала:

— Даже галстук под цвет глаз — ишь ты, какой модник!

Особняк на Чистых прудах уже своим наружным видом настраивал на почтительность и послушание. Дубовая дверь плавно поддавалась усилию. Пропустив вперед Серафиму Игнатьевну, Комаров пошаркал совершенно чистыми подошвами по ершистому половику в деревянной раме и поднялся на три ступеньки по вытертой ковровой дорожке.

Короткий коридор направо, высокая дверь с двумя табличками под толстым стеклом. Высокая, светлая приемная. Немолодая, но цветущего вида секретарша в бордовом шелковом платье, готовом лопнуть под напором добреющего тела, спешит навстречу Серафиме Игнатьевне:

— Пожалуйста, пожалуйста, Константин Павлович вас ждет!

Оказалось, не министр, а его заместитель. Высокий, вальяжный, приятно обходительный, свежий, некурящий, если судить по цвету лица, молодым пружинящим шагом выходит из-за обширного стола.

— Рад вас видеть, Серафима Игнатьевна! О здорovy не спрашиваю, выглядите прекрасно, лет на тридцать с самым малым хвостиком...

— Ах, шутник вы, ах, шутник! — сияет Серафима Игнатьевна, которой под шестьдесят.

— А это, значит, наш новый соратник? Очень рад, прошу садиться.

Замминистра расспрашивает без начальственного высокомерия, в тональности светской беседы: что кончали, где работали... Замечает, что сочетание педагогического образования с опытом в журналистике — это как раз то, что нужно... Поздравляет Серафиму Игнатьевну с удачным приобретением и желает Борису Семеновичу успехов в работе. Поняв, что аудиенция окончена, Комаров поднимается, Константин Павлович провожает его до двери. Серафима Игнатьевна задержива-

ется еще на некоторое время, Комаров переминается с ноги на ногу в приемной...

И все? Зачем это было нужно, думает он, присев в затаившемся ожидании. Почему ни слова о школе, о современных методиках, о волнующих проблемах? Или их ничто не волнует, для них не существует проблем?

— Ну вот, теперь вы полноправный член редколлегии, Борис Семенович, — говорит его благорасположенная начальница на обратном пути, обернувшись к нему с переднего сиденья «волги».

Легко ли ей было извернуться таким образом, при ее-то комплекции, замечает про себя Комаров. Похоже, сильно воодушевлена удачей. Но что же, собственно, удалось? А вот что: благодетельствован безымянный, без роду, без племени, учителяшка, она вытащила его из провинциального прозябания, возвысила до уровня министерской номенклатуры, а значит приобрела вечно благодарного сторонника, опору в редакционных распрах — о них Комаров уже был наслышан, хотя и не смог еще проникнуть в их суть.

Глядя в крупное, расплывшееся в довольной улыбке лицо Серафимы Игнатьевны, он пытался представить себе, как выглядела это женщина двадцать, сорок лет назад, всегда ли ей была присуща эта должностная озабоченность, знавала ли она хоть в молодости незамутненную радость жизни, бывала ли легкомысленной, случалось ли ей влюбляться до самозабвения? Судя по ее нынешнему образу, все это было ей чуждо. В редакции мало кто знал что-нибудь о ее семье, зато всем была известна ее близость к «верхам», скрепленная личной дружбой с «первой леди» государства, то есть супругой человека номер один в высшем руководстве. Все ее манеры сообразовывались с ее общественным положением, и никакие личностные свойства не проглядывали сквозь броню служебного соответствия, лишь гордое сознание приобщенности замечалось в интонациях ее голоса, в жестах и в походке...

— Приказ по министерству последует незамедлительно. Так что теперь впрягайтесь в полную силу.

Это намек. Все знает! Значит, ей уже доложено, что он приобретает в редакции репутацию «ни рыбы, ни мяса».

А он, действительно, чувствовал себя неуютно в новом коллективе. Возникла словно бы некая неприживаемость, напоминающая эффект отторжения между разнородными, хотя и живыми тканями. Надо как-то примениться к заведенному здесь порядку вещей, думал Комаров. И еще надо заявить о себе. Просыпалось честолюбие.

Молодежная газета поместила небольшую заметку: в селе под Воронежом молодые учителя перестроили учебный процесс. Учащиеся ходят на экскурсии, разыскивают свидетельства деятельности выдающихся земляков. В школьных мастерских изготавливают нужные в хозяйстве предметы и игрушки для детских садов. Старшие готовят доклады о воображаемых путешествиях по разным странам. В литературном кружке сочиняют стихи, рассказы и пьески для самодеятельности...

Комаров испросил командировку и получил добро.

Все подтвердилось, наполнившись живой плотью, красками и звуками, звонкими голосами и улыбками детей, убедительными рассуждениями и сдержанной гордостью молодых педагогов. С блокнотом, исписанным от корки до корки, вернулся Комаров из этой поездки и два дня не появлялся в редакции. Получился очерк на целую газетную страницу. Он сам составил макет полосы и отдал весь материал заведующему школьным отделом. С его одобрения текст послали в набор.

Однако публикация отодвигалась со дня на день. На планерках побеждали то статьи, заказанные видным деятелям педагогики, то официальные материалы. А

Комаров, обладая как будто бы немалыми распорядительными правами, не считал удобным продвигать свое собственное творение. Прошла неделя, прошла другая. Наконец, Комаров решился переговорить с Серафимой Игнатьевной. Она отвечала уклончиво, Комаров был настойчив. Какие-то соображения, дала она понять, имеются у первого заместителя.

Войдя впервые к Льву Александровичу Сальникову, Комаров чуть было не подумал, что ошибся дверью, настолько здесь все было сходно с кабинетом главного редактора, только в уменьшенной пропорции. За спиной хозяина, наклонно над его столом, нависал большой параллелограмм с Ильичом, читающим «Правду». На боковой стене висел, поменьше размером, портрет ныне здравствующего вождя. Обернувшись, Комаров поймал на себе грустно-проницательный взгляд сквозь овальные очки Антона Семеновича Макаренко.

— Присаживайтесь, Борис Семенович! — Сама любезность. — Что-то мы с вами мало общаемся, а зря.

Несмотря на дружелюбную интонацию (может ли человек произвольно управлять интонациями?) Комаров почувствовал напряжение, подобное тому, которое ощущает боксер при соприкосновении перчаток перед гонгом, или даже такое, какое должен был испытать первобытный человек, входя в чужую пещеру и ожидая удара сзади палицей по темени.

— Лев Александрович, — произнес Комаров, располагаясь с нарочитой небрежностью в кресле у стены, а не на стуле перед начальственным столом, — мне дано понять, что вы имеете отношение к задержке моего очерка о Покровской школе.

— Помилуйте, Борис Семенович! Кто же мог вас так дезинформировать? С чего бы это я стал... Я здесь, поверьте, ни при чем. А вот более высокие инстанции... Видите ли, дело в том, что опыт Покровской школы стал известен не сегодня и не вчера. И на его счет имеются разные мнения. Академия его решительно не

одобряет! Вот и представьте себе, сегодня мы прославим эту школу, а завтра выйдет правительственное постановление, осуждающее ее практику.

— И вы полагаете, что это будет справедливо?

— Наивный вы человек. Кто будет считаться с моим или вашим мнением?

— Но что же не нравится Академии в практике этой школы? Ведь ее ученики обнаруживают более прочные и более широкие знания по сравнению с другими школами.

— Вы говорите, более прочные знания. А вот при попытке выпускников Покровской школы поступить в Педагогический институт ни один не выдержал экзаменов.

— А принимали экзамены, случайно, не сотрудники Академии?

Ну что уж вы так... Академия для нас пока что высший авторитет.

— И чтобы его не утратить, академики будут любыми способами отвергать то, что придумано не ими?

— Может быть и так, а может быть и не так. Давайте представим себе, что мы распропагандировали опыт передовых, как мы понимаем, педагогов — молодых, талантливых, высоко образованных. И вся Россия-матушка ринется им подражать. А, смекнули? Сколько дров будет наломано!

— Зачем же всем миром. Заимствовать могут те, кто к этому подготовлен. А знать, что существуют иные подходы, полезно всем.

— Вы не учитываете особенностей системы. Если в центральном органе появляется что-то новое, руководство на местах воспринимает это как команду. И начинают усердствовать наперегонки. Вы поняли?

Да, он кое-что понял. И спорить не стал. Жизнь продолжала учить его ладить с действительностью и с приспособленными к ней людьми.

Заведующий школьным отделом, кандидат

педагогических наук Виленский, внес полную ясность:

— Вы действительно наивный человек, уважаемый Борис Семенович. У Льва Александровича на отзыве у академиков докторская диссертация, так неужели вы думаете, что он станет портить отношения с Академией педагогических наук?

Наум Аркадьевич Виленский был тертый калач и, следовательно циник поневоле. К тому же немного чудак. Он щеголял своей интеллигентностью, говорил безупречно правильными фразами, и если его при первом знакомстве или по телефону называли «товарищ Виленский», с изысканной любезностью поправлял: «Если позволите, Виленский». Ему уже немного оставалось до пенсии, и это сказывалось на его позиции при возникновении тех или иных осложнений. Кроме того, на протяжении многих лет он был бессменным секретарем партийной организации, и все другие возможные кандидаты на этот пост были признательны ему за избавление от тяжелой повинности. Райком не раз пытался сместить Виленского как слишком мягкотелого, покладистого не в ту сторону, неподходящего также и по национальному признаку. Но какую бы достойную кандидатуру ни выдвигал кто-то по наущению прикрепленного инструктора, собрание ухитрялось вставить Виленского в список для тайного голосования, или даже вписать его в бюллетень, и он неизменно побеждал. Самоотводов он не заявлял, как видно, понимая, что должность сия, при всей ее обременительности, служит ему прикрытием на всякий непредвиденный случай.

Рослый, сутулый, мешковато расширяющийся книзу, одетый в неизменную серую шерстяную куртку крупной вязки с кожаной оторочкой, внешне спокойный и внутренне настороженный, он всегда точно угадывал расстановку сил в редакционных склоках и безошибочно предвидел их исход, устойчиво держал нейтралитет, не угождая начальству и не поощряя бунтовщиков.

— Ваше дело правое, но победа будет за ними, — заключил он, подводя итог конфликту вокруг очерка.

Комаров ожесточился и велел рассыпать набор. Его авторитет в редакции еще больше пошатнулся, ибо распространилось мнение, неизвестно, чьими уж стараниями, что очерк не пошел не в связи с принципиальными разногласиями, а просто по причине низкого качества.

Участие в заседаниях малой редколлегии считалось не просто служебной обязанностью, но и рассматривалось как особая привилегия. Ее удостаивался, кроме обычной четверки, заведующий школьным отделом Виленский, однако не столько в этом качестве, сколько по статусу партсекретаря. Комаров проклинал эти заседания, затяжные и бестолковые, как бесполезную и досадную трату времени. Но, с другой стороны, они, случалось, развлекали и давали богатую пищу для размышлений. Серафима Игнатьевна, хорошо информированная о параллелограммах сил в высших сферах, имела слабость блеснуть осведомленностью перед «соратниками» и с упоением выбалтывала все, что знает об интригах среди власть имущих, демонстрируя свою близость к ним. Она никогда не проговаривалась об источниках информации, однако в этом и не было нужды, так как ее связи были секретом полишинеля.

После очередной порции «сора из большой избы», как Виленский называл начальственные сообщения «не для печати», он испытывал потребность облегчиться. За годы службы в «Вестнике» Наум Аркадьевич научился глотать не разжевывая всякую несваримую материю, но ненужные и раздражающие сведения все накапливались, и требовалась разгрузка. В Борисе Комарове он разглядел партнера, которому можно довериться. Стало так случаться, что они вместе покидали редакцию час-другой после конца установленного рабочего времени.

— Что же удерживает вас до столь позднего часа?

— пытал с хитрецей своего нового коллегу старый газетно-педагогический волк.

— Да вот, все читаю очередные шедевры педагогической мысли. Чтобы знать, за что стоять горой и что топтать ногами. А вы?

— В принципе то же самое. Отчасти.

— А в другой части?

— Вы будете смеяться. Веду дневник.

— Создаете хронику времен Серафимы-посадницы.

Такое прозвище, возможно, родилось потому, что редакция помещалась в гуще строений старого московского посада, но привилось определенно в силу внутреннего соответствия натуре патронессы.

— А что? Фигура колоритная. Известно ли вам, что она начинала свою околпедагогическую карьеру еще при первом наркомпросе?

— Слышал. И что заместительница наркома была к ней весьма расположена.

— Вот ведь какое совпадение: супруга нынешнего лидера тоже нашла ее достойной своей дружбы. Благодаря чему и разносятся запахи из той жухни, где варят всякое угощение для нас грешных.

— Н-да, пованивает... А ведь столько благородства было поначалу...

— Слушайте, о чем вы? Неужели вы не знаете, что интриги были главным содержанием эмигрантской жизни еще с Женева? Вслед за основоположниками продолжатели по мере сил-способностей совершенствовали технику интригантства. В подражание верхам оно определило все развитие общественной жизни — на всех уровнях.

Они неспешно шли бульваром, иногда присаживались на скамью. Заглянуть в какое-нибудь заведение не приходило им в голову, да и не всякий разговор можно было вести в публичных местах.

— ...Это же традиция! Все происходит в противо-

борстве амбиций, авторитетов, симпатий и антипатий.

— И с учетом родственных отношений, — вставил Комаров.

— Совершенно верно. Родственных и клановых. Когда я узнаю о разделении министерств, мне вспоминается, что еще при Иване Грозном новые приказы учреждались, исходя не из потребностей управления, а затем, чтобы пристроить к делу боярских сынков. Случается, что и плебеи, без роду, без племени, выкарабкиваются наверх. Заметьте, наибольшего жизненного успеха достигает не тот, кто обеспокоен общим благом, а тот, что поглощен собой, но крупно наделен либо наглостью, либо обаянием и достаточно умен, чтобы действовать в некотором соответствии с общественным интересом. Но вы, может быть, думаете, что закулисная возня происходит только при назначениях на должность? Ничего подобного. Даже при решении судьбы крупных народнохозяйственных проектов во внимание принимаются не истинные их достоинства, а сочетание личных взаимоотношений. Кто стоит за чьей спиной, на чью поддержку можно рассчитывать при выдвижении того или иного лица на ключевые посты, вот что держат на уме. Вслух, конечно, выдвигают при этом деловые аргументы.

— Но помилуйте, Наум Аркадьевич, — несмело возражал Комаров. В общении с этим человеком он невольно подражал его манере выражаться. — Ведь народнохозяйственные проекты, надо полагать, и в самом деле подвергаются экспертизе в соответствующих институтах, в Академии наук?

— Правильно. Скажу вам больше, главная продукция академических институтов, близких к народнохозяйственной сфере, как раз и состоит из так называемых записок в цека, содержащих и обосновывающих отзыв о той или иной затее. Но как составляются эти записки? Отнюдь не на основании беспристрастной экспертизы, а совсем наоборот, это я знаю от людей,

непосредственно причастных к таким... процедурам. Глава института, самолично или через доверенных лиц, выясняет в аппарате цека, кто из высшего начальствующего состава какую позицию занимает по рассматриваемому вопросу. Выяснив это, он поручает служителям науки обосновывать ту точку зрения, которой придерживается самая высокая из заинтересованных персон. Вот такая механика.

— И как по-вашему, долго еще у нас будет так?

— Думаю, очень долго, если со времени Ивана Грозного мало что изменилось.

— Вас бы в правительство, Наум Аркадьевич!

— Я согласен, но жена против.

Так они шутили, и были довольны друг другом.

Неужели все так плохо, думалось Комарову?

Не хотелось верить, но и сама Серафима Игнатьевна, случалось, рассказывала такого рода истории. Рассказывала их с воодушевлением, восхищаясь ловкостью приспособленцев. Она была так нераздельно включена в систему отношений и ценностей, что не видела в ней решительно ничего порочного, а напротив, откровенно превозносила бесхребетность и угодничество.

Надо бежать отсюда без оглядки, все чаще говорил себе Борис Комаров. Но потребовалась еще одна капля, переполнившая чашу.

Ему принесли статью за подписью двух ученых мужей, доктора и кандидата педагогических наук. Статья называлась: «О дальнейшем совершенствовании воспитательной работы в детских садах». Комаров давно усвоил, что любая писанина, начинающаяся с «О...», выдает себя за неоспоримую истину.

Курьерша Шура, сохранившая, несмотря на немалый груз годов, отданных служению педагогической прессе, игривость во взоре и грацию в движениях, общила с загадочной интонацией:

— Лев Александрович просил отправить в набор без этой, как ее, без проволоочки. Еще пояснил — в

отличие от проволоочки.

Шура хихикнула и вильнула тем местом, за которое, как нетрудно было догадаться, ущипнул ее первый замглавред.

Казалось бы, чего проще: поставь на «собаке», то есть сопроводительном бланке для типографии, свою закорючку «БК», и с плеч долой, ведь там уже стоит виза Сальникова, чья ответственность выше. Но природная добросовестность не позволяла Комарову никакого отступления от должностных обязанностей. Примешивалось еще инстинктивное недоверие к Сальникову: если он о чем-то просит, надо быть настороже. И Комаров углубился в чтение.

В указующей тональности, со ссылкой на разработки Академии педагогических наук, авторы разъяснили, как важно прививать малышам чувство любви к социалистической родине, партии, дорогому дедушке Ленину, и что следует делать с этой целью. Излагались соображения о воспитательных средствах и методах, обеспечивающих выработку нужной социальной ориентации будущих граждан на пороге приобщения к сознательной деятельности в условиях коллективного бытия, начало которому закладывалось именно в первых всеохватывающих коллективах, то есть детских садах. Все было очень научно, с цитатами из классиков и примерами из практики передовых дошкольных учреждений. Повторялись кое-как пристегнутые к предмету недавние высказывания первого лица на пленуме цека.

Прочитав эту ученую околесицу, Комаров призадумался. Послать в набор недрогнувшей рукой? Дать ход еще одному руководству к действию для узколобых исполнителей высшей воли, не умеющих жить своим умом? Принять участие в засорении податливых детских умишек понятиями из арсенала политических буквоедов? Нет, к этому он руку не приложит!

Комаров пишет записку: «Лев Александрович, кое-что вызывает сомнения. Предлагаю обсудить на ред-

коллегии». Прикрепляет к «оригиналу», так на профессиональном жаргоне называются тексты для набора, и отправляет его обратно первому замглавному редактору, в уверенности, что скоро разразится гроза.

Она не заставила себя долго ждать. Сальников был рад случаю дать бой строптивому ответсекретарю. Зверь бежал на ловца.

Собрались как обычно, в четверг, в просторном кабинете Серафимы Игнатьевны полным составом большой редколлегии, чтобы наметить основные выступления газеты на следующую неделю. Заведующие предлагали подготовленные отделами статьи, кратко пересказывали их содержание. Кто имел свое суждение, высказывался вкратце, Серафима подводила итог, Комаров записывал названия утвержденных материалов, примерно распределяя их по дням недели так, чтобы не случилось перегрузки одного номера крупными «кирпичами» — тоже словечко из профессионального жаргона... Все, как заведено, рутинный процесс. Однако в воздухе пахло грозой.

— Предстоит схватка между Давидом и Голиафом, — шепнул самый независимый из завов, международник Кричевский своему соседу Виленскому.

— Я бы сказал, между Львом и Комаром, — уточнил тот.

Все поглядывали с любопытством спортивных болельщиков на того и на другого, предвкушая удовольствие. Лев Александрович держал на лице непроницаемое выражение, ничем не выдавая своих намерений. Комаров был сосредоточен, смотрел перед собой, покручивал в руке карандаш. Чуть кривила губы в загадочной полуулыбке заведующая отделом дошкольного воспитания Алла Степановна Головатых.

Редакционные остряки, бывало, в коридорном тупике, служившем курилкой, так и эдак переименовывали ее фамилию, видоизменяя первую часть по названию той или иной части тела. К такому направлению мыс-

лей склонял тот общественный факт, что среди объектов благосклонности любвеобильного Льва Александровича, добровольных и не совсем добровольных, Алла Степановна занимала первое, главное и наиболее постоянное место. Ее белая полупрозрачная блузка позволяла догадываться, каким именно достоинством заведующей дошкольным отделом Лев Александрович был особенно прельщен...

Все шло своим чередом. Вслед за отделом партийной жизни и пропаганды заявил свои претензии на газетную площадь школьный отдел, затем отдел науки и педагогических учебных заведений, отдел культуры... И наконец, в последовательности условного старшинства, слово получила Алла Степановна. Она начала свое выступление в стиле обычной деловитости, но постепенно ее голос приобретал металлическое звучание. Предложив статью «О дальнейшем совершенствовании» и охарактеризовав ее как крупный вклад в дело выращивания достойной смены, она, обведя присутствующих многозначительным взглядом, заключающим в себе боль и недоумение, отчеканила приготовленные слова:

— Как ни странно, находятся отдельные товарищи, которые ставят под сомнение необходимость воспитывать подрастающее поколение в духе верности нашим высоким идеалам.

Произнеся эту фразу, она в упор смотрела на Льва Александровича ища его одобрительного знака. Однако Лев Александрович не глядел в ее сторону. Он чистил ногти перочинным ножичком.

— Это про меня, — зафиксировал Комаров нейтральным тоном, каким говорят «кушать подано». — Я, действительно, возражал против публикации этой статьи.

Волна улыбок прокатилась по лицам, улыбок очень разных, несущих разноименные заряды от злорадства через любопытство к сочувствию. Алла Степановна смолкла в замешательстве, не зная, как же теперь

развивать свою — или подсказанную ей — мысль, после того, как оппонент разрушил анонимность, обнаружил себя, подставил свою грудь под критические стрелы, придал приготовленным обличениям, брошенным в пространство, персональную прицельность.

Паузу нарушила Серафима Игнатъевна:

— Что ж, может быть Борис Семенович изложит нам свои соображения?

— Я готов, — подтвердил «нарушитель конвенции», так он мысленно определил свою роль в обозначившемся противостоянии.

— Пожалуйста, вам слово, — распорядилась Серафима Игнатъевна.

Комаров откашлялся, почувствовав себя как на трибуне. Он пожалел, что не приготовил тезисов.

— Попробую объяснить свою позицию... Как протекает у нас процесс воспитания в русле предложенных авторами рецептов? Идейное воздействие на это самое подрастающее поколение начинается чуть ли не с пеленок. В детском садике они выслушивают рассказы про дедушку Ленина, поют песенки про родину и партию. В начальных классах школы они заучивают наизусть стишки про того же Ильича, про партию, про Буденного, Ворошилова и Чапаева, поют про Каховку и родную винтовку — пока еще с готовностью и, может быть, даже с увлечением. В средних классах эта политграмота уже начинает вязнуть в зубах, но делать нечего, они еще подчиняются необходимости усваивать нерушимые догматы преподносимого им обществоведения, не подвергая их сомнению. Одновременно в пионерах и далее в комсомоле им вдалбливают опять-таки то же самое, и где-то там начинается пока еще подспудное, но постоянно нарастающее сопротивление — сколько можно! А в старших классах, особенно в предвыпускных, возникает аллергия, уже формируется иммунитет, они уже активно не приемлют всю эту бесконечную инъекцию. Вот пусть бы ваши авторы занялись

изучением истинных настроений старшеклассников московских школ...

Лев Александрович поднял голову.

— Не знаю, на чем основаны ваши домыслы, уважаемый Борис Семенович. Мы иначе представляем себе воспитательный процесс и его результаты.

— Очень жаль. Но вам, может быть, известно что-нибудь про состояние морали среди молодежи?

— Так вы считаете, что это следствие...

— Совершенно, верно, в значительной мере это следствие именно идейного перекорма. Преподносить детям политизированные идеи, оторванные от жизни, без учета особенностей детской психики, ничего кроме вреда принести не может.

Присутствующие притихли. Спор приобретал опасный характер.

— Так значит, по-вашему, — начал Сальников...

— По-моему, — не дал ему договорить Комаров, — в детском садике надо про козочку и ее козляток. В раннем возрасте надо учить добру. Детский ум не приспособлен к усвоению высоких истин. К политике человек может приобщаться только тогда, когда его интеллект созреет до восприятия общественно-политических взаимосвязей.

— Вы так думаете? А ученые считают, что к этому восприятию советского гражданина надо готовить с самого начала его сознательной жизни, только так можно воспитать сознательного бойца за торжество идей коммунизма!

Обмен мнениями продолжался еще некоторое время, но Комаров вел его уже лишь по инерции. Он понимал, что переубедить Сальникова невозможно. Да, собственно, о каком переубеждении могла идти речь. Сальников защищал вовсе не свои убеждения, а неизвестно, каковы они у него, он отстаивал свое право занимать ту должность, от которой кормился...

Никто не поддержал Комарова в этом поединке.

На лицах были надеты непроницаемые маски. Наум Аркадьевич Виленский с отсутствующим видом помещивал алюминиевой ложечкой крепкий чай в граненом стакане, его неизменном спутнике на всех редакционных совещаниях.

Статья ученых педагогов появилась в газете. В тот же день Комаров подал заявление об уходе.

Держа в руках «Трудовую книжку» с записью «Уволен по собственному желанию», он поколебался у начальственной двери: надо-ли? Ведь «была без радости любовь, разлука будет без печали». Но все же какая-то человеческая струнка связывала их, таких несхожих, номенклатурную даму Серафиму Игнатьевну и его, вольнодумца и перекати-поле.

У нее сидел Виленский, докладывал о чем-то скучным голосом.

— Ну что ж, Борис Семенович, я желаю вам где-то найти достойное применение вашим способностям, — сказала Серафима. — Жаль, жаль расставаться с вами.

Пожали друг другу руки через стол.

Осторожно прикрывая за собой дверь, он услышал слова Виленского:

— Потеряли неплохую силу. Не дали раскрыться.

На что Серафима Игнатьевна:

— Такова его собственная воля. Он не нашел своего места в коллективе.

Засело в голове: не нашел своего места. В коллективе. И не только в вашем.

Еще в начале своего подвижничества в «Вестнике просвещения» Комаров сменил опостылевшую ему квартиру в «новых домах» на окраине и перебрался поближе к месту службы, чтобы можно было ходить в редакцию пешком. Он жил теперь на втором этаже старого, обветшалого, предназначенного на снос дома с коридорной системой, в тесной комнатке, обставленной брошенной прежними хозяевами разношерстной,

отслужившей свой срок мебелью.

В некоторых комнатах по этому коридору, пропитанному запахами самого разнообразного происхождения, еще оставались прежние жильцы, ожидающие лучшего варианта переселения. Другие же съехали, как только предоставилась возможность, не в последнюю очередь из-за клопов, с которыми Комарову пришлось свести знакомство в первую же ночь. Бестики были крупные, отъездившие и нахальные, они вели себя как хозяева положения, и единственным спасением от них был яркий свет, его давала лампочка в двести свечей, не защищенная абажуром.

В коридоре висел общий телефон, Комаров им совсем не пользовался, даже не знал его номера, и был сильно удивлен, когда как-то поутру, соседка, постучав, окликнула, не открывая дверь:

— Вас к телефону!

Он подумал, что это ошибка, что звонят прежним жильцам, и подошел, чтобы сообщить об их переезде, однако незнакомый мужской голос внятно произнес:

— Борис Семенович?

— Да, это я.

— Вам привет от Николая Григорьевича...

Вот тебе и на! Нашли! А он то думал, что отвязался от них навсегда... Как же они напали на его след? Ах, как! У них все нити в руках. Неужели нет никакой возможности отвязаться от их неусыпного внимания? Что сказать ему, этому? Бросить трубку? Послать подальше? Бесплезно, они не обидчивы.

— Да, я вас слушаю.

— Борис Семенович, как бы нам увидаться?.. Да, очень желательно. И хотелось бы поскорей. Если можно, сегодня же. Да, дело не терпит. Если не возражаете, я зашел бы к вам вечером. Скажем, в двадцать ноль-ноль.

Ровно в восемь в дверь негромко постучали.

— Войдите, — крикнул Комаров, не вставая с

места.

Дверь, жиденькая, фанерная, жалко вздрогнула, застряв нижним углом на порожке. Приподнимать надо, захотелось подсказать, но Комаров воздержался, полагая и надеясь, что имеет дело не с частым гостем.

Молодой человек неприметной наружности был одет очень опрятно, галстук был завязан очень аккуратно, ботинки почищены, почти не запылились — от Лубянки до Маросейки рукой подать. Зачем они так похожи друг на друга в манере одеваться, ведь их будут узнавать на улице, подумал Комаров, на минуту ощутив себя сопричастным к их профессиональным заботам.

— Давайте познакомимся: Анатолий Петрович, — сказал молодой человек и добавил как бы взамен пароля: — Николай Григорьевич очень положительно отзывался о вас.

— Садитесь, — сказал Комаров. — Я не думал, что вам от меня еще что-нибудь нужно.

— Суший пустяк, суший пустяк, Борис Семенович...

Анатолий Петрович, если его звали действительно так, внимательно огляделся. Тонкие перегородки его, как видно, не смущали, соседние комнаты были пусты — знал он об этом заранее? Они все знают, напомнил себе Комаров. И мы все у них на виду.

— Речь идет об одной маленькой услуге, — продолжал гость. — Вы как насчет французского языка?

Черт бы их подрал! Про мой французский ни в каких анкетах не сказано, я выучил его едва-едва в пределах простейшего обихода...

— Слабовато, — сказал Комаров, презирая себя за то, что вообще вступает с «ними» в переговоры.

— Глубокие знания и не нужны — в нашем случае. Достаточно, если вы сумеете объяснить при беглом знакомстве, какой-нибудь покупке. Ну, скажем, сколько стоит то или другое. Назначить встречу...

— Хм, только то и всего? Но чего все-таки вы от

меня хотите?

— А хотим мы вот чего. Открывается французская промышленная выставка. В Сокольниках. Вы, наверное, слышали.

— Слышал. Что из этого?

— Нам хотелось бы, чтобы вы встретились там с одним человеком. Мы вам его укажем.

— Так. И с какой задачей?

— Он, по всей вероятности, будет предлагать что-нибудь на продажу. А вернее всего у него можно будет приобрести кое-что. У него с собой, по нашим данным, есть шеститомный энциклопедический словарь «Лярусс». Он вам не пригодился бы?

Бог мой, «Лярусс»! Новое издание! Мечта эрудита! Ох, велик соблазн!

— Может быть я и рад был бы его приобрести, но не таким способом.

— Эх, оставьте вы это чистоплюйство, Борис Семенович! Другим способом вам его вовек не добыть.

— Так что вы предлагаете?

— Действовать. Договоритесь о цене...

— Смеетесь? Это же огромная ценность. Договориться, а потом?

— Об этом мы уже подумали. Он запросит шестьсот рублей. Вот эти деньги.

Молодой человек достал из внутреннего кармана пиджака сторублевые кредитки.

— Нет, уберите! Если цена такова, то я, может быть, и сумел бы наскрести. Но если я совершу эту сделку, то только за свой счет.

— Но ведь вам надо еще как-то наскрести! А дело не терпит. Возьмите, возьмите, ничего с вами не делается.

Вот так сатана покупает грешные души... Откажись!

— Нет, это мне не подходит. Встретиться с французом, это еще куда ни шло... Только я не понимаю,

какой вам в этом интерес. Он что, ваш человек?

— Ну что вы, конечно нет, — заверил гость, слишком поспешно, как показалось Комарову.

Венский стул заскрипел пронзительно в такт нетерпеливому поерзыванию седока. Упорство, даже настырность «клиента» была ему в диковинку.

— Тогда какой смысл во всей этой затее? — не унимался Комаров. — Поймать его за руку при спекуляции ввозным товаром? В этих играх я участвовать не стану.

— Да что вы, в самом деле! Чего вы боитесь! Просто купите у него «Лярусс», и все.

— Я не боюсь, а просто не понимаю. Не вижу смысла.

— Борис Семенович! Давайте не усложнять! Нет в этом действии никакой опасности для вас. Никакого зла ни вам, ни этому французу мы не желаем. Пусть уж лучше вам он продаст своего «Лярусса», чем какому-нибудь пройдохе-спекулянту.

С этим доводом Комаров мог бы согласиться, но неужели для «них» это так важно?

— Да, но как же... И почему непременно я?

— Потому что мы вас знаем как весьма порядочного человека, — польстил ему посетитель и положил деньги на стол.

— И не надо подозревать нас в нехороших намерениях. Мы теперь не те, что были раньше.

В который раз уже он слышал эту фразу! Но, может быть, и в самом деле?

Молодой человек поднялся, протянул руку и был таков, воспользовавшись паузой, и тем предотвратил новые возражения.

В назначенный день и час Борис Комаров прохаживался по обширному павильону в самом центре Сокольнического парка. Отвращение к навязанной ему роли смешивалось с любопытством и детским увлече-

нием игрой в шпионы. Он посматривал на изящные, сверкающие яркими красками станки со множеством кнопок и рукояток, разглядывал схемы управления производством с бегающими зелеными искорками, улыбался стройным, вышколенным служащим в синих комбинезонах и голубых рубашках с лиловым галстуком. В среднем ряду, у небольшого стенда с оборудованием для точильных автоматов он увидел невысокого шуплого брюнета с залысинами над узким лбом и черными усиками под длинным с горбинкой носом. Номер стенда совпадал.

— Bonjour, monsieur, — сказал он, — Est-ce que vous etes le possesseur de le dictionnaire Larousse?¹³

Он не был уверен, что именно так надо было выразиться по-французски, но малый понял его, кивнул и, поглядев по сторонам вступил в переговоры. Он сам назвал цену в шестьсот рублей и согласился привезти книги поздно вечером по указанному адресу.

Комаров встретил гостя у наружной двери дома, проводил его в свою жалкую каморку. Продавец распечатал пакет, роскошные тома энциклопедии в голубом переплете сияли как драгоценность на замызганном шатком столе. Француз не выказал никакого удивления нищенской обстановкой, не слушая сбивчивых объяснений Комарова о том, что это его временный приют, сказал «с' est la vie», взял деньги и ушел.

На другой день молодой человек «оттуда» пожелал явиться, чтобы поблагодарить за оказанную услугу. Комаров жалел, что придется расстаться с чудесной сокровищницей знаний. Он с нежностью упаковал тяжелые тома обратно в раскладной картонный ящик.

Анатолий Петрович был немногословен. Он достал из кармана заготовленную бумажку, расправил ее на столе и предложил:

¹³ Добрый день, мсье. Это вы владелец энциклопедического словаря Лярусс?

— Распишитесь, Борис Семенович. Небольшая формальность. Нам ведь тоже приходится отчитываться...

Так вот в чем дело! Вот она, ловушка! Распишись за шестьсот рублей, и ты в их руках. Деньги брал? Брал. Значит, работай и дальше на нас. Но уж черта с два! Ломать вы меня ломали, но пока еще не сломали до конца, а купить меня вам и подавно не удастся!

— Ничего не выйдет, — ответил он спокойно. — Забирайте ваш «Лярусс» и бывайте здоровы.

— Борис Семенович! Ну зачем же вы так! Мы ведь к вам с полным доверием... Вы нам помогли, и мы желаем вам чем-то отплатить, а для вас это пустяковая формальность.

Не морочьте мне голову, — отрезал Комаров. — Забирайте тома.

— Вы это серьезно? — Анатолий Петрович взглянул на него полными непонимания глазами.

— Вполне, — отчеканил Комаров.

Чекист сел на стул и пригорюнился.

— Где у вас телефон? — спросил он, подумав.

— Там, в коридоре, направо. Увидите...

Переговорив по телефону, Анатолий Петрович вернулся повеселевшим.

— Ладно, пусть будет по-вашему, — сказал он примирительно. — Не ожидали мы от вас такого отношения, ну да уж ладно, не будем ссориться.

Не желают ссориться, а жаль, подумал Комаров.

— Но скажите все же, зачем вам понадобилась эта, как бы это выразиться, операция «Лярусс»? Ведь никакого существенного результата...

Молодой человек подобрел, польщенный интересом дилетанта к их необычной профессии.

— Да, действительно, ничего существенного не произошло. Но! — он сделал многозначительную паузу. — Мы знали в течение нескольких часов, где находится этот человек и какие имеет контакты. Пока он был с

вами, он не мог быть ни в каком другом месте.

Что за ерунда, подумал Комаров. Неужели вот так с каждым иностранцем? Или только с подозрительными? Или он меня дурачит?

— Ах, вот что! — произнес он вслух, стараясь вложить в интонацию своего голоса максимум восхищения изобретательностью товарищей из Комитета.

Молодой человек взял перевязанный толстым шпагатом ящик и, вежливо попрощавшись, ушел.

Комаров пошарил в прикроватной тумбочке, перевернул книзу горлышком пару бутылок — пусто. Из-за перегородки вкусно пахло чужими котлетами, там готовили ужин на электрической плитке. Он вздохнул, надел пиджак и вышел на улицу. Путь к знакомой забегаловке на Рождественке близ Солодковского переулка вел мимо внушающего московским обывателям суеверный трепет здания. Комаров прошагал мимо его фасада неспешной независимой походкой, чувствуя себя победителем...

После происшествия с «Ляруссом» Борис долго еще не мог позволить себе появиться в Афонинском кружке. Хотя он как будто ничем себя не уронил, отверг все поползновения, однако уже один факт соприкосновения с «ними» отчуждал его от своих, чуть ли не метил каиновой печатью.

8.

Павел Константинович Русланов раньше не был внимателен к природе, общественные отношения полностью владели его мыслями. Пожив, хоть и недолго, в тихом старообрядном городке, среди лесов дремучих, в занятиях нехитрых и преемственных из века в век, он почувствовал свою слитность с лесами и лугами, с текущими водами и веянием ветров.

Весна выдалась поздней, уж близился всенарод-

ный праздник Дня победы, а лес все стоял серой бесчувственной стеной. Но вот, совсем накануне праздника, Русланов заметил: только что лопнули почки, нынче после обеда. Еще в полдень, идучи в лес на предписанную ему прогулку, сколько ни вглядывался он издали в его темнеющую массу, сколько ни задирали потом голову на кроны берез, не замечал признаков молодой листвы только черемуха пустила уже первые листочки, да мелкий кустарник красовался изумрудинками трескающихся пупырышков. А вот за полночь, едва выйдя из дома, глянул — что за диво, зеленеет стена отдаленного леса, да так явственно, что даже не верится, словно библейское чудо произошло. Это дождичек помог, лил вчера с обеда и всю ночь напролет, а затем потеплело малость. Вот и раскочалась весна, вот и собралась с силами, позднечко, правда, но все равно, она свое возьмет!

Так размышлял Павел Русланов, опростившийся в общении с простонародной, непритязательной средой, где будущее представлялось ему тихим и бесперспективным, ну и ладно, он давно уже смирился со своим новым, скорректированным Колымой местом в жизни, свыкся со сложившимся порядком вещей, проникся убеждением, что навсегда останется работягой, пусть теперь уже не подконвойным, но таким же подневольным, как большинство сограждан. Что-то вроде христианского смирения сошло на него, и лишь изредка, наплывами, соображение о неиспользованных возможностях смущало его покой.

За неимением более прибыльной халтуры они с дядей Ваней еще в середине зимы подрядились на распиловку бревен. С утра пораньше, напившись чаю, они шли по морозцу в лесхоз. Заглянув в контору, толковали за сигаркой с ожидающими разнарядки работягами про то да се, а потом дядя Ваня взбирался на эстакаду, прилаживал тяжелую продольную пилу, а Русланов хватался внизу за ее рукоятки, и в размеренном темпе,

под мелодичное повизгивание лезвия, они превращали толстые еловые стволы в дюймовые упругие тесины. Белые опилки сыпались словно легкий снежок Русланову на серую солдатскую шапку со спущенными незавязанными ушами, проникали за шиворот, щекотали загривок и скатывались по ложбинке спины аж до седлица. Пахло еловой смолой, наливались ощущением силы плечи и поясница, и выяснилось, что жизнь прекрасна.

Работали неспеша, с отдыхом, и тем не менее к обеду Русланов начинал ощущать тяжесть в ногах и во всем теле, ныли плечи, а дышалось ему опять так же трудно, как в те сырые осенние дни, когда он корчевал пни у старика-огородника. По истечении недели, как-то после обеда, едва они возобновили работу в груди у Русланова что-то зашевелилось, словно бы зашуршало, он отнял руки от пилы, распрямился и стал прислушиваться с тревожным любопытством к шорохам в своем организме.

— Ты чего? — крикнул сверху дядя Ваня.

— Понимаешь, что-то с сердцем неладно. Перебои, что ли.

— Это бывает, — поддержал разговор дядя Ваня. — У меня вот тоже, когда топором намахнешься, особенно если на сытый желудок, оно другой раз как затрепыхнется, как затрепыхнется... Врачиха Татьяна Владимировна объяснила, экстрасистолы это. Таблетки давала глотать. Ты отдохни малость, а я перекурю.

Вечером Зина, придя с работы, даже не стала, как обычно, пересказывать городские сплетни, которые активно обсуждались у них в бухгалтерии Райпотребсоюза: ее встревожил необычный вид Павла Константиновича.

— Паша, ты этим не шути. Давай иди к врачу.

— Да так, пустяки. Сердечко затрепыхилось. От перекорма.

С той самой поры, когда она вытащила Павла из

забоя, Зина считала себя ответственной за его сохранение для какой-то новой жизни. Хотя ее ходатайства о полной реабилитации, как видно, не возымели последствий, она не сомневалась, что рано или поздно о Паше, замечательном философе и знатоке общественных паук, вспомнят, где надо, возведут на какой-то высокий пост, достойный его познаний, и ее старания будут вознаграждены тем, что Паша полюбит ее настоящей любовью, такой, как в самых увлекательных романах.

На другой день Зина записала Русланова к врачу, известному в районе единственному медику, имеющему звание кандидата медицинских наук.

В кабинете пахло лекарствами. В застекленном белом шкафу стояли склянки, банки, коробочки с надписями по-латыни, никелированные продолговатые коробочки со шприцами, высокий топчан был покрыт белоснежной простыней, а в углу стоял стальной штатив с укрепленными на нем стеклянными посудинами и резиновыми трубками. Сбоку за столиком сидела сестрица, розовощекая, тихая и сосредоточенная. Не то, что на колымских медпунктах, подумал Русланов, сразу проникшийся доверием к серьезному мужчине в белом накрахмаленном халате.

Врач оглядел Русланова внимательным спокойным взглядом, велел раздеться до пояса, постучал пальцами по грудной клетке и послушал в стетоскоп.

— Пьете? — спросил он деловым тоном.

— Не сказал бы. Так, позволяю себе иногда.

— Опохмеляетесь?

Подозревает, не алкоголик ли. Значит, вид у меня не ахти, подумал Русланов.

— Никогда в жизни.

Прописав экстракт красавки, сорок капель после еды, доктор велел сделать кардиограмму и рентген. На другой день Русланов в приподнятом настроении поднимался в гору по мощеному плиткой склону, к вершине того уединенного, поросшего молодым сосняком

холма, где в нескольких одноэтажных корпусах располагалась районная больница с поликлиникой и всеми привходящими службами, построенная еще доброй памяти земством. Впервые за долгие годы Павлу Константиновичу сняли кардиограмму и сделали рентгеновский снимок грудной клетки. Ему не терпелось узнать, что же там изобразилось.

Доктор встретил его любопытным, чуть насмешливым взглядом.

— Вы никогда раньше не имели подобных ощущений, закрудинного жжения и нарушения пульса?

— Было что-то похожее прошлой осенью. Определили трахеит.

— Фм, трахеит... Вы знаете, что такое инфаркт миокарда?

— Так, приблизительно. Слышать слышал...

— А ведь он у вас был, на ваше счастье не очень глубокий. Вы перенесли его на ногах. Остался рубец на задней стенке. Сейчас до инфаркта дело пока не дошло, но сигнал вы получили. Опасайтесь второго! Попринимайте вот это, — он продиктовал сестре доньне незнакомые Русланову названия. — Больничный лист нужен? Как желаете. Но физическая работа вам противопоказана. Можете заняться чем-нибудь другим?

В институтах и школах наступала пора экзаменов. Попадавшие на глаза в газетах или услышанные по радио сообщения об этом порождали в душе Павла Константиновича Русланова смутное беспокойство, приглушенное, несмелое сожаление о том, что он не там, не с теми, кто жаждет знаний, кто набирается ума, усваивая преподанные истины, а может быть вовсе и не истины, а ложные понятия, знания превратные и не идущие во благо, а он, кто мог бы сообщить молодым людям много полезного, прозябает здесь в захолустье, зарабатывает себе пропитанье трудом, не соответствующим его способностям и призванию. До сих пор он ни-

каких попыток устроиться на научную или преподавательскую работу не предпринимал, понимая их бесполезность. Но теперь, получив сигнал? Это перст судьбы, решил Русланов. Следующий инфаркт может оказаться последним. Надо выходить из подполья. Jetzt oder nie¹⁴. Ты должен успеть передать кому-то груз познаний.

9.

По соседству с редакцией литературного журнала «Стяг» находился особняк, ранее принадлежавший видному дворянскому роду. В этом старомодном и отнюдь не шикарном особняке приютилось учебное заведение невиданного доселе профиля. Основанное в пору еще не угасшего революционного энтузиазма в целях форсированного развития пролетарской культуры, оно было призвано вооружить одаренных сынов (в малой пропорции также и дочерей) трудового народа литературным мастерством.

В этой кузнице литературных кадров была выкована целая плеяда художников слова, и некоторые из них сделались впоследствии известными на весь просвещенный мир. Однако не каждый из воспитанников сего уникального лица мог пробить себе дорогу как автор поэзии или прозы. Многие, пройдя курс наук, становились редакторами издательств, сотрудниками литературных журналов, заведующими литературной частью театров, шли в общеполитическую журналистику или как-то по-иному устраивали свою карьеру. Тем не менее, пребывание в стенах элитарного вуза производило такой же приблизительно эффект как совместное обучение отпрысков английских аристократов в колледжах Кембриджа и Оксфорда: возникала действительная на всю жизнь корпоративная спайка, то есть

¹⁴ Теперь или никогда. (нем.)

каждый его выпускник больше, чем кто-либо посторонний, мог рассчитывать на благосклонность однокашника, его поддержку и взаимные услуги.

Студенты Дома на бульваре с большой подробностью изучали русскую и мировую литературу, историю искусств, лингвистику и, разумеется, общественные науки. Для чтения лекций приглашались лучшие силы университета, исследовательских учреждений и филологических факультетов педвузов. В числе приглашенных оказался и молодой доцент Никита Кулемин, прославивший знатоком Пушкина и его эпохи. Успех кулеминского спецкурса по Пушкину превзошел ожидания, и со следующего года Никита Петрович был зачислен в штат для ведения всего курса русской литературы девятнадцатого века.

Кулемин стал редко появляться в афонинском кружке, так как был всецело поглощен своими лекциями, которые писал и переписывал, но никогда не считывал с бумажки, ибо дорожил контактом с аудиторией, глаза в глаза. Костя Афонин, однажды побывав на лекции «своего парня», оценил ее по достоинству, зачастил в Дом на бульваре и стал тянуть за собой друзей-приятелей.

О лекциях Кулемина пошла молва в кругах столичных независимых интеллектуалов, изголодавшихся по живому слову. Кулемин не пережевывал общеизвестных истин, не преподносил голых идей, избегал повисших в воздухе обобщений и не подлежащих сомнению оценок. Испытывая отвращение к стереотипам, он извлекал на свет божий забытые исторические факты, замалчиваемые жизненные обстоятельства и биографические подробности знаменитостей. Материала у Кулемина, не ленившегося докопаться до редчайших первоисточников, было предостаточно, он не укладывался в отпущенную учебным планом сетку часов, и поэтому часть его курса была вынесена на факультатив.

На вечерние лекции являлись не столько

студенты, сколько посторонние, привлеченные распространившейся славой этого общедоступного факультатива. В аудитории становилось тесно, публика стояла вдоль стен и толпилась в дверях. В описаниях общественной жизни прошлого каждый ловил аналогии с переживаемым моментом, и хотя лектор ни словом не касался современной обстановки, заинтересованные слушатели улавливали сходство и мысленно расставляли соответствующие фигуры — царя Николая, Фаддея Булгарина, крепостников и аболиционистов, славянофилов и западников — на истоптанном паркете современности. Изобретение хитреца Эзопа получало в советском словотворчестве свое дальнейшее развитие.

Успех факультативных лекций Кулемина доставлял директору института Степану Сергеевичу Сермягину (в студенческом обиходе «Триэс») сложные переживания. Выпускник ИФЛИ, выпестованный в партийной номенклатуре, он был «брошен» на руководство подозрительным учебным заведением именно затем, чтобы пресекать всяческую крамолу. Но Сермягин не оправдывал возлагавшихся на него надежд. Он лишь для проформы одергивал слишком уж ударяющихся «не в ту степь» преподавателей и студентов, в тайне же сочувствовал им и старался натягивать вожжи лишь в такой мере, чтобы не вызвать вмешательства высших инстанций.

Такая линия поведения называлась двурушничеством. Степан Сермягин ненавидел это слово и никогда его не произносил по причине, далекой от всяких умственных абстракций: он был элементарно однорук. Еще в школьной юности, проходя производственную практику на шихтовом дворе металлургического завода, он угодил правой рукой под сорвавшийся с крана многопудовый «козел», то есть забракованный слиток неудавшейся плавки. Козел разможил ему кисть, пришлось отнять ее по самое запястье. Из-за этого увечья он оказался негодным к воинской службе, и многие

свойственные юности увлечения как спорт, танцы и ухаживание за девицами сделались для него недоступными.

Этот урон Степан Сермягин восполнял общественной активностью. Еще старшеклассником он избирался в райком ВЛКСМ, именно оттуда ему открылась дорога в ИФЛИ, а по окончании он последовательно выдвигался по восходящей в комсомольские, потом партийные органы. И вот неожиданно для себя, в начале пятидесятых годов, Степан Сергеевич Сермягин получил назначение на директорский пост, к которому, откровенно говоря, он не считал себя достаточно подготовленным. Однако отказаться не сумел, ибо давление исходило не от какого-нибудь райкома или даже горкома, а от самого цеха.

В доме на бульваре еще доучивались студенты послевоенного набора, фронтовики, прошедшие огни и воды, отчаянные ребята, видевшие смерть в глаза и потому не боящиеся ни бога, ни черта. Не знавший фронта Степан Сермягин чувствовал себя перед ними как бы нижестоящим в человеческом измерении, уважение к их военному подвигу мешало ему занять по отношению к ним наставническую позицию. Их следовало бы приструнивать и укрощать, но на это не находилось у совестливого директора ни решимости, ни желания. Вместо того, чтобы взять их в узду, он втайне любовался ими и готов был простить им и вольнодумство, и кутежи, и задолженность в экзаменах, и пропуски занятий по марксизму-ленинизму. Он предвидел, что эти послабления не сойдут ему с рук, жил в постоянном ожидании «последствий», и звонок сверху не застал его врасплох, а предупредительная формула «не могли бы вы зайти завтра часика в четыре к...» не ввела в заблуждение: по пустякам к заместителю заведующего отделом не вызывают.

Прямо к заведующему вызывают в исключительных случаях: изрядное чепе, крупное нововведение,

приятное сообщение, вроде давно ожидаемого продвижения по службе. К рядовому инструктору вообще не вызывают, к нему ты сам обращаешься для обсуждения текущих дел или предварительного проговаривания назревающих мероприятий, а коли он звонит и приглашает зайти, значит, что-то требует выяснения, нужны какие-то сведения, словом, повседневная рутина. А замзав?... Это загадка. Можно ожидать чего угодно. Ни о каких реформациях пока разговора не было. Никакой юбилей не предвидится. Похоже, будет капитальный разнос.

Знакомая процедура проникновения в святая святых: звонок из бюро пропусков по внутреннему телефону, минуты ожидания у окошка, снежно-белая бумажка почти картонной твердости, плавно закрывающаяся за тобой дверь указанного подъезда, пара ступенек за тамбуром, непроницаемого вила лейтенант в погонах с голубой каемкой, взгляд в документ, удостоверяющий личность, долгий сверяющий взгляд в самую «личность», все это молча, без улыбки, суровая школа позади... Бесшумные просторные лифты, высокие потолки, пустынные коридоры, мягкие розовые дорожки, таблички на дверях — и могильная тишина... Степану Сермягину предстояло пройти через приемную, где молодой человек в строгом темном костюме сухо бросил ему «посидите». Прогноз подтверждался: раз выдерживают в приемной, значит, поверхностным снятием стружки дело не ограничится.

Замзавотделом, как полагается, начал издавека. Вспомнил покойного родителя Степана, старика Сермягина, которого лично знал, заметного профсоюзного деятеля из рабочих, партийца ленинского призыва, свято верившего в высшую мудрость партии. Расспросил, демонстрируя осведомленность, про новинки советской и зарубежной литературы, и как они оценены различными слоями литературной общественности: Семен Бабаевский, Михаил Бубенов, Говард Фаст... Когда же он

перейдет к делу, думал с досадой Степан Сермягин. Не проходила неловкость, возникающая всякий раз, когда приходилось малознакомым людям протягивать для пожатия левую руку.

Наконец многоопытный замзав, видимо посчитавший, что довел испытуемого до нужной кондиции, выпустил кошку из мешка. Но к изумлению Сермягина это была вовсе не та кошка, которую он ожидал.

— Так что там рассказывает ваш новый преподаватель на своих факультативных лекциях? Как он трактует классовые противоречия в русском обществе прошлого века и их отражение в литературе?

От неожиданности Степан Сермягин сглотнул и заерзал на стуле.

— Мне кажется... По-моему, никаких отступлений от марксистско-ленинского подхода лектор не допускал.

— Вам кажется! А вы присутствовали хоть раз на его лекциях? Или хотя бы проверяли их содержание по конспекту и по записи? И попробовали хоть раз сличить то и другое, чтобы выяснить, нет ли расхождения между конспектами и тем, что в действительности преподносится слушателям? Вы утверждаете, не допускал. А вот что известно нам. Прогрессивную роль в деле воспитания общества посредством литературы ваш, как его... Кулемин... — Говоря, замзав заглядывал в какую-то бумагу, перелистывая страницы, соединенные скрепкой за уголки, — да, Кулемин отводит прогрессивную роль представителям дворянской элиты, то есть классу угнетателей, тогда как у разночинцев, то есть той интеллигенции, которая стояла ближе к трудовому народу, он усматривает реакционные идеи. Далее, в рассуждениях вашего доцента — или он еще не доцент? — содержатся намеки — обратите внимание — намеки на некое сходство между полицейским режимом николаевского самодержавия и той системой, которая существует в нашем советском социалистическом госу-

дарстве. Касаясь трагической гибели Пушкина и Лермонтова, он, не без расчета на догадливость слушателей, утверждал, что подобная трагическая судьба закономерно уготована близкому к народу поэту в условиях произвола ничем не ограниченной власти — как вы думаете, какие трагические судьбы он имел в виду? У вас не возникают никакие... ассоциации? А вот у некоторых внимательных слушателей возникали. Теперь объясните мне, почему такие лекции происходят при стечении посторонней публики?...

Бредя по Маросейке и Покровке к себе на Земляной вал, где в новом многоэтажном доме ему недавно Моссовет отвел квартиру, Степан Сергеевич Сермягин терялся в путанице мыслей. Кто «накапал?» Ах, не все ли равно! Мало ли их, ретивых хранителей устоев... «Примем меры» покорно пролепетал он в ответ на тяжкие упреки, но по выражению лица замзава понял, что судьба его решена. Они могут простить растрату казенных денег, пьяный загул, с кем не бывает, даже за нарушение супружеской верности могут ограничиться отеческим внушением, но за грехи идейного характера будут карать недрогнувшей рукой. Наверное, уже подыскивают замену. Неизвестно, сколько еще придется тебе пробыть на твоём почетном посту... Добро хоть квартиру успел получить, трехкомнатную, со всем комфортом. Выписали ордер, даже не спросив о составе семьи. А если бы знали, что он теперь сломленный вдовец, так небось еще подумали бы, какой квартиры он достоин. Снимут, как пить дать, но квартира останется.

Не об этом сейчас надо думать. Думать надо о том, как поступить с этими злосчастными лекциями. Факультатив придется закрыть. Покорность, прежде всего покорность, вот чего они требуют от тебя, от всех и каждого!

А мне надоело! Черт с ними, пусть снимают. Только куда потом? Эх, вот беда, что неспособен к физической работе! А то пошел бы в дворники, и плевать мне

на мою кандидатскую степень! А что, может быть и в самом деле? Как-то видел он где-то в Замоскворечьи бородатого дядю, который подметал тротуар метлой, зажатой в подмышке...

Ах, вздор все это! Надо думать о деле. Как скажу я этому Кулемину, что его вечерние лекции отменяются? Ну ладно, Кулемин не Гарибальди, стерпит, покорится, куда он денется... Но жаль, что разрушится единственное неординарное дело, которое удалось осуществить за время этого директорствования. А что, если ослушаться? Ведь все равно судьба решена, так что ж теперь плясать под их дудку? Семь бед, один ответ...

10.

Павел Русланов не отличался предприимчивостью. Все в его жизни совершалось как бы само собой, и нужен был особый толчок, чтобы побудить его к необычной активности.

Купив как то, при очередном наезде в столицу, свежий номер «Благонамеренного сочинителя» (для всех газет у него, в подражание Салтыкову-Щедрину, были свои собственные наименования), Павел Константинович натолкнулся на заметку о литературном вечере, где среди присутствующих был упомянут директор Института изящной словесности (и это название было у Русланова в индивидуальном пользовании) С. С. Сермягин. Степа Сермягин — и изящная словесность?

Он помнил, что его однокашник по ПОЛИ Степан Сермягин был далек от литературных увлечений, как впрочем и сам Русланов. Они часто встречались в третьем читальном зале Ленинской библиотеки, где над томами дозволенных классиков корпели начинающие философы-марксисты. Тихий, склонный к уединению, непричастный ни к спортивным, ни к трактирным забавам и даже некурящий, может быть в силу того, что

неловко было спичку зажигать одной рукой, Степан Сермягин не имел друзей, и лишь Павел Русланов, наученный в своей медицинской семье сочувствию к обиженным судьбой, частенько проводил время в беседе с «отщепенцем», как окрестили Сермягина благополучные лоботрясы. И вдруг — Степан Сермягин во главе такого учебного заведения! Непременно надо его навестить.

Секретарша Катя, неудачливая студентка, предпочтившая синицу в руки в виде верного заработка и близости к начальству, робкая и вежливая со всеми, а не только с вышестоящими персонами, доложила с озадаченным выражением на лице:

— Степан Сергеевич, к вам какой-то... бородатый. Средних лет.

— Кто такой? Как себя назвал?

— Никак. Я постеснялась спросить. Он какой-то... необыкновенный.

— Что за необыкновенный? Иностранец, что ли?

— Нет, говорит чисто по-русски. Просто как-то не отсюда. Не в смысле приезжий, а как бы из другого мира.

— Марсианин, что ли? Ладно, зови.

Русланов огляделся в скромном кабинете. Помимо портрета Максима Горького, лики других основоположников отсутствовали.

Сермягин, выйдя из-за стола, приглядывался с недоверием.

— Штефан, не узнаешь? *Denke mir den Bart weg*,¹⁵ — сказал Русланов и протянул левую руку.

— Бог ты мой, Пауль! — изумился Сермягин, вспомнив, что когда-то они оба увлекались немецким, чтобы читать Маркса и Энгельса в оригинале, и имена произносили на немецкий манер.

— Представь себе. Как бы воскресший из мертвых.

¹⁵ Представь себе меня без бороды. – (нем.)

— Заметив растерянность приятеля, Русланов продолжал: — Не беспокойся, уже не враг народа.

— Что ты говоришь? А выглядишь как раз на этот титул.

Степа научился острить, отметил про себя Русланов. Вот что значит поворачаться в кругу изящных словесников!

— Садись Паша. Сейчас что-нибудь сообразим, — сказал Сермягин и вышел в приемную. — Катюша, порадуй нас чем-нибудь.

— Чай, кофе?

— Нет, особый случай. Типа трех звездочек. Держи банкноту. И ко мне никто. — Вернувшись в кабинет, уставился на нежданного, но желанного гостя.

— Объясни, Паша, что это с нами было? Не скажу, что я слепо верил. Но объяснения не находил. Или уходил от попыток найти объяснение. Старался убедить себя и других в необходимости устранить все и вся, что мешало осуществлению программы. Методы смущали, да. Но казалось неизбежной инерция гражданской войны, беспощадного подавления врагов революции. Уверен, что многие заставляли себя думать так же. Иного выхода не было, то есть в противном случае надо было положить голову на плаху. Даже просто отойти в сторону означало для нас, уже вовлеченных в процесс — как бы его назвать? — пусть будет процесс построения социализма, означало бы бегство с поля боя, что рассматривалось бы как предательство. Ты не согласен?

— Все правильно.

— Не знаю, может быть с точки зрения тех, кто пострадал, мы, уцелевшие, выглядим прохвостами. Самое малое — трусами. Руку поднимал? Поднимал. Знает, разделяешь вину.

— Поднятие руки тоже не давало гарантии. Хотя фатально обречена была только гвардия. Те, кто все знал.

— Слышал анекдот? Один — на Бродвее —

спрашивает другого: сколько будет дважды два? Тот отвечает: четыре. Тогда первый вынимает пистолет: пах, пах, пах! Прохожий спрашивает: за что вы его убили? Ответ: он слишком много знал.

Степан Сермягин отводил душу со старым приятелем. В его положении приходилось все время держать себя в узде, подавать пример благонравия и благомыслия. А Павел Русланов наслаждался интеллигентным общением, которого так долго был лишен.

— А для тех, — продолжил тему Русланов, — кто влился в ряды позже, кто пришел, так сказать, на готовое, все происходило, как в лотерее. Сегодня ты, а завтра я. Впрочем, не совсем слепая игра случая. Были активисты-карьеристы, они спешили с доносами, как бы кто их не опередил. Доносили на тех, кто чем-то выделялся — способностями или даже просто удачливостью. Но потом наступала очередь доносчиков, на них находились другие доносчики. Помнишь детскую сказочку: коза идет воду пить, вода идет огонь гасить, огонь идет палку жечь, палка идет корову лупить, или как там еще...

— Закономерность? Ты считаешь, что всякая революция пожирает своих детей?

— Похоже на то. Дело в том, что истинные цели революционеров лишь в редчайших, идеальных случаях совпадают с провозглашенными целями революции. Каждый себе на уме.

— Ты хочешь сказать, что строить светлое будущее, в нашем случае коммунизм, каждый собирался для себя одного?

— Строить какое бы то ни было общественное устройство — это все равно, что пытаться управлять движением небесных светил. Представим себе прогрессивно мыслящих интеллектуалов при дворе какого-нибудь феодального правителя, которые, собравшись за чаркой доброго вина, договариваются: а не заняться ли нам построением капитализма? Формации получают

свое название тогда, когда сходят со сцены. Какое название получит наша — большой вопрос.

Посмеявшись, чокнулись. Очерстевшая, как бы усохшая, душа Павла Русланова наполнялась теплом. В обществе друга юных лет он ощутил себя помолодевшим, вся его жизнь в промежутке между тридцать восьмым и пятьдесят пятым годами ушла куда-то в другое измерение, и мысль о том, что нужно снова, теперь или никогда, вернуться к своему призванию, все требовательней стучалась в дверь.

Коньяк растормаживал, а молчащий телефон настораживал.

— Слушай, — сказал хозяин кабинета, — поедем ко мне. Я живу один, стены капитальные...

Можно было вызвать прикрепленную от шефствующей организации машину, но тогда стало бы известно, куда и с кем поехал директор института. Пробрались переулками к Садовому Кольцу, сели на «Букашку». Чувствовали себя студентами, сбежавшими с лекций.

— Лифт на ремонте, — сказал Степан Сермягин, когда они вошли в сумеречный подъезд. — Недавно гостил у нас тут один писатель из Мексики — прогрессивный, разумеется. Жил в гостинице средней руки, для «Метрополя» у нашего Союза кишка тонка. На третий день заморский гость с гордостью сообщил, что уже выучил одно русское слово: «не работает».

Седьмой этаж дался Русланову с трудом.

— Запыхался, Паша?

— Ничего. Бывало хуже.

Однако про себя подумал: дряхлею.

В квартире было пустынно и неприбранно, в прихожей на стоячей вешалке одиноко пылилась зеленая фетровая шляпа. К застекленной двери в кухню кнопками была прикреплена афиша с размашистой, во всю диагональ, росписью автора пьесы.

— Еды дома не держу, а кофе сейчас заварим, —

сказал хозяин.

Русланову не терпелось перейти к возникшей у него идее, но он не находил подходящего момента и боялся испортить дело неосторожным наскоком. Он узнавал и не узнавал старого товарища. Суховатый, осмотнительный, застегнутый на все пуговицы, таким Степан Сермягин, по-видимому, и оставался, но что-то сместилось в нем, какая-то новая скованность, не происходящая из свойства его натуры, а навязанная извне, сквозила в его поведении. Его либеральные высказывания казались нарочитыми, ненатуральными, чем-то вроде любезности по отношению к гостю. Что у него внутри, каков он сам для себя? И для других? Разных... Таких, как его студенты. И таких, как я.

— Паша, не могу расспрашивать тебя о том, как было там. Понимаю, что тебе тяжелы эти воспомина-ния. А все же в двух словах, как ты это пережил?

Русланов пожал плечами. Ему никогда не приходило в голову анализировать отрезки своей жизни. Было единое, непрерывное течение событий, иного не было дано, а значит, и быть не могло. И вообще не в его характере было рассматривать себя как личность, вернее, как некое самодовлеющее существо. Он видел себя в окружающей реальности как инструмент для осуществления возложенной на него задачи. Кем возложенной? Да никем. Собственным восприятием этой реальности, вот и все. Личное благополучие его не занимало, жизненные условия интересовали лишь в той степени, в какой они способствовали или не способствовали реализации той самой задачи.

— Знаешь, если отвлечься от масштабов этого... бедствия, или, скажем, злодейства, и сосредоточиться на одной конкретной индивидуальности, то это было суровое испытание, но в то же время несравненная школа. Мы называем первоисточниками исторические документы, а также оригинальные творения классиков. Но, согласись, главный первоисточник — это жизнь. На

Колыме все знакомые мне философские концепции получили встряску почище знаменитого неапольского землетрясения, столетие которого скоро отметит просвещенный мир. Я понял, что философия нужна людям не как свод глубокомысленных абстракций, а как доступная всем и каждому наука жизни. Эх, если бы мне представилась возможность изложить перед заинтересованной аудиторией кое-какие философские взгляды, а вернее основы общедоступной житейской философии! Как ты думаешь, нашелся бы где-нибудь безумец, который предоставил бы мне — пусть ненадолго — кафедру? У меня, поверь, есть что сказать.

Степан Сергеевич, взглянув па собеседника с усмешкой, призадумался. Нагоняй за факультатив не выходил из головы.

— Паша, ты наступаешь мне на мозоль, — сказал он наконец. — Помолчав, добавил: — Ты, как я вижу, не очень разбираешься в обстановке. *Le roi est mort, vive le roi!*¹⁶ Иными словами, вождь помер, но дело его живет. Тебя давно не таскали в цека? Или хотя бы в райком? Да-да, шучу, но ты понимаешь, о чем речь. Наберись терпения. Идут разговоры о предстоящем съезде. Он должен будет расставить кое-какие точки над «и». Так что... Помнишь, как говорил Глумов у Салтыкова-Щедрина? Надо, говорит, братец, погодить...

11.

Оказавшись за бортом педагогики, Борис Комаров решил искать счастья на столь же родной ему стезе журналистики. Он дознался, что один из его соратников по германским странствиям, автор рецепта знаменитого коктейля, занял ответственную должность в редакции второй по значению столичной газеты. После теле-

¹⁶ Король умер, да здравствует король! – (франц.)

фонного разговора не без внутреннего трепета явился Комаров в обширный кабинет ответственного секретаря. Встретились без объятий.

— Садись, посиди, — указал Рогинский на диван, сам же сел за маленький столик в стороне, ибо в этот момент немолодая сухопарая женщина в фартуке внесла на подносе тарелочки, кувшинчики и чашечки с едой и питьем, поставила на тот столик и, поджав губы, молча удалилась.

— Извини, не приглашаю, — пояснил хозяин кабинета. — Спецобслуживание, так как маюсь желудком. Допился, беззлобно подумал Комаров.

— Так как насчет целины? — сказал Вадим Рогинский, поев и утершись салфеткой. — На первый случай дадим командировку. Понравится, поедешь собкором.

Сойдя с поезда на Казанском вокзале, Борис Комаров добрался на метро, с пересадкой, до площади Революции (про себя он называл ее площадью Резолюции, так как по его наблюдениям, от революционных идеалов остались рожки да ножки, а резолюции облеченных властью персон, как и подобранные ими кадры, решали все). Стоя на длинном эскалаторе, он всматривался в лица людей, движущихся встречным потоком вниз, мечтая после долгого отсутствия увидеть кого-нибудь из знакомых. Выйдя на поверхность, он направился вверх по Тверской, она же улица Горького. Этот выбор маршрута ничего особенного для него не означал, просто захотелось проследовать именно так, а не иначе. Потом он сообразит, что его вела судьба... Тени прошлого ходили за ним по пятам. События этого дня представнут перед ним в какой-то загадочной связи, и он станет задавать себе вопрос, а что было бы, если бы он не шел вверх по Тверской и не встретил бы Илью Молочника, а благополучно явился бы в редакцию, изложил бы свои впечатления от поездки на целину, нашел — или не нашел бы общий язык с Вадимом Рогинским, стал —

или не стал бы штатным сотрудником его газеты... Ничего такого не состоялось, а случилось совсем иное.

Мысль работала напряженно, предстоящий разговор обещал быть трудным. Рогинский ожидал от него очерков о трудовых победах, о приросте посевных площадей, о рекордах урожайности, а у него стояли перед глазами барханы из зерна, гниющего под дождем, и драки в привокзальных буфетах. Поэты воспевали подвиг тракториста, провалившегося под лед при попытке доставить грузы отрезанным от мира энтузиастам, а Комарову хотелось призвать к ответу начальственных бездельников и тупиц, готовых выполнить верховные предначертания ценой хотя бы и человеческих жизней... Но не только в этом было дело. Романтику подвига он еще мог бы принять и возвысить, если бы она вершилась во имя стоящей цели, достойной приносимых жертв. Однако добросовестные местные специалисты, — он встречался с такими и в сельхозуправлениях, и на полях, — говорили ему, что творится великая несообразность, что распашка огромных площадей вместо интенсификации возделывания издавна обрабатываемых угодий — это дань пагубной традиции примитивного, экстенсивного ведения сельского хозяйства. Эта мера, говорили они, увековечит отсталость нашего земледелия. На освоенных кавалерийским наскоком земельных массивах она приведет к грозным нарушениям природного равновесия, подорвет баланс влагообмена, вызовет неслыханную пока еще у нас, но уже знакомую по североамериканскому опыту ветровую эрозию почв, подорвет традиционное степное скотоводство...

Все это предстояло обсудить с Вадимом Рогинским, а надежда на взаимопонимание была невелика, так как Рогинский был другом главного редактора, а главный редактор был зятем того очередного кремлевского мечтателя, которому принадлежали головокружительные инициативы по выводу советского сельского хозяйства из прорыва, со стратегическим прицелом

на то, чтобы догнать и перегнать возбуждающие зависть и ненависть Соединенные Штаты Америки, в произношении высокопоставленных недоучек «Сэ-Шэ-А».

Погруженный в эти раздумья, Комаров чуть было не столкнулся у магазина «Сыр» лоб в лоб с человеком, спешащим в противоположном направлении.

— Б-борька! Т-ты ли это?! — Илья Молочник, друг и соратник по колымской журналистике, недоверчиво мигал своими карими навывкате глазами. — Д-дай пощупаю!

— Ильюшка! Какими судьбами?

Было рукой подать до гостиницы «Москва» с ее рестораном и кафе, окнами на Манежную площадь. Выбрали столик у дальней стены. Пили крупно, по-колымски. Обменивались информацией,

В Магадане еще оставался кое-кто из «стариков»... Севка Хмелевский умер в результате неудачной операции на проспиртованных внутренностях. Сенька Боровиков в Ярославле возглавил молодежную газету. Сам же Илья уволился окончательно, направляется в родную Одессу, в Москве проездом...

— Да что это мы все про нашу тусклую прозу жизни, ты про свои фронтовые дела расскажи!.. Помнишь, как ты тогда загремел?

Загремел? Как это — загремел? Комаров недоуменно уставился на собеседника.

— Я не гремел. Мой рапорт лежал у Шарфмана с самого октября сорок первого, когда немцы наступали на Москву...

— Ха, рапорт! Наивник ты неисправимый. Твой рапорт провалялся год и еще валялся бы благополучно в столе у Шарфмана до самого конца войны, если бы не эта черненькая.

Что за черт, какая еще «черненькая?» Недоумение Комарова усиливалось.

— Ты недопонимаешь? Или делаешь вид?

— Ей-богу, ничего не понимаю. Какая «черненькая»? При чем она тут?

— Как, ты забыл? Такая... грациозная. Она еще заходила к тебе частенько по пути из столовой...

Боже, черненькая! Да, действительно, было такое мимолетное знакомство. Она была москвичка, тосковала о Консерватории, любила поговорить о литературе, как же, как же... Ее звали не то Аня, не то Таня...

— Припоминаю, но при чем тут она?

— А ты не знал, чья она жена?

— Понятия не имел и не интересовался.

— А зря. Потому что это была жена начальника УСВИТЛа. То есть правой рукой и ближайшего соратника Хозяина всея Колымы.

— Вот как? И что же из этого следует?

— А вот что. Приходит начальник УСВИТЛа¹⁷ к своему вышестоящему начальнику и другу, Комиссару Госбезопасности третьего ранга, и плачет ему в жилетку: вот мы с тобой, друг мой и начальник, еще на фронтах гражданской войны за советскую власть мешками кровь проливали, и здесь, в суровых условиях, сил своих не жалеем в борьбе с врагами, внутренними и внешними, даем драгоценный металл для нужд фронта, а всякие там щелкоперы-журналисты наших с тобой жен... это самое! Ну, Хозяин, естественно, возмущается: кто таков? Да мы его в бараний рог!.. А вот такой-то, некий Комаров, из редакции. Как мне доложили, они прямо в обеденный перерыв, в его кабинете... С ней я, конечно, сам разберусь, а вот этого... «На фронт его, негодяя!» — вознегодовал Комиссар Госбезопасности. — «Мы тут в аккурат первый эшелон призывников готовим. Туда его и припишем». Теперь тебе ясно?

Комаров онемел. Взгляд его застыл, упершись в бесконечность. Неужели это правда?

Так вот кем ты был на всем своем «боевом пути»!

¹⁷ Управление Северо-Восточных лагерей НКВД СССР.

Штрафником по воле начальника колымских лагерей! Не потому ли из комиссаров ты попал в рядовые? Но как хорошо, как славно, как бесконечно дорого, что это знание приходит к тебе только теперь! С ним невысказано было бы пройти по дорогам войны...

Редакция авторитетной газеты, Вадим Рогинский, целина — все это ушло куда-то в ненадобность. Угрюмый и пьяный, Борис Комаров провожал Илью Молочника до самого вагона, целовался, записывал адрес неверной рукой, а потом сидел один в кафе у вокзала, пил и не мог допить до нужной кондиции, когда на все наплевать. Шел в сумерках по Садовому кольцу бездомным и несчастным, у Красных ворот свернул направо, вспомнил про виденный когда-то там внизу, на исходе Мясницкой, зеленый вагончик без колес, но с красным крестом и скромной вывеской «Медвытрезвитель»...

Дверь не поддавалась, постучал кулаком. Служитель в сером халате взглянул недоуменно.

— Я ваш, — заявил Комаров...

Дремавший на лавке милиционер протер глаза.

— У нас такого в практике нет, чтобы сами... — пробормотал лепком.

— Слышь, друг, заведи меня, — сказал Комаров, обращаясь к милиционеру, и дохнул на служителя так, что тот попятился.

— А пятнадцать рублей платить будешь? — нашелся он все же.

— Придется уж, — сказал Комаров, входя.

Наутро, с головой, разламывающейся на части, он направился к знакомой забегаловке на углу Рождественки, которая с восьми...

Попадались на глаза объявления. Требуются... Требуются... Требуются... Автобазе номер такой-то требовались шоферы, автослесари, механики. Речному порту требовались такелажники. Заводу «Резец» требовались слесари-лекальщики, токаря, фрезеровщики...

А что, мог и я, мелькнула мысль. И шофером, и

фрезеровщиком. На худой конец и такелажником можно бы попробовать. Мысль была чисто абстрактная, как бы для развлечения. Между тем сберкнижка тощала, следовало подумать о зарплате.

На отрезке Цветного бульвара между Цирком и Трубной, на сероокрашенных столбиках стояли щиты размером в два газетных разворота, и на них, под стеклом (тогда еще не было принято бить стекла все подряд, даже телефонные будки случалось, оставались в целости сверху донизу), вывешивались свежие номера газет из разных республик. Комаров останавливался то у одного, то у другого щита, читал одну-другую статейку, убеждался лишний раз, как несходно изображение в прессе окружающей действительности с представлениями о ней у тех, кто в ней существует...

Закружилась голова от недосыпа, побрел дальше. Его окликнул хриловатый женский голос:

— Мужчина!..

Он оторопел: неужели Цветной бульвар вернул себе свою прежнюю специализацию? Оказалось, забегавшейся провинциалке нужно всего лишь узнать, как пройти к Петровскому пассажиру...

А на заводах — требовались фрезеровщики! Мысль, поначалу вроде бы шальная и никчемная, стала все настойчивее покручиваться в голове и наконец оформилась в решение.

Завод, детище первой пятилетки, когда-то возникший на пустыре, теперь стоял, огражденный бетонной стеной, в окружении жилых кварталов. Во дворах подрастали липы и клены...

В проходной инвалид, прихлебывая чай из алюминиевой кружки, играл в шашки с мальчиком дошкольного возраста...

Кадровик то и дело переводил взгляд от бумаг (анкета, заявление, свидетельство об окончании ФЗУ, трудовая книжка) на физиономию заявителя. В бумаги он смотрел через очки, низко посаженные на мясистом

носу, а на посетителя поверх очков, не поднимая головы, одним только поднятием глаз, пристально и недоверчиво.

— Что ж это вы, товарищ Комаров, задумали, свернуть, так сказать, с магистрального пути? Ведь у вас и образование, и подходящая специальность... Тем более, член партии. Могли бы, кажется...

— Да вот видите, захотелось настоящей работы.

— А там, выходит, не настоящая?

— Такой, чтобы реальная польза для родины. В материальном, так сказать, выражении. — Он старался попасть в тон собеседнику. Что еще сказать в свое оправдание? (Как на парт-комиссии!) — Начинал работать, и всю жизнь чувствую свою принадлежность к рабочему классу. Хочу вернуться в родную среду.

— Ишь ты! По идейным, стало быть, соображениям?

— В общем, да. К тому же, как я слышал, нынче и заработки у станочников неплохие.

Взгляд поверх очков:

— Здраво мыслите, Комаров. Ну что ж, попробуем. Вот вам направление в ремонтно-механический цех.

Получка оказалась нежирной.

— А ты чего хотел, — сказал сменщик. — На шпачных канавках больше не заработаешь. Пока вал закрепишь, то да се, машинного времени с гулькин нос, точность большая, а расценки по третьему разряду. Ты спроси у Филимоныча чего пофартовой, большими партиями.

Филимоныч — это мастер, шустрый мужичонка средних лет, непоседа, вечно в запарке.

— Как же я буду просить, это же не частная лавочка.

— Тебя научить, как? Маленький, да?

Заведение, которое в дневные часы было благоуханной столовой, после семи часов меняло профиль,

превращалось в так называемое кафе с подачей крепких напитков. Сидели втроем за столиком у окна. Комаров посматривал на мелькающие фигуры прохожих, степенных принаряженных парочек, шумливых юных стюлаж в узких брючках, озабоченных матерей и бабушек, толкающих коляски с полученными из детсадов и ясель малютками, провожал глазами автомобили и троллейбусы, начиненные пестрой смесью человеческих судеб. Происходящее с ним самим вызывало у него снисходительную улыбку. Конечно же, не ради своей корысти (или «личной материальной заинтересованности», как писали в газетах) пошел он на это «мероприятие», а из любопытства. Хотелось узнать в подробностях, как такое происходит.

Заказывал Филимоныч, платил Комаров, распоряжался сменщик Валерка Туркин. Филимоныч не претендовал на изысканное, заморское, всякие там коньяки да ромы, пили проверенную и привычную «Московскую», закусывали селедочкой с луком, потом ели бефстроганов, под него осушили еще пол-литровочку, потребовали пива. Разговор шел пустой, необязательный, Валерка выбалтывал секреты женатых приятелей, кто с кем, когда и где, кто за что побил жену и у кого сколько высчитывают на алименты. Филимоныч выпытывал у Комарова:

— Слышь, Борис, а верно говорят, что ты писателем работал? Ну, не писателем, а как его, корреспондентом?.. А верно, что ты Берлин брал?.. Ну и как же тебя, дурака, обратно к станку завернуло? Сидел, небось? Говори, не тушуйся, люди свои.

Комарову становилось весело и беззаботно. Чем плохо вот так по-простому, по-рабочему, без затей! Никаких тебе космополитов, никаких антипартийных группировок и примкнувших к ним Шепиловых, никакой борьбы за мир для прикрытия военных приготовлений, здесь все начистоту, без дураков. О деле не говорится, но под конец, когда третья бутылка опустела и

официант предупредил, мол, в двенадцать закрываем, Филимоныч сказал Валерке — напрямик, не таясь, не понижая голос:

— Так ты ему объясни, что к чему.

Филимоныча посадили в такси, сами потопали до недалней станции метро «Новослободская», и Валерка объяснял:

— Значит, так: ему с получки полсотенную, а он тебе обеспечит все как надо, сотни три-четыре будешь иметь, понял? — Для приличия добавил: — А мужик он ничего, а что шкуру дерет с нашего брата, так это он строится в Выковке, семья большая, понял?

Борис понял и не возражал. Да черт с ним со всем, думалось хмельной головой, строится человек, семья большая, отчего не поспособствовать. Мысль текла плавно и примирительно.

— Это что, система? — пришло в голову.

— Чего? — не понял Валерка.

— Система, говорю. Заведено так?

— А ты думал! Мы — Филимонычу, мастера — начальникам смен, а те, надо понимать, начальнику цеха. Это я так прикидываю, доказать ничего не докажешь.

— А парторг?

Борис вдруг вспомнил о своей принадлежности к руководящей и направляющей силе, и о том, что он до сих пор не снялся с учета в «Вестнике просвещения» и уже несколько месяцев не платил членские взносы. Исключат, подумалось без страха, скорее с облегчением.

— Чего? Парторг? Он первый же шкуродер, мастеров в другой смене.

— А профорг? — не унимался Борис.

— А профорг — это я, — заявил Валерка. — Ты, между прочим, давай, определяйся по профсоюзной части.

Ничего, это все временно, соображал Борис Комаров, на душе было светло и благонадежно. Я еще выкру-

чусь, а знать все как есть необходимо для опыта жизни... И только вдруг, непрошенно-негаданно, откуда-то из-под слежавшихся, спрессованных наслоений памяти, выскакивало оглушительно и ядовито линчуковское: «Не таких ломали!».

12.

Очнувшуюся от духовной спячки Москву обуяла страсть стихосложения. Из рук в руки переходили переписанные каким попало способом произведения неизвестных авторов — разного содержания, разного достоинства, сходные однако своей «непроходимостью», такое словечко было позаимствовано из медицинского лексикона для обозначения литературных творении, не имеющих шансов проникнуть в печать. Слух о каких-то полуполюгальных кружках, где молодые, никому не известные сочинители читали друг другу крамольные вирши, проникал и в рабочую молодежную среду.

Переболев неприятным осадком от приключения с французом и его опекунами, Борис Комаров стал все чаще вспоминать об Афониных. Но вернуться в кружок мешало теперь его новое состояние. Как объяснить его друзьям-интеллектуалам? Представить хождением в народ? Признаться, что опускается? Так и не собравшись с мыслями, повинясь непреодолимому влечению, он постучался однажды вечером в знакомую дверь, предварительно заглянув по пути на Рождественку.

Софья Николаевна встретила упреком:

— Боренька, где же вы пропадали? Фу, какой это гадости вы наглотались? Ох, простите, никаких претензий, входите, ради Бога, нам давно вас недостает!

Борис стал снова бывать у Афониных, сидел смиренно, говорил мало, все больше только слушал, но постепенно оттаивал душой.

Стихами здесь пока не грешили, но как-то в разгар сумбурных словопрений Костя вынул из кармана затертый листок, положил перед собой, взял гитару и попросил почтенную публику о внимании. С прирожденным артистизмом, свойственным этому семейству, он исполнил положенную на музыку похвальбу некоего карманника, который, оказавшись где-то за морем, «кошельков по двести на день доставал одной рукой».

«...Турки думали-гадали, догадаться не могли, и собрались всем шалманом, к шаху с жалобой пошли. Шах послушал, рассердился, и сказал им, дураки, запирайте вы карманы на всяческие замки».

Песенка понравилась, «всяческие замки» вошли в обиход. Дальше — больше, однажды Оксана принесла текст, изъятый педагогами у старшеклассников. Прочитав, Костя воодушевился:

— Это требует музыкального воплощения! — заявил он, схватил гитару и стал ладить мотив, схожий с «Бродягой», бредущим по степям Забайкалья. Костя умел слегка переиначить мелодии, как это делают ухватистые композиторы, выдавая потом подправленные не в лучшую сторону общеизвестные напевы за оригинальное сочинение.

— Называется

«Преступление и наказание. Шпаргалка».

В капиталистическом мире
В эпоху прибавочных рент
Ютился на частной квартире
Раскольников, нищий студент.

Хоть был он сложением хрупок
И шибко недужил нутром,
Свершил аморальный поступок:
Старушку убил топором.

Но тут началась его пытка:
Он знал, что расплата близка,
Хотя и смотался он прытко
И даже не взял кошелька.

Пугался он каждого стука
И совесть заела его.
А что это, братцы, за штука,
То надо спросить у него.

К бутылке спасительной винной
Пристрастия он не питал...
Вот так он явился с повинной
И вскорости срок схлопотал.

Короче, скатился с катушек...
Как те времена далеки!
На наших советских старушек
Никто не поднимет руки.

Трам-трам! — тренькнул заключительный ак-
корд.

Посмеялись.

— Ценное пособие, — заметил Никита Кулемии.

— Вполне в духе времени, — добавил Григорий.

— Дай переписать, — потребовал неожиданно ма-
тематик Гарвард, обнаруживая вкус к пародиям.

— А тебе зачем? — возразила Оксана. — Я тебе
лучше поэму раздобуду о параллельных прямых по Ло-
бачевскому.

— Кончайте препираться, — сказал Костя. — Ис-
полнитель ждет не дождется овец.

— И так хорошо, — буркнул Гарвард. В моменты
всеобщего веселья он напускал на себя суровость, ибо
презирал единение в экзальтации, свойственное толпе.

— А все же? — настаивал Костя.

— Ну уж похлопаем, что ли, — поддержал игру

Борис Комаров, привыкающий к роли ведомого, и все по его почину лениво забили в ладоши.

— В таком случае, — незамедлительно отреагировал Костя, — на бис исполняется «Жалоба забулдыги». Музыка народная, слова еще народнее, исполнение — народнее некуда.

Подстроив гитару, он хриловатым голосом на мотив, едва отличающийся от предыдущей «Шпаргалки», пропел:

Навари мне, хозяйка, компоту,
Чтоб стоял он, в стаканы налит,
Мне ведь завтра с утра на работу,
А башка после пьянки болит.

Мне бы пить перестать постараться,
Знаю, водка здоровью вредит,
На журнал «Новый мир» подписаться
И купить радиолу в кредит.

Да подписку не примут на почте,
Скажут, рылом не вышел в лимит,
Значит надо чего-то попроще,
Пусть уж прежняя слава гремит.

Значит, надо за старые трюки,
Голь на выдумку больно хитра,
Загоню я парадные брюки
И к дружкам закачусь до утра.
Иль махнем с корешком после смены

В тот шалман, где играет баян,
Расскажу про порочные гены —
Он понятлив, покуда не пьян.

Нас потом каруселью закружит,
Нету удержу, как поведет.

А буфетчик живет и не тужит,
И червонцы в заначку кладет.

И глядишь, уж чирикают птички
Про шальные мои антраша,
Клеет кодла зазорные клички
Прожигателя и алкаша.

Так налей мне, хозяйка, компоту,
Чтоб стоял он, в стаканы налит,
Мне ведь завтра с утра на работу,
А башка после пьянки болит.

Борис хмурился. Ему казалось, что Костя подразумевает именно его. И хотя едва ли кто-нибудь знал о его нынешнем образе жизни, и жил он теперь вовсе не у хозяйки, а в заводском общежитии, по сути стрелы попадали в цель. Но он безропотно терпел.

Увлечение стихами продолжалось. Стихи всплывали из глубин памяти, какие-то старые-престарые записные книжки извлекались на свет божий, там хранились переписанные чьей-то трепетной рукой творения забытых кумиров — Семена Надсона, Николая Гумилева, Зинаиды Гиппиус, Саши Черного... Читали по памяти и угадывали, чье... Приносили редкие удачи из современной поэзии, напечатанные в «Новом мире». Однажды Оксана торжественно извлекла из своего школьного портфеля невесть каким образом раздобытую, только что вышедшую из книжной торговли тонкую книжицу доселе опального Леонида Мартынова. Читали взахлеб и поражались смелости автора, которая состояла в том, что на всех ста страницах не нашлось ни одного стиха с клятвами верности делу партии и т. п. В неясных аллегориях старались угадать намек на какие-то жизненные явления и даже на определенных лиц. Слова «Но чего бы это ради, ярче керосина воспылала в мокрой пади старая осина» толковали как камень в огород

то-ли Жданова, то-ли самого Хрущева.

Но у Кости Афонина, ревностного поклонника родной природы, это иносказание вызывало полемический зуд, и на следующей встрече он неожиданно для всех выступил со стихотворным ответом высокомерному маэстро.

— Будет целая серия, — объявил он. — «Стихи о деревьях».

И прочел:

Осина

Леса — раздолье для поэта.
Писали про сосну и бук.
Береза многими воспета,
Но мне — осина лучший друг.

Иду направо и налево —
Осинки с ветром говорят!
Скромнейшее из скромных древо,
Как мил мне твой простой наряд!

Ты никогда не входишь в моду,
Но все ж, по мнению моему,
Осина ближе всех к народу,
Есть доказательства тому.

Не зря же песня озорная
Про бедолагу мужика
Тебя, осина, поминает,
Что истинно ему близка.

А паразитов, что бывало,
Не в снос уж были мужику,
Их вешали не где попало,
А на осиновом суку.

И очень зря перед народом
Хороший в сущности поэт
Тебя обидел мимоходом,
Сострив про твой осенний цвет.

Но не горюй, моя осина!
Эстетства тонкого вельмож
Поглотит времени трясины,
А ты их всех переживешь.

Впоследствии эта рубрика пополнилась лишь одним стихом:

Дуб

Кого мы сравниваем с дубом?
Кто крепок и широк в кости
И у кого под пышным чубом
Немного можно наскрести.

Бывает, что о персонаже,
Который беспросветно глуп,
Мы говорим, не в шутку даже:
Помилуйте, ведь это дуб!

Зачем же оскорблять так грубо
Дубину? Дуб-то здесь причем?
Вот разве долговечность дуба
К разгадке может стать ключом?

Это произведение восторгов не вызвало, и по своему чисто русскому обыкновению начинать больше, чем под силу, сделать, и ничего не доводить до конца, к этой рубрике Костя больше не возвращался. Но его почин возымел далеко идущие последствия. «Прихожане», так называли друг друга члены афонинского кружка, перестали таиться, и обнаружилось, что почти каждый

из них грешил стихосложением. Постепенно от чужих стихов перешли к чтению своих собственных. Заводилой, как почти во всем, выступал неутомимый Костя.

— Бывалоча, в молодости, начинал он очередной сеанс, и я баловался стишками. Вот ежели позволите:

Происхождение человека

Человек произошел от обезьяны.
А про бога, это все баланда!
От нее, хвостатой, все изьяны,
От нее ж обратно и таланты.

Это уж после всякие пророки
Стали объяснять, да только где им!
Вот от них и всякие заскоки,
Вот от них и всякие идеи!

А которых заморочили пророки,
Те пошли трубить, во что горазды,
От того и всякие пороки,
От того и всякие маразмы.
А потом глядят, что дело дрянно,
И давай назад. Одно отратно:
Человек произошел от обезьяны?
Так ему недолго и обратно.

— Мура, — оценил Гарвард. — Что ты хотел этим сказать?

— В отличие от математических функций, функция поэзии в том и состоит, чтобы каждый мог извлечь из нее то, чего жаждает душа, — пояснил Костя.

— Интересно, — сказал Гарвард и стал ощупывать себя, заглядывать за отвороты пиджака и шарить по внутренним карманам, так он обозначал поиски названного Костей предмета.

— Ну уж твоих-то опусов никакая душа не жаждет,

— авторитетно заключила Оксана. Учительская авторитетность у нее, как у большинства коллег, стала ее второй натурой.

Никто не выступил на защиту Кости, намек на регресс в направлении обезьяньего прошлого казался лично оскорбительным, и лишь Борис Комаров молча посочувствовал непризнанному поэту.

— Ладно, так и быть, останавливаю конвейер, больше вы не услышите моих паршивых произведений, — сыграл в обиженного Костя. — А кстати, Григ, доведи до общего сведения тог новый анекдот, который рассказывают у вас в издательстве.

Григорий Чугунов, неистошимый кладезь литературных анекдотов, не заставил себя просить.

— Значит, так. В Тбилиси отмечают юбилей. Прибыли представители со всех концов, и за праздничным столом каждый славит местного корифея. Тамада предоставляет слово очередному поздравителю: а теперь послушаем уважаемого критика и литературоведа, товарища Лифшица, который в своих высокоидейных произведениях блестяще обосновал преимущества метода социалистического реализма... Щуплый, бледный ленинградец, тронутый похвалой, лопочет: прошу извинить, я не могу достойно ответить уважаемому тамаде, так как я, к сожалению, не читал его произведений... Тамада — бац кулаком по столу: а ты думаешь, я читал твои паршивые произведения? За столом вести себя не умеешь!

При упоминании стола Софья Николаевна спохватилась: Божечки, они уже пригорают! — и бросилась на кухню.

По квартире распространялся запах поджаривающихся рыбных котлет.

Подкрепившись и размагнитившись за бутылкой «Хванчары» или «Карданахи», возобновляли чтение стихов. Стихи писали не затем, чтобы их публиковать, и

без намерения выйти в профессионалы, а больше из озорства и в пику тому, что печаталось и пелось. Не читали своих стихов математик Гарвард и литературовед Кулемин. Гарвард считал поэзию делом несерьезным и недостойным настоящего мужчины, а Кулемин признавал в литературе только высокий профессионализм, а всякую любительщину принимал со снисходительной усмешкой. Но когда угадывался какой-то признак таланта, он настораживался. Косте он подал идею:

— А не податься ли тебе в Институт изящной словесности?

— Это где на гениев учат?

Осмелев после малой дозы спиртного, подавал голос Борис Комаров:

— Учись, мой сын, наука сокращает нам дни и без того быстротекущей жизни.

— Сам придумал, или попугайничаешь? — выяснял Гарвард.

— Сам, вернее, вдвоем с Пушкиным Александр Сергеевичем.

— А что ты можешь без его участия? Что-то ты не выступаешь, а только ерзаешь, снедаемый нерешительностью.

— Ладно, попробую, — соглашался Борис.

— Вот это так сенсация! — изрек Костя.

— Здесь кого хочешь совратят, — сказал Гарвард.

— Дуй, Боря, не робей.

— Да, так вот... Должен пояснить: у моей бывшей квартирной хозяйки есть внучка. Когда ее приводили в гости, хозяйка ее усиленно угощала. Чем и навеяно следующее:

Ритатушки

Кушай, детка, кушай ватрушки!

Знаешь, как мошек глотают лягушки?

Как лягушат поглощают ужи

И как ежат поедают ужи?
И как ежат жрут когтистые птицы,
И как птенцов поедают лисицы?
И как лисиц убивают на шкуры,
Чтобы носили их сытые дуры?
Добрые дети съели теленка.
Волки голодные съели ребенка.
Знаешь, как люди прикончили волка?
И как отца предала комсомолка?
Как комсомолку распяли фашисты.
И как повесили их коммунисты?
Что ты, малышка? Кушай ватрушки!
Ритатушеньки, ритатушки...

Пауза продолжалась необычно долго.

— Н-да, — сказал Кулемии.

Софья Николаевна спросила сочувственно:

— Боря, у вас депрессия?

— Вроде того, — подтвердил Комаров.

— Мрачновато, — отметил Гарвард.

Хмурое недоумение повисло в воздухе, как будто сели не в тот трамвай и приехали не туда.

— Он возле Ваганьковского кладбища живет, — сказал Чугунов.

— Боря, смените квартиру, — сказала Люся.

Не хотелось расходиться с таким настроением, хотя час был уже поздний.

— Кто бы выдал чего-нибудь веселенького, — сказала Оксане.

— Ну, кто же, если не я, — назвался добровольцем Костя. — Только чур, чтоб все подпевали!

Взяв гитару, он объявил:

**Баллада об уплате членских взносов
из оперетты
«У любви, как у пташки крылья».**

Пускай мы различны, кто с Волги, кто с
Лены,

Тот черный, а этот блондин.
Мы прежде всего профсоюзные члены,
И платим мы все, как один —

— А теперь все вместе! — скомандовал он:

Взнос мой членский, профсоюзный,
О тебе мы песню поем!
Так выпьем же, братцы, заздравную чарку
За нашу, за — эх, профсоюзную марку,
Выпьем, и снова нальем!

Все уловили сходство с популярными «песнями советских композиторов». А Костя продолжал:

Не раз я от жажды страдал в Каракумах,
В тайге отмораживал нос,
Но всюду вносил надлежащую сумму
С коротким названием взнос.

— Хор! — командовал солист, и все подхватывали припев.

Когда-то и я был беспечен настолько,
Что промах не сделал едва:
В девицу влюбился — и даже не только...
Ее не узнав существа. (Хор).

Мы в загс уж собрались бежать без
оглядки,
Но тут я опомнился: нет!
Проверь-ка сначала, а в должном порядке
Ее профсоюзный билет? (Хор).

И что ж я нашел в профбилете Анюты!

Как вспомню, хоть снова красней:
Она не платила с той самой минуты,
Как мы познакомились с ней! (Хор).

Я выводы сделал — а как же иначе?
Раз надо — не дрогнет рука!
А сам расписался с владелицей дачи
И вот не жалею пока! (Хор).

И пусть я состарюсь, пускай заболею,
Инфаркт поразит меня пусть,
Свой взнос уплативши, я марку наклею
И только потом уж загнусь.

Все:

Взнос мой, членский, профсоюзный,
О тебе мы песню поем!
Так выпьем же, братцы, задравную чарку
За нашу, за — эх, профсоюзную марку,
Выпьем, и снова нальем.

Поиздевавшись таким образом над идеологическими влияниями, преподносимыми с эстрад, по радиоволнам и на граммофонных пластинках, кружковцы шли по домам не столько повеселев, сколько с ощущением горькой оскомины.

13.

«Зима! Крестьянин, торжествуя, на дровнях обновляет путь...». Эта литературная ассоциация преследовала Филиппа Глаголева на всем знаменательном отрезке времени от января до марта пятьдесят шестого года. Посреди широкозахватной эйфории он сохранял хладнокровие. Он слишком хорошо знал, кто есть кто,

чтобы предаваться иллюзиям. Ассоциация пришла непроизвольно, однако, подумав, он решил, что именно крестьянин и именно на дровнях — как раз подходящий образ для нынешнего обвинителя, развенчавшего «культ личности» на закрытом заседании XX съезда партии.

Жизнь научила Глаголева трезво оценивать ситуации, не поддаваться первым впечатлениям и не лезть в воду, не зная броду. В родственном издании — выражение «родственное издание» имело для него двоякий смысл, ибо, в том популярном среди интеллигенции журнале, в секретариате, работала его жена, — там уже извлекали из архива давно пылящиеся рукописи, ранее немыслимые для опубликования, а ныне, казалось, дождавшиеся своего часа. Эренбургская «Оттепель» стала пройденным этапом, в литературных кругах, как всегда неоднородных, склоняли — в весьма различных падежах — имена Дудинцева, Бека, Гроссмана, Овечкина и Назыма Хикмета. Но Филипп Глаголев помнил с детства, что поспешность нужна лишь при ловле блох. Впрочем, и само родственное издание не пускалось вскачь, закусив удила: соблюдало пропорцию. В февральской тетрадке появилось вполне выдержанное стихотворение поэта-фронтовика во славу одумавшейся партии, а в апрельской — прогрессивные, в меру критичные, хотя и малосодержательные «Записки секретаря райкома». Начав читать (для ориентировки), Филипп с первых строк понял, что никаких записок секретарь сроду не вел. Дело было рутинное: по поручению главного редактора поехал сотрудник — не куда глаза глядят, а по адресу, согласованному с цека, и «организовал», то есть настрочил, что следовало, от имени указанного ему благонадежного деятеля, переговорив с ним для проформы и выкачав из него кое-какие подробности, потом дал что получилось ему на подпись. А в майском номере молодой, подающий большие надежды поэт выступил на первой странице с оптимистиче-

ским стихотворением под многозначным заглавием «Дорога».

«Стяг» был еще усерднее в прославлении нового курса, но не забегал вперед, Филипп Глаголев на планерках занимал умеренную позицию, а лично сам продолжал концентрироваться на теоретических основах социалистического реализма.

Не одна лишь трезвая оценка «текущего момента» направляла его по пути умеренности и осмотрительности. Личные обстоятельства тоже предостерегали от неосторожных шагов.

Как-то за поздним вечерним чаем — этот вечерний чай, когда Катенька уходила в свою комнатку и ложилась спать, был для четы Глаголевых минутой отдохновения и безмятежности — Тамара, весь вечер какая-то необычно молчаливая, вдруг расплакалась и убежала в спальню. Филипп поспешил за нею, присел на край кровати. Упав лицом в подушку, Тамара заливалась слезами. Он положил руку на ее вздрагивающее плечо, потянул на себя, она сопротивлялась. Он был в полном недоумении. Тамара никогда прежде не проявляла себя таким странным образом, он за все годы совместной жизни впервые видел ее в слезах.

— Томочка, что с тобой?

Она лишь пуще рыдала, крутила головой, оставляя на наволочке следы от поплывших ресниц. Филипп вернулся в кухню, нашел в аптечном шкафчике пузырек с валерьянкой, накапал в бокальчик, разбавил водой. Она послушно выпила, села, поджав ноги, посмотрела на мужа мокрыми виноватыми глазами.

— Что с тобой, Томочка? — повторил он.

Она упала лицом на его плечи и опять заплакала, теперь уже тихо, умиротворенно.

— Что случилось?

— Ах, не спрашивай. Ничего серьезного. — Так, бабьи страхи. Давай сегодня не будем об этом.

Говорить об этом со всей откровенностью было

вообще немислимо, ни сегодня, ни завтра, Но невозможно было и вовсе молчать. Требовалось сообразить, в каком объеме и в какой тональности открыть ему то главное, что имело значение сейчас...

Вечером того дня, когда газеты опубликовали Резолюцию XX съезда партии по отчетному докладу ЦК, Тамару Глаголеву, спускавшуюся последней из сотрудников редакции по длинной пологой лестнице, внизу поджидали два молодых человека.

— Тамара Николаевна? Здравствуйте. Мы от товарища Зимины.

Она опешила. Хотела что-то сказать и замерла с открытым ртом.

— Может быть, пройдемте вот сюда, — продолжал молодой человек, по-видимому старший, указав на дверь комнаты, принадлежащей завхозу.

— Присядем, Тамара Николаевна. Товарищ Зимин передает вам привет.

— Не знаю я никакого товарища Зимины! И знать не желаю! — выкрикнула Тамара, не успев подумать: удар был неожиданным.

— Ну-ну, Тамара Николаевна! Товарищ Зимин не из тех, кого легко забывают. И он вас прекрасно помнит. Он еще просил передать вам, что готов оказать материальную помощь. Кстати, как поживает девочка, просил он узнать.

Негодование, стыд, отвращение к посторонним людям, нагло вторгающимся в самые глубокие тайники ее личной жизни, испуг перед возможными последствиями, неизвестно какими, но определенно дурными, — все это соединилось в один ледяной ком, который раздавил, смял, уничтожил ее обычное самообладание. Нервная дрожь сотрясала все тело.

— Какая гнусность! — только и смогла выговорить она.

— Давайте не будем нервничать, Тамара Николаевна, — сказал тот, который постарше. Более вырази-

тельных примет этих двух она не замечала, они были почти одинаково одеты, почти одинакового роста и сложения, одинаково сдержаны, сухи и корректны. — Никто не собирается причинить вам никакого зла. Товарищу Зимину известны ваши жизненные обстоятельства, и он не намерен ничем вам вредить, наоборот: вы можете рассчитывать на любую поддержку с нашей стороны.

За годы после войны она основательно отключилась от своего прошлого. Мужу она не рассказывала лишнего, а Филипп был достаточно деликатен, чтобы не допытываться до интимных подробностей. Его вполне устраивало объяснение, что ее несостоявшийся супруг погиб на фронте. А что касалось военной должности, то поскольку как-то раз Тамара упомянула, что пошла на фронт санинструктором, так она и осталась для него спасительницей солдатских жизней, дальнейшее же было настолько очевидно — сюжет многочисленных очерков и даже романов, — что расспрашивать поистине было излишне.

— Что вам от меня нужно? — сказала она, немного овладев собой. — И вообще, кто вы такие?

Молодые люди достали красные книжечки, раскрыли, она не стала их рассматривать, она не сомневалась, что они «оттуда», стиль поведения был ей хорошо знаком.

— Тамара Николаевна, не надо обострять. Мы просто хотели, по поручению Геннадия Васильевича, осведомиться о вашем здоровье.

Тянет резину, сволочь, подумала Тамара. А вслух сказала:

— Ладно, давайте к делу.

— К делу, так к делу, — сказал старший. — Исходим из того, что вы наш человек и никаких дополнительных разъяснений не нужно. А конкретно следующее. Нам известно, что в литературных кругах, в которых вы вращаетесь, встречаются лица, нелояльно отно-

сящиеся к политике партии и советского правительства. Не надо возмущаться, Тамара Николаевна, вы сами отлично знаете, что это так. Естественно, нам хотелось бы быть поточнее информированными о настроениях в различных слоях общества. И также, разумеется, у отдельных лиц, носителей и распространителей тех или иных нездоровых тенденций. Надеюсь, мы хорошо понимаем друг друга, Тамара Николаевна? Чего мы ждем от вас? Так вот, вы же постоянно возвращаетесь среди лиц, которые могут представлять для нас интерес. Что вам стоит фиксировать отдельные высказывания...

— Хватит! — сказала Тамара. — Убирайтесь! Не на ту напали!

— Напрасно вы так, Тамара Николаевна...

Да, действительно, напрасно. Обиделся не в шутку... Такая служба! Может быть и он, этот благообразный молодой человек, придя домой в поздний час, налив себе стопку, станет под раздраженное молчание жены в жалостных и туманных выражениях проклинать свою собачью должность...

— ... Вы же знаете, что мы теперь не те, что были когда-то, со старым покончено, невинных людей мы не преследуем, но быть в курсе всех процессов в обществе и всех настроений мы обязаны. А вам, Тамара Николаевна, грешно было бы отказывать нам в такой пустяковой услуге, не требующей от вас никаких дополнительных усилий. Ведь это так просто, здесь в редакции бывает много людей, ведутся всякие разговоры, и у вашего мужа широкий круг общения...

Интеллигентен, гад! Выражается изысканно, подумала Тамара.

— Напрасно тратите красноречие, товарищ, как вас там... Ничего я для вас делать не буду.

— Ох, трудно с вами, Тамара Николаевна. Неужели вы хотите, чтобы мы вовлекли в этот разговор также и вашего мужа?

Гады, ах, гады! Она пошатнулась и зажмурилась

глаза.

— Не переживайте, Тамара Николаевна. Можно ведь обойтись без крайних мер. Я хочу сказать, без лишних неприятностей. Так как?

— Ничего для вас делать не стану.

— Делать ничего и не надо, просто время от времени будем встречаться. Желательно, конечно, получать от вас письменные сообщения, но мы понимаем, что вам трудно так сразу... Вы подумайте. Пока мы удовлетворимся устными сообщениями.

— Уходите, — едва выговорила она.

— До свидания, Тамара Николаевна, Вы подумайте, а мы еще дадим о себе знать. Что передать Геннадию Васильевичу?

— Идите к черту!..

Они ушли, а она еще долго сидела на старом скрипучем стуле с вытертой обивкой, как будто придавленная свалившимся на нее грузом.

Она дала себе три дня на размышление. Постаралась трезво оценить ситуацию. Конечно, они не отвяжутся. Конечно, стоит ей отказаться, и Филиппу будут доложены — каким уж способом и через кого, этому их учить не надо — все подробности ее прежней жизни.

Есть люди, зараженные бациллой недовольства. Даже в самых благоприятных обстоятельствах они находят повод для жалоб на свою судьбу. Есть, напротив, такие, которым природная сопротивляемость позволяет активно преодолевать подлинные несчастья, выкарабкиваться из самых глубоких пропастей, применяясь к обстоятельствам, но при этом не теряя себя. К такому типу принадлежала Тамара Белоусенко-Глаголева.

— Филя, ты меня любишь?

Произнеся эту банальную фразу, эксплуатируемую в супружеском быту с самым различным подтекстом, Тамара посмотрела ему прямо в глаза таким про-

низывающим взглядом, что ему стало как-то не по себе. Прошло три дня после ее истерического припадка, и они снова сидели за вечерним чаем в своей тесной, заставленной дефицитным инвентарем кухонке. Тихо и музыкально журчал холодильник «Минск», новинка домашнего благополучия, па газовой плите алюминиевый никелированный чайник посвистывал через сигнальный носик.

— Странный вопрос на тридцатом году совместной жизни, — улыбнулся Филипп. — Тебе нужны доказательства? На норковую шубку я пока не потяну.

— Нет, Филя, это серьезно. Любишь ли ты меня настолько, чтобы перенести... чтобы разделить со мной... не знаю, как сказать.

Филипп положил свою ладонь на ее белую породистую кисть, беспокойно двигающуюся по пластмассовой, под мрамор, поверхности стола.

— Говори. Я пойму.

Тамара подлила себе в любимую чашку с розочками и ему в тонкий стакан с серебряным подстаканником одной заварки, оба любили крепкий чай.

— Ко мне пристают. Нет, нет, не ухажеры. Они пристают, те...

— С Лубянки?

— Они.

— Что им нужно? Вспомнили обо мне? Выясняют, достаточно ли я осознал?

— Нет, кажется, дело не в этом. А может быть и в этом. Кто их поймет.

Филипп задумался на минуту.

— Эх, Томочка, промахнулась ты с выбором спутника жизни!

— Не говори глупости, тебе это не идет.

— Так чего же все-таки они от тебя хотят?

— Информации. Из литературной среды.

— А ты не можешь послать их подальше?

— Пробовала. Они прилипчивы, как банный лист.

- Ждешь от меня совета?
- Просто информирую.
- И что ты решила?

Ничего ошеломляющего в сообщении жены Филипп Глаголев не находил. Скорее, находил все происшедшее в порядке вещей. К этому порядку можно было приспособиться, при этом даже не очень роняя свое человеческое достоинство, так считал он. «Вместе со всем советским народом», было его любимое выражение, которым он обычно отвечал на вопрос «как поживаете».

«Знает только ночь глубокая, как поладили они», — так подытожил переживания этого дня Филипп Глаголев, у которого на любой случай жизни была наготове литературная цитата. Но они, действительно, поладили, и наутро от угнетенного состояния Тамары не осталось и следа.

14.

Геннадий Васильевич Зимин любил подводить итоги. Это было приятное занятие, ибо достиг он, действительно, многого. Вот он уже генерал, заместитель начальника отдела в одном из ведущих Управлений, получил уже вторую квартиру в Москве, да такую, что и во сне не снилась воронежскому лейтенанту госбезопасности. Дети пристроены — старший, окончив соответствующее учебное заведение, назначен на хорошую должность в посольстве одной из богатейших капстран, чему немало способствовала безупречная биография родителя; младший пошел по технической линии, с детства любил возиться с железками, теперь заканчивает Бауманский по весьма перспективному профилю. Сам здоров и бодр, отпуска проводит на Черном море, в закрытом санатории, не уступающем по комфорту виллам господ капиталистов средней руки. Да, все сложилось

так, как хотелось, но...

Когда служил в Германии, кто-то ему сказал — он уже не помнил кто, кажется Линчук, тот умел подхватывать всякие заграничные идейки, — что разница в возрасте между супругами должна равняться семи-восьми годам, разумеется, при старшинстве мужчины. Он же по молодости, по неопытности, женился двадцатилетним юнцом, главным образом из идейных соображений, на многоопытной комсомолке-активистке, которая была на четыре года старше его. Со временем, по мере его восхождения по служебной лестнице, Полина Григорьевна стала отвыкать от своей руководящей роли в семейных отношениях, но несоответствие возрастных особенностей давало себя знать все больше и больше. И даже на курорте не удавалось разгуляться, так как по неписанным законам родного учреждения и в соответствии с уставом родной партии на курорт следовало ездить с женой, в доказательство своего непоколебимого морального уровня. Только на самых высших постах, где не только служба, но и быт был огражден непроницаемой завесой секретности, можно было позволить себе всякое, однако, чтобы пробыть на тот уровень, как раз и следовало придерживаться строгих правил.

Среди повседневной суеты, в редкие минуты покоя и расслабленности, генерал Зимин вспоминал былое. Было, было времячко! Живая оперативная работа, резвые, исполнительные подчиненные, дорожащие своим местом вдали от передовой, независимость от окружающего начальства — и юная, красивая, пусть не очень любящая, но по крайней мере покладистая подружка с благозвучным именем Тамара... Может быть зря он тогда порвал с ней так решительно, узнав, что родилась девочка? Где-то она теперь и что с ней? Разыскать, что-ли?

Генерал Зимин был по-своему добропорядочным. Можно было бы, наверное, завести кралю на стороне, и

случаи подворачивались соблазнительные, но не хватало решимости, одолевали сомнения, опасения, а в памяти возникала все та же несравнимой сладости ситуация: смоляной аромат обширной свежесрубленной землянки, дальние раскаты артонала, пьянящее ощущение власти над жизнью и смертью людей, а в сопредельной каморке юное, послушное, в любой момент доступное существо женского пола, к тому же сподвижница на трудном поприще борьбы с затаившимся врагом...

Реминисценции эти наплывали все навязчивей и требовательней, и приходила на ум популярная песенка: «с этим что-то делать надо, надо что-то предпринять». Эх, был бы Линчук под рукой, он бы что-нибудь придумал! Но Линчук сам уже стал генералом и ведал делами позначительней зиминских, к нему теперь не сунешься со своими заботами...

И тут мысли стали принимать новое направление. Все взаимосвязано в этом мире, служба и личные дела, личные дела и служба.

Учреждение билось над проблемой расширения агентурной сети. Новые условия затрудняли вербовку. Раньше хватало одного многозначительного намека, и добровольный помощник был готов к услугам. Теперь же многие старались отвертеться под любым предлогом, приходилось немало поработать с добровольцем: кому посулить вознаграждение, кому устроить продвижение по службе, кому пригрозить неприятностями...

Генерал Зимин поручил надежным сотрудникам разыскать некую Тамару Белоусенко, и задание было выполнено без промедления. Что дальше?! Удобный случай, чтобы привлечь к сотрудничеству! А там поглядим...

Доклады участников операции произвели на генерала непредусмотренное воздействие. Личный мотив отступил на задний план, и при дальнейшем рассуждении вовсе был отставлен. А впрочем... Неисповедимы пути твои, Господи!

Среда, в которой теперь вращалась Тамара Белоусенко, она же Глаголева, представляла особый интерес. Интеллектуалы гуманитарной сферы, по-новомодному «лирики», были как никто подвержены влиянию нездоровых настроений, а обращение с ними облегчалось тем, что за них некому было заступиться; другое дело технари, они же «физики», которых авторитетные военные и промышленные круги брали под защиту, разве что соглашались, и весьма охотно, на помещение неблагонадежных в закрытые объекты. Но это уже по другому ведомству.

Молодой человек стал назначать свидания. Второразрядная гостиница в начале Неглинной оказалась подходящим местом. Преодолевая отвращение, Тамара поднималась по узкой лестнице с перилами чугунного узорчатого литья — гостиница была старомодная, без лифта — на верхний, четвертый этаж, перманентно находящийся в ремонте. Ведро с остатками краски, громадные замаранные кисти, прислоненные к стене черенком вниз, ящики с мелом и с какими-то скверно пахнущими веществами загромождали коридор. Дверь в один из немногих исправных номеров была приотворена, что означало «вход свободен». Если же дверь оказывалась плотно закрытой, следовало уйти и вернуться через полчаса.

— Рад вас видеть, — говорил молодой человек. — Присаживайтесь, Тамара Николаевна.

Она пересказывала газетные новости и невинные сплетни, гуляющие по Москве. Он делал заинтересованный вид, и казалось, что оба довольны друг другом. Так продолжалось месяц- другой... Очередная встреча была назначена на необычный утренний час, «чтобы не нарушить ваш трудовой ритм», пояснил молодой человек по телефону, и эта оговорка, разумеется фальшивая, насторожила Тамару. Около девяти часов Тамара вышла из метро на площади Свердлова, прошла порталом Большого, скользнув взглядом по его колоннам, в кото-

рый раз дивясь их массивности, миновала Малый, оглянувшись на Островского, притихшего в задумчивости о свойствах человеческой натуры...

Молодой человек был сегодня сверх обычного любезен, а кабинет, сиречь гостиничный номер, изменился до неузнаваемости: исчезла деревянная кровать с высокой поцарапанной спинкой, покрытая зеленоватым вигоньевым одеялом, вместо нее появился новенький диванчик с дугообразной спинкой, и вместо шаткого однотумбового столика, стоявшего боком к единственному окну, теперь спиной к нему, занимая чуть ли не все поперечное пространство, стоял солидный письменный стол, поблескивающий светло-коричневым лаком, а само окно было завешено новенькой, фигурно подобранной по бокам портьерой с коричневыми кисточками.

— Одну минуточку, — сказал молодой человек. — Посидите пока. Он указал на новый диван.

Минуточка продолжалась довольно долго. Что они затеяли недоумевала Тамара. Впрочем, она особенно не беспокоилась, уже выработалось безразличие к их потугам, не отличающимся особой изобретательностью.

На сей раз она в них крупно ошиблась. В коридоре слышались шаги, звук которых показался ей странно знакомым, дверь бесшумно отворилась и быстро хлопнулась за вошедшим. Им оказался, одетый в штатское, сидящее на нем как на деревянном манекене, не кто иной как Геннадий Васильевич Зимин.

Тамара отшатнулась в испуге, отсела на дальний конец диванчика.

— Ну, здравствуй, Томочка, давно не виделись, — произнес Зимин каким-то не своим голосом.

Черт возьми, а может быть, двойник, подумалось Тамаре. С этой мыслью она сразу взяла себя в руки. Другой человек, сообразила она, пусть он хоть сто раз тот же самый фронтной Геннадий. Он другой — и я другая!

— Вот так сюрприз! — сказала она. — Что это ты надумал?

Зимин постоял перед ней — получалось как бы над ней, потому что она продолжала сидеть неподвижно в своем углу дивана. Его руки совершали мелкие произвольные движения, стремясь протянуться к ней и затормаживаясь в отсутствии встречного порыва. Постояв так и ничего не выстояв, Зимин резко повернулся и отошел к столу. Усевшись в руководящей позе, он как бы перечеркнул свою попытку установить атмосферу интимности и перешел на служебные рельсы.

— Так, может быть, прикажете на «вы»? — спросил он не без ехидства.

— Почему бы и нет, — отпарировала Тамара.

Она не испытывала никакой робости перед этим по всей видимости высоким чином, наоборот, ощущала даже в какой-то мере свою власть над ним. Впрочем, с этим иллюзорным ощущением ей вскоре же пришлось расстаться. Ибо, перейдя на казенный тон, Зимин осознал себя хозяином положения. Он понял, что возврата к прежним отношениям не получится, и это освободило его от двойственности, сковывавшей поначалу. Он уже начал сожалеть, что вместо мелких сошек лично ввязался в игру, но продолжал убеждать себя в том, что важность нащупанных контактов оправдывает такое отступление от заведенного порядка. К тому же Тамара Белоусенко знала его давно, так что никакого ненужного раскрытия не происходило.

— Хорошо, Тамара Николаевна, перейдем на официальность.

В манере выразиться он не продвинулся вперед, канцелярская неуклюжесть речи — неотъемлемое свойство высокопоставленных бюрократов, подумала Тамара. Отметив свою способность к таким наблюдениям, она предметно осознала, как далеко она ушла от той незрелой девицы, которая выстукивала на машинке протоколы допросов и донесения в высшую инстанцию.

А во внешности его произошли заметные изменения, определила она женской половиной своей натуры. Обрюзг, несвежая кожа вокруг глаз, серебряные нити в густой черной шевелюре. Наверное, ему уже под пятьдесят.

Зимин тоже не мог не заметить, как изменилась Тамара. Не наружностью, нет. Как раз и лицом, и фигурой она очень мало отличалась от той обворожительной девчонки, которую военные вихри забросили холодной осенью сорок первого года в расположение Н-ской дивизии. Перемена была иного свойства. Куда девалась робость и податливость, откуда взялась эта гордая, независимая стать, даже с оттенком высокомерия? Не иначе, как передалась от муженька. Да, Филипп Глаголев был у них известен. Птица высокого полета. Но с пятном на биографии, смытом только отчасти — и не для них! Неясно, каков он сейчас. Надо бы заняться вплотную этим «объектом», но пока нет разработки, как к нему подступиться. Притом, было указание: не трогать! Кто-то там наверху раскрыл над ним защитный зонтик. Ладно, проживем — увидим.

— Мои сотрудники объясняли вам, какой информации мы от вас ожидаем.

— Девочку зовут Катей. Она ходит в четвертый класс.

Зимин вздрогнул. Молча сидел минуту-другую. Она сумела повернуть его оружие против него самого!

— Тамара, — выдал он наконец. — Может быть ты считаешь меня негодяем. Но ты должна понимать, в каких условиях...

— Нет-нет, ничего, Геннадий Васильевич, продолжайте, это я так, к слову.

— Пойми мое положение!.. Если нужна какая-нибудь помощь, скажи только...

— Ничего не надо. Вам же известны мои обстоятельства.

— Н-да... Вы, однако, пообтерлись в столице!

— Да уж... Давайте к делу.

Ч-черт, кто здесь кем командует, подумалось Зину. Совсем непривычная ситуация!

— Ну, хорошо. Чисто по-деловому. Так вот, в журналы — и ваш, и вашего супруга — попадают всякие... произведения. Нам хотелось бы знать об их содержании до того, как они — не то что появятся в печати, а станут обсуждаться в более или менее широких кругах. Или, как это уже наблюдалось, распространяться в списках. Вот такой именно информации мы от вас в первую очередь ожидаем.

— Рукописи ко мне не поступают. Моя работа уже на заключительном этапе: вычитка оригиналов, набор, верстка. Так что...

— Давайте не будем темнить, Тамара Николаевна. Что происходит в той или иной редакции, известно всем ее сотрудникам. А также в редакциях родственных изданий. И уж во всяком случае вы в курсе о делах в редакции вашего мужа. А туда, по нашим сведениям, тоже попадают некоторые сочинения недопустимого направления.

Тамаре надоело. Все одно и то же! Черт с ними, обещаю. Вот, повидалась с прежним миленком. Если бы предупредили, не пошла бы ни за что. А ему-то что было нужно? Не может быть, чтобы эти переговоры он не мог поручить своим гаврикам. Имел заднюю мысль? Надеялся чего-то добиться? Возврата к старому? Какие же они все-таки ограниченные люди!

15.

Никто из «прихожан» не активничал в той общественной жизни, которая разворачивалась по команде свыше, но все, что происходило в стране, так или иначе преломлялось в их сознании. Начиная с пятьдесят третьего года не стихала шумиха вокруг освоения целин-

ных и залежных земель. На площади трех вокзалов продолжали митинговать толпы трудящихся, гремели оркестры, присяжные пииты выкрикивали с трибун свежейиспеченные вирши. По принципу «кто не с нами, тот против нас» на поэтических тихонь навешивался ярлык аполитичности, и борьба с эстетством сменила навязшее в зубах бичевание космополизма и низкопоклонства.

— Будем объективны, — сказал Никита Кулемин. — Прав ли отвергающий без разбора все то, что угодно царям земным, потому лишь, что сие им угодно? Нынешние эстеты презирают конкретную поэзию. Соглашаться с ними, это значит перечеркнуть Некрасова.

— Еще они презирают передвижников за их фотографияльность, — добавил Григорий Чугунов. — При этом они пренебрегают тем историческим фактом, что фотография как искусство в девятнадцатом веке только-только зарождалась, главным образом пока еще в направлении портретирования. А у социально озабоченных художников была потребность запечатлеть действительность переломной эпохи. Отсюда их бытовые зарисовки.

— Говорит, как пишет, — заметил Гарвард.

— А пишет неважно, — дополнил Костя Афонин.

— Но ведь здравая мысль, — выступила на защиту зятя Софья Николаевна, постоянно пекущаяся о мире и согласии, и поискала глазами дочь, хмурившуюся в темном углу.

— Во всяком случае, годится для будущих ученых записок Академии празднословия имени К. Афонина, — съязвил Григорий. Он всех здесь слегка недолюбливал.

Открытые ссоры не возникали, но подспудное напряжение давало себя чувствовать. Что-то не ладилось в этой семье, замечал Борис Комаров, но глубже вникать не считал себя вправе. Когда представлялся случай, он мягким вторжением старался загасить назревающий конфликт. Он все еще был несколько ско-

ван, не ощущал себя равноправным, но, преодолевая робость, выносил на суд кружка свои стихотворные опыты. На очередной вечер Афоных он пришел с целым ворохом написанных когда-то стихов и совсем новых набросков.

— Можно мне сменить пластинку? — спросил он несмело.

— Валяй, Боря, не тушуйся, здесь все свои, — разрешил Костя по праву хозяина. — Прощу внимания.

К выступлениям Бориса Комарова относились с какой-то особой чуткостью, потому что замечали его скованность, не понимая ее причин.

Борис вынул наугад один из принесенных с собой листов, поколебался малость, найдя это первое попавшееся стихотворение не совсем подходящим, но постеснялся перебирать листки, злоупотребляя терпением слушателей, и прочел:

Смерть таракана

Как-то в предрассветной рани,
Угодив в стакан,
Утонул в какой-то дряни
Юный таракан.

Но никто не охнул даже,
Да скорей всего,
Не заметила пропажи
И родня его.

Лишь козявка горевала
В щели под столом,
Та, что нежилась, бывало,
Под его крылом.

Только вскоре, как ни странно,
Вновь она нашла —

У другого таракана —
Столько же тепла.

— Все? — спросил Никита Кулемин.

— Не смущайте ребенка, жестокий вы человек, — постыдила его Софья Николаевна.

Люся комкала платок.

— Да что уж тут, — покорно клялся Борис. — Конечно, это второсортное.

— А у тебя есть и первосортное? — не унимался Никита.

— Нету. Я сам второсортный.

Сурово, сурово, — покачал головой Никита. — Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин выражался мягче. О таких, как мы грешные, он говорил: «средний человек».

— Все-то они ссылаются на авторитеты, — скривился Григорий. — А свои мнения где?

— За свои мнения знаешь куда направляют? — буркнул Гарвард.

— И за чужие туда же, — добавил Борис.

— Ах, мальчишки, ну что вы какие-то занудливые! Придрались к Бореньке... Погодите, придет время, будет и первосортное.

— Хотя и не за нашими подписями...

— В смысле унавоживаем почву?

— «Погодите, детки, дайте только срок, будет вам и белка, будет и свисток», — продекламировал Костя стишок из дореволюционной хрестоматии. — Племя младое грядет, и так далее. Еще товарищ Блок предвещал, Александр Александрович.

— Он не предвещал, он здоровался, — поправила Оксана, задиравшая всех и каждого, не со зла разумеется, а из любви к искусству.

— И между прочим, обознался. А еще классик.

— Он не знал, что он классик.

— Такие вещи надо знать.

— Ты о себе, пожалуй, уже сделал такой вывод? —

ехидничал Кулемин.

— Насмешками бить изволите барин, — пожаловался Костя.

Так они пикировались, незлобно, для разминки.

— А можно мне еще? — осмелев, набивался Борис.

— Реабилитироваться хочу.

— Что ж, дело божеское, — разрешил Костя.

Это стихотворение, глубоко гнездящееся в душе, он читал по памяти, глядя в потолок.

Самовольная отлучка

Я ушел в самоволку —
 в закоулки далекого детства
Я брожу по холмам,
 зеленеющим травкой надежд.
Я взбираюсь на кручи
 моих сокрушительных бедствий
Я парю в облаках,
 резвой юности крылья надев.
Меня шмякает оземь
 свинцовая тяжесть познаний,
Я ползу по-пластунски
 по кровоточащим полям,
Я немножко убит,
 или, может быть, сильно изранен,
И вторично рожден
 в этот мир, преподнесенный нам.
Я шарахаюсь прочь
 от моторной истерики улиц
Я попал под колеса
 Машины времен! Но потом
Я за спицы схватился,
 верчусь, мчится бестия пульей,
Лупят роботы ядерных кляч
 электронным кнутом.
Голова закружилась,

душевного подъема.

Люся в своем углу задумчиво улыбалась внутрь себя.

Гарвард посматривал на всех с отстраненностью, скептически хмыкал и подергивал правой щекой.

Софья Николаевна оглядывала своих кружковцев с лаской во взоре.

Такие вот несходства наблюдались в афонинском кружке...

Под конец вечеринки, слегка захмелев, пели нестройным хором. Никита Кулемин, обладатель звучного тенора, иногда с артистизмом выступал соло, но и если лишь участвовал в хоре, то пел самозабвенно, с упоением, закрыв глаза и разгоняясь в фермато на последних нотах, вынуждая остальных приумолкнуть на время. Комаров подпевал вполголоса, как бы стесняясь участия в не своем деле. Гарвард пел очень сосредоточенно, стараясь не сбиться, но отчаянно фальшивил. Костя скоморошествовал, то и дело перепрыгивал на октаву, или переходил со второго голоса, в терцию, на первый и обратно. Когда пели особенно любимое всеми «Раскинулось море широко», Костя под конец добавлял в сольном исполнении под гитару:

Давайте же, братцы, преклоним главу
Пред тенью безвестного барда,
Который воистину, как наяву
Представил инфаркт миокарда.

Гарвард подергивал щекой:

— Испортил песню, дурак!

Костя не оставался в долгу:

— Плагиат!

Донесся уже и до дальних окраин слух о необыкновенном докладе, который прозвучал на съезде, но не попал в газеты. В райкомах секретарям «первичен», не всех подряд, а по выбору, выдавали под расписку красные тетрадоочки, их велено было зачитывать на закрытых партсобраниях, с предупреждением, чтобы «никто ничего». Но партийный человек — он ведь тоже человек, и чтобы держать рот на замке, такого не добиться было от него даже под страхом жесточайшей кары, вплоть до исключения. Таким образом, и дяде Ване, при всей его глубочайшей беспартийности, достались кое-какие крохи информации, сообщенной съезду новым вождем партии о своем усопшем предшественнике.

— Слышь, Константиныч, а этот, Сталин то, отец родной, он, говорят, вроде, был того... неправильный — как это? — продолжатель. Ему Ленин наказывал, чтобы добром, и народ не обижать, а он пересажал половину. И тебя заодно. А, чего молчишь?

— Все очень сложно, дядя Ваня. Мы многого не знаем.

— Вот и я что говорю. Кого не надо — сажали. Что ж теперь — кого надо сажать будут?

Не так-то уж был он прост, дядя Ваня, и Русланов это понимал, а его рассуждения в стиле простонародного райка доказывали лишь его презрение к возне где-то гам, наверху. Не верил дядя Ваня ни в мудрость прежнего вождя, ни в чистоту помыслов нынешнего. А Русланов делал свои выводы: если уж и в народной гуще пробуждается интерес к масштабным событиям, значит пробил час, когда честно мыслящие люди должны вернуться к общественной активности.

Реабилитация живых и мертвых, отмена режима ссылки для отбывших лагерный срок открывали возможность вернуться в столицу. Однако Русланова уже

не тянуло в Москву. Суета большого города стала противоречить его натуре, новым привычкам, приобретенным за годы, когда только самоуглубление помогало защититься от ранящих душу, подавляющих, разрушительных, убийственных внешних впечатлений. Он решил искать пристанища поближе к столице, за ее городской чертой, но в радиусе, освоенном электричкой.

В полчасе езды от Москвы, на лесистых холмах, приютился городок, обязанный своим расцветом трофейному заводу оптических приборов. По зиме он славился великолепной лыжней, и в недавнем прошлом был известен узкому кругу лиц, как местоположение привилегированного лагеря немецких военнопленных с антифашистской школой и комитетом борцов за прекращение войны. Собрав сведения, Русланов сосредоточился на этом географическом пункте. Оптика его мало интересовала, лыжня еще меньше, но такое привычное и родное слово как лагерь, да еще в сочетании с антифашизмом и борьбой за мир, затрагивало чувствительные струны.

Весна промелькнула для Зины в приятных хлопотах. Ей удалось разведать, что из этого городка граждане нередко уезжают по договорам туда, где можно подзаработать. Они на весь договорный срок сдают свои квартиры надежным людям, бывает даже со всей обстановкой. Так вот и случилось, что летом памятного пятьдесят шестого Руслановы обосновались в однокомнатной квартирке в переулке, ответвляющемся от одной из главных улиц, которая поднималась в гору от нижнего центра к верхнему, и на которой дома стояли лишь по одну сторону, а по другую тянулся массив лесопарка. Там рослые, стройные сосны, как одна годные на корабельные мачты, роняли длинные иглы на мшистую землю и на бесконечные прямые аллеи. В центре этого благоухающего хвоей уголка природы неожиданно возникал увеселительный комплекс с летним кинотеатром, павильоном настольных игр и читальней, по

виду напоминающих, несмотря на яркую раскраску, лагерные строения, с качелями и колесом обозрения, а также с теннисным кортом и городошной площадкой. Русланов любил прогуливаться здесь по утрам, он подбирал разбросанные городки и выбракованные биты, строил знакомые с детства фигуры и выбивал их, радуясь каждому удачному попаданию. На душе было празднично.

Отсюда было куда как ловчей добраться до Москвы, где жизнь кипела по-новому. Разнообразнее становились газеты, рождались новые театры, в них ставились новые пьесы на общественно значимые темы, в кинотеатрах шли заграничные фильмы, на будущий год намечалось проведение международного фестиваля молодежи и студентов. Публика приделалась, понятие моды, годами презируемое, внезапно вошло в быт. На моду Русланову было наплевать, все остальное его живо интересовало.

— Степан Сергеича нет, — сказала молоденькая секретарша. — То есть, он есть, но куда-то вышел. Посидите.

Русланов обозрел приемную в поисках перемен. Вместо Сталина в форме генералиссимуса — в угождение вкусам некоторых фронтовиков — висела круглая физиономия в полуулыбке, разовая работа маститого фотохудожника. В книжном шкафу теснились суперобложки с иностранными надписями.

Сермягин влетел как выстреленный из пушки, на ходу протянул гостю левую пятерню и тут же схватился за телефон. Закончив отрывистый разговор, повернулся к Русланову:

— Заходи, Паша. Имею пять, ну, десять минут. Будет совещание в иска.

В кабинете, усевшись по противоположные стороны приставного столика, посмотрели друг другу в глаза.

— Ну, что я говорил? — сказал Сермягин.

— Значит, теперь можно?

— Не все, но кое-что.

— Устроишь мне публичные лекции, а? Вроде факультатива. — При слове «факультатив» Сермягина передернуло. — Или по линии Общества — как оно теперь называется? — по распространению научных и политических знаний.

— С лекциями сложно. Пришлось бы пробивать долго и упорно. Но ты пока можешь их писать. По крайней мере будет надежда, что твой скорбный труд не пропадет. Не прочтешь, так опубликуешь. Когда-нибудь.

— Ты поспособствуешь?

— Что за вопрос!

— Но на скорую публикацию рассчитывать не приходится?

— Как знать. Сейчас все в состоянии неустойчивого равновесия, — голос Сермягина сохранял усвоенные с детства интонации, присущие грубой простонародной среде, в которой он вырос, и было несколько странно слышать из его уст отшлифованные фразы. — Вот разве что опять-таки через общество по распространению... Там сейчас входят в силу либеральные тенденции. А может быть и в смысле лекций с их помощью что-нибудь получится...

Вернувшись к вечеру домой, Русланов подосадовал, что уже нет времени заняться чем-нибудь серьезным. Но на другой день он с утра отправился в магазин школьно-канцелярских принадлежностей, купил пачку писчей бумаги, пузырек чернил для вечного пара, а по соседству, в книжном, долго перебирал новинки общественно-политической литературы, выбрал пачку брошюр и «Материалы XX съезда КПСС» — не для руководства, а для сведения. Еще до обеда он засел за работу. Долго мудрил над заглавием, писал, зачеркивал и перечеркивал. Наконец, остановился на таком варианте — пока, сказал он себе, за неимением более удачной фор-

мулировки: «Научные основы житейской философии». Сейчас людям нужней всего не Кант с его антиномиями разума, — говорил себе Русланов (при всем его почтении к Канту), — а разум каждого дня, как наука жизни. Да-да, для жизни нужна не критика чистого разума, а критический разум в чистом виде.

Месяц спустя рукопись в составе шести частей, каждая объемом около двадцати страниц, перепечатанная Зиной под копирку в трех экземплярах — два для получателя, один для себя — была готова. Работая по десять-двенадцать часов почти ежедневно, без всяких пособий, без первоисточников, переписывая не раз и не два многие страницы, Русланов обнаруживал, как убывает его работоспособность, как быстро устают глаза, да это бы еще полбеды, голова отказывается обрабатывать, гудит и охватывается жаром, и что совсем уж удивительно, даже в груди появляются странные ощущения, похожие на те, что когда-то он испытал, корчуча пни у старика-садовода и повторно на лесопилке. Несмотря на свое происхождение из медицинской семьи, Павел Константинович никогда не вникал в проблемы своего телесного здоровья. В молодости он придерживался общераспространенных взглядов на физкультуру и закаливание, а в тюрьме и лагерях задача самосохранения сама собой подсказывала образ действий. Теперь он считал себя здоровым человеком и немножко даже гордился тем, что сумел себя уберечь для дальнейших трудов. Падению работоспособности он удивлялся, но большого значения не придавал, объяснял его отвычкой от умственного труда, и если приходилось прибегать к некоторому насилию над собой, он принимал это как неизбежность.

17.

— Ты только послушай, что он пишет, этот

безумец! — сказал Филипп Глаголев.

В стеганом халате, он пил чай из широкой разукрашенной чашки. Сервиз был куплен в комиссионном магазине по сути дела за гроши, так как был неполный, а продавцы мало смыслили в фарфоре.

Был час домашнего уюта, сидели за низеньким, квадратным, обтянутым каким-то диковинным материалом бордового цвета, явно не нашего производства столиком, тоже из комиссионки, под шелковым оранжевым торшером, оттуда же — Тамара в последнее время приобрела вкус к нестандартным бытовым предметам.

— Что за безумец? — спросила она равнодушно, без любопытства.

— Тупица Сермягин дал мне почитать на предмет проходимости опус некоего Русланова, — постой, неужели это тот самый, что был когда-то в нашем институте секретарем парткома?.. Потом он исчез — ну, знаешь, как у нас исчезают люди, таким же образом, как я тогда...

— И что же он пишет?

— Сплошное вероотступничество. Изменяет историческому материализму. Вот послушай:

«Анализируя общественное устройство, Карл Маркс говорил о производственных отношениях как не зависящих от воли людей: именно от воли, но не от их сознания». — Однако, каков хитрец: самого Карла в союзники пригласить! (Филипп непрочь был щегольнуть непочтительностью, где можно). — Слушай дальше: «Общественное же сознание следует понимать как сумму, вернее сочетание индивидуальных сознаний того или иного общества или его частей, выраженное не только общественными учреждениями и публичными заявлениями, но также и распространенным в обществе, хотя и не высказанными, мнениями и настроенностями».

Оторвавшись от рукописи, Филипп окликнул

жену:

— Куда ты пошла? Сейчас будет самое интересное. А кстати, у нас в редакции шутят: бытие стало хуже некуда, сознание стремится за ним поспеть. Будешь слушать? Тогда садись. Далее следует:

«Было бы беспредметно говорить о сознании, то есть восприятии человеком окружающей действительности, не представив себе конкретно процесс ее познания в исторической последовательности. Начнем с представлений первобытного человека...» — Ты замечаешь, куда он клонит? — «Его окружали неукротимые силы природы, всемогущие и загадочные, грозящие опасностями, но и оделяющие дарами. Этими дарами, как растения и животные, вода и огонь, он мог удовлетворять свои жизненные потребности, а с помощью других даров, как тяжелые камни или ядовитые соки некоторых растений, мог умерщвлять живые существа. Но за отсутствием научных знаний он не мог построить в своем уме ничего кроме представления о добрых и злых божествах, и ему приходилось исходить», — н-да, стилем не блещет, — «исходить из этих обманчивых представлений. Расстояние между картиной познания и действительностью было бесконечно далеким».

— А что, разве неправда? — сказала Тамара.

— Истинная правда, — подтвердил Филипп, — но дело не в этом. Дело в том, куда он вырулит. Идем дальше:

«На ступени общинно-родового строя, то есть в условиях первоначальных форм общественной организации, к представлениям, так сказать «естественно-ненаучным» — это у него в кавычках, — «присоединились еще «общественно-ненаучные», — это тоже. «Возникла и насаждалась версия о божественном происхождении власти. Тем временем в общении с природой совершались новые открытия. Распространялись знания о свойствах различных материалов, как, например, плавучесть древесины, твердость и возможность заточ-

ки различных видов камня. Опыт с вражескими войнами, которые, оставаясь бездыханными в траве на поле брани на другой день исчезли, а позже появлялись вновь живыми и здоровыми, навел на мысль, что пораженных врагов следовало бы для верности съесть», — а он непрочь и пошутить, каков? — «Однако потом вызрела догадка пользоваться травами собственных раненых и больных — так складывались начатки медицины. Но все же сознание оставалось в путах невежества, и расстояние между отраженной картиной мира и действительностью едва ли намного сократилось».

— Любопытный подход, как находишь? — сказал Филипп Глаголев. — Читать дальше?

— Да, это интересно. Я уже догадываюсь, что он хочет доказать.

— А он об этом с самого начала заявил. Смелчак! Ну, слушай:

«Заметный прогресс наметился с открытием плавки металлов и вступлением в рабовладельческую эпоху... А дальше переходит к феодальной эпохе... Так, походы, завоевания... Вот, слушай: «Развернулась межконтинентальная торговля, нажитые и награбленные сокровища обогатили не только склонную к мотовству аристократию, но и — с более важными последствиями для истории — нарождающуюся буржуазию. Хотя образование оставалось монополией богачей и духовенства, знания проникают также и в народные массы. Духовные отцы вмиг распознавали опасность распространения свободомыслия. В Европе запылали костры инквизиции. Однако они не смогли сделать недействительными новые открытия».

— Дальше тут про общественные науки, — говорил Филипп, переворачивая страницы... — Совершенствование технологий... Математические подходы... И вот его вывод: «Непосредственной производительной силой стала наука — то есть мысль!» И тут начинается настоящая крамола, слушай:

«Марксистское учение утверждает, что технологические усовершенствования определяются материальными потребностями общества. Ныне выяснилось, что научная мысль развивается по собственным законам. По обе стороны расколотого мира ведутся разработки, которые не могут быть обоснованы никакими здоровыми потребностями общества. Некоторые пути в науке, служившей ранее целям познания мира, ведут теперь к его уничтожению». — И вот к какому итогу он приводит, слушай:

«Опережение мыслью реальных преобразований во все эпохи было очевидным. Ни прялка Дженни, ни паровая машина не были включены в производственный процесс немедленно, после их изобретения, а должны были ждать десятилетия. Углубимся еще дальше в прошлое: превратился ли собиратель и охотник в земледельца и скотовода потому, что их колышек и лук превратились в соху и бич, или потому, что преимущества земледелия и разведения скота дошли до их сознания?»

— Ну, тут еще много рассуждений на общественно-политические темы, довольно рискованно... Опустим это. Ага, вот опять про соотношение между материей и сознанием:

«Предметом разногласий между философскими направлениями идеализма и материализма — первоначально в области естественно-научной, без углубления в социальную историю — было соотношение между сознанием и материальной природой. Точка зрения материалистов восторжествовала. И вот настали новые времена, и случился конфуз: можно ли зачислить под рубрику материальной природы электронно-вычислительную машину, которую придумали изурганые нами кибернетики, на том основании, что она железная?».

— Дерзит, негодник! А вот, собственно, гвоздь его рассуждений: «Так же как камень не может сам по себе

превратиться в скульптуру совершенной формы, так и ничто другое из материального мира не может породить ничего принципиально нового, выходящего за рамки стихийных процессов, пока к нему не прикоснулась творческая мысль человека... При каждом усовершенствовании орудий труда представление предшествовало воплощению. Приоритет духовного в его нетленности. Кости великих мыслителей прошлого истлели, их гены рассеялись и деградировали по ответвлениям потомства, но их идеи живы и действенны в меру своей популярности, а уж верны или нет, показывает время».

— Вот так то! — закончил Филипп, откладывая рукопись. — Тут еще об общественном бытии и общественном сознании, но сводится к одному: он доказывает, что не общественное бытие определяет общественное сознание, а как раз наоборот. А само общественное сознание складывается как сумма индивидуальных сознаний, хотя и под воздействием передовых мыслителей. Вот что у него сказано на этот счет:

«Люди различны, каждый находится на своем уровне цивилизованности. Возможности общества зависят от большинства, а перспективу указывает авангард, который всегда в меньшинстве. Дикаря побуждает к действию голод, получивилизованного человека материальный интерес, а высоко цивилизованную личность — в первую очередь гражданское сознание».

— Ладно, хватит, я утомил тебя этими умствованиями некоего товарища Русланова. Хочешь прочесть полностью? Возьми на день-другой...

— А снять копию можно? — спросила Тамара.

Эта мысль пришла к ней как-то произвольно и пока еще безотчетно.

— Вообще-то но советую. Зачем тебе?

— Да так, — ступевалась Тамара. — Ну, давай, буду просвещаться.

Только потом, когда подступит срок новой

встречи в гостинице на Неглинной, и припомнится сказанное с угрозой «вы не хотите нам помочь», ее осенит: вот случай бросить им кусок.

Может, отвяжутся, хоть на время...

Еще ей припомнилось одно из любимых изречений мужа: надо уметь вступать в соглашение с действительностью.

18.

Неподалеку от завода уцелел неведомыми путями обширный участок старинного дачного пригорода. Его деревянные домики и домищи стояли тут в отупении, понемногу ветшали, иные опустевали, окружающие их поленовские дворики зарастали бурьяном: обитатели помоложе переселялись в новые дома. Но старики, приросшие к насиженному месту, привычные к неудобствам полудеревенского быта, привыкающие к возне одичавших голубей по чердакам, доживали свой век в родимом гнезде.

Здесь охотно, хотя и с осторожностью, сдавали комнаты и целые дома приезжим и приبلудным. В одном из таких домов, у одинокой старушки, которую раз в неделю навещала погнавшаяся за городским комфортом родня, поселился Комаров, сбжав от клопов и от гостей с Лубянки. Заметаю следы, иронизировал он над собой.

По воскресеньям, когда в этот тихий мирок шумливо вторгались хозяйкины сыновья с женами и детьми, Комаров, почувствовав себя лишним, уходил куда глаза глядят. А глядели глаза, в силу его неприкаянности, прежде всего в сторону ближайшей забегаловки. Потом, уже в приподнятом настроении, он направлялся куда-нибудь в Парк культуры или в кино.

В получку и в аванс было не отвертеться от посещения того самого «тоже ресторана», где недавно

сменщик Валерка и мастер Филимоныч разъясняли ему порядок вещей. Возвращался домой за полночь, приходилось стучать в покосившуюся, шелушащуюся краской ставню хозяйкиного окна... Обращение с ним приходившей воскресной родни становилось все более холодным.

Однажды, проспав после субботнего возлияния до полудня, он услышал за стеной приглушенные женские голоса:

— ...К тому же еще и курит?

— Смолит, как паровозная труба.

— Смотрите, мама, еще пожару наделает!

Тем же днем хозяйка сказала ему с неумелой официальностью, какую напускают на себя правдивые люди, когда приходится говорить неправду:

— Вы, конечно, извините, Борис Семенович, ко мне невестка переезжает. С детьми. Будут здесь жить. Так что...

Разумеется, лжет, догадался Комаров, но спорить не стал.

Понятливость еще не пропил.

Со времен первой пятилетки сохранился двухэтажный, отштукатуренный снаружи, сборно-щитовой домик, многотерпеливое общежитие для холостяков, совсем рядом с заводом. Этот дом ни разу не ремонтировался, давно уже предназначался на снос, да все руки не доходили. Плату за проживание брали символическую, два с полтиной в месяц. Комендант, однорукий вояка, говорил постояльцам:

— Вы мне, робята, главное дело, дом не спалите, я за него матерьяльно ответственный, а в ваши дела я не мешаюсь.

Дела же были аховые, дым коромыслом стоял день и ночь, работа была у многих сменная. Пустыми бутылками были загромождены все углы, лестница на второй этаж была перманентно заблевана. Жили тут

лишь немногие из заводских рабочих, приезжий люд, дожидаящийся очереди на квартиру, а в основном принимали на постой кого попало, лишь бы справка была с места работы: метростроевцев, просто строителей, да еще коммунальников — от слесарей из водоканала до уборщиков улиц.

Приспосабливаясь к меняющимся реалиям жизни, Комаров все больше терял себя, то есть как бы перечеркивал свою прежнюю биографию, рвал ее на клочки, как рвут исписанную бумагу, сминают и бросают в корзину. Порой он спрашивал себя, доподлинно ли он тот самый расторопный и удачливый журналист, который разъезжал по европам, встречался с лордами и государственными мужами, печатался в одной из крупнейших европейских газет? Опять вспоминалось: «Не таких ломали!» Неужто и впрямь сломали его, прежнего?

Как-то приснились все вместе: рыжий Линчук в голубых майорских погонах, барственно-величественный подполковник Лукашин, глумливый секретарь окружной парткомиссии, редакторша Серафима Игнатьевна с замом Львом Александровичем, резкоголосый капитан с Малой Лубянки, робеющий новичок-энкаведешник из рабочего класса, толстый мужланистый комиссар госбезопасности третьего ранга с интеллигентной и модной брюнеткой-женой, еще какие-то темные личности, бесшумно выскакивающие из-за кулис, — все они на грязной, заблеванной сцене бесплатного театра при полупустом и безмолвном, потом вдруг переполненном с взрывающимися аплодисментами зале, молча, лишь обмениваясь короткими кивками и выразительными взглядами, ломали деревянное чучело, раскрашенный манекен, но он знал, что это он и есть, а потом из обломков сколачивали другую большую куклу, совсем не похожую на первую, но он понимал, что это тоже он сам.

Когда в невеселом подпитии он начинал ни с того, ни с сего толковать собутыльникам про свои приклю-

чения где-нибудь в Берлине или Баден-Бадене, и слушатели с добродушной покладистостью делали вид, что верят, он с ужасом обнаруживал свое сходство с распространенным типом пьянчуг-неудачников, выдающих себя не за тех, кто они есть на самом деле.

Но если бы ему сказали, что он опустился и спивается, он только посмеялся бы в ответ. Он был уверен, что может изменить свое нынешнее положение в любой момент, стоит только выбрать вариант перемены. Однако с выбором не клеилось. Иногда его посещала мысль: а что если сделать попытку вернуться к Ульяне? Может, примет? Будет налаженный быт, питание три раза в день и глаженные брюки... Он почему-то был уверен, хотя ни разу не выяснял, что она давно вернулась из того городка и живет по старому адресу. Но ждет ли его или нашла себе другого?... И стоило ему вспомнить ее излюбленную фразу «не умеешь жить» и еще одну, брошенную в растерянности и себялюбивом возбуждении «тебя убьют, а мы потом мучайся», как становилось очевидной невозможность склеить разбитый сосуд. Но вдруг ударяло в голову: а почему «мы»? Неужели... Было горько и страшно додумывать эту мысль. И все же он понимал, что нельзя жить мужчине без женщины, единственной и постоянной.

Часто он возвращался мыслью к невзрачному домику близ Самотеки. Почему, собственно, он оторвался от того милого сердцу кружка, где чувствовал себя как нигде «свободно и раскованно»? Неужели спуск по социальной лестнице означал для него так много и мог быть воспринят там как урон его доброму имени? Ни в коем случае, там встречали не по одежде, а по уму и жизненным установкам. И все же он колебался: ему не с чем было вернуться, ни новых мыслей, ни стоящих жизненных наблюдений, ни даже остроумных анекдотов. Те, что рассказывали его новые друзья-товарищи, отвращали грубостью, его передергивало от их тупой похабщины.

А на большом помосте разыгрывались неслыханные сюжеты. Приезжий инженер рассказывал, и весть с восторгом передавалась из уст в уста по всем цехам, что в большом северном городе, на площади у Московского вокзала, глубокой ночью зацепили стальным тросом двенадцатиметровую фигуру разоблаченного вождя, тащили двумя тракторами, но не сразу поддалась, а потом, сломавшись в коленях, грохнулась на мостовую. Светало, народ уже тянулся к поездам, не успели убрать, чтобы все шито-крыто, и прохожие дивились на пару сапог, нелепо и карикатурно торчащих на подставке из карельского лабрадора.

А в столице, в подземном вестибюле станции метро «Краснопресненская» стучали отбойные молотки. Долго-долго одну из мощных колонн окружал глухой забор, никакой надписи на нем не было. А когда забор, наконец, убрали, то на мозаичной картинке, где Ленин стоял на трибуне, провозглашая советскую власть, позади него зияла странная пустота, заделанная под общий фон кусочками не в полном совпадении по колеру.

Что-то сдвинулось в мозгах Бориса Комарова. В последнее время он как-то безучастно воспринимал острые запахи из политической кухни. Не верилось, что могут произойти крутые перемены. Он все еще не становился на учет в цеховой парторганизации, несмело надеясь, что «пронесет», и он окажется «механически выбывшим». Но слухи о сокрушении памятников, приходившие отовсюду, разворошили в нем гражданский пыл. Однажды вечером, отказавшись пойти к «Голубому Дунаю» — так называли в народе еще уцелевшие ларьки, где вразлив торговали водкой и пивом — он сел за шаткий фанерный столик у окна, взял карандаш, бумагу и единым махом написал стихотворение.

В афонинском кружке никто не знал, куда он запропастился. Вспоминали с сожалением, строили догадки: поехал собкором в Казахстан, получил секретное

задание с выездом за границу, женился и наслаждается семейным счастьем... Как-то с первым весенним дождем он тихо проскользнул вслед за Гарвардом, был встречен радостным гиком, но застеснялся, сидел- помалкивал, и только после мадеры немного оживился. А когда началось чтение стихов, заерзал беспокойно и наконец вте-сался в одну из пауз:

— Можно мне?

— Даже должно, — сказал Костя Афонин. И он прочел:

Сапоги

Развенчан миф! Обет нарушен!
И осмелевшая толпа
Свергает бронзовую тушу
Под лепет пьяного попа.

А ну-ка, братцы, раз-два взяли!
Сломались, хрустнув, две ноги,
И на гранитном пьедестале
Остались только сапоги...

Угасли фимиамы лести,
Литавра славы не звенит,
Но сапоги стоят на месте
И так же давят на гранит...

И глыба, что под сапогами
Недвижна так же, как и встарь,
И так же властвует рабами
Из преисподней мертвый царь.

Все как-то притихли. Первым высказался Костя:

— Сам сочинил?

На него зашикали, а Софья Николаевна подошла и поцеловала Бориса в макушку.

Гарвард сказал:

— Ты на верном пути.

А Никита Кулемин проронил, как бы еще соображая, на полпути к оценке:

— Это, пожалуй, в духе добрых традиций гражданской лирики девятнадцатого века.

С этого дня Борис Комаров был потерян для собутыльников из общежития, а в афонинском кружке он вернул себе статус прихожанина. Возобновление контакта с родственными душами пьянило без вина, перемена среды производила переворот в самооценке. Здесь его воспринимали не как одного из многих, а как некую непохожесть, здесь он был не равный среди равных, а разный среди разных, был отмечен на небосводе, видом с этой точки стояния, как особое светило, неважно какой величины, важно, что сияющее своим собственным, а не отраженным светом. Здесь ему не надо было рядиться в чужие одежды, подделываться под окружающих и скрывать свою неординарность, разыгрывая роль «своего мужика».

Первая встреча после долгой паузы прошла как в тумане, но при следующем посещении кружка Комаров огляделся со вниманием. Перемены бросались в глаза, удивительно, что в прошлый раз они прошли мимо его сознания, Никита Кулемин оброс окладистой бородой, темно-русой, кустистой, и лицо его приобрело другие пропорции, грушеобразный нос стал сравнительно короче, совсем маленькими казались глубоко посаженные глаза, их цвет сделался вовсе неразличимым, а голосу добавилось бархатистости.

Гарвард еще больше похудел, его сходство с Дон Кихотом усилилось и правая щека еще чаще подергивалась нервным тиком.

Располнев, приобрела плавность движений Оксана, ее зычный глас звучал еще громче и поучительней, а Николай Федорович Судариков приосанился, сменил потертую форму морского офицера на сшитую по

фигуре синюю тройку и белую сорочку с галстуком.

Нисколько не менялась лишь Софья Николаевна, ни наружностью, ни манерой поведения, она оставалась такой же мягкой, уравновешенной, ко всем внимательной, излучающей доброту и умиротворение.

Приходили какие-то новые лица, разбитные парни и томные барышни, Комарова знакомили, он не запоминал имен.

Люся появлялась почти на каждой сходке, но никак себя не проявляла, молча сидела в углу с вязанием, или удалялась с матерью в другую комнату. Иногда Борис ловил на себе мимолетный взгляд Людмилы, или это ему только казалось, ему никогда не удавалось встретиться с ней глазами. Он гнал от себя мысли о ней, старался уверить себя в том, что не искал здесь встречи с ней, однако вскоре убедился, что все его внутреннее внимание было сосредоточено на Люсе. И хотя он старался не смотреть в ее сторону, боковым зрением он фиксировал каждый ее шаг, каждый жест и чутким ухом улавливал каждый вздох. Возвращаясь в кружок, он не знал, что будет так, и теперь говорил себе, не надо было возвращаться, было бы спокойнее — тусклее, но спокойнее. Ему казалось, что Люся побледнела, спала с лица, утратила живость, у нее появилась несвойственная ей ранее скованность в движениях, замечалось — или чудилось — нежелание быть на виду, словно бы она чувствовала себя в чем-то виноватой или под подозрением. Муженек Григорий на собраниях кружка теперь вовсе не присутствовал, лишь изредка заезжал за ней к концу словопрений, чтобы проводить домой. Вот и ладно, охлаждал себя Комаров, Люся — это второстепенно.

Когда утихли первые восторги от возобновления дружеских связей, Комаров помимо воли стал вникать в существо жизнедеятельности кружка. Несколько вечеров он засиживался допоздна, разговаривая мало, прислушивался и приглядывался, силился понять, что кроме внешних примет изменилось здесь за время его

неучастия. Не обнаруживал прогресса. Увидел: все ту же воду толкут все в той же ступе. По инерции лениво пинают усатого вождя народов, в туманных иносказаниях поругивают новую власть, бранят бездарные подделки под литературу, удостоенные высочайших наград, сличают признаки минувшего и нынешнего времен, толкуют про долговечность крепостного права, подразумеваемая колхозный строй, но все сводится к тому итогу, что так уж на роду написано могучей и бессильной матушке Руси.

Если разочарование подстерегает меня и здесь, то чего же остается ждать от жизни? Растерянность, близкая к испугу, прокрадывалась в неприкаянную душу Бориса Комарова. Он крепился, заставлял себя выдерживать характер, противился соблазну вернуться в дурманную запойную трясины, где все легко и просто, пока гуляет хмель по жилам, но трижды гадостно потом. Кружок оставался для него единственной опорой, был дорог ему, стал теперь еще дороже. Но не хотелось, выбравшись из одной трясины, погружаться в другую, в трясины бесполезного умствования и празднословия. Хотелось сказать что-то значительное и нужное всем.

Свое новое стихотворение он переписывал множество раз и наконец, хотя и не был полностью удовлетворен тем, что получилось, явился на очередной четверг.

Сидел как на иголках, слушая городские сплетни и обмен остротами, все казалось ему скучным и ненужным.

Никита Кулемин заметил его беспокойство:

— По-моему, Борис имеет что-то сказать. Вероятно, принес очередной шедевр. Я угадал?

Комаров медлил. Прочсть приготовленное, значило бросить вызов. На выручку своему любимцу Бореньке пришла Софья Николаевна:

— Ника, а почему вы сами никогда не прочтете что-нибудь свое? Все догадываются, что вы тоже не без

греха. Несовершенство здесь прощается, хотя вы то, скорее всего, на высоте. Ну, прочтите же что-нибудь!

— Только для вас, — покорился Кулемин. — Не могу вас послушаться.

Компания насторожилась. Было известно, что Никита Кулемин год назад женился на студентке своего института, это раскрыло новые грани его характера — раньше его считали сухарем и чуть ли не женоненавистником. О ее красоте, уме и прочих свойствах высказывались противоречивые мнения. Смущало, что Кулемин ни разу не привел в кружок молодую жену. Однако тот факт, что месяца через три-четыре после свадьбы у супругов родилось дитя, пролил свет на ситуацию.

— Вы этого хотели, — сказал Никита. — То есть сами напросились. Так уж стерпите. — Откашлялся, придал своему голосу лекторскую интонацию, в которой был достаточно натренирован. — На ваш просвещенный суд. Называется

Удивленная рыба

Нашей маленькой дочке
я купил удивленную рыбу —
С голубыми глазами навывкате,
с воронными бровями вразлет
И капризно надутыми губками.
Золотисто, как солнце,
ее шаровидное брюхо,
И как веер испанки,
растопырен русалочий хвост.

— В самом деле, есть такая игрушка! Я сама видела в «Детском мире», — повеселев, вставила Оксана. На нее зашикали. Никита продолжал:

«Ты чему удивляешься,
несуразное детище промкомбината?»

Не тому ли, что в мире двуногих
распри и дрызги и склоки,
А голос мудрейших не слышен за визгом
безмозглых?

Что недоучки командуют сонмом ученых?
Или тебе невдомек, почему, не секут,
а хвалу воздают за готовность
Белое черным назвать, а черное белым?

Или приводит тебя в изумленье, что некто,
увенчанный лавром,
Родине славу воздав
и воспев аллилуйя героям,
Партии верности клятву твердя
многократно
Членские взносы платя, преуменьшил
размер гоно-
рара?

Или, быть может, внушает тебе удивленье
Что танки по праздникам
с дымом и грохотом едут на пло-
щадь,
А не лошадки в цветах,
и не мишки нарядные с
бубном?

Ах, не тревожь ты мне душу,
уймись, удивленная рыба!
Я-то зачем тебя приобрел?
Чтобы дочурка не плакала в ванне,
Чтобы ловила тебя непослушной рученкой,
И чтобы новое слово узнала,
звучное слово такое: «либа».

Что же ты, дрянь, задаешь мне вопросы.
Те, от которых мурашки по коже

и спазмы в желудке?
Ладно, отвечу.
Тебе лишь.
И молча.
По сторонам озираясь с опаской.

— Ни фиги! — отреагировал Костя Афонин. — Кто бы мог подумать!

— Мы тебя недооценили, Никита, — признал Гарвард. — Это войдет в анналы.

— По такому поводу не мешало бы выпить, не унимался Костя. — Маман, ты решаешь?

— Да погодите вы, — вмешалась Оксана. — Пусть теперь Борис отчитается в своих достижениях.

— Боренька, вы готовы? — сказала Софья Николаевна. Она всегда была особенно внимательна к Комарову.

— Если можно, я по бумажке. Боюсь сбиться. Много раз переделывал, потому что...

— Давай, без предисловий, — сказал Гарвард. — Тут все свои.

Расправив листок, Борис прочел:

День пришел.

Проснулся поздно с головною болью.
Обрывки снов, пугая, улетели.
Звериной шкурою, изъеденною молью,
Тоска стелилась у моей постели.

Вот новый день. Ты ждал его — бери же!
Заставь его свершить твои надежды!
Воздвигни храм, не ниже, чем в Париже,
Куда не вступят хамы и невежды!

Пусть чистой правды глас звучит с амвона,
Решимостью сердца воспламеняя!

Пусть верховенство божьего закона
Признает наша братия земная!

Пусть истину полюбят те, что правят!
Пусть вспыхнет пламенем все то, что взято
тленьем!

Пусть раболепие присяжные объявят
Таким же, как убийство, преступлением!

Пусть увлекут высокие идеи
Призывом взбудораженную массу!
Пусть премии положат прохиндеи
Обратно в государственную кассу!

Все было ясно в полуночном споре.
Слова гремели и глаза горели.
А вот наутро снова все в миноре,
И стыдно за восторженные трели.

Но день пришел. Пришел и будет прожит.
Опять без пользы для души и тела?
Нет, дальше так продолжаться не может.
День приходит для дела!

— Митинговые речи, — отчеканил Гарвард, дернувшись щекой. — На баррикады? Без меня.

Математик Щегловитов стихов не писал и при их прочтении скучал. Он вообще не жаловал поэзию. Научившись в Америке быстрому чтению, он окончательно разучился воспринимать должным образом стихотворные тексты и откровенно признавался: «я не умею читать стихи, я глотаю их, не разжевывая».

— А мне нравится, — сказала Софья Николаевна и подсела к Борису на свободный стул.

Люся сочувственно посмотрела на Бориса, пристально, не скрываясь.

Софья Николаевна взяла его за руку, заглянула в

глаза с материнской теплотой и спросила тихо:

— Боренька, вам плохо? Что-то не ладится в жизни?

Комаров надулся и отнял руку. Блюдя свое мужское достоинство, он терпеть не мог, когда его жалели.

Встретившись глазами с Люсей, окунулся в их голубую глубину и уже бесповоротно признался себе, что приходит сюда за тем, чтобы ее увидеть. Разумеется, еще и ради встречи с друзьями, за пищей для ума, все так, но Люся, Люся... Ему очень хотелось узнать, почему она теперь приходит одна, но расспрашивать кого-либо об этом он, естественно, считал неуместным. Сколько раз он пытался поймать ее взгляд, надеясь прочесть в нем ответный интерес, но Люся лишь сегодня подарила ему минуту безмолвного диалога. Ему снова пришли на ум горькие слова Софьи Николаевны, сказанные годы назад: «Ах, где же вы были раньше!».

В этот раз Борис задержался у Афониных дольше всех и уходил последним. Люся, которая теперь нередко оставалась ночевать у матери, должна была выйти вместе с ним в переднюю, чтобы запереть за ним дверь. Теперь или никогда, решил Борис.

— Люся, ты, наверное, не удивишься, если я признаюсь, что мне давно хотелось встретиться с тобой наедине, — сказал он, задержав ее руку в своей.

Помедлив, она ответила:

— Нет, не удивлюсь.

— Где, когда?

— Предложи сам.

Воодушевленный ее быстрым согласием, он выпалил первое, что пришло в голову:

— У метро «Проспект мира», идет?

И тут же мысленно выругал себя: самое людное место, хуже не мог придумать? Но она уже согласилась:

— Пусть так. Когда?

— Может быть, завтра?

— Завтра не получится. Давай в понедельник.

Ох, понедельник! Это целых три дня! Но не торговаться же...

— Хорошо, во сколько?

— Мне все равно. А ты когда кончаешь работу?

— Я отпущусь. Давай в четыре? — Ему очень хотелось, чтобы вечер был длинным.

— Хорошо.

— В понедельник, в четыре, у метро, — повторил он как заклинание.

Она кивнула.

Он не решился ее обнять, только погладил руку — все же пока еще мужняя жена...

В понедельник, повторно проутюжив щеки электрической бритвой, он возник без десяти четыре у входа в метро на первой Мещанской, переименованной в Проспект Мира. Народ валом валил в тяжелые дубовые двери, которые никогда не закрывались, только разлетались, раскачиваясь в петлях, а он стоял в простенке между входом и выходом и вглядывался в толпу. Прикидывал, счастливое ли сочетание цифр: число, дня недели, назначенный час... Складывалось в двадцать два, худо, и он решил, что не верит в приметы.

Мысли роились, устремляясь в завтра. Не получилось у нее с Григорием. Мне, а не этому зазнайке назначена она в подруги жизни! И она это поняла. Мы наконец-то нашли друг друга. Какое прекрасное слово: Мы! Мы порвем со своим прошлым. Мы покинем Москву. Мы поедем в тот южный город, где когда-то я пытался лечить свою душу, измотанную линчуками. Мы снимем квартиру, а может быть маленький домик, в том райском предместье на горе, за железной дорогой, которое носит наивно-нелепое название «Красный город-сад». Я вернусь в журналистику, а она в Филармонии получит ангажемент, станет давать концерты, и я, сидя в переполненном зале, буду восхищаться ее игрой... В том самом зале, где пять с лишним лет назад выступал моло-

дой Святослав Рихтер, еще мало кто слышал это имя, лишь знатоки говорили о нем как о восходящей звезде. Тогда пришли — откуда взялись! — настоящие ценители, пожилые дамы в старомодных вечерних туалетах, седовласые стройные джентльмены в темном, мелькали даже смокинги с лацканами из черного атласа — они придут и на концерт Люси. Там ей не надо будет пробиваться сквозь заслоны ловких конкурентов...

Размечтавшись, он не заметил, как промелькнули полчаса. Его заслонили собой кавказские джигиты, целая компания, темпераментно обсуждавшая что-то на своем языке. Он выдвинулся вперед, его толкали топропывые, нервные пассажиры из того и другого потока. Кавказцы ушли, он водворился на свою прежнюю позицию. Люся не появлялась...

Ничего особенного, женщины всегда опаздывают, убеждал он себя. По когда время приближалось к шести и хлынул, сметая помехи, нескончаемый поток сослуживцев из окрестных учреждений, он убедился в бесполезности дальнейшего ожидания и осознал нелепость, даже смехотворность своего поведения. Зла на Люсю он не питал, допускал всякие уважительные причины, ругал самого себя, мол, вечно я делаю что-то не так...

Ноябрьское небо вдруг помрачнело, разразился дождь с мокрым снегом, Борис снял шляпу и пошел прочь с непокрытой головой. Ветер хлестал мокрыми порывами в лицо, а Борис думал, так мне и надо, и хорошо бы сейчас заболеть...

Заскочил по пути в одну из знакомых забегаловок и наскоро перехватил «законную норму», то есть сто пятьдесят...

Сожители по комнате, в изрядном подпитии, горланили нестройным хором, с надрывными взлетами голосов и разудалой жестикуляцией:

Там, на шахте угольной
Паренька приметили,

Руку дружбы подали, повели в забой.
Девушки пригожие тихой песней встретили,
И в забой направился парень молодой.

Боже мой, какая чепуха, подумал Борис Комаров и присоединился к хору.

Наутро, проснувшись с головною болью, он не пошел на работу, заварил крепкого чая. Еды в тумбочке не оказалось, ну и слава Богу, есть не хотелось, напился вхолостую. Обрадовался тому, что остался один в комнате и сел писать письмо.

«Дорогая Люся!

Я пишу тебе не затем, чтобы вызвать твое сострадание, а просто потому, что мне очень горько, так горько, что я не могу молчать...».

Написав еще несколько жалобных строк, он перечитал написанное, скомкал письмо и бросил в угол. Посмотрел на белый комочек, подобрал, разгладил, перечитал, взял спичку и поджег листок.

— Слюнтяйство! — сказал он вслух.

Несколько дней он прогуливал, пил и читал в своей излюбленной забегаловке стихи на потеху случайным собутыльникам.

— Во дает! — одобряли собутыльники. — Артист.

Приглашали к своему столику, подносили... «Три дня в гулянке бесшабашной прошли туманной чередой», вспоминались строки из озорной поэмы его фронтowego друга Левы Крупинича...

Первая трезвая мысль: как теперь ты появишься у Афониных? Нельзя! Ты потерял себя, опростоволосился, сыграл чужую роль, несостоявшийся Дон Жуан, как ты посмотришь в глаза этим людям? Однако, тянуло, тянуло, и выполнить решение становилось все труднее, доказательства теряли силу и оставалось одно упрямство. Наконец он не выдержал и явился как ни в чем не бывало.

— Где же вы пропадали, Боренька, — укорила его Софья Николаевна.

— Да все было как-то недосуг, — шаблонно и фальшиво выкрутился он.

— Вот видите... А у меня для вас послание.

Она ушла в свою комнату и вынесла белый конверт без адреса.

— Ох, спасибо, — пробормотал Борис и сунул конверт в грудной карман, чтобы прочесть потом, в уединении, а пока можно было предполагать и надеяться, что там, в конверте, что-то утешительное и обнадеживающее.

Потом он читал свои новые стихи с необычной дрожью в голосе. В конце концов его голос вовсе сорвался, ком в горле остановил дыхание и слезы навернулись на глаза. Устыдясь, он пробормотал:

— Извините, ребята... Наверно, последствия контузии. Иногда бывает.

Срыв произошел на последней строфе стихотворения, озаглавленного

Полемика

«Хотел бы в единое слово
Я слить свою грусть и печаль»...
Но слишком уж много печали,
И слову ее не вместить!

Печальны суровые дали,
Что нам розовели вначале,
Да мало-ль на свете такого,
О чем не успеешь грустить...

«И бросить то слово на ветер,
Чтоб ветер унес его в даль...»
По слишком уж часто бросаем
На ветер мы наши слова!

Охапками копыя ломаем.
Основы основ потрясаем
И кукиши кажем в кармане,
От страха живые едва.

«И пусть бы то слово печали
По ветру к тебе донеслось...»
Зачем же? Невзгод пережитых
В твоей разве мало судьбе?

Печалей, старательно скрытых,
И слез, втихомолку пролитых?
Не грусть, не печаль я хотел бы,
А радость доставить тебе.

— Жуть как трогательно, — сказал неуязвимый
сухарь Гарвард. — Можно, я всхлипну?

— Как не стыдно, Эрнест! — возразила Софья Ни-
колаевна.

Она, действительно, сморкалась украдкой и до-
ставала зеленый шелковый платочек.

— Ничего не стыдно, — стоял на своем Гарвард. —
Декаданс и мелкобуржуазное самокопание. Оставь в
покое классиков, Борька, и занимайся физзарядкой по
системе йогов.

Люся не появилась. Письмо он читал в метро по
дороге домой.

«Мой добрый друг Борис!

Прости, что доставила тебе разочарование.

Я стояла на противоположной стороне Первой
Мещанской, но так и не решилась ее пересечь.

Есть много причин, которые удерживают меня в
том состоянии, которое сложилось, и не позволяют его
изменить, а к мимолетному флирту не расположены ни
я, ни ты, я это знаю.

Помнишь бессмертные строки «Я отдана теперь

другому...»

Пушкинский гений не просто запечатлел жизненную ситуацию, но и превосходил ее бесконечное повторение...»

До чего же мы все литературны, подумалось Комарову некстати и вопреки всей горечи случившегося.

«...Не знаю уж, в утешение ли тебе, или к еще большему огорчению, признаюсь, что ты был для меня еще в детстве — если не идеалом, то каким-то приблизительным образцом будущего избранника, и кто бы мог подумать, что годы спустя так сгладится разница в возрасте. Ну, да что теперь об этом говорить...

Прости и не поминай лихом. — Люся».

Он скомкал письмо, но потом разглядел на коленке и вложил обратно в белый, тугой незапечатанный конверт.

19.

Потери, потери... Одна за другой. Потеряна надежда на любовь. Забыть, выбросить из головы! Заказана дорога в гостеприимный дом у Самотеки, нельзя появляться в кружке, там может оказаться Люся, встретить ее теперь будет невыносимо. В этом убеждении Комаров пребывал неделю и другую, но потом утихла боль и он стал думать иначе. Да, встретить Люсю значило бы сыпать соль на рану, но разве это по-мужски, трусливо бежать от такой вероятности, жертвуя всем?... Да и в самом ли деле так уж все окончательно? Все течет, все меняется в жизни... Будь настойчив! Настойчив? Нет, это неблагородно. От настойчивости один шаг до навязывания своей воли, которое немного отличается от насилия. А насилие преступно. Не бывает прочным то, что добыто насилием... Ладно, проживем — увидим.

Непроизнесенные лекции Русланова ходили по рукам. Кто ухитрился размножить этот текст? Как

знать. Читать его на плотно усыпанных машинописным шрифтом листках папиросной бумаги было затруднительно, но если подложить чистый белый лист, то получалось вполне разборчиво. Были еще списки неполного текста, сделанные чьей-то квалифицированной рукой — то же самое, но в тезисном изложении.

— Ну, братцы, если б вы только знали, какую крамолу мне подсунули! — выпалила Оксана Фетисова, влетая в «детскую», когда там уже сидели за чаем.

Оксана любила щегольнуть грубоватыми повадками, то ли заразившись ими от своих неукротимых старшекласников, то ли утверждая свое равноправие и пренебрежение к таким устаревшим, по ее мнению, понятиям, как женственность и правила хорошего тона.

— Кто-то обратно выбрал свободу? А мы за него сядем и кутузку? съязвил Костя Афонин, неисправимый зубоскал.

Оксана не удостоила его даже взглядом. Усевшись на место за столом, галантно уступленное ей Борисом Комаровым, здесь он все еще старался поддерживать репутацию человека европейского воспитания, она раскрыла портфель и достала соединенные канцелярской скрепкой захватанные странички.

— Ну что, будем?

— Кто за, кто против, кто воздержался, — продолжал дурачиться Костя.

— Только не все подряд! — испугался Гарвард. — Это же на целую ночь! Давай выборочно, что поинтересней.

— Здесь все интересно, — возразила Оксана. — Однако, попробую, — добавила она и стала перебирать страницы. — Ну вот, хотя бы:

«Чернышевский по аналогии со спичкой, инициирующей возгорание некоего материала, считал возможным, благодаря воспламеняющим действием авангарда, ускоренное развитие общественных укладов, вплоть до перескакивания через отдельные фазы. Действительно,

ускорение прогресса в обществе, отставшем в своем развитии, с помощью заманчивых идей или путем соприкосновения с ушедшими вперед режимами, может иметь место — вспомним, к примеру, колонизаторскую миссию европейцев в Африке. Однако при этом неизбежны деформации, связанные с остаточными явлениями, всевозможными рецидивами и так называемыми пережитками. Подобно тому, как дитя созревает до своего человеческого облика в утробе матери, так и новая формация может созреть только в недрах предшествующей».

— А у нас из феодализма напрямик в социализм, — расшифровал Костя. — Прыжок с шестом.

Строго взглянув на неумного балагура, Оксана продолжала:

«В чем же принципиальное отличие социализма от предшествующих общественных формаций? Попробуем рассмотреть вопрос с позиций общедоступной логики. Что такое рабовладельческий строй? Это господство военной аристократии над массой бесправных рабов. Что такое феодализм? Это господство феодалов, то есть военно-землевладельческой верхушки над угнетенными массами крестьян. Что такое капитализм? Это господство класса, владеющего капиталом, над пролетаризированными массами трудящихся. Ну, а социализм? Термин выведен из слова «социо», то есть «общество». Значит, некому больше ни над кем господствовать? Действительно, получается, что социализм — это господство всеобщего интереса. Но как определить, в чем этот интерес состоит? Социализм — в этом согласны все теоретики — это общество, в котором каждый гражданин способствует его благосостоянию в меру своих способностей. Взамен он получает — не по произволу властей, а в силу саморегуляции общественных отношений — жизненные блага, соответствующие его вкладу во всеобщее благосостояние. Ближе к социализму стоят не те общества, где во владении государ-

ства находится больше средств производства, а те, где выше уровень общественного сознания».

— Ну, тут дальше много всякого о роли сознания, — продолжала Оксана, — о соотношении между сознанием и бытием... Если вкратце, то у него все наоборот: первично в человеческом бытие, в строительстве общественных отношений, как он считает, именно сознание.

— Можно спорить, — заявил Гарвард. — Ведь смотря что подразумевать под бытием. Если, вот именно, физиологические отправления — поглощение и переваривание пищи, действия, направленные на продление рода... Тут уж сознание в прямой зависимости от бытия.

— Это юмор? — сухо осведомился Кулемин. — Классики трактуют бытие в социальном смысле. Сказано: общественное бытие определяет общественное сознание. Осмысление бытия как раз и составляет предмет сознания. Так что этот опровергатель марксизма-ленинизма, как мне кажется, недалек от истины.

— Ну вот что, хватит! — прикрикнула Софья Николаевна с водевильной строгостью. — В моем доме я не позволю ниспровергать это самое, как его, бессмертное учение. Оксанчик, что там у тебя еще в этом ужасном трактате? Или перейдем к стихам?

— В самом деле, — поддержал Костя. — У меня от этих умствований уже несварение мозгов.

— Лечиться надо, — отрезал Гарвард. Он недолюбливал поэзию, как и всяческое легкомыслие, и относился с уважением к общественно-научным исканиям, а к нигилистическим в особенности. — Садитесь, Афонин. Фетисова, продолжайте.

Никто не возражал. Оксана полистала страницы.

— Ну вот, например, такое: речь идет о преступности и судебной практике:

«Суровость или мягкость пенитенциарной политики отражает симпатии властей. Снисходительность по отношению к определенным видам правонаруше-

ний, скажем, к казнокрадству и взяточничеству, можно истолковать в том смысле, что власти с большим пониманием относятся к преступникам, нежели к пострадавшей стороне, то есть добропорядочным гражданам. Если же говорить...».

— Фм, оторван кусок страницы! Кому-то руки жгло...

— Нетрудно догадаться, что там было, — заявил Никита. — Неизбежно разложение общества, в котором невозможно достичь благополучия через честный труд, а можно лишь путем карьеризма, ловкачества, воровства, казнокрадства, взяточничества и всякого жульничества. Такое общество — неизлечимо!

— Ладно, воздержимся от прогнозов, — сказал Гарвард.

— Что там еще, Оксана?

— Вот тут дальше еще стоящий пассажик:

«Любой коллектив лишь тогда чего-нибудь стоит, когда он состоит из личностей, когда в нем интегрируются ум и воля индивидуальностей».

Борис Комаров все беспокойнее ерзал на стуле. Многое казалось ему странно знакомым, и возникала в памяти задымленная конторка на далеком колымском прииске, бородатый нарядчик в засаленной телогрейке, и где-то еще глубже в закоулках памяти — кабинет парторга в полукруглом эркере институтского корпуса и добродушно-укоризненный басок: «Что ж это вы, ребята... На вас ведь вся надежда...».

— Тут много еще всякого, — продолжала Оксана. — Вот тут он уже переходит к практическим рекомендациям:

«Мы говорим о житейской философии, то есть о науке жизни. Что главное в человеческих отношениях, особенно при разладе? Как найти путь друг к другу? Прежде всего надо попятить, что не приводит к успеху стремление изменить партнера, будь это друг, супруг или товарищ по работе... Гораздо продуктивнее стрем-

ление изменить себя, посмотрев на себя со стороны и переоценить те свои качества, которые мешают взаимопониманию».

— У него есть и про литературу:

«Тот, кто пытается управлять литературой как общественной силой, отмахнувшись от стихийно возникающих в ней тенденций, уподобляется лекарю, который прописывает лекарство, не выслушав больного и даже не спросив, где болит. Литература, если она настоящая, то есть органичная, а не продиктованная сверху, — это выражение народных дум, настроений и надежд».

— И вот еще, что касается литературы, впрочем, не только:

«Талант — это способность создавать нечто новое за счет собственных интеллектуальных, а в иных случаях и физических ресурсов, иными словами производить новые ценности практически из ничего. Талант, то есть ничем не измеримый и никакими средствами не воспроизводимый природный дар личности создаст, если пользоваться политэкономической терминологией, некую прибавочную стоимость. Это та прибавочная стоимость, которой не придавал особого значения Маркс, хотя сам производил ее в многотомных размерах. Производимый талантом продукт не обязательно должен быть полезным. Изобретение разнообразных разрушительных средств тоже не обходится без участия таланта.

Говорят еще о высшей степени таланта, называя ее гениальностью. То, что создано талантом, становится достоянием многих; то, что создано гением, становится достоянием всех, причем таким достоянием, без которого просвещенное человечество уже не может обойтись».

Да, это Русланов! Комаров все больше утверждался в своей догадке. Русланов здесь, в Москве? Или откуда-то издалека пришла эта рукопись? Или кто-то похитил его заповедные мысли и выдает их за свои?

А Оксана уже читала новый отрывок:

«Мыслящие люди, особенно в начале жизненного пути, часто задаются вопросом о смысле жизни. Зачем я живу на земле? Какие цели я должен поставить перед собой? Разные люди дают себе разные ответы. Одни избирают погоню за призрачным счастьем для себя одного, но поймать жар-птицу удастся единицам, а большинство приходит к плачевному финалу разочарований и душевной пустоты. Есть ли цель более достойная?»

Жизнь, и в особенности жизнь человеческая, — явление чрезвычайно сложное, и, можно сказать, загадочное. Если вспомнить, что развитие началось с образования из неорганических веществ во влажной среде, под воздействием тепла и света органических соединений, а закончилось — да еще неизвестно, закончилось ли? — появлением существ, способных не только посягать на чужую жизнь, но и обосновывать свое право на это посягательство, способных дорожить своей жизнью не только инстинктивно, как курица или кошка, но еще и осознанно, ради достижения каких-то намеченных целей, — подумав обо всем этом, мы поразимся невероятной глубине и огромности происшедшей эволюции. Верующие скажут: промысел Божий. Как не позавидовать тем, кто удовлетворен таким объяснением!

Но, продолжая наш поиск смысла жизни в обычном, человеческом толковании, постараемся понять: если уж мы осуждены природой на это земное существование, то достойнейшая цель для нас должна заключаться в том, чтобы сделать друг другу это существование как можно более выносимым, а по возможности даже приятным и радостным.»

— Я знаю этого человека! — вырвалось у Комарова.

На него оглянулись, он ступешевался и пробормотал:

— Ничего, ничего, продолжайте...

Но уже ничего не слышал, весь ушел в свои мысли. Русланов! Он где-то здесь, может быть, недалеко. Русланов, вот кто сейчас ему по-настоящему нужен!

Когда расходились, Комаров выпросил у Оксаны полный текст под железную клятву вернуть на другой день. Придя домой, читал, сидя на табуретке в коридоре, что-то совпадало со старыми воспоминаниями, но многое было ново и заставляло сомневаться в авторстве.

«Философская наука оперирует отвлеченными понятиями. От них до практического действия далекий путь, почти никем не пройденный: люди дела не читают философских сочинений, в лучшем случае они слушали в юности на лекциях своих профессоров. А те немногие, кто руководствовался в своих действиях абстракциями ученых философов, достигали далеко не тех результатов, на которые рассчитывали...

Применение философских систем на практике чревато многими опасностями. Когда честолюбивые политики подхватывают обрывки глубокомысленных схем и пытаются приложить их к будничной действительности, общество становится объектом мучительных экспериментов, обреченных на неудачу хотя бы уже потому, что люди в повседневной жизни руководствуются не теориями, а традиционными нормами»...

Русланов? Последние сомнения отпали, когда он прочел: «Существует мнение, что понимание философских систем доступно лишь тем, кто освоил высшую математику. Для житейской философии достаточно знакомства с арифметикой. Простая арифметика: если в сообществе из десятка людей каждый озабочен только самим собой, это значит, что о нем заботится только один человек. Но если каждый кроме себя самого заботится еще и об окружающих, то это значит, что о каждом заботятся десять».

Это мог быть только Русланов!

Дни наполнились новым содержанием: разыскать! Но в адресном бюро дали справку: не числится. Он повторял запрос в разных киосках, вдруг где-то в другом районе информация окажется более свежей и более полной... Увы, результат был один и тот же.

Его опять потянуло к пивным. Он спивался, полностью отдавая себе отчет в этом и не желая противиться. В промежутках, когда выдавались несколько трезвых деньков, он ездил в свою издавна полюбившуюся Тургеневскую библиотеку, читал свежие выпуски журналов и писал стихи. Писал но инерции, не строя иллюзий насчет возможности их обнародования, потом, в загуле, читал их друзьям-приятелям за столом забегаловки.

Как-то присоединился к ним некто обросший, одетый в костюм из дорогого серого шевиота, с пятнами на брюках и лацканах и шелковую сорочку с заношенным воротом. Из кармана распахнутого пальто свисал коричневый галстук с вечным узлом, какому привержены холостяки, не умеющие завязывать «гаврилку». Этот некто говорил в нос, с интонациями высшего света, в изысканных выражениях, перемежая их узорчатым матом. Произнеся очередную фразу, он выпячивал толстые губы, как бы вслед изреченной мысли, отчего его красная, одутловатая физиономия с покатым лбом и скошенным подбородком удлинялась наподобие рыбьей головы.

Послушав чтение Бориса, новый знакомец обнял его за плечи и пролепетал, почти прижавшись к самому уху мокрыми губами:

— Верным путем идешь, собрат! Только здесь, только в обществе себе подобных, а не в салонах этих говноедов может существовать, в смысле получить признание, настоящий поэт. Ты меня понял? Нет? И не надо. Поедем ко мне, я прочту тебе такое, что ахнешь.

На втором этаже старого, ветшающего дома в Безбожном переулке, поднявшись по узкой деревянной лестнице, они ввалились в комнатку с одним окном, заваленную книгами, журналами, газетами и исписанными листками. На какой-то газетной странице Борис разглядел фотографию своего нового товарища, побритого и при галстукe. Старая пишущая машинка, громоздкая, с фабричной маркой золотыми буквами по черному лаку, возвышалась на столике кухонного типа, из приоткрытого ящика торчали беспорядочно перемешанные листы.

— Садись! — хозяин указал на проваленную зеленовато-серую кушетку. — Тебя как звать? Меня зови просто Серега. Сейчас нам сварят кофе. — Он приоткрыл дверь в коридорчик и крикнул в темноту: — Тетушка! Кофею нам!

Никакой реакции не последовало, и про кофе вскоре забыли. Трезвея, Комаров посмотрел на часы: было половина первого ночи.

Взявшись за спинку шаткого, поскрипывающего в такт его движениям венского стула, словно это был край трибуны, Серега сказал «слушай» и прочел:

Он и я

Не раз я, взявшись за перо
Его бросал с досадой:
Все это было, все старо,
И никому не надо.

Зачем, кому откроюсь вдруг
Со всем, что сердце давит?
И что изменится вокруг?
И кто себя исправит?

А он себе не учинял
Мучительных допросов,

Он сочинял да сочинял,
Про мистеров и боссов.

Про трактора и про руду,
И все для той лишь цели,
Чтобы его белиберду
Печатали и пели.

А сонм ученых дураков,
Ловясь на эти крохи,
Выводит из его стихов
Величие эпохи!

Он сыт, обласкан, знаменит,
Кочует по конгрессам,
А я по-прежнему в тени
С пиковым интересом.

Так почему, скажите вы.
Лишь где его замечу,
Он, шляпу сдернув с головы,
Несется мне навстречу?

— Что скажешь?

— Шедеврально. Только ударение неправильное:
надо пиковый.

— Чепуха. В стихах допускается. Классики не та-
кое себе позволяли.

— Так то классики! Им все можно. А вот нам, про-
стым смертным... Или ты классик?

— Пока нет. Я гений.

— Поздравляю. Немцы говорят: *Bescheidenheit ist
eine Zier, doch weiter kommt man ohne ihr.*¹⁸

— Ты немец?

— Я гражданин мира.

¹⁸ Скромность украшает, но успеху мешает.

— Врешь. Ну ладно. Кстати о гениях. Переделкино знаешь?

— Слышал.

— Вот, про него:

Переделкино.

Корифеи обитают в теремах,
Гении ютятся по мансардам.
Корифеям надобен размах,
Гениям — была бы хоть «Массандра»...

Гением лишь строчка рождена,
А у тех — возвышенные строфы!
Корифеям дарят ордена,
Гениев возводят на голгофы.

Но когда приходят времена
Без ранжира подводить итоги —
Корифеев метит сатана.
Гениев увенчивают боги.

— Что скажешь?

— Согласен: ты гений.

— Ну вот видишь. Слушай еще одно. А потом ты, ладно?

— Давай.

Покаяние эстета

Навеяла мне скуку Руза
И Клязьма надоела мне!
Уйду туда, где кукуруза,
Где трактора на целине!

Довольно щебетать на темы
Про розу, деву и закат.

Я посвящу свои поэмы
Цехам, где делают прокат.

И рудниками Сибири дальней...
А соловью скажу «прости!»
Во имя личной, матерьяльной
Заин-тере-сован-ности.

— Весьма актуально, — сказал Борис.

— Приятно, когда тебя понимают. Знаешь, бывает театр одного актера. А у нас получился театр одного зрителя, или как, слушателя? Один хрен. Суть в том, что есть настройка на одну и ту же волну.

— Ты случайно не из связистов?

— Угадал. А ты?

— Не скажу. Стыдно.

— Ладно. Давай теперь ты читай. Читай теперь ты.

Они поменялись местами. Встав за спинку стула, Борис покачнулся, вцепился в закругленную деревяшку, стул скрипнул.

— Стул не сломай, — сказал Серега. — Последнее.

Борис насупился, помолчал и оглядел комнату, как будто это был обширный зал. Вздохнул и начал:

Раньше и теперь

Раньше честные глаза твои
Были ласковыми, теплыми,
А теперь они запрятаны
За коричневыми стеклами.

Раньше меткие слова твои
Были легкими, крылатыми,
А теперь они, что ратники
С меднокованными латами.

Раньше плечи твои сильные
Были с выправкой хорошею,
А теперь они согнулись,
Под какой же это ношею?

Значит, все же трудно выстоять,
Если та, с кем сердцу весело,
На твою мужскую исповедь
Промолчала, не ответила...

— Хм, — вымолвил Серега. — Вообще-то слюн-
тяйство, но ничего. Давай дальше.

Борис переступил, стул скрипнул, он отпустил его
спинку, спрятал руки за спину.

Сбежала радость

Куда-то сбежала радость.
Была здесь еще недавно,
Сидела у меня на закорках,
Теребила мне волосы.
Шевелила моими губами.
Мигала моими глазами.
Потом забиралась глубже,
Ворочалась где-то внутри
И вновь вырывалась наружу —
Я видел ее танцующей.
Волчком вертелось платъице.
Я слышал, как дышит радость,
Даже сопит легонько...
И вот она исчезла.

— Это уже лучше, — сказал Серега. — читай даль-
ше. Борис откашлялся.

Счастливым неудачник

По поэтическим приходим
Кочуют прихвостней оравы,
Готовых вылезть вон из кожи,
Лизать налево и направо.

Податься им бы в фабриканты,
Да этот бизнес не в почете,
Вот и щебечут про куранты
Да про журавушек в полете.

Как знать, кто гений, кто не гений,
Покуда действуют отсрочки?
А из моих произведений
Не напечатано ни строчки.

Забиты вашими трудами
Склады по самые ворота.
Такое мог бы я пудами,
Да мне мараться неохота.

— У нас с тобой единство взглядов, — сказал Сере-
га.

— Правильно. На той же волне. А когда я ахну?

— Сей минут. Пошел прочь с трибуны!

Поменялись местами.

— Ты по-французски — как? — осведомился Сере-
га.

— Как все. Бонжур, мадам, тужур лямур.

— Ну, тогда слушай. Называется:

Stances macabres

Нуден стон медных труб.
Бледен тон сжатых губ.
Прежде лих, липнет чуб.

Волокут нарядный труп.

Пусть любит, пусть волнуется,
пусть завидует,
пусть знает наших
любопытная толпа.

Ищет взглядами попа.
Зря старается, нет его.
Но и так ничего.

На подушке красной — ордена.
И колонна черная длинна.
И оградка припасена,
Грузовик подвез ее — вот она.
Музыка, стоп. Слово имеет...
Голос дрожит. Нос синееет.
Одна другой прочувствованней
речи.
Трясутся вдовы согбенные плечи.

Трезв и сух плач старух.
Молотка грохот глух.
Гроб бесшумно в яму — бух!
Там земля — или пух?

Закопали, — и пей до дна!
Припасено довольно вина.
На дармовщину — допьяна!
Все равно дорога одна.

Все там будем! Един причал!
Один конец для всех начал.

Пора бы уж по коням,
Но нет конца речам...

А мы своих покойников
Хороним по ночам.

— Н-да, — сказал Борис. — Мороз по коже.

— Ты правильно понимаешь, — одобрил Серега.

— Давай выпьем.

Он пошарил в некрашенной тумбочке, нашел зеленую бутылку, хмыкнул: «Массандра», посмотрел на свет, перевернул, даже не капнуло.

— А-а, черт с ним. Перенесем на завтра. Сейчас все закрыто. Ночуешь у меня, согласен? Ты на диване, я на полу... Нет, я на диване, а ты на полу, согласен? Дело в том, что имеются клопы.

Хмель уходил. Трамвай визжал на повороте под самым окном. Громкий храп пока еще не общепризнанного гения тоже мешал заснуть. Лежа на тонком детском матрасике, укрытый старым Серегиным пальто, Борис Комаров придумывал себе дальнейшую жизнь. Ничего путного в голову не приходило...

Опять закрадывалась капитулянтская мыслишка: Ульяна... Но тут же была, как током, ее прощальная фраза: «Тебя убьют, а мы потом мучайся». И снова озадачивало ее загадочное «мы». Неужели? А он — бежал!? Сумбур, чаща непроходимая... А хочешь ли ясности? Или страшишься ее?

Хотелось думать о будущем, а в голову лезли, теснясь в беспорядке, картины из давнего прошлого. Увидел штабель под брезентом. Мороз по коже. Поправил сползшее Серегино пальтишко, чуть согрелся. Увидел старого солдата, раненного в живот... Послышались вопли в подвале гестапо, это на улице с визгом промчался трамвай. Виденья минувшего теснились и напоздали одно на другое, но всякий раз с искажением, немного не так, как было на самом деле. Какие они останутся в памяти: такими, как были наяву, или такими, какими приснились хмельной голове?

Он прогулял три дня, могли уволить, но не уволили, фрезеровщики были нарасхват. Вечерами встречались с Серегой на полпути друг к другу, в скверике у вокзала, когда-то Виндавского, потом Ржевского, а теперь Рижского. Заходили в кафе поблизости, потом шли к Сереге, и в его тесной комнатухе, бывало вдвоем, а бывало в присутствии Серегиных друзей детства с родного двора, читали новые и старые стихи, пили изделия Массандры, которые так любил Серега, кумир Безбожного переулка. Однажды Серега плотно закрыл за собой дверь и сказал:

— Сегодня особый случай. Вот, смотри: дали на один вечер. Садись и слушай.

Изрядно помятые листы тонкой, «папиросной» бумаги были соединены канцелярской скрепкой. Сверху значилось: «Научные основы житейской философии».

— Не надо, не читай, — едва выговорил Борис в суеверном испуге от этого напоминания. А я то хорош, прекратил поиски! — Я знаю этого человека. Я ищу его. Он где-то здесь. Справочное адреса не даст. А я кожей чувствую, что он где-то недалеко.

— Хо-хо-хо! Он чувствует. Ты что, его в самом деле знаешь? А в областном пробовал? Многие живут за городом, работают в Москве.

И как это я сам не догадался, подумал Комаров. Уже пропил мозги?

20.

Чего им вдруг от меня понадобилось, думал Русланов, направляясь, согласно повестке, к девяти часам в городское отделение милиции. Кажется, ничего не нарушал, прописка стараниями Зины оформлена, без работы пока только полтора месяца, так что в тунейдцы меня зачислять еще нет оснований... Но в подсознании

шевелилась догадка: не милицейский это интерес! Заинтересовались о н и!

Был поздний апрель, но ветры вторгались с севера, по утрам лужицы были подернуты тонким ледком, который белел кружевным узором над пустотами и с легким хрустом ломался под ногами. Воздух был прозрачен, плотен и густ, Русланову хотелось вдохнуть его глубоко-глубоко, но холодная струя застревала на полпути, словно натыкаясь на преграду, и грудная клетка содрогалась с легким покашливанием.

Долго искал. Найдя, удивился: кругом все застроено четырехэтажными домами красного кирпича с белыми узорчатыми прослойками для красоты, а отделение милиции ютилось в старом деревянном особнячке, не иначе реквизированном когда-то у местного нэпмана в пользу какого-нибудь райпотребсоюза, а затем, переходя из рук в руки, доставшемся блюстителем порядка.

Павел Константинович как в воду глядел. Дежурный проводил его в приемную главного начальника, велел подождать. После короткой паузы начальник позвал его в свой кабинет и тоже велел подождать, а сам исчез. Прошло несколько минут, и вошел другой человек, в штатском. Немолодой уже, властной повадки — видать, немалый чин, подумал Русланов. Сел за стол, не здороваясь. Раскрыл папку, достал какие-то бумаги.

— Русланов, Павел Константинович?

— Он самый.

— Хм...

Вот тебе и «хм», захотелось сказать Русланову. Не стану я вас бояться!

Чин углубился в чтение. Русланов положил ногу на ногу, откинулся на спинку стула, стул скрипнул. Чин посмотрел, вскинув брови, ничего не сказал. Читал в полном молчании минут пять. Наконец поднял голову.

— Так что же это вы, Павел Константинович... Опять за свое? Мы ведь вам доверяли...

— Кто это «мы?» — раскуражился Русланов.

Злость закипала в нем, подавляя рассудительность. Он начинал догадываться, откуда ветер дует, но не мог себе представить, не допускал мысли, чтобы Сермягин...

— Вам показать удостоверение? — сказал чин и достал красную книжечку.

— Да ладно, чего уж там, верю, — держал марку Русланов.

Длительное общение с дядей Ваней и его артелью научило его вольному обращению с начальством. Однако под напускной развязностью, искусственной манерой «мастерового», уже начинало шевелиться полузабытое, противное чувство страха перед беспощадной машиной подавления. И вместе с ним глухой протест, бессильное ожесточение против ненавистной тупой и непобедимой силы. Что-то екнуло и сломалось внутри.

А чин опять хмыкнул и листал обратным порядком перевернутые страницы.

— Так вот, скажите нам...

Знакомые обороты, с ненавистью подумал Русланов. «Нам... Мы...».

— ...скажите нам, как же эго вы так... Опять за свое. Неужели ничему не научились... Не сделали выводы?

Деградируют, отметил Русланов. Раньше хоть были не настолько тупы.

— Не понимаю, о чем вы говорите.

Чин высоко поднял лежавшие перед ним листки.

— Вот о чем! Это ваши рассуждения на тему о так называемой житейской философии. Напомнить вам, к чему вы там призываете? Зачитать? Вот например: «Материальный интерес, действительно, движет большой, может быть преобладающей, массой людей, но его недостаточно, чтобы возбудить творческий импульс наиболее одаренной, а следовательно авангардной части трудящихся...». Вот оно как: авангард, выходит, не партия, а какие-то там умники! «Они тоже хотят спра-

ведливого вознаграждения за труд, но больше всего они хотят морального удовлетворения, доставляемого убеждением, что ладится дело, ведомое умелыми людьми, справедливо поощряется полезная инициатива, строго карается жульничество, взяточничество и казнокрадство, презирается разгильдяйство и краснобайство». Узнаете?

Русланов сосредоточился. Теперь надо выбирать слова!

— Узнаю, но криминала не вижу.

— Так-таки и не видите? То есть, своими высказываниями вы как бы утверждаете, что ничего этого у нас нет, то есть не карается жульничество, не презирается краснобайство... И что делами у нас заправляют неумелые люди...

— Где это сказано? Ничего такого я не утверждал.

— Бросьте, Русланов, не такие уж мы дураки... А теперь скажите нам, с какой целью вы размножили и распространяете этот ваш, с позволения сказать, научный труд?

— Я ничего не размножал и не распространял. Рукопись была дана на просмотр, предстояла еще работа по редактированию, возможна была и капитальная переработка согласно требованиям редакции, а это — как бы первоначальный набросок.

Ч-черт, унижаюсь перед ними, ругал себя мысленно Русланов, подлаживаюсь под их правила, двуличествую! А куда деваться?

— Так вы признаете, что это ваше сочинение?

— То есть, что значит «признаете»? Я не рассматриваю эту рукопись как улику в какой-то противозаконной деятельности. Повторяю, статья была дана на просмотр... Публикация могла состояться только с одобрения редакции, не иначе.

— Вот так, с одобрения... А как вы объясните, что ваше... произведение в списках гуляет по Москве? И между прочим без указания авторства.

Вот оно что! Каким же образом?.. Русланов почувствовал себя в ловушке. Как им объяснить, что он не имеет к этому отношения! Да и важно ли это? Они охотятся за мыслью, в какой бы форме она ни передавалась и кто бы ни был ее носителем. И все же, кто пустил этот текст по рукам? Из каких побуждений? Нашлись люди, сочувствующие его настроению, разделяющие его убеждения? С одной стороны, следовало радоваться, это его идеи пошли в оборот, а с другой... Оскорбительно, когда кто-то распоряжается твоим имуществом, пусть лишь духовным, без твоего ведома. А кто? Он даже не знал наверное, в какой журнал попала его рукопись...

— Так что скажете, Русланов? С какой целью вы стали пропагандировать свои завиральные идеи, противоречащие линии партии?

Вот когда он заговорил на их языке! Теперь нужна предельная собранность.

— Повторяю, если моя рукопись оказалась размноженной, то это произошло помимо моей воли и без моего согласия.

— Вот как?... Ну что ж, допустим, мы вам поверили. Но тогда помогите нам выяснить, кто предпринял эти противоправные действия, и с какой целью.

Хотят впутать как можно большее число людей. Хотят, чтобы я назвал Сермягина. И без меня знают, но ищут подтверждения, чтобы тот не мог отвертеться. Не назову я им Сермягина. А вдруг он сам?... Нет, не может быть! Рукопись гуляет без указания авторства... Надо было просто отказаться? Но ведь они «вышли» прямо на меня. Значит, напали на след?..

— Знаете, что я вам скажу, господин хороший, — вдруг взыграла в Русланове гордая статья, — Хватит уже, вы надо мной покуражились.

— Павел Константинович, зачем же вы так? Мы ведь с вами беседуем мирно, по-товарищески...

Как они умеют изменять тональность, мгновенно! Ничего от души, все в интересах «дела»!

— ...Значит, вы утверждаете, что не желали распространения этих ваших ну, скажем так, спорных взглядов иначе как законным порядком, в напечатанном виде. А дело обернулось нелегальщиной! И вы как бы не имеете к этому никакого отношения. Вот и скажите нам, кто же использует ваши, скажем, так, еще незрелые соображения в направлении разрушения идейно-политического единства советского народа?

Значит, опять! Неужели все осталось по-старому? Ведь казалось... Попался на удочку, простак! Их изменить невозможно. Говорят, что горбатого могила исправит. К ним это не относится. Горбатый, то бишь уса-тый, в могиле, но для них он вечно живой.

— Так я слушаю вас, Павел Константинович. Надеюсь, что вы, при вашем жизненном опыте, не захотите больше ссориться с нами. Наоборот, нам хотелось бы, чтобы вы стали с нами сотрудничать. Это могло бы во многом улучшить ваше положение.

Немое и яростное возмущение поднялось в груди. Как он смеет! Этот безмозглый служака, этот выкормыш гнусной системы, этот... Не находилось определенных, чтобы вместить всю меру презрения и гнева. А вслух нечего было сказать. Он только смотрел в бесцветное, стылое лицо своего противника горящими ненавидящими глазами и глотал воздух непроизвольно открывающимся ртом. Он понял, что снова оказался в их лапах, и они могут сделать с ним все, что пожелают. Но не испуг, не страх за свою жизнь и свободу, а негодование, омерзение проняли его до мозга костей и он почувствовал, как под ребрами нарастает странное жгучее удушье, подобное тому, что возникало прошлой осенью, после корчевания пней в саду глуховатого пенсионера.

Чин госбезопасности заметил, как изменился в лице Русланов, каким прерывистым стало его дыхание.

— Ладно, Русланов, подумайте, — сказал он, — можете идти. Но мы с вами еще поговорим.

— «Пока! Сволочь!» — думал Русланов. Он вышел

на ватных ногах, снаружи увидел скамейку у крыльца этого деревянного, обшитого тесом, некрашенного, серого одноэтажного дома. Сел и долго сидел, касаясь спиной и затылком коротких тесин, образующих ограждение крыльца. Потом поднялся с усилием, сделал несколько шагов, схватился за шаткие перила, не удержался и рухнул на подмерзшую землю. Еще не совсем потеряв сознание, он услышал как бы издалека приглушенный неясный говор: «Человек упал... Человек упал... Человек упал...». Вдруг прояснилось: ведь это я упал! Даже занятно...

И последнее, что он услышал: «Ишь, назюзюкался с утра пораньше!». Обида отдалась пронзительной болью в груди...

21.

В новеньком, с иголки, вагоне электрички еще пахло лаком, светло-желтые диванчики зеркально поблескивали, отражая солнечные лучи. В этот утренний час пассажиров было мало. Комаров выбрал место справа по ходу, прильнул к широкому окну. Проплыли внизу трассы городских улиц просеками в каменных джунглях. Промелькнули корыта шлюзов знаменитого канала, белые кораблики теснились у гигантских шлюзовых ворот... Потом леса, леса, невзрачные поселки, опять леса, забытая Богом и людьми церквушка на пригорке, березка выросла из разрушающейся кладки обочь шатровой главы без креста... А вон вдали, над широкой поймой реки, силуэт старинного монастыря, его храм святейшего подобия остался без куполов, они рухнули, когда отступавший супостат взорвал хранившиеся там боеприпасы... В лесном обрамлении прямоугольник возделанных полей, потом опять леса, еще поля, опять леса. Разъезд со звучным названием, здесь разыгралось сражение, вошедшее в историю... Холмы, речушки, поля

и леса... Много у нас лесов, полей и рек!...

Удивительно, что железная дорога обошла стороной этот неординарный старинный городок, возникший еще семь веков назад на торговом пути, по которому везли в Первопрестольную кожи, мед и деготь... Раздрызганный автобус подпрыгивает, трясется мелкой дрожью, нервно вздрагивает на ухабистой, в незапамятные времена вымощенной булыжником дороге...

Адрес в кармане, вот он: Советская, 7-а. Наверняка раньше называлась Дворянской.

Он не спешил разыскивать эту улицу, не сомневался, что, передвигаясь, куда глаза глядят, по этому сонному городку, который стоил того, чтобы основательно с ним ознакомиться, рано или поздно набредет на табличку с надписью «Советская». Скорее всего, она где-нибудь в центральной части, не могли же такое наименование загнать куда-то на зады! И вот он шел, как ноги несли, взбирался по крутым склонам, спускался по извилистым проулочкам, любовался разноцветными домиками с резными наличниками...

Комаров любил посещать незнакомые места. Соприкасаясь с новью, он как бы обновлялся сам, и все ему бывало любопытно, ко всему он примерялся душой: а тебе хотелось бы здесь пожить? Его занесло на какую-то бедную окраину, домики здесь глядели пустыми окнами тупо и бессмысленно, тесовые крыши поросли мхом, заборы покосились, калитки косо висели на сорванных петлях. Даже собаки здесь были какие-то грустные, лаяли равнодушно и устало. Бездомный пес, весь в репьях, бежал параллельным курсом, обогнал Комарова, он посвистел, пес чихнул, не повернув головы, как бы желая этим сказать: у тебя свои дела, у меня — свои. Почувствовав какую-то неловкость, даже бестактность своей прогулки по этим неприятным местам, Комаров повернул обратно к центру. Прошел мимо детсадика, всматривался с жалостливой симпатией в шумливое скопище начинающих жизней, думал: что-то

вас ждет впереди? Заглядывал в небогатые витрины, описал круг по центральной площади, названной, разумеется, именем Ленина и украшенной его статуей, прочитал вывески: «Райком...», «Исполком...», «Райпотребсоюз», «Сельхозтехника». Все строения напоминали о далеком прошлом, и лишь эти вывески возвращали к реальности сегодняшнего дня.

У восточной окраины, на самом высоком из семи холмов, приютивших этот всем своим обликом еще погруженный в минувшие века городок, Борис разглядел очертания массивной крепостной стены, местами выщербленной — то ли от попадания снарядов, то ли от непогоды, а за этой стеной чуть возвышающиеся над гущей древесных, еще безлистных крон облезлые купола монастырской церкви. Его влекло туда, наверх, любопытство к необычному, старозаветному, чуждому современности укладу жизни, трогательно манящему, как воспоминания детства.

Поднимаясь выше и выше, он все явственнее слышал звуки духового оркестра, играющего траурную мелодию. Кого-то хоронят, догадался он. Значит, где-то там городское кладбище. Расхотелось идти дальше. Не с таким настроением предпринял он этот вояж. Он пришел за наукой жизни!

Комаров опять спустился к центру и сразу, едва миновав главную площадь, увидел табличку: «ул. Советская». По левую сторону, на угловом двухэтажном кирпичном побеленном доме, на эмалевом квадрате крупно вырисовывался номер 1. Все просто, вот уже и следующий номер три, полуторазэтажный дом, снизу каменной кладки, сверху бревенчатый. За ним уже виднеется дом номер пять...

На двери домика под номером 7-а висел большой амбарный замок. Комаров уставился на него с недоумением. Потрогал замок, приподнял, отпустил, замок упал на деревянную филенку с негромким глухим стуком.

— Ты к Ивану, что ли? — крикнул инвалид с

деревянной ногой, сидевший на лавочке у дома напротив. — Нету их никого. Хоронят знаконца ихнего, царство ему небесное...

Знакомца? Что за слово такое? Кто такой? Но нет, конечно, же не Русланов. Русланов, надо понимать, жилец, а не знакомец. Но почему и он отсутствует? Эх, надо было пораспрашивать того инвалида, а не поворачивать сразу обратно! Ладно, зайду куда-нибудь перекусить.

Перед столовой стояли в ряд грузовики с заляпанными грязью колесами и боками, побитый, выцветший газик с брезентовым верхом. Мохнатая лошадка, запряженная в двуколку, пожевывала овес в надетой на голову холщовой сумке. Комаров вошел. Хмурая официантка в сером миткалевом халате шустро разносила «Борщ московский» и «Гуляш с макаронами», все, что осталось к этому часу от длинного меню...

Замок исчез, инвалид скрылся. Комаров постучал, услышал «входи!» и оказался в тесной кухонке, обставленной самодельной аккуратно сработанной мебелью — гладко выструганный стол, четыре табуретки, буфет с резными дверцами. У печи шуровала горшками дородная хозяйка, мужик в русой бороде сидел за столом перед бутылкой без этикетки, наполняя себе граненый стакан.

— Вам кого, молодой человек? — спросил он, не вставая.

Страшная догадка мелькнула в голове: где же Русланов? Кого они там хоронили?

— Извините, я разыскиваю одного товарища, Русланов фамилия. Мне такой адрес дали...

— Хе, брат, Русланов!... Он давно уже здесь не живет.

Слава Богу, не его! Отлегло от сердца.

— А где он теперь живет, куда переехал?

— Русланов твой поближе к столице перебрался. Жил здесь у меня, верно. А теперь — где-то там

поближе.

— У вас есть его новый адрес?

— Адреса нету, а знаю, что где-то поближе...

— Да что ты человеку голову морочишь, — вмешалась хозяйка. — Есть у нас адрес, как же, Зинуля евовная письмо прислала, ты что, забыл?

— А-а, верно! Где письмо? Тащи его, Фрось... Да ты садись, помянем с тобой усопшего. Старика одного тут хоронили, на поминках нам местов не хватило, там родни набежало, не помещаются, так мы вот с Ефросиньей отдельно... Садись давай, гостем будешь...

Слегка захмелевший, в радости, что завладел новым адресом Русланова, возвращался Борис Комаров поздней электричкой восвояси. Завтра, завтра же поедет он на новые розыски... Хотя нет, завтра, пожалуй, не получится, работа есть работа, придется подождать до следующего выходного.

На станции расспросил дорогу: сначала прямо, потом направо, в гору, слева будет парк, миновать ворота и еще раз направо. Легко шагается и дышится легко. В рот не брал всю неделю, готовил себя к встрече с Учителем. И что же это он раньше не сообразил заняться розыском Павла Константиновича! Это именно тот человек, который ему сейчас всех нужнее. Учитель жизни! С тех самых пор, когда он зеленым юнцом, споткнувшись на пороге взрослой жизни, предстал перед ним, тогда еще принадлежавшим к руководящей и направляющей силе, и потом, когда колымский з/к в заношенной телогрейке растолковывал ему причинные связи человеческих и общественных отношений. и ныне, подав вест о себе сводом жизненных правил для тех, кто хочет жить по правде, — он был и остался для него первейшим, неоспоримым авторитетом, способным указать выход из самого запутанного положения. Как вовремя я его нашел!

Вот парк. Вот его входные ворота под аркой. Еще всего лишь несколько шагов до того угла, от которого

начинается отсчет домов... А главная улица устремляется дальше вверх, но уже виден перевал, и оттуда, из-за гребня, доносятся звуки духового оркестра, играющего похоронную мелодию. Что за оказия, и здесь тоже? Везет мне на чужие похороны, думает Комаров. Друг Серега говорил: «а мы своих покойников хороним по ночам». Странные слова, с каким-то скрытым смыслом. Слишком много похоронной тематики в последнее время. И сны приходили все заупокойные, с Колей Удальцовым недавно обнимался во сне, встретившись на крыше вагона электрички... Прочь, прочь, эти мрачные мысли!

Он повернул направо, поглядев на номерную табличку углового дома. Выяснилось, что искомый номер будет следующим. И тут он заметил под ногами веточки хвои, рассыпанные вдоль улицы. Они образовывали зеленую дорожку, ведущую к тому подъезду, на который должен был приходиться искомый номер квартиры.

На лавочке у входа сидели две старушки, переговаривались негромко. Комаров поздоровался, счел неудобным так просто пройти мимо. Решив оказать внимание старушкам, спросил:

— А что это за веточки еловые тут посыпаны, праздник, что ли, какой?

— Э-э, милоч, — бодро и назидательно откликнулась младшая. — Вот и видать, что ты обычаев наших не знаешь православных. Схоронили тут жильца одного, недолго пожил у нас в дому, хороший был человек, и призвал Господь его к себе, царство ему небесное.

Заключительный разговор автора с читателем, то есть

ЭПИЛОГ

Не в силу приверженности к устаревшим канонам прибегаю я к этой архаичной, полузабытой литературной форме, а потому лишь, что описанный случай далеко отстоит во времени от всего изложенного выше.

В середине восьмидесятых годов мне пришлось быть по делам в городе К., известном как центр зауральского сельскохозяйственного региона, который славится высокими урожаями пшеницы на его черноземах. Исполнив данное мне поручение в органах областного руководства, я в сопровождении здешнего молодого журналиста с университетским образованием, помогавшего мне в расследовании, пешочком направился на станцию задолго до отправления поезда, чтобы в наблюдении за вокзальной суетой отвлечься от воспоминаний о тягостном и запутанном конфликте, окончательно уладить который мне так и не удалось. День был пасмурный, накрапывал ленивый теплый дождичек.

Мой провожатый, едва мы вошли под крышу нового, но без архитектурных претензий, вокзала, увлек меня в буфет, где, по его уверению, подавали превосходное пиво местного производства.

Пиво оказалось, действительно, отменным. Из местного ячменя, пояснил мой спутник, а главным пивоваром работает запутавшийся в романтических сетях заезжий чех, участник давней и славной целинной эпопеи. Неспешно потягивая, кружка за кружкой, божеественный напиток в пустом кафе, я заметил странного человека, который то появлялся у раскрытых дверей, обводя взглядом помещение, то вновь исчезал в глубине зала ожидания. На его тощей, как бы высушенной фигуре были надеты голубые «джинсовые» брюки по-

следней степени изношенности, в них была заправлена солдатская гимнастерка, за неимением пуговиц расстегнутая до живота, под ней сиреневая майка, на шее серый, измызганный, не по сезону теплый вязаный шарф. Худое лицо с высоким лбом и удлинненным, расширяющимся книзу носом, заросло темно-русой бородой с обильной проседью, которая ввиду неравномерности роста казалась косо пристегнутой.

— Обратили внимание? — уловил направление моего взгляда местный журналист. — Колоритная фигура! Классический бомж.

— Бомж? Это что же за нация такая?

— Вроде бродяг. Раньше их называли бичами, а потом внедрилось это словечко, милицейская аббревиатура для лиц «без определенного места жительства».

Послышался шум поезда, прибывающего с западного направления. Через сплошные, во всю стену, высокие окна я увидел, как этот странный человек заметался по перрону.

— Держите его в поле зрения, — посоветовал мой провожатый.

— Украдет чемодан?

— Нет-нет, совсем наоборот. Вон, видите?

Бомж, высмотрев пожилого пассажира, которого никто не встречал, шустро подбежал к сходням, помог снять багаж, отнес узлы и короба к свободному месту у стены здания и возвратился к вагонам, высматривая другого пассажира, нуждающегося в помощи. Эту операцию он повторил несколько раз. Старушкам и женщинам с детьми он помогал с особой истовостью, решительно не брал с них никакой платы, а от мужчин принимал рублевки и трешки с безразличным видом и совал их в карман, не считая.

— Доходный промысел? — спросил я журналиста.

— Не думаю. Хватает разве что на разовый пропой.

Толпы прибывших схлынули, перрон опустел, и

наш бомж вновь появился на пороге.

— Давай, проваливай! — рявкнула пунцовощекая, как после бани, буфетчица. — Не видишь, здесь приличные люди сидят.

Тут я посчитал нужным вмешаться.

— Да пусть войдет! — крикнул я толстухе. — Мы приглашаем его к нашему столу. Подсаживайтесь, — добавил я, обращаясь к незнакомцу.

— Один момент! — отозвался бомж и скрылся.

— Пошел приводить себя в порядок, — заключил мой визави.

— Вы его знаете?

— Да кто ж его не знает — это же Комар. Между прочим — невероятно, но факт — бывший сотрудник нашей газеты. Работал тут годами в шестидесятых, за долго до меня, но память о себе оставил неизгладимую.

— Вот как? Чем же это?

— Да многим. Говорят, все старался насолить начальству. Имел слишком много своих мнений. Но главное — выпивал. По пьянке читал в пивных разные недозволенные стихи. Рассказывал сказки про какие-то штабеля мертвецов. Кончилось тем, что его уволили из редакции. Шатался без работы, пропивал остатки имущества, не раз получал по пятнадцать суток. Соседи возмущались, его выселили с квартиры. Устроился истопником в котельную, тут недалеко от вокзала, в ней и поселился. Построили новую ТЭЦ, малые котельные закрыли, и он опять остался без работы. По продолжает жить в котельной, назначенной на слом... Но погодите, вот он идет.

В дверях появился бомж Комар. Теперь на нем был серый пиджак не по росту, из рукавов далеко высывались жилистые руки, и неглаженная, но довольно чистая старомодная сорочка в розовую с желтым полоску. Острый угол бороды был аккуратно срезан, отчего борода, укоротившись, приобрела старокупеческое благообразие.

— Вы позволите? — сказал он, перемененно раскланявшись, и со стариковской осмотрительностью сел на предложенный ему стул. Откашляв нервозную хрипотцу в голосе, продолжал: — Чувствительно благодарен за приглашение, джентльмены.

Приняв благовоспитанную позу, сидел прямо, положив руки предплечьями на стол.

Журналист пошел за пивом для троих.

— Так вы, говорят, в прошлом...

— Давайте не будем о прошлом, — как бы в испуге перебил Комар. — Я — бич, и давно смирился с этим. Кстати, вы знаете, что такое бич?

— Приблизительно.

— Многие толкуют это распространившееся у нас словечко в том смысле, что, мол, эти люди — бич общества, то есть бедствие или язва и так далее. В действительности слово «бич» позаимствовано из английского. Бич — ах, вы знаете английский? — да, это берег. Не всякий, а морской. В международных портах так называют списанных на берег моряков. За какие уж провинности, догадаться нетрудно. Их знают в своей среде, и вернуться на морскую службу для них на девяносто девять процентов невозможно. Разве что на какую-нибудь полуразвалившуюся греческую или панамскую посудину.

— Вы были моряком?

— Я был человеком, — ответил он серьезно.

Журналист вернулся к столу стремя кружками пива и связкой соленых сушек, местный деликатес. Наш гость покосился с разочарованием.

— Минуточку, — сказал он и подбежал к стойке.

Там последовал оживленный диалог вполголоса, завершившийся тем, что Комар извлек из карманов целую кучу скомканных кредиток, а буфетчица, разгладив их и пересчитав, вынесла из заднего помещения, в нарушение строжайшего запрета торговать крепкими напитками, бутылку коньяка «Казахстанский» с тремя

звездочками на этикетке. Для закуски оказались в наличии холодные котлеты и плавленые сырки.

Разлили в граненые стаканы.

— За ваше здоровье, — сказал бомж и продекларировал: «God bless you, merry gentlemen, may nothing you dismay».¹⁹

— Это что-то из «Пиквикского клуба?» — спросил я наугад.

— Почти. Это, действительно, Диккенс, но только из «Рождественской песни», «Christmas carol», — ответил бомж.

Меня поразила голубизна его глаз, чистая, небесная, вовсе не сообразующаяся с его прочими возрастными признаками.

— Вы знаток английской литературы? — спросил я.

— Я много чего был знаток, — ответил он и потянулся за кружкой.

Мое любопытство возростало, но приближалось время подхода поезда, которым я должен был вернуться в Москву, и я в поспешности задал, наверное, не самый подходящий вопрос:

— Слушайте, — сказал я, — вот вы тут кормитесь вашим частным промыслом, и никто вас не трогает? Не беспокоят ни власть, ни какая-нибудь мафиозная структура?

— Что почти одно и то же, — засмеялся он, потом задумался на минуту в улыбчивом молчании и вдруг пропел тихим голосом на мотив некогда популярной солдатской песни:

Мафиозная структура
Комсостав стране своей кует,
В смертный бой идти готовый

¹⁹ Благослови вас Бог, веселые джентльмены, пусть ничто не огорчает вас. (англ.)

За неправедный доход.

Я поневоле рассмеялся, отдавая должное меткости этой импровизации, и проникся к нему еще большим интересом.

По внутренней трансляции объявили, что на проходящий поезд, которым я намеревался уехать, мест нет. Я даже обрадовался этому известию, предоставившему мне возможность продолжить общение с бомжем по прозвищу Комар. Мой провожатый, глотнув для приличия незначительную дозу коньяка, извинился, сказав, что ему еще надо на работу, и попрощался со мной до завтра, пообещав заблаговременно побеспокоиться о билете.

Мы с Комаром обменялись доверительными взглядами, означавшими наше удовлетворение тем, что остались вдвоем, странная близость, похожая на взаимопонимание заговорщиков, возникала между нами.

— И что же, — сказал я, — вам не хочется вернуться к — ну, скажем так — нормальной жизни?

— А зачем? — возразил он. — Я старик, моя песенка спета.

— Вас устраивает такая старость?

Подумав, он ответил:

— Старость — это разлука с жизнью. Она может быть долгой, может быть короткой, может быть горькой, если остались неосуществленными замыслы, дорогие тебе и нужные людям. Она может быть и умиротворенной — помните, из Беранже: «Старость моя для меня не горька...».

И еще добавил: — Сколько добра недоделано в жизни! Все хотят коренных превращений. У немцев есть прелестное выражение: «Weltverbesserer» — улучшители мира. Сколько шишек они наставили себе и людям! А надо — делать добро ближнему. Ведь только за этим мы и родились на свет.

Когда мы оба немного захмелели, он повел меня в

свою, как он выразился, преисподнюю. Котельная стояла посреди обширного двора, ее четыре окна были заделаны старой фанерой, лишь в одном сохранилось несколько стеклянных долек. Внутри в свете единственной тусклой лампочки, я разглядел пузатые торцы двух замурованных в шамотную кладку котлов, их краны были отвинчены, водомерные трубки разбиты, дверцы топок болтались, оставляя отверстными черные зевы. Железный пол был чисто выметен. К глухой стене был приставлен лежак, укрытый серым вигоневым одеялом, рядом стоял убогий фанерный стол и облезлый венский стул, наверняка то и другое выброшенное на свалку жильцами. На дощечке, подвешенной к стене серого кирпича с помощью ржавой железной проволоки, лежала стопка книг и рядом несколько толстых тетрадей.

— Вот здесь, — он указал на тетради, — записаны ступени бытия великомученика Бориса Неприкаянного. Отрывочные и бестолковые. Хотел когда-то предать гласности в удобочитаемой форме, теперь убедился, что не осилю. Существует еще и другой вариант моего жизнеописания — там, у них. Два толстенных тома, разболтал по пьянке их человек. Заведено на каждого, и ходит за нами, куда бы мы ни подались. За вами тоже, будьте спокойны. Интересно бы ознакомиться, но — недоступно. А это — пожалуйста. Хотите, дам почитать?

— Дайте! — с готовностью откликнулся я. — А с собой можно взять?

— Берите, чего там...

— Непременно привезу обратно и верну в целости, — заверил я. Мне предстоит еще раз приехать месяца через два-три.

— Вот и ладно. — Он достал из ободранной тумбочки начатую бутылку «бормотухи». — Давайте, на посошок...

Уже в начале зимы я вновь приехал в К. доводить до конца конфликтное дело. После прочтения тетрадей бомжа Комара я потерял интерес к той банальной

схватке амбиций и думал теперь лишь о встрече с этим необыкновенным человеком, эмигрировавшим в свою «преисподнюю» из той жизни, в которой не находил своего места.

Прямо с поезда я направился к котельной. Вот этот четырехэтажный угловой дом для железнодорожной аристократии, вот ворота в широкий двор между его крыльями — но где же котельная? На ее месте грудились недоубранные кирпичи, меж них обрывки ржавого металла...

Я спросил у старика, несшего мусорное ведро к переполненным бакам для отбросов в углу двора:

— А вы не знаете, куда делся кочегар, который когда-то жил здесь в котельной?

— Это Комар-то? Да кто ж его знает... Делся куда-то, а куда — неизвестно. Комар — он и есть Комар. Без корней человек, сам про себя говорил — неприкаянный...